М. А.
БАКУНИН
Избранное

Михаил Бакунин

Анархия и Порядок (сборник)

«Public Domain»

Бакунин М. А.

Анархия и Порядок (сборник) / М. А. Бакунин — «Public Domain»,

В эту книгу вошли основные сочинения Михаила Александровича Бакунина (1814—1876), великого философа и бунтаря, главного идеолога русского анархизма. Многие из этих работ неизвестны русскому читателю.

© Бакунин М. А.
© Public Domain

Содержание

Ушедший на штурм неба 6
Гимназические речи Гегеля[1] 12
О философии[11] 20
Статья первая 20
Статья вторая[19] 33
Реакция в Германии[36] 57
Коммунизм[45] 70
1 71
2 73
3 75
Федерализм, социализм и антитеологизм[50] 78
Мотивированное предложение Центральному Комитету «Лиги Мира и Свободы»[51] 78
I 82
II 89
III 97
Принципы и организация интернационального революционного общества[73] 144
I. Революционный катехизис 144
II. Сводка основных идей этого катехизиса 157
Программа общества международной революции[74] 160
Первая часть 160
Теоретические основы 160
Наша социалистическая программа 164
Народное дело[76] 168
Романов, Пугачев или Пестель 168
В России[77] 180
Наша программа[78] 182
Всестороннее образование[79] 183
I 183
II 187
III 190
IV 193
Письма о патриотизме к товарищам международного общества рабочих Локля и Шо-Де-Фона[82] 196
Письмо первое[83] 196
Письмо второе[84] 198
Письмо третье[85] 200
Письмо четвертое[86] 202
Письмо пятое[87] 204
Физиологический или естественный патриотизм[88] 206
I 206
Патриотизм (продолжение)[89] 209
Патриотизм (продолжение)[90] 211
Патриотизм (продолжение)[91] 214
Кнуто-Германская империя и социальная революция[93] 217

Комментарии 217
Первый выпуск 218
Союз с Россией и русофобия немцев[110] 254
История немецкого либерализма 263
Второй выпуск 275
Предисловие 275
Исторические софизмы доктринерской школы немецких коммунистов[114] 276

Михаил Бакунин
Анархия и Порядок

Ушедший на штурм неба
(Михаил Александрович Бакунин, 1814—1876)

Михаил Александрович Бакунин, первый идеолог русского анархизма, появился на свет 18 мая 1814 года в семье родовитого помещика из достаточно древнего рода Бакуниных. Детство Миша провел в имении Прямухино Новоторжского уезда Тверской губернии. Позднее он неоднократно и с особой теплотой вспоминал об этом времени в письмах к родственникам. Поначалу жизнь юноши складывалась весьма обычно и традиционно для выходцев из семей мелкопоместных дворян – в 1828 году Бакунин поступает в артиллерийскую школу в Петербурге, в 1833 производится в офицеры. Однако уже через два года он выходит в отставку – армейская служба с ее укладом оказалась ему не по вкусу. Не соглашаясь на предложение отца поступить на гражданскую службу, энергичный молодой человек самовольно оставляет отцовский дом и отправляется в Москву учиться. В Москве Бакунин, как и многие другие в то время, входит в кружок Н.В. Станкевича, где под руководством последнего он изучает философию, сначала Канта, потом Фихте и, наконец, Гегеля, взглядам которого Бакунин и посвятил свою первую печатную работу. После отъезда в 1837 году Станкевича за границу Бакунин становится одним из реальных руководителей кружка. Сделавшись гегельянцем, Бакунин проповедует философию Гегеля друзьям и знакомым (что особенно видно из его обширной переписки), родственникам. Восхищаясь знаменитой формулой немецкого философа «что действительно, то разумно, и что разумно – то действительно», Бакунин в тот момент совершенно не проявлял никакой революционности. Действительно, философская система Гегеля (в той степени, в которой она была известна юноше) никак не могла непосредственно привести к социалистическим учениям, к отрицанию государства и т. д. Уже тогда его взгляды подверглись критике А.И. Герцена, однако острые слова этого замечательного человека не поколебали еще взглядов будущего теоретика анархии. В 1840 году Михаил Александрович отправляется в Берлин для научных занятий, чтобы по возвращении в Россию получить «профессорское место». Однако переезд в Германию, на родину самой модной тогда философии, не мог не оказать на него влияния. Вскоре Бакунин знакомится с Арнольдом Руге и другими представителями левой школы гегельянства, которые, опираясь на теоретические построения немецкого философа, делали весьма революционные выводы. Попав под влияние новых друзей, Бакунин заразился атмосферой политической оппозиции и вскоре стал одним из самых решительно настроенных радикалов. Свои новые настроения он выразил в статье «Реакция в Германии», напечатанной в журнале А. Руге за подписью «Жюль Элизар». Статья заканчивалась фразой, впоследствии ставшей знаменитой, – «страсть к разрушению – творческая страсть». Почти одновременно с написанием этой статьи Бакунин в 1842 году решает не возвращаться более в Россию. Однако и земля Германии становится для него небезопасной: из-за преследований немецкой полиции Бакунин вместе с Г. Гервегом отправляется в Швейцарию, где знакомится с В. Вейтлингом, безуспешно пытавшимся склонить Бакунина к коммунизму. В этом же году Бакунин вынужден уехать и из Швейцарии. В России официальное отношение к нему властей весьма показательно – за отказ возвратиться на родину он был заочно присужден к лишению всех прав состояния и ссылке в Сибирь на каторжные работы с конфискацией имущества. После этого и начинается период эмигрантских скитаний, длившийся очень долго. Хотя, по правде говоря, вся жизнь этого феерического человека, так и не вернувшегося на родину, пред-

ставляла из себя одно большое скитание. А всякое скитание подобного рода обычно завершается в лучшем случае мало кем замеченной смертью, если не полным забвением…

Итак, Бакунин приезжает в Париж. Там он знакомится почти со всеми наиболее крупными представителями социалистической мысли разного толка – Карлом Марксом, Прудоном и др. В столице Франции Михаил Александрович продолжает усиленно заниматься «науками», готовясь к осуществлению своего «великого призвания», о котором он порой говорил в письмах к родным. 29 ноября 1847 года он выступает на банкете в память польского восстания, где резко высказывается в адрес Николая I и с уверенностью говорит о назревающей революции в царской России. Желая ослабить эффект речи и хоть как-то очернить неистового революционера, посол России в Париже Киселев пустил слух, будто Бакунин состоит на службе у русского посольства. Впоследствии эта клевета сыграла на руку идейным противникам Бакунина, которые неоднократно выдвигали против него самые нелепые и глупые измышления.

Вскоре Бакунин был вынужден оставить и Францию, куда ему удалось вернуться только после революционных событий 1848 года, когда по всей Европе прокатилась мощная волна восстаний. В это время Бакунин переживает некий патриотический подъем, хотя справедливости ради, следует отметить, что, к сожалению, он весьма превратно толковал понятие «патриотизм». Это проистекало, очевидно, из того, что вся личность Михаила Александровича уже была захвачена некоей социально-политической идеей, а разглядеть за своей любимой доктриной настоящих, позитивно-созидающих процессов, происходящих в действительной жизни, он, подобно многим отвлеченным теоретикам (в том числе и нашего времени), не мог. Бакунин с увлечением говорит о славянской идее, однако в его исполнении это означает всего лишь освобождение Польши, разрушение Австрийской и Российской империй с последующим весьма сомнительным объединением славян в федерацию.

В 1848 году он участвует во Всеславянском съезде в Праге, которое закончилось т. н. Святодуховским восстанием 12 июня, одним из руководителей которого и оказывается неистовый Михаил Александрович. После его подавления Бакунин скрывается в Германии, где выпускает воззвание к славянам, призывая их согласовывать свои действия с задачами западноевропейской демократии. Несмотря на различные клеветнические инсинуации в его адрес, которые то и дело появлялись среди партий социалистического толка, Бакунин не оставляет своих замыслов организовать восстание в Богемии – он посылает туда эмиссаров, порой самолично нелегально заезжая туда и проверяя положение дел. И хотя восстание в Чехии поднять не удалось, Бакунин вновь оказывается в самом центре событий и, во что очень трудно поверить, весьма неожиданно для себя. 4 мая 1849 года в Дрездене вспыхивает восстание. Бакунин не предполагал принимать в нем участие, однако по иронии судьбы его можно было увидеть в первых рядах восставших, а его решительные действия приводили в шок даже закаленных борцов. После подавления восстания в ночь на 10 мая он был арестован в Хемнице и заключен под стражу. После крепостного заключения в Кёнигштайне в апреле 1850 года этот беспокойный русский эмигрант был приговорен саксонским судом к смертной казни через повешение, однако вскоре она была заменена пожизненным тюремным заключением, после чего Бакунин был выдан австрийскому правительству, которое, в свою очередь, больше года продержало его в крепостях Праги и Оломоуца (в последней крепости Бакунин сидел пять месяцев, прикованный цепью к стене). Ему вторично угрожала смертная казнь, однако и на этот раз смертный приговор, вынесенный уже австрийским правительством, был заменен на пожизненное заключение, после чего в 1851 году Бакунин был передан… русским властям. Как ни странно, в России его ждало более вежливое обращение, чем в «цивилизованной» Европе, а потому «вечный» революционер решил добиться свободы. Между ним и Николаем I началась своеобразная игра: царь хотел, чтобы Бакунин выдал план польского заговора, а нераскаявшийся революционер в своей объемистой «Исповеди», специально написанной по этому случаю, объяснял свои увлечения незрелостью ума и дурным влиянием неблагонадежных сторонних лиц. Поняв

безуспешность своих попыток, царь приказал заточить Бакунина в одиночку. Хлопоты родных об его освобождении успеха не имели. После смерти Николая и восшествия на престол Александра II Бакунин уже (судя по всему, отчасти) искренно просил нового царя простить его, уверяя в полнейшем раскаянии. Наконец в марте 1857 года его отправили в Томск – тюремное заключение (до 1854 года в Петропавловской крепости, после – в Шлиссельбурге) было заменено ссылкой в Сибирь на поселение. Ссылка в Сибирь оказалась достаточно необременительной – Бакунин получил право поступить на гражданскую службу канцеляристом 4-го разряда, а его дядя, Н.Н. Муравьев-Амурский, генерал-губернатор Восточной Сибири, человек, пользовавшийся значительным весом в то время, всячески помогал неразумному племяннику. Переехав к дяде в Иркутск, Михаил Александрович стал близок к чиновному окружению губернатора, что оттолкнуло от него членов кружка Петрашевского. Однако после отзыва дяди из Сибири Бакунин понял, что вернуться назад и заняться «настоящим делом» у него нет никакой возможности. Тогда он бежал через Японию и Америку в Англию, оставив в Иркутске жену, на которой он женился в 1858 году в Томске. В декабре 1861 года он встретился в столице туманного Альбиона с А.И. Герценом и Н.И. Огаревым и стал сотрудничать в их «Колоколе», где намеревался публиковать статьи по славянскому вопросу. Главной своей задачей он по-прежнему считал пропаганду освобождения всех славян и объединение их в федеративное государство. Причем порой он даже допускал возможность того, что во главе такой федерации мог стать… царь. Главными пунктами его программы в русских делах были созыв Земского собора и освобождение крестьян с землей, которую выкупает государство. Обе эти меры должны были, по его мнению, «развязать» революцию.

Экстремизм Бакунина не пошел ему на пользу: Герцен отказался принять его в соредакторы «Колокола». К тому же разгоревшееся польское восстание 63-го года окончательно сделало невозможным совместную работу этих столь непохожих друг на друга людей. Бакунин ринулся в восстание, видя в нем пролог к русской, а затем и всеславянской революции. Сначала он пытался организовать в Польше русский легион; потом отплыл из Англии на пароходе «Ward Jackson», отправлявшемся с добровольцами и оружием к литовскому берегу. Экспедиция закончилась провалом и гибелью значительного числа ее участников. Эти неудачи расстроили планы Бакунина и практически уничтожили его надежды на организацию всеславянской федерации. Революционер начинает новый этап свой жизни: вместе с прибывшей к нему из России женой он отправляется в Италию, где живет до 1867 года.

Именно в эти годы происходит отказ от панславистских убеждений и коренной пересмотр всей идейной базы, а также тактики Бакунина. Именно в эти годы он закладывает основы своего анархического учения, сближается с революционной итальянской молодежью, выступает в итальянской прессе, составляет устав задуманного им всемирного тайного революционного общества, которое должно было покрыть все страны сетью своих отделений для подготовки всемирной революции. В качестве ядра Бакунин создает в Италии тайное братство.

Еще в 1864 году, встретившись в Лондоне с К. Марксом, Бакунин был принят в Интернационал, получил от Маркса устав и учредительный адрес и уехал в Италию, обещав способствовать деятельности Международного товарищества рабочих. Однако он продолжал преследовать свои собственные цели, прилагая усилия в основном для борьбы со сторонниками Дж. Мадзини и работая над созданием тайной организации, целью которой стали бы «радикальное упразднение всех существующих религиозных, политических, экономических и социальных организаций и учреждений и новообразование сначала европейского, а затем и всемирного общества на основах свободы, разума, справедливости и труда». В 1867 году Бакунин появляется в Женеве на съезде буржуазной Лиги мира и свободы, где проходит в Центральный комитет Лиги. Принимая участие в ее работе, Бакунин переносит в Швейцарию свое тайное международное братство, для которого вербует сторонников различных революционных партий и течений, особенно тех, кто не согласен с мнением руководителей. Однако парал-

лельно в июне 1868 года он вступает в Женевскую секцию Интернационала. На II Конгрессе Лиги он внес ряд радикальных предложений, которые были отвергнуты; тогда Бакунин с 18 своими сторонниками вышел из Лиги и образовал «Международный альянс социалистической демократии» с анархической программой. По мысли своих создателей, Альянс должен был вступить в Интернационал, сохранив свою программу, структуру и даже отдельные конгрессы. Конечно, Генеральный совет Интернационала отверг этот вариант, выступив против Бакунина и его детища. Официально Альянс был распущен, однако ядро наиболее верных приверженцев тактики Бакунина осталось вокруг своего создателя. Критикуя Интернационал за однобокость в подходе к вопросу борьбы за права трудящихся, Бакунин считал свою организацию более мобильной, жизнеспособной и как следствие ответственной за руководство рабочими. Поэтому можно без преувеличения сказать, что последующая история Интернационала была заполнена борьбой между течениями, которые возглавлялись, с одной стороны, К. Марксом и М.А. Бакуниным – с другой. Лишившись журнала «Народное дело» (1868), который со второго номера перешел в руки весьма грязной в моральном плане личности – Николая Исааковича Утина, выставлявшего себя последователем Маркса, Бакунин развил лихорадочную деятельность, редактируя периодическое издание «Egalite», он рассылает своим друзьям в разные страны много писем, пишет целый ряд статей, привлекает к себе сторонников в Швейцарии (самый выдающийся из них – Джемс Гильом, написавший историю Интернационала с точки зрения анархистов), Италии, Испании, Франции. Увлекая людей обаянием своей действительно выдающейся личности, славной историей своего прошлого, Бакунин сплотил вокруг себя те политические силы, которые не примкнули ни к марксистскому течению, ни к более умеренным демократам. Максимализм Бакунина, требовавшего немедленного уничтожения государства, немедленной организации революции, отрицавший период длительной и систематической организации рабочего движения, нашел отклик среди тех рабочих и представителей мелкой буржуазии, которые в более сильной степени страдали от слоновьей поступи того «дикого» капитализма, который действительно калечил судьбы десятков тысяч людей, не оставляя им ни выбора, ни надежд на лучшее будущее. Не случайно его идеи поддержали в Испании, Италии – наиболее отсталых странах Европы того времени. Бакунин полагал, что чернорабочие и крестьяне этих государств, как и России, готовы вступить в революцию. Нужен только сигнал… «Мы призываем анархию, – писал он, – убежденные, что из этой анархии, то есть полного выражения разнузданной народной жизни, должна выйти свобода, равенство, справедливость, новый порядок». Увы, это было заблуждение открещивавшегося от своего класса бунтаря, желавшего порой быть «народнее» народа. Вместе с тем, признавая мудрость стихийной революционности масс, Бакунин по-прежнему хотел внести сюда элемент организованности, но не сверху, а как бы снизу, через создание тайных обществ. Когда же, по его плану, революция начнет побеждать во всемирных масштабах, то все страны организуются на новых принципах свободы снизу вверх и объединятся путем революционной федерации, не считаясь с национальными границами и различиями. При этом неизбежно должно было образоваться новое всемирное «отечество – Союз Всемирных Революций против союза всех реакций». Несмотря на все антигосударственные настроения Бакунина, он никогда не отказывался от организующего начала. Именно поэтому он прочил на роль руководителя свою тайную организацию, которая противопоставлялась Международному союзу рабочих.

Такая деятельность возбудила (теперь уже навсегда) враждебное отношение к нему в Интернационале. Этому способствовали как личные промахи Бакунина (в деле с предоставлением С. Нечаеву денег из так называемого Бахметьевского фонда на революционные дела в России), так и не совсем основанные на реальности подозрения среди руководителей Интернационала. Помимо помощи Нечаеву ему инкриминировали еще какие-то злоупотребления финансами, что было просто несправедливо. Возникшая вражда не утихала, то и дело разгораясь на конгрессах, внутри организаций, подогреваясь публикациями в прессе. На конгрессе в

Шо де Фон в 1870 году романская федерация Интернационала раскололась по вопросу о принятии в Интернационал женевской секции Альянса. Исключение Бакунина, Жуковского и Перрона из женевской секции Интернационала подлило масло в огонь. Большинство сторонников Бакунина образовало юрскую федерацию, сыгравшую большую роль в истории борьбы марксистского и бакунистского течений в Интернационале. В январе 1871 года Генеральный совет разослал «конфиденциальное сообщение», направленное против Бакунина, а на Гаагском конгрессе в 1872 году был поставлен вопрос вообще о его дальнейшем пребывании в Интернационале. Комиссия, рассмотрев материал о деятельности Бакунина, собранный Николаем Утиным (половина его носила заведомо неверный характер), признала обвинения основательными, и конгресс исключил Бакунина и Гильома. Насколько обвинения Бакунина в дезорганизаторской деятельности, с точки зрения Интернационала, были основательны, настолько несправедливо было обвинение в мошенничестве (история с авансом за перевод «Капитала» Маркса).

Франко-прусская война 1870—1871 гг. вызвала взрыв страстной энергии Бакунина. Вместе с прусскими победами в его глазах одерживал верх государственный принцип насилия над принципами свободы. Спасение Франции, а вместе с ней спасение свободы Бакунин видел в революционном восстании французских крестьян и рабочих, в разрушении государственного механизма, в осуществлении его идеала революции. Он призывает своих сторонников в различных странах организовать помощь французской революции, печатает во Франции брошюру «Письма французу о настоящем кризисе» (сентябрь 1870), принимает личное участие в Лионском восстании, подписывает вместе с другими прокламацию, первый пункт которой объявил упразднение государственной машины, а после неудачи восстания отправляется в Марсель, где безуспешно ожидает нового взрыва, и наконец, спасаясь от полиции, возвращается в Швейцарию, разбитый и разочарованный. Восстание Парижской коммуны 1871 года уже не воодушевило его. Годы и постоянные испытания брали свое…

Вслед за исключением Бакунина и Гильома из Интернационала и переводом Генерального совета в Нью-Йорк бакунисты начинают отчаянную борьбу с Генеральным советом. Они созывают свои конгрессы и создают свой Интернационал, который поддержали весьма многие – в него вошли испанская, бельгийская, юрская, английская, голландская и итальянская федерации. Фактически это означало не просто раскол, но настоящую гибель Марксова Интернационала. Так и произошло: Интернационал закончил свое существование в 1876 году; годом позже на свой последний конгресс собрались и бакунисты.

Годы, последовавшие за разгромом Парижской коммуны, были самыми продуктивными в литературной деятельности Бакунина. Борьба с Марксом заставила его приняться за систематическое изложение своих воззрений. В 1871—1874 годах он написал свои крупнейшие работы – «Кнуто-германская империя и социальная революция», «Государственность и анархия» и ряд других. Вместе с тем старый революционер по-прежнему пытался личным участием доказать правоту своих теоретических взглядов. В 1873 году он принял было участие в восстании в Испании, в 1874-м – в Болонье, где чуть не погиб. Но все было напрасно. Эти испытания в связи с тяжелыми обстоятельствами личной жизни и потрясающей материальной нуждой заставили его совсем удалиться от политики и борьбы.

Последние два года своей жизни Михаил Александрович Бакунин провел в Италии, всецело погрузившись в интересы своей семьи, разочарованный и одинокий. «Я действительно устал и разочарован, – писал он Э. Реклю, – события во Франции и Испании нанесли смертельный удар всем нашим надеждам и ожиданиям. Мы рассчитывали на массы, которые не захотели со страстью отнестись к делу своего собственного освобождения, а за отсутствием этой народной страсти, мы, при всей своей теоретической правоте, были бессильны». 1 июля 1876 года вечный бунтарь и борец с несправедливостью, вечный изгнанник, так и не вернувшийся на родную землю, скончался в городской больнице Берна. Не стало одного из самых ярких политических мыслителей Европы второй половины XIX века.

* * *

Уже современность, не говоря о последующих временах, показала, что взгляды М.А. Бакунина оказались куда как утопичнее, чем, например, многие положения теории коммунизма. Слишком много в построениях Бакунина отводилось личности, слишком сильно полагался бунтарь на хорошее в человеке. То, о чем он писал, могло совершиться лишь в том случае, если бы добродетель людская превзошла добродетель христианскую. К сожалению, как показала история, человечеству еще очень далеко до христианских добродетелей, не говоря уже о чем-то большем. Идеалистичность построений Бакунина проявилась и в том, что он подобно многим другим политическим писателям слишком часто полагался на принцип долженствования, не замечая при этом, а *возможно ли* осуществление этого *должны* в реальной жизни. Ибо известно, что если нет условий, то невозможно и точное воплощение задуманного. Но, несмотря на это, как человек и как политический деятель он заслуживает всяческого уважения и внимания – за свою честность, искреннюю верность идее и все-таки желание устроить будущее для людей, а не во имя торжества определенного принципа, как это неоднократно делалось в веке XX, в том числе и в наши дни. Его живая, кипучая мысль, подобно сочинениям другого теоретика анархизма, Петра Кропоткина, – не просто эпизод из истории развития человечества и мировой культуры. При проецировании слов М.А. Бакунина на сегодняшний день мы видим, что великий бунтарь не так уж и заблуждался в своих оценках современной ему (и не только) жизни. Конечно, за 150 лет мир изменился, но в большей степени это коснулось *формы*, а не *содержания*. Поэтому мы надеемся, что, вчитываясь в строки произведений Михаила Александровича Бакунина, сегодняшний читатель задумается не столько над проблемами прошлого, сколько над сутью происходящего сегодня…

М.А. Тимофеев

Гимназические речи Гегеля[1]
Предисловие переводчика

Философия! Сколько различных ощущений и мыслей возбуждает одно это слово; кто не воображает себя нынче философом, кто не говорит теперь с утвердительностию о том, что такое истина и в чем заключается истина? Всякий хочет иметь свою собственную, партикулярную систему: кто не думает по-своему, по своему личному произволу, тот не имеет самостоятельного духа, тот – бесцветный человек; кто не выдумал своей собственной идейки, тот – не гений, в том нет глубокомыслия, а нынче, куда вы ни обернетесь, везде встречаете гениев. И что же выдумали эти гении-самозванцы, какой плод их глубокомысленных идеек и взглядов, что двинули они вперед, что сделали они действительного?

«Шумим, братец, шумим», – отвечает за них Репетилов в комедии Грибоедова[2]. Да, шум, пустая болтовня – вот единственный результат этой ужасной, бессмысленной анархии умов, которая составляет главную болезнь нашего нового поколения, отвлеченного, призрачного, чуждого всякой действительности; и весь этот шум, и вся эта болтовня – все это происходит во имя философии. И мудрено ли, что умный, действительный русский народ не позволяет ослеплять себя этим фейерверочным огнем слов без содержания и мыслей без смысла; мудрено ли, что он не доверяет философии, представленной ему с такой невыгодной, призрачной стороны? До сих пор философия и отвлеченность, призрачность и отсутствие всякой действительности были тождественны; кто занимается философиею, тот необходимо простился с действительностью и бродит в этом болезненном отчуждении от всякой естественной и духовной действительности, в каких-то фантастических, произвольных, небывалых мирах или вооружается против действительного мира и мнит, что своими призрачными силами он может разрушить его мощное существование, мнит, что в осуществлении конечных положений его конечного рассудка и конечных целей его конечного произвола заключается все благо человечества; и не знает, бедный, что действительный мир выше его жалкой и бессильной индивидуальности, не знает, что болезнь и зло заключаются не в действительности, а в нем самом, в его собственной отвлеченности; у него нет глаз для гармонии чудного божьего мира; он не способен понять истины и блаженства действительной жизни; конечный рассудок мешает ему видеть, что в жизни все прекрасно, все благо и что самые страдания в ней необходимы как очищение духа, как переход его от тьмы к свету, к просветлению. Да, призрачный человек не может сказать вместе с поэтом:

О, друг мой, искав изменяющихся благ,
Искав наслаждений минутных,
Ты верные блага утратил свои:
Ты жизнь презирать научился!
С сим гибельным чувством ужасен и свет!
Дай руку: близь верного друга
С природой и жизнью опять примирись!
О, верь мне, прекрасна вселенна!
Все небо нам дало, мой друг, с бытием:

---

[1] Первая опубликованная оригинальная работа М.А. Бакунина. Впервые напечатана в журнале «Московский наблюдатель», 1838, № 3. Раздел 1. Наука. С. 5–21. Из пяти речей Гегеля, произнесенных им на годичных собраниях в качестве директора Нюрнбергской гимназии (1808—1816), Бакунин перевел три.В настоящем издании текст печатается по: Бакунин М.А. Избранные философские сочинения и письма. М., 1987. С. 117—126.

[2] *Грибоедов А.С.* Горе от ума. IV. 4.

Все в жизни – к великому средство:
И горесть и радость – все к цели одной:
Хвала жизнодавцу Зевесу![3]

Он не может этого сказать, потому что жизнь его есть ряд беспрестанных мучений, беспрестанных разочарований, борьба без выхода и без конца – и это внутреннее распадение, эта внутренняя разорванность есть необходимое следствие отвлеченности и призрачности конечного рассудка, для которого нет ничего конкретного и который превращает всякую жизнь в смерть. И еще раз повторяю: общая недоверчивость к философии весьма основательна, потому что то, что нам выдавали до сих пор за философию, разрушает человека вместо того, чтобы оживлять его, вместо того, чтобы образовать из него полезного и действительно полезного члена общества.

Начало этого зла скрывается в Реформации. Когда назначение папизма – заменить недостаток внутреннего центра внешним центром – кончилось, когда он потерял ту внутреннюю, чисто духовную силу, которою он сосредоточивал в себе столько разнородных элементов европейской жизни, тогда разрушилось это великолепное здание его безграничного могущества, и последняя мера его – индульгенция – была уже явным признаком разрушения. Реформация потрясла его авторитет, но вместе потрясла и всякий другой авторитет и дала повод к бесконечным исследованиям во всех сферах жизни. Сюда принадлежит возрождение эмпирических наук и философии. Эмпирические науки, ограниченные созерцанием конечного мира, мира, доступного конечности чувственного, внешнего и внутреннего, созерцания, быстро продвигались вперед и в короткое время ознаменовались блистательным успехом; но вне конечного мира лежала еще другая сфера, недоступная чувственному созерцанию, – сфера духа, абсолютного, безусловного, и эта сфера сделалась предметом философии. Пробужденный ум, освободившись от пеленок авторитета, не хотел более ничего принимать на веру и, отделившись от действительного мира и погрузившись в самого себя, захотел вывести все из самого себя, найти начало и основу знания в самом себе.

Я мыслю, следовательно, я есмь.

Вот чем начала новая философия в лице Декарта; сомнение во всем сущем, опровержение всего, что до сих пор было известно и достоверно, не путем философского познавания; вот чем должен был начать всякий, кто только посвящал себя философии; и это вместе с главным началом опытного знания, эмпиризма, которое заключается в том, что всякое знание необходимо условливается непосредственностью присутствия познающего, составило главный характер ума, освобожденного Реформацией от папского авторитета, характер, который преимущественно выразился в XVIII веке в двух различных, друг другу противоположных и друг с другом неразрывно связанных сферах, в теоретической и практической, в философии Канта, Фихте, Якоби в Германии и в эмпирических философствованиях и рассуждениях Вольтера, Руссо, Дидерота, д'Аламберта и других французских писателей, облекших себя в громкое и незаслуженное название философов. Но ум человеческий, только что пробудившийся от долгого сна, не мог вдруг познать истину: действительный мир истины был не по силам ему, он еще не дорос до него и должен был необходимо пройти через долгий путь испытаний, борьбы и страданий, прежде чем достиг своей возмужалости; истина не дается даром, нет, она есть плод тяжких страданий, долгого мучительного стремления. Да, страдание есть благо: оно есть то очистительное пламя, которое преображает и дает крепость духу; страдание есть воспита-

[3] Жуковский В.А. Собр. соч. М.–Л., 1959. Т. 1. С. 214—215.

ние, разумный опыт духа, и дух, не получивший этого воспитания, не очищенный и не освященный страданием, есть не более как дитя, которое еще не жило и которому предстоит еще жизнь со всеми ее горестями и радостями. Кто не страдал, тот не знает и не может знать блаженства исцеления и просветления силою благодатной любви, которая есть источник жизни и вне которой нет жизни.

XVIII век был век второго падения человека в области мысли. Он потерял созерцание бесконечного и, погруженный в конечное созерцание конечного мира, не нашел и не мог найти другой опоры для своего мышления, кроме своего *я*, отвлеченного, призрачного, когда оно находится во вражде с действительностью. Канту пришла в голову странная мысль – поверить способность познавания прежде приступления к самому познаванию. Эта поверка составляет содержание его «Критики чистого разума». Но спрашивается, какое же другое орудие употребил он для поверки познавательной способности, как не эту же самую познавательную способность? Началом всякого познавания он признает первоначальное тождество *Я* в мышлении. Представления, данные в чувстве и созерцании, многоразличны по своему содержанию, но по формам своим, по пространству и времени принадлежат к чистому чувственному созерцанию чистого *Я*; соединение этого многоразличного в сознании чистого *Я* производится также посредством чистых форм рассудка, посредством категорий; но категории эти приложимы только к явлениям, данным в чувственном созерцании, и, следовательно, рассудок может познавать только явления конечного мира, потому что абсолютное и безусловное, не подлежащие условиям пространства и времени, недоступны для чувственного созерцания. Прилагая свои категории к безусловному и решая все вопросы, принадлежащие к этой сфере по закону необходимости, чистый рассудок впадает в антиномии, в противоречие, в утверждение двух совершенно противоположных положений – итак, мир чистого рассудка есть мир конечных явлений, и что познает он в этих явлениях? Пространство и время, необходимо условливающие всякое явление, принадлежат не к познаваемому предмету и суть не что иное, как чистые формы чувственного созерцания, формы, принадлежащие к познающему *Я*; различия между предметами принадлежат также не предметам, а суть не что иное, как чистые формы рассудка: что ж остается в познаваемом предмете? Отвлеченность, вещь сама по себе! Фихте, система которого есть логическое и необходимое продолжение критической системы Канта, уничтожил и этот последний призрак внешнего существования, доказав, что вещь сама по себе есть также произведение, проявление чистого *Я*, и весь внешний мир, вся природа была объявлена призраком: действительно только *Я*, все же остальное – призрак; всякое определение, всякое содержание должны были уничтожиться перед этим отвлеченным, пустым и, по мнению Фихте, абсолютным тождеством: *Я=Я*.

Итак, результатом философии рассудка, результатом субъективных систем Канта и Фихте было разрушение всякой объективности, всякой действительности и погружение отвлеченного, пустого *Я* в самолюбивое, эгоистическое самосозерцание, разрушение всякой любви, а следовательно, и всякой жизни, и всякой возможности блаженства, потому что любовь – только там, где два друг другу внешние предмета соединяются в одно силою понимания, не переставая быть различными, а не там, где один отвлекает от другого и погружается в самосозерцание. Такое самосозерцание есть источник адских мук, нестерпимых страданий, потому что, где нет любви, там – страдание. Но германский народ слишком силен, слишком действителен для того, чтобы сделаться жертвою пустого призрака; подобная философия есть разрушение религии и искусства, а религиозное и эстетическое чувства были в нем слишком глубоки и спасли его от этого отвлеченного и безграничного уровня, который потряс и чуть было не уничтожил Францию кровавыми и неистовыми сценами революции. Из этого страшного состояния безразличной и пустой субъективности было два выхода: или отказаться от мышления и броситься в другое, еще худшее отвлечение – в непосредственность своего субъективного чувства,

или разрешить это ужасное противоречие в области самого мышления: первое сделал Якоби, а второе – Шиллер. Результатом системы Якоби было то, что Гегель называет *прекраснодушием* (Schonseeligkeit) и что бы можно было также назвать *самоосклаблением*: это – прекрасная, но бедная, бессильная душа, погруженная в созерцание своих прекрасных и вместе бесплодных качеств и говорящая фразы не потому, чтоб она хотела говорить фразы, а потому, что живое слово есть выражение живой действительности, и выражение пустоты необходимо должно быть так же пусто и мертво. *Шиллер*, как ученик *Канта* и *Фихте*, вышел также из субъективности, которая явно выразилась в двух прекраснодушных драмах его – «Разбойники» и «Коварство и Любовь», где он восстает против общественного порядка. Но богатая субстанция Шиллера вынесла его из отвлеченности, из этого мира пустых призраков, и каждый новый год его жизни был шагом к примирению с действительностью: в своем сочинении об эстетическом воспитании он положил первое основание разумного философского начала как конкретного единства субъекта и объекта. *Шеллинг* возвел это единство до абсолютного начала, и, наконец, система *Гегеля* венчала это долгое стремление ума к действительности:

Что действительно, то разумно,
и
Что разумно, то действительно.

Вот основа философии Гегеля, основа, которая нашла еще много противников между призрачными современниками великого берлинского философа, а особливо возбудила негодование в рядах этой смешной *юной* Германии, которая хотела переделать свое умное отечество по своим детским фантазиям.

Обратимся теперь к Франции и посмотрим, каким образом проявилось в ней это разъединение *Я* с дей-ствительностию. Французы, исключая Декарта и Малебранша, никогда не возвышались до спекулятивного мышления, до умозрения; так называемая философия XVIII века была непосредственным результатом эмпирических исследований; рассуждения французов никогда не выходили из конечных категорий рассудка, только с тою разницею, что немцы, этот по преимуществу умозрительный народ, возвысились над эмпиризмом в отвлеченный элемент чистого рассудка и потому скоро сознали конечность и неспособность его охватить безусловное, абсолютное, и это сознание конечности рассудка было знаком возвышения в высший элемент мышления, в разум, который разрешает в себе противоречия. Французы же никогда не выходили из области эмпирических, произвольных рассуждений, и все святое, великое и благородное в жизни упало под ударами слепого, мертвого рассудка. Результатом французского философизма был материализм, торжество неодухотворенной плоти. Во французском народе исчезла последняя искра откровения. Христианство, это вечное и непроходящее доказательство любви Творца к творению, сделалось предметом общих насмешек, общего презрения, и бедный рассудок человека, неспособный проникнуть в глубокое и святое таинство жизни, отвергнул все, что только было ему недоступно; а ему недоступно все истинное и все действительное. Он требовал ясности, но какой ясности! Не той, которая лежит в глубине предмета, нет! – а на поверхности его; он вздумал объяснить религию – и религия, недоступная для конечных усилий его, исчезла и унесла с собою и счастие и спокойствие Франции; он вздумал превратить святилище науки в общенародное знание – и таинственный смысл истинного знания скрылся, и остались только одни пошлые, бесплодные, призрачные рассуждения; и Жан-Жак Руссо объявил, что просвещенный человек есть развращенное животное[4], и во Франции

[4] Здесь Бакунин как противник (в эти годы) философии Просвещения повторяет типичную ошибку комментаторов Ж. – Ж. Руссо, которые приписывали ему суждение, что культура, просвещение якобы «развратили» человека, пребывавшего в

произошло и должно было необходимо произойти в практической сфере то, что в Германии произошло в теоретической: революция была необходимым последствием этого духовного развращения. Где нет религии, там не может быть государства, и революция была отрицанием всякого государства, всякого законного порядка, и гильотина провела кровавый уровень свой и казнила все, что только хоть несколько возвышалось над бессмысленной толпой. Наполеон остановил революцию и восстановил общественный порядок, но он не мог излечить главной болезни Франции: он не возвратил ей религиозного чувства, а религия есть субстанция, сущность жизни всякого государства. И этот недостаток религии есть главная, внутренняя причина призрачности ее теперешнего состояния.

Я знаю, что не до́лжно произносить решительных суждений о каком-нибудь народе; если можно ошибиться, осуждая человека, то тем возможнее эта ошибка, когда дело идет о целом народе, которого субстанция глубже и таинственнее, чем субстанция одного частного человека; но если мы станем судить по фактам, то должны будем заключить, что у французского народа нет эстетического чувства. Посмотрите на оба момента французской поэзии, на классицизм и на романтизм, и вы увидите, что в этих двух противуположностях есть одно общее отсутствие истинной поэзии; французский классицизм не есть тот греческий классицизм, по преимуществу *прекрасный*, пластический, спокойный и ясный, как верное отражение прекрасного и светлого мира греков; нет, это есть бедное и жалкое подражание древним, это есть перенесение живого и вечно юного не в эстетическую субстанцию целого народа, а во вкус маленького, развращенного, гнилого кружка, лишенного того чувства бесконечного, которое составляет необходимое условие всякой поэзии, и вот почему простой мир греков преобразился во Франции в чопорное жеманство, в пошлую, холодную чувствительность и в отсутствие всякой простоты и естественности. Революция переворотила Францию, и она перешла из одной непросветленной односторонности в другую, противуположную ей и точно так же непросветленную односторонность: в романтизме ее точно такое же отсутствие поэзии, как и в классицизме. Классицизм был гнилым проявлением маленького исключительного кружка, романтизм же есть проявление целой непросветленной и неодухотворенной толпы; и вот почему новая литература Франции наполнена кровавыми и соблазнительными сценами, и вот почему она также наполнена фразами, с тою только разницею, что фразы ее классицизма были чопорны и жеманны, а фразы ее романтизма – неистовы: где нет созерцания бесконечного, там необходимо должны быть фразы, а где нет живой религии, там не может быть созерцания бесконечного. Французы из жеманства впали в естественность, но не в одухотворенную, не в просветленную естественность, а в отвратительную естественность мяса. И мудрено ли, что при таком отсутствии религиозного и эстетического чувства, которые составляют живую сущность народа, мудрено ли, что Франция впала в такое болезненное, в такое мучительное состояние? Вся жизнь Франции есть не что иное, как сознание своей пустоты и мучительное стремление наполнить ее чем бы то ни было, и все средства, употребляемые ею для наполнения себя, призрачны и бесплодны, потому что истинные бесконечные средства лежат в религии, в святом откровении божием – в христианстве, а они не знают и не хотят знать христианства; им нужно *новое*, по словам их безбожного патриарха Вольтера, который говорил: Il nous faut du nouveau n'en ail plus au monde.[5]

Находясь вне христианства, они чувствуют потребность религии и стараются выдумать свою религию, не зная, что религия – не от рук человеческих, а есть откровение божие и что вне христианства нет и не может быть истинной религии: вот источник смешного сенсимонизма и других религиозных сект, если их можно только назвать религиозными. Французы бросаются в философию, заимствуют у англичан, у немцев и по тому же самому недостатку бесконечной субстанции превращают философию и всякую истину в пустые, бессмысленные фразы,

«естественном состоянии», хотя Руссо на самом деле не доводил антитезу «дикарства» и «культуры» до такой крайности.

[5] Нам нужно новое, хотя бы его и не было больше на свете *(фр.)*.

в произвольность и анархию мышления и в стряпание новых идеек. Нового, нового, старое нам надоело – вот общий девиз юной Франции, и это беспрестанное стремление от пустого старого к пустому новому есть источник *моды*, одной постоянной богини французов, и они приносят ей в жертву все, что только есть святого, истинно великого в жизни. И много, много еще пройдет времени до тех пор, пока Франция не сделается тою великою нациею, какою она себя воображает.

Но болезнь Франции не ограничилась Францией; это отсутствие религии, эта внутренняя пустота, эта philosophie du bon sens[6] распространились далеко за границу ее и составили общую болезнь XVIII века. Болезнь страшная, мучительная, выход из которой есть сознание своей бесконечной пустоты, и великий Байрон был поэтическим выразителем этого сознания, этого мучительного перехода от XVIII века к XIX, от болезни к выздоровлению. Его поэзия есть вопль отчаяния, раздирающий вопль страдающей души, погруженной в созерцание своей пустоты и своего равнодушия ко всему, что есть святого и прекрасного в жизни, это есть глубокая потребность любви, делающая его неспособным привязаться к конечным благам мира сего, и неспособность возвыситься над конечностью и над призрачностью ледяного мира все умерщвляющего рассудка. И выход, единственно для него возможный, есть стоицизм, окаменение и насильственное равнодушие пустого *Я*; жалкий, бедный выход в сравнении с тем, который нам предлагает наша божественная религия, в сравнении с выходом в просветлении посредством и силою благодатной любви, исцеляющей все раны стремящегося и жаждущего человека.

Эта болезнь распространилась, к несчастью, и у нас. Несмотря на благородные усилия Жуковского и некоторых других писателей познакомить нас с германским миром, мы почти все воспитаны на французский манер, на французском языке и французскими мыслями. Нападки на французских гувернеров будут не новостью: какому-нибудь портному или сапожнику, выгнанному из Франции голодом, потому что он свое ремесло худо знает, поверялось воспитание детей.

Мы все учились понемногу
Чему-нибудь и как-нибудь:
Так просвещеньем, слава богу,
У нас немудрено блеснуть.[7]

И эта односторонность, эта пустота нашего домашнего воспитания есть главная причина призрачности нашего нового поколения. Вместо того, чтобы разжигать в молодом сердце искру божию, положенную в него самим провидением; вместо того, чтобы пробуждать в нем глубокое религиозное чувство, без которого жизнь не имеет и не может иметь никакого значения и превращается в бессмысленное прозябание; вместо того, чтоб образовать в нем глубокое эстетическое чувство, которое спасает человека от всех грязных, непросветленных сторон жизни; вместо всего этого его наполняют пустыми, бессмысленными французскими фразами, которые убивают душу в ее зародыше и вытесняют из нее все, что в ней есть святого, прекрасного. Вместо того, чтоб приучать молодой ум к действительному труду; вместо того, чтоб разжигать в нем любовь к знанию и внушать ему, что знание есть само себе цель, есть источник великих, неистощимых наслаждений и что употребление его как средства для блистания в обществе есть святотатство, его приучают к пренебрежению трудом, к легковерности, к пустой блестящей болтовне обо всем. И мудрено ли, что подобное воспитание образует не крепкого и действительного русского человека, преданного царю и отечеству, а что-то такое среднее, бесцветное и бесхарактерное? И еще раз повторяю: вот источник нашей общей болезни, нашей

[6] Философия здравого смысла *(фр.)*.

[7] *Пушкин А.С.* Евгений Онегин. I. 5.

призрачности! Разверните какое вам угодно собрание русских стихотворений и посмотрите, что составляет, а особливо составляло пищу для ежедневного вдохновения наших самозванцев-поэтов: бессильное и слабое прекраснодушие. Один объявляет, что он не верит в жизнь, что он разочарован, другой, что он не верит дружбе, третий, что он не верит любви, четвертый, что он хотел бы сделать счастие своих собратий-людей, но что они его не слушают и что он оттого очень несчастлив. Но оставим этих призрачных поэтов призрачного самоосклабления и обратим свое внимание на великого Пушкина, на этого чисто русского гения, рассмотрим главные моменты его жизни, и мы увидим в его развитии удивительную логическую последовательность. Он также получил ложное, призрачное воспитание и был некоторое время в том состоянии, которое он так ясно, так могущественно описал в своем «Онегине»; он также начал прекраснодушною борьбою с действительностью и прошел через долгие и мучительные испытания. Борьба и примирение с действительностью дорого стоили ему: борьба с действительностью должна была повергнуть его в отчаяние, потому что действительность всегда побеждает, и человеку остается или помириться с нею и сознать себя в ней и полюбить ее, или самому разрушиться – и посмотрите, как было глубоко отчаяние Пушкина:

Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?
Кто меня враждебной властью
Из ничтожества воззвал,
Душу мне наполнил страстью,
Ум сомненьем оковал?
Цели нет передо мною:
Сердце пусто, празден ум.
И томит меня тоскою
Однозвучный жизни шум.[8]

Но Пушкин не мог долго оставаться в этой призрачности: его гениальная субстанция вырвала его из этой бесконечной пустоты духа и насильно вела его к примирению с действительностью.

За этим отчаянием, за этой сухостью духа последовала тихая, благотворная грусть, как светлый луч неба, как вестница очищения и просветления, и он выразил свое преображение в этих прекрасных стихах:

Безумных лет угасшее веселье
Мне тяжело, как смутное похмелье.
Но, как вино – печаль минувших дней
В моей душе чем старе, тем сильней.
Мой путь уныл, сулит мне труд и горе
Грядущего волнуемое море.
Я не хочу, о други, умирать;
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать,
И ведаю, мне будут наслажденья
Меж горестей, забот и треволненья:
Порой опять гармонией упьюсь,

[8] Стихотворение А.С. Пушкина «Дар напрасный, дар случайный…».

Над вымыслом слезами обольюсь,
И может быть – на мой закат печальный
Блеснет любовь улыбкою прощальной.[9]

Да, грусть есть начало просветления духа: она освежает душу, она есть начало веры, начало любви; грусть есть начало выздоровления, и Пушкин скоро выздоровел: в то самое время, как все думали, что его поэтический гений угас, потух под тяжестью светских забот, он совершал свое великое примирение с действительностью, и его последние произведения, напечатанные в «Современнике», торжественно доказывают это.

Да, счастие – не в призраке, не в отвлеченном сне, а в живой действительности; восставать против действительности и убивать в себе всякий живой источник жизни – одно и то же; примирение с действительностью, во всех отношениях и во всех сферах жизни, есть великая задача нашего времени, и Гегель и Гете – главы этого примирения, этого возвращения из смерти в жизнь. Будем надеяться, что наше новое поколение также выйдет из призрачности, что оно оставит пустую и бессмысленную болтовню, что оно сознает, что истинное знание и анархия умов и произвольность в мнениях совершенно противуположны, что в знании царствует строгая дисциплина и что без этой дисциплины нет знания. Будем надеяться, что новое поколение сроднится наконец с нашею прекрасною русскою действительностью и что, оставив все пустые претензии на гениальность, оно ощутит наконец в себе законную потребность быть действительными русскими людьми.

Гегель восстает против самолюбивой и смешной уверенности нашего времени, что можно быть философами и учеными без всякого труда и усилия; говорит, что эта глупая уверенность, завлекая слабых людей, отрывает их от всякого другого поприща, на котором они могли бы быть действительными и полезными людьми. Для доказательства этого мы перевели три речи из говоренных им на публичных актах Нирембергской[10] гимназии, из которых одна по распоряжению редакции помещается здесь, а другая предназначается для следующей книжки «Наблюдателя».

[9] Стихотворение А.С. Пушкина «Элегия».

[10] Правильнее: Нюренбергский.

О философии[11]

Статья первая

Нигде так сильно не является разноголосица, составляющая существенный характер нашей современной литературы, как в вопросе о философии: одни утверждают, что философия есть действительная, высшая наука, разливающая свет на все отрасли знания и требующая положительного изучения; другие же, напротив, уверяют, что она не более как сброд фантазий, пустая игра воображения, мешающая развитию других положительных наук. Одни говорят, что человек, занимающийся ею, – погибший человек, потому что она отрывает его от всякой действительности, убивает в нем всякое верование, поселяет в нем сомнения и из здорового, крепкого, для себя и для общества полезного человека превращает его в болезненное, фантастическое и решительно бесполезное существо; другие же, напротив, утверждают, что философия есть единственное средство к уничтожению всякого сомнения, всякой духовной болезни, единственное средство к примирению человека, уже подпавшего раз пагубному влиянию скептицизма, с действительностью, с небом и землею.

Откуда же это противоречие и есть ли возможность разрешить его? Разрешение же его должно интересовать всякого благомыслящего человека, всякого друга просвещения, потому что польза, обещаемая с одной стороны, и вред, представляющийся с другой, так сильны и резки, что не могут не обратить на себя внимания. Этот вопрос – один из важнейших вопросов нашего времени, и потому всякий, принимающий участие в нашем родном, русском просвещении, должен по мере сил своих способствовать к его разрешению.

Одна из главных причин недоразумения есть большей частью *неопределенность* понятий и выражений, и потому мы постараемся прежде всего определить, *что такое философия*, для того чтоб потом, основываясь на определенном понятии ее, быть в состоянии разрешить два другие вопроса: *полезна ли философия и возможна ли она?*

Что такое *философия* и в чем состоит предмет ее? – вот первый вопрос, представляющийся нашему исследованию. Философия, в переводном смысле этого слова, значит «любомудрие» – выражение, которое и до сих пор еще употребляется некоторыми из наших писателей, но оно слишком неопределенно; любить мудрость может всякий, не будучи философом и не занимаясь философиею как наукою. Весьма жалко было бы, если бы мудрость и любовь к ней были исключительным достоянием только малого числа людей, занимающихся философией, и оставались недоступными для прочих. Эти прочие составляют большинство человеческого рода, а человеческий род, на какой бы степени развития ни был, жаждет мудрости и не может существовать без нее. Есть практическая мудрость, вытекающая из религиозного образования человека и составляющая одну из существенных основ государственного благосостояния: это – мудрость семьянина, мудрость члена гражданского общества, государственного человека, приобретаемая религиозным воспитанием, познаниями и опытом жизни. Петр Великий не был философом, но никто не станет отрицать в нем мудрости и любви к мудрости. Явно, что слово «любомудрие» образовалось в Греции, когда наука не приобрела еще самостоятельности и когда под именем философии разумели политическую мудрость и житейское благоразумие вообще. Слова «философия» и «философ» употребляются у нас еще и в другом значении; чиновник, не получивший ожидаемого им награждения, говорит: «Я – философ и с твердостию переношу свое несчастье!» Нисколько не думая отрицать твердости и высокой

[11] Впервые опубликована в журнале «Отечественные записки» (1840. Т. IX. № 4. Отдел II. С. 51—78). В настоящем издании текст печатается по: *Бакунин М.А.* Избранные философские сочинения и письма. М., 1987. С. 138—157.

добродетели, необходимых для такого геройского поступка, мы все-таки не можем принять этого совершенно особого значения слова «философия» в круг нашего исследования.

С некоторого времени у нас ввелось обыкновение – и это обыкновение перешло к нам от французов – называть всякое резонерство философиею; в этом смысле и Фамусов, рассуждая о худых последствиях невоздержности, говорит:

Куда как чудно создан свет!
Пофилософствуй– ум вскружится!
То бережешься, то обед;
Ешь три часа, а в три дня не сварится![12]

Во Франции беспрестанно выходят романы под названием «Roman philosophique»[13]; некоторые из них полны глубокого интереса, проникнуты важнейшими вопросами настоящего времени, но не менее того они не имеют права на имя философских: можно быть весьма образованным человеком, принимать сильное и счастливое участие в вопросах времени и не быть философом. Философия есть положительная, сама в себе заключенная и последовательная наука; резонерство же и обыкновенные рассуждения не имеют и не могут иметь притязания на наукообразную последовательность. Это обыкновение, образовавшееся в школе так называемых французских философов XVIII века, имело самые вредные последствия для философии: пустое резонерство, поверхностные и легкомысленные рассуждения произвели много зла на земле и погубили многих молодых людей, оторвав их от существенных и важных интересов жизни и предав их пагубному владычеству необдуманного и бессмысленного произвола. А так как они облекались в громкое имя философии, то вследствие этого и произошло общее мнение, что философия, безбожие и либерализм, опасные для благосостояния общества, – одно и то же. Но это мнение совершенно ложно: человек, истинно мыслящий и действительно занимающийся философией, не может быть легкомысленным и никогда не будет безбожником и пустозвонным либералом; первый действительный шаг в области истинной философии есть уже отрицание всякого легкомыслия; в постепенном развитии своем философия может впадать в односторонность, в отвлечение, но ее стремление всегда важно, всегда проникнутое глубокою любовью к истине: такая философия никогда не будет безбожною и анархическою, потому что сущность ее жизни и ее движения состоит в искании Бога и вечного, разумного порядка.

Что же такое философия? Некоторые германские писатели XVIII века стали называть ее «светскою, мирскою мудростью» (Weltweissheit) в противоположность религиозному знанию[14]. Но это выражение также неопределенно и не обнимает всей сущности философии: практический опыт жизни, знание света и частных обстоятельств, составляющих современное состояние его, могут быть также названы мирскою мудростью, несмотря на то что они не принадлежат к философии и возможны вне ее. Вероятно, ей дали это название потому, что она не ограничивается только одним отвлеченным бесконечным, но обнимает и конечную сторону жизни – природу и человеческий дух; но ведь она не ограничивается также и конечным, обращается к нему не для того, чтоб остановиться на нем, но для того, чтобы понять связь, единство его с бесконечным. Предмет философии не есть отвлеченное конечное, точно так же как и неотвлеченное-бесконечное, но конкретное, неразрывное единство того и другого: *действительная истина и истинная действительность.*

Итак, философия есть *познание истины*. Гегель, увенчавший системою своею величественное здание новой германской философии, говорит, что теперь настало время, когда фило-

[12] *Грибоедов А.С.* Горе от ума. II. 1. Бакунин цитирует текст неточно.

[13] «Философский роман» (*фр.*).

[14] Сюда принадлежат братья *Шлегели* и их школа.

софия из любви к мудрости, к истине должна превратиться в действительное знание истины. Но и это определение для *нас* еще не довольно определенно. Что подразумевается здесь под словами *знание и истина?* Когда я знаю, например, что в моей комнате стоит стол, то ведь это также – знание истины, потому что стол в самом деле стоит в моей комнате; по крайней мере многие из наших врагов философии не посовестятся назвать такое знание истинным; а если и посовестятся, то не иначе как изменив своему тайному началу, состоящему в отрицании всякой другой истины, кроме бесконечного многоразличия случайностей, наполняющих мир. Что стол стоит в моей комнате, может быть совершенно *справедливо*, но это не более как случайность, не заключающая в себе никакого интереса и не имеющая права на название истины, ибо одно из главных определений истины есть *необходимость.*

В наше время многие отрицают пребывание «необходимости» в истории, а следовательно, видят в ней не более как пустую игру случайностей и, несмотря на это, утверждают в пользу истории и называют ее наукою. Но в этом заключается явное противоречие: если всемирная история в самом деле – не более как бессмысленный ряд случайностей, то она не может интересовать человека, не может быть предметом его знания и не в состоянии быть ему полезною. Случайным называем мы то, что не имеет *в самом себе* необходимой причины своего пребывания, что есть не по внутренней необходимости, но по *внешнему*, а следовательно, и случайному столкновению других случайностей. Случайно то, что могло бы быть и иначе. Интересовать же человека и быть ему полезным может только то, что имеет в себе какой-нибудь смысл, какую-нибудь связь; а если эта связь случайна, то все человеческое знание низложится до мертвой работы *памяти*, обязанность которой будет заключаться единственно только в *сохранении* случайного пребывания случайных, единичных фактов друг подле друга и друг за другом. Но сущность всякого познавания состоит именно в самодеятельности духа, отыскивающего внутреннюю, необходимую связь в фактах, разрозненных во внешности; дух приступает к познаванию с верою в необходимость, и первый шаг познавания есть уже отрицание случайности и положение необходимости. И потому, говоря об истине, мы будем уже разуметь под этим словом не что-нибудь случайное, но *необходимую истину*.

Кроме этого, слово «истина» употребляется еще и во множественном числе; обыкновенно говорят о математической, исторической и других истинах, и каждая из них имеет свою собственную внутреннюю связь, свою собственную необходимость. Но соединены ли эти *особенные* истины какою-нибудь высшею связью? Есть ли в них *всеобщее единство?* Было время, когда каждая из таких *особенностей* становилась исключительным и почти единственным предметом изучения, так что ученый, занимавшийся одною из них, не хотел и не считал себя обязанным знать о других; это раздробление единой и нераздельной истины на особенные, друг для друга внешние и друг к другу равнодушные участки было непосредственным результатом *эмпиризма*, основанного в конце XVI века английским лордом *Бэконом*, бароном веруламским; оно было необходимо для полной и точной разработки обширного поля действительности естественного и духовного мира, бесконечное многоразличие его должно было раздробиться на особенные и ограниченные части для того, чтобы сделаться доступным подробному исследованию, и в XVII веке образовалось множество особенных, друг от друга совершенно не зависимых ученых направлений: одни, ограничиваясь исследованием природы, не вмешивались в область духовной жизни, другие же, напротив, избрав область духа, не имели понятия о природе; мало того, как будто не доверяя силам своим, ученые XVII и большей половины XVIII века старались по возможности раздробить и эти две огромные половины действительного мира; иной предавался исключительному изучению римского права, не подозревая того, что право какого бы то ни было народа понятно только из его истории и что история особенного народа получает жизнь и смысл только в связи своей с историей целого человечества; таким образом раздробление доходило до невероятной крайности. С одной стороны, оно было весьма полезно, но с другой – оно совершенно разрушило живую связь, соединяющую знание с жиз-

нью, и породило множество странных, ограниченных, педантических и мертвых ученых, чуждых все-му прекрасному и высокому в жизни, недоступных для всеобщих и бесконечных интересов духа, слепых и глухих в отношении к потребностям и к движению настоящего времени, влюбленных в мертвую букву, в безжизненные подробности своей специальной науки. И до сих пор еще встречаем математиков, зарытых в своих формулах и не подозревающих, что за этими формулами кипит прекрасная, полная глубокого, бесконечного содержания жизнь [15]; и теперь еще встречаем медиков, которые не имеют понятия о том, что есть жизнь и развитие духа, независимые от законов органической жизни. Но в наше время такие явления – анахронизмы; наше время, в противоположность прошедшему веку, стремится ко всеобщему, живому знанию; оно, слава богу, поняло, что только живое знание истинно и действительно, что жизнь есть тот необъятный, вечно бьющий родник, который дает ему бесконечное, единственно достойное его содержание; оно поняло, наконец, что *буква мертвит и что только единый дух живит*, а сознало вместе, что этого живого и животворящего духа должно искать не в мелких и разрозненных частностях, но во *всеобщем*, осуществляющемся в них, и что все различные отрасли знания составляют одно величественное и органическое целое, оживленное всеобщим единством, точно так же как все различные области действительного мира суть не более как различные гармонически устроенные проявления *единой, всеобщей и вечной истины*. Всеобщее было всегда единственным предметом философии, и это – одно из высоких преимуществ и заслуг ее; она всегда искала мысли, значения действительного мира; мысль же по существу своему есть всеобщее; стараться понять какое-нибудь явление и искать в нем всеобщего – одно и то же. Но до появления так называемой эмпирической философии это стремление было отвлеченно; оно ограничивалось только отвлеченным понятием, отвлеченным всеобщим, отвлекало(сь) от его *действительности*, а потому и не обнимало всей конкретной и целостной истины, которая состоит в их неразрывном единстве. Всеобщее имеет реальное осуществление: оно осуществляется как действительный естественный и духовный мир; это – существенный и необходимый момент его вечной жизни, и великая заслуга *эмпиризма* состоит в том, что он обратил внимание мыслящего духа на действительность всеобщего, на конечный момент бесконечного, на разнообразие естественной и духовной жизни; он впал и по существенному характеру своему должен был необходимо впасть в другую крайность: за разнообразием конечного многоразличия действительного мира он потерял из вида единство бесконечного… Но никакая ложь не может удержаться во всемогущей диалектике исторического развития духа, и потому что заблуждение исчезло, и нашему веку было предоставлено понять неразрывное и разумное единство всеобщего и особенного, бесконечного и конечного, единого и многоразличного. Вследствие этого под словом «истина» мы будем уже разуметь *абсолютную, т. е. единую, необходимую, всеобщую и бесконечную истину, осуществляющуюся в многоразличии и в конечности действительного мира.*

Итак, философия есть *знание абсолютной истины*. Нам известно уже значение слова «истина», но неизвестно еще значение *философского знания*, в чем состоит оно и какая разница между ним и обыкновенным знанием? Вот вопрос, от разрешения которого зависит теперь разрешение нашего главного вопроса, вопроса о сущности философии. Понятие абсолютной истины, определенное нами перед сим, должно руководить нас в предстоящем исследовании; абсолютная истина есть единственный предмет философии, и потому только знание, обнимающее ее, может быть названо философским. Вследствие этого знание случайностей, какого бы рода они ни были, уже само собою исключается из области философского ведения, главный предмет которого есть *всеобщее и необходимое*. Однако ж и *эмпирические науки* также

[15] Гете говорит, что всякий, имеющий календарь, никогда не позабудет великих заслуг математиков; но что математики, в свою очередь, не должны также позабывать, что они все имеют, кроме двух вещей: любви и духа *Goethe*. Maximen und Reflexionen. Weimar; Stuttgart, 1949. Af. 1254.

не имеют другого предмета: они также не останавливаются на явлении, на особенных фактах, но отыскивают в них *всеобщие и необходимые законы и причины* их существования. Какая же разница между ними и философиею?

Для пояснения этого вопроса рассмотрим сперва сущность *эмпиризма*. Какое главное основание его? Опыт! *Только то достоверно, что входит в область опытного созерцания человека,* – вот его основное положение; но что же входит в область опыта? То, что дается нам нашим внешним или внутренним созерцанием, – внешние и внутренние впечатления; это – первое. Но непосредственное созерцание не ограничивается впечатлениями; оно группирует их вокруг единичных центров и дает нам множество отдельных предметов, имеющих многоразличные качества и расположенных друг подле друга в пространстве и друг за другом во времени; впечатления, данные нам прежде всего чувственным созерцанием, не остаются разрозненными, но собираются вокруг нескольких центров и составляют различные качества различных предметов. Например, я вижу перед собою несколько домов, дорогу, небо и т. д.; если я стану разбирать это созерцание, то увижу, что в нем заключаются две вещи: во-первых, впечатления: желтое, красное, синее и другие – и, во-вторых, собрание всех этих впечатлений вокруг нескольких центров, составляющих друг от друга отдельные и друг для друга внешние предметы: дома, небо, улицы и так далее, качества которых явились мне сначала в форме различных впечатлений. Вследствие этого мы должны различать в чувственном внешнем созерцании две различные деятельности: 1) *восприемлемость*, дающую нам многоразличие впечатлений в пространстве и во времени, и 2) *самодеятельность* мысли, приводящей многоразличное к единству, принимающей различные впечатления как качества единичных, друг от друга отдельных предметов и сознающей взаимное отношение этих предметов. Одним словом, в самом чувственном созерцании, как в созерцании человека, уже является *бессознательная* деятельность мысли (т. е. всеобщего), бессознательная, потому что чувственное созерцание само не сознает ее: обе деятельности в нем одновременны и неразрывно связаны. То же самое происходит и во внутреннем, духовном созерцании человека, в котором весь духовный мир его является ему непосредственно; внутреннее созерцание дает нам также разнообразие внутренних ощущений: гнева, радости, страдания, влечения и т. д. и приведение этого многоразличия к единству. Таким образом, знание наше, основанное на непосредственном созерцании, есть сначала представление отдельных и друг от друга различных предметов чувственного и духовного мира; это знание есть необходимая степень в феноменологическом развитии человека и принадлежит равно как *обыкновенному сознанию*, так и эмпиризму; но эмпиризм точно так же, как и обыкновенное сознание, не останавливается на нем: они не останавливаются на равнодушном пребывании предметов друг подле друга и друг за другом, – оба стараются найти деятельное отношение предметов между собою, найти *всеобщее и необходимое* в их многоразличии; оба получают содержание и достоверность своего содержания от непосредственного созерцания, от внутреннего или внешнего чувства, и оба стремятся проникнуть его всеобщим, мыслию. Какая же существенная разница между ними? Ее трудно определить, потому что между ними нет характеристической границы, потому что они более или менее друг с другом сливаются и потому что открытия, делаемые эмпиризмом, рано или поздно переходят в область обыкновенного, образованного сознания; оба принадлежат к опытному знанию; деятельности их совершенно одинаковы, и между ними только та разница, что обыкновенное сознание рассуждает без всякой системы, не имеет претензии на наукообразную последовательность и перескакивает от одного рода предметов к другому, в то время как эмпиризм облекает себя в громкое имя науки, старается дать открытиям своим хоть наружный вид необходимой последовательности и подвести их под внешнюю систему.[16]

[16] Для того чтобы убедиться в этом, довольно просмотреть «Физику» Щеглова (*Щеглов Н.П.* Руководство к физике. СПб., 1829–145.), или «Антропологию» Шульца(Возможно, Бакунин имел в виду работу Г.Э. Шульце «Психическая антрополо-

Мы сказали, что деятельность обыкновенного сознания и деятельность эмпиризма совершенно одинаковы; постараемся объяснить и доказать это, для того чтобы предупредить и уничтожить всякое недоразумение. Разрешение этого вопроса у нас в России тем важнее, что мы почти не следовали за развитием философской мысли в новейшее время; если б мы знали, например, что непосредственным и необходимым результатом эмпиризма были материализм и натурализм XVIII века, то, верно, не стояли бы так крепко и так упорно за непреложность эмпиризма, но постарались бы проникнуть в его слабую сторону и освободиться от постыдных сетей, которыми он опутывает свободный и бессмертный дух человека.

Как образуется обыкновенное сознание? Человеку представляется бесконечное многоразличие чувственного и духовного мира; он проникает в это многоразличие, хочет понять его, сродниться с ним; его окружает бесконечное множество преходящих и случайных единичных предметов, и он ищет в них постоянного, неизменяемого; он хочет знать всеобщую и необходимую причину их пребывания, неизменяемый закон их жизни, их изменяемости и развития. Разумный и единый по своей сущности дух человека ищет разумности и единства в многоразличии окружающего его мира; что же делает он для удовлетворения этой потребности? Он не останавливается на единичности явлений, но сравнивает их между собою и отвлекает от их особенностей для того, чтобы найти в них *всеобщее и необходимое*. Например, для того чтобы понять причину и сущность дождя, грозы, ветра и так далее, человек наблюдает сперва эти единичные явления, но потом отвлекается от *этого* дождя, от *этой* грозы, от тех случайных и внешних обстоятельств, при которых они *именно теперь* явились и которыми они *теперь* условлены, для того чтоб, основываясь на многих подобных наблюдениях, возвыситься до всеобщего и необходимого закона образования туч, до сущности электричества и так далее. Кроме того, человек не ограничивается исследованием какого-нибудь одного рода явлений; он ищет первоначального и высшего закона естественной и духовной жизни, а этот закон должен обнимать все явления, все различные области действительного мира. Каким же образом узнать его? Для этого должно наблюдать за проявлениями его во всех областях действительности без исключения; должно изучать все естественные, исторические и другие факты; мало того: должно понять живую связь между природою и духом, их взаимное отношение. Одним словом, человек, отправляясь от внешнего и случайного многоразличия, которое окружает его, должен возвыситься до единого, всеобщего и необходимого начала, должен понять необходимое обособление (Besonderung) первоначального закона в множестве других частных законов и осуществление его в действительном мире. Обыкновенное сознание стремится к этой цели посредством наблюдения, сравнения, отвлечения и аналогии; но достаточны ли эти средства и могут ли они довести до цели?

Всякий человек образуется под непосредственным влиянием того общества, в котором он родился; но каждая нация, каждое государство имеет свою особенную нравственную сферу, свои поверья, свои предрассудки, свою особенную ограниченность, зависящие отчасти от его индивидуального характера, от его исторического развития и от отношения его к истории целого человечества. Каждое государство и каждое время имеют свои особенные понятия и свое особенное воззрение на жизнь; мало того, всякое государство распадается на несколько различных общественных слоев, и каждый из них имеет, в свою очередь, свою индивидуальную черту, свою собственную особенность – так что обыкновенное сознание развивается под самым многоразличным влиянием. С воспитанием ума всасывает оно в себя готовые понятия, готовую нравственную и духовную сферу, и деятельность его, по сущности своей всегда

гия» (1816).), или хоть «Опыт истории философии по Рейнгольду», составленный Ф. Надежиным(*Надежин Ф.С*. Очерк истории философии по Рейнтгольду. СПб., 1837.) (Санкт-Петербург, 1830 г.). Г. Надежин – очень ученый человек, знает множество фактов; но, обогатившись множеством познаний, он, по нашему мнению, позабыл приобресть одно – *истинное значение*; вследствие этого он резонерствует там, где следовало бы понимать и мыслить, и его «Очерк истории философии» есть не что иное, как сухая компиляция. – Соч(инитель).

одинаковая, видоизменяется физическими и духовными обстоятельствами, окружающими его. Вследствие этого развитие его всегда бывает ограниченно и односторонне, и оно не может быть способно к обнятию абсолютной истины.

Обыкновенное сознание приступает к действительному, естественному и духовному миру с бессознательною верою, что во внешнем многоразличии этого мира пребывает абсолютная истина; вера эта является в то, что она не останавливается на равнодушном и случайном многоразличии единичных предметов, но отыскивает в нем единство, всеобщность и необходимость; она не удовлетворяется каким-нибудь частным законом или многими относительно-всеобщими законами, но старается привести их ко всеобщему, абсолютному единству. Бессознательна же эта вера потому, что она не имеет ясного сознания о единственной и главной цели своего стремления, об абсолютной истине.

Сообразно с сущностью своею обыкновенное сознание может находить абсолютную истину только в ее многоразличном проявлении, и для этого оно должно бы было обнять все бесконечное разнообразие действительного мира; но оно бывает всегда односторонне и ограниченно и обнимает только весьма малую часть этого разнообразия, часть, нуждающуюся в дополнении другими частями, а потому оно и не может обнять абсолютной истины. Чем же помочь этому злу и каким образом уничтожить ограниченность естественного сознания? В этом заключается главная задача эмпиризма как науки, и мы разберем его как можно подробнее, для того чтобы узнать, точно ли достигает он своей цели.

Эмпиризм как наука освобождает естественное сознание от его индивидуальной ограниченности, от его предрассудков и вырывает его из оков определенного пространства и определенного времени, обогащая опытность его опытами, сделанными на других пространствах и в другие времена; он по возможности расширяет духовную сферу обыкновенного сознания; но для того, чтобы достичь своей цели, он должен уничтожить всякую ограниченность, всякую односторонность, должен обнять все бесчисленные прошедшие, настоящие и будущие явления действительного мира. Может ли он это сделать? Нет, и следовательно, эмпиризм также не способен к познанию абсолютной истины; он сильно способствует к расширению кругозора обыкновенного сознания; он не ограничивается опытами одного народа или одного определенного времени и старается обогатиться опытами всех народов и всех времен; но и это стремление имеет свою границу, и до тех пор пока граница эта существует, познание абсолютной истины невозможно. Как же уничтожить ее? И есть ли средство для совершенного освобождения эмпиризма, опытного знания, от конечных условий пространства и времени? Решительно нет. Кроме этого, мы сказали выше, что одно из существенных различий между обыкновенными сознанием и эмпиризмом состоит в том, что обыкновенное сознание познает без всякой наукообразной последовательности; эмпиризм же старается облечь познания свои в наукообразную форму. В чем же состоит эта наукообразность? В совершенно внешнем и более или менее произвольном подразделении; для того чтоб убедиться в этом, стоит только просмотреть любой курс физики, химии или даже логики, потому что и логика в том виде, в каком она у нас обыкновенно преподается, принадлежит также к разряду чисто эмпирических наук; в физике, например, рассматриваются сперва «общие свойства тел и их различные состояния», потом «общие понятия о равновесии и движении», потом переходят к статике, к динамике, а потом говорят о твердых телах в особенности, о их фигуре, скважности, непроницаемости и пр., а потом о капельно-жидких телах, о воздухообразной жидкости и так далее; и не должно думать, чтоб все эти статьи имели между собою необходимую связь, чтоб последовательность их была условлена необходимым развитием самого познаваемого предмета, – одним словом, чтоб они составляли органическое, живое целое, проникнутое одной всеобщею мыслью. Нет, это не более как сброд частных сведений, не более как совершенно произвольная и внешняя классификация, способствующая только к *возможной* полноте и точности фактов и частных законов, проявляющихся в них. Но такое знание, такая наукообразность не могут удо-

влетворить человека: он стремится к полному разумению окружающей его действительности, стремится к уничтожению чуждой ему внешности, а единственное средство для достижения этой цели есть полное разумение; знание же многоразличных фактов или хоть многоразличных частных законов не есть еще истинное знание: истинное знание ищет всеобщего единства, пребывания единой всеобщей мысли в предстоящем ему многоразличии, и, пока животворящая мысль эта не найдена, пока многоразличие не проникнуто ею и не стало прозрачным для познающего духа, до тех пор еще истинное знание не осуществилось, и дух человека, познающий эмпиризм, как опытное знание, не останавливается на внешнем и непонятном для него многоразличии, но стремится уничтожить бессмысленную кору, мешающую ему проникнуть в него: эмпиризм становится *теориею*.

Между чистыми эмпириками и теоретиками существует давнишний, для них еще и до сих пор не решенный спор: теоретики говорят, что эмпиризм, ограничиваясь только одними фактами, погружается в букву, не находит в ней духа и не удовлетворяет главной потребности знания, требующего мысли, а не сухих фактов; эмпирики же утверждают, напротив, что теории ни к чему не служат и что они не более как фантастические блестки, ни на чем не основанные и ничем не доказанные. Как те, так и другие правы. Мы заметили выше, что одни факты, не проникнутые единою и всеобщею мыслью, не могут удовлетворить познающего духа, и потому мы не можем не согласиться с упреками, делаемыми сухим собирателем фактов; и нам остается только исследовать сущность и образование теории, для того чтобы убедиться, что и сухие эмпирики, восстающие против теории, в свою очередь, правы. Как образуются теории и что служит им исходным пунктом? Опытное наблюдение, многоразличие фактов и частных законов, подмеченных эмпиризмом. Но многоразличием не удовлетворяется знание: знание требует единства в многоразличии; что же делают теоретики для того, чтобы найти его? Они прибегают к *гипотезам, к предположениям*: теоретик принимает какую-нибудь мысль, какое-нибудь общее определение за начало и старается объяснить и вывести из него все факты, все частные законы, входящие в состав занимающей его науки. Но чем же может быть доказана истина, необходимость такой мысли? Она не более как предположение: с одной стороны, она основывается на том более или менее обширном опытном наблюдении, из которого она извлечена, с другой же стороны, она оправдывается тем, что большая часть фактов в самом деле под нее подходит. Другое доказательство для нее невозможно. Если бы теоретик захотел доказать истину и необходимость своего главного начала, не прибегая к наблюдениям и не поверяя его опытом, если бы он решился отвлечься от эмпирической достоверности, тогда бы лишился последнего основания, последней точки опоры, потому что доказать мысль можно только двояким образом: или a priori, в чистой области мысли, и такое доказательство предполагает философию, или a posteriori, указанием в опытном мире фактов, соответствующих мысли. Но теоретики, точно так же как и сухие эмпирики, не только что мало знакомы с философиею, но большею частью пренебрегают ею, и потому им остается только доказательство a posteriori, поверка мыслей, начал своих, посредством опытного наблюдения; но наблюдение, служащее основанием, источником для всеобщего начала теоретика, более или менее ограниченно, односторонне; и потому начало это не может иметь притязания на абсолютную всеобщность и действительно только для той части действительного мира, из которой оно произошло и получило свое значение, так что если бы даже все доныне известные явления подходили под какое-нибудь начало, то никогда нельзя быть уверенным, что впоследствии не явились такие факты, которые не опровергли бы его совершенно. Кроме того, понять какое-нибудь явление или какой-нибудь частный закон – значит понять необходимое происхождение и развитие его из единого и всеобщего начала; но для этого необходимо познание всеобщего как чистой, самой из себя развивающейся мысли; а это опять входит в область философии и невозможно без философии, и потому теоретики обыкновенно подчиняют только особенное отвлеченному, всеобщему, так что особенности остаются равнодушными друг к другу и к своему всеобщему.

Наконец, ни одна теория не удовлетворила еще и не могла удовлетворить главного требования познающего духа: ни одна не проникла еще до того единого и всеобщего начала, на котором была бы основана и из которого могла бы быть развита вся бесконечность действительного, как естественного, так и духовного мира; до сих пор были особенные теории электричества, света, магнетизма и так далее; с грехом пополам были также теории, обнимающие целые науки, как то: теория физики, терапии, права, искусства и проч.; но не было ни одной, которая бы обняла всю полноту действительного мира. Откуда же эта ограниченность? Причина сего недостатка заключается в том, что все теории без исключения не только что выходят из области эмпиризма, но суть необходимые продолжения его: всякий теоретик есть вместе и эмпирик. Эмпиризм, опытный мир, есть начало и конец всякой теории; теоретик отправляется от многоразличия действительного мира, открывает в уме своем мысль, которая, по его мнению, должна объяснить и обнять этот мир, и возвращается к этому же многоразличию, чтоб найти в нем оправдание и доказательство своей мысли. Теория есть необходимый результат и, если так можно выразиться, цветок эмпиризма, так что нет теоретика, который бы не был эмпириком, точно так же как нет эмпирика, который бы не был теоретиком; и борьба между эмпириками и теоретиками есть не что иное, как внутренняя борьба, внутреннее противоречие эмпиризма в самом себе, – борьба, в которой он сознает свою собственную ограниченность, свою собственную недостаточность и указывает за себя, – на высшую область знания, на *умозрение*. В этой борьбе с самим собою эмпиризм бывает часто к самому себе несправедлив, но отвлеченность и крайность есть неизбежная участь всякой борьбы, а потому и эта несправедливость понятна. Таким образом, упрекая совершенно справедливо сухих собирателей фактов в том, что, оставаясь при мертвом и равнодушном многоразличии, они не удовлетворяют главной потребности познающего духа, теоретики позабывают часто, что и такие работники необходимы, что без них точное и полное знание фактов было бы невозможно; такие ученые суть труженики, поденщики, собирающие материалы для великого храма истинной науки; они не понимают и не могут понять ни целости плана, ни величественной красоты того здания, к воздвижению которого так сильно способствуют, и были бы достойны всякого сожаления, если б судьба, обрекшая их на черную работу, не наделила их вместе какою-то странною любовью, привязанностью к мертвой букве, привязанностью, которая заставляет их рыться в пыли и в поте лица своего искать внешних выражений духа, не заботясь о их внутреннем значении.

Wie anders tragen uns die Geistesfreuden,
Von Buch zu Buch, von Blatt zu Blatt!
Da werden Winternachte hold und schon,
Ein selig Leben warmet alle Glieder,
Und ach! entroll,st du gar ein wurdig Pergament,
So steigt der ganze Himmel zu dir nieder..[17]

Сухие собиратели фактов, в свою очередь, совершенно справедливо укоряют теоретиков в неосновательности, в неудовлетворительности их теорий; но они позабывают или, лучше сказать, не понимают, что в этом стремлении проникнуть равнодушное многоразличие всеобщею, единою, животворяющею мыслью высказывается все достоинство, вся разумность человеческого духа; они не понимают, что знание фактов без мысли и без всякого единства не есть истинное знание, но мертвая груда мертвых материалов, ожидающих животворного прикосновения мысли для того, чтоб стать живою, прозрачною и разумною действительностию,

[17] Из «Фауста» ГетеАх, то ли дело поглощатьЗа томом том, страницу за страницей!И ночи зимние так весело летят,И сердце так приятно бьется!А если редкий мне пергамент попадется,Я просто в небесах и бесконечно рад.(Пер. Н.А.Холодковского)Гёте. Фауст (Собр. соч. Т. V. С. 87).

не понимают, что сущность духа состоит именно в проникновении и нахождении самого себя в предстоящем ему действительном мире и что, пока не найдена мысль, пребывающая в действительности, до тех пор осуществление этого высшего назначения человеческого духа невозможно. Кроме этого, господа собиратели фактов, восставая так жестоко на теоретиков, доказывают тем свою неблагодарность: они позабывают, что ничто так много не способствовало открытию новых фактов, ничто так не оживляло опытного знания, как теории. Наконец, хотя теоретик и не в состоянии доказать необходимость предположенного им начала, хотя он и не в состоянии развить из своей главной мысли все многоразличие фактов и частных законов действительного мира, но в его догадках, предположениях может быть много верного и глубокого, много такого, что впоследствии оправдается и фактами, и перед высшим судом спекулятивного мышления – перед судом философии; это зависит от личности теоретика и от степени развития того народа и того времени, к которым он принадлежит. Гете, Кювье, Гердер и многие другие, руководимые своею гениальностью, разрушили внешнюю кору, покрывавшую разбираемые ими предметы, и не остановились на их поверхности, но проникли в самую глубь их. «Идеи о философии истории» Гердера принадлежат к области теории, но, несмотря на это, они заключают в себе много глубокого, истинного[18]. Большая часть из них принадлежит к замечательнейшим явлениям прошедшего и настоящего века: они проникнуты современными интересами, современною жизнью; в них можно найти много глубоких и верных мыслей, переплетенных с громкими и звучными фразами, – необходимая дань французскому характеру; но они – не более как теории и совершенно несправедливо называются философскими. Ни в одном из них нет наукообразной формы, нет следов истинного – философского образования: мысли перемешаны в них с не проникнутым ими эмпирическим содержанием. Кроме того, в них часто владычествует совершенный произвол, и это – необходимый результат настоящего положения Франции, чувствующей сильную потребность религии, но вместе с тем лишенной почти всякого религиозного верования. После Декарта и Мальбранша у французов не было философии в собственном значении этого слова; впоследствии мы постараемся доказать это. Одним словом, сухие собиратели фактов приготовляют материалы для теоретиков; теоретики обрабатывают их во всех направлениях, возвышают их до относительно всеобщих мыслей и передают великое дело человеческого знания *философии*, которая венчает его, создавая из всех этих дробностей единое, органическое и совершенно прозрачное целое.

Итак, теперь ясно, что эмпиризм (разумея под этим словом как безжизненное собрание фактов, так и теории) не может удовлетворить познающего духа; его нельзя назвать *действительным знанием* истины, потому что он не в состоянии обнять ее; он не в состоянии возвыситься до истинного – *всеобщего и единого начала* и не в состоянии указать необходимость развития и осуществления этого начала в многоразличии действительного мира; вследствие этого он не может даже доказать необходимость тех общих законов, тех относительных всеобщностей, которые ему доступны; и если б, кроме его, не было другого средства познания, то человек должен бы был решительно отказаться от знания истины.

Это последнее и высшее средство есть *спекулятивное мышление – философия*. Мы поговорим потом о возможности философского познания, теперь же ограничимся только определением его понятия.

Из всего сказанного следует, что философским знанием может быть названо только то, которое, во-первых, обнимает всю нераздельную полноту абсолютной истины и которое, во-вторых, способно доказать необходимость своего содержания. Мы видели, что главный недостаток эмпиризма состоит в дробности его познавания – недостаток, вследствие которого он

[18] К области теории принадлежит большая часть сочинений, вышедших и до сих пор выходящих во Франции под названием философских, например: «Esprit des lois» Монтескье, «Палингенезия» Балланша(Речь идет о книгах Ш.Монтескьё «О духе законов» и П.С. Балланша «Essai de palingenesie sociale» («Очерк социального палингенеза») (*Ballanche* P.S. O Euvres. Paris, 1830. T. 3–4).) и многих других

не способен возвыситься до всеобщей и единой истины: он не может обнять все бесконечное многоразличие действительного мира; кроме этого, возвысившись до множества относительно всеобщих законов, принадлежащих к различным областям действительности, он не в силах понять их необходимого, разумного единства и должен ограничиться их внешнею классификациею, потому что не может вывести их из необходимого развития и обособления единого, абсолютного начала; такой вывод не может быть основан на фактах, потому что факты дают частному закону только то значение, которое он имеет в отношении к ним, так что вне этого отношения к фактам закон теряет для них всякое значение; происшедши из опытного наблюдения, он для нас еще не имеет значения независимой, в самой себе определенной и понятной мысли. Правда, всякий закон, к какой бы области действительного мира ни принадлежал, есть определенная мысль, *категория1*.

Итак, чувственное созерцание дает нам многоразличие в пространстве и во времени, но в этом многоразличии нет единства, и *рассудок* есть *формальная деятельность чистого субъективного Я, приводящая многоразличие к единству*; определенные же формы этой деятельности суть *категории* – чистые, определенные понятия или мысли.

Теперь ясно, что категории, определенные таким образом, имеют только субъективное значение и не могут быть употреблены для познавания объективной истины.

Таблица Канта состоит из 12 главных категорий:

1.

Количество

a) Единство

b) Множество

c) Совокупность всех предметов без исключения (Allheit)

2.

Качество

a) Реальность

b) Отрицание

c) Ограничение (Limitation)

3.

Отношение

a) Субстанция и акциденция

b) Причина и действие

c) Взаимное действие

4.

Модальность

a) Возможность – невозможность

b) Пребывание (Daseyn) – небытие (Nichtseyn)

c) Необходимость – случайность

Ни Аристотель, ни Кант не вывели своих категорий и не доказали, что, кроме приведенных ими, нет и не может быть других; они сознавали, напротив, недостаточность и неполноту своих таблиц и старались дополнить их другими, второстепенными категориями. Фихте пытался вывести их из чистой самодеятельности мышления, но не успел по причине односторонней субъективности своей системы. Гегель первый совершил это великое дело в своей «Логике» и возвратил категориям их объективное достоинство, так что они снова получили значение *объективных определений*, определений объективной истины. Здесь не место распространяться об этом предмете, которому мы намерены посвятить особенную статью. Теперь же ограничимся приведением слов Байргофера, одного из замечательнейших последователей Гегеля. Разбирая некоторые категории, он говорит: «Если они не более как *отвлечения* (Abstractionen), то не должно позабывать, что в них заключается движение и жизнь мира; на

эти *всеобщности* (Allgemeinheiten) не должно смотреть с презрением, потому что мир управляется всеобщностью мысли; бытие, мышление, субстанциональность, субъективность, свобода, необходимость и т. д. суть не более как простые категории, отвлеченные всеобщности; но эти всеобщности все двигают и животворят». Мы видели выше, что даже в чувственном созерцании и принимании (Wahrnehmung) предметов уже присутствует бессознательная деятельность мысли и употребляются категории *качества, количества, отношения* и проч. категории, составляющие сущность созерцаемых и принимаемых предметов; точно так же и всякий закон есть относительно-всеобщая мысль, определенное отношение известных категорий; например, в законе падения тел «Пространства возрастают, как квадраты времен» соединены мысли или категории *пространства, возвращения, отношения, квадрата* и *тела*, так же как в законе прогрессивного исторического развития «Последующая степень развития есть результат всех предыдущих» заключены категории *развития, степени* и проч.; одним словом, определенные мысли суть плоды эмпирического исследования и составляют существенное содержание всякого эмпирического знания; ни одна эмпирическая наука не ограничивается знанием фактов, но всякая стремится к познанию законов, так что факты не составляют и не могут составить ее содержания, но служат исходным пунктом для отыскания мыслей, категорий, пребывающих в них. Но эти *категории* не имеют самостоятельного значения в эмпиризме, они не познаются в нем как чистые, независимые мысли, имеющие самостоятельное, конкретное содержание; они происходят через отвлечение от определенного круга опытного наблюдения, и вследствие этого они не более как *отвлеченности*, получающие конкретное содержание от эмпирического источника своего, от фактов, и значительные единственно только в отношении к этим фактам; а потому они и не могут совокупиться в одно разумное, независимое и само из себя развивающееся единство и не составляют органических и необходимых членов одной высшей, самой из себя развивающейся мысли, но пребывают друг подле друга равнодушно, не во внутреннем, но совершенно внешнем, собирательном единстве и связаны только общим источником своим – действительным миром. Мы знаем, что они все пребывают в одном действительном мире, но не видим и не понимаем их внутренней связи; вследствие этого эмпирическое сознание ограничивается только их внешнею классификациею, так что закон электричества находится в нем *подле* закона света, *подле* закона исторического развития, *подле* закона логического познавания и так далее. Поэтому оно никогда не может быть уверено в том, что оно обнимает *все* законы действительного мира без исключения. Такая уверенность возможна только тогда, когда все законы поняты как *чистые мысли*, необходимо развивающиеся из одной единой и всеобщей мысли, так что число и отношение их определилось бы необходимостью самого развития.

Но эти законы, с одной стороны, суть *объективные* мысли, объективные потому, что они – не произвольное произведение познающего человека, но мысли, действительно пребывающие в действительном мире; они не выдуманы человеком, но найдены им в действительно существующих фактах; с другой же стороны, они – *субъективные* мысли, потому что в противном случае человек, познающий субъективный дух, не мог бы понимать и *усвоивать* их; понять предмет – значит найти в нем самого себя, определение своего собственного духа, и если б закон, найденный мною в действительности, был только объективною, но не субъективною мыслью, тогда бы остался он недоступным для моего разумения; поэтому единичный факт, оставаясь только единичным, не может быть предметом моего познавания, не может быть проникнут мною; как единичный он всегда останется чуждым и внешним для меня предметом, и если я хочу уничтожить эту внешность, если я хочу найти себя в нем и понять его, то я должен отыскать в нем всеобщее, мысль, которая была бы, с одной стороны, объективною мыслию, мыслию, действительно пребывающею в нем, с другой же стороны, субъективною мыслию, определением моего собственного духа. Вследствие этого эмпиризм никогда не останавливается на единичных фактах, но отыскивает в них всеобщие мысли, законы – и не еди-

ничные факты, но законы, проявляющиеся в них, составляют существенное содержание всякой эмпирической науки; единичный факт неуловим и преходящ, и только законы, как постоянные и неизменяемые, могут быть удержаны эмпиризмом; и в этом нет никакой потери: все преходящее должно проходить как конечное, как не имеющее в самом себе причины своего пребывания. Случайности не имеют права на участие человека, и только истинная действительность, только действительное осуществление мысли может интересовать его; что само преходяще, то не может возвыситься над преходящим и уничтожается вместе с ним; но человек, с одной стороны, конечен, с другой стороны, бесконечен, и вся премудрость его и все назначение его жизни состоят в том, чтоб в последовательности своего развития он отрывался от всякой случайности и внешности и, возвысившись над конечностью мира сего, так же как над своею собственною конечностью, привязался к тому, чего «ни моль ни ржа не истребляют». И потому недостаток эмпиризма состоит не в том, что, отвлекая от единичных и преходящих фактов, он оставляет их, как ничтожные и несущественные, и возвышается над ними до всеобщих и неизмеряемых законов, – напротив, в этом заключается его достоинство, – но в том, что он не в состоянии понять единство законов между собою, в том, что он не обнимает всей их полноты, и, наконец, в том, что, получая их через отвлечение от фактов, он не понимает, каким образом они выходят из своей отвлеченности и осуществляются в действительном мире. Недостаток же этот происходит оттого, что он познает их не как чистые мысли, но из опытного наблюдения.

Итак, если возможно знание, познающее законы не из опыта, но a priori, как систему чистых мыслей, имеющих свое необходимое развитие независимо от опыта, то такое знание вполне удовлетворит всем требованиям познающего духа. Во-первых, оно будет иметь характер *необходимости*, недостающий эмпиризму, так что развитие мысли как необходимое будет вместе и доказательством ее. Во-вторых, оно будет действительно *всеобщим* знанием, потому что не будет восходить, подобно эмпиризму, от единичного и особенного к отвлеченному и непонятному всеобщему, но будет понимать особенное и единичное из собственного имманентного (присущего) развития всеобщего, так что ни одна особенность не вырвется из необходимости этого развития. Наконец, если действительный мир, в самом деле, – не что иное, как осуществленная, реализованная мысль, – а мы видели, что вера в пребывание мысли в действительности составляет сущность как обыкновенного сознания, так и эмпиризма, – то оно будет в состоянии объяснить тайну этой *реализации*, тайну, недоступную для эмпиризма. Такое знание есть *философия*.

Таким образом, из анализа эмпирического знания для нас произошло представление о истинном назначении философии и о тех условиях, без строгого соблюдения которых знание не может быть истинно философским. Теперь остается решить, возможно ли исполнение их, и если возможно, то каким образом и какими именно средствами. Во второй половине нашей статьи, которая будет помещена в следующей книжке, мы постараемся показать, как этот вопрос разрешается самостоятельным и необходимым развитием самого *сознания*.

Статья вторая[19]

В первой половине нашей статьи мы задали себе вопрос о сущности и возможности философского знания. Для разрешения его мы разобрали сначала значение слова «философия» и увидели, что философия есть наука, требующая *абсолютного знания*, такого знания, которое бы обнимало всю полноту бесконечного, осуществляющегося в конечном, всю полноту как физического, так и духовного мира, которое бы поняло органическое и необходимое единство его и было бы вместе и доказательством своего абсолютного содержания. Потом, дабы узнать различие философского знания от эмпиризма, мы подвергли последнее подробному анализу, рассмотрели сущность его и убедились, что эмпиризм, как не обнимающий собою всего абсолютного содержания и как не понимающий его, не способен к удовлетворению требований мыслящего духа и не может быть назван философией. Наконец, сознав, что всякое знание, начиная от обыкновенного сознания и до самого эмпиризма, не останавливается на единичностях, отвлекает от них, как от ничтожных и неистинных, и возвышается к всеобщим и необходимым законам, проявляющимся в них, как к единственно истинным и существенным, – мы кончили заключением, что если нет другого знания, кроме эмпирического, и что если невозможно такое знание a priori, которое бы чистым, имманентным развитием своим обнимало все законы как физического, так и духовного мира, то философское абсолютное знание невозможно, и предоставили разрешение этого последнего вопроса, вопроса о возможности философии, самостоятельному и необходимому развитию самого сознания. Итак, обратимся теперь к последнему.

Сознание есть *отношение* духа к *другому*, к сознаваемому предмету. Но отношение к другому предполагает *различие* от другого; сознающее *я различает себя* от внешнего, предметного ему мира; но различение себя от другого предполагает *различение себя от себя*, и сознание предполагает *самосознание*. Чистое, сознающее себя *я* сознает предметный ему мир; оно знает о себе и сознает вместе и другое – и это другое есть для него истина. Если мое знание о предмете не будет соответствовать ему, если субъект (сознающее *я*) не будет соответствовать *объекту* (сознаваемому предмету), то мое знание будет ложно; и потому не предмет должен соображаться с моим *я*, но обратно – последнее, как неистинное, должно соображаться с первым, как с истинным.

Первая степень сознания есть *чувственная достоверность* (sinnliche Gewissheit), непосредственное сознание чувственных единичных предметов: этого стола, этого дома, этого дерева и т. д. Для чувственной достоверности истина заключается в многоразличии чувственных предметов, пребывающих во внешности. Я, этот единичный субъект, вижу этот стол, и он есть для меня несомненная истина. Что эта безграничная вера в истину чувственного единичного бытия и действительно составляет неотъемлемую принадлежность сознания, может быть доказано тем, что большая часть людей скорее готова сомневаться в истине и действительности мысли, чем подвергнуть сомнению истину конечного, чувственного мира; сомнение в действительности чувственных предметов покажется нелепостью и сумасшествием тем, которые в то же самое время нисколько не удивятся выводу и объяснению мысли из чувственного бытия. Материализм XVIII века доказывает возможность этого странного явления.

Но для того, чтоб поверить истину чего бы то ни было, должно иметь всеобщую *мерку* истины, и, верно, никто не станет противоречить нам, если мы скажем, что истина должна

---

[19] Статья, по-видимому, написана в 1830-м – первой половине 1840 г. и осталась по неизвестным причинам неопубликованной. Впервые опубликована в: *Бакунин М.А.* Избранные философские сочинения и письма. М., 1987. С. 157—192. В настоящем издании текст печатается по этой публикации.Примечательна судьба бакунинских занятий гегелевской трактовкой чувственной достоверности, и особенно идеи ее «невыговариваемости» в слове; через два с лишним десятилетия Бакунин вернется к этой концепции, но уже как материалист.

быть: 1) *всеобщею* (что истинно только для меня, а не для всех, то не имеет права на название истины); 2) *неизменяемою и непреходящею.* Все же не соответствующее этим трем условиям истины есть ложь и призрак. Теперь обратимся к чувственной достоверности. Она имеет предметом бесконечное многоразличие чувственных единичностей; но мы видели, что непосредственное созерцание, как ограниченное пространством и временем, не в состоянии охватить всего бесконечного многоразличия чувственного мира; кроме этого, оно не может выговорить своего единичного предмета и не в состоянии удержать его; не может выговорить его, потому что, какое бы выражение оно ни употребило для определения предстоящего ему единичного предмета, выражение этого выговорит только *всеобщее*, принадлежащее не единственно только ему, но множеству других подобных предметов, а потому и не выразит его индивидуальной особенности. Слово[20] как непосредственное выражение единого, всеобщего, а не единичного духа выговаривает только существенное и переносит все непосредственно единичное в область всеобщего; оно есть всеобщее достояние, всеобщая среда, в которой все единичные, друг от друга различные индивиды понимают друг друга, и перестало бы ею быть, если б вместо всеобщих определений, доступных всем единичным индивидам и принадлежащих равно всем единичным предметам, оно стало бы выговаривать единичные созерцания единичных индивидов или единичные определения, исключительно принадлежащие единичным предметам. Тогда б языков было бы столько же, сколько единичных индивидов или созерцаний: вавилонское столпотворение, в котором понимать друг друга было бы невозможно и в котором разрушилось бы великое царство разумного, всеобщего духа, составляющего существо человека и различающего его от бессловесного животного. Слово разумно именно потому, что оно выговаривает только всеобщее, все же невыговариваемое – неразумно, ничтожно, а потому и не более как призрак, и попытка выговорить созерцаемый мною единичный предмет всегда будет тщетною. Например, как выговорю я дерево, стоящее *теперь* и *здесь* передо мною? *Это* – дуб; но кроме его, множество других дерев носит то же самое название. *Высокий, ветвистый* и т. д.; но все эти определения суть всеобщие выражения, равно применяемые и к другим предметам. Так что чувственному созерцанию остается только одно средство – *указание* своего предмета: *этот* стол, *это* дерево. Но и это средство недостаточно для удержания предмета. То, что было *здесь*, теперь уже не *здесь*, а *там*, а наконец уже и не *там*, но совсем исчезло и заменилось другим. Мало того, одно сознающее *я* говорит: *здесь дерево*, и в то же самое время другое *я* утверждает, что *здесь дом*; и оба равно правы, потому что оба указывают, основываясь на своем не(по)средственном созерцании. Наконец, одно и то же *я* в различные моменты времени утверждает различные, друг другу противоречащие истины: *здесь дерево, теперь ночь,* а потом: *здесь дом, теперь утро*; так что одна истина отрицается и уничтожается другой и заместо *мнимых* единичных предметов чувственная достоверность должна ограничиться указанием *всеобщего здесь*, которое один раз *дом*, а другой раз *дерево, и всеобщего теперь,* которое может быть и днем, и ночью и т. д. Но чувственной достоверности остается еще одно средство для удержания своего единичного предмета; а именно: созерцающее *я*, отвлекая от созерцания других и от своих собственных прошедших или будущих созерцаний, утверждает, например, что *теперь* ночь и *здесь* дом, и не хочет знать о том, что утверждают другие *я*, не заботится о том, что оно само говорило прежде или скажет впоследствии, и не сравнивает даже своего настоящего *теперь* с своим настоящим *здесь*. Для того чтоб удостовериться в этой истине, мы должны вступить в созерцание *этого единичного я*, ограничившегося *этим единичным теперь и этим единичным здесь*. Пусть оно укажет нам. Оно указывает нам единичное *теперь*; это теперь; но оно уже исчезло во время самого указания, и оно уже не сущее, но *прошедшее*, заменившееся другим теперь, которое точно так же исчезает и дает место другому. Но что прошло,

[20] Примечательна судьба бакунинских занятий гегелевской трактовкой чувственной достоверности, и особенно идеи ее «невыговариваемости» в слове; через два с лишним десятилетия Бакунин вернется к этой концепции, но уже как материалист.

того уже нет, а нам указывается сущее *теперь*, и мы возвращаемся к первому *теперь*, но уже не как к *единичному*, но как к *всеобщему*, заключающему в себе бесконечное множество единичных *теперь*. Таким образом, указание есть *диалектическая опытность* (Erfahrung) самой чувственной достоверности, узнающей в ней, что указываемое ею *теперь* не есть то *единичное* и непосредственное, которое оно *мнило* (meinte), но *всеобщее, простое, в себе рефлектированное «теперь»,* заключающее в себе множество других *теперь*, или Время вообще.

То же самое движение повторяется и в указании единичного *здесь*. Это *здесь* имеет свой верх, свой низ, свою правую и левую стороны, которые, в свою очередь, имеют свой верх, низ и т. д., так что указываемое *здесь* есть не как единичное и непосредственное, но как *пространство* вообще, как простая и *всеобщая среда*, заключающая в себе множество других здесь.

Мы не можем не повторить здесь слов *Гегеля* (Phanomenologie des Geistes, 81—64 Seite)[21], которые объяснят лучше всего результат всего нашего исследования:

«Ясно, что диалектика чувственной достоверности есть не что иное, как простая история ее движения или ее опытности, и эта сама чувственная достоверность не более как эта история. Вследствие этого обыкновенное сознание доходит также до этого результата и беспрестанно испытывает то, что в чувственной достоверности есть истинного; но потом снова позабывает его и всегда начинает движение сначала. И потому странно, что в противоположность этой опытности утверждают обыкновенно, основываясь на всеобщей опытности, как философское положение и как результат скептицизма, что реальность, или бытие, внешних предметов как *этих* имеет для сознания абсолютную истину. Такое уверение само не знает, что оно говорит, не знает, что оно выговаривает именно противоположное тому, что оно хочет сказать. Оно доказывает истину чувственного, единичного Бытия (этого), основываясь на всеобщей опытности; но всеобщая опытность доказывает скорее противное: всякое сознание самоуничтожает (hebf auf – снимает) такую истину, как *теперь утро* или *здесь дерево*, и выговаривает противное ей: здесь *не* дерево, *но* дом – для того, чтобы точно так же уничтожить потом в этом новом отрицающем утверждении то, что в нем есть утверждение единичного, чувственного бытия: здесь, *дом*; и чувственная достоверность беспрестанно испытывает, что мнимое, непосредственное единичное *это* – не более как *всеобщее это*, совершенно противоположное тому, что обыкновенно приписывают всеобщей опытности. При этом ссылании на всеобщую опытность да будет нам позволено обратиться к практическому миру: утверждающие истину и реальность чувственных предметов должны бы были быть отосланы в низшую школу премудрости, а именно: к элевзинским таинствам Цереры и Вакха[22], для того чтоб познать там тайну потребления хлеба и вина; потому что посвященный в эти таинства не только что доходил до сомнения в бытии чувственных предметов, но до полного отчаяния в их реальности и отчасти сам осуществлял ничтожество их, отчасти же созерцал его осуществление. И даже животные не исключены из этой премудрости, но оказывают себя в высшей степени в нее посвященными, потому что они не останавливаются перед чувственными предметами как для-себя-сущими, но, отчаиваясь в их реальности и в полной достоверности их ничтожества, бросаются на них и пожирают их; и вся природа торжествует эти открытые таинства разрушения, показывающие нам, что такое истина чувственных предметов».

«Утверждающие реальность чувственного единичного Бытия высказывают непосредственно противоположное тому, что они хотят высказать; явление, которое, может быть, более, чем всякое другое, должно привесть к сознанию сущности чувственной достоверности. Они говорят о существовании *внешних* предметов, которые могут быть определены еще точнее как

---

[21] Бакунин цитирует по кн.: *Hegel G.W.* Werke. Berlin, 1832. Bd. 2. Phanomenologie des Geistes. S. 81—84 (см.: *Гегель*. Соч. М., 1950. Т. 4. С. 57—59).

[22] *Элевзинские (элевсинские) таинства* – мистерии, совершавшиеся в греческой местности Элевсисе в честь богини земледелия Деметры и ее дочери Персефоны; Церера – римская богиня земли; Вакх, или Бахус (у греков иногда назывался Дионис, у римлян – Либер), – бог виноделия.

действительные, абсолютно *единичные*, совершенно *личные, индивидуальные* предметы; существование их, утверждают они, заключает в себе абсолютную достоверность и истину. Они хотели бы высказать этот кусок бумаги, на котором я теперь пишу, но не могут его высказать, потому что мнимое чувственное это *недостижимо* для слова, выговаривающего только всеобщее; и действительная попытка выговорить его была бы самым лучшим доказательством его невыговариваемости; прибегнув к описанию, они никогда бы не окончили его и должны бы были предоставить его другим, которые должны бы были наконец сознаться, что они говорят о предмете, которого нет. Они мнят (sie meinen) именно этот кусок бумаги, а не тот, что лежит выше; но выговаривают только *всеобщее*; и то, что обыкновенно называется невыговариваемым, есть не что иное, как неистинное, неразумное, только мнимое. Если для определения единичного чувственного предмета говорят, что он – *действительный, внешний* предмет, то это не более как самые всеобщие определения, показывающие только его равенство с другими предметами и нисколько не обозначающие его различие от других. Определяя его как *единичный* предмет, я выговариваю совершенно *всеобщее*, потому что все предметы суть единичные предметы, точно так же как и определение *этот* принадлежит равно всем предметам. Определив его точнее как *этот кусок бумаги*, я ничего не выигрываю, потому что это определение может быть отнесено ко всякому и каждому куску бумаги. Если ж для дополнения слова, божественное свойство которого состоит именно в том, что оно превращает всякое мнение и не допускает мнимого *до выражения*, если для дополнения его я прибегну *к указанию*, то я узнаю на опыте, в чем состоит истина чувственной достоверности, я укажу его как *здесь*, которое заключает в себе множество других *здесь* или которое есть простое соединение множества *здесь*, то есть я укажу его как *всеобщее* и приму его так, как оно есть в истине, и мое знание из непосредственного знания непосредственного чувственного предмета превращается *в принимание его истины* (Wahrnehmung)».

Вывод этот может показаться с первого раза софистическим; непосредственное чувственное существование есть необходимое условие, необходимый момент всякой истинной действительности, но не более как момент, получающий свое значение от другого, высшего, и не имеющий самостоятельного значения, существенности, вне этого отношения к другому: ошибка или, лучше сказать, ограниченность чувственной достоверности состоит в том, что, не развившись до всеобщего и до действительно существенного, она приписывает существенность и истину единичным чувственным предметам, хотя по вышедоказанному и беспрестанно сознает ничтожество их. Род животных, например, был бы не более как отвлеченное понятие, если б не осуществлялся в непосредственно пребывающем множестве *единичных этих животных*; но никто не станет утверждать, чтоб действительность его зависела от существования именно *этих* нами созерцаемых животных; напротив, они умирают как призраки, не имеющие в себе истины, и возвращаются в недра субстанции своей – идеи, которая, как имеющая в себе силу самоосуществления в непосредственном чувственном пребывании (Daseyn), всегда действительна и никогда не умирает. Употребление пищи есть необходимое условие органической жизни, и было бы невозможно, если б пища не пребывала в виде единичных чувственных предметов, но оно независимо от каждого из этих предметов в особенности; для возможности его необходимо пребывание единичного чувственного бытия вообще, но не именно *этого* чувственного предмета. Напротив, единичные эти предметы беспрерывно исчезают в процессе пищеварения, но пребывание единичных чувственных предметов вообще всегда остается как необходимое условие органической жизни. Наконец, право собственности занимает важное место в общественной жизни и точно так же условливается необходимо пребыванием единичного чувственного бытия: земли, домов, вещей и т. д., но, так же как и органическая жизнь, нисколько не зависит от пребывания именно *этих* единичных предметов, от пребывания именно *этого* дома, *этих* вещей, которые беспрерывно разрушаются или клонятся к разрушению, оставляя право собственности неприкосновенным. Здесь могут возразить, что

человек не бывает и не может быть до такой степени равнодушным к чувственным предметам, окружающим его, и что особенная привязанность к *этому* дому, к *этому* месту и к *этим* вещам есть самое обыкновенное и самое человеческое явление, так что человека, не имеющего такой привязанности, обыкновенно упрекают в холодности, в недостатке любви. Но это возражение нисколько не смутит нас: такая привязанность к чувственным предметам не относится непосредственно к ним, но к высшему духовному миру, освятившему их своим присутствием. *Этот* дом, *это* место существенны и важны для меня не сами по себе, но потому, что они освящены памятью моих родителей, родных, друзей, воспоминаниями моего детства или моей юности, так что в самой привязанности к ним уже заключается отрицание их, осуществление их ничтожества; человек не останавливается на них, но, возбужденный их созерцанием, *оставляет* их для того, чтоб перенестись в высший, духовный мир, находившийся с ними в соприкосновении, так что они не имеют значения в себе, но получают его от любви и воспоминаний человека. Наконец, нам могут заметить, что человек не может быть равнодушным к разрушению его дома, к покраже его вещей; но, во-первых, мы сами выше сказали, что собственность есть необходимое условие общественной жизни и что она невозможна без пребывания единичных чувственных предметов; во-вторых же, мы позволим себе повторить слова *Евангелия*:

«Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут.

Но собирайте себе сокровища на небеси, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут.

Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше».[23]

Христианское откровение вырывает человека из призраков чувственного бытия и переносит его в вечное Царство Духа, где истинная отчизна и единственное блаженство его.

Есть религия, принадлежащая к низшей степени развития человеческого духа, – *фетишизм*, состоящий в обоготворении единичных чувственных предметов: тряпок, кусков дерева и т. д. Его не должно смешивать с другими религиями, в которых, по-видимому, также поклоняются чувственным предметам – статуям, изваяниям, сделанным из дерева, из гранита или из мрамора, как, например, в Индии, в древнем Египте и в древней Греции. Эти религии несравненно выше фетишизма, потому что в них не чувственный предмет сам по себе составляет предмет поклонения, и не *этот* кусок дерева или камня, но изображение, изваянное на нем, так что единичный чувственный предмет служит только *средством* для изображения духовного содержания. Во всех этих религиях, начиная от индийской, где Дух еще борется с грубой и безобразной массивностью чувственного бытия, духовное содержание постепенно освобождается от чувственности, стремится к покорению ее и наконец достигает своего полного освобождения в образе *Юпитера Олимпийского*, изваянного Фидиасом и составляющего переход в свободную и бесконечную область *прекрасного*, где чувственность уже не имеет и призрака самостоятельного существования, но совершенно покорена духовному содержанию. В *фетишизме* же, напротив, поклоняются просто единичным чувственным предметам, *этому* камню, *этой* тряпке, без всякого отношения к высшему духовному содержанию. Человек, находящийся на такой степени развития, не имеет почти самосознания и никаких других потребностей, кроме чувственных и инстинктивных потребностей животного. Но человеческий дух не может долго оставаться на этой низкой, ограниченной степени своего развития. По себе (an sich), в возможности он есть бесконечная истина, а потому и противоречие своей возможности с своею ограниченною действительностью. Это противоречие не позволяет ему долго пребывать в ограниченности, но беспрестанно гонит его вперед, к осуществлению внутренней возможной истины, и возвышает его беспрестанно над его внешней моментальной ограниченностью. Рассказывают, что у *калмыков* каждый имеет своего божка, идола, которому он поклоняется и которому

[23] Матф. 6, 19—21.

в знак особенного почитания намазывает рот сметаною; но если этот божок не исполняет его молитвы, то он бьет его, а наконец и совсем разбивает и заменяет другим. В этом противоречии уже проглядывает ирония над обоготворяемым единичным чувственным бытием и просвечивает сознание его ничтожества.

В чувственной достоверности естественное сознание хотело назвать и указать *этот* единичный предмет как истину; мы видели, что ни то ни другое не удалось, потому что мнимая истина единичного предмета оказалась ложью. В чувственной достоверности Дух познает не как всеобщий; предметом всеобщего может быть только всеобщее, он же хочет обнять единичное, а вследствие этого и сам относится к нему как *единичный*; непосредственная чувственная единичность не может быть предметом всеобщего сознания Духа, но доступна только для чувственной достоверности; чувственная же достоверность не существует как всеобщая, как чувственная достоверность вообще, но как множество непосредственно единичных чувственных достоверностей, как множество непосредственных единичных индивидов, непосредственно созерцающих единичные невыговариваемые предметы. Но *всеобщность* и *непреходимость* составляют два главные и необходимые условия истины; что истинно только для меня и по существу своему не может быть предметом сознания других, то не имеет права на название истины; а мы видели, что единичный предмет чувственной достоверности невыговариваем и не может перейти из сознания одного в сознание другого; кроме этого, созерцаемый мною единичный предмет и для меня самого не остается постоянною истиною – он исчезает и заменяется другим, а потому и с этой стороны не может быть назван истиною; и естественное сознание возвышается над ним к действительно истинному, т. е. ко *всеобщему и непреходящему* предмету. Оно не останавливается на *этом* единичном предмете, но возвышается над ним к его *всеобщему – роду*, определяющемуся и отличающемуся от других также всеобщих предметов *многими существенными качествами*; оно не выдает уже эту единичную березу за истину, но, возвысившись над нею к ее роду, отличает общий род берез от рода дубов, собак и т. д..[24]

Таким образом переходит оно из единичного и невыговариваемого мира чувственной достоверности во всеобщий мир *опытного наблюдения*. Рассмотрим теперь сию новую сферу и отношение естественного сознания к новому предмету.

Во-первых, должно заметить, что с изменением предмета изменилось и само естественное сознание; в чувственной достоверности предметом было единичное *это*, а потому и сознающим субъектом было *это* единичное *я*; в опытном же наблюдении предмет уже не единичный, но *всеобщий*, а вследствие этого и познающий его субъект – также *всеобщий*. Истина опытного наблюдения не зависит более от созерцания *этого* единичного индивида, но, напротив, условливается возвышением над всякой индивидуальностью и должна быть истиною для всех индивидов без исключения; знание *этой* березы, стоящей теперь передо мною, условливается моим индивидуальным созерцанием и существует только для меня как индивидуального, а следовательно, и не-истинного; знание же березы *вообще*, рода или вида берез, как условленное знанием постоянных, существенных и равно для всех существующих качеств этого рода, независимо от индивидуального созерцания, и составляет достояние *всеобщего человеческого сознания, всеобщего субъекта*. Разумеется, что наблюдающий субъект есть то же индивидуальное *я*, которое было познающим субъектом и в чувственной достоверности, с тою только разницею, что в чувственной достоверности оно относится к предмету как непосредственное, единичное и выдает за истину свое непосредственное, невыговариваемое созерцание: *эту* березу, *этот* дом и проч. Теперь же оно не перестало быть чувственной достоверностью и как чувственная достоверность продолжает созерцать единичные невыговариваемые предметы: если

[24] Мы употребляем здесь слово «род» в смысле всеобщего и в отношении к единичному, не обращая внимания на то, что род берез, например, есть вид в отношении к общему роду деревьев, отличает его посредством существенных качеств, неразрывное единство которых составляет его сущность.

б оно не имело непосредственного, единичного созерцания, то оно не имело бы и предмета для наблюдения; если б оно не созерцало, например, *этих* единичных берез, то оно и не могло бы возвыситься над ними к сознанию березы вообще. Но *наблюдающее Я* разнится от непосредственно созерцающего тем, что оно не останавливается на созерцаемых им единичностях и не выдает их за истину, но возвышается над ними к их Всеобщему роду (наприм. к березе вообще), уже не подлежащему его непосредственному созерцанию, так что, возвышаясь над непосредственностью единичных предметов, оно возвышается и над непосредственностью своего собственного созерцания и сознает уже не как *этот* единичный индивид, но как всеобщее сознание.

Во-вторых, всеобщее наблюдающее сознание относится к наблюдаемому им всеобщему предмету как *несущественное к существенному*, так же как и в чувственной достоверности: всеобщий наблюдаемый предмет есть для всеобщего *Я истина*, в которой оно ничего не должно изменять и которую должно брать так, как она есть, и так, как она была бы и без его наблюдения.

Теперь обратимся к самому предмету. Мы видели, что он уже – не единичный *этот*, как предмет чувственной достоверности, но *всеобщий*: не эта *береза*, но береза *вообще*. Береза же вообще не есть нечто созерцаемое, чувственное. Как *всеобщее*, она недоступна для чувственного созерцания и есть не более как *непреходящее отвлечение* от множества преходящих и невыговариваемых, а следовательно, и неистинных единичностей; но, с другой стороны, всеобщее отвлечение это различается от подобных ему всеобщих отвлечений своими чувственными постоянными определенностями, своими существенными качествами, а потому, с одной стороны, *отвлеченно и сверхчувственное*, оно, с другой стороны, *чувственно: чувственное Всеобщее*. Береза вообще, например, не имеет чувственного непосредственного пребывания и, как отвлечение от множества единичных, непосредственно пребывающих берез, есть *всеобщее*, но, как отличающаяся от других всеобщих предметов цветом, формой своих листьев, своей коры, своими чувственными свойствами или качествами вообще, она есть *чувственное Всеобщее*.

Наблюдение есть сфера обыкновенного ежедневного сознания и эмпирических наук вообще. Наблюдающее сознание является, с одной стороны, как чувственная достоверность, потому что предыдущие степени развития сохраняются в последующих как моменты, но, с другой стороны, возвышается над нею и ищет своей истины не в единичном предмете, но в его роде; род же, по вышесказанному, есть чувственное всеобщее, т. е. простое Всеобщее, имеющее свою реальность в чувственных определенностях, качествах. Вследствие этого опытное наблюдение составляет переход от чувственной достоверности, истина которого есть чувственное единичное *это*, к царству отвлекающее(го) и вникающего (reflectierenden) рассудка, имеющего истину свою в незримом внутреннем мире сил и законов, являющихся по внешности. Предмет опытного наблюдения, с одной стороны, есть уже отвлечение, мысль как предмет, не имеющий существования, как всеобщий, но существующий только во множестве соответствующих ему ничтожных и преходящих единичных, от которых он есть отвлечение; с другой же стороны, это отвлечение не есть чистое отвлечение, потому что оно имеет в себе момент чувственного многоразличия, его сущность заключается во множестве чувственных качеств.

Но предмет наблюдения не удерживается, точно так же как не удерживается и предмет чувственной достоверности, и, как последний, разрушается своим собственным диалектическим движением, а именно он есть внутреннее противоречие, как имеющий всю свою сущность в качествах, которые поэтому, как *только его* качества, должны быть с ним неразрывно связаны и вне его исключительного единства не должны иметь самостоятельного и независимого существования: *соль бела, солена*, имеет *кубичную форму, тяжесть* и т. д., и вся ее сущность заключается в сих качественных определениях, которые поэтому должны быть с нею в неразрывном единстве. Но качества являются также как и *самостоятельные*, независимые, как *всеобщие* определения, не ограничивающиеся только одним предметом, но распространяющиеся

на несколько различных предметов: *соль* бела, но *белизна* не есть ее исключительная принадлежность – и *снег, и сахар, и мел белы*. Скажут, что между белизною снега, сахара, мела и т. д. есть разница, но эта разница невыговариваема и потому и не может быть предметом всеобщего сознания, а потому и не более как *ничтожная* разница, – существенное заключается во всеобщей, выговариваемой определенности, независимой от одного какого-нибудь предмета. Вследствие этого предмет наблюдения разрушается именно с той стороны, которая составляет его сущность, реальность; он *распадется на свои качества*, являющиеся как *существенные*, в противоположность предмету как несущественному. Это может показаться странным, но довольно малейшего внимания в предмет со многими качествами, для того чтоб удостовериться в истине нами сказанного. В самом деле, что такое предмет, взятый отдельно от его качества? Ведь в качествах его заключается вся его сущность; то, чем он различается от всех других предметов, и есть именно этот *определенный* предмет. Как различите вы, например, сахар от соли? Не иначе как посредством их *различных* качеств, без которых они составляли бы для вас один и тот же предмет; если бы сахар, например, имел совершенно одинаковые качества с солью, то они были бы для вас одно и то же. Итак, в качествах заключается вся сущность предмета, который является как всеобщая и равнодушная среда, в которой сопроникаются друг от друга различные качества, не вытесняя друг друга: соль *бела, и кубична, и солена*, и все эти качества не имеют различных мест, но занимают одно и то же место и простираются так же далеко, как и сама соль. Когда мы говорим о предмете со многими качествами, то в самом выражении этом уже заключается предположение, что предмет есть нечто самостоятельное, независимое от многоразличия своих качеств. Положим, что в самом деле каждый предмет кроме и вне многоразличных своих качеств имеет действительно совершенно самостоятельное существование, *чистое и простое отношение к себе*, так что, *единый и нераздельный* в этом чистом отношении к себе, он *многоразличен* только в отношении к познающему субъекту. Например, соль, единая и себе равная по своей сущности, становится многоразличной в отношении к пяти чувствам человека: она *бела* для моего зрения, *солена* для моего вкуса и так далее. Но если многоразличие качеств предмета составляет его *несущественную* сторону, сторону его случайного отношения ко мне, *сущность* же его состоит в себе равном и безразличном единстве и отношении к себе, то предметы перестают быть друг от друга различными, и заместо *многих различных* предметов мы имеем только *один* предмет, потому что всякий предмет есть *чистое, безразличное отношение к себе и нераздельное единство с собой и только многоразличием качеств отличается один предмет от другого*. Вследствие этого качества составляют существенную принадлежность, *сущность* самого предмета, так что вне их он превращается в *ничто*. Если ж в качествах заключается вся сущность, вся самостоятельная исключительность предмета, то они должны быть поэтому с ним неразрывно связаны и составлять его *исключительную* принадлежность. Но мы видели выше, что качества не ограничиваются исключительным единством одного предмета, но, как *всеобщие определенности* распространяются на много предметов, и существенность, исключительная самостоятельность предметов разрешается и разрушается во *всеобщности* их определенностей, их качеств. Кроме этого, сами качества, отрешившись от своего единства с предметом, перестают быть чувственными. Я могу ощущать белизну этого перед мной лежащего сахара, но не *белизну вообще*, которая точно так же недоступна моему чувственному созерцанию, как и всеобщий предмет наблюдения, например дерево вообще. Таким образом, качества, прежде явившиеся нам как *чувственные*, осязаемые определенности, являются теперь как *чистые и сверхчувственные* всеобщности, в которых улетучивается и последний след чувственности. Когда мы говорим: *этот дуб растет*, то мы видим в *растительности чувственное, ощутительное качество именно этого* дуба; но трава также *растет, собака также – растительность* из чувственного, созерцаемого качества превращается в сверхчувственную всеобщность и становится сверхчувственным и всеобщим предикатом (сказуемым) организма вообще, *неизменяемым законом* органической жизни,

невидимым и неосязаемым для чувственного созерцания и происшедшим для сознания только через *отвлечение* от многоразличия внешнего, чувственного мира. Таким образом, отправляясь от многоразличия чувственного мира, сознание возвышается до незримого, всеобщего и бесконечного внутреннего мира, заключающего в себе *существенное многоразличие всеобщих законов*, проявляющихся во внешности, и полагает его как существенное в противоположность внешнему, изменяющемуся миру, который излагается им до ничтожного и преходящего явления внутреннего. Сознание, имеющее предметом внутренний мир всеобщих и неизменяемых законов, есть *рассудок* (Verstand).

Итак, мы возвратились теперь к последнему результату всего нашего исследования. Сначала мы рассмотрели все степени познающего Духа, начиная от чувственного сознания до теоретического знания, оказавшегося неспособным к удовлетворению главного требования познающего Духа, не имеющего в себе ни органического единства, ни необходимости и указывающего за себя на высшую степень познавания – на философию. Потом мы повторили все нами сказанное в первой половине нашей статьи, для того чтоб показать, что результат нашего исследования не есть только субъективный и односторонний результат нашего индивидуального мнения, но объективный, т. е. необходимый, результат развивающегося сознания, проходящего все эти степени как необходимые степени своего развития и отрицающего их, наконец, наивысшей степени, на степени всеобщего отвлеченного рассудка, на котором, впрочем, оно не останавливается; рассудок собственным диалектическим движением своим возвышается до разума и отрицает себя в нем как в сфере абсолютного, истинного знания. Этот переход рассудка в разум будет теперь особенным предметом нашего исследования.

Познающее сознание развилось теперь до такой степени, что чувственное, преходящее явление перестало быть для него истиной. Оно ищет истины во *внутреннем, неизменяемом мире законов*, в законах как физического, так и духовного мира: механики, физики, химии, физиологии, антропологии, психологии, права, эстетики, истории и т. д.

Внешнее проявление законов, чувственный мир явлений, беспрестанно изменяется, проходит, беспрестанно осуществляет свое собственное ничтожество: и познающее сознание возвышается над преходящеюся внешностью в *непреходящий* внутренний мир. Но этот внутренний мир не безразличен; нет, он различается и раздробляется на множество особенных, также непреходящих законов. Кроме этого, внутренний мир законов не мог бы быть действительным, существенным, не мог бы быть истинным, если б он не имел проявления в ничтожной сфере явлений. Внутренний мир законов есть внутренний только в отношении к проявляющему его миру внешних явлений; и потому рассудочное сознание должно обратиться к последнему, должно *наблюдать* его, для того чтоб отыскать в нем проявляющиеся в нем законы, которые, как бы ни были многоразличны явления, всегда остаются *себе равными и неизменяемыми*. Если *закон* открыт, то внешнее многоразличие непосредственного пребывания, в котором он является, теряет всякое значение, как ничтожное и несущественное. Закон неизменяем, внешнее же проявление его беспрестанно изменяется. Закон преломления лучей, например, везде и всегда один и тот же, но внешнее пребывание, внешнее явление этого закона беспрестанно видоизменяются внешними и случайными обстоятельствами, так что ни одно не похоже на другое. Но многоразличие и случайность единичных явлений в противоположность единству и необходимости всеобщего закона ничтожны для познающего рассудка, который вникает в них не для того, чтоб на них остановиться, но для того, чтоб отвлечь от них всеобщий неизменяемый закон. Вследствие этого предметный мир распадется для сознающего рассудка на два противоположные мира: 1) на *существенный внутренний мир законов* и 2) на *ничтожный мир их внешнего проявления*; последний, как находящийся между сознающим рассудком и внутренним миром, отделяет их друг от друга и не допускает непосредственного отношения одного к другому. Рассудок относится к внутреннему миру законов не непосредственно, но через посредство внешнего мира явлений. Но различие обоих миров, внутреннего и внешнего, – неистинное

и несущественное различие: закон есть не что иное, как всеобщее и неизменяемое выражение изменяющегося явления, которое, в свою очередь, не более как конкретное обнаружение закона, обнаружение, различающееся от всеобщности закона только случайными и ничтожными видоизменениями. Вследствие этого содержание чувственной внешности и сверхчувственной внутренности совершенно одинаково, и сознающий рассудок, относясь к внешнему миру явлений, непосредственно относится к внутреннему миру законов. Рассмотрим теперь это отношение.

Он относится к нему как во вне его и независимо от него находящемуся, как к самостоятельному предмету его познавания и как *истине* в противоположность себе как неистинному. Вследствие этого сознающий рассудок должен, безусловно, с ним соображаться и не должен позволять себе ни малейшего изменения. Он отвлекает от ничтожного многоразличия внешности и, возвысившись до внутренней сущности как физического, так и духовного мира, находит в нем *существенное многоразличие вечных, неизменяемых законов* . Что же такое эти законы? Они уже – не непосредственные единичности и не чувственные всеобщности, как предметы чувственной достоверности и опытного наблюдения, но чистые, сверхчувственные всеобщности – *мысли*, происшедшие для сознания через его *собственную* сознающую деятельность и через его *собственное* отвлечение от всего особого и чувственного. Но как *мысли* они перестают быть внешними и чуждыми для познающего рассудка, потому что мысли суть собственные определения (Bestimmungen), собственная внутренняя принадлежность рассудка; и потому *объективные*, т. е. действительно сущие, с одной стороны, они, с другой стороны, *субъективные* мысли, т. е. мысли, мыслимые познающим субъективным сознанием. Таким образом, сознание, считавшее до сих пор все принадлежащее ему и все от него происходящее за неистинное и за несущественное, собственным имманентным (присущим) движением своим доходит до сознания истинных своих *собственных* мыслей, до сознания, что они, несмотря на то что они – его мысли, имеют объективную действительность. Сознание другого, внешнего объекта превратилось в сознание *своих собственных* мыслей, своей собственной сущности, *самого себя* как истины и становится *самосознанием*.

Но тут является новое противоречие. Познавая законы как физического, так и духовного мира, рассудочное сознание познает свои собственные определения, свои собственные мысли; и, несмотря на это, оно познает их как нечто вне его находящееся и ему чуждое. Эмпирически познающий рассудок получает их через отвлечение от внешнего многоразличия чувственной достоверности опытного наблюдения; он принимает, но не понимает их, не находит себя в них. Вследствие этого эмпирики и теоретики беспрестанно отрицают возможность действительного проникновения во внутреннюю сущность и необходимость законов; но эти законы – его *собственные мысли*; да, его познающее сознание, единое и нераздельное по своей сущности, не может найти себя в *анархическом* многоразличии законов; но эти законы – его *собственные мысли*; да, его собственные, но только *изолированные, раздробленные*, друг для друга внешние, пребывающие в многоразличии и лишенные органического, всепроникающего единства. Понять многоразличие – значит найти в нем такое всеобщее и живое единство, которое проникало бы его так, что все неподвижные особенности, части его превратились бы в текучие члены единого, всеобщего и живого организма; а следовательно, для того, чтоб понять многоразличие законов или мыслей, должно найти в нем такое всеобщее и единое начало, которое бы имело во всех особенных законах или мыслях свои органические, необходимо из него вытекающие члены и которое, будучи их единственным началом и источником, было бы вместе и их единственным концом, их единственной целью. Каким же образом найти это всеобщее и единое начало? Внешний мир не может дать его сознанию, потому что он дает ему только ничтожное многоразличие чувственных единичных предметов, так что сознанию необходима уже *собственная деятельность отвлечения и вникания* для того, чтоб возвыситься до существенного многоразличия законов; теперь же, отыскивая всеобщего и единого начала в многоразличии

законов или мыслей, оно еще скорее должно обратиться к самому себе как к единственному источнику этих мыслей. Многоразличие законов есть многоразличие его собственных мыслей, *его собственной единой и нераздельной понимающей деятельности*. Понимающий рассудок есть источник этих мыслей; он сам обособляется (besondert sich), реализуется в них. По себе (an sich), в возможности они уже находятся в живом, необходимом единстве между собою, потому что они имеют единым и всеобщим источником и основанием нераздельное единство понимающего рассудка. Рассудок есть *отвлеченное всеобщее*, имеющее свою реальность, свое действительное существование в *конкретном* многоразличии особенных, из него вытекающих мыслей. Если б он остался при своей отвлеченной и единой всеобщности и не осуществлялся бы в многоразличии особенных мыслей, то он не был бы действительностью, но только возможностью понимания; вследствие этого он должен выйти из своей отвлеченной всеобщности и осуществиться в особенных мыслях; но его отвлеченность и односторонность состоят именно в том, что, *различив и раздвоив* себя на *всеобщее* и на *особенное*, он остается при этом *различии* или раздвоении и не умеет восстановить в нем своего *единства*, так что особенные мысли в действительном пребывании своем являются как внешние и равнодушные друг к другу и как независимые от своего всеобщего и единого начала. Они приводятся рассудком во *внешнюю систему* и как особенные *субсуммируются* под всеобщее; а это составляет предмет обыкновенной *формальной логики*; но такая внешняя система не есть действительная, необходимая система, вытекающая из натуры самого предмета, но внешнее и произвольное деление познающего субъекта, а потому и не может удовлетворить познающего сознания, которое, ставши *самосознанием*, обращается к самому себе для разрешения этого последнего противоречия.

Как *сознание* оно еще искало истины в *другом*, для него внешнем, но в постепенности своего развития оно испытало *улетучивание* всякой чувственной и непосредственной единичности и всеобщности в сверхчувственном и неизменяемом мире вечных законов как в *единственной истине и действительности всего сущего*. Наконец, оказалось, что, сознавая многоразличие законов, оно сознает многоразличие своих собственных мыслей, – и сознание перешло в *самосознание*.

Сознание как предшествующая степень уже предполагает *самосознание*, но как подчиненный момент, как неистинное в противоположность внешнему сознаваемому предмету как истинному, а именно сознание как знание *другого*, невозможно без различения себя от другого, а следовательно, и без знания себя, без самосознания; но мы видели, что сознание знает себя как неистинное и как долженствующее соображаться с истиною внешнего предмета; одним словом, истина для сознания не самопознающее субъективное *я*, но противоположный ему *объект*, внешний предмет. Теперь же отношение это совершенно изменилось. Сознание собственным диалектическим движением своим дошло до сознания *ничтожества* внешнего мира явлений и до сознания, что противоположные ему бесконечность и всеобщность внутреннего мира, заключающего в себе существенное многоразличие *особенных всеобщностей* или законов, есть единственная истина. Но бесконечность и всеобщность внутреннего мира есть не что иное, как *отвлеченная мысль*, бесконечная всеобщность самого сознающего рассудка, всеобщность, произведенная деятельностью его *собственного отвлечения* от изменяемости и от ничтожного многоразличия внешнего мира явлений; и потому, говоря о непроницаемости внутреннего мира эмпирики и теоретики, никогда не возвышающиеся над степенью отвлекающего и вникающего рассудка, сами не знают, что и о чем они говорят. Они говорят о внутреннем мире как о чем-то имеющем самостоятельное существование, независимое от внешности, и заключающем в себе конкретное содержание, недоступное для нас, потому что, не имея внешнего проявления, оно закрыто от нас внешностью мира явлений.[25]

[25] Мы не можем не привести здесь ответа Гете на одно стихотворение, утверждавшее, что:Ins Innere der NaturDringt kein erschaffner Geist,Zu glucklich, wenn er nurDie aussere Schaale weisst.Гете отвечает на это:Das hor' ich sechzig Jahre

Но мы видели, что внутренний мир есть внутренний только в отношении ко внешнему и что внешний мир не имеет самостоятельного существования, независимо от внутреннего, так что он не более как проявление внутреннего мира; если же мы предположим, что последний имеет особенное существование, отдельное от существования внешнего мира, и особенное конкретное содержание, закрытое от нас и потому и не являющееся нам во внешности, то мы необходимо должны будем допустить и самостоятельное существование внешнего мира, отдельное от внутреннего и противоположное ему. Таким образом, *внешность*, оказавшаяся в нашем исследовании как преходящее и несущественное проявление существенного внутреннего мира, становится теперь самостоятельной, независимой и существенной. Но мы видели, что все развитие сознания заключается именно в том, что оно возвышается над внешностью как над ничтожной и несущественной к существенности внутреннего мира, и это не было наше индивидуальное мнение, но необходимый диалектический ход самого сознания; сама внешность как преходящая и несущественная указывает за себя на существенность внутреннего мира как на единственную истину в противоположность ей как неистинной, ничтожной и несамостоятельной. Итак, мы должны признать внутренний мир за единственную истину, вследствие чего не можем признать существенности и самостоятельности внешнего, потому что по вышедоказанному одно отрицает другое. Отвергая же существенность и самостоятельность внешнего мира, мы не можем принять особенного и скрытого существования внутреннего, вся сущность которого состоит именно в том, что он проявляется во внешнем. Кроме этого, если содержание внутреннего мира не проявляется во внешнем, то это – ничтожное, бессильное содержание, не имеющее силы, энергии самоосуществления, а потому и неистинное. Вследствие этого предположение господ эмпириков и теоретиков совершенно нелепо.

Но откуда же происходит это заблуждение, это мнение о мнимой непроницаемости внутреннего мира? Всеобщность внутреннего мира не есть особенный предмет и потому не может быть предметом ни чувственного созерцания, ни опытного наблюдения; каким же образом рассудок находит его? Не иначе как деятельность своего собственного отвлечения от чувственного многоразличия внешнего мира. Итак, внутренний мир не найден им во внешности как особенное существование, но есть результат, *произведение* его собственной отвлекающей деятельности. Внутренний мир есть всеобщая отвлеченная мысль, *отвлеченная всеобщность* самого рассудка и, несмотря на это, единственно истинный и существенный *объект*; но, как существенный и истинный, он не может быть пустым; если ж он не пуст, то он имеет конкретное содержание, если ж он имеет конкретное содержание, то по вышеуказанному оно не должно и не может заключаться в себе, но должно иметь энергию самоосуществления, должно проявляться во внешности. И потому содержание его должно быть открыто. Откуда же происходит мнение, что оно скрыто и непроницаемо? *Внутренний мир имеет свое* действительное, конкретное содержание в существенном многоразличии законов, из которых каждый имеет внешнее проявление. Но мы видели, что внутренний мир есть не что иное, как *всеобщая отвлеченная мысль*, отвлеченная всеобщность самого рассудка. Различные же законы также не более как *особенные всеобщности, особенные мысли,* произведенные деятельностью осуществляющегося, отвлекающего и вникающего рассудка. Они так же не подлежат чувственному созерцанию и опытному наблюдению, как и отвлеченная всеобщность внутреннего мира, и точно так же не могут быть найдены им во внешности, как особенные чувственные его отвлечения и вникания[26]. Но мы видели, что недостаток рассудка состоит именно в том, что, осуществляя отвле-

---

weiderholen,Und fluche drauf, aber verstohlen:Natur hat weder Kern, noch Schaale,Alles ist sie mit einem Male и т. д.Вовнутрь природы не проникает ни один сотворенный дух, слишком счастливый, если он только знает внешнюю ее оболочку (нем.).Я это шесть десятков лет слыхал,Хоть втайне, но не негодовал.Но ты скажи тысячу раз в ответ.И обильна она, и щедра.Нет у природы ядраИ скорлупы – нет,Все она сразу, вот мой ответ.(Пер. В.Гиппиуса)Стихотворение И.Гёте – «Несомненно (Физику)» (Собр. соч. Т. I. С. 489).

[26] Кому покажется странным, что *законы* определяются нами как чистые мысли, произведенные деятельностью рассудка, и

ченную всеобщность свою в многоразличии особенных мыслей и *различая* себя таким образом на *отвлеченно-всеобщее* и на *конкретно-особенное*, он остается при этом *различии*, не умеет восстановить в нем своего первоначального единства и, как отвлеченно-всеобщее, не умеет найти себя в конкретно-особенном. Вследствие этого он распадется для себя на *отвлеченную пустую* всеобщность и на анархическое многоразличие особенных мыслей. Таким образом, имея в предметном мире, с одной стороны, отвлеченную и бесконечную всеобщность внутреннего мира, а с другой – конкретное многоразличие законов, он не знает, что многоразличие есть действительное и существенное содержание всеобщности внутреннего мира. Но так как последний оказался ему как существенный, существенность же и пустота несовместны, но он и предполагает, что внутренний мир имеет особенное, скрытое и непроявляющееся содержание, и впадает таким образом в противоречие, разрешение которого принадлежит уже не ему, но *самосознанию*. А именно, так как внутренний мир есть его собственная бесконечная всеобщность, а многоразличие законов – многоразличие его собственных мыслей, то, относясь к внутреннему миру законов, рассудочное сознание относится к самому себе и становится *самосознанием, самосознательным субъектом,* имеющим *в своих мыслях* всю бесконечную истину *объективного*, предметного мира, так что мысли его, как *субъективные*, не противоположны *объективному*, познаваемому миру природы и Духа, но, напротив, проникают его и составляют его существенность; и субъективные, с одной стороны, они, с другой стороны – *объективные определения*, простые всеобщие сущности и единственная истина всего сущего.

Из этого могут заключить, что всякое *единичное самосознание*, самосознание всякого единичного индивида, в противоположность всему окружающему его миру, есть абсолютная истина, так что всякий человек, достигший до этой степени развития, уже достиг полного осуществления своего человеческого назначения, своей внутренней цели, возможности. И в противоположность этому мнимому результату всего нашего исследования укажут на ежедневный опыт, беспрестанно являющийся нам людей, имеющих самосознание, – а до отвлеченного самосознания доходят очень рано и самые ограниченные люди, – и, несмотря на это, еще неистинных, несовершенных, недовольных внутренним и внешним содержанием своей жизни и стремящихся к истине и к внешнему благополучию. Но это возражение нисколько не пугает нас. Единичное самосознание истинно и разумно, но только *по себе* (an sich), а не *для себя* (fur sich), в *возможности*, а не в действительности, так же как и дитя есть только зародыш разумного человека; разумность не дается и не приобретается им со-вне, но составляет его существенную сущность – сущность, на основании которой оно принадлежит именно к человеческому роду и не есть животное.

Последнее не может достигнуть разумности, потому что не имеет ее в себе. Вследствие этого дитя, как принадлежащее к человеческому роду, разумно, но никто не станет утверждать, что (б) оно было *действительно* разумным. Для того чтоб быть действительно разумным, оно должно развиться до мужского возраста. Итак, разумное, с одной стороны, но оно, с другой стороны, неразумно, т. е. оно есть только *возможность*, а не действительность разума; для того чтоб стать в действительности (для себя) тем, что оно есть в возможности (по себе), оно должно развиться. В чем же состоит это развитие? Неужели только в том, что его организм достигает мужеского возраста? Мы встречаем, напротив, очень часто взрослых людей, которых все называют детьми, неразумными именно потому, что, развившись физически, они не развились духовно и, оставшись только при возможности разума, не осуществили его в действи-

---

что, несмотря на это, мы приписываем им *объективное* достоинство, тому стоит только обратить внимание на математические вычисления, для того чтоб согласиться с нами. Математика и чистая механика суть чистые науки, нисколько не зависящие и ничего не заимствующие от опыта. Содержание их есть чисто содержание a priori; числа, идеальные измерения, законы – *чистые мысли*, основывающиеся единственно только на рассудке и развивающиеся его чистой, совершенно самостоятельной деятельностью без всякого применения к опыту. И, несмотря на это, математики вычисляют посредством этих чистых мыслей *движение планет*, – вычисляют его с изумительной точностью. Это может служить доказательством, что *чистые субъективные мысли есть* вместе и *определения объективного действительно сущего мира.*

тельности. Итак, истинная действительность человека состоит именно в его духовном развитии, в осуществлении его разума, он должен познать бесконечную истину, составляющую его субстанцию, его сущность, и осуществлять ее в своих действиях, так что в тождестве истинного знания и действий человека, в истине его теоретического мира и в сообразности практического мира с теоретическим заключается вся действительность его. Дитя же, как принадлежащее к человеческому роду, единственная сущность которого есть разум, – разумно; но, как не развившее своей разумности, оно есть только внутренняя возможность разума, а не действительность его; оно не знает истины и не может поступать сообразно с нею – в этом заключается его невинность, – невинность, улетучивающаяся в развитии самосознания; не зная истины, оно не знает и лжи, не зная добра, оно не знает зла, в познании же зла заключается источник всякого греха. Но, несмотря на то что оно не действительно как разумное, оно все-таки существует, живет, имеет внешнее пребывание, и все существование, вся внешняя действительность его состоит в удовлетворении потребностей животного организма. Правда, что в самом непроницаемом тумане его чувственной жизни уже просвечивают лучи бесконечного Духа; но это не более как мгновенные озарения, свидетельствующие только о его божественном происхождении и не достигающие действительного существования; действительное существование его ограничивается чувственною жизнью, которая, как не положенная (gesetzt), не произведенная его разумной сущностью, не есть самоосуществление пребывающего в нем разума и не соответствует его внутренней, бесконечной возможности; и дитя есть внутреннее противоречие – противоречие между бесконечностью его внутренней идеальной сущности и ограниченностью его внешнего существования, противоречие, которое есть источник движения, развития, стремящегося единственно только к его разрешению. В чем же состоит это разрешение?

В *обнаружении, в самоосуществлении внутренней разумности и в отрицании не соответствующей ей внешности* – так, чтоб внешнее существование развивающегося человека соответствовало его внутренней бесконечной сущности. Как Дух, всякий человек имеет *субстанцию*, единственным источником своей человеческой жизни – *абсолютную истину*, бесконечную всеобщность и полноту разума. И потому всякий в *единичности своей есть Всеобщий* и, как имеющий *в себе* всеобщее, может *возвыситься* до него, не выходя из своей единичности, может познавать всеобщее, истину и осуществлять ее силой своей свободной воли. Мы видели, что всеобщее есть единственная основа, истина и необходимость всего сущего, необходимость, которой все покорено и которой ничто избегнуть не может. Все сущее как в физическом, так и в духовном мире происходит, развивается, живет и проходит по необходимым и определенным законам, и эти законы, как определенные и особенные мысли, суть необходимые члены единого, бесконечного и нераздельного организма *всеобщего – разума*.

Вследствие этого, не говоря уже об органическом развитии человека, вполне подчиненном законам органической жизни, само духовное развитие, как развитие и самоосуществление заключающегося в нем разума, покорено необходимости, а именно: необходимости развивающегося разума, всеобщего. Разум проникает все мироздание, бессознательное развитие которого, так же как и сознательное развитие человека, подчинено его непременным и вечным законам. Из этого могут заключить, что человек не есть существо свободное, и это будет противоречить существенному определению человеческого духа, сущность которого есть свобода. Но разве необходимость исключает свободу? Нисколько. Повинуясь *внешней* необходимости, я не свободен как условленный и ограниченный *со-вне* и потому, что законы, условливающие и определяющие мое существование, не во мне, но вне меня. Как чувственный, единичный организм я не свободен, потому что я, безусловно, подчинен всеобщим законам органической жизни, существующим независимо от моей единичной индивидуальности и вместе вполне обнимающим ее; пробуждение и удовлетворение моих физических потребностей и весь жизненный процесс моего организма независимы от меня как необходимые определения всеобщности органической жизни, – всеобщности, которой я как единичный организм есть

только частное, преходящее осуществление. Это абсолютное рабство единичного организма еще сильнее является в животном как только *единичном в своей единичности* и как не имеющем в свободной мысли всемогущего средства к освобождению. Оно не свободно, потому что, будучи, с одной стороны, осуществлением всеобщего, имеющего в нем свою единственную действительность, оно, с другой стороны, не обнимает его собою, не заключает его в себе, а потому и не в силах возвыситься до него – до истины, не в силах вырваться из своей единичности, из тесной сферы своего чувственного эгоизма, которым ограничивается и в котором единственно заключается все его существование.[27]

И вся животная органическая жизнь есть не что иное, как беспрерывное, ничем не разрешимое противоречие *всеобщности рода*, осуществляющегося и действительного только в бесконечном множестве единичных животных организмов и не достигающего себя в них, потому что каждое единичное, как не соответствующее всеобщему и как дополняемое со-вне другими животными организмами, конечно и вследствие своей конечности исчезает в бесконечной субстанциальности своего рода и уступает место другим единичным организмам, точно так же конечным и недостаточным и точно так же преходящим и смертным, как и оно.

Человек как единичный животный организм находится в точно таком же отношении к своему роду и точно так же конечен и преходящ, как и животное. Но, с другой стороны, он в единичности и конечности своей бесконечен и всеобщ[28]. Каждый человек в единичности своей заключает всю бесконечную и всеобъемлющую полноту всеобщей абсолютной истины, и потому он не нуждается в дополнении другим; бесконечность не может быть дополнена, и сущность человеческого духа есть свобода, потому что, пребывая в себе, пребывая во внутренности существа своего, он пребывает в свободной, ничем не ограниченной истине и необходимости всего сущего. Всеобщее развивается, живет и обособляется по необходимости неизменным законам; но эта необходимость не стесняет его свободы, потому что она не положена и не ограничивает его со-вне, но составляет его собственную и единственную, все собой обнимающую, условливающую и ничем со-вне не условленную сущность. Вследствие этого человеческий дух, как в единичности своей всеобщий, по сущности своей так же свободен и так же ничем не ограничен, как и всеобщая необходимая истина. Но если он в самом деле свободен, если он действительно заключает в себе всю полноту бесконечной истины, почему же он вместе и ограничен, и конечен, и недостаточен? Каким образом может он заблуждаться, страдать и стремиться к освобождению? Одно противоречит другому; как же разрешить это противоречие? Оно необходимо вытекает из двойственной природы человеческого духа, который есть бесконечная полнота и свобода всеобщей истины, с одной стороны, а с другой – единичный, конечный и преходящий индивид. Как естественное существо, человек так же связан и ограничен, как и животное. Правда, что организм его выше, полнее, а потому и свободнее всех других животных организмов; тело человеческое, как полное, совершенное осуществление органической и естественной жизни вообще, гармонически соединяет в себе все частные образования и процессы как органической, так и неорганической природы. Предчувствуя сию тотальность и полноту человеческого организма, древние мистики наименовали его *микрокосмом* (малым миром), и это название оправдалось новейшими открытиями естественной науки.

Вследствие этого человек не связан, подобно другим животным, особенным климатом, особенным родом жизни и пищи; всеобъемлемость его природы возвышает его над всяким

---

[27] «Животное, – говорит Розенкранц в своей психологии, – есть glebae adscriptus; оно *должно* так действовать, как оно действует, и не может иначе действовать. Ограниченностью своей жизни оно заключено в очарованном круге, за который никогда перешагнуть не может; отсюда поразительная безошибочность от инстинкта»Речь идет о работе К.Розенкранца «Psychologie, oder Wissenschaft vom subjektiven Geist» («Психология, или Наука о субъективном духе»). Konigsberg, 1837.

[28] Человек, в котором разрушается тождество единичности и всеобщности, становится животным, потому что вне этого тождества он перестает быть разумным, перестает следовать разумным законам всеобщности и повинуется только животным движениям своего единичного организма.

ограничением и делает возможным то господство над всеми царствами природы, к которому он призван как существо разумное, как самосознательный сын бога живого и как причастник бесконечного духа его.

И, несмотря на это совершенство и на сию полноту и свободу своего организма, человек подвержен недостаткам, болезням, страданиям! Откуда же это происходит и не есть ли это новое противоречие? До сих пор мы говорили о человеке вообще, о всеобщем понятии человеческого организма, которое не существует как всеобщее, но осуществляется во множестве единичных естественных индивидов. Понятие, всеобщая сущность человеческого организма, как пребывающая в прозрачном и свободном эфире творческой, самоосуществляющейся мысли, не заключает в себе недостатков и не подлежит разрушению, но не имеет также и действительности. Она действительна только в своем осуществлении, только в множестве единичных естественных индивидов, которые, как единичные и как пребывающие во внешности, находятся в непосредственном единстве с природой и определяемы климатом, географическим положением, родом пищи и т. д. Отсюда вытекают различия племен – национальные, семейные и, наконец, индивидуальные различия. Естественные индивиды как единичные, несмотря на внутреннее, разумное тождество с природою и между собой, несмотря на бесконечную полноту всеобщего, пребывающего в каждом, относятся к природе и между собой как друг для друга внешние и чуждые; вследствие этого каждый индивид подвержен случайному влиянию внешностей; каждый индивид недостаточен, ограничен и, как все внешнее и ограниченное, подлежит разрушению и смерти. В конечности человека заключается единственный источник всех его страданий, всего претерпеваемого им. Все конечное, как конечное, предполагает свое другое, ограничивающее его, и имеет его в себе как свою границу. Все конечное, как неистинное и как имеющее свое другое в себе, изменяется и проходит. Но все ли конечное чувствует свою ограниченность и способно к страданию? Нет, чувствовать свою ограниченность и страдать может только то, что по себе, в возможности, уже возвышенно над своей ограниченностью и что поэтому есть внутреннее противоречие, стремящееся к разрешению. Вследствие этого механические и химические объекты, как только конечные и как не заключающие в себе бесконечности понятия всеобщего, не чувствуют недостатка; конечность и граница их существуют только для третьего – для сознания. «Чувство недостатка и страдание, – говорит Гегель, – есть высокое преимущество живой, органической природы. Только живое, как бесконечное в своей сущности, субстанции, во всеобщности своего понятия и как ограниченное в своей единичности, чувствует недостаток; страдание есть высокое преимущество живого над безжизненным. Животное, как тотальное в своем *непосредственном* единстве, всеобщности и единичности и как конечное в своем внешнем существовании, чувствует это внутреннее противоречие и стремится к его разрешению, стремится к осуществлению своей внутренней тотальности; и оно достигает этого разрешения; оно так как оно есть только непосредственное единство всеобщности и единичности, единство, существующее в нем как полнота самоощущения, а не существующее для него как самосознание, так как жизнь животного есть жизнь во внешности, то и разрешение внутреннего противоречия, удовлетворение его нужды происходит так же во внешности, как единичное, преходящее; животное достигает только преходящего удовлетворения, удовлетворения, за которым снова следует новое пробуждение нужды и новое страдание».

Как естественный, единичный организм, человек подвержен той же участи. Он так же чувствует нужду, как и животное, но, как заключающее в себе действительную возможность тотальности всеобщего, как способное к самосознанию и к неограниченной свободе в нем, человек способен к сильнейшему страданию, чем животное. Страдания его глубже, и, как действительно бесконечный в своей единичности, он может перенести бесконечное противоречие и сохраниться в нем; но в этой же бесконечности противоречия заключается и залог разрешения, уже не внешнего и не преходящего, как в животной, органической жизни, но непреходя-

щего и бесконечного разрешения в безграничном и свободном царстве вечного духа; страдание есть необходимое условие человеческого развития; священный голос бессмертного духа, стремящегося к осуществлению своей свободы и своей бесконечности и к отрицанию чуждой ему внешности, страдание есть единственный путь очищения и освобождения для человеческого духа, – путь, по которому он возвышается над тесной и туманной сферой сво(е)й земной единичной жизни, сбрасывает с себя все бренное и преходящее и возносится в безграничное и безоблачное небо свободной и вечной мысли.

Сделаем теперь легкий обзор всему нами сказанному. В феноменологическом процессе своем сознание, начиная от чувственной достоверности, принимающей за истину многоразличие чувственного единичного бытия, снялось (hat sich aufgehoben) как подчиненный момент в самосознании; чувственное многоразличие единичного бытия улетучилось во всеобщем и низложилось до преходящего и ничтожного явления существенных и всеобщих законов как физического, так и духовного мира. Потом, нисколько не отступая от имманентного и необходимого развития самого сознания, мы увидели, что эти всеобщие законы, заключающие в себе весь бесконечный мир истины и действительности, суть не что иное, как определенные мысли, особенные всеобщности, и что эти определенные мысли суть не более как произведения осуществляющейся в них отвлеченной всеобщности познающего рассудка, так что, познавая их, рассудок познает самого себя, и сознание стало самосознание. Таким образом мы узнали как результат всего феноменологического процесса, что каждый единичный дух заключает в себе всю бесконечную всеобщность истины, но, с другой стороны, мы видели, что единичный дух есть в то же самое время и единичный организм, конечный индивид, который, как все конечное, подвержен неизбежному рабству, разрушению и смерти; мы видели, что эта конечность есть источник страдания – страдания, которое явилось нам как необходимое условие развития и освобождения. В чем же состоит это развитие и освобождение?

В том, что единичный дух, начиная от первого момента рождения, где он еще не более как самоощущающий, животный организм и только возможность, а не действительность сознания, и переходя через все степени сознания, постепенно возвышается над своей единичностью к своей истинной всеобщей сущности и становится самосознанием.

Фихте праздновал день, в который сын его сказал в первый раз *я*, и он был прав: кто говорит *я*, тот уже сознает себя, тот уже вырвался из туманной сферы ощущений, созерцаний и представлений и возвысился во всеобщую область мысли, и свободную область истинно человеческой жизни, в том уже блеснуло солнце самосознания и возможность свободы и света стала действительностью. Пробуждение самосознания в человеке есть второе рождение – рождение действительности духа.

«Выражение самосознания, – говорит Гегель в своей Энциклопедии, – есть *я-я*, отвлеченная свобода, чистая идеальность»[29]. Разобрав это определение, мы увидим, что мы не ошиблись, говоря о единичном отвлеченном самосознании. Мы сказали, что оно истинно и разумно, но только в возможности, а не в действительности. Как *возможность* истины оно истинно и неистинно в одно и то же время.

1. Выражение единичного отвлеченного самосознания есть *я-я*. *Я* есть выражение чистой, отвлеченной всеобщности, ставшей для себя предметом, распадение всеобщности на субъективную и объективную, чистое равенство субъекта и объекта. Движение самосознания – уже не ощущение более, потому что всеобщее не может быть предметом ощущения, и не мышление еще, потому что мышление требует конкретного, определенного содержания, чистое же *я* не имеет еще никакого определения и не более как отвлеченная, неопределенная всеобщность, но отвлеченная основа мышления – мыслящее интеллектуальное созерцание (intellectuelle Anschauung), в котором единичный субъект, возвысившийся до своей всеобщно-

[29] См.: *Гегель.* Соч. М., 1956. Т. 3. С. 214.

сти, различает себя от себя и становится для себя предметом. Самосознание есть беспрерывно возобновляющаяся деятельность интеллектуального себя – созерцания, сопровождающая все представления субъекта и остающаяся тождественной во всех изменениях, происходящих с ним. Кроме этого, мое *я* ничем не различно от *я* другого человека. Отвлеченное самосознание, взятое отдельно от конкретной индивидуальности, служащей ему основанием, не есть единичное, но всеобщее *я*. Я различаюсь от другого моею индивидуальностью, моим организмом, моим развитием и т. д. Но как отвлеченное самосознание, как *я-я*, я не различен от других, и это безразличие есть главная основа единства, тождества людей между собою и всех духовных организмов – государства, искусства, религии, науки, в которых осуществляется жизнь всеобщего духа. Вследствие этого отвлеченное самосознание есть бесконечная всеобщность и, как всеобщее и не имеющее другого предмета, кроме самого себя, бесконечная свобода и истина.

2. Но с другой стороны, отвлеченное самосознание есть только отвлеченная свобода. Как всеобщее, оно оказалось бесконечною истиною, – истиною, в которой улетучилось все единичное и внешнее. Но как отвлеченное, оно не более как неопределенная, а потому и пустая всеобщность – всеобщность, еще не произведшая из себя своего конкретного содержания: *я-я*, безразличное различие от себя. Мы сказали выше, что для того, чтоб стать для себя предметом, *я* должно различать себя от себя, раздвоиться на сознающее и сознаваемое. Но в этом различии себя от себя сознающее и сознаваемое *я* ничем друг от друга не различны, но, напротив, совершенно одинаковы; и потому отвлеченное Самосознание есть отвлеченная всеобщность, отвлеченное тождество с собою. Но всякое конкретное содержание предполагает действительное различие, действительную определенность; и отвлеченное Самосознание, как не имеющее в себе такого различия и такой определенности, не имеет еще никакого содержания. Но мы видели выше, что самосознание оказалось как единственная и бесконечная истина; истина же, как конкретная, необходимо должна иметь содержание; и отвлеченное самосознание, как истина и неистина в одно и то же время, есть возможность конкретной действительной истины, возможность, еще не осуществившаяся в действительности, еще не произведшая своего содержания.

Но отвлеченная и пустая всеобщность существовать не может; существовать может только что-нибудь, только определенное бытие. Каким же образом существует отвлеченное, пустое самосознание? Оно существует как конкретная, органическая, живая, а потому и определенная индивидуальность, снявшаяся в нем как в своей истине и вместе сохранившаяся в нем как подчиненный момент. Единичная, конкретная индивидуальность, органическая жизнь и вся полнота чувств, созерцаний и представлений живого индивида составляет единственное содержание отвлеченного самосознания, – содержание, к которому оно относится как сознание.

Отвлеченное, себя сознающее *я* сознает конкретное содержание живой индивидуальности и имеет в нем свое единственное наполнение. В чем же состоит содержание живой индивидуальности? Во-первых, она сама не более как единичный, а потому и конечный, и преходящий организм; кроме этого, как единичная, живая индивидуальность, она не имеет другого предмета, кроме единичностей. Всеобщее существует только для всеобщего. Но мы знаем, что единичное, не имеющее в себе всеобщего, неистинно и несвободно; мы видели, что вследствие этого живой субъект, для того чтоб быть истинным и свободным, должен отвлечь от единичности своей конкретной индивидуальности и возвыситься над собой во всеобщую сущность свою. Через отрицание себя как единичной, конкретной индивидуальности субъект стал свободным и истинным как самосознание.

Но самосознание, происшедшее через это первое отрицание, еще отвлеченно, еще не произвело своего собственного, соответствующего ему содержания, и вся реальность его заключается в живой, единичной индивидуальности, которая в нем же самом снялась как неистинная и несвободная. И потому субъект, возвысившийся только до отвлеченного самосо-

знания, освободился только через отвлечениеот рабского мира своей индивидуальности, а не через действительное побеждение его, а потому и остался к нему в отношении и достиг только отвлеченной основы и возможности всеобщего, истины, а не действительного осуществления ее, достиг только отвлеченной свободы и истины. Мы заметили выше, что отвлеченное самосознание есть основа разумного единства людей между собою. Но так как оно отвлеченно и так как вся реальность, все конкретное содержание его, заключается в единичной индивидуальности – единичные же индивидуальности друг от друга различны и относятся друг к другу как внешние и чуждые, – то оно не более как возможность этого единства, возможность, ни в чем и нисколько не осуществленная; такая возможность, которая, удержавшись в своей отвлеченности и оставшись при единичности своего индивидуального содержания, становится преступным эгоизмом.

С переходом сознания в самосознание исчезло различие между субъектом и объектом. В сознании сознающее *я*, субъект, относился к сознаваемому предмету, как объект, как от него различному, как к такому, с которым он должен был соображаться. Различие это происходило оттого, что субъектом было это единичное, непосредственное *я*, а объектом – внешнее многоразличие непосредственных единичностей. Но в феноменологическом процессе сознания улетучились внешность и единичность как субъекта, так и объекта, а вместе с этим исчезло и различие между ними, потому что оба оказались как всеобщие. Единичное *я* стало всеобщностью субъективного *я*, сознающего всеобщность объективного мира законов или мыслей, и сознание перешло в самосознание. Вследствие этого в самосознании положено тождество субъекта и объекта. Но первая форма самосознания, происшедшая для нас в феноменологическом процессе, есть отвлеченное самосознание, которое, как еще не осуществившееся, имеет все свое содержание во внешности единичности живого и конкретного индивида, – содержание, которое в нем же самом снялось как неистинное в своей истине и которое различно от него, как единичное и чувственное от всеобщего и сверхчувственного. Всеобщий отвлеченный субъект относится к внешнему и чувственному многоразличию как к чуждому и различному от него предмету сознания, и тождество субъекта и объекта снова разрушилось.

3. Но между отвлеченным самосознанием и сознанием та разница, что в последнем единичность и внешность предмета положены как истина, в то время как в первом они снялись вместе с непосредственной индивидуальностью субъекта. В отвлеченном самосознании уже положено ничтожество всего этого единичного и преходящего мира; и оно, как внутреннее противоречие отвлеченной всеобщности чистого *я* и непосредственной единичности и внешности индивида и чувственного мира, есть стремление к обнаружению своего внутреннего, имманентного ему всеобщего содержания и к действительному отрицанию всего непосредственного и внешнего. Отвлеченно себя сознающий субъект приходит в соприкосновение с чувственными единичностями, ограничивающими его свободу, и, предчувствуя свое могущество над ними, предчувству(я) истину своей всеобщности, покоряет их своим собственным субъективным целям и восстановляет таким образом единство субъекта и объекта. Кроме этого, живые, отвлеченно себя сознающие субъекты, как безграничные в отвлеченной всеобщности своего самосознания и как ограничивающие друг друга в действительности, встречаются друг с другом и, побуждаемые стремлением осуществить свою внутреннюю всеобщность, свою внутреннюю отвлеченную свободу во всем окружающем и ограничивающем их мире, вступают между собою в борьбу, результатом которой бывает или смерть одного, предпочевшего отвлеченную свободу своего самосознания – жизни, или рабство другого, пожертвовавшего достоинством свободной всеобщности для сохранения своего единичного существования, – в борьбу, в которой постепенно отрицаются их живые индивидуальности, отделяющие их друг от друга, и, как единичные и неистинные, подчиняются истине самосознания, и которая наконец венчается взаимным признанием единичных субъектов во всеобщей сфере всеобщего разумного само-

сознания, т. е. такого, в котором один свободный и самостоятельный единичный субъект не ограничивается другим, противоположным ему, но продолжает, находит и сознает себя в нем.

Всеобщее самосознание есть положительное знание о себе одной единичной самости, одного единичного субъекта в другом, противоположном ему, – знание, которое возможно не иначе как через отрицание непосредственности или чувственности обоих.

Может быть, некоторые из преследователей философского знания найдут и здесь повод к привязке и станут утверждать в противоположность нами сказанному и основываясь на своем собственном опыте, так же как и на опыте многих подобных им людей, что в человеке нет ни малейшей потребности к отрицанию своей непосредственной или чувственной единичности и к возвышению над ничтожностью окружающего его чувственного мира. Но во-первых, нам довольно указать на всемирную историю, на существование гражданских обществ, искусства, религии и науки, для того, чтоб доказать, что это стремление не только что не наша фантазия, но что без действительного осуществления его человек остался бы на степени животного; во-вторых же, это возражение нисколько не удивит нас, потому что, говоря о развитии человеческого духа, мы говорим о человеке вообще, а не об эмпирически существующих индивидах, из которых многие по недостатку и бедности природы своей могут не соответствовать всеобщему понятию и определению человека. Мы знаем, что существование конечного духа, как условленное внешностью и естественностью, подвержено бесконечным случайностям и зависит от большего или меньшего совершенства организаций. Многие рождаются уродами, идиотами, так что, несмотря на свой человеческий образ, они кажутся ближе к животному, чем к человеческому роду. Другие, без видимых недостатков, так бедны природою и наклонностями своими, что они не в силах ощутить противоречия своей бесконечной внутренности и своей конечности внешности и всегда будут предпочитать кусок бифштекса как нечто абсолютно действительное – мысли, которая для них всегда останется призраком. Если же в них и просвечивает иногда бесконечная сущность духа, то она в них не довольно сильна для того, чтобы вырвать их из тесной сферы естественной жизни, и, связанная с чувством бессилия, пробуждает в них иногда зависть, которая бывает часто поводом нехороших, неблагородных поступков. Может быть, и весьма вероятно, что большая часть из наших врагов философии находится под этой категорией и потому ответ на их возражения принадлежат более антропологической физиологии; мы же обратимся к своему предмету.

Мы видели, что самосознание, как в заключающее в чистых определениях своей сущности, всеобщего, в своих мыслях всю бесконечную истину и действительность объективного мира, уже не противоположно ему, а потому и не ограниченно им и, как единство субъекта и объекта, есть бесконечная истина; но что в первом непосредственном пребывании своем, как непосредственно единичное самосознание, оно еще не соответствует своему понятию и есть единство субъекта и объекта, истина только в возможности, а не в действительности. Мы видели, что вследствие этого противоречия единичное самосознание отрицает свою непосредственность, так же как и непосредственность чувственного мира и подобных ему единичных самостей, и становится всеобщим самосознанием. Рассмотрим теперь последнее.

Происшедши через взаимное самоотрицание непосредственно единичных субъективностей, оно есть всеобщий разумный субъект, в котором единичные субъекты, как отрешившиеся от своей непосредственности, не исчезают, сохраняются, но вместе и перестают быть друг от друга различными и составляют одно всеобщее, неразрывное единство. Всеобщий разумный субъект есть общая духовная почва, общая духовная и незримая отчизна всех непосредственно единичных субъективностей, отчизна, которая находится не вне их, так что для достижения ее они должны бы были выйти из себя и перестать быть самим собой, но заключается в них самих, как их истинная сущность, так что для достижения ее они должны только очиститься от ограниченности и эгоизма своей чувственной непосредственности, разделяющей их между собою и противополагающей их друг другу, и возвыситься во внутренность своей собственной

сущности и истины, где нет ограниченной и эгоистической вражды, но безграничное, разумное и любовное взаимное признание, признание во всеобщей и нераздельно единой среде разумного самосознания, всеобщего субъекта.

«Борьба самосознаний, – говорит Розенкранц в своей „Психологии…“, – имеет своим истинным результатом всеобщее признание субъектов, различающихся друг от друга своими индивидуальностями. Каждый из них знает себя как самосознание, которому покорено самоощущение единичной жизни, и каждый знает другого, противоположного субъекта как самосознание, сущность которого тождественна с его собственною сущностью. Таким образом исчезает индивидуальное различие субъектов между собою и заменяется их разумным, себя знающим единством; объектом самосознания становится оно само; оно сознает себя в другом и другого в себе, и объективность становится тождественною с субъективностью».

«Тождество субъекта и объекта есть форма всякого духовного сознания; одно самосознание для других то же, что они для него. Одно сознает себя в другом. Одно отражает в себе другого и обратно отражается в другом. Любовь, дружба, патриотизм, вера, семейство, государство и все духовные организмы вообще, так же как и все добродетели, имеют основою это единство самосознания с собою и другими. *Я* есть *мы*».[30]

В феноменологическом процессе сознания и в возвышении его к самосознанию исчезло различие субъекта и объекта; самосознание оказалось как истина сознания, как тождество субъекта и объекта, как бесконечная истина и свобода. Но первою формою самосознания оказался единичный, отвлеченно себя сознающий субъект, отвлеченная всеобщность, не осуществившая своего внутреннего содержания и имеющая всю свою реальность во внешности и единичности живого индивида; субъект, в котором достигнутые истины, свобода, единство субъекта и объекта и единство субъектов между собой ниспали до неосуществленной возможности – до возможности, ограниченно не соответствующею ей действительностью. Отсюда произошло стремление к освобождению, стремление, имеющее целью обнаружение своего внутреннего содержания и отрицание ничтожной внешности: подчинение единичностей чувственного мира субъективным целям самосознания и борьба субъектов между собой, взаимное отрицание живых индивидуальностей и возвышение над ними в истинную область всеобщего, разумного субъекта, в котором полное осуществление внутреннего содержания самосознания, полное осуществление тождества субъекта и объекта и единства субъектов между собою, полное осуществление бесконечной истины и свободы.

Мы сказали, что всеобщее самосознание есть общая, духовная и незримая почва, в которой единичные субъекты, различающиеся друг от друга своими индивидуальностями, сливаются в одно неразрывное единство. Эта всеобщая почва, в которой исчезают различия единичных субъектов между собою, есть для себя сущая всеобщность и объективность самосознания – разум.

«Самосознание, – говорит Розенкранц, – является себе как разумное. Объективность, лишившись внешней коры, отделявшей ее от субъективности, перестала быть ей чуждою; и так как каждая из них получила значение всеобщности, то взаимное противоположение их исчезает. Субъект достиг достоверности, что его мысли заключают в себе объективную истину или что предметный объективный мир в определениях своих заключает содержание, тождественное его собственному самоопределению, содержанию его собственных определений, мыслей. Поразительное и важное этого результата заключается в том, что субъект говорит миру: „Ты – мой мир“. В этой достоверности заключается бесконечное примирение сознания: оно ничего не имеет вне себя, что бы противоречило ему, точно так же, как и ничего не находит в себе,

[30] Речь идет о вышеназванной работе Розенкранца.

что бы не имело вне его соответствующей ему реальности. Вследствие этого разумность самосознания есть вершина феноменологического развития»[31]

Таким образом, вопрос, составляющий главный предмет этой второй половины нашей статьи, разрешен самым удовлетворительным образом; нам нужно было знать, возможно ли такое знание a priori, которое, обнимая всю полноту субъективных мыслей, обнимало бы в одно и то же время и всю полноту объективного, действительного мира. Но разум произошел для нас как простое тождество субъекта и объекта, как единство бытия и мышления, как бесконечная истина и свобода, как такая истина, для достижения которой человек не должен выходить из себя, но должен только возвыситься над собою, над тесным и ложным миром своей индивидуальности во всеобщую и разумную сущность свою, в единственную истину своего существования. И потому вся бесконечная полнота разума доступна его знанию, в этой же полноте заключается вся истина и вся действительность как физического, так и духовного мира. «Что разумно, то действительно, и что действительно, то разумно», – говорит Гегель, и это определение разума и действительности произвело много споров и дало повод ко многим недоразумениям, которые большею частью произошли оттого, что худо поняли смысл, придаваемый им слову «действительность». Обыкновенно называют действительным все сущее, всякое конечное бытие, и в этом-то и заключается ошибка; действительно только то бытие, в котором пребывает вся полнота разума, идеи, истины; все же остальное – призрак (Schein) и ложь. «Идея есть истина, – говорит *Гегел*ь в свой Энциклопедии философских наук[32], – потому что истина именно и состоит в том, что объективность соответствует понятию. Не в том, однако же, что внешние предметы соответствуют моим представлениям: это будут верные представления – представления, которые я (об) этом имею. Идее же нет дела ни до этого, ни до представлений, ни до внешних предметов. Но и все действительное по той степени, по какой оно есть истина, есть также идея, и вся его истина вытекает единственно только из идеи. Единичное бытие выражает только какую-нибудь одну сторону идеи и нуждается потому в дополнении другими односторонними действительностями, являющимися также как особенные и самостоятельные; только в их полном собрании и в их взаимном отношении осуществлено понятие. Единичное, взятое отдельно, не соответствует своему понятию; эта односторонность составляет его конечность и есть источник его необходимого разрушения».[33]

Теперь ясно, что человек может познавать абсолютную истину и что философия возможна; и потому мы можем приступить к разрешению нашего третьего вопроса – вопроса о пользе философии.

Но прежде чем приступить к его разрешению, мы скажем несколько слов о философии как о науке. Мы не станем распространяться об этом предмете, потому что развитие философии как науки должно быть наукообразно и потому должно выходить из пределов журнальных статей. Мы же, рассмотрев сперва только главное деление философского знания, скажем потом несколько слов об отношении его к эмпиризму.

Мы видели, что разум есть бесконечная истина, субъект-объект, тотальность субъективных мыслей и полнота объективного, действительного бытия. Разум есть единственная и бесконечная субстанция мира, но вместе и единственный субъект, сознающий ее, единственная причина и единственная цель, начало, середина и конец всего сущего.

1. Но, взятый в абстрактном элементе чистого мышления, разум, или, что все равно, идея, есть тотальность чистых категорий или мыслей. Таким образом, он составляет предмет Логики.

---

[31] Речь идет о вышеназванной работе Розенкранца.

[32] 3-е издание, 203 стр.

[33] См.: *Гегель.* Соч. М., 1930. Т. 1. С. 321. Бакунин неточно указал страницы немецкого издания. Цитируемый им текст в изд.: Hegel G.W.J. Werke. Berlin, 1840. Bd 6. S. 385.

Здесь должно вспомнить, что мысли, составляющие содержание логики, – не субъективные только и непротивоположные бытию, но и объективные, так же как тождественные и единые с бытием. Вследствие этого логика, имеющая их предметом, не должна быть смешана с обыкновенною формальною логикою. Последняя имеет предметом только формы без содержания, только субъективные мысли, противоположные бытию и относящиеся к нему внешним образом. Спекулятивная же логика имеет содержанием разум, который есть абсолютное мышление и абсолютное бытие вместе; абсолютное бытие составляет единственный предмет ее, но только абсолютное бытие, заключенное в себе, в абстрактном элементе мышления и не осуществившееся еще в действительном мире природы и духа.

Другая существенная разница между спекулятивною и формальною логикою состоит в том, что последняя есть наука чисто эмпирическая и, как эмпирическая, не заслуживает даже названия науки, потому что наука требует строгого и органического порядка, необходимого развития, а мы видели выше, что эмпиризм есть не что иное, как сброд частных познаний, и что вся деятельность его ограничивается внешнею классификациею. Как образовалась формальная логика? Наблюдающий дух обратил внимание на внутреннюю и чистую деятельность своего мышления и, подметив категории, являющиеся в ней, привел их в порядок. Предчувствуя, что они – необходимые монеты единой и нераздельной деятельности мышления, он старался возвыситься до этого единства, но, как находившийся в области эмпиризма, не мог достигнуть, понять его и должен был довольствоваться внешнею классификациею категорий. Таким образом, формальная логика разделилась на учение о понятии, о суждении и умозаключении, которые, в свою очередь, подразделяются еще далее, и во всех этих делениях нет никакой необходимости, нет и следу того внутреннего, имманентного и необходимого развития, которое есть conditio sine qua non[34] науки в строгом смысле этого слова. Спекулятивная же логика вполне заслуживает название науки, потому что, начиная от идеи в возможности, или от абстрактного, неопределенного бытия, и до идеи, произведшей из себя всю бесконечность своего содержания, до конкретного бытия, все категории развиваются в ней необходимым, имманентным порядком.

2. Идея во внешности, в своем для себя внешнем пребывании или природа, составляет предмет философии природы.

3. И, наконец, идея, возвратившаяся из внешности к себе, в бесконечную внутренность существа своего, и сознающая себя в этом возвращении к себе, есть дух и составляет предмет философии духа, которая, в свою очередь, подразделяется на философию субъективного, объективного и абсолютного духа.

Не должно позабывать, что это деление, как философское и как истинно наукообразное, не произвольно, но вытекает из собственного необходимого развития самого абсолютного содержания, в котором все отдельные, особенные части составляют необходимые текучие моменты, собственным имманентным движением своим возвышающиеся над собою и отрицающие себя в по – следующих высших моментах и, наконец, в бесконечной тотальности целого. Вследствие этой последовательности необходимость деления философии может быть доказана только в науке и недоступна для тесных рамок журнальной статьи.

Каким же образом относится философия к эмпиризму и возможна ли первая без последнего? До сих пор мы указывали на недостаточность эмпиризма, теперь же мы должны показать его необходимость. Мы видели, что в феноменологическом развитии духа чувственная достоверность, опытное наблюдение и рассудочный эмпиризм предшествуют разумному самосознанию, точно так же как чувство, созерцание и представление предшествуют чистому мышлению, но кроме этой психологической необходимости эмпиризма, он необходим еще и в другом отношении. А именно: он собирает материалы для философии, он беспрестанно и неутомимо

[34] Непременное условие (*лат.*).

роется в действительном мире природы и духа, беспрестанно приобретает сокровища, которых не может понять, не в силах проникнуть животворной мыслью и которые передает абсолютному пониманию чистого, философского мышления. Таким образом, Аристотель, спекулятивный во многих отношениях, составил свою таблицу категорий чисто эмпирическим образом. После него Кант составил свою собственную таблицу категорий, во многом разнствующуюся от таблицы Аристотеля; и хотя он и говорил о необходимости вывода их из единого всеобщего начала, но не вывел и не доказал их и довольствовался извлечением их из различных форм суждения. Фихте старался вывести их из одного начала, но не мог достигнуть своей цели вследствие субъективной односторонности своей системы. Шеллинг во многих сочинениях своих предрекал скорое образование чистой, абсолютной формы для абсолютного содержания философии, но не исполнил своего обещания. Великому гению Гегеля было представлено внести наукообразность в область чистой, логической мысли; он создал спекулятивную логику из материалов, собранных его предшественниками, из категорий, пребывавших до него в темной области эмпиризма и возведенных им в прозрачную область чистого, спекулятивного мышления, где они сомкнулись в единую, органическую и необходимую систему. Точно то же является и в науках, касающихся природы и духа; эмпиризм предшествует в них философскому пониманию; чистое спекулятивное мышление не выводит из себя фактов действительного мира природы и духа, но получает их от эмпиризма и приближается к ним с полной достоверностью, что в них, как в фактах объектного действительного мира, пребывает разум и что поэтому они доступны для философского понимания. Он получает их от эмпиризма, но понимает и доказывает их от себя, своим собственным имманентным диалектическим движением.

В одном из следующих №[35] мы займемся разрешением вопроса о пользе философии.

[35] Продолжения не последовало.

Реакция в Германии[36]
(Очерк француза)

Свобода, реализация свободы, кто станет отрицать, что сейчас эти слова стоят на первом месте в порядке дня истории? И друг, и недруг признают и должны это признать; да, никто не решится дерзко и открыто объявить себя врагом свободы. Однако слово, признание, как известно еще из Евангелия, сами по себе ничего не значат, ибо, к сожалению, до сих пор людей немало, которые в действительности, в глубине своего сердца не верят в свободу. Уже в *интересах самого дела* стоит познакомиться также и с этими людьми, ибо по природе своей они отнюдь не одинаковы.

Прежде всего встречаются среди них высокопоставленные, пожилые и опытные люди. В юности они сами по-дилетантски увлекались политической свободой – ведь для знатного и богатого человека в разговорах о свободе и равенстве заключено некоторое пикантное удовольствие, к тому же это делает его вдвойне интересным в общении; ныне же, когда способность к юношеской восторженности у них прошла, они пытаются скрыть свою физическую и духовную расслабленность под маскою «опытности» – слово, которое так часто давало повод к злоупотреблениям. С такими людьми вообще не стоит разговаривать, они никогда не принимали свободу всерьез, и никогда свобода не была для них религиею, доставляющею величайшее наслаждение и высочайшее блаженство лишь на путях глубочайших противоречий, горчайших страданий и полного, безусловного самоотречения. Вести с ними разговор не стоит уже потому, что они стары и им волей-неволей скоро предстоит умереть.

Но, к сожалению, существуют также немало молодых людей, разделяющих с ними те же самые убеждения или, вернее, такое же отсутствие всяких убеждений. Они принадлежат большей частью к аристократии, в сущности, политически давно умершей в Германии, или же к буржуазному, торговому и чиновничьему классам. И с этими также не стоит начинать никакого разговора и даже меньше, чем с первой категорией – умных и опытных (стариков), стоящих так близко к смерти: у тех хоть *была* по крайней мере видимость жизни, тогда как эти – с самого начала безжизненные и мертвые люди. Целиком погрязшие в своих мелочных карьеристских или меркантильных интересах и совершенно поглощенные своими повседневными заботами, они не имеют ни малейшего представления ни о жизни, ни о том, что вокруг них происходит. Так что, если бы не школа, в которой они что-то услышали об истории и развитии духа, они, вероятно, думали бы, что на свете всегда было то же самое, что и теперь. Это – бесцветные, похожие на призраков натуры; от них не может быть ни вреда, ни пользы; нам нечего их бояться, потому что действует только живое, а так как теперь прошла мода общаться с привидениями, то и мы не намерены терять на них свое время.

Но существует еще третья категория противников принципа революции: это возникшая вскоре после Реставрации[37] и распространившаяся по всей Европе *реакционная партия*: в политике она носит название *консерватизма*, в правоведении – *исторической школы*[38], а в спекулятивной науке – *позитивной философии*[39]. С нею мы хотим поговорить. С нашей сто-

---

[36] Впервые была помещена в журнале А.Руге «Deutche Jahrbucher fur Wissenschaft und Kunst» (1842. № 247—251. 17—21 October. S. 985–1002).На русском языке впервые опубликована А.А. Корниловым в его книге «Годы странствий Михаила Бакунина» (Л.; М., 1925). В настоящем издании текст печатается по: *Бакунин М.А.* Избранные философские сочинения и письма. М., 1987. С. 207—226.

[37] Имеется в виду восстановление династии Бурбонов (1814—1830).

[38] Течение в правоведении первой половины XIX в., выступавшее в защиту феодальных порядков, против норм буржуазного права, выдвинутых в эпоху Великой французской революции.

[39] Под *позитивной философией* Бакунин имеет в виду направление в немецкой философии (И.Г.Фихте-младший, поздний Шеллинг и др.), которое выступало «справа» против философии Гегеля, считая «откровение» источником «позитивного»

роны, было бы нелепым игнорировать ее существование и вести себя так, будто бы мы не придаем ей никакого значения. Напротив, мы совершенно откровенно признаем, что она повсюду теперь является правящею партиею, более того, мы готовы признать, что ее нынешнее могущество не есть игра случая, а глубоко коренится в развитии современного духа.

Я вообще не придаю случайности в истории никакой реальной силы: история представляет собой свободное, но вместе с тем необходимое развитие свободного духа. Так что если бы я назвал теперешнее господствующее положение реакционной партии случайным, то я этим оказал бы плохую услугу демократическому вероисповеданию, которое основывается единственно лишь на безусловной свободе духа. Прибегать к столь дурному и ложному успокоению было бы для нас тем опаснее, что мы, к сожалению, до сих пор далеки от осознания своего положения и что – при слишком частых ошибках в определении как истинного источника нашей силы, так и природы нашего врага, – будучи подавлены печальным зрелищем повседневности, мы или совершенно утрачиваем мужество, или – что, пожалуй, еще хуже, поскольку состояние нерешительности у живого человека долго продолжаться не может, – предаемся необоснованному, ребяческому и бесплодному задору.

Для демократической партии ничто не может быть полезнее признания своей временной слабости и относительной силы своего противника. Только благодаря этому признанию она из области неопределенной фантазии вступает в действительность, в которой должна жить, страстно бороться и в конце концов победить. Благодаря такому признанию ее одушевление становится осмотрительным и сдержанным. И лишь тогда, когда демократическая партия пройдет болезненные перипетии действительности и придет к осознанию смысла своего святого, жреческого служения, когда она увидит из бесконечных трудностей, повсюду стоящих на ее пути и проистекающих не только из обскурантизма ее противников (как она, по-видимому, слишком часто думает), но скорее из полноты и целокупности человеческой природы, не исчерпывающейся одними отвлеченно-теоретическими положениями, лишь тогда, когда из этих трудностей она постигнет все несовершенство своего теперешнего существования, поймет, что враг ее находится не только вовне, но и в намного большей степени внутри ее самой и что она должна начать с победы над этим внутренним врагом, лишь тогда, когда она убедится в том, что демократия заключается не только в оппозиции властям предержащим, не только в каком-то особом конституционном или политико-экономическом преобразовании, но знаменует полный переворот всего мирового уклада и предвозвещает еще небывалую в истории, совершенно новую жизнь, лишь когда из всего этого она поймет, что демократия есть религия, и, уразумев это, сама станет религиозною, т. е. *проникнутою* своим принципом не только в мышлении и в суждениях, но и преданною ему в действительной жизни, в мельчайших ее проявлениях, только тогда демократическая партия действительно победит весь мир.

Этим мы хотим открыто признать, что нынешнее могущество реакционной партии не случайно, а необходимо. Оно коренится не в несовершенстве демократического *принципа* (ибо последний состоит в равенстве людей, реализующемся в свободе, а значит, составляет глубочайшую, наиболее общую и всеобъемлющую – словом, единственно проявляющуюся в истории сущность духа), а в несовершенстве демократической *партии*, которая еще не пришла к твердому осознанию своего принципа и потому существует *только* как *отрицание* настоящего положения вещей. В качестве такового, в качестве только отрицания она прежде всего непременно стоит вне всей полноты жизни, – полноты, которую она еще не может развить из своего принципа, понимаемого ею почти исключительно в отрицательном смысле. Но потому-то она и является до сих пор только партиею, а вовсе не живою действительностью – будущим, а не настоящим. Уже одно то, что демократы образуют только партию, и притом по своему внешнему положению партию слабую, и что они, будучи всего лишь партией, предполагают

знания.

существование другой, им противоположной, сильной партии, – уже одно это должно было бы открыть им глаза на их собственные, необходимо присущие им недостатки. По своему существу, по своему принципу демократическая партия есть всеобщее, всеобъемлющее, но по своему существованию в качестве партии она представляет собой некую обособленность – *отрицательное*, которому противостоит другая обособленность – *положительное*. Все значение и вся непреодолимая сила отрицательного состоят в разрушении положительного; но вместе с положительным оно осуждает на гибель и себя, как несовершенное, обособленное и не соответствующее своей сущности бытие. Демократизм наличествует еще не таким, каков он есть сам по себе, в своей утвердительной полноте, а лишь как отрицание положительного, и потому он в этой несовершенной форме должен погибнуть вместе с положительным, чтобы затем из своего свободного основания воспрянуть в возрожденном виде, как живая полнота самого себя. И это внутреннее изменение демократической партии будет не только *количественным* изменением, т. е. не только расширением ее нынешнего обособленного и потому дурного существования, – боже упаси, подобное расширение привело бы только к всеобщему опошлению, и конечным результатом всей этой истории было бы абсолютное ничтожество, – но и *качественным* преобразованием, новым, живым и животворящим откровением, новым небом и новою землею, юным и прекрасным миром, в котором все современные диссонансы разрешатся в гармоническом единстве.

Еще менее можно способствовать преодолению несовершенства демократической партии устранением односторонности ее существования в качестве партии посредством внешнего примирения ее с положительным. Это было бы тщетною попыткою, потому что положительное и отрицательное друг с другом совершенно несовместимы. Отрицательное, поскольку оно в своем противоположении положительному берется изолированно и само по себе, на первый взгляд кажется бессодержательным и безжизненным; и эта кажущаяся бессодержательность является в то же время главным упреком, который позитивисты делают демократам. Однако этот упрек основан на недоразумении, ибо отрицательное вовсе не есть нечто изолированное – как таковое оно было бы ничем, – оно существует лишь как противоположное положительному; вся его суть, содержание и жизненность заключаются в разрушении положительного. «Революционная пропаганда, – говорит Пентархист[40], – по своей глубочайшей сути есть *отрицание* существующего государственного строя, потому что по своей внутренней природе она не имеет никакой другой программы, кроме разрушения существующего.» Но возможно ли, чтобы то, чья жизнь состоит лишь в разрушении, могло внешне мириться с тем, что оно по своей внутренней природе должно разрушить? Так могут думать только бездушные получеловечки, которым так же мало дела до отрицательного, как и до положительного.

Реакционная партия внутри себя разделяется теперь на две главные части: на чистых, *последовательных*, и на непоследовательных, *склонных к соглашению* реакционеров. Первые осознают указанное противоположение в его чистом виде: они прекрасно чувствуют, что положительное и отрицательное столь же несоединимы, как огонь и вода, а так как они в отрицательном не видят его утверждающей сути и потому не могут верить в отрицательное, то они делают отсюда совершенно правильный вывод, что положительное должно быть обязательно сохранено путем полного подавления отрицательного. То, что они при этом не понимают, что положительное является *данным* отстаиваемым ими положительным, лишь постольку, поскольку ему противополагается отрицательное, и что, следовательно, в случае полной победы над отрицательным и устранения противоположения оно перестало бы быть положительным и скорее было бы завершением отрицательного, – то, что они этого не замечают, простительно для них, ибо слепота составляет основную характерную черту всего положительного, проницательность

[40] *Пентархистом* Бакунин называет анонимного автора выпущенной в 1839 г. книги «Die europaische Pentarchie» («Европейская пентархия»). Leipzig, направленной в защиту реакционной внешней политики русского императора Николая I.

же свойственна только отрицательному. Ведь в наше скверное и беспринципное время, когда столь многие из трусости стараются скрыть от самих себя строгие следствия из своего собственного принципа, дабы таким путем избегнуть опасности быть потревоженными в искусственном и шатком здании своих надуманных убеждений, следует отдать справедливость этим господам: они искренни, честны, они хотят быть цельными людьми. Много разговаривать с ними не удается, потому что они никогда не желают вступать в разумный разговор. Им так тяжко приходится теперь, когда разлагающий яд отрицания распространился повсюду; им так трудно, даже почти невозможно удержаться на позиции чистой позитивности, что они должны абстрагироваться от собственного разума и бояться самих себя, малейшей попытки доказать свои убеждения, ибо это было бы опровержением последних. Они это хорошо чувствуют и потому бранятся даже там, где им надо было бы говорить. Но все-таки они – честные и цельные люди или, вернее, хотят быть честными и цельными. Как и мы, они ненавидят всякую половинчатость, ибо знают, что хорош только цельный человек и что половинчатость есть гнилой источник всякой скверны.

Эти фанатичные реакционеры объявляют нас еретиками; если бы это было возможно, они, пожалуй, извлекли бы из кунсткамеры истории даже адское могущество инквизиции, чтобы пустить его в ход против нас. Они отрицают в нас наличие всего доброго и человеческого, они не видят в нас ничего другого, кроме воплощенного антихриста, против которого все средства хороши. Станем ли мы платить им тою же монетою? Нет, это было бы недостойно нас и того великого дела, орудиями коего мы являемся. Великий принцип, служению которому мы себя посвятили, дает нам между многими другими выгодами прекрасное преимущество быть справедливыми и непартийными, не вредя этим нашему делу. Всем тем, что основано только на односторонности, истина не может пользоваться даже как оружием, ибо истина противоположна всякой однобокости. Все одностороннее непременно пристрастно и фанатично в своих проявлениях; оно непременно выражается в ненависти, ибо не может утвердиться никаким другим путем, кроме насильственного подавления всех других противоположных ему и столько же, как и оно само, оправданных односторонностей. Одна односторонность уже самим своим существованием предполагает существование других односторонностей, и все же она в силу свойственной ей природы должна исключать их, чтобы саму себя утвердить. Это противоречие есть проклятие, тяготеющее над нею, врожденное ей проклятие, превращающее все лучшие чувства, присущие каждому человеку уже как человеку при внешнем их проявлении в ненависть.

В этом отношении мы бесконечно счастливее. Как партия мы противостоим позитивистам и боремся с ними, и в ходе этой борьбы все дурные страсти пробуждаются также и в нас. Сами принадлежа к определенной партии, мы также бываем весьма часто пристрастны и несправедливы. Но мы – не только партия отрицания, противопоставленная позитивистам, у нас имеется живительный источник во всеобъемлющем принципе безусловной свободы, в принципе, который содержит в себе и все хорошее, что только есть в позитивизме, и который стоит выше позитивизма, равно как выше нас самих как партии. Как партия мы заняты исключительно политикой, но в качестве таковой мы оправданы только нашим принципом; в противном случае у нас не было бы лучшего основания, чем у позитивистов, а потому мы должны, хотя бы в интересах самосохранения, оставаться верными нашему принципу свободы как единственному источнику нашей силы и нашей жизни, т. е. мы постоянно должны стараться возвысить это одностороннее, чисто политическое существование до религии нашего всеобъемлющего и всестороннего принципа. Мы должны действовать не только политически; в нашей политике мы должны действовать и религиозно, религиозно в смысле свободы, единственно истинным выражением которой являются справедливость и любовь. Да, только нам одним, именуемым врагами христианской религии, нам одним предназначено и даже вменено

в высочайший долг в самый разгар борьбы действительно выполнять высочайшую заповедь Христа, в которой единственно заключена сущность истинного христианства – любовь.

Поэтому мы хотим быть справедливыми и по отношению к нашим врагам: мы хотим признать, что они *действительно стремятся* быть доброжелательными, что они, очевидно, по своей природе призваны к добру, к живой жизни и только по непостижимой, нелепой случайности уклонились от своего предназначения. Мы говорим не о тех, кто примкнул к партии лишь для того, чтобы найти там свободное применение своим дурным страстям Тартюфов, которых, к сожалению, немало во всех партиях. Мы же ведем речь только об искренних защитниках последовательного позитивизма. Последние радеют о добре, но не могут проявить по-настоящему действенной воли; их величайшее несчастье заключается в их внутреннем раздвоении. В принципе свободы они усматривают лишь холодную и бессодержательную абстракцию (чему немало способствовали также некоторые пустые и сухие ее защитники) – абстракцию, исключающую все живое, прекрасное и святое. Они не понимают, что принцип этот отнюдь не следует смешивать с его современным дурным и чисто отрицательным проявлением и что он может победить и осуществиться только как живое утверждение себя самого, одинаково уничтожающее как положительное, так и отрицательное. Они полагают – это мнение, к сожалению, даже разделяется некоторыми приверженцами самой партии отрицания, – они полагают, что отрицательное стремится к распространению как таковое, и думают, как и мы сами, что распространение последнего привело бы к опошлению всего духовного мира. В то же время непосредственность их чувства внушает им вполне справедливое стремление к живой, полной жизни, а так как в отрицательном они видят лишь опошление этой последней, то они возвращаются к прошлому, к тому прошлому, какое существовало до возникновения противоположности между положительным и отрицательным. Они правы постольку, поскольку это прошлое действительно было некой живой цельностью и как таковое представляется теперь более жизненным и богатым, чем разорванное настоящее. Но их большая ошибка состоит в том, что они считают возможным восстановить теперь это прошлое в его былой жизненности; они забывают, что минувшая цельность им самим может ныне представляться не иначе как в разлагающем и расщепляющем эту цельность отражении от ныне существующей, неизбежной и из самой этой цельности возникшей противоположности; они забывают, что эта цельность в качестве положительного есть обездушенный, т. е. подвергшийся механическому и химическому процессу рефлексии труп самой этой цельности. Будучи приверженцами слепого позитивизма, они не понимают этого, но, как живые по природе люди, они очень хорошо ощущают этот недостаток жизненности. А так как они не знают, что уже только потому, что они – позитивисты, в них самих есть нечто от отрицательного, то они и сваливают на отрицательное начало всю вину за этот недостаток жизненности и всю тяжесть своего стремления к жизни и истине, превратившегося благодаря их бессилию доставить себе удовлетворение в ненависть. Таков неизбежный внутренний процесс, протекающий в каждом последовательном позитивисте, и потому-то я и говорю, что они действительно достойны сожаления, так как источник их стремлений все-таки почти всегда чист.

Позитивисты-соглашатели занимают совершенно другую позицию. От последовательных позитивистов они, с одной стороны, отличаются тем, что, будучи больше их подвержены современной болезни рефлексии, они не только не отвергают совершенно отрицательное начало как абсолютное зло, но даже признают за ним условное, временное право на существование; а с другой стороны, тем, что не обладают такою же энергическою чистотою – чистотою, к которой последовательные позитивисты по крайней мере стремятся и которую мы назвали признаком полной, цельной и честной натуры. Точку же зрения соглашателей мы, наоборот, можем определить как позицию *теоретической недобросовестности*, я говорю «теоретической», так как старательно избегаю всякого конкретного, личного обвинения и не верю, чтобы личная злая воля могла с действительным успехом задерживать развитие духа, хотя приходится признать,

что теоретическая недобросовестность по необходимым свойствам своей природы почти всегда переходит в практическую.

Позитивисты – *соглашатели* умнее и проницательнее последовательных. Они – умницы, теоретики par excellence[41], а потому и являются главными представителями современности. Мы могли бы применить к ним то, что в начале Июльской революции было сказано одним французским журналом по поводу «juste milieu»[42]: «Правая сторона говорит: дважды два = четыре, левая – 2 x 2 = 6, а „juste milieu“ говорит 2 * 2 = 5». Но они, пожалуй, обидятся на нас за это, а потому попробуем исследовать их темную и сложную сущность самым серьезным образом и с глубочайшим почтением перед их мудростью. Но с ними справиться гораздо труднее, чем с последовательными позитивистами. Последние обладают практическою энергиею своих убеждений; они знают, чего хотят, и в ясных словах высказывают это; подобно нам, они ненавидят всякую неопределенность, всякую неясность, ибо, будучи практическими, энергичными натурами, они могут свободно дышать только в чистом и прозрачном воздухе. С соглашателями же дело обстоит совершенно по-особому: они хитры, о, они умны и мудры! Никогда не дадут они практическому порыву к истине разрушить затейливую постройку своих теорий; они слишком опытны, слишком умны для того, чтобы сочувственно прислушаться к повелительному голосу просто практической совести. С высоты своей точки зрения они с важностью взирают на нее сверху вниз, и если мы говорим, что только простое истинно и действительно, ибо единственно оно способно творчески действовать, то они, напротив, утверждают, что истинно только сложное, так как им стоило величайшего труда состряпать это сложное и так как оно является единственным признаком, по которому их, умных людей, можно отличить от глупцов и необразованной черни. С ними очень трудно справиться уже потому, что они все знают, ибо они, будучи людьми, умудренными житейским опытом, считают для себя непростительной слабостью приходить от чего-либо в смущение, ибо они со своею рефлексиею обшарили все уголки физического и духовного мира и после этого долгого утомительного идейного путешествия пришли к убеждению, что действительный мир не стоит того, чтобы вступать с ним в действительно живое соприкосновение. С этими людьми трудно до чего-либо договориться, потому что они, подобно немецким конституциям, правою рукою отнимают то, что дают левою. Они никогда не отвечают «да» или «нет», а говорят: *«До известной степени* вы правы, *однако все-таки…»*, а когда им уже совершенно нечего сказать, они заявляют: «Да, это – особая статья».

И все же мы хотим попробовать вступить в разговор с ними. Партия соглашателей, несмотря на свою внутреннюю бессодержательность и на свою неспособность что-либо произвести из себя, является сейчас могущественной, пожалуй, самой могущественной партией. Само собою разумеется, что она обязана этим только своей численности, а не своему внутреннему содержанию. Она – одно из наиболее важных знамений времени, а потому нельзя ее игнорировать или обходить.

Вся ее мудрость состоит в утверждении, что два противоположных направления уже как таковые являются односторонними, а значит, неверными. А если оба члена противоположения, взятые абстрактно сами по себе, неверны, то истина должна лежать между ними, а потому для получения истины нужно объединить их друг с другом. С первого взгляда это рассуждение кажется неопровержимым. Ведь мы сами согласились с тем, что начало отрицательное, поскольку оно противополагается положительному и при этом противоположении замкнуто в себе, является односторонним. Ведь разве отсюда не следует с необходимостью, что оно находит свое существенное дополнение и завершение в положительном начале? И не правы ли

---

[41] По преимуществу (*фр.*).

[42] «Золотая середина» (*фр.*). Так определяли в период Июльской революции 1830 г. во Франции политику умеренных партий, стремившихся держаться на равноудалении от крайне правых и левых политических направлений.

соглашатели, желая объединить положительное с отрицательным? Да, правы, если только слияние возможно; но действительно ли оно возможно? Разве не в разрушении положительного заключается весь смысл отрицательного? Если соглашатели обосновывают свою точку зрения на природе противоположения, а именно на том, что две противоположные односторонности взаимно предполагают друг друга как таковые, то они должны признать эту природу и считаться с нею во всем ее объеме. Они должны сделать это ради последовательности, чтобы остаться верными себе самим и своей точке зрения, так как выгодная им сторона противоположения неразрывно связана с невыгодной для них. А эта невыгодная сторона заключается в том, что предполагание одного члена противоположения другим имеет не утвердительный, а *отрицательный*, разрушительный характер. Этих господ надлежит отослать к Логике Гегеля, где так хорошо истолкована категория противоположности.

Противоположение и его имманентное развитие составляют один из главных, узловых пунктов всей Гегелевой системы, а так как эта категория является главною категориею, выражающей самую суть нашего времени, то и Гегель, безусловно, является величайшим философом современности, высочайшею вершиною нашего современного односторонне *теоретического* образования. Но тогда именно в качестве этой вершины, именно потому, что он понял и таким образом разрешил эту категорию, именно потому он является также началом необходимого самораспада современного образования. В качестве такой вершины он уже перерос теорию (сначала, конечно, в пределах самой теории) и постулировал новый практический мир, мир, который никоим образом не будет рожден путем формального приложения и распространения готовых теорий, а будет создан только самобытным деянием практического, самостоятельного предписывающего себе законы духа. Противоположение составляет внутреннюю суть не только всех определенных частных теорий, но и теории вообще, а потому момент постижения теории есть вместе с тем и момент ее завершения; завершение же ее есть ее саморазрешение в самобытный и новый практический мир, в действительное царство свободы. Здесь, однако, еще не место для подробного развития этой мысли, а потому обратимся вновь к выяснению логической природы противоположения.

Противоположение само по себе, как объемлющее оба своих односторонних члена, целостно, абсолютно, истинно. Его нельзя упрекнуть в односторонности и необходимости связанных с нею поверхности и бедности (содержания), так как в нем содержится не только отрицательное, но и положительное и так как оно в качестве всеобъемлющего есть цельная, абсолютная полнота, вне которой ничего нет. Это обстоятельство дает соглашателям право требовать – не держаться только одного из обоих односторонних членов, а постигать их в их необходимой связи, в их неразрывности, как нечто цельное: только противоположение истинно, говорят они, а каждый из противоположных членов, взятый сам по себе, односторонен и потому неверен; следовательно, чтобы обладать истиною, мы должны постигнуть противоположение в его цельности. Но тут-то и начинается трудность. Противоположение действительно есть истина; но оно существует не как таковое, оно наличествует не как эта цельность, оно есть лишь сама по себе сущая, скрытая цельность, а его существование есть именно противоречащее себе раздвоение обоих его членов – положительного и отрицательного. Противоположение как целостная истина есть неразрывное единство простоты и самораздвоения в одном; это его сама по себе существующая, скрытая, а вместе с тем его ближайшим образом непостижимая природа, и именно потому, что единство это – скрытое, противоположение тоже существует односторонне, лишь как раздвоение его на члены; оно наличествует лишь как положительное и отрицательное, а эти последние столь решительно взаимно исключают друг друга, что это их взаимоисключение и определяет целиком их природу. Но как же тогда постигнуть цельность противоположения? Здесь, по-видимому, могут представиться два выхода. Или сознательно отвлечься от раздвоения и обратиться к простой, предшествовавшей раздвоению противоположения цельности, но это невозможно, потому что непостижимое все же остается непости-

жимым и потому что противоположение как таковое непосредственно существует только как раздвоение, а помимо него не существует. Или можно попытаться по-матерински примирить противоположные члены, в чем и состоит все стремление соглашательской школы. Посмотрим, удается ли им это в действительности.

Положительное представляется на первый взгляд покоящимся, неподвижным; оно ведь только потому и является положительным, что оно без помехи покоится в себе и не содержит в себе ничего могущего его отрицать, только потому, что внутри его самого нет никакого движения, ибо всякое движение есть отрицание. Ведь положительное именно и есть нечто такое, в чем заложена неподвижность как таковая: нечто мыслимое само по себе как абсолютная неподвижность. Но мысль о неподвижности неотделима от мысли о движении, или, вернее, обе они суть одна и та же мысль. Итак, положительное, абсолютный покой, является положительным лишь по отношению к отрицательному, абсолютному непокою. Положительное внутри самого себя связано с отрицательным, как со своим собственным живым определением. Таким образом, положительное занимает двоякую позицию по отношению к отрицательному: с одной стороны, оно покоится в самом себе и в этом апатическом, самодовлеющем покое ничего в себе от отрицательного начала не имеет; но, с другой стороны, именно благодаря этой неподвижности оно, как нечто в самом себе противоположное отрицательному, деятельно исключает из себя отрицательное; но эта деятельность исключения есть некое движение. А потому положительное, как раз благодаря своей положительности, становится само в себе не положительным, а отрицательным: исключая из себя отрицательное, оно исключает себя из самого себя и само осуждает себя на гибель.

Следовательно, положительное и отрицательное не равноправны, как это думают соглашатели; противоположение есть не равновесие, а *перевес* отрицательного, которое составляет преобладающий момент противоположения. Отрицательное, как определяющее жизнь самого положительного, содержит в себе одном цельность противоположения, а потому является наделенным абсолютным правом. «Как, – быть может, спросят меня, – разве Вы сами не признали, что отрицательное, взятое отвлеченно, само по себе, столь же односторонне, как и положительное, и что распространение его в его современной несовершенной форме было бы опошлением всего мира?» Да, но я говорил только о современной форме существования отрицательного, об отрицательном, поскольку оно, будучи исключено положительным, неподвижно замыкается в себе и, таким образом, само становится положительным. Именно являясь таковым, оно отрицается положительным, и последовательные позитивисты выполняют одновременно и логически необходимую, и священную обязанность, отвергая такое существование отрицательного, его спокойное замыкание в себе, хотя и не ведают, что творят. Они думают, что отрицают отрицательное, но выходит наоборот: они отрицают его лишь постольку, поскольку оно само становится положительным; они пробуждают отрицательное из филистерского покоя, к которому оно не предназначено, и возвращают его к его великому призванию – безостановочному и безоглядному разрушению всего положительно установленного.

Мы согласны с тем, что положительное и отрицательное равноправны, когда последнее спокойно и эгоистично замыкается в себе и таким образом само себе изменяет; но отрицательному началу не пристало быть эгоистичным, оно должно с любовью предаться положительному, дабы вобрать его в себя и в этом религиозном, исполненном веры жизненном деле уничтожения явить неисчерпаемую и чреватую будущим глубину своей природы. Положительное отрицается отрицательным, и, наоборот, отрицательное отрицается положительным – что же в обоих общее, превосходящее их обоих? Отрицание, осуждение на гибель, страстное уничтожение положительного, даже если последнее пытается хитро укрыться под личиною отрицательного. Только в качестве такого безоглядного отрицания отрицательное оправданно, и как таковое абсолютно оправданно, ибо в качестве такового оно является деянием практического духа, незримо присутствующего в самом деле противоположении, – духа, который с помощью

этой разрушительной бури властно зовет к покаянию грешные души соглашателей и возвещает свое близкое пришествие, свое близкое откровение в истинно демократической и всемирно-человеческой церкви свободы.

Это саморазложение положительного есть единственно возможное сочетание положительного с отрицательным, ибо оно-то и есть имманентное, цельное движение и энергия самого противоположения, а потому всякий другой способ объединения этих начал является искусственным, и всякий, кто ставит целью объединить их как-либо по-другому, этим только доказывает, что он еще не проникся духом времени, а значит, или глуп, или беспринципен, ибо человек является умным и нравственным лишь в том случае, если он всецело предается этому духу и проникнут им. Противоположение цельно и истинно; против этого не возражают и соглашатели; а как цельное оно насквозь жизненно, и энергия его всеобъемлющей жизненности состоит, как мы только что видели, именно в этом беспрестанном самосожжении положительного в чистом пламени отрицательного.

Что же делают теперь соглашатели? Они во всем этом соглашаются с нами, они, подобно нам, признают цельность противоположения, но зато отнимают или, вернее, пытаются отнять у последнего его движение, его жизненность, всю его душу, ибо жизненность противоположения есть практическая, для их половинчатых и бессильных душ непереносимая и именно потому возвышающаяся над всеми их попытками задушить ее сила. Положительное, как мы сказали и доказали, взятое само по себе, не является правомочным; правомочным оно является лишь в том случае, когда оно отрицает покой отрицательного, его замкнутость в себе самом, когда оно безусловно и решительно исключает из себя отрицательное и этим поддерживает его деятельность, когда оно само превращается в деятельное отрицательное начало. Эту деятельность отрицания, до которой возвышаются даже позитивисты под влиянием непреодолимой силы противоположения, незримо присутствующей во всех живых натурах, и которая одна дает им право на существование и служит единственным признаком их жизненности, именно эту деятельность отрицания и хотят запретить им соглашатели. По какому-то странному и непонятному злому року или, вернее, по вполне понятному злому року своей практической беспринципности, своего практического бессилия, они признают в позитивистах именно то, что в них мертво, гнило и достойно только уничтожения, и отвергают в них все, что как раз составляет их жизненность – живую борьбу с отрицательным, живое присутствие в них противоположения.

Они говорят позитивистам: «Господа, вы правы, охраняя прогнившие и высохшие остатки старины; так мило и приятно живется в этих развалинах, в этом противном разуму мире рококо, воздух которого в такой же мере полезен нашему чахлому духу, как воздух стойла для чахоточного организма; что касается нас, то мы с величайшей радостью устроились бы в вашем мире, в мире, в котором мерилом истинности и святости являются не разум и неразумные определения человеческой воли, а длительная устойчивость и неподвижность и в котором, следовательно, Китай с его мандаринами и бамбуковыми палками должен признаваться абсолютно истиною! Но что же делать, господа? Настали плохие времена; наши общие враги, отрицатели, отвоевали очень много места; мы ненавидим их так же, как и вы, а может быть, даже и больше, ибо они в своей развязности позволяют себе нас презирать; но они стали сильны, и с ними волей-неволей приходится считаться, чтобы не быть ими совершенно уничтоженными. Не будьте же такими фанатиками, господа, предоставьте им немного места в вашем обществе: что вы потеряете, если они займут в вашем историческом музее место некоторых, *прежде* весьма почтенных, *а ныне* совершенно развалившихся руин? Поверьте нам, что они будут совершенно осчастливлены честью, которую вы им этим окажете, и станут вести себя в вашем почтенном обществе очень спокойно и скромно; ведь в конце концов это – всего только молодые люди, „озлобленные“ нуждою и недостатком „обеспеченного существования“[43]., лишь

[43] См. мнение, высказанное Маргейнеке в деле Б. Бауэра, с. 86Бакунин имеет в виду брошюру: Marheineke Ph. Einleitung in

потому так громко кричащие и поднимающие так много шума, что надеются таким путем приобрести известный вес и создать себе выгодное положение в обществе».

Затем они обращаются к отрицателям и говорят им: «Стремления ваши благородны, господа! Мы понимаем ваше юношеское одушевление чистыми принципами и питаем к вам величайшую симпатию. Но, верьте нам, чистые принципы в их чистоте неприменимы к жизни; жизнь требует некоторой доли эклектизма; мир не поддается такой переделке, какую вы хотите ему придать; надо кое-что уступить ему, чтобы получить возможность на него воздействовать, – иначе вы совершенно скомпрометируете свое положение в нем». И как о польских евреях рассказывают, что они во время последней польской войны старались одновременно служить обеим боровшимся сторонам, как русским, так и полякам, и вешались теми и другими, так хлопочут эти жалкие люди вокруг невыполнимого дела внешнего примирения и в благодарность добиваются презрения со стороны обеих партий. Жаль только, что наше время слишком слабо и неэнергично, чтобы применить к ним закон Солона!

Все это фразы, возразят мне; соглашатели – в большинстве случаев почтенные и научно образованные люди; между ними есть много всеми уважаемых и высокопоставленных личностей, а вы представили их людьми без ума и без убеждений. Но что же я могу поделать, если это действительно так? Я не хочу никого задевать лично; внутренний мир каждого индивидуума для меня неприкосновенная святыня, нечто ни с чем не соизмеримое, о чем я никогда не позволю себе судить. Для самого индивидуума этот внутренний мир может обладать бесконечной ценностью, но для внешнего мира он действителен лишь в той мере, в какой он проявляется вовне, и будет лишь таким, каким он проявляется вовне. Каждый человек есть в действительности только то, чем он является в действительном мире, – ведь не могу же я называть черное белым.

Конечно, возразят мне, Вам их стремления кажутся черными или, вернее, серыми; на деле же они хотят и имеют единственной целью только прогресс, которому они способствуют гораздо больше вас самих, так как они подходят к делу рассудительно, а не самонадеянно, подобно демократам, желающим перевернуть весь мир. Но мы видели, что представляет этот мнимый прогресс, к которому стремятся соглашатели; мы видели, что он, по существу, является не чем иным, как удушением единственно живого принципа нашей и без того скудной современности, удушением творческого и многообещающего принципа разрешающего движения. Они так же ясно, как и мы, осознают, что наше время есть время противоположения; они соглашаются с нами, что это – дурное, в самом деле разорванное состояние, но вместо того, чтобы, доведя его до конца, помочь ему перейти в новую, утвердительную и органичную действительность, они хотят путем бесконечной «постепенности» вечно сохранять это в его нынешнем существовании столь убогое и чахоточное состояние. И это есть прогресс? Они говорят позитивистам: «Сохраняйте старое, но одновременно позвольте отрицателям малопомалу разрушать его»; отрицателям же они говорят: «Разрушайте старое, но не сразу и не совсем, чтобы у вас всегда оставалось какое-нибудь дело», т. е. «оставайтесь каждый в своей односторонности, а мы, избранные, сохраним наслаждение цельностью для себя» – жалкая цельность, какою могут удовольствоваться только скудные души! Они отнимают у противоположения его движущую, практическую душу и радуются тому, что могут произвольно расправляться с ним. Великое нынешнее противоположение вовсе не есть для них практическая сила современности, которой безоглядно должен предаться каждый живой человек, если он хочет остаться живым, а не только теоретическою забавою. Они не проникнуты действительным духом времени, а потому они – безнравственные люди. Да, они, столь много похваляющиеся своею моральностью, являются людьми безнравственными, ибо нравственность вне

---

die offentliche Vorlesungen uber die Bedeutung der Hegelschen Philosophie in der christliche Theologie. Nebst einem Separatvotum uber B. Bauers Kritik der evangelische Geschichte (Введение к публичным лекциям о значении гегелевской философии в христианской теологии. С приложением особого мнения о бруно-бауэровской критике евангельской истории). Berlin, 1842.

блаженнотворящей церкви свободного человечества невозможна. Им нужно повторить то, что автор Апокалипсиса говорил современным ему соглашателям:

«Ведаю дела твои; ты не холоден и не горяч; о, если бы ты был холоден или горяч!»

«Но раз ты тепел, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих».

«Ты говоришь: я богат, сыт и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, нищ, слеп и наг».

Но, скажут мне, не возвращаетесь ли Вы с Вашими абсолютно, вне друг друга находящимися крайностями к абстрактной точке зрения, давно преодоленной Шеллингом и Гегелем? Разве этот так высоко ценимый Вами Гегель не сделал сам весьма важного замечания о том, что в чистом свете можно увидеть столь же мало, как и в абсолютной темноте, и что только конкретное единство обоих делает вообще возможным зрение? И разве великая заслуга Гегеля не состоит как раз в доказательстве того, что каждое живое существо лишь потому жизненно, что его отрицание находится не вне его, а в нем, как имманентное условие жизни, и что если бы оно было только положительно и имело отрицание вне себя, то оно было бы неподвижно и безжизненно? Все это, господа, я знаю прекрасно! Я согласен с вами, что, например, живой организм только потому и жизненен, что носит в себе зародыш своей смерти; но если вы хотите цитировать мне Гегеля, то цитируйте его полностью. Тогда вы увидите, что отрицание остается условием жизни данного организма лишь до тех пор, пока оно находится в нем, как определенный момент в его цельности, но что в известном пункте постепенное действие отрицания внезапно прекращается, так что последнее превращается в самостоятельный принцип, и этот момент есть смерть этого определенного организма, момент, который в философии Гегеля характеризуется как переход природы в качественно новый мир, свободный мир духа.

То же повторяется и в истории: принцип свободы в теории, к примеру, давал о себе знать еще в былом католическом мире с самого начала его существования; принцип этот был источником всех ересей, которыми так богат был католицизм. А без этого принципа католицизм был бы инертен, так что этот принцип был вместе с тем принципом его жизненности, но лишь до тех пор, пока он оставался просто элементом в цельности католицизма. Вот так-то постепенно и зарождался протестантизм; начало его относится к началу самого католицизма; но однажды эта постепенность оборвалась и принцип теоретической свободы возвысился до самостоятельного, независимого принципа. И только тут противоположение проявилось во всей чистоте, и вы, господа, вы, называющие себя протестантами, очень хорошо знаете, что ответил Лютер соглашателям его времени, когда они предложили ему свои услуги.

Вы видите, что мой взгляд на природу противоположения не только логически верен, но подтверждается и историческими фактами. Но я знаю, что вам никакими доказательствами не поможешь, потому что вы в своей безжизненности ни за какое другое дело не беретесь так охотно, как за переделку истории по-своему. Недаром вас прозвали сухими правщиками!

«Мы еще не разлиты, – быть может, ответят мне соглашатели, – все, что Вы говорите о противоположении, – верно; только в одном мы с Вами согласиться не можем, а именно: в том, что в наше время дела обстоят так скверно, как Вы утверждаете; конечно, в настоящем есть много противоположений, но они вовсе не так опасны, как Вы уверяете. Взгляните: везде спокойно, движение повсюду улеглось. Никто не помышляет о войне, и большинство народов и живущих ныне людей напрягают все свои силы, чтобы сохранить мир, ибо они хорошо знают, что материальные интересы, которые, по-видимому, стали теперь главным делом политики и общей культуры, без мира не получат удовлетворения. Сколько представлялось серьезных поводов к войне и к ниспровержению существующего порядка вещей, начиная со времени Июльской революции и до наших дней! На протяжении этих 12 лет создавались такие запутанные положения, что трудно было ожидать их мирного разрешения; бывали такие моменты, когда всеобщая война была почти неизбежна и когда нам угрожали страшные бури, – и все

же постепенно все трудности разрешались, все оставалось спокойным, и мир, по-видимому, навсегда снизошел на землю!»

Мир, говорите вы, и это вот называют миром! Я, напротив, утверждаю, что еще никогда противоположности не выступали в такой резкой форме, как сейчас, что вечное противоположение, остающееся всегда одним и тем же во все времена, только все более усиливается и развивается на протяжении истории; что противоположение свободы и несвободы в наше время, столь сходное с критическими периодами языческого мира, дошло и поднялось до своего последнего и высшего предела. Разве вы не читали на фронтоне воздвигнутого революциею храма свободы таинственных и страшных слов: Liberte, Egalite и Fraternite – и неужели вы не знаете и не чувствуете, что эти слова означают полное уничтожение существующего политического и социального строя? Разве вы ничего не слыхали о бурях революции, и разве вы не знаете, что Наполеон, этот мнимый укротитель демократизма, в качестве достойного сына революции распространил победоносною рукою ее нивелирующие принципы по всей Европе? Быть может, вы что-нибудь слыхали о Канте, Фихте, Шеллинге и Гегеле? Или же вы действительно ничего не знаете о философии, выдвинувшей в интеллектуальном мире тот же нивелирующий, революционный принцип, а также принцип автономии духа, и неужели вы не понимаете, что этот принцип находится в глубочайшем противоречии со всеми ныне существующими положительными религиями, со всеми современными церквами?

«Да, – ответите вы мне, – но ведь все эти противоречия отошли уже в области истории; революция в самой Франции побеждена мудрым правлением Луи-Филиппа, а новейшая философия недавно превзойдена одним из ее величайших основоположников, самим Шеллингом. Противоречие ныне разрешено повсюду, во всех областях жизни». И вы действительно верите в это разрешение, в это преодоление революционного духа? Неужели вы слепы и глухи и не видите и не слышите того, что вокруг вас происходит? Нет, господа, революционный дух не побежден; он только снова ушел в себя, после того как его первое появление потрясло весь мир в его основаниях; он только углубился в себя, дабы вскоре снова проявиться в качестве утверждающего, созидающего принципа и, если мне дозволено будет употребить здесь выражение Гегеля, роется теперь, как крот под землею; а что он трудится не напрасно, это вы можете увидеть по тем многочисленным обломкам, которыми покрыта наша религиозная, политическая и социальная почва. Вы говорите о разрешении, о примирении! Оглянитесь только вокруг и скажите мне, что осталось живого от старого католического и протестантского мира? Вы говорите о преодолении принципа отрицания! Неужели вы ничего не читали из *Штрауса, Фейербаха, Бруно Бауэра* и не знаете, что их сочинения есть у всех на руках? Разве вы не видите, что вся немецкая литература, книги, брошюры, газеты, даже сочинения позитивистов бессознательно и невольно проникнуты этим духом отрицания? И это вы называете примирением и спокойствием?!

Вы хорошо знаете, что человечество, следуя своему высокому назначению, может умиротвориться и успокоиться только на универсально-практическом принципе, принципе, который мощно охватывает тысячекратно различные проявления духовной жизни. Но где же этот принцип, господа? Ведь и вам в течение вашей иначе столь печальной жизни тоже приходится переживать живые, человеческие моменты, – моменты, когда вы отбрасываете мелочные побуждения своей повседневной жизни и тянетесь к истине, к великому, к святому. Ответьте же мне откровенно, положа руку на сердце, нашли ли вы где-нибудь что-либо живое? Нашли ли вы среди окружающих нас обломков тот страстно желанный мир, где вы могли бы целиком отречься от себя и вновь возродиться в этом великом союзе со всем человечеством? Не является ли этим миром протестантизм? Но он отдан во власть ужасающей анархии; на какие только разные секты он не распался! «Без великого всеобщего энтузиазма могут существовать

только секты, но никак не общественное мнение», – говорит Шеллинг[44], а современный протестантский мир как небо от земли далек от того, чтобы быть проникнутым всеобщим энтузиазмом, это – самый трезвенный мир, какой только можно себе представить! Может быть, искомым миром является католицизм? Но где его былое великолепие? Разве не превратился он, некогда царивший над миром, в послушное орудие чуждой ему, безнравственной политики? Или, может быть, вы готовы успокоиться на современном государстве? Да уж действительно, хорошенькое это было бы успокоение! Государство охвачено сейчас глубочайшими внутренними противоречиями, так как государство невозможно без религии, без сильного общего всем настроения. Если вы хотите в этом убедиться, взгляните только на Англию и Францию; о Германии же и говорить нечего.

Загляните, наконец, в самих себя, господа, и скажите мне откровенно: довольны ли вы сами собою и можете ли вы быть собою довольны? Разве сами вы без исключения не представляете печальное и убогое явление нашего печального и убогого времени? Разве вы не исполнены противоречий? Разве вы цельные люди? Верите ли вы действительно во что-нибудь? Знаете ли вы, чего вы желаете, и можете ли вы вообще желать? Разве современная рефлексия, эта чума нашего времени, оставила в вас хоть одно живое место и разве вы не проникнуты ею насквозь, не парализованы, не изломаны ею? В самом деле, господа, вы должны признать, что наше время – печальное время, а все мы – еще более печальные его дети!

Но, с другой стороны, вокруг нас появляются признаки, возвещающие нам, что дух, этот старый крот, уже почти закончил свою подземную работу и что скоро он явится вновь, чтобы вершить свой суд. Повсюду, особенно во Франции и в Англии, образуются социалистически-религиозные союзы, которые, оставаясь совершенно чуждыми современному политическому миру, почерпают свою жизнь из совершенно новых, нам неизвестных источников и развиваются и расширяются в тиши. Народ, бедный класс, составляющий, без сомнения, большинство человечества, класс, права которого уже признаны теоретически, но который до сих пор по своему происхождению и положению осужден на неимущее состояние, на невежество, а потому и на фактическое рабство, – этот класс, который, собственно, и есть настоящий народ, принимает везде угрожающую позу, начинает подсчитывать слабые по сравнению с ним ряды своих врагов и требовать практического приложения своих прав, уже всеми признанных за ним. Все народы и все люди исполнены каких-то предчувствий, и всякий, чьи жизненные органы еще не парализованы, смотрит с трепетным ожиданием навстречу приближающемуся будущему, которое произнесет слово освобождения. Даже в России, в этом беспредельном, покрытом снегами царстве, которое мы так мало знаем и которому, может быть, предстоит великая будущность, – даже в России собираются мрачные, предвещающие грозу тучи! О, воздух душен, он чреват бурями!

И потому мы взываем к нашим заблудшим братьям: покайтесь! покайтесь! царство божие близко!

Позитивистам мы говорим: «Откройте ваши духовные очи, предоставьте мертвецам погребать своих мертвых и убедитесь наконец, что духа вечно юного, вечно рождающегося нечего искать в обрушившихся развалинах!» А соглашателей мы увещеваем раскрыть свои сердца для истины и освободиться от своей убогой и слепой мудрости, отказаться от своего теоретического высокомерия и холопского страха, который сушит их души и парализует их движения.

Дайте же нам довериться вечному духу, который только потому разрушает и уничтожает, что он есть неисчерпаемый и вечно созидающий источник всякой жизни. Страсть к разрушению есть вместе с тем и творческая страсть!

Жюль Элизар

[44] Источник не установлен.

Коммунизм[45]

Последний номер «Наблюдателя»[46] содержит статью или, вернее, начало статьи о коммунизме, которая очень приятно нас поразила. Она написана с таким достоинством и спокойствием, которые в «Наблюдателе» действительно изумляют.

[45] Впервые опубликована на немецком языке в газете демократического направления «Der Schweizerischer Republikaner» (1843. 2, 6 и 13. VI), издававшейся Ю. Фребелем в Цюрихе. На русском языке впервые опубликована в журнале «Красный архив» (1926. № 1 (14). С. 59—64). В настоящем издании текст печатается по: *Бакунин М.А.* Избранные философские сочинения и письма. М., 1987. С. 233—241.

[46] Речь идет о выходившей в Цюрихе газете «Der Schweizerischer Beobachter» («Швейцарский наблюдатель»), выражавшей взгляды консервативной партии.

1

Есть люди, которые утверждают, что такой тон в «Наблюдателе» всегда является плохим признаком, и мы признаемся, что очень часто разделяли этот мнение. Но на сей раз, как нам кажется, дело обстоит несколько иначе: по-видимому, «Наблюдатель» уразумел всю опасную серьезность коммунизма и решился теперь отказаться от своей обычной манеры, недостойной серьезного человека и серьезной души, и исследовать этот в высшей степени важный предмет с достоинством и добросовестностью.

Дальнейшее покажет нам, ошиблись ли мы. Однако известно, что ничто не действует столь деморализующим образом на человека, как сознание, что от него не ожидают ничего хорошего и благородного. И если «Наблюдатель» действительно хочет исправиться, то мы не хотим преждевременным заподозриванием его цели сделать для него эту задачу невыполнимой. Напротив, мы всеми находящимися в нашем распоряжении средствами будем стараться удержать его на этом более похвальном пути.

Во всяком случае, коммунизм представляет весьма важное и опасное явление, и этим очень многое сказано. Ибо опасным, действительно опасным может быть для общества явление лишь постольку, поскольку оно содержит в себе по крайней мере относительную истину и находит свое оправдание в самом состоянии общества. То, что является только случайным, не может быть опасным для благоустроенного государства, ибо все могущество и живая сила государства заключаются именно в том, что оно сохраняет себя и может сохранить себя от тысячи случайностей повседневности. Государство должно и может быть выше всяких бед, которые возникают из злонамеренности отдельных лиц. Для этого существует полиция, для этого существуют законы и суды, для этого существует вся организация государства. Вор и даже большая банда разбойников могут быть опасны для тех или иных отдельных лиц в государстве, но не для самого государства, покуда оно остается здоровым и хорошо устроенным организмом.

Совершенно иначе обстоит дело с явлением, которое имеет своим источником не произвол и злую волю отдельных личностей, а недостатки государственного организма, государственных учреждений, всего политического тела. По отношению к такому явлению государство имеет только два выхода: или воспринять в свой организм заключающееся в нем право и постольку реформировать себя самого мирным путем, или же прибегнуть к силе. Но на этом втором пути каждое государство, наверное, пойдет к гибели, так как право, вошедшее в сознание, непреодолимо.

Вот те причины, по которым мы вместе с «Наблюдателем» считаем коммунизм весьма важным и в высшей степени опасным явлением. Во избежание недоразумений мы раз навсегда заявляем, что мы лично – не коммунисты и что у нас столь же мало охоты, как и у господ из «Наблюдателя», жить в обществе, устроенном по плану Вейтлинга. Это – не свободное общество, не действительно живое объединение свободных людей, а невыносимое принуждение, насилием сплоченное стадо животных, преследующих исключительно материальные цели и ничего не знающих о духовной стороне жизни и о доставляемых ею высоких наслаждениях. Мы даже не думаем, чтобы такое общение когда-либо могло быть создано, ибо мы настолько верим в святую, более или менее сознательно присущую всем людям силу истины, что можем быть в этом отношении вполне спокойны.

Но, с другой стороны, мы вполне убеждены, что коммунизм в самом деле содержит элементы, которые мы считаем в высшей степени важными, даже более чем важными: в основе его лежат священнейшие права и гуманнейшие требования, и в них-то и заключается та великая, чудесная сила, которая поразительно действует на умы. Коммунисты сами не понимают этой незримо действующей силы. Но только в ней и только благодаря ей они представляют нечто,

без нее же они – ничто. Только эта сила в короткое время сделала коммунистов из ничего чем-то сильным и грозным, ибо не следует скрывать от себя: коммунизм стал теперь мировым вопросом, который ни один государственный деятель не может *игнорировать*, а тем более *разрешать просто силой.*

2

По-видимому, «Наблюдатель» думает, что коммунизм является непосредственным результатом немецкой философии и радикализма и отличается от них обоих только тем, что имеет смелость и добросовестность высказывать открыто и ясно такие взгляды, которые этими последними или облекаются в непонятный философский жаргон, или совершенно замалчиваются.

Что касается мнимого замалчивания у философов и радикалов, то мы не думаем, чтобы «Наблюдатель» всерьез высказал это обвинение. Это было только шуткой с его стороны, ибо в действительности он сам, напротив, убежден и отлично знает, что вся сила радикалов заключается в публичности и что замалчивание есть необходимая участь так называемой консервативной партии, которая нуждается в народе только как в средстве и не видит в нем цели. Он отлично знает, что самоуправление народа составляет принцип, лежащий в основе всех взглядов радикалов, и что эти последние специально работали над улучшением школы и развитием народного образования, ибо были убеждены, что народ сможет сам собою управлять лишь постольку, поскольку он является совершеннолетним и самостоятельным, и что только путем образования он может быть поднят до совершеннолетия и самостоятельности. Одним словом, «Наблюдатель» отлично знает, что главная цель радикалов есть освобождение народа от опеки знатных и богатых как таковых, и потому мы не будем больше тратить время на опровержение обвинения, которое, впрочем, как уже сказано, было простой шуткой.

Философия и радикализм имеют, правда, много общего с коммунизмом. Чтобы действительно понимать явление, конечно, недостаточно подчеркивать только ту сторону, которая является общею с другими явлениями. Необходимо также ознакомиться с его существенными отличиями, иначе мы неминуемо должны будем прийти к утверждению, что все оказывается одним, ибо нет ни единой вещи в физическом и духовном мире, которая не имела бы ничего общего со всеми другими вещами.

Во всяком случае, философия в очень многих пунктах соприкасается с коммунизмом. Да иначе и быть не могло. Жизнь и ход развития человечества являются не безразличным сборищем случайных событий, а необходимым и внутренне разумно организованным шествием единого духа, который целиком отражается в каждом отдельном проявлении своей внутренней сущности точно так же, как общая жизнеспособность и общая чувствительность человеческого организма коренятся в мельчайших частях его.

Поэтому современная философия необходимо должна иметь с коммунизмом очень много общего, так как оба они родились из духа нашего времени и представляют собой самые значительные его откровения. Какова цель философии? Познание истины. Но истина не есть нечто вполне абстрактное и воздушное, а потому она может и даже должна оказывать значительное влияние на общественные отношения, на организацию общества. Уже в Евангелии сказано: «Познают истину, и истина освободит их». В этих немногих словах высказано все стремление философии, а что это стремление не осталось бесплодным, об этом можно судить по новейшей истории и по истории французской революции. Еще незадолго до революции трудящаяся, лучшая часть французского народа находилась в самом печальном положении. Она не владела даже одной третьей частью земли, самый труд ее, единственное средство ее существования, был отягчен всевозможными препятствиями, и однако именно на эту часть населения ложилось все бремя государственных налогов, а сверх того она принуждена была платить особые подати в пользу духовенства и аристократии. Мы уже не говорим о других унизительных повинностях, возложенных на бедный народ. Суды были так устроены, что знатные всегда оказывались правыми против народа. Народ, одним словом, во всех отношениях угнетался знатью. А почему? Не потому, что он был слаб, боже упаси, народ никогда не бывает

слаб, а потому, что он был невежествен и давал себя обманывать католическим попам, которые толковали ему, что король, дворянство и духовенство даны ему божьей милостью и что народ должен служить им, склоняться перед ними и терпеть от них унижения, дабы получить за это царствие небесное. «Ты глуп, ты не способен правильно понимать нас, положись поэтому на нас, мы будем тобою руководить» – так говорили попы народу, и бедный народ, в котором всегда скрыто так много веры и так много здравого смысла, действительно поверил, что он глуп, и подавлял в себе, как порождение дьявола, всякие сомнения, всякие освободительные мысли. Что освободило народ от этого духовного рабства? Философия. Философы прошедшего столетия во многом ошибались, немало святого и красивого они просмотрели, но свое провиденциальное назначение, заключающееся в том, чтобы заставить народ почувствовать себя самого, привести его к сознанию своего достоинства и своих неизменных святых прав, – это назначение они верно выполнили. История судит всегда лучше и великодушнее, чем мелкие, слепые и потому злопыхательские партии, и по этой причине она, несомненно, сохранит их имена среди имен освободителей и лучших слуг человечества.

Вплоть до настоящего времени философия продолжает еще свою упорную борьбу, борьбу на жизнь и смерть, со всеми предрассудками, со всем тем, что мешало людям достигнуть их высокой святой цели, осуществления свободного и братского общества, осуществления царства божия на земле. Ей остается еще многое сделать, еще против многого бороться, чтобы сорвать покров лжи, который консервативные друзья народа в эгоистических интересах набрасывают на народ. Но она имеет мужество истины, и она победит и должна победить, так как истина, познание истины есть ее единственное оружие. Она сражается при свете, а ее враги – во мраке ночи. Ее враги пробуждают в народе грубые, темные страсти, демоническое, она же, наоборот, опирается только на богоподобную, светлую сторону человеческой природы, она апеллирует к высокой страсти свободы, любви и познания. А бог, истина в конце концов одержат же победу над тьмою.

Вот в чем пункт соприкосновения между философией и коммунизмом: оба стремятся к освобождению людей. Но здесь же начинается и их существенное расхождение. Философия по существу своему только *теоретична*, она движется и развивается только в рамках познания; коммунизм же в своей нынешней форме, наоборот, является только практичным. Этим указаны как преимущества, так и недостатки каждого из этих явлений по отношению к другому. Правда, мысль и дело, истина и нравственность, теория и практика составляют в последнем счете одно и то же, единую нераздельную сущность. Правда, величайшая заслуга новейшей философии и заключается в том, что она признала и познала это единство, но с этим познанием она дошла до своего предела, – предела, которого она как философия не может перешагнуть, ибо по ту сторону этого предела начинается более высокая сущность, чем она, – действительное, одушевленное любовью и вытекающее из божественной сущности первобытного равенства *общение* свободных людей, посюстороннее осуществление того, что составляет божественную сущность христианства, истинный коммунизм.

3

«И для него (Вейтлинга), – говорит „Наблюдатель“, – как и для „Швейцарского республиканца“, всякое национальное чувство является глупостью, бессмыслицей. Существуют только люди, а не собственно народы, только граждане мира, а не *граждане государств»*.

Опять мистификация! О, «Наблюдатель» – плут, правда христианский, но все-таки плут. Иногда он шутит так тонко, что его шутки можно принять за правду, но он слишком умен, чтобы действительно быть такого мнения о «Республиканце», и слишком нравствен, чтобы говорить всерьез то, чему он сам не может верить. Как, «Республиканец» объявляет всякое национальное чувство глупостью и бессмыслицей? Разве «Наблюдатель» не знает, что «Республиканец» всегда считал возмутительной, позорной государственной изменой, если кто-либо ради победы своих собственных политических взглядов, верны ли эти взгляды или неверны, станет способствовать вмешательству иностранцев в дела своего отечества? Самостоятельность и гордая независимость Швейцарии по отношению ко всем влияниям иностранных правительств – разве это не было постоянной целью «Республиканца» и разве он это недостаточно доказал своим поведением, например, в деле Совета, в осложнениях с Луи Бонапартом и в деле Гервега?[47]

В том, что Вейтлинг игнорирует значение национальности, мы его упрекать не станем: это – ошибка, но необходимая ошибка, неизбежная ступень в развитии коммунизма. Всякое великое историческое явление, даже христианство, остается вначале односторонним, только отрицанием существующего. Так, христианство вначале, безусловно, отрицало искусство, потому что искусство было тогда нераздельно связано с язычеством. Но впоследствии оно снова признало искусство, как возрожденное из христианского начала. И таким образом возникло христианское искусство. Точно так же обстоит дело и с коммунизмом. Сейчас он отрицает всякую национальность не потому, что принцип национальности по самому существу был плох. Об этом коммунизм пока еще ничего не знает, потому что он вообще теоретически, научно еще очень малоразвит, потому что он еще далек от того, чтобы уразуметь свой собственный принцип во всей его истинности и во всей полноте вытекающих из него выводов. Но коммунизм отрицает все национальности потому, что в своем нынешнем виде они не проводят своего принципа и вместо того, чтобы быть живыми и свободными носителями и органами единого человечества, черство и эгоистически восстают против того божественного единства, в котором они только и могут достигнуть своего истинного назначения.

Надо остерегаться смешения космополитизма коммунистов с космополитизмом прошлого столетия. Теоретический космополитизм[48] прошлого века был холодным, индифферентным, рефлективным, без почвы и страсти. Он был мертвой и бесплодной абстракцией, теоретическим построением, лишенным хотя бы малейшей искры продуктивного, творческого огня. Против этой безжизненной и бездушной тени демоническая отрицательная стихия национальности была, безусловно, права и действительно одержала над ним полную победу.

Напротив, коммунизм нельзя упрекнуть в недостатке страсти и огня. Коммунизм – не фантом, не тень. В нем скрыты тепло и жар, которые с громадной силой рвутся к свету, пла-

---

[47] Речь идет о дипломатическом конфликте между правительством Швейцарии и Франции времен Луи Филиппа в связи с отклонением швейцарским правительством требования французского правительства о высылке поселившегося в Швейцарии после неудачного государственного переворота принца *Луи Бонапарта* (будущего Наполеона III). Швейцарское правительство уступило давлению германских правительств и выслало в 1843 г. немецкого поэта, революционера-демократа Г. Гервега из Цюриха.

[48] В 40-х гг. XIX в. термин *космополитизм* означал приверженность наднациональной идее единства человеческого рода, солидарности народов и стран как частей одного человечества. Применительно к коммунизму этот термин у Бакунина не совсем адекватно выражал его интернациональный характер.

мень которого уже нельзя затушить и взрыв которого может стать опасным и даже ужасным, если привилегированный образованный класс не облегчит ему любовью и жертвами и полным признанием его всемирно-исторической миссии этот переход к свету.

Коммунизм – не безжизненная тень. Он произошел из народа, а из народа никогда не может родиться тень. Народ – а под народом я понимаю большинство, широчайшую массу бедных и угнетенных, – народ, говорю я, всегда был единственною творческою почвою, из которой только и произошли все великие деяния истории, все освободительные революции. Кто чужд народу, того все дела заранее поражены проклятием. Творить, действительно творить можно только при действительном электрическом соприкосновении с народом. Христос и Лютер вышли из *простого* народа, и если герои французской революции могучей рукой заложили первый фундамент будущего храма свободы и равенства, то это удалось им только потому, что они возродились в бурном океане народной жизни.

Таким образом, протест коммунизма против принципа национальности гораздо важнее и значительнее протеста просвещенных космополитов прошлого века. Коммунизм исходит не из теории, а из практического инстинкта, из народного инстинкта, а последний никогда не ошибается. Его протест есть могучий вердикт человечества, святое и единоспасающее единство которого до сих пор еще нарушается узким эгоизмом наций.

Или, быть может, «Наблюдатель» не желает ничего знать о человечестве? Разве для него идея человечества действительно бессмыслица, пустое слово? Это было бы странно! Ведь он не только «Наблюдатель», но и христианский «Наблюдатель», а как таковой он должен был бы хорошо знать, что подчеркивание идеи человечества перед лицом обособленных и строго замкнутых в себе наций языческой эпохи было одним из величайших дел христианства.

Все люди, все без исключения, – братья, учит Евангелие, и только тогда, когда они любят друг друга, в них присутствует незримый бог, искупительная и освобождающая истина, присовокупляет к этому Иоанн. Следовательно, отдельный человек, как бы высоки и нравственны ни были его побуждения, не может причаститься истине, если он не живет в обществе. Не в отдельном лице, а только в общении присутствует бог, и, таким образом, добродетель отдельной личности, живая, плодотворная добродетель, возможна только путем святого и чудодейственного союза любви, только в общении. Вне общения человек – ничто, в общении – все. И когда Библия говорит об общении, то она меньше всего понимает под этим отдельные, узко замыкающиеся в себе общины или нации. О национальных различиях первобытное христианство ничего не знает, а проповедуемое им общение есть общение всех людей человечества.

Таким образом, Вейтлинг вполне верен первобытному христианству, когда во имя единого и неделимого человечества отвергает разъединяющий принцип национальности. Христианство также выступало вначале односторонне как отрицание, как разрушение всех национальных различий. Впоследствии внутри христианского мира снова образовалось разумное различие. Но до тех пор, пока христианство сохраняло еще свою мощь, оно в отдельные великие исторические моменты было также в состоянии снова устранять обособление наций и объединять их все в одной великой общей цели. Лучшим доказательством этому могут служить крестовые походы.

Теперь власть христианства над государством исчезла. Современные государства, правда, еще называют себя христианскими, но они уже таковыми не являются. Христианство служит для них только средством, а не источником и целью их существования. Они живут и действуют на началах, которые совершенно противоположны христианству. А то, что они еще называют себя христианскими, есть лицемерие, более или менее сознательное лицемерие. В дальнейшем изложении мы надеемся доказать это ясно и неопровержимо. Мы исследуем важнейшие стороны современной государственной жизни и покажем, что христианство оказывается здесь только слабой тенью и что только нехристианское здесь действительно.

Но с тех пор как христианство перестало быть связующим и одухотворяющим европейские государства цементом, что же еще связывает их, что сохраняет в них святыню согласия и любви, которые были возвещены им христианством? Святой дух свободы и равенства, дух чистой человечности, в громе и молнии открывшиеся людям во время французской революции и, подобно семенам новой жизни, разнесенные повсюду посредством революционных войн. Французская революция есть начало новой жизни. Многие так слепы, что думают, будто побороли и укротили ее мощный дух. Жалкие люди, как ужасно будет их пробуждение! Нет, революционная драма еще не закончена. Мы родились под революционной звездой, мы живем и все без исключения умрем под ее влиянием. Мы находимся накануне великого всемирно-исторического переворота, мы – накануне новой борьбы, тем более опасной, что она будет носить не просто политический, но и принципиальный религиозный характер. Не следует предаваться иллюзиям: речь будет идти не меньше чем о новой религии, о религии демократии, которая под старым знаменем с надписью «Свобода, равенство и братство» начнет свою новую борьбу, борьбу на жизнь и смерть.

Вот дух, породивший коммунизм. Этот дух ныне невидимо сплачивает воедино все народы без различия национальности. Этому духу, блестящему преемнику христианства, противятся ныне так наз(ываемые) христианские правительства и все монархические правители и владыки, ибо они прекрасно знают, что их мнимое христианство, их корыстные дела не в состоянии будут вынести его пламенного взора. И что они делают, какие средства они употребляют, чтобы помешать его победе? Они стараются развить в народе национальное чувство за счет человечности и любви, они, христианские правительства, пропагандируют ненависть и убийство во имя национальности!

Против них Вейтлинг и коммунисты, несомненно, правы, ибо по принципам самого христианства должно быть уничтожено все, что противится духу любви.[49]

[49] Статья «Коммунизм» осталась незаконченной.

Федерализм, социализм и антитеологизм[50]

Мотивированное предложение Центральному Комитету «Лиги Мира и Свободы»[51]

Господа!

Дело, занимающее нас сегодня, это организовать и окончательно упрочить Лигу Мира и Свободы, взяв за основание принципы, формулированные предшествующим распорядительным комитетом и принятые на первом съезде. Эти принципы составляют с этих пор нашу хартию, обязательное основание всех наших последующих работ. Мы не имеем более права отнять от них хотя бы малейшую часть; но мы можем и даже обязаны их развивать.

Выполнение этой обязанности нам представляется в настоящее время тем более настоятельным, что, как всем известно, вышеупомянутые принципы были формулированы наскоро, под давлением тяжелого женевского гостеприимства… Мы набросали их, так сказать, между двумя грозами, принужденные ослаблять выражения, чтобы избежать большого скандала, который бы мог привести к полнейшему уничтожению нашего дела.

Ныне, когда благодаря более искреннему и широкому гостеприимству города Берна мы свободны от всякого местного, внешнего давления, мы должны восстановить эти принципы во всей их полноте, отбросив всякую двусмысленность, как недостойную нас, недостойную великого дела, которое мы призваны основать.

Умалчивание, полуправда, урезанные мысли, любезные смягчения и уступки трусливой дипломатии – все это непригодно для совершения великих дел: последние совершаются лишь при помощи возвышенного сердца, прямого и твердого ума, ясно определенной цели и великой смелости. Господа, мы предприняли великое дело, возвысимся до уровня нашего предприятия. Оно будет великим или смешным, средины не может быть, и чтобы оно было великим, необходимо по меньшей мере, чтобы мы по своей смелости и искренности стояли на должной высоте.

Не академическое обсуждение принципов предлагаем мы теперь вашему вниманию. Мы не упускаем из виду, что мы собрались здесь, главным образом чтобы выработать необходимые средства и политические меры к осуществлению нашего дела. Но мы знаем также, что в политике не может быть честной и полезной практической деятельности без ясно определенных теории и цели. В противном случае, как мы ни воодушевлены самыми широкими и свободолюбивыми чувствами, мы можем прийти к практике, совершенно противоположной этим чувствам; мы можем начать с республиканскими, демократическими и социалистическими убеждениями – а кончить как бисмаркианцы или как бонапартисты.

Сегодня мы должны сделать три вещи:

1) Установить условия и подготовить почву для нового съезда.

2) Организовать нашу Лигу, насколько это будет возможно, во всех странах Европы; распространить ее даже, и это нам кажется существенным, на Америку и учредить в каждой стране национальные комитеты и провинциальные подкомитеты, предоставив каждому из них всю

---

[50] Работа представляет собой теоретическое обоснование программы, предложенной М.А. Бакуниным ЦК Лиги мира и свободы, членом которого он был избран на I Конгрессе Лиги в сентябре 1867 г. Полностью впервые опубликована в 1895 г. на французском языке. В русском переводе вышла в 1906 г. в санкт-петербургском издательстве «Мысль».В настоящем издании текст печатается по: *Бакунин М.* Избранные сочинения. Т. III. Пб.–М., 1920. С. 120—216.

[51] Таково было окончательно принятое заглавие настоящего доклада. Первоначально в корректуре имелся подзаголовок: Предложение Русских членов Центрального Комитета Лиги Мира и Свободы, а в рукописи Бакунин дал ему следующее заглавие: Мотивированное предложение русских членов постоянного Комитета Лиги Мира и Свободы (поддержанное французским делегатом г. Александром Накэ и польскими делегатами Валерианом Мрошковским и Иваном Загорским).

законную, необходимую автономию и подчинив их все иерархически центральному комитету в Берне. Дать этим комитетам полномочия и необходимые инструкции для пропаганды и принятия новых членов.

3) В виду этой пропаганды основать газету.

Не очевидно ли, что, для того чтобы хорошо выполнить эти три вещи, мы должны предварительно установить принципы, которые определили бы без всякой двусмысленности природу и цель Лиги. Эти принципы, с одной стороны, вдохновят и направят нашу как письменную, так и словесную пропаганду, а с другой стороны, послужат условиями и основой для принятия новых членов. Последний пункт, господа, кажется нам чрезвычайно важным. Ибо вся будущность нашей Лиги будет зависеть от идей, склонностей и тенденций, как политических и социальных, так экономических и моральных, этой массы вновь прибывающих членов, которых мы примем в наши ряды. Являясь учреждением в высшей мере демократическим, мы не претендуем управлять сверху нашим народом, т. е. массой наших сторонников; и раз наше общество будет правильно устроено, мы никогда не позволим себе властно навязывать ему наши идеи. Напротив, мы хотим, чтобы все наши провинциальные подкомитеты и национальные комитеты, вплоть до центрального или самого международного комитета, избираемые голосами членов во всех странах, снизу вверх, сделались верным и послушным выражением их чувств, их идей и их воли. Но ныне именно потому, что мы решились подчиниться во всем, что будет касаться общей деятельности Лиги, желаниям большинства, потому что мы находимся еще в малом числе, если мы не хотим, чтобы наша Лига когда-либо уклонилась от своей первоначальной идеи и от направления, приданного ей ее инициаторами, не должны ли мы принять меры, чтобы никто с тенденциями, противоположными этой идее и этому направлению, не мог сделаться ее членом?

Не должны ли мы организоваться таким образом, чтобы огромное большинство наших приверженцев оставалось всегда верно воодушевляющим нас сегодня чувствам, и установить такие правила принятия членов, чтобы, даже если личный состав наших комитетов переменится, дух Лиги оставался неизменным?

Мы можем достигнуть этого не иначе, как установив и определив наши принципы настолько ясно, чтобы никто, будучи в том или ином отношении против них, не мог занять место в наших рядах.

Нет никакого сомнения, что, если мы не будем ясно формулировать действительный характер своих принципов, число наших сторонников может впоследствии стать очень большим. Мы могли бы даже в таком случае, как нам предлагал делегат Базеля г. Шмидлин, принять в наши ряды много военных и священников – почему бы уже и не полицейских? – или по примеру Лиги Мира, основанной в Париже под высочайшим императорским покровительством гг. Мишеля Шевалье и Фредерика Пасси, умолять знаменитых прусских, русских или австрийских принцесс соблаговолить принять звание почетных членов нашей ассоциации. Но, как говорит пословица, кто много захватывает, плохо удерживает, мы купили бы эти драгоценные присоединения лишь ценой полного самоуничтожения, и среди массы двусмысленностей и фраз, отравляющих в настоящее время общественное мнение Европы, стали бы лишней плохой шуткой.

С другой стороны, очевидно, что, если мы громко провозгласим свои принципы, число наших членов будет более ограниченно; но по крайней мере это будут серьезные приверженцы, на которых можно будет рассчитывать, – и наша искренняя, просвещенная, серьезная пропаганда будет не отравлять, а нравственно оздоровлять публику.

Рассмотрим же, каковы принципы нашей новой ассоциации? Она называется *Лигой Мира и Свободы.* Это уже много; этим мы отделаемся от всех тех, кто ищет мира какой угодно ценой, даже ценой свободы и человеческого достоинства. Мы отделаемся также и от английского общества мира, отвлекающегося от всякой политики и воображающего, что при современном

устройстве государств в Европе возможен мир. В противоположность этим ультрапацифистским тенденциям парижского и английского общества наша Лига объявляет, что она не верит в мир и не желает мира, иначе как под непременным условием свободы.

Свобода – это величайшее слово, означающее великую вещь, которое никогда не перестанет воспламенять сердца всех живых людей. Но оно требует тем не менее точного определения, иначе мы не сможем избежать двусмысленности. Бюрократы – сторонники гражданской свободы, монархисты-конституционалисты, аристократы, буржуа – либералы, которые все более или менее сторонники привилегий и естественные враги демократии, могут вступить в наши ряды и составить у нас большинство под предлогом, что они тоже любят свободу.

Чтобы избежать последствий такого столь печального недоразумения, Женевский съезд объявил, что он желает «основать мир *на демократии* и на свободе», откуда вытекает, что для того, чтобы стать членом нашей Лиги, надо быть демократом. Значит, исключаются все аристократы, все сторонники какой бы то ни было привилегии, монополии или политической исключительности, ибо слово «демократия» означает не что иное, как управление народом, посредством народа и для народа, понимая под этим последним наименованием всю массу граждан – а в настоящее время надо прибавить и гражданок, – составляющих нацию.

В этом смысле мы все, конечно, демократы.

Но мы должны в то же время признать, что этот термин «демократия» недостаточен для точного определения характера нашей Лиги и что, рассматриваемый в отдельности, он может, так же как термин «свобода», подать повод к двусмысленности. Не видели ли мы в Америке с начала этого столетия, что плантаторы, рабовладельцы Юга и все их приверженцы в Северных Штатах назывались демократами? А современный цезаризм со своими отвратительными последствиями, нависший, как ужасная угроза, над всем, что называется в Европе человеческим, не именует ли он себя тоже демократичным? И даже московский и петербургский империализм, это «Государство без фраз», этот идеал всех централизованных, военных и бюрократических держав, не во имя ли демократии раздавил он недавно Польшу?

Очевидно, демократия без свободы не может служить нам знаменем. Но что такое демократия, основанная на свободе, если не Республика? Союз свободы с привилегиями создает монархический конституционный режим, но его союз с демократией может осуществиться лишь *в Республике.* В видах предосторожности, которых мы не одобряем, Женевский съезд нашел нужным воздержаться в своих резолюциях от произнесения слова «республика». Но, объявляя свое желание «основать мир на демократии и свободе», он невольно выставил себя сторонником республики. *Итак, наша Лига должна быть в одно и то же время демократической и республиканской.*

И мы думаем, господа, что все мы здесь республиканцы в том смысле, что, толкаемые беспощадной, неотразимой логикой вещей, предостерегаемые столь же спасительными, как и жестокими уроками истории, всеми опытами прошлого и в особенности событиями, которые омрачили Европу с 1848 года, и теми опасностями, которые и теперь ей еще угрожают, мы все равно пришли к одному убеждению: *монархические учреждения несовместимы с царством мира, справедливости и свободы.*

Что касается нас, господа, то мы, как русские социалисты и как славяне, считаем своей обязанностью открыто заявить, что для нас слово «республика» не имеет другой цены, кроме цены *чисто отрицательной:* оно означает разрушение, уничтожение монархии. Слово это не только неспособно нас воодушевить, но, напротив того, всякий раз, когда нам выставляют республику как положительное, серьезное разрешение всех злободневных вопросов, как высшую цель, к достижению которой должны направляться наши усилия, мы испытываем потребность протестовать.

Мы ненавидим монархию от всей души; мы ничего так не желаем, как видеть ее падение во всей Европе и во всем мире, и мы убеждены, как и вы, что ее уничтожение есть необходи-

мое условие освобождения человечества. С этой точки зрения мы – искренние республиканцы. Но мы не думаем, что достаточно разрушить монархию, чтобы освободить народы и дать им мир и справедливость. Напротив того, мы твердо убеждены, что крупная, военная, бюрократическая, политически централизованная республика может и необходимо должна стать завоевательной державой во внешних делах и притеснительницей во внутренних и что она будет неспособна обеспечить своим подданным – даже если они и будут называться гражданами – благоденствие и свободу. Разве мы не видели великую французскую нацию, два раза объявляющей себя демократической республикой и оба раза теряющей свою свободу и дающей себя увлечь к завоевательным войнам?

Припишем ли мы, подобно многим другим, эти плачевные падения легкомысленному темпераменту и историческому привычному отношению к дисциплине французского народа, который, как утверждают его клеветники, способен завоевать свободу внезапным бурным порывом, но не умеет пользоваться ею и проводить ее на практике?

Нам невозможно, господа, присоединиться к этому осуждению целого народа, одного из самых просвещенных народов Европы. Мы убеждены, что если два раза подряд Франция потеряла свободу и видела превращение своей демократической республики в военные диктатуру и демократию, то вина в этом падает не на характер ее народа, а на ее *политическую централизацию.* Централизация эта, издавна подготовленная французскими королями и государственными людьми, воплощенная позже в человеке, названном угодливой придворной риторикой Великим Королем, потом ввергнутая в бездну позорными деяниями одряхлевшей монархии, конечно, погибла бы в грязи, если бы Революция не подняла ее своей могучей рукой. Да, странная вещь: эта великая революция, провозгласившая в первый раз в истории свободу не только гражданина, но человека, сделав себя наследницей монархии, которую она убивала, воскресила это отрицание всей свободы: *централизацию и всемогущество Государства.*

Воссозданная Учредительным собранием, эта централизация, против которой, правда, боролись, но с малым успехом, Жирондисты, была довершена Конвентом. Робеспьер и Сен-Жюст были ее истинными восстановителями: ничто не было забыто в новой правительственной машине, ни даже Верховное Существо вместе с религией Государства. Она ожидала лишь ловкого механика, чтобы явить удивленному миру все могущество притеснения, которым ее одарили неосторожно устроители… и явился Наполеон I. Итак, эта революция, которая вначале была воодушевлена лишь любовью к свободе и человечности, одним тем, что поверила в возможность примирения их с централизацией государства, убила себя, убила их и не породила ничего, кроме военной диктатуры цезаризма.

Не очевидно ли, господа, что для того, чтобы спасти в Европе свободу и мир, мы должны противопоставить этой чудовищной и гнетущей централизации военных, бюрократических, деспотических, монархически-конституционных или даже республиканских государств великий спасительный *принцип Федерализма* – принцип, блистательное проявление которого явили нам между прочим последние события в Соединенных Штатах Северной Америки. Отныне для всех, истинно желающих освобождения Европы, должно быть ясно, что, сохраняя все свои симпатии к великим социалистическим и гуманитарным идеям, провозглашенным Французской Революцией, мы должны отбросить ее политику Государства и решительным образом воспринять политику свободы северо-американцев.

I
Федерализм

Мы счастливы возможности объявить, что Женевский съезд единогласно приветствовал этот принцип. Сама Швейцария, которая, к слову сказать, применяет так удачно этот принцип на практике, присоединилась к нему без всякого ограничения и приняла его во всей широте и со всеми вытекающими из него последствиями. К сожалению, в резолюциях съезда этот принцип очень плохо формулирован и даже упомянут лишь косвенным образом, в одном месте, по поводу Лиги, которую мы должны основать, и затем, ниже, по поводу журнала, который мы должны издавать под заглавием «Соединенные Штаты Европы». Между тем, по нашему мнению, он должен бы был занимать первое место в нашей декларации принципов.

Это очень печальный пробел, который мы должны поспешить заполнить. Сообразуясь с единогласным решением Женевского съезда, мы должны провозгласить:

1) Что для того, чтобы восторжествовали свобода, справедливость и мир в международных отношениях Европы, для того, чтобы гражданская война между различными народами, составляющими европейскую семью, стала невозможною, есть только одно средство: образование *Соединенных Штатов Европы.*

2) Что Штаты Европы никогда не будут в состоянии образоваться из Государств в их нынешнем виде по причине чудовищного неравенства между взаимоотношениями их сил.

3) Что пример покойной Германской Конфедерации доказал неоспоримым образом, что конфедерация монархий является насмешкой: что она бессильна гарантировать населению как мир, так и свободу.

4) Что ни одно централизованное, бюрократическое и тем самым военное государство, даже если бы оно называло себя республиканским, не сможет серьезным и искренним образом войти в международную конфедерацию. По своей конституции, которая всегда будет открытым или замаскированным отрицанием свободы внутри, оно необходимо будет постоянным вызовом к войне, постоянной угрозой существованию соседних стран. Основанное существенным образом на предшествующем акте насилия, завоевания или того, что называется в частной жизни воровством со взломом, – акте, благословленном церковью какой бы то ни было религии, освященном временем и в силу этого обратившемся в историческое право, – и опираясь на это божеское освящение торжествующего насилия, как на исключительное высшее право, всякое централизованное государство тем самым полагает себя как абсолютное отрицание прав всех других государств, не признавая их в заключенных с ними договорах, иначе как в видах политического интереса или по бессилию.

5) Что все приверженцы Лиги должны будут, следовательно, направить все свои усилия к переустройству своих отечеств, дабы заменить в них старую организацию, основанную сверху, на насилии и принципе власти, новой организацией, не имеющей другого основания, кроме интересов потребностей и естественных влечений населения, ни другого принципа, кроме свободной федерации индивидуумов в коммуны, коммун в провинции[52], провинций в нации, наконец, этих последних в Соединенные Штаты Европы, а затем всего мира.

---

[52] Знаменитый итальянский патриот Иосиф Мадзини, республиканский идеал которого есть не что иное, как французская республика 1793 года, переплавленная в горниле поэтических традиций и исправленная с точки зрения новой теологии, наполовину рациональной, наполовину мистической, – этот знаменитый патриот, честолюбивый, страстный и всегда односторонний, несмотря на все сделанные им усилия, чтобы подняться до уровня международной справедливости, который всегда предпочитал величие и могущество своего отечества его благоденствию и свободе, – был всегда ожесточенным противником автономии провинций, которая, естественно, мешала бы строгому единообразию его великого итальянского Государства. Он утверждает, что для противовеса всемогуществу прочно установленной республики достаточно автономии коммун. Он ошибается: ни одна обособленная коммуна не будет в состоянии противостоять могуществу громадной централизации; она

6) Следовательно, полнейшее уничтожение всего, что называется историческим правом государства; вопросы о естественных, политических стратегических и торговых границах должны считаться отныне принадлежащими к древней истории и энергично отбрасываться всеми приверженцами Лиги.

7) Признание абсолютного права на полную автономию за всякой нацией, большой или малой, за всяким народом, слабым или сильным, за всякой провинцией, за всякой коммуной, при условии, чтобы внутреннее устройство одной из перечисленных единиц не являлось угрозой и опасностью для автономии и свободы соседних земель.

8) Из того обстоятельства, что какая-либо страна составляет часть какого-нибудь государства, для нее не вытекает никакого обязательства, даже если она присоединилась добровольно, оставаться всегда неразрывной с ним. Никакое вечное обязательство не может быть допущено человеческой справедливостью, единственной, с которой мы можем считаться, и мы никогда не признаем других прав или других обязанностей, кроме тех, которые основаны на свободе. Право свободного соединения, равно как и свободного разрыва, есть первое и самое важное из всех политических прав: это право, без которого конфедерация всегда будет лишь замаскированной централизацией.

9) Из предшествующего вытекает, что Лига должна открыто воспретить всякий союз той или иной национальной фракции европейской демократии с монархическими государствами, даже если бы этот союз имел целью возвратить независимость или свободу угнетенной стране, – ибо такой союз, могущий привести лишь к разочарованиям, был бы в то же время изменой делу революции.

10) Наоборот, Лига именно потому, что она Лига Мира, потому что она убеждена, что мир не может быть завоеван и основан иначе, как на самой тесной и полной солидарности народов, на началах справедливости и свободы, должна громогласно провозгласить свое сочувствие каждому народному восстанию против всякого как иностранного, так и внутреннего притеснения, лишь бы это восстание было сделано во имя наших принципов и в политических и экономических интересах народных масс, а не с властолюбивым намерением основать могущественное государство.

11) Лига будет вести ожесточенную войну со всем, что называется славой, величием и могуществом государств. Всем этим ложным и вредоносным идолам, которым были принесены в жертву миллионы людей, мы противопоставим славу человеческого разума, проявляющегося в науке, и идеал всемирного благоденствия, основанного на труде, справедливости и свободе.

12) Лига признает *национальности* как естественный факт, имеющий бесспорное право на существование и свободное развитие, но не как принцип – ибо всякий принцип должен обладать характером универсальности, а национальность, напротив того, является лишь отдельным, исключительным фактом. Так называемый *принцип национальности* в том виде, как он был поставлен в наши дни правительствами Франции, России и Пруссии, и даже многими немецкими, польскими, итальянскими и венгерскими патриотами, является лишь детищем реакции, противоположным духу революции: принцип, в сущности, в высшей степени аристократический, доходящий до презрения к народному говору неграмотного населения, отрицающий по своему существу свободу провинций и реальную автономию коммун и поддерживаемый во всех странах не народными массами, чьими реальными интересами он систе-

---

будет раздавлена ею. Для того, чтобы выдержать эту борьбу, она должна федерироваться в виду общей самозащиты с соседними коммунами, т. е. она должна образовать вместе с ними автономную провинцию. Кроме того, раз провинции не будут автономны, управление ими надо будет поручать ставленникам государства. Нет средины между строго последовательным федерализмом и бюрократическим режимом. Отсюда вытекает, что республика, к которой стремится Мадзини, была бы государством бюрократическим и, следовательно, военным, основанным в интересах внешнего могущества, а не международной справедливости и внутренней свободы. В 1873 году, при Терроре, коммуны Франции были признаны автономными, что не помешало им быть раздавленными революционным деспотизмом Конвента, или, лучше сказать, Парижской Коммуны, естественным наследником которой явился Наполеон.

матически жертвует ради так называемого общего блага, всегда на деле являющегося лишь благом привилегированных классов; этот принцип не выражает ничего другого, кроме пресловутых исторических прав и властолюбия государства. Итак, права национальностей будут всегда рассматриваться Лигой лишь как естественное следствие, вытекающее из высшего принципа свободы, а национальное право перестает считаться таковым, как только оно ставит себя против свободы или даже только вне свободы.

13) Единство есть цель, к которой непреоборимо стремится человечество. Но оно становится роковым, становится разрушителем просвещения, достоинства и процветания личностей и народов всякий раз, когда стремится образоваться помимо свободы, посредством насилия или посредством авторитета какой-либо теологической, метафизической, политической или даже экономической идеи. Патриотизм, стремящийся к единству помимо свободы, является дурным патриотизмом. Он всегда зловреден для действительных, народных интересов страны, которую он хочет возвысить и благодетельствовать, часто помимо воли дружествен реакции, враждебен революции, т. е. освобождению народов и людей. Лига может признавать лишь одно единство: то, которое свободно образуется через федерацию автономных частей в одно целое, так что это последнее перестанет быть отрицанием частных прав и интересов, перестанет быть кладбищем, где насильственно погребаются все местные благополучия, а напротив того, станет подтверждением и источником всех этих автономий и благополучий. Лига будет, стало быть, модно нападать на всякую религиозную, политическую, экономическую и социальную организацию, которая не будет всецело проникнута этим великим принципом свободы: без него нет ни просвещения, ни справедливости, ни благоденствия, ни человечности.

Таковы, господа, по нашему и, без сомнения, также по вашему мнению, необходимые последствия и развитие великого принципа Федерализма, громогласно провозглашенного Женевским съездом. Таковы необходимые условия мира и свободы.

Необходимые, да – но единственные ли? – Мы этого не думаем.

Южные Штаты в великой конфедерации Северной Америки были, с провозглашения независимости республиканских Штатов, демократичными по преимуществу[53] и проникнутыми федеративным духом до желания идти на разрыв. И все же они в последнее время навлекли на себя осуждение всех в мире сторонников свободы и человечности и своей бесстыдной и святотатственной войной против республиканских Штатов Севера чуть было не разрушили и не уничтожили самую лучшую политическую организацию из всех когда-либо существовавших в истории. В чем причина такого странного факта? В политическом устройстве? Нет, оно всецело в устройстве *социальном.* Внутреннее политическое устройство Южных Штатов являлось даже, во многих отношениях, более совершенным, более свободным, чем устройство Северных Штатов. Только в этом великолепном устройстве было одно пятно, как и в древних республиках; свобода граждан была основана на насильственном труде рабов. Достаточно было этого пятна, чтобы перевернуть все политическое устройство этих государств.

Граждане и рабы – вот антагонизм, существовавший как в Древнем мире, так и в рабовладельческих государствах нового мира. Граждане и рабы, т. е. принужденные работники, рабы если не по праву, то на деле, – вот антагонизм современного мира. И подобно тому, как древние государства погибли от рабства, так современные государства погибнут от пролетариата.

Напрасно старались бы утешиться мыслью, что это антагонизм скорее фиктивный, чем действительный, или что невозможно провести демаркационной линии между имущими и неимущими классами, так как эти классы смешиваются один с другим посредством множества промежуточных и неуловимых оттенков.

---

[53] Как известно, в Америке только сторонники интересов Юга против Севера, т. е. рабства против освобождения рабов, называют себя демократами.

В естественном мире также не существует демаркационных линий; так, например, в восходящей серии существ невозможно указать точку, где кончается растительное и начинается животное царство, где кончается животное и начинается человечность. Тем не менее существует вполне реальное различие между растением и животным, между животным и человеком. Так же точно в человеческом обществе, несмотря на промежуточные звенья, делающие нечувствительным переход от одного политического и социального положения к другому, различие между классами очень определенно, и всякий сумеет различить родовую аристократию от аристократии денежной, высшую буржуазию от мелкой буржуазии, а эту последнюю от пролетариев фабрик и городов; так же точно, как крупного землевладельца от крестьянина-собственника, собственноручно обрабатывающего землю, наконец, фермера от простого деревенского пролетария.

Все эти различные политические и социальные положения сводятся в настоящее время к двум главным категориям, диаметрально противоположным, естественно враждебным друг другу: *политические*[54] классы, составленные из всех привилегированных в отношении земледелия, капитала или даже лишь буржуазного образования[55], – и *рабочие* классы, обделенные как капиталом, так и землей, и лишенные всякого образования и обучения.

Надо быть софистом или слепым, чтобы отрицать бездну, разделяющую эти два класса. Подобно тому, как было в Древнем мире, наша современная цивилизация, обнимая лишь очень ограниченное число привилегированных граждан, имеет в основе вынужденный (голодом) труд громадного большинства населения, тотально обреченного на невежество и грубость.

Напрасно также старались бы себя уверить, что эта бездна может быть заполнена простым распространением просвещения в народных массах. Прекрасное дело основывать народные школы; и, однако, надо еще спросить себя, может ли человек из народа, живущий изо дня в день и кормящий свою семью работой своих рук, лишенный сам образования и досуга и принужденный убивать и отуплять себя работой, чтобы обеспечить своей семье хлеб завтрашнего дня, – надо еще спросить себя, может ли такой человек иметь мысль, желание или даже возможность посылать своих детей в школу и содержать их во время их обучения? Не будет ли он нуждаться в помощи их слабых рук, их детского труда, чтобы удовлетворить все нужды семьи? Будет уже много, если он сделает жертву, отдав их в школу на год или на два, предоставя им едва необходимое время, чтобы научиться читать, писать, считать и дать отравить свой ум и сердце христианским катехизисом, который так умело и щедро преподносится в официальных народных школах всех стран. Будет ли это скудное обучение когда-либо в состоянии поднять рабочие массы до уровня буржуазного образования? Будет ли когда-нибудь заполнена бездна?

Очевидно, что этот столь важный вопрос народного образования и воспитания зависит от разрешения другого, гораздо более трудного вопроса о коренном преобразовании нынешних экономических условий рабочих классов. Возвысьте условия труда, отдайте труду все, что по справедливости принадлежит труду, и тем самым дайте народу обеспечение приобретать знания, благоденствие, досуг, и тогда, поверьте, он создаст цивилизацию, более широкую, здоровую, возвышенную, чем наша.

Напрасно также повторять за экономистами, что улучшение экономического положения рабочих классов зависит от общего прогресса промышленности и торговли в каждой стране и от их окончательного освобождения от опеки и покровительства государств. Свобода промышленности и торговли является, конечно, великой вещью и одним из существенных оснований международного союза всех народов мира. Будучи друзьями свободы во что бы то ни

---

[54] Во французском издании сочинений Бакунина редактор первого тома (Д-р Неттлау) задается вопросом: не следует ли читать здесь вместо «politiques» (политически) «privilegiees» (привилегированные).

[55] За неимением даже какого-либо другого имущества, это буржуазное воспитание, при помощи солидарности, связывающей всех членов буржуазного мира, обеспечивает получившему его громадную привилегию в вознаграждение за труд – ибо труд самого посредственного буржуа оплачиваетсая в три, в четыре раза дороже, чем труд самого умного рабочего.

стало, всякой свободы, мы должны быть равным образом друзьями и этих свобод. Но, с другой стороны, мы должны признать, что, покуда будут существовать современные государства, покуда труд будет в крепостной зависимости у собственности и капитала, эта свобода, обогащая ничтожную часть буржуазии, во вред огромному большинству населения, породит лишь одно благо: расслабленность и полную деморализацию небольшого числа привилегированных; увеличение нищеты, обид и справедливого негодования рабочих масс и тем самым приближение часа уничтожения государств.

Англия, Бельгия, Франция и Германия являются, несомненно, европейскими странами, где торговля и промышленность пользуются сравнительно наибольшей свободой и достигли наибольшего развития. И это именно те самые страны, где пауперизм (нищета) чувствуется наиболее жестоким образом, где бездна между собственниками и капиталистами, с одной стороны, и рабочими классами, с другой, расширилась до степени, неизвестной другим странам. В России, в скандинавских странах, в Италии, в Испании, везде, где торговля и промышленность мало развиты, люди редко умирают с голода, разве только в случае какой-либо необычайной катастрофы. В Англии голодная смерть – ежедневный факт. И не только отдельные единицы, тысячи, десятки, сотни тысяч умирают таким образом. Не очевидно ли, что при том экономическом положении, которое царит в настоящее время во всем цивилизованном мире, – свобода и развитие торговли и промышленности, удивительные приложения науки к производству и даже самые машины, имеющие целью освободить работника, облегчить человеческий труд, – что все эти изобретения, весь этот прогресс, которым справедливо гордится цивилизованный человек, далеки от того, чтобы улучшить положение рабочих классов, и лишь ухудшают его и делают еще более невыносимым.

Только Северная Америка является в значительной степени исключением из этого правила. Но, отнюдь не нарушая правила, это исключение лишь подтверждает его. Если рабочие там лучше оплачиваются, чем в Европе, если никто там не умирает с голоду, если в то же время классовый антагонизм там еще почти не существует, если все рабочие там граждане и вся масса граждан составляет как бы одно тело, наконец, если хорошее начальное и даже среднее образование широко распространено там в массах, то все это следует в значительной мере приписать, конечно, тому традиционному духу свободы, который первые колонисты привезли из Англии: рожденному, испытанному, укрепленному в великой религиозной борьбе, этому принципу индивидуальной независимости и коммунального и провинциального self government (самоуправления) благоприятствовало еще то редкое обстоятельство, что, перенесенный в пустыню, он был освобожден, так сказать, от духовного гнета прошлого и мог, таким образом, создать новый мир – мир свободы. А свобода – это такая чародейка, она одарена такой удивительной творческой силой, что, вдохновляемая ею одной, Северная Америка менее чем в столетие смогла достичь цивилизации Европы, можно теперь сказать, даже превзошла ее. Но не надо вдаваться в обман. Этот удивительный прогресс и столь завидное благоденствие обязаны своим существованием в громадной мере и главным образом важному преимуществу Америки, общему ей с Россией: мы говорим об огромном количестве плодородной земли, которая остается и поныне не обработанной за недостатком рабочих рук. По крайней мере до сих пор это огромное территориальное богатство было почти бесполезно для России, ибо мы никогда не обладали свободой. Иначе обстояло дело с Северной Америкой, которая благодаря свободе, подобной которой не существует нигде в мире, привлекает каждый год сотни тысяч энергичных, трудолюбивых и умных колонистов и может их принимать у себя благодаря этому богатству. Последнее не дает развиться пауперизму и отдаляет в то же время момент возникновения социального вопроса: рабочий, не находящий работы или недовольный заработной платой, которую он получает в столице, всегда может в крайнем случае эмигрировать *на дальний запад,* чтобы распахать там какую-нибудь невозделанную, незанятую землю.

Эта возможность, всегда открытая для всех американских рабочих, за неимением лучшего, естественно, поддерживает там заработную плату на достаточной высоте и предоставляет каждому независимость, неизвестную в Европе. Такова выгода. Но вот и невыгода: дешевизна промышленных продуктов зависит главным образом от дешевизны работы, и поэтому американские фабриканты в большинстве случаев не в состоянии конкурировать с европейскими фабрикантами, откуда вытекает необходимость протекционного тарифа для промышленности Северных Штатов. Результатами этого тарифа было, во-первых, искусственное создание массы промышленностей и в особенности утеснение и разорение неманufактурных Южных Штатов, что заставило последних желать отделения; а во-вторых, скопление в центрах, как Нью-Йорк, Филадельфия, Бостон и другие, рабочих пролетарских масс, которые мало-помалу приходят в положение, аналогичное положению рабочих в больших промышленных государствах Европы. И мы видим в самом деле, что социальный вопрос уже выдвигается в Северных Штатах, подобно тому, как он выдвинулся много раньше у нас.

Итак, мы принуждены признать за всеобщее правило, что в нашем современном мире, если и не так всецело, как в античном, все же цивилизация основана на принудительном труде меньшинства и относительном варварстве громадного большинства. Было бы несправедливо утверждать, что этот привилегированный класс чужд труда; напротив, в наши дни члены его много работают, число совершенно бездеятельных уменьшается чувствительным образом, труд начинают уважать в этой среде; ибо наиболее счастливые понимают уже теперь, что для того, чтобы остаться на уровне современной цивилизации, для того хотя бы, чтобы быть в состоянии пользоваться ее привилегиями и сохранять их, надо много трудиться. Но между трудом достаточных классов и рабочих та разница, что труд первых оплачивается бесконечно лучше труда вторых и потому оставляет привилегированным *досуг,* это необходимое условие человеческого, как умственного, так и морального развития – условие, никогда не существовавшее для рабочих классов. Кроме того, труд, производимый привилегированным миром, – почти исключительно *нервный труд* – работа воображения, памяти и мысли; между тем как труд миллионов пролетариев – это *труд мускульный* и часто, как, например, на фабриках, этот труд упражняет не всю мускульную систему человека, а развивает лишь какую-нибудь часть ее во вред другим и совершается обыкновенно в условиях, вредных для здоровья тела и противных его гармоническому развитию. В этом отношении земледелец гораздо более счастлив: его природа, не испорченная душной и часто отравленной атмосферой фабрик и заводов, не извращенная ненормальным развитием одной какой-нибудь способности во вред другим, остается более сильной, более полной – но зато его ум является всегда более отсталым, неповоротливым и гораздо менее развитым, чем ум фабричных и городских рабочих.

В конце концов ремесленные и фабричные рабочие и земледельцы образуют вместе одну и ту же категорию, категорию *мускульного труда*, противоположную привилегированным представителям *нервного труда*. Каковы последствия этого разделения, не только не фиктивного, но вполне наглядного и составляющего самое основание современного как политического, так и социального положения?

Для привилегированных представителей *нервного труда*, которые, кстати сказать, призваны быть его представителями не в качестве самых умных, но единственно потому, что родились в привилегированном классе – для них все благодеяния, но также и все гибельные соблазны современной цивилизации: богатство, роскошь, комфорт, благоустройство, семейные радости, исключительная политическая свобода вместе с возможностью эксплуатировать труд миллионов рабочих и управлять ими по своей воле и в своих интересах, – все творения, все изощрения, воображения и мысли… и, вместе с возможностью стать цельными людьми, все отравы человечества, испорченного привилегиями.

Что же остается для представителей *мускульного труда*, для этих бесчисленных миллионов пролетариев или даже мелких земельных собственников? Безысходная нужда, отсут-

ствие даже семейных радостей, ибо семья для бедного скоро становится бременем, невежество, дикость и, мы бы сказали даже, вынужденное звериное состояние с утешением, что они служат пьедесталом для цивилизации, свободы и испорченности меньшинства. Но зато они сохранили свежесть ума и сердца. Нравственно оздоровленные трудом, хотя бы и вынужденным, они сохранили чувство справедливости, куда выше справедливости юрисконсультов и кодексов; сами несчастные, они сочувствуют всякому несчастью, они сохранили здравый смысл, не испорченный софизмами доктринерской науки и обманами политики, – и, так как они еще не злоупотребили жизнью и даже не использовали ее, они верят в жизнь.

Но, возразят, этот контраст, эта бездна между меньшинством привилегированных и огромным количеством обездоленных всегда существовала и теперь существует: что же изменилось? Изменилось то, что прежде эта бездна была заполнена религиозным туманом, так что народные массы ее не видели, а теперь, после того как Великая Революция отчасти разогнала этот туман, они также начинают видеть бездну и спрашивать о причине ее. Значение этого безмерно.

С тех пор как Революция ниспослала в массы свое евангелие, не мистическое, а рациональное, не небесное, а земное, не божественное, а человеческое, – свое евангелие прав человека; с тех пор как она провозгласила, что все люди равны, что все одинаково призваны к свободе и человечности, – народные массы в Европе, во всем цивилизованном мире, мало-помалу просыпаясь от сна, который их сковывал с тех пор, как христианство усыпило их своими маковыми цветками, начинают спрашивать себя, не имеют ли и они также права на равенство, свободу и человечность.

Как только этот вопрос был поставлен, народ, направляемый своим удивительным здравым смыслом так же, как и своим инстинктом, всюду понял, что первым условием его действительного освобождения, или, если вы мне позволите это слово, его *очеловечения*, является коренное преобразование его экономических условий. Вопрос о хлебе является для него, по справедливости, первым вопросом, ибо еще Аристотель заметил: человек, чтобы мыслить, чтобы свободно чувствовать, чтобы сделаться человеком, должен быть свободен от забот материальной жизни. Впрочем, буржуа, кричащие против материализма народа и проповедующие ему идеалистическое воздержание, знают это очень хорошо, ибо они проповедуют словами, а не примером. Второй вопрос для народа – это досуг после работы, это необходимое условие человечности. Но хлеб и досуг не могут быть им получены иначе, как чрез коренное преобразование современного устройства общества, и этим объясняется, почему Революция, являясь логическим следствием своего собственного принципа, породила *социализм*.

II
Социализм

Французская Революция, провозгласив право и обязанность каждой человеческой личности стать *человеком*, пришла в своих последних выводах к бабувизму. Бабеф, один из последних энергичных и чистых граждан, каких Революция создавала и убивала затем в таком количестве, и имевший счастье насчитывать в числе своих друзей таких людей, как Буонаротти, соединил в своем своеобразном мировоззрении политические традиции античного мира с совершенно современными идеями социальной революции. Видя, что Революция чахнет за недостатком коренного преобразования, тогда, впрочем, по всей вероятности, и невозможного по экономической структуре общества; верный, с другой стороны, духу этой Революции, которая кончила тем, что на место всякой личной инициативы поставила всемогущее действие государства, он измыслил политическую и социальную систему, согласно которой республика, выражающая собой коллективную волю граждан, должна была конфисковать всякую личную собственность и управлять ею в интересах всех, наделяя каждого в равной мере: воспитанием, обучением, средствами к существованию, удовольствиями и принуждая всех без исключения, по мере сил и способностей каждого, к мускульному и нервному труду. Заговор Бабефа не удался, он был гильотинирован вместе с несколькими друзьями. Но его идеал социалистической республики с ним не умер. Воспринятая его другом Буонаротти, величайшим заговорщиком нашего столетия, идея была передана последним, как священный залог, новым поколениям. И благодаря тайным обществам, основанным Буонаротти в Бельгии и Франции, коммунистические идеи дали ростки в народном воображении. Они нашли с 1830 до 1848 года талантливых выразителей в Кабе и Луи Блане, которые окончательно основали *революционный социализм*.

Другое социалистическое течение, вытекшее из того же революционного источника, направляющееся к той же цели, но совершенно иным путем, течение, которое мы бы охотно назвали *доктринерским социализмом*, было основано двумя замечательными людьми: Сен-Симоном и Фурье. Сен-симонизм был комментирован, развит, переработан и основан в виде почти практической системы, в виде церкви, «отцом» Анфантеном вместе со многими друзьями, большая часть которых сделалась ныне финансистами и государственными людьми, особенным образом преданными Империи. Фурьеризм нашел своего истолкователя в *«Мирной демократии»*, издававшейся до 2 декабря 1852 г. Виктором Консидераном.

Заслуга этих двух социалистических систем, впрочем, во многих отношениях различных, заключается главным образом в глубокой, научной, строгой критике современного общественного строя, чудовищные противоречия которого они смело раскрыли; затем в том важном факте, что они с силой боролись и в значительной мере потрясли христианство, во имя восстановления и оправдания материи и человеческих страстей, оклеветанных и в то же время так хорошо практикуемых христианскими священниками. Сен-симонисты хотели поставить на место христианства новую религию, основанную на мистическом культе плоти, с новой иерархией священников, новых эксплуататоров толпы, привилегиями гения, способностей и таланта. Фурьеристы гораздо более и, можно даже сказать, искренне демократы, придумали фаланстеры, управляемые избранными всеобщим голосованием вождями; фаланстеры, где каждый, по мысли фурьеристов, должен был найти себе работу и место в соответствии с личными вкусами. Ошибки сен-симонистов слишком очевидны, чтобы стоило о них говорить. Двойная ошибка фурьеристов заключалась, во-первых, в том, что они искренно верили, что единственно силой убеждения и мирной пропагандой они сумеют до такой степени тронуть сердца богатых, что те в конце концов сами придут сложить у порога фаланстера излишек своих богатств; во-вторых, в том, что они вообразили, что можно теоретически, a priori, построить

социальный рай, в котором на веки успокоилось бы человечество. Они не поняли, что хотя для нас и возможно предвозвестить великие принципы будущего развития человечества, тем не менее практическое осуществление этих принципов должно быть предоставлено опытам будущего.

Вообще регламентация была общей страстью всех социалистов до 1848 года, за исключением одного. Кабе, Луи Блан, фурьеристы, сен-симонисты – все были одержимы страстью выдумывать и устраивать будущее, все были более или менее *государственники*.

Но вот явился Прудон, сын крестьянина, во сто раз больший революционер и в делах и по инстинкту, чем все эти доктринеры, буржуазные социалисты. Он вооружился критикой, столь же глубокой и проницательной, сколь неумолимой, чтобы уничтожить все их системы. Противопоставив свободу власти, он в противоположность этим государственным социалистам смело провозгласил себя анархистом и имел мужество бросить в лицо их деизму или пантеизму заявление, что он просто атеист, или, точнее, *позитивист*, подобно Огюсту Конту.

Социализм Прудона, основанный как на индивидуальной, так и коллективной свободе и на деятельности свободных ассоциаций, не подчиненный другим законам, кроме общих законов социальной экономики, как открытых уже наукой, так и предстоящий вне всякой правительственной регламентации и всякого покровительства со стороны государства и подчиняющий политику экономическим, интеллектуальным и моральным интересам общества, должен был с течением времени прийти в силу необходимой последовательности к федерализму.

Таково было положение социальной науки до 1848 г. Полемика газет, летучих листков и социалистических брошюр внедрила в сознание рабочих классов массу новых идей; умы были ими насыщены, и когда разразилась революция 1848 года, социализм проявился как мощная сила.

Как мы сказали, социализм был последним детищем великой революции; но до рождения этого последнего она произвела на свет своего более прямого наследника, своего старшего сына, любимца Робеспьеров и Сен-Жюстов: *чистый республиканизм*, без примеси социалистических идей, перенесенный из античного мира и вдохновляемый героическими традициями великих граждан Греции и Рима. Гораздо менее человечный, чем социализм, этот республиканизм почти не принимает в расчет человека, а признает лишь гражданина; и между тем как социализм стремится основать *республику людей*, республиканизм желает лишь *республику граждан*, если бы даже они, как это было при конституциях, явившихся естественным и необходимым следствием конституции 1793 года (так как эта последняя, после минутного колебания, сознательно умолчала о социальном вопросе), – если бы даже они, в качестве *активных граждан* (мы пользуемся выражением Учредительного Собрания), должны были основать свое благополучие на эксплуатации труда *пассивных граждан*. Впрочем, политический республиканец не является, по крайней мере в идее, эгоистом лично для себя, но он должен им быть для отечества, которое он должен ставить в своем свободном сердце выше себя самого, выше всех индивидуумов, всех наций в мире, выше самого человечества. Следовательно, он никогда не будет знать международной справедливости; во всех спорах, будет ли его отечество право или нет, он будет становиться на его сторону, он будет желать, чтобы оно всегда имело верх и давило другие народы своим могуществом и славой. Он сделается, катясь по наклонной плоскости, завоевателем – несмотря на то что опыт веков показывает ему, что военные триумфы фатально приводят к цезаризму. Республиканец-социалист ненавидит государственное величие, могущество и военную славу – он предпочитает им свободу и благоденствие. Федералист во внутренней политике, он стремится и к международной конфедерации, во-первых, ради торжества справедливости, во-вторых, потому, что экономическая и социальная революция может осуществиться, лишь переступив через искусственные и зловредные границы государств, путем солидарной деятельности всех или по крайней мере большей части наций, составляющих цивилизованный мир, и что все рано или поздно должны будут соединиться

под ее знаменем. Исключительно политический республиканец – это стоик; он не признает прав, а лишь обязанности, или подобно тому, как в республике Мадзини, он признает лишь одно право: право быть самоотверженным и жертвовать собой для отечества, жить лишь для служения ему и с радостью умирать за него, как говорится об этом в песне, которою Александр Дюма произвольно наделил жирондистов: *«Умереть за отечество – это самый прекрасный, самый завидный жребий»*. Напротив того, социалист опирается на свое положительное право на жизнь и на все, как интеллектуальные и моральные, так и физические жизненные наслаждения. Он любит жизнь, он хочет полностью ее использовать. Так как его убеждения составляют часть его самого и его обязанности по отношению к обществу неразрывно связаны с его правами, то, чтобы сохранить верность и тем и другим, он сумеет жить по справедливости, как Прудон, и в случае нужды умереть, как Бабеф; но он никогда не скажет, что жизнь человечества должна быть жертвой и что смерть является самым сладким жребием. Для политического республиканца свобода лишь пустой звук; это свобода быть добровольным рабом, преданной жертвой государства; готовый всегда пожертвовать ради последнего собственной свободой, политический республиканец легко пожертвует и свободой других. Итак, политический республиканизм необходимо приводит к деспотизму. Для республиканца же социалиста свобода, соединенная с благоденствием и создающая всеобщую человечность посредством человечности каждого, это все, между тем как государство является в его глазах лишь орудием, служителем благоденствия и свободы всех и каждого. Социалист отличается от буржуа *справедливостью*, ибо он требует для себя лишь действительный плод своей работы; а от политического республиканца он отличается своим *открытым человеческим эгоизмом:* он живет откровенно и без фраз для самого себя и знает, что, делая это *согласно со справедливостью*, он служит всему обществу, а служа всему обществу, служит самому себе. Республиканец суров и часто из-за патриотизма – как священник из-за религии – жесток. Социалист естественен, умеренно патриотичен, но зато всегда очень человечен. Одним словом, между республиканцем-социалистом и политическим республиканцем целая бездна: один, как *существо полурелигиозное*, принадлежит прошлому; другому, *позитивисту* или *атеисту*, принадлежит будущее.

Этот антагонизм проявился в полной мере в 1848 году. С самого начала революции республиканцы и социалисты не смогли прийти ни к какому соглашению: их идеалы, все их инстинкты влекли их в диаметрально противоположные стороны. Все время от февраля до июня прошло в распрях и спорах, которые, внося междуусобную фону в лагерь революционеров и парализуя их силы, естестенно, должны были склонить весы на сторону выросшей до громадных размеров коалиции реакционеров всех оттенков, сплотившихся и смешавшихся с тех пор в одну общую партию под знаменем страха. В июне республиканцы, в свою очередь, соединились с реакцией, чтобы раздавить социалистов. Они полагали, что одержали победу, а на самом деле столкнули в бездну свою любимую республику. Генерал Кавеньяк, представитель чести знамени против революции, был предшественником Наполеона III. И это все тогда поняли, если не во Франции, то по крайней мере во всем остальном мире, ибо эта злополучная победа республиканцев над парижскими рабочими была отпразднована, как великое торжество, всеми дворами Европы, и офицеры прусской службы, с генералами во главе, поспешили отправить адрес с братскими поздравлениями генералу Кавеньяку.

Напуганная красным призраком европейская буржуазия впала в полное раболепство. По природе либеральная и задорная, она не обожает военного режима, но она высказалась за него ввиду угрожающей опасности народного освобождения. Пожертвовав своим достоинством и своими славными завоеваниями XVIII и начала этого века, она полагала, что покупает мир и спокойствие, необходимые для успеха ее торговых и промышленных предприятий: «Мы вам жертвуем своей свободой, – как бы говорила она военным властям, вновь водворявшимся на развалинах третьей революции, – а взамен предоставьте нам возможность спокойно эксплуа-

тировать народные массы и защитите нас от их претензий, которые могут казаться справедливыми в теории, но которые отвратительны с точки зрения наших интересов». Буржуазии все обещали и даже сдержали слово. Почему же буржуазия, вся европейская буржуазия, в настоящее время недовольна?

Она не рассчитала, что военный режим дорого стоит, что уже в силу своего внутреннего строения он парализует, беспокоит, разоряет народ и что, более того, верный логике, свойственной ему и которой он никогда не изменял, он имеет неизбежным последствием *войну*: войны династические. Войны честолюбия, войны завоевательные или территориальные, войны равновесия – постоянное уничтожение и поглощение одних государств другими, реки человеческой крови, сожжение деревень, разорение городов, опустошение целых провинций, – и все это, чтобы удовлетворить честолюбие царствующих лиц и их фаворитов, чтобы их обогащать, чтобы занять, дисциплинировать народы и заполнить историю.

Теперь буржуазия понимает это, и вот она недовольна режимом, установлению которого она так сильно способствовала. Она устала от него, но чем она его заменит?

Конституционная монархия отжила свое время, да она никогда и не пользовалась особым успехом на континенте Европы; даже в Англии, этой исторической колыбели современного конституционализма, побежденная поднимающейся демократией, она поколеблена, качается и не будет уже скоро в состоянии противостоять натиску народных страстей и требований.

Республика? Но какая республика? Политическая ли только, или демократическая и социальная? Социалистично ли настроены народы? Да, более чем когда-либо.

В 1848 году погиб не социализм вообще, а только *государственный социализм*, тот регламентарский, деспотический социализм, который верил и надеялся, что Государство сможет удовлетворить потребности и законные стремления рабочих классов, что, вооруженное своим могуществом, оно захочет и будет в состоянии установить новый социальный строй. Итак, не социализм умер в июне; напротив того, Государство объявило себя банкротом перед социализмом и, признав себя неспособным заплатить ему долг, в уплате которого обязалось, попробовало его убить, чтобы наиболее легким образом освободиться от этого долга. Оно не могло его убить, но оно убило веру, которую социализм в него имел, и тем самым уничтожило все теории государственного или доктринерского социализма, из которых один, как «Икария» Кабе или «Организация труда» Луи Блана, советовал народу положиться во всем на государство – а другие доказали свою нелепость в ряде смехотворных опытов. Даже банк Прудона, который мог бы процветать при более счастливых условиях, погиб под давлением всеобщей враждебности буржуазии.

Социализм проиграл это первое сражение по очень простой причине: он был богат инстинктивными стремлениями к лучшему и отрицательными теоретическими идеями, он был тысячу раз прав, споря против привилегий; но ему совершенно недоставало положительных, практических идей, которые необходимы, чтобы можно было построить на развалинах буржуазной системы новую систему, систему народной справедливости. Рабочие, сражавшиеся в июне за народное освобождение, выступали, объединенные инстинктом, а не идеей – их смутные идеи составляли столпотворение вавилонское, хаос, из которого ничего не могло выйти. Такова была главная причина их поражения. Следует ли из-за этого сомневаться в будущности и во внешней мощи социализма? Христианству, поставившему своей целью основание царства справедливости на небе, нужно было несколько столетий, чтобы завоевать Европу. Нужно ли удивляться, что социализм, поставивший себе гораздо более трудную задачу – основание царства справедливости на земле, – не одержал победу в несколько лет?

Господа, нужно ли доказывать, что социализм не умер? Чтобы в этом убедиться, надо лишь бросить взгляд на то, что происходит в настоящее время во всей Европе. Позади всех дипломатических шашней и слухов о войне, наполняющих Европу с 1852 года, какой серьезный вопрос занимает все страны, если не вопрос социальный? Это великий незнакомец, чье

приближение каждый чувствует, который всех заставляет трепетать и о котором никто не смеет говорить… Но он сам за себя говорит, и чем дальше, тем громче. Не доказывают ли рабочие кооперативные ассоциации, банки взаимопомощи и кредита труда, тред-юнионы, международная лига рабочих всех стран, одним словом, все непрестанно усиливающееся рабочее движение в Англии, Франции, Бельгии, Германии, Италии и Швейцарии, не доказывает ли все это, что рабочие не отказались от своей цели, не потеряли веру в свое близкое освобождение? И что в то же время они поняли, что в деле приближения часа своего освобождения они не должны более рассчитывать ни на государства, ни на более или менее лицемерное содействие привилегированных классов, но на самих себя и на свои собственные, независимые, совершенно свободно возникающие ассоциации?

В большинстве европейских стран движение это, на вид по крайней мере, чуждо политике, сохраняет исключительно экономический и, так сказать, частный характер. Но в Англии оно отчетливо стало на жгучую почву политики и организовалось в огромную лигу: «Лигу Реформы» аристократии и высшей буржуазии. С чисто английским терпением и арктической последовательностью «Лига Реформы» (Reform League) начертала перед собой план действий; она ничего не страшится, ни перед чем не пасует и не останавливается ни перед каким препятствием. «Не далее, как через десять лет, – говорит она, беря в расчет самые большие препятствия, – мы будем иметь всеобщее избирательное право, и тогда»… тогда они сделают социальную революцию!

Как во Франции, так и в Германии социализм, молчаливо подвигаясь вперед путем частных экономических ассоциаций, уже достиг такого могущества в среде рабочих классов, что Наполеон III, с одной стороны, а с другой – граф Бисмарк начинают искать союза с ним… В скором времени в Италии и в Испании, после плачевного фиаско всех других политических партий и ввиду ужасного экономического положения обеих стран, всякий другой вопрос исчезнет перед вопросом экономическим и социальным. А в России и в Польше есть ли, в сущности, другой вопрос? Это он разрушил последние надежды старой, исторической, дворянской Польши; это он угрожает и вскоре уничтожит уже столь сильно поколебленное существование этой ужасной Всероссийской Империи. Даже в Америке – не проявился ли в полной мере социализм в предложении замечательного человека, бостонского сенатора г. Чарльса Сёмнера, наделить землей освобожденных негров Южных Штатов?

Как вы видите, господа, везде проявляется социализм, несмотря на июньское поражение. Он путем подпольной работы постепенно проник в самые недра политической жизни всех стран и везде дает о себе знать как скрытая сила века. Еще несколько лет, и он выступит как сила открытая и всемогущая.

За малым числом исключений, все народы Европы, многие даже не зная слова «социализм», проникнуты в настоящее время социализмом, не знают другого знамени, кроме того, которое им возвещает прежде всего их экономическое освобождение, и в тысячу раз охотнее отступятся от всякого другого вопроса, но не от этого. Итак, только социализмом можно увлечь их к политической деятельности, к хорошей политике.

Не достаточно ли сказанного, господа, чтобы убедиться, что нам непозволительно умолчать в своей программе о социализме и что такое умалчивание наложило бы на все наше дело печать бессилия? Провозгласив себя в своей программе республиканцами-федералистами, мы достаточно выказали себя революционерами, чтобы отстранить от себя добрую часть буржуазии: всех, кто спекулирует на нищете и несчастьях народов, кто ухитряется извлекать выгоду даже из великих катастроф, которые ныне, более чем когда-либо, обрушиваются на народы. Если мы оставим в стороне эту деятельную, подвижную, интриганскую, спекулянтскую часть буржуазии, то у нас еще останется большинство буржуа спокойных, трудолюбивых, делающих иногда зло, но скорей по необходимости, чем по доброй воле и склонности, и которые ничего бы так не желали, как быть освобожденными от этой фатальной необходимости, ставящей их в

постоянное враждебное отношение с рабочим народом и в то же время разоряющей их самих. Нельзя не отметить, что в настоящее время мелкая буржуазия, мелкая промышленность и мелкая торговля начинают бедствовать почти так же, как и рабочие массы, и если дело будет идти в том же направлении, то это почтенное буржуазное большинство, по всей вероятности, сольется в экономическом отношении с пролетариатом. Крупная торговля, крупная промышленность и в особенности крупная и бесчестная спекуляция давят его, пожирают, толкают в бездну. Итак, положение мелкой буржуазии делается все более революционным, и ее идеи, бывшие слишком долго реакционными, ныне, вследствие ужасных уроков, начинают проясняться и необходимо должны будут принять противоположное направление. Самые умные начинают понимать, что для сохранившей честность буржуазии нет более другого спасения, кроме союза с народом, – и что она заинтересована в социальном вопросе не менее и *с той же стороны*, что и народ.

Это постепенное изменение в воззрениях мелкой буржуазии Европы является фактом, столь же утешительным, как и неоспоримым. Но не надо обманываться: инициатива нового движения будет принадлежать народу, а не ей; на западе – фабричным и городским рабочим; у нас, в России, в Польше и в большинстве славянских земель – крестьянам. Мелкая буржуазия сделалась слишком трусливой, нерешительной, скептической, чтобы взять на себя инициативу чего-либо; она дает себя увлечь, но сама никого не увлечет; ибо она столь же бедна верой и страстью, как и мыслями. Та страсть, которая разбивает препятствия и творит новые миры, находится исключительно у народа. Итак, неоспоримо, народу будет принадлежать инициатива нового движения. И мы бы умолчали о народе? И мы бы ничего не сказали о социализме, являющемся новой религией народа?

Но, скажут нам, социализм выказывает склонность заключить союз с цезаризмом. Во-первых, это клевета; напротив того, именно цезаризм, видя на горизонте появление грозной силы социализма, стремится завладеть его симпатиями, чтобы эксплуатировать его в свою пользу. Но не является ли это для нас лишней причиной устремить сюда свою энергию, чтобы помешать этому чудовищному союзу, плодом которого явилось бы, конечно, самое большое несчастье, какое только может грозить свободе мира?

Мы должны высказаться в пользу социализма, даже и не принимая в расчет всех этих практических мотивов, ибо социализм – это *справедливость*. Когда мы говорим о справедливости, мы подразумеваем не ту, которая заключена в кодексах и в римском праве, основанном в громадной степени на насильственных фактах, совершенных силой, освященных временем и благословениями какой-либо, христианской или языческой, церкви и, в качестве таковых, признанных за абсолютные принципы, из которых дедуктивно выведено все право[56], – мы говорим о справедливости, которую вы найдете в сознании каждого человека и даже в сознании детей и суть которой передается одним словом: *уравнение*.

Эта всемирная справедливость, которая, однако, благодаря насильственным захватам и религиозным влияниям никогда еще не имела перевеса ни в политическом, ни в юридическом, ни в экономическом мире, должна послужить основанием нового мира. Без нее не может быть ни свободы, ни республики. Ни благоденствия, ни мира. Она должна первенствовать во всех наших решениях, дабы мы могли деятельно способствовать установлению мира.

Эта справедливость повелевает нам взять на себя защиту интересов народа, до сих пор столь жестоко попираемых, и потребовать для него не только политической свободы, но и экономического и социального освобождения.

Мы не предлагаем вам, господа, ту или иную социалистическую систему. Мы лишь просим вас снова провозгласить этот великий принцип Французской Революции: каждый чело-

[56] В этом отношении юридическая наука совершенно сходна с теологией; обе эти науки равным образом исходят: одна из реального, но несогласного со справедливостью факта – присвоения силой завоевания; другая из факта фиктивного и нелепого – божеского откровения как верховного принципа. Основываясь на этой нелепости или этой несправедливости, обе науки прибегают к самой строгой логике, чтобы построить, с одной стороны, юридическую, с другой – теологическую систему.

век должен иметь материальные и духовные средства для развития всей своей человечности. Принцип этот, по нашему мнению, порождает следующую задачу:

Организовать общество таким образом, чтобы каждый индивид, мужчина или женщина, находил, появляясь на свет, почти равные средства для развития своих различных способностей и для их использования своей работой; создать такое общество, которое бы поставило всякого индивида, кто бы он ни был, в невозможность эксплуатировать чужую работу и позволяло бы ему участвовать в пользовании социальными богатствами, являющимися, в сущности, не чем иным, как произведением человеческой работы, лишь постольку, поскольку он непосредственно способствовал их производству.

Полное осуществление этой проблемы будет, конечно, делом столетия. Но история выдвинула ее, и отныне мы не можем оставлять ее без внимания, не обрекая себя на полное бессилие.

Мы спешим прибавить, что энергично отклоняем всякую попытку организации, которая была бы чужда самой полной свободе, как индивидов, так и ассоциаций, и требовала бы установления регламентирующей власти какого бы то ни было характера. Во имя свободы, которую мы признаем за единственную основу, единственный законный творческий принцип всякой организации, как экономической, так и политической, мы всегда будем протестовать против всего, что хоть сколько-нибудь будет похоже на государственный социализм и коммунизм.

Единственная вещь, которую, по нашему мнению, может и должно сделать государство, – это видоизменить мало-помалу наследственное право, с целью как можно скорее достичь его полного уничтожения. Ввиду того, что наследственное право является всецело созданием государства, является одним из существенных условий самого существования принудительного и божественно установленного государства, оно может и должно быть уничтожено свободой в государстве; другими словами, государство должно раствориться в обществе, организованном на началах справедливости. Наследственное право, по нашему мнению, необходимо должно быть уничтожено, ибо пока наследство будет существовать, будет существовать *наследственное* экономическое неравенство, не естественное неравенство индивидов, а искусственное неравенство классов – а последнее необходимо будет всегда порождать наследственное неравенство в развитии и образовании умов и будет продолжать быть источником и освящением всех политических и социальных неравенств. Задачей справедливости является установить равенство для каждого, поскольку такое равенство будет зависеть от экономического и политического устройства общества, – равенство для каждого в исходной точке жизненного существования, так, чтобы каждый, руководимый собственной природой, был сыном своих собственных дел. По нашему мнению, единственным наследником умирающих должен быть общественный фонд для образования и обучения детей обоих полов, включая сюда и содержание их от рождения до совершеннолетия. В качестве славян и русских мы можем прибавить, что у нас основной социальной идеей, основанной на всеобщем и традиционном инстинкте населения, является идея, что земля, собственность всего народа, может быть во владении лишь тех, кто обрабатывает ее собственными руками.

Мы убеждены, господа, что этот принцип справедлив, что он является существенным и неизбежным условием всякой серьезной социальной реформы и что поэтому западная Европа непременно должна будет, в свою очередь, его признать и воспринять, несмотря на трудности его реализации в некоторых странах. Так, например, во Франции большинство крестьян уже пользуется земельной собственностью, но вскоре большая часть этих самых крестьян не будет пользоваться почти ничем, вследствие того раздробления земли, которое является неизбежным последствием преобладающей в настоящее время во Франции политико-экономической системы. Впрочем, мы воздерживаемся от всякого предложения по земельному вопросу, как и вообще мы воздерживаемся от всяких предложений, затрагивающих тот или иной научный или политико-социальный вопрос, убежденные, что все эти вопросы должны стать в нашей

газете предметом серьезного и глубокого обсуждения. Мы ограничимся сегодня тем, что предложим вам сделать следующую декларацию:

«Убежденная, что серьезное осуществление в мире свободы, справедливости и мира невозможно до тех пор, покуда огромное большинство людей остается обездоленным в отношении всех благ, лишенным образования и приговоренным к политическому и социальному ничтожеству и фактическому, если не юридическому, рабству, вследствие нищеты и необходимости работать без отдыха и передышки, производя все богатства, составляющие ныне гордость мира, и получая столь малую часть их, что ее едва достает для обеспечения хлеба на завтрашний день;

Убежденная, что для всей массы населения, столь ужасно эксплуатируемой в продолжении столетий, вопрос хлеба является вопросом умственного освобождения, свободы и человечности;

Убежденная, что свобода без социализма – это привилегия, несправедливость, и что социализм без свободы станет рабством;

Лига громко провозглашает необходимость коренного социального и экономического переустройства общества, которое бы вело к освобождению народного труда из-под ига капитала и собственников и было бы основано на самой строгой справедливости, но не юридической, теологической или метафизической, а просто человеческой, на позитивной науке и самой полной свободе.

Она объявляет в то же время, что ее газета широко откроет свои столбцы для всех серьезных статей по экономическим и социальным вопросам, если только эти статьи будут искренно воодушевлены желанием самого широкого народного освобождения, как в материальном отношении, так и с точки зрения политической и интеллектуальной».

Изложив свои взгляды на *федерализм* и *социализм*, мы считаем, господа, своей обязанностью рассмотреть вместе с вами еще третий вопрос, который мы считаем неразрывно связанным с двумя первыми вопросами, – т. е. *религиозный вопрос*, и мы просим у вас позволения резюмировать все наши взгляды по этому вопросу в одном слове, которое покажется вам, может быть, варварским: *антитеологизм*.

III
Антитеологизм

Господа, мы убеждены, что в мире не произошло ни одного крупного политического и социального изменения, которое бы не было сопровождаемо и часто предупреждаемо аналогичным движением в философских и религиозных идеях, управляющих сознанием индивидов и общества.

Все религии со своими богами были всегда не чем иным, как созданием верующей и легковерной фантазии человека, еще не достигшего уровня чистого рассуждения и свободной, опирающейся на науку мысли. Религиозное небо было лишь миражом, в котором воспламененный верой человек находил так долго свое собственное изображение, но увеличенное и отраженное, – т. е. *обожествленное.*

История религий, история величия и упадка следовавших друг за другом богов является не чем иным, как историей развития ума и коллективного сознания людей. По мере того, как люди открывали в себе ли или вне себя какую-нибудь силу, способность или качество, они приписывали их своим богам, чрезмерно увеличив их, расширив своей религиозной фантазией подобно тому, как это делают дети. Таким образом, благодаря великодушию и скромности людей небо обогатилось добычей, отнятой у земли, и как естественное следствие, чем небо становилось богаче, тем беднее становилось человечество. Как только божество было признано, оно, естественно, было провозглашено господином, источником, вершителем всего: реальный мир стал существовать как его отблеск, и человек, его бессознательный творец, пал на колени перед своим творением и объявил себя рабом, созданием божества.

Христианство является религией по преимуществу именно потому, что оно представляет природу и сущность всякой религии, каковы: систематическое, абсолютное умаление, уничтожение и порабощение человечества в пользу божества – высший принцип не только всякой религии, но и всякой метафизики, как деистической, так и пантеистической. Так как Бог – все, то реальный мир и человек – ничто. Так как Бог – истина, справедливость и бесконечная жизнь, то человек – ложь, неправедность и смерть. Так как Бог – господин, то человек – раб. Неспособный сам отыскать путь к справедливости и истине, он должен получить их как откровение свыше, посредством посланников и избранников божьей милости. Если же существует откровение, должны существовать священники, а раз эти последние признаны за представителей божества на земле, за учителей и вождей человечества на пути к вечной жизни, то они тем самым получают миссию руководить, повелевать и управлять человечеством в его земном существовании. Все люди обязаны слепо верить им и беспрекословно им повиноваться; будучи рабами Бога, люди должны быть также рабами церкви и государства, поскольку это последнее благословлено церковью. Из всех существующих или существовавших религий одно христианство в совершенстве это поняло, а из всех христианских сект только римский католицизм провозгласил и осуществил этот принцип с полной последовательностью. Вот почему христианство является религией абсолютной, последней религией; вот почему апостольская церковь является единой последовательной, законной и божественной.

Поэтому не во гнев будь сказано всем полуфилософам, всем так называемым религиозным мыслителям – *существование Бога логически связано с самоотречением человеческого разума и человеческой справедливости; оно является отрицанием человеческой свободы и необходимо приводит не только к теоретическому, но и к практическому рабству.*

И, если только мы не хотим рабства, мы не можем и не должны делать никаких уступок теологии, ибо, имея дело с этим мистическим и строго последовательным алфавитом, всякий, начав с A, фатально дойдет до Z; всякий, желающий обожать Бога, должен будет отказаться от свободы и достоинства человека.

Бог существует, значит, человек – раб.

Человек разумен, справедлив, свободен – значит Бога нет.

Мы смело утверждаем, что никто не сможет выйти из этого круга; и в таком случае пусть выбирают.

Да и история нам показывает, что священники всех религий, за исключением лишь религий преследуемых, всегда были в союзе с тиранией. И даже преследуемые священники, хотя и они боролись против притесняющих их властей, проклинали их, тем не менее подчиняли своих верующих принудительной дисциплине и тем самым готовили элементы новой тирании. Духовное рабство какого угодно характера будет всегда иметь своим естественным последствием рабство политическое и социальное. В настоящее время христианство во всех его различных видах, а также вышедшая из него доктринерская и деистическая метафизика, которая, в сущности, не что иное, как замаскированная теология, является, без всякого сомнения, самым громадным препятствием для освобождения общества. Поэтому-то все правительства, все государственные люди Европы, которые сами не являются ни теологами, ни деистами, которые в глубине души не верят ни в Бога, ни в Диавола, со страстью, с остервенением покровительствуют метафизике и религии, какой бы то ни было религии, лишь бы она, как это, впрочем, делают все религии, проповедовала смирение, подчинение и терпение.

Остервенение, с каким правительства защищают религию, показывает, насколько для нас необходимо бороться с нею и уничтожить ее.

Нужно ли вам, господа, напоминать, какое деморализующее и погубное влияние оказывает на народ религия? Она убивает в нем разум, это главное орудие человеческого освобождения, и, наполняя умы божественными нелепостями, доводит народ до отупения, главного источника всякого рабства. Она убивает в людях энергию к труду, который является для человека спасением и величайшей славой: в труде человек становится творцом, создает свой мир, создает основания и условия своего человеческого существования и завоевывает как свободу, так и человечность. Религия убивает в людях производительную мощь, внедряя в них презрение к земной жизни ввиду небесного блаженства и уча их, что труд – это последствие проклятия или заслуженное наказание, а бездействие – божественная привилегия. Религия убивает в людях справедливость, эту строгую хранительницу братства и необходимое условие мира, наклоняя всегда весы в сторону более сильных, на которых по преимуществу изливается божественная благодать, заботливость и благословение. Наконец, она убивает в них человечность, заменяя ее в их сердцах божественною жестокостью.

Все религии основаны на крови, ибо все, как известно, существенно опираются на идею жертвоприношения, т. е. постоянного заклания человечества ради ненасытной мстительности божества. В этом кровавом таинстве человек всегда является жертвой, а священник, тоже человек, но человек, возвышенный благодатью, – божественным палачом. Это объясняет нам, почему священники всех религий, и даже самые лучшие, самые человечные, самые кроткие из них, имеют почти всегда в глубине сердца, и если не в сердце, то по крайней мере в уме и в воображении – а известно, какое влияние имеют эти последние на сердце, – нечто жестокое и кровожадное; и вот, когда повсюду возбуждался вопрос об уничтожении смертной казни, то все священники, римско-католические, московско-православные и греческие, протестантские – все единогласно высказались за ее сохранение.

Христианская религия, более чем всякая другая, была основана на крови и исторически окрещена в крови. Посчитайте миллионы жертв, которых эта религия любви и прощения заклала ради удовлетворения жестокой мести своего Бога. Вспомните пытки, которые она выдумала и применяла. И разве ныне она сделалась более кроткой? Нет, поколебленная равнодушием, она лишь сделалась бессильной, или лучше сказать, гораздо менее сильной, ибо, к несчастью, она не лишена еще, даже в настоящее время, способности вредить. И посмотрите на страны, в которых, гальванизированная реакционными страстями, она с виду воскресает;

не является ли ее первым словом – мщение и кровь, ее вторым словом – отречение от человеческого разума, а заключением – рабство? Покуда христианство и христианские священники, покуда какая бы то ни было божеская религия будет продолжать иметь хотя бы малейшее влияние на народные массы, до тех пор не восторжествуют на земле разум, свобода, человечность и справедливость. Ибо, покуда народные массы останутся погруженными в религиозные суеверия, до тех пор они будут послушным орудием в руках всех земных деспотизмов, соединившихся против освобождения человечества.

Вот почему нам чрезвычайно важно освободить массы от религиозных суеверий, и не только из-за любви к ним, но также и из-за любви к самим себе, ради спасения нашей свободы и безопасности. Но эта цель может быть достигнута лишь двумя путями: *распространением рациональной науки* и *пропагандой социализма.*

Мы подразумеваем под *рациональной наукой* ту, которая освободилась от всех призраков метафизики в религии и в то же время отличается от чисто экспериментальных и критических наук. Она отличается от них, во-первых, тем, что не ограничивает свои изыскания тем или другим определенным предметом, но старается охватить весь доступный познанию мир, до того же, что лежит за границами познания, ей нет никакого дела. Во – вторых, она отличается от экспериментальных наук тем, что не пользуется, как эти последние, исключительно аналитическим методом, но позволяет себе прибегать и к синтезу, пользуясь довольно часто аналогией и дедукцией, хотя она придает своим синтетическим выводам часто гипотетическое значение, до тех пор, пока они не подтверждены самым строгим экспериментальным или критическим анализом.

Гипотезы рациональной науки отличаются от гипотез метафизики тем, что эта последняя, выводя свои гипотезы как логические следствия из абсолютной системы, претендует заставить природу им подчиняться. Напротив того, гипотезы рациональной науки вытекают не из трансцендентной системы, а из синтеза, являющегося не чем иным, как резюме или общим выводом из множества доказанных на опыте фактов. Поэтому эти гипотезы никогда не могут иметь всенепременного, обязательного характера; они предлагаются в таком виде, чтобы их можно было отбросить сейчас же, как только они будут опровергнуты новыми опытами.

Рациональная философия или всемирная наука не действует аристократически, ни авторитарно, как это делала покойница метафизика. Эта последняя, организуясь сверху вниз, путем дедукции и синтеза, на словах признавала, правда, автономию и свободу отдельных наук, но на деле страшно их стесняла, до такой степени, что заставляла их признавать законы и даже факты, которых часто нельзя было найти в природе, и препятствовала им заниматься опытными исследованиями, результаты которых могли бы свести к небытию все ее спекуляции. Как видите, метафизика действовала по методу централизованных государств.

Напротив того, рациональная философия является чисто демократической наукой. Она организуется свободно снизу вверх, и опыт признает своим единственным основанием. Ничто, не анализированное и не подтвержденное опытом или самой строгой критикой, не может быть ею воспринято: *она не может принять ничего, что не было бы действительно анализировано и подтверждено опытом или самой строгой критикой*. Поэтому Бог, Бесконечное, Абсолют – все эти столь любимые объекты метафизики совершенно устраняются из рациональной науки. Она с равнодушием отворачивается от них, она смотрит на них, как на призраки или миражи. Но так как и призраки и миражи играют существенную роль в развитии человеческого ума, ибо человек обыкновенно достигает познания простой истины лишь после того, как он создал и пересоздал всевозможные иллюзии, и так как развитие человеческого ума является реальным предметом науки – то естественная философия уделяет место и рассмотрению заблуждений. Она занимается ими лишь с точки зрения истории и старается в то же время показать нам как физиологические, так и исторические причины зарождения, развития и упадка религиозных и метафизических идей, а также их временную и относительную необходимость для развития

человеческого духа. Таким образом, она отдает им всю справедливость, на которую они имеют право, потом отворачивается от них навсегда.

Ее предмет – это реальный, доступный познанию мир. В глазах рационального философа в мире существует лишь одно существо и одна наука. Поэтому он стремится соединить и координировать все отдельные науки в единую. Эта координация всех позитивных наук в единую систему человеческого знания образует *Позитивную философию*, или всемирную науку. Наследница и в то же время полнейшее отрицание религии и метафизики, эта философия, уже издавна предчувствуемая и подготовляемая лучшими умами, была в первый раз создана в виде цельной системы великим французским мыслителем *Огюстом Контом*, который умелой и смелой рукой начертал ее первый план.

Координация наук, устанавливаемая позитивной философией, не является простым соединением их, это своего рода органическое сцепление, начинающееся с самой абстрактной науки, с той, которая занимается фактами самого простого порядка, а именно: с математики, и постепенно восходящее к наукам сравнительно более конкретным, занимающимся более сложными фактами. Таким образом, от чистой математики переходят к механике, к астрономии, потом к физике, химии, геологии и биологии, включая сюда классификацию, сравнительную анатомию и физиологию растений и затем животных, и доходят до социологии, которая обнимает собой всю человеческую историю как развитие человеческого Существа, коллектива и индивида, в политической, экономической, социальной, религиозной, артистической и научной жизни. Все эти науки, начиная с математики и кончая социологией, следуют непрерывно одна за другой. Единое Существо, единая наука и, в сущности, единый метод, который необходимо усложняется по мере того, как факты, с которыми он имеет дело, становятся более сложными. Каждая последующая наука широко и всецело опирается на предыдущую и является, насколько позволяет это усмотреть современное состояние наших реальных познаний, ее необходимым развитием. Любопытно отметить, что порядок наук, установленный Огюстом Контом, почти такой же, как в Энциклопедии Гегеля, величайшего метафизика настоящих и прошлых времен, который довел развитие спекулятивной философии до ее кульминационного пункта, так что, движимая своей собственной диалектикой, она необходимо должна была прийти к самоуничтожению. Но между Огюстом Контом и Гегелем есть громадная разница. Этот последний в качестве истинного метафизика спиритуализировал материю и природу, выводя их из логики, т. е. из духа. Напротив того, Огюст Конт материализировал дух, основывая его единственно на материи. В этом его безмерная заслуга и слава.

Так, психология, эта столь важная наука, служившая базой для метафизики и рассматриваемая спекулятивной философией как мир почти абсолютный, свободный и независимый от всякого материального влияния, в системе Огюста Конта основывается единственно на физиологии и является не чем иным, как дальнейшим развитием этой последней. Так что то, что мы называем умом, воображением, памятью, чувством, ощущением и волей, является в наших глазах лишь различными свойствами, функциями или проявлениями человеческого тела.

Рассматриваемые с этой точки зрения человечество, его развитие и история представляются нам в совершенно новом свете, более естественном, более широком, более человечном, более плодотворном в поучениях для будущего. А раньше мы рассматривали человеческий мир как проявление теологической, метафизической и юридическо-политической идеи – и в настоящее время должны возобновить его изучение, взяв за исходную точку природу, а за путеводную нить собственную физиологию человека.

На этом пути уже предчувствуется появление новой науки: *социологии* – т. е. науки о законах, управляющих развитием человеческого общества. Социология будет последней ступенью и увенчанием позитивной философии. История и статистика доказывают нам, что социальное тело, подобно всякому другому естественному телу, повинуется в своих эволюциях и видоизменениях общим законам, которые, по-видимому, столь же неизбежны, как и законы

физического мира. Выяснение этих законов из массы прошедших и настоящих исторических фактов – вот задача социологии. Помимо громадного интереса, представляемого ею для ума, она обещает в будущем большую практическую пользу; ибо подобно тому, как мы не можем властвовать над природой и видоизменять ее, согласно нашим прогрессивным нуждам, иначе как лишь благодаря приобретенному нами знанию ее законов, так же точно мы будем в состоянии осуществить в социальной среде свободу и благоденствие, лишь опираясь на постоянные законы, управляющие этой средой. Раз мы признали, что бездна, которая в воображении теологов и метафизиков разделяет дух и природу, не существует, мы должны рассматривать человеческое общество как тело, разумеется, гораздо более сложное, чем другие, но столь же естественное и повинующееся тем же законам, с прибавлением законов, исключительно ему свойственных. Раз это признано, становится ясным, что знание и строгое исследование этих законов необходимы, дабы предпринимаемые нами социальные переустройства были живучи.

Но, с другой стороны, мы знаем, что *социология* – наука, едва лишь появившаяся на свет, что принципы ее еще не установлены. Если мы будем судить об этой науке, самой трудной из всех, по примеру других, то мы должны будем признать, что потребуются века, по крайней мере одно столетие, чтобы она могла окончательно утвердиться и сделаться наукой серьезной и более или менее полной и самодовлеющей. Итак, как же поступать? Надо ли, чтобы страдающее человечество ожидало избавления от давящих его несчастий столетие и более, до тех пор, пока окончательно установившаяся позитивная социология не объявит ему, что она наконец может дать указания и инструкции для рационального переустройства социальной жизни?

Нет, тысячу раз нет! Во-первых, чтобы ждать еще несколько столетий, нужно иметь терпение… по старой привычке, мы чуть было не сказали: терпение немцев, но вспомнили, что в настоящее время другие народы превзошли немцев в этой добродетели. Во-вторых, если мы даже предположим, что у нас будет возможность и терпение ожидать, то чем бы явилось общество, представляющее собой лишь применение на практике науки, хотя бы самой полной и совершенной в мире? Ничтожеством. Представьте себе мир, не заключающий в себе ничего, кроме того, что человеческий ум до сих пор заметил, узнал и понял, – не являлся ли бы этот мир дрянным домишкой, по сравнению с тем, который существует?

Мы полны уважения к науке; мы смотрим на нее, как на одно из самых драгоценных сокровищ, как на одну из лучших слав человечества. Наукой человек отличается от животного, своего меньшего брата в настоящем, своего предка в прошедшем, и становится способным быть свободным. Тем не менее необходимо также признать, что у науки есть границы, и напомнить ей, что она не все, что она только часть всего и что все – это жизнь, бесконечная жизнь миров или, чтобы не потеряться в бесконечном и неведомом, жизнь нашей Солнечной системы, или хотя бы нашего земного шара; наконец, еще более ограничивая себя: человеческий мир – движение, развитие, жизнь человеческого общества на земле. Все это несравненно шире, глубже и богаче науки и никогда не будет ею исчерпано.

Жизнь, взятая в этом всеобъемлющем смысле, не является применением той или другой человеческой или божеской теории; жизнь – это творение, сказали бы мы охотно, если бы не боялись быть неправильно понятыми. Сравнивая народы, творящие свою собственную историю, с художниками, мы спросили бы: разве ждали великие поэты для создания своих великих произведений, чтобы наука раскрыла законы поэтического творчества? Не создали ли Эсхил и Софокл свои великолепные трагедии много раньше, чем Аристотель построил на основании их творений свою первую эстетику? Теориями ли вдохновлялся Шекспир? А Бетховен? Не расширил ли он созданием своих симфоний самые основания контрапункта? И чем бы было произведение искусства, созданное по правилам самой лучшей эстетики в мире? Повторяем еще раз – ничтожеством. Но народы, творящие свою историю, по всей вероятности, не беднее инстинктом, не слабее творческой мощью, не зависимее от гг. ученых, чем художники!

Если мы колеблемся употребить слово «творение», то только потому, что ему припишут смысл, который мы никак не можем допустить. Кто говорит о творении, говорит как будто и о творце, а мы отвергаем существование единого творца по отношению к человеческому миру так же точно, как и по отношению к физическому, которые оба составляют, на наш взгляд, один нераздельный мир. Даже говоря о народах, творящих свою собственную историю, мы сознаем, что употребляем метафорическое выражение, неподходящее сравнение. Каждый народ является коллективным существом, обладающим как психо-физиологическими, так и политико-социальными особенностями, которые индивидуализируют его в некотором роде, отличая от всех других народов. Но это не индивид, не единое и нераздельное существо, в реальном смысле слова. Как ни развито его коллективное сознание. Как ни концентрирована бывает в минуту великого национального кризиса народная страсть или воля, как говорят, направленная к одной цели, никогда эта концентрация не сравняется с концентрацией сил реального индивида. Одним словом, ни один народ, как бы он ни чувствовал себя единым, не может сказать: я хочу! – но должен сказать: мы хотим! Только индивид имеет обыкновение говорить: я хочу! И если вы услышите, что говорят от имени всего народа: он хочет! – будьте уверены, что за этим словом скрывается какой-нибудь узурпатор: человек или партия.

Итак, мы не подразумеваем здесь под словом «творение» ни теологическое или метафизическое творение, ни художественное, научное, промышленное или какое-либо другое творение, за которым скрывается творящий индивид. Мы подразумеваем под этим словом просто продукт бесконечно сложного комплекса бесчисленного множества очень различных причин, больших или малых, из которых часть известна, но громадное большинство остается еще неизвестным и которые, в определенный момент, комбинировавшись между собой, понятно, не без причины, но без преднамерения, без предначертанного плана, создали данный факт.

Но, скажут, в таком случае история и судьбы человеческого общества должны представлять хаос и быть игрушкой случая? Напротив, лишь когда история свободна от всякого божеского и человеческого произвола, она являет нашим глазам все подавляющее и в то же время рациональное величие своего необходимого развития, подобно органической и физической природе, чьим непосредственным продолжением она является. Природа, несмотря на неисчерпаемое богатство и разнообразие составляющих ее существ, нисколько не представляет собой хаоса, а напротив, великолепно организованный мир, где каждая часть сохраняет, так сказать, необходимое логическое соотношение со всеми остальными. Но, скажут, значит, был устроитель? Нисколько: устроитель, хотя бы и Бог, мог бы лишь испортить своим личным произволом естественное устройство и логическое развитие вещей. И мы видим, что во всех религиях главное свойство божества – это быть превыше, то есть против всякой логики, и всегда иметь свою собственную, особенную логику, а именно: логику естественной невозможности или нелепости[57]. Ибо, что такое логика, если не естественный ход и развитие вещей, или естественный путь, посредством которого множество определяющих причин производят факт? Итак, мы можем высказать следующую простую и в то же время решительную аксиому: *Все, что естественно, – логично, и все, что логично, – существует и должно осуществиться в реальном мире: в природе, в собственном смысле слова и в ее дальнейшем развитии – в естественной истории человеческого общества.*

Итак, вопрос в том, что логично в природе и в истории? Это не так легко определить, как можно думать при первом взгляде. Ибо, чтобы знать это в совершенстве так, чтобы никогда не ошибаться, надо обладать познанием всех причин, влияний, действий и противодействий,

[57] Сказать, что Бог не противоречит логике, это значит утверждать, что он совершенно тождествен с логикой, что он сам не что иное, как логика, т. е. естественный ход, развитие реальных вещей. Другими словами, это значит сказать, что Бога нет. Существование Бога может иметь значение лишь как отрицание естественных законов. Отсюда вытекает следующая неоспоримая дилемма: Бог существует, значит, нет естественных законов и мир представляет собой хаос; мир не есть хаос, он обладает внутренним устройством – значит, Бога нет.

определяющих природу какой-либо вещи или факта, не исключая ни одной причины, хотя бы самой отдаленной или слабой. А какая философия или наука может похвалиться, что она в состоянии обнять и исчерпать все это своим анализом? Чтобы претендовать на это, надо быть очень бедным умом или очень мало сознавать бесконечное богатство действительного мира.

Надо ли из-за этого сомневаться в науке? Надо ли отбрасывать ее потому, что она дает нам лишь то, что может дать? Это было бы новым безумием, и много более зловредным, чем первое. Если вы потеряете науку, то, за отсутствием света, вы возвратитесь к состоянию наших предков, горилл, и вам придется положить несколько тысяч лет на повторение всего пути, которым должно было пройти человечество, при фантасмагорическом блеске религии и метафизики, чтобы снова добраться, правда, до не совершенного, но по крайней мере реального света, которым мы в настоящее время обладаем.

Самым большим и решительным триумфом, достигнутым наукой в наши дни, является, как мы уже сказали, подведение психологии под биологию. Наука установила, что все интеллектуальные и моральные акты, отличающие человека от всех других пород животных, каковыми являются мысль, проявление человеческого понимания и сознательной воли, имеют своим единственным источником чисто материальную, хотя, конечно, более совершенную организацию человека, без всякого спиритуального или внематериального воздействия. Одним словом, они являются не чем иным, как продуктами различных комбинаций чисто физиологических функций мозга.

Значение этого открытия безмерно как для науки, так и для жизни. Благодаря ему становится наконец возможной вся наука о человеческом мире, включая сюда антропологию, психологию, логику, мораль, социальную экономию, политику, эстетику теологию с метафизикой. Становится возможной история, одним словом, социология. Между человеческим и естественным миром нет больше разрыва непрерывности. Но подобно тому, как мир органический, являющийся непрерывным и прямым развитием неорганического мира, однако, существенно отличается от него введением нового активного элемента: *органической материи*, происшедшей не благодаря вмешательству какой-нибудь внематериальной причины, а от неизвестных нам доныне комбинаций той же самой неорганической материи и производящей, в свою очередь, на основе и в условиях этого неорганического мира, высшим результатом которого она сама является, все богатство растительной и животной жизни; так же точно человеческий мир, являясь не чем иным, как непосредственным продолжением органического мира, существенно отличается от него новым элементом: *мыслью*, рожденной чисто физиологической деятельностью мозга и производящей в то же время среди этого материального мира и в органических и неорганических условиях, последним резюме которых, так сказать, она является, все то, что мы называем интеллектуальным и моральным, политическим и социальным развитием человека, – историю человечества.

Для людей, мыслящих действительно логично и чей ум достиг уровня современной науки, это единство Мира, или Сущего, является отныне установленным фактом. Но нельзя не признать, что этот простой и до такой степени очевидный факт, что все противоречащее ему представляется нам теперь уже нелепым, что этот факт находится в самом кричащем противоречии с мировым сознанием человечества. Последнее, появляясь в истории в самых различных формах, всегда, однако, единогласно высказывалось за существование двух различных миров: мира божеского и мира реального. Начиная с грубых фетишистов, обожавших в окружавшем их мире проявление сверхъестественной силы, воплощенной в каком-нибудь материальном объекте, все народы верили, все народы верят до сего дня в существование какого-то божества.

Это подавляющее единодушие имеет, по мнению многих людей, более веса, чем какие бы то ни было научные доказательства. И если логика небольшого числа последовательных, но одиноких мыслителей противоречит всеобщему мнению – тем хуже, говорят они, для этой логики. Ибо единодушное всемирное приятие какой-нибудь идеи всегда считалось самым

победоносным доказательством ее истинности, и это на том основании, что чувство, общее всем людям и всем временам, не может быть ошибочным. Оно должно иметь корень в потребности, существенно присущей природе человечества. А если правда, что, повинуясь этой потребности, человек необходимо должен верить в существование Бога, то в таком случае тот, кто не верит в Бога, является ненормальным исключением, чудовищем, хотя бы его неверие основывалось на логике.

Вот излюбленная аргументация теологов и метафизиков наших дней, и даже знаменитого Мадзини, который не может обойтись без Бога. Он нуждается в Боге, чтобы основать свою аскетическую республику и убедить народные массы согласиться на нее, народные массы, чьей свободой и благоденствием он систематически жертвует ради величия идеального Государства.

Таким образом, древность и общераспространенность верования в Бога являются, в противность всякой науке и всякой логике, неоспоримыми доказательствами существования Бога. Но почему же? До появления Коперника и Галилея весь мир, за исключением, может быть, Пиоагорийцев, верил, что солнце обращается вокруг земли. Разве всеобщее верование доказывало истинность этого предположения? С начала появления общества в истории до наших дней, всегда и везде незначительное господствующее меньшинство эксплуатировало вынужденный труд рабочих масс, рабов или наемников. Следует ли из этого, что эксплуатация паразитами чужого труда не есть несправедливость, грабеж, воровство? Вот два примера, доказывающие, что аргументация наших современных деистов ничего не стоит.

И в самом деле, нет ничего более универсального, более древнего, как нелепости; напротив того, истина относительно гораздо моложе, являясь всегда результатом, продуктом исторического развития, а не его исходной точкой. Ибо человек, по своему происхождению если не прямой потомок гориллы, то двоюродный брат его, начал с глубокой ночи животного инстинкта, чтобы постепенно достичь света разума. Это нам вполне объясняет все его прошедшие нелепости и утешает нас отчасти в его настоящих заблуждениях. Все историческое развитие человека не что иное, как прогрессивное удаление от чистой животности посредством создания своей человечности. Отсюда следует, что древность какой-нибудь идеи не только не может говорить в пользу этой идеи, но, напротив, должна нам сделать ее подозрительной. Что касается общераспространенности заблуждения, то она доказывает лишь одно: тождественность человеческой природы во все времена и во всех климатах. И так как все народы во все эпохи верили и верят в Бога, не поддаваясь этому факту, конечно, бесспорному, но который не может перевесить в наших глазах ни логику, ни науку, мы должны просто отсюда заключить, что идея божества, порожденная, без сомнения, нами самими, является необходимым заблуждением в развитии человечества. Мы должны спросить себя, каким образом, почему она родилась и почему она остается необходимой для громадного большинства человеческого рода и до сих пор?

Покуда мы не будем в состоянии дать себе отчет, каким образом родилась идея сверхъестественного или божественного мира и должна была необходимо родиться в естественном развитии человеческого ума и человеческого общества, до тех пор, как бы мы ни были научно убеждены в нелепости этой идеи, мы никогда не сможем уничтожить ее в мнении толпы, так как, не зная источника ее происхождения, мы никогда не будем в состоянии атаковать ее в самых глубинах человеческого существа. Приговоренные к бесплодной, бесконечной борьбе, мы должны будем довольствоваться тем, что будем сражаться с ней на поверхности, в ее тысячных проявлениях, нелепость которых, едва пораженная ударами здравого смысла, будет сейчас же возрождаться в новой и не менее бессмысленной форме, ибо, покуда корень верования в Бога остается невредимым, до тех пор он всегда будет давать новые отпрыски. Так, например, в некоторых кругах современного цивилизованного общества спиритизм стремится в настоящее время занять место развалившегося христианства.

Более того, ради нас самих нам необходимо отдать себе отчет в происхождении веры в Бога. Ибо покуда мы не узнали причины исторического, естественного зарождения этой идеи в человеческом обществе, то, сколь бы мы ни называли себя атеистами, мы всегда можем подпасть влиянию голоса этого всеобщего сознания. Секрет, т. е. естественная причина которого нам неизвестна. И ввиду естественной слабости индивида против окружающей его социальной среды, мы рискуем рано или поздно сделаться рабом религиозной нелепости. Примеры этих плачевных обращений не редки и в современном обществе.

Господа, мы более чем когда-либо убеждены в не терпящей отлагательства необходимости вполне разрешить следующий вопрос:

Так как человек составляет одно целое со всей природой и является лишь продуктом бесконечного множества исключительно материальных причин, то каким образом могла родиться, установиться и глубоко укорениться в человеческом сознании идея дуализма: предположение существования двух противоположных миров, одного духовного, другого материального, одного божественного, другого естественного?

Мы настолько убеждены, что от разрешения этого важного вопроса зависит наше окончательное и полное освобождение от цепей всякой религии, что просим у вас позволения изложить свои мысли по этому вопросу.

Многим покажется, пожалуй, странным, что в политическом сочинении обсуждаются вопросы метафизики и теологии. Но по нашему глубочайшему убеждению эти вопросы не могут быть отделены от вопросов социальных и политических. Реакционный мир, толкаемый непобедимой логикой, становится все более религиозным. Он поддерживает в Риме папу, он преследует в России естественные науки, он ставит во всех странах свои военные, гражданские, политические и социальные несправедливости под защиту Бога, которого он защищает, в свою очередь, в церквах и в школах с помощью лицемерно религиозной, раболепной, низкопоклонной, тяжеловесно-педантичной науки и всеми другими средствами, находящимися в распоряжении Государства. Царство Бога на небе, выражающееся в явном или тайном царстве кнута и узаконенной эксплуатации рабочих масс на земле, – таков религиозный, социальный, политический и совершенно логичный идеал реакционных партий в Европе. В противность этому революция должна быть атеистична. Ибо исторический опыт и логика доказали, что достаточно одного господина на небе, чтобы тысячи господ расплодились на земле.

Наконец, не является ли социализм по самой цели своей, которая заключается в осуществлении на земле, а не на небе человеческого благоденствия и всех человеческих стремлений, завершением и, следовательно, отрицанием всякой религии, которая не будет более иметь никакого основания к существованию, раз ее стремления будут осуществлены?

Излагая свои мысли насчет происхождения религии, мы постараемся быть как можно более краткими и умеренно-отвлеченными.

Не углубляясь в философские размышления о природе сущего, мы считаем возможным признать за аксиому следующее положение: *Все, что существует, все Существа, составляющие бесконечный мир Вселенной, все существовавшие в мире предметы, какова бы ни была их природа в отношении качества или количества, большие, средние или бесконечно малые, близкие или бесконечно далекие, – взаимно оказывают друг на друга помимо желания и даже сознания, непосредственным или косвенным путем действие и противодействие. Эти-то непрестанные действия и противодействия, комбинируясь в единое движение, составляют то, что мы называем всеобщей солидарностью, жизнью и причинностью.* Называйте, если это вам нравится, эту солидарность Богом или Абсолютом; нам все равно, лишь бы вы не придавали этому Богу другого значения, кроме того, которое мы только что установили: значение всемирной, естественной, необходимой, но отнюдь не предопределенной, не предвиденной комбинации бесконечного множества частных действий и противодействий. Эту всегда движущуюся и действенную солидарность, эту всемирную жизнь мы можем разумно – предполагать, но никогда

не можем охватить даже нашим воображением и еще менее – познать. Ибо мы можем познавать лишь то, что доступно нашим чувствам, а эти последние охватывают лишь бесконечно малую часть Вселенной. Само собой разумеется, мы понимаем эту солидарность не как нечто абсолютное, как первопричину, но, наоборот, как *производное*[58], вытекающее из одновременного действия всех частных причин, которое и составляет именно всемирную причинность. Определив ее таким образом, мы можем теперь сказать, не боясь какой бы то ни было двусмысленности, что всемирная жизнь творит миры. Это она определила геологическое, климатологическое и географическое строение нашей земли и, покрыв ее поверхность всеми великолепиями органической жизни, продолжает *творить* еще человеческий мир: общество со всеми формами его прошедшего, настоящего и будущего развития.

Теперь ясно, что в творении, понятном в этом смысле, нет места ни предвзятым планам, ни предустановленным, предусмотренным законам. В действительном мире все факты, произведенные стечением бесчисленных влияний и условий, появляются прежде – потом уже является вместе с мыслящим человеком сознание этих фактов и более или менее подробное и совершенное знание, *каким образом* они произошли. Когда мы замечаем, что в каком-нибудь ряде фактов часто или почти всегда повторяется один и тот же ход процесса, то мы называем это *законом* природы.

Под словом *природа* мы подразумеваем не какую-либо мистическую и пантеистическую идею, а просто сумму всего существующего, всех явлений жизни и процессов, их вторящих. Очевидно, что в природе, определенной таким образом, одни и те же законы всегда воспроизводятся в известных родах фактов. Это происходит, без сомнения, благодаря стечению тех же условий и влияний и, может быть, также благодаря раз и навсегда установившимся тенденциям непрестанно текучего творения – тенденциям, которые в силу частого повторения сделались постоянными. Только благодаря этому постоянству в ходе естественных процессов человеческий ум мог констатировать и познать то, что мы называем механическими, физическими, химическими и физиологическими законами; только благодаря ему объяснимо почти постоянное повторение животных и растительных родов, пород и разновидностей, производимых до сих пор органической жизнью на земле. Это постоянство и эта повторяемость выдерживаются, однако, не вполне. Они всегда оставляют широкое место для так называемых – и не вполне точно называемых – аномалий и исключений. Название это очень неправильно, ибо факты, к которым оно относится, показывают лишь, что эти общие правила, принятые нами за естественные законы, являются не более как абстракциями, извлеченными нашим умом из действительного развития вещей, и не в состоянии охватить, исчерпать, объяснить все беспредельное богатство этого развития. Кроме того, как это превосходно доказал Дарвин, эти так называемые аномалии, посредством частого сочетания между собой и тем самым дальнейшего укрепления своего типа, создают, так сказать, новые пути творения, новые образы воспроизведения и существования и являются именно путем, посредством которого органическая жизнь рождает новые разновидности и породы. Таким образом, органическая жизнь, начав с едва организованной клеточки и проведя ее через все видоизменения, вначале растительной, а потом животной организации, сделала из нее человека.

Остается ли человек последним и самым совершенным органическим созданием на земле? Кто может поклясться, что через несколько десятков или сотен веков от самой высшей разновидности человеческой породы не произойдет порода существ, высших, чем человек, которые будут относиться к человеку, как он относится к горилле? Во всяком случае, пусть наше тщеславие успокоится. Природа действует очень медленно, а в настоящем состоянии человечества ничто не указывает, чтобы оно могло породить из себя высшую породу

[58] Как и всякий человеческий индивид есть не что иное, как производное, результат всех причин, вызвавших его появление на свет, комбинированных со всеми условиями его дальнейшего развития.

существ. Впрочем, разве природа не продолжает свой непрерывный труд непрестанного творения в историческом развитии человеческого рода? Не ее вина, если мы в нашем уме отделили мир человеческого общества от того, что мы исключительно называем естественным миром.

Причина этого разделения лежит в самой природе нашего разума, который существенным образом отличает человека от животных всех других пород. Мы должны, однако, признать, что человек не единственное земное животное, одаренное умом. Напротив того, сравнительная психология доказывает, что не существует животного, которое было бы совершенно лишено ума, и что чем ближе какая-либо порода по своей организации и в особенности по строению своего мозга к человеку, тем более развит и значителен ее ум. Но только в человеке ум достигает такой степени развития, при которой его можно назвать мыслительной способностью, при которой он может комбинировать представления как внешних, так и внутренних объектов, данных нам чувствами, создавать из них группы, затем сравнивать и заново комбинировать эти различные группы, которые уже не являются реальными существами, объектами наших чувств, но лишь понятиями, созданными первым действием способности, называемой рассудком, сохраненными нашей памятью, и последующее комбинирование при помощи этой самой способности образует то, что мы называем идеями. Затем из всего этого человеческий ум выводит следствия или логически необходимые применения. Увы, мы часто встречаем людей, не достигших еще всецелого обладания этой способностью, но мы никогда не видели и даже не слышали, чтобы какое-нибудь животное низшей породы обладало этой способностью, разве что нам приведут в пример валаамову ослицу или некоторых других животных, в которые верить и уважать которых убеждает нас религия. Итак, мы можем сказать, не боясь быть опровергнутыми, что из всех животных, существующих на земле, один человек мыслит.

Он один одарен способностью абстракции, укрепленной и развитой в человеческой породе вековым упражнением. Способность эта, постепенно внутренно возвышая человека над всеми окружающими предметами, над всем так называемым внешним миром и даже над ним самим как индивидом, позволяет ему понять, создать идею всеобщности Существ, идею Вселенной, бесконечного, или Абсолюта, – идею вполне абстрактную и, если хотите, лишенную всякого содержания и тем не менее являющуюся всесильной и служащей причиной всех дальнейших завоеваний человека, ибо она одна отрывает человека от пресловутого блаженства и тупоумной невинности животного рая и ведет его к триумфам и бесконечным волнениям беспредельного развития.

Благодаря этой способности абстракции человек возвышается над непосредственным давлением, производимым всеми внешними предметами на каждого индивида, и, таким образом, может сравнивать одни предметы с другими и исследовать их взаимоотношения. Вот начала *анализа* и *экспериментальной науки*. Благодаря этой способности человек раздвояется в самом себе, возвышается над своими собственными побуждениями, инстинктами и различными аппетитами, поскольку они преходящи и частны, и это дает ему возможность сравнивать их между собою, подобно тому, как он сравнивает внешние предметы и движения и становится на сторону одних против других, сообразуясь с создававшимся в нем (социальным) идеалом. Вот уже пробуждение *сознания* и того, что мы называем *волей.*

Обладает ли человек в самом деле свободной волей? Да и нет, в зависимости от того, как понимать это выражение. Если под свободной волей подразумевается liberum arbitrium, т. е. предполагаемая способность человеческого индивида свободно самоопределяться, независимо от всякого внешнего влияния; если, подобно тому, как это делали все религии и все метафизики, претендуют через эту свободу воли поставить человека вне всемирной причинности, определяющей существование всех вещей и делающей их зависимыми друг от друга, то мы отбрасываем эту свободу как нелепость, ибо ничто не может существовать вне всемирной причинности.

Непрестанное действие и противодействие всего на всякую отдельную точку и всякой отдельной точки на все составляют, как мы сказали, жизнь, высший, творческий закон и всеединство миров, которое всегда в одно и то же время и производит и само является продуктом. Вечно деятельная, вечно всемогущая, эта всемирная солидарность, эта взаимная причинность, которую мы будем называть с этих пор просто *природой,* создала, как мы сказали, среди бесчисленного множества других миров нашу землю, со всей лестницей существ от минерала до человека. Она постоянно воспроизводит их, развивает, кормит, сохраняет; потом, когда наступает их срок, и часто даже раньше, чем он наступил, она их уничтожает, или, лучше сказать, преобразует в новые существа. Итак, она – это всемогущество, по отношению к которому не может быть никакой независимости или автономии. Она – это высшее существо, обнимающее и проникающее своим непреоборимым действием все бытие существ, и между живыми существами нет ни одного, который бы не носил в себе, понятно, в более или менее развитом состоянии, чувство или ощущение этого всевышнего влияния в абсолютной зависимости. Вот это ощущение, это чувство и составляют основания всякой религии.

Религия, как видите, подобно всему человеческому, имеет свой первый источник в животной жизни. Невозможно сказать про какое бы то ни было животное, кроме человека, что оно имеет религию; ибо самая грубая религия предполагает все-таки известную степень мыслительной способности, до какой не возвышается ни одно животное, кроме человека. Но невозможно также отрицать, что в существовании всех без исключения животных заключаются все, так сказать, материальные, составные элементы религии, за исключением, конечно, ее идеальной стороны, той именно, которая рано или поздно ее уничтожит, – мысли. В самом деле, какова действительная сущность всякой религии? Это именно чувство абсолютной зависимости преходящего индивида от вечной и всемогущей природы.

Нам трудно наблюсти это чувство и анализировать все его проявления в животных низших пород. Однако мы можем сказать, что инстинкт самосохранения, наблюдаемый в сравнительно самых простых организмах, конечно, в меньшей степени, чем в высших организмах, является не чем иным, как своего рода обычной мудростью, образующейся в каждом индивиде под влиянием того чувства, которое, как мы сказали, является не чем иным, как религиозным чувством. В животных, одаренных более полной организацией и более близких к человеку, это чувство проявляется более чувствительным образом, например, в инстинктивном и паническом страхе, охватывающем их иногда при приближении какой-нибудь великой, естественной катастрофы, каковы землетрясение, лесной пожар, сильная буря. Вообще можно сказать, что страх является одним из преобладающих чувств в животной жизни. Все животные, живущие на свободе, дики, и это доказывает, что они живут в непрестанном, инстинктивном страхе, что они всегда чувствуют опасность, т. е. всемогущее влияние, которое их преследует, проникает и охватывает всегда и всюду. Этот страх, страх Бога, как сказали бы теологи, есть начало мудрости, т. е. религии. Но у животных он не становится религией, ибо им недостает той мощи мышления, которая удерживает чувство, определяет его объект и перерабатывает его в сознание, в мысль. Итак, совершенно справедливо утверждают, что человек по природе религиозен; он религиозен подобно всем другим животным – но он один на этой земле имеет сознание своей религиозности.

Говорят, что религия – это первое пробуждение разума; справедливо, но в форме неразумия. Религия, как мы только что видели, начинается со внутреннего солнца, которое мы называем самосознанием, и медленно, шаг за шагом, выходя из магнетического полусна, в котором находился в состоянии полнейшей невинности, т. е. в животном состоянии, – будучи к тому же рожденным, подобно всякому животному, в страхе перед внешним миром, который, правда, его производит и кормит, но который в то же время его утесняет, давит и грозит каждую минуту поглотить, – человек необходимо должен был иметь первым объектом своего зарождающегося мышления именно этот страх.

Можно предполагать, что у первобытного человека, при первом пробуждении его разума этот инстинктивный страх должен был быть сильнее, чем у животных других пород. Во-первых, потому, что он рождается гораздо менее вооруженным, чем другие животные, и что его детство продолжается гораздо дольше. И затем потому, что эта самая мыслительная способность, едва расцветшая и еще не достигшая достаточной степени зрелости и силы, чтобы познавать и утилизировать внешние предметы, должна была тем не менее нарушить полное единение человека с природой, инстинктивную гармонию, в какой он находился с ней, как двоюродный брат гориллы, покуда не проснулась в нем мысль.

Итак, способность мыслить изолировала его от остальной природы, которая, становясь для него, таким образом, чуждой, должна была ему казаться сквозь призму его воображения, ставшего менее узким и более живым, благодаря этой самой начинающейся мысли, в виде темной, таинственной силы бесконечно более враждебной и угрожающей, чем она есть в действительности.

Для нас чрезвычайно трудно, если не невозможно, отдать себе точный отчет в первых религиозных чувствах и воображениях дикого человека. Они, без сомнения, должны были быть столь же разнообразны, сколь разнообразны были характеры первобытных народностей, а также сколь разнообразны были климаты, природа местностей и все другие внешние обстоятельства, в среде которых эти чувства развивались. Но так как при всем этом это все же были человеческие чувства и воображения, то они, несмотря на это великое разнообразие в подробностях, должны были обладать известным числом тождественных, общих для всех их черт, которые мы и постараемся определить. Каково бы ни было происхождение различных человеческих групп и их деление на расы на земном шаре, имели ли все люди родоначальником одного Адама – гориллу, или двоюродного брата гориллы, или же они произошли от нескольких, созданных природой в различных местах и в различные времена, независимо друг от друга, – то не меняет дела. Свойства, которые, собственно, создают и составляют человечность в людях, а именно: мышление, способность к абстракции, разум, мысль, одним словом, способность создавать идеи, остаются, так же точно, как и законы, определяющие проявление этих свойств, во все времена и во всех тождественных местностях, всегда и везде те же самые, – так что никакое человеческое развитие не может противоречить этим законам. Это дает нам право предположить, что важнейшие фазисы, наблюдаемые в первобытном развитии религиозного чувства одного какого-нибудь народа, должны были повториться в развитии этого чувства у всех других народов земли.

Судя по единогласным отзывам путешественников, как тех, которые начиная с прошлого столетия посетили острова Океании, так и тех, которые в наши дни проникли вовнутрь Африки, – *Фетишизм* должен быть самой первой религией, религией всех диких племен, которые всего менее удалились от естественной зависимости, смешанной с инстинктивным ужасом, который мы находим в всяком животном и который, как мы уже сказали, заключается в религиозном отношении индивидов даже самых низших пород к всемогуществу природы. Кто не знает, какое влияние и впечатление производят на всех живых существ, не исключая даже растений, великие регулярные явления природы, каковы восход и заход солнца, лунный свет, повторение времен года, чередование холода и тепла, особенные проявления жизни океана, гор, пустыни, или же естественные катастрофы, каковы бури, затмения, землетрясения, а также столь разнообразные отношения различных животных пород между собой и к растениям и их взаимное истребление. Все это составляет для каждого животного совокупность условий существования, характер, природу и, у нас почти является желание сказать, особенный культ, ибо у всех животных, у всех живых существ, вы найдете своего рода обожание природы, смешанное со страхом и радостью, надеждами и беспокойством и которое как чувство очень похоже на человеческую религию. Здесь нет недостатка даже в молитвах. Посмотрите на приручeнную собаку, умоляющую своего господина о ласке или взгляде; разве это не образ

человека, стоящего на коленях перед своим Богом? Не переносит ли эта собака при помощи своего воображения и даже начатков мыслительной способности, которую опыт развил в ней, не переносит ли она давящее ее всемогущество природы на своего хозяина подобно тому, как верующий человек переносит его на Бога? В чем же различия между религиозным чувством человека и собаки? Даже не в размышлении, а лишь в степени размышления или даже в способности фиксировать то размышление, понять его как абстрактную мысль и обобщить, назвав ее, – ибо человеческая речь имеет тут особенность, что она не способна обозначить действительные предметы, непосредственно действующие на наши чувства, а может лишь выражать понятия абстрактные или обобщения. А так как речь и мысль являются двумя различными, но нераздельными формами одного и того же акта человеческого мышления, то это последнее, фиксируя предмет животного страха и обожания или первого естественного человеческого культа, его обобщает, перерабатывает его в нечто абстрактное и стремится обозначить каким-нибудь именем. Предметом действительного обожания того или другого индивида всегда остается *этот* камень, *этот*, а не другой кусок дерева; но с мгновения, как он был назван словом, он становится предметом абстрактным или понятием: *камнем* вообще, *куском дерева.* Таким образом, с первым пробуждением мысли, проявляемой в речи, начинается собственно человеческий мир, мир отвлечений.

Благодаря этой способности к отвлечению, сказали мы, человек, рожденный, созданный природой, творит для себя среди этой самой природы и даже в ее условиях второе существование, согласное с его идеалом и совершенствующееся вместе с ним.

Все живущее, прибавим мы для лучшего пояснения нашей мысли, стремится к самому полному развитию. Человек, существо живое и вместе мыслящее, должен для своего полного осуществления вначале познать самого себя. Вот причина громадного опоздания, наблюдаемого нами в его развитии и благодаря которому, чтобы достигнуть современного состояния общества в самых цивилизованных странах – состояния, столь мало еще приближающегося к идеалу, к которому мы ныне стремимся, – человеку потребовалось употребить несколько сотен веков… Хочется сказать, что человек в поисках самого себя, во всех своих физиологических и исторических блужданиях должен был исчерпать всевозможные глупости, всевозможные несчастья, прежде чем он был в состоянии осуществить то малое количество разума и справедливости, что царят ныне в мире.

Последним пределом, высшей целью всего человеческого развития, является *свобода.* Ж. – Ж.Руссо и его ученики ошибались, ища ее в начале истории, когда человек, еще совершенно лишенный самосознания и, следовательно, неспособный заключить какой бы то ни было договор, подчинялся той фатальности естественной жизни, которой подчиняются все животные и от которой человек мог в известном смысле освободиться лишь благодаря последовательному пользованию разумом. Человеческий разум, развиваясь, правда, с большой медлительностью, в продолжении истории, мало-помалу познавал законы, управляющие внешним миром, а также законы, присущие нашей собственной природе, так сказать, присваивал их себе, перерабатывая их в идеи – почти произвольное создание нашего собственного мозга, – и делал то, что, *не переставая подчиняться этим законам, человек подчинялся теперь лишь собственным мыслям.* По отношению природы, это является для человека единственным достоинством и единственно возможной свободой. Никогда не будет другой свободы, ибо естественные законы неизменны, фатальны; они составляют саму основу всякого существования и нашего собственного бытия, так что никто не может возмутиться против них, не впадая в нелепость, не убивая наверняка самого себя. Но познавая их и присвояя их умом, человек возвышается над непосредственным давлением внешнего мира, и, становясь в свою очередь творцом, повинуясь с этих пор лишь собственным идеям, он более или менее перерабатывает этот мир сообразно своим возрастающим потребностям и налагает на него как бы отражение своей человечности.

Таким образом, то, что мы называем *человеческим* миром, не имеет другого непосредственного творца, кроме человека, который создает его, отвоевывая шаг за шагом от внешнего мира и от своей собственной животности свою свободу и человеческое достоинство. Он завоевывает их, движимый силой, независимой от него, непреоборимой и равно присущей всем живым существам. Эта сила – это всемирный поток жизни, тот самый, который мы называем всемирной причинностью, природой, и который проявляется во всех живых существах, растениях или животных, стремление каждого индивида осуществить для себя условия, необходимые для жизни своей природы, т. е. удовлетворить своим потребностям. Это стремление, существенное и главное проявление жизни, составляет основу того, что мы называем *волей*. Фатальная и непреоборимая во всех животных, не исключая самого цивилизованного человека, инстинктивная, можно почти сказать, механическая в низших организмах, более сознательная в высших породах, она достигает полного самосознания лишь в человеке, который благодаря своему разуму – возвышающему его над всеми его инстинктивными побуждениями и позволяющему ему сравнивать, критиковать и упорядочивать свои собственные побуждения – один среди всех животных земного шара обладает сознательным самоопределением, *свободной волей.*

Само собой разумеется, эта свобода человеческой воли не имеет по отношению ко всемирному потоку жизни, по отношению к этой абсолютной причинности, в которой каждая отдельная воля является как бы ручьем, другого значения, кроме того, которое ей дает ее сознательность, противопоставляя ее механическому действию или даже инстинкту. Человек понимает и сознает естественные потребности, которые, отражаясь в его мозгу, вновь возникают в нем посредством физиологического процесса, еще мало известного, как логическое следствие его собственных мыслей. Это понимание дает ему, среди его абсолютной и непрестанной зависимости, ощущение самоопределения, сознательной, произвольной воли и свободы. Не прибегая к полному или частному самоубийству, ни один человек не сможет освободиться от своих естественных влечений, но он может их регулировать и видоизменять, стараясь все более согласовать их с тем, что он называет в различные эпохи своего интеллектуального и морального развития справедливым и прекрасным.

В сущности, главные черты самого утонченного человеческого существования и самого непробудного животного существования суть и всегда останутся те же самые: рождаться, развиваться и расти, работать, чтобы есть и пить, чтобы иметь кров, и защищаться, поддерживать свое индивидуальное существование в равновесии с социальной жизнью своей природы, любить, воспроизводиться, затем умирать… К этим элементам для человека только присоединяется еще новый: мышление, познание – способность и потребность, встречающиеся, правда, в меньшей, но уже очень чувствительной степени в породах животных, наиболее близких по организации к человеку, ибо, как кажется, в природе не существует абсолютных качественных различий, и все различия сводятся в последнем анализе к различию в количестве, – но которые только в человеке достигают такой повелительной и преобладающей силы, что малопомалу переделывают всю жизнь. Как прекрасно заметил один из величайших мыслителей наших дней, Людвиг Фейербах: человек делает все, что делают животные, но только он делает это все более и более *человечно.* В этом все различие, но оно громадно[59]. Оно заключает в себе

[59] Никогда не будет лишним повторить это многим приверженцам современного натурализма или материализма, которые – ввиду того, что человек в наши дни открыл свою полную и всецелую родственную связь со всеми другими породами животных и свое непосредственное и прямое происхождение из земли, и ввиду того, что он отказался от нелепых и пустых претензий спиритуализма, который под предлогом дарования ему абсолютной свободы приговаривал его к вечному рабству, – воображают, что это дает им право отбросить всякое уважение к человеку. Этих людей можно сравнить с лакеями, которые, открыв плебейское происхождение человека, заставившего себя уважать своими личными достоинствами, считают себя вправе относиться к нему как к равному, по той простой причине, что они не понимают другого благородства, кроме того, которое производит в их глазах аристократическое происхождение. Другие столь счастливы, открыв родословную связь человека с гориллой, что хотели бы всегда сохранить его в животном состоянии и отказываются понять, что все историческое назначение, все

всю цивилизацию, со всеми чудесами промышленности, науки и искусств; со всеми развитиями человечества: религиозным, эстетическим, философским, политическим, экономическим и социальным – одним словом, всю всемирную историю. Человек создает этот исторический мир посредством действенной силы, которую вы найдете во всех живых существах и которая составляет самую сущность всей органической жизни и стремится ассимилировать себе и переработать, согласно потребностям каждого, внешний мир. Сила эта, конечно, инстинктивна и фатальна, ибо она предшествует всякой мысли, но при свете человеческого разума и определенная сознательной волей, она перерабатывается в человеке и для человека в *сознательный свободный труд*.

Единственно благодаря мысли человек достигает сознания своей свободы в породившей его естественной среде; но только посредством *труда* он эту свободу осуществляет. Мы сказали, что деятельность, составляющая труд, т. е. *медленная работа трансформирования поверхности нашей планеты физической силой каждого живого существа, сообразно с потребностями каждого,* встречается, более или менее развитой, на всех ступенях органической жизни. Но она начинает быть *собственно человеческим трудом* только тогда, когда, направленная человеческим разумом и сознательной волей, она перестает служить одним лишь недвижным и фатально ограниченным потребностям исключительно животной жизни, но начинает еще служить потребностям *мыслящего существа, которое завоевывает свою человечность, утверждая и осуществляя в мире свою свободу*.

Осуществление этой безмерной, бесконечной задачи не является только делом интеллектуального и морального развития, но также делом материального освобождения. Человек становится в самом деле человеком, он завоевывает возможность своего развития и внутреннего совершенствования лишь при условии, что он до некоторой степени по крайней мере разорвал рабские цепи, налагаемые природой на своих детей. Цепи эти – голод, всякого рода лишения, физическая боль, влияние климатов, времен года и вообще тысячи условий животной жизни, удерживающих человеческое существо в почти абсолютной зависимости от окружающей его среды. Эти цепи – это постоянные опасности, которые, в виде естественных явлений, со всех сторон угрожают и давят человека, это непрестанный страх, который лежит в глубине всякого животного существования и который до того подавляет человека в естественном состоянии дикаря, что он ничего в себе не находит, что могло бы противостоять этому страху, чем бы можно было бороться с ним… одним словом, не отсутствует ни один элемент самого полного рабства. Первый шаг человека по пути к освобождению от этого рабства состоит, как мы уже сказали, в акте абстрактного мышления, которое, внутренно возвышая человека над окружающими предметами, позволяет ему исследовать их взаимоотношения и законы. Но вторым шагом является непременно материальный акт, определенный волей и направленный более или менее глубоким знанием внешнего мира: это применение мускульной силы человека к пересозданию этого мира сообразно своим прогрессирующим потребностям. Эта борьба человека, сознательного труженика, против матери-природы не является бунтом против нее или ее законов. Человек пользуется приобретенными им познаниями этих законов лишь с целью укрепить себя и обезопасить от грубых нападений и случайных катастроф, а также от периодических, правильных явлений физического мира. Только самое внимательное исследование и изучение законов природы делает его способным покорить ее, в свою очередь, заставить ее служить своим целям и иметь возможность видоизменять поверхность земного шара во все более и более благоприятную среду для развития человечества.

Как видите, способность к отвлечению, источник всех наших знаний и идей, является также единственной причиной всякого человеческого освобождения. Но первое пробуждение этой способности, являющейся не чем иным, как разумом, не производит немедленно сво-

---

достоинство и свобода человека заключаются в том, чтобы удаляться от этого состояния.

боду. Когда она начинает действовать в человеке, медленно освобождаясь от пелены животных инстинктов, она вначале проявляется не в виде логического мышления, имеющего сознание и познание о своей собственной деятельности, но в виде *мышления вообразительного,* или неразумного рассуждения. Как таковая, она освобождает человека от естественного рабства, тяготеющего над ним с колыбели, лишь ценой немедленного подчинения его новому рабству – рабству религии.

Именно вообразительное мышление человека перерабатывает естественный культ, элементы и следы которого мы нашли у всех животных, в культ человеческий, в его элементарной форме – в форме фетишизма. Мы указали на животных, инстинктивно обожающих великие явления природы, действительно оказывающие непосредственное и могущественное влияние на их существование, но мы никогда не слыхали о животных, обожающих безобидный кусок дерева, клубок тряпки, кость или камень. Между тем мы находим этот культ первобытной религии дикарей и даже в католицизме. Как объяснить эту, по-видимому, столь странную аномалию, представляющую нам, с точки зрения здравого смысла и понимания действительных вещей, человека стоящим гораздо ниже, чем самые скромные животные?

Эта нелепость является продуктом вообразительного мышления дикого человека. Он не только чувствует, подобно другим животным, всемогущество природы, он делает его предметом своих непрестанных размышлений, он его закрепляет и обобщает, давая ему какое-нибудь наименование, он делает из него центр, вокруг которого группируются все его детские фантазии. Еще неспособный охватить своей бедной мыслью вселенную, и даже земной шар, и даже то весьма ограниченное пространство, в котором он родился и живет, он повсюду ищет, где же именно местопребывание этого всемогущества, ощущение которого, теперь уже основанное и закрепленное, его тяготит. И игрою своей невежественной фантазии, которую нам было бы очень трудно в настоящее время понять, он переносит это всемогущество на этот кусок дерева, этот сверток тряпок, этот камень: это чистый фетишизм, самая религиозная, т. е. самая нелепая из всех религий.

Вслед за фетишизмом и часто в одно время с ним идет *культ колдунов.* Это культ, если не более разумный, то, во всяком случае, более естественный и который удивляет нас меньше чистого фетишизма, ибо мы к нему привыкли. Мы ведь еще сегодня окружены колдунами, каковы спириты, медиумы, ясновидящие со своими магнетизерами и даже священники римско-католической, а также восточно-греческой церкви, которые утверждают, что они имеют власть заставить Бога с помощью каких-то таинственных формул сойти на воду или же воплотиться в хлеб и вино.

Не являются ли все эти *поработители* божества, покоряющегося их заклинаниям, настоящими колдунами? Правда, их божество, продукт более чем тысячелетнего развития, гораздо более сложно, чем божество первобытного колдовства, единственным предметом которого является уже закрепленное, но еще неопределенное представление всемогущества, без какого-либо другого интеллектуального или морального атрибута. Различие добра и зла, справедливого и несправедливого здесь еще неизвестно. Неизвестно, что такое божество любит и что оно ненавидит, что оно хочет и чего не хочет; оно ни добро, ни зло – оно всемогуще – и больше ничего. Однако характер божества уже начинает обрисовываться; оно эгоистично и тщеславно, оно любит лесть, коленопреклонение, унижение и заклание людей, их обожание и жертвоприношения – и оно преследует и жестоко наказывает тех, которые не хотят покоряться ему: бунтующих, горделивых, нечестных. Как известно, это основная черта божественной натуры во всех древних и современных богах, созданных человеческим неразумием. Существовало ли когда-нибудь в мире столь завистливое, тщеславное, эгоистическое, кровавое существо, как Егова евреев или Бог-отец христиан?

В культе первобытного колдовства божество или это неопределимое всемогущество является вначале нераздельной с личностью колдуна; он сам Бог, подобно Фетишу. Но с тече-

нием времени роль сверхъестественного человека, человека-Бога, становится невозможной для реального человека и в особенности для дикаря, который еще не имеет никаких средств укрыться от нескромного любопытства верующих и остается с утра до вечера открытым для наблюдений. Здравый смысл, практический ум, продолжающие развиваться в диком народе наряду с его религиозным воображением, в конце концов показывают ему невозможность, чтобы человек, доступный всем человеческим слабостям и немощам, был Богом. Колдун остается для народа сверхъестественным существом, но только в некоторые минуты, когда он одержим духом. Но каким духом?

Духом всемогущества, Богом. Итак, божество находится в обыкновенное время вне колдуна. Где его искать? Фетиш, Бог-вещь уже не удовлетворяет, колдун, человек-Бог, также. Все эти видоизменения могли в первобытную эпоху длиться века. Дикарь, уже сильно подвинувшийся вперед, развившийся, обогатившийся опытом и традициями многих веков, ищет теперь уже божество вдали от себя, но все еще среди реально существующих предметов: в солнце, в луне, в звездах. Религиозная мысль начинает уже обнимать вселенную.

Как мы сказали, человек мог достигнуть этого лишь после длинного ряда веков. Его способности к абстракции, его разум, развились, укрепились, изощрились в практическом познании окружающих его предметов и в исследовании их отношений и взаимной причинности. Периодическое возвращение известных явлений природы дало ему первое понятие о некоторых естественных законах. Человек начинает интересоваться совокупностью явлений и их причинами; он ищет их объяснения. В то же время он начинает познавать самого себя, и благодаря той же способности к абстракции, которая позволяет ему внутренно подниматься мыслью над самим собой и делать себя объектом размышления, он начинает отделять свое материальное и живое существо от своего мыслящего существа, свою внешность от своего внутреннего существа, свое тело от своей души. Но раз это различие сделано им и закреплено в его мысли, то он, естественно, необходимо переносит его в своего Бога и начинает искать невидимую душу этого видимого мира. Таким образом, должен был родиться религиозный пантеизм индусов.

Мы должны остановиться на этом пункте, ибо именно здесь начинается собственно религия в полном смысле этого слова, и вместе с ней настоящая теология и метафизика. До сих пор религиозное воображение человека, одержимое непрестанным представлением всемогущества, двигалось естественным путем, ища причину и источник этого всемогущества путем экспериментального исследования, вначале в самых близких предметах, в фетишах, потом в колдунах, еще позже в звездах; но всегда приписывая всемогущество какому-нибудь действительному, видимому, хотя бы и отдаленному предмету. Теперь он предполагает существование духовного всемирного невидимого Бога. С другой стороны, до сих пор его боги были ограниченными, определенными существами, среди множества других небожественных существ, не одаренных всемогуществом, но не менее реально существующих. Теперь он первый раз полагает всемирное божество: Существо Существ, сущность и творец всех ограниченных и обособленных Существ, всемирная душа всей вселенной, Великое Все. Начинается настоящий Бог и вместе с ним настоящая религия.

Мы должны теперь исследовать, каким путем человек достиг этого результата, дабы познать по самому его историческому происхождению истинную природу Божества.

Весь вопрос сводится к следующему: каким образом зарождается в человеке представление о мире и идея его единства? Начнем с констатирования, что представление о вселенной для животного не может существовать, ибо это не есть предмет, непосредственно воспринимаемый чувствами, подобно всем реальным предметам, большим и малым, далеким или близким, – это понятие абстрактное и которое, следовательно, может существовать лишь для способности отвлекательной – т. е. для одного лишь человека. Рассмотрим же, каким образом это представление образуется в человеке. Человек видит себя окруженным внешними предметами: он сам, поскольку он живое тело, является таким предметом для своей собственной мысли. Все эти

предметы, которые он постепенно и медленно начинает распознавать, находятся между собой в правильных взаимоотношениях, которые он также более или менее уясняет себе; и тем не менее, несмотря на эти взаимные отношения, сближающие их, но не соединяющие, не сливающие их в одно целое, предметы эти остаются вне друг друга.

Итак, внешний мир представляется человеку лишь бесконечным разнообразием предметов, действий и раздельных отношений без малейшей видимости единства – это бесконечные нагромождения, но не единое целое. Откуда является единство? Оно заложено в уме человека. Человеческий ум одарен способностью к абстракции, которая позволяет ему, после того как он медленно и по отдельности исследовал, один за другим, множество предметов, охватить их в мгновение ока и в едином представлении, соединить их в одной и той же мысли. Таким образом, именно мысль человека создает единство и переносит его в многообразие внешнего мира.

Отсюда вытекает, что это единство является вещью не конкретной и реальной, но абстрактной, созданной единственно способностью человека абстрактно мыслить. Мы говорим абстрактно мыслить, ибо для того, чтобы объединить столько различных предметов в единое представление, наша мысль должна отвлечься от всего, что составляет различие между этими предметами, и удержать лишь то, что они имеют общего; отсюда вытекает, что чем более предметов объемлет мыслимое нами единство, чем более оно возвышается, чем более разрастается то общее, что заключается в нем, что его определяет, составляет его содержание, – тем более абстрактным и лишенным реальности оно становится. Жизнь со всеми своими переходящими избытками и великолепиями находится внизу, в разнообразии, – смерть со своей вечной и несравненной монотонностью находится вверху, в единстве. Поднимитесь, в силу той же способности к абстракции, выше и выше, уйдите за пределы земного мира, охватите в одной мысли солнечный мир, представьте себе это высшее единство; что же вам останется для его заполнения? Дикарь был бы очень затруднен в ответе на этот вопрос! Но мы ответим за него: останется материя с тем, что мы называем силой абстракции, движущаяся материя со своими различными проявлениями, каковы свет, теплота, электричество и магнетизм, которые, как это теперь доказано, суть различные проявления одной и той же вещи. Но если в силу той же способности к отвлечению, не имеющей пределов, вы поднимаетесь выше нашей Солнечной системы и объедините в своей мысли не только эти миллионы солнц, видимые вами на небосклоне в виде светящих точек, но еще бесконечное множество других солнечных систем, которые мы не видим и никогда не увидим, но существование которых мы предполагаем, ибо наша мысль по той самой причине, что она не знает пределов своей способности к абстракции, отказывается верить, чтобы вселенная, т. е. совокупность всех существующих миров, могла иметь предел или конец, – потом, отвлекшись все тою же мыслью от отдельных существований каждого из существующих миров, если вы попытаетесь представить себе единство этого бесконечного мира – что вам останется для его определения и заполнения? Одно слово, одна абстракция: *неопределенное Существо,* т. е. неподвижность, пустота, абсолютное небытие – Бог.

Итак, Бог – это абсолютная абстракция, это собственный продукт человеческой мысли, которая, как сила абстракции, поднялась над всеми известными существами, всеми существующими мирами, и освободившись тем самым от всякого реального содержания, сделавшись уже не чем иным, как абсолютным миром, не узнавая себя в этой величественной обнаженности, становится перед самой собой – как *единственное и высшее Существо.*

Нам могут возразить, что мы сами утверждали, на предыдущих страницах, *реальное единство вселенной* и определили его как всемирную связность и причинность, как единственное всемогущество, управляющее всеми вещами и ощущаемое более или менее всеми живыми существами, а теперь как будто бы отрицаем его. Но нет, мы его вовсе не отрицаем; мы лишь утверждаем, что между этим реальным всемирным единством и идеальным единством, к которому приходит путем абстракции религиозная и философская метафизика, нет ничего общего. Мы определили первое как бесконечную сумму предметов, или лучше как сумму непрестан-

ных видоизменений всех реальных существ, так же как их постоянных действий и противодействий, которые, комбинируясь в одно движение, образуют, как мы сказали, так называемую всемирную солидарность или причинность. Мы прибавили, что мы понимаем эту солидарность не как первичную и абсолютную причину, но, напротив того, как *производную,* как результат, постоянно повторяющийся, единовременного действия всех частных причин – действия, которое и составляет собственно *всемирную причинность* – вечно творящую и творимую. Определив ее таким образом, мы сочли возможным сказать, не боясь более никакого недоразумения, что эта всемирная причинность творит миры. И хотя мы очень настойчиво прибавляли, что она это делает без какой-либо предшествующей мысли или воли, без какого-либо плана, без какой-либо преднамеренности или предопределенности со своей стороны – ибо она сама не имеет никакого отдельного и предшествующего существования вне своей непрестанной реализации и является не чем иным, как абсолютной производной, – тем не менее мы теперь видим, что это выражение – *творит* – не является ни счастливым, ни точным и что, несмотря на все прибавленные объяснения, оно может еще дать повод к недоразумениям – до того мы привыкли связывать с этим словом *творение* мысль о сознательном творце, о творце, отдельном от своего произведения. Мы должны были бы сказать, что каждый мир, каждое существо бессознательно, непроизвольно происходит, рождается, развивается, живет, умирает и переходит в новое существо под влиянием всемогущей, абсолютной всемирной солидарности, – и, чтобы выразить нашу мысль еще более точно, мы прибавим теперь, что *реальное единство вселенной является не чем иным, как абсолютной связностью и бесконечностью ее реальных трансформаций, ибо непрестанная трансформация каждого отдельного существа составляет единственную, подлинную реальность каждого, так как вселенная не что иное, как история без границ, без начала и без конца.*

Подробности этой истории бесконечны. Человеку всегда придется ограничиваться только познанием ее бесконечно малой части. Наше звездное небо со своим множеством солнц образует лишь незаметную точку в неизмеримости пространства, и, хотя мы обнимаем его взглядом, мы никогда о нем почти ничего не узнаем. Мы принуждены ограничиваться некоторым познанием нашей Солнечной системы, относительно которой мы предполагаем, что она в совершенной гармонии с остальными частями вселенной; ибо если бы не было этой гармонии, то или она должна бы была установиться, или же наша Солнечная система погибла бы. Эту последнюю мы знаем уже очень недурно, с точки зрения небесной механики, и начинаем знакомиться с ней также с точек зрения физической, химической и даже геологической. Наша наука с трудом перейдет этот предел. Если мы ищем более конкретных познаний, мы должны придерживаться нашего земного шара. Мы знаем, что он создался во времени, и мы предполагаем, что через некоторое, неизвестное нам число веков он должен погибнуть – как рождается и погибает, или, лучше, трансформируется все, что существует.

Каким образом наш земной шар, бывший вначале раскаленной, газообразной, несравненно более легкой, чем воздух, материей, – охладился, образовался, чрез какой нескончаемый ряд геологических переворотов должен он был пройти, прежде чем был в состоянии произвести на своей поверхности все это бесконечное богатство органической жизни, начиная с первой и самой простой клеточки и кончая человеком? Как он видоизменялся и продолжает ли он свое развитие в историческом и социальном мире человека? Куда мы направляемся, толкаемые верховным фатальным законом непрестанного видоизменения?

Вот единственно доступные нам вопросы; единственные вопросы, которые могут и должны быть действительно охвачены, детально разработаны и разрешены человеком. Являясь, как мы уже сказали, лишь незаметной точкой в безграничном и неопределимом вопросе вселенной, эти вопросы являют тем не менее нашему уму истинно бесконечный мир – не в божественном, т. е. абстрактном смысле этого слова, не в смысле верховного существа – создания религиозной абстракции; напротив того, бесконечный по богатству своих подробностей,

которых никогда не будут в состоянии исчерпать никакое наблюдение и никакая наука. И для того, чтобы познать *этот* мир, *наш* бесконечный мир, недостаточно одной абстракции. Она бы снова привела нас к Богу, к Верховному Существу, к небытию. Необходимо, не переставая, применять нашу способность к абстракции, без которой мы бы никогда не смогли возвыситься от более простого рода вещей к более сложному роду и, следовательно, никогда не смогли бы понять естественную иерархию существ, – необходимо, говорим мы, чтобы ум с уважением и любовью занимался тщательным изучением деталей и бесконечно малых подробностей, без которых нам невозможно представить себе живую реальность существ. Итак, только соединяя эти две способности, эти две, на вид столь противоположные тенденции: абстракцию и внимательный, добросовестный, терпеливый анализ, можем мы возвыситься до реального понятия *о нашем не внешнем, но, по существу, бесконечном мире* и составить себе до некоторой степени достаточное представление о *нашей* вселенной – о нашем земном шаре или, если хотите, о нашей Солнечной системе. Теперь очевидно, что если наше чувство и наше воображение и могут дать нам образ, представление по необходимости более или менее ложное об этом мире, если они и могут даже, посредством своего рода интуитивной догадки, дать нам почувствовать тень, отдаленное подобие истины, то чистую и всецелую истину может нам дать только наука.

В чем же причина этой властной любознательности, толкающей человека к познанию окружающего его мира, к преследованию с неутомимой страстью открытия тайн этой природы, последним и самым совершенным созданием которой на нашей земле он сам является? Является ли эта любознательность простой роскошью, приятным времяпрепровождением или же одним из существенных необходимостей нашей природы? Мы, не колеблясь, утверждаем, что из всех потребностей, присущих природе человека, это наиболее человеческая и что он действительно становится человеком благодаря этой неутомимой жажде знания. Дабы проявить себя во всей полноте своего существа, человек должен, как мы сказали, себя познать, а он никогда себя действительно не познает, пока он не познает окружающую его природу, продуктом которой он сам является. Если человек не хочет отказаться от своей человечности, он должен *знать*, он должен проникнуть мыслью в видимый мир и, не предаваясь надежде постичь когда-нибудь его сущность, углубляться все более и более в изучение его законов, ибо наша человечность приобретается лишь этой ценой. Человеку нужно познать все низшие, предшествовавшие и современные ему области, все механические, физические, химические, геологические и органические эволюции на всех ступенях развития растительной и животной жизни, т. е. все причины и условия его собственного рождения и его существования, дабы он мог понять свою собственную природу и свое назначение на земле – его отечестве и единственном местожительстве, – дабы в этом мире слепой фатальности он мог основать царство свободы.

Такова задача человека: она неисчерпаема, она бесконечна и совершенно достаточна для удовлетворения самых честолюбивых умов и сердец. Мимолетное и неприметное существо среди безбрежного океана всемирной видоизменяемости, с неведомой вечностью позади него и такой же неведомой вечностью впереди, человек мыслящий, деятельный, сознающий свое человеческое назначение остается гордым и спокойным в сознании своей свободы, которую он сам завоевывает, просвещая, подкрепляя, освобождая и в случае нужды бунтуя окружающий его мир. Вот его утешение, его награда, его единственный рай. Если вы его спросите после этого, каково его внутреннее убеждение и последнее слово относительно реального единства вселенной, то он вам скажет, что оно заключается в *вечной и всемирной видоизменяемости* в безграничном движении без начала и без конца. А это абсолютная противоположность всякому учению о Провидении – отрицание Бога.

Во всех религиях, делящих между собой мир и обладающих более или менее развитой теологией – за исключением, впрочем, Буддизма, странная и совершенно непонятая несколькими сотнями миллионов последователей доктрина которого устанавливает религию без Бога, – во всех системах метафизики Бог является сам, как верховное существо, предвечно

существовавшее и все предопределившее, все в себе содержащее, являющееся самомыслью и действенной волей, началом всего существующего и предшествовавшее всему существующему, являющееся источником и вечной причиной всякого творения и пребывающее неподвижным и вечно равным самому себе во всемирном движении сотворенных миров. Как мы видели, этот Бог не находится в действительном мире, по крайней мере в той его части, которая доступна человеку. Будучи не в состоянии найти его вне самого себя, человек должен был найти его в себе самом. Каким образом он его искал? Отвлекаясь от всех живых, реальных вещей, от всех видимых известных миров. Но мы видели, что в конце этого бесплодного путешествия абстракция находит единственный предмет – себя самою, но уже без всякого содержания и лишенную всякого движения – как образ неподвижности и пустоты. Мы бы сказали: полнейшее небытие. Но религиозная фантазия называет это Высшим Существом – Богом.

Впрочем, как мы уже заметили, она наведена на это примером того различия или даже противоположения, которые уже в значительной мере развитое мышление начинает делать между внешней оболочкой человека – телом и его внутренним миром, заключающим в себе его мысль и волю, – словом, человеческую душу. Не подозревая, что эта последняя является не чем иным, как продуктом и последним, вечно возобновляемым и воспроизводимым выражением человеческого организма; видя, напротив, что в повседневной жизни тело кажется всегда повинующимся внушениям мысли и воли; предполагая, следовательно, что душа есть, если не творец, то по крайней мере всегдашний господин тела, для которого не остается другого назначения, как служить ей и проявлять ее, – религиозный человек, с момента, как он благодаря своей способности к абстракции дошел описанным нами образом до идеи всемирного и всевышнего существа, которое, как мы доказали, является не чем иным, как абстракцией, – естественно, принимает его за душу всей вселенной – за Бога.

Таким образом, появился первый раз в истории настоящий Бог – всемирное, вечное, неизменное существо, созданное игрою религиозного воображения и абстрактным мышлением человека. Но с того момента, как Бог был таким образом познан и утвержден, человек, забывая или скорее даже не зная об умственной деятельности своего мозга, которая и была единственным творцом Бога, и не узнавая себя более в своем собственном творении: *всемирной абстракции,* начал его обожать. Роли тотчас же переменились: сотворенный стал предполагаемым творцом, а настоящий творец, человек, занял место между множеством других несчастных тварей в качестве бедной твари, еле-еле привилегированной по сравнению с остальными.

Раз Бог был признан, то дальнейшее прогрессивное развитие различных теологий, естественно, объясняется как отражение исторического развития человечества. Ибо, раз идея сверхъестественного и всевышнего существа завладела воображением человека и установилась в нем как религиозное убеждение до того, что реальность этого существа кажется ему более несомненной, чем реальность действительных вещей, которые он видит и осязает руками, – то, естественно, эта идея должна сделаться главным основанием всего человеческого существования, что она видоизменяет его, проникает и властвует над ним исключительным и абсолютным образом. Верховное существо тотчас же представляется как абсолютный господин, как мысль, воля, источник, как творец и управитель всех вещей. Ничто не может более соперничать с ним, и все должно исчезнуть в его присутствии, так как истина лишь в нем одном и каждое отдельное существо, сколь бы ни было оно могущественно, и даже сам человек, могут с этих пор существовать лишь с божьего соизволения. Все это, впрочем, совершенно логично, ибо в противном случае Бог не был бы всевышним, всемогущим, абсолютным существом, т. е. его совсем бы не было.

С этих пор, как естественное следствие, человек приписывает Богу все качества, все силы, все добродетели, которые он постепенно открывает в себе или в окружающей среде. Мы видели, что Бог, полагаемый как верховное существо и являющееся в действительности не чем иным, как лишь абсолютной абстракцией, – совершенно лишен всякого содержания и

атрибутов, гол и пуст, как само небытие. И как таковой он наполняется и обогащается всеми реальностями существующего мира и, являясь лишь абстракцией его, представляется Господом и Владыкой религиозной фантазии человека. Отсюда вытекает, что Бог – это абсолютный грабитель и что, так как антропоморфизм составляет самую сущность всякой религии, небо, местопребывание бессмертных Богов, является не чем иным, как неверным зеркалом, которое отсылает верующему человеку его собственное изображение в обратном и увеличенном виде.

Ибо действие религии заключается не только в том, что она отнимает у земли естественные богатства и силы, а у человека его способности и добродетели по мере того, как он открывает их в своем историческом развитии, чтобы тотчас же перенести их на небо и превратить в божества или божественные атрибуты. Сделав это превращение, религия еще коренным образом изменяет характер этих сил и качеств, она их извращает, портит, давая им направление, диаметрально противоположное их первоначальному направлению.

Таким образом, человеческий разум, единственный орган, которым мы обладаем для познания истины, становясь божественным разумом, делается для нас совершенно непонятным и внедряется в сознание верующих как откровение нелепого. Таким образом, уважение к небу переходит в презрение к земле, а обожание божества в унижение человечества. Человеческая любовь, эта громадная естественная солидарность, которая, связывая всех индивидов, все народы и делая счастье и свободу каждого зависящими от свободы и счастья всех других, несмотря на различия цвета кожи и рас, должна соединить рано или поздно всех людей во всеобщем братстве, – эта любовь, сделавшись божественной любовью и религиозным милосердием, тотчас же становится бичом человечества: вся кровь, пролитая во имя религии с начала истории, все эти миллионы человеческих жертв, закланные ради большей славы Богов, свидетельствуют об этом: наконец сама справедливость, эта будущая мать равенства, раз только она перенесена религиозной фантазией в небесные области и переделана в божественную справедливость, тотчас же возвращается на землю уже под теологической формой благодати, и, становясь всегда и везде на сторону самых сильных, сеет среди людей лишь насилия, привилегии, монополии и все чудовищные неравенства, освященные историческим правом.

Мы не претендуем отрицать историческую необходимость религии, мы не утверждаем, что она была абсолютным злом в истории. Если она зло, то она была и, к несчастью, и поныне остается для громадного большинства невежественного человечества злом неизбежным, подобно всяким вообще ошибкам и уклонениям в сторону, неизбежным в развитии всякой человеческой способности. Религия, как мы сказали, это верное пробуждение человеческого разума в форме божественной неразумности, это первый проблеск человеческой истины сквозь божественные покровы лжи; это первое проявление человеческой морали, справедливости и права сквозь исторические несправедливости божественной благодати; наконец, это школа свободы под унизительным и тягостным игом божества, игом, которое в конце концов необходимо надо будет свергнуть, чтобы на самом деле завоевать разумный разум, настоящую истину, полную справедливость и действительную свободу.

В религии человек-животное, выйдя из звериного состояния, делает первый шаг к человечности; но покуда он останется религиозным, он никогда не достигнет своей цели, ибо всякая религия присуждает его к нелепости и, ведя его по ложному пути, заставляет искать божественное вместо человеческого. В религии народы, едва освободившись от естественного рабства, в котором остаются животные других пород, тотчас же впадают в новое рабство, в рабство к сильным людям и кастам, привилегированным благодаря божественному избранию.

Один из главных атрибутов бессмертия Богов – это, как известно, быть законодателями человеческого общества, основателями Государства. Человек, по уверению почти всех религий, был бы неспособен распознать, что хорошо и что дурно, что справедливо и что несправедливо, если бы он был предоставленным собственным силам. Итак, необходимо было, чтобы

само божество, тем или другим способом, спустилось на землю, чтобы просветить человека и основать в человеческом обществе политический и социальный порядок. Отсюда вытекает следующее торжествующее заключение: все законы и все предержащие власти освящены небом, и им должно всегда и во что бы то ни стало оказывать слепое повиновение.

Это очень удобно для правителей и очень неудобно для управляемых. А так как мы принадлежим к последним, то все наши интересы требуют ближайшего рассмотрения основательности этого утверждения, которое всех нас обратило в рабов. Мы должны найти средство освободиться от его ига.

Вопрос теперь для нас чрезвычайно упростился. Бог, не существующий или являющийся не чем иным, как продуктом нашей способности к абстракции, соединенной с религиозным чувством, доставшимся нам по наследству от животных; Бог, являющийся лишь всемирным абстрактумом, лишенным всякого движения и самостоятельного действия, – это абсолютное Небытие, представляемое в виде всевышнего существа и награжденное жизнью одной лишь религиозной фантазией, абсолютно лишенное всякого содержания и обогащающееся всеми реальностями земли; возвращающее человеку в извращенном, испорченном виде то, что оно раньше у него отняло. Бог не может быть ни добр, ни зол, ни справедлив, ни несправедлив. Он не может ничего желать, ничего устанавливать, ибо, в сущности, он ничто и становится всем лишь благодаря религиозному легковерию. Поэтому если это последнее нашло в нем идеи справедливости и добра, то только потому, что раньше само вложило их в него, не подозревая этого; думая, что получает, оно само вкладывало. Но, чтобы вложить эти идеи в Бога, человек должен был их иметь! Где он их нашел? Конечно, в себе самом. Но все, что он имеет, он получил сперва в своем животном состоянии – ибо его дух не что иное, как выявление, слово его животной природы. Итак, идеи справедливости и добра должны иметь, подобно всем другим человеческим вещам, корень в самой животности человека.

И в самом деле, элементы того, что мы называем *моралью,* народятся уже в животном мире. Во всех породах животных, без малейшего исключения, и лишь с громадной разницей в отношении развитости, мы встречаем два противоположных инстинкта: сохранения индивида и инстинкт сохранения породы, или, говоря человеческим языком, *эгоистический инстинкт и инстинкт социальный.* С точки зрения науки, как и с точки зрения самой природы, эти два инстинкта равно естественны и, следовательно, законны, и что всего важнее, равно необходимы в естественной экономии существ. Индивидуальный инстинкт является основным условием сохранения породы; ибо если бы индивиды не защищались всеми силами против всех лишений, всех внешних опасностей, непременно угрожающих их существованию, то не могла бы существовать и сама порода, которая живет лишь в индивидах и через индивидов. Но если бы мы захотели судить об этих двух стремлениях, стоя лишь на точке зрения исключительного интереса породы, то мы сказали бы, что социальный инстинкт хорош, а индивидуальный, поскольку он ему противоположен, дурен. У муравьев, у пчел добродетель преобладает над пороком, ибо у них социальный инстинкт, как кажется, совершенно подавляет индивидуальный инстинкт. Совершенно противоположное видим мы у диких зверей, и мы не ошибемся, если скажем, что в животном мире вообще преобладает эгоизм. Напротив того, инстинкт породы пробуждается лишь на короткий срок и длится лишь столько времени, сколько необходимо для воспроизведения и воспитания семьи.

Инче обстоит дело с человеком. По-видимому, и это одно из доказательств великого превосходства человека над всеми другими породами животных – оба противоположные инстинкта, эгоизм и общественность, в человеке и гораздо могущественнее и гораздо нераздельнее друг от друга, чем во всех животных низших пород. Человек в своем эгоизме свирепее самых кровожадных зверей, и в то же время он более обществен, чем пчелы и муравьи.

Проявление в каком-либо животном большей силы эгоизма, т. е. большей индивидуальности, является несомненным доказательством сравнительно большого совершенства его орга-

низма и знаком более развитой сознательности. Каждая порода животных подчинена как таковая специальному естественному закону, т. е. развивается и сохраняется особыми, только ей свойственными путями, которые отличают ее от всех прочих животных пород. Закон этот не имеет реального существования помимо живых индивидов, принадлежащих к управляемой им породе; вся реальность этого закона в этих индивидах, но он абсолютно управляет ими, и они являются его рабами. В самых низших породах этот закон проявляется скорей как процесс растительной, чем животной жизни; он почти совершенно чужд им, являясь почти внешним законом, которому индивиды, если только к ним можно применить это название, повинуются, так сказать, механически. Но чем более усложняются породы, приближаясь прогрессивно все более к человеку, тем более индивидуализируется управляющий ими специальный родовой закон, тем более он осуществляется и проявляется в каждом индивиде, который тем самым приобретает более определенный характер, более обособленную физиономию, так что, продолжая повиноваться этому закону так же фатально, как и другие, индивид, раз этот закон проявляется в нем больше под видом его собственного стремления, под видом скорей внутренней, чем внешней необходимости, – несмотря на то, что эта внутренняя необходимость всегда является в нем продуктом множества внешних причин, *о чем он не подозревает,* – чувствует себя более свободным, более автономным, более самостоятельным, чем индивиды низших пород. Он начинает ощущать свою *свободу*.

Мы можем, стало быть, сказать, что сама природа в своих прогрессивных видоизменениях стремится к освобождению и что уже большая индивидуальная свобода внутри природы является несомненным законом превосходства. Существом, сравнительно, *самым индивидуальным и самым свободным,* с точки зрения животного царства, является, бесспорно, человек.

Мы сказали, что человек – это самое индивидуальное из земных существ, но он является и самым *социальным* из всех существ. Большой ошибкой со стороны Ж. – Ж.Руссо было предположение, что первобытное общество было основано посредством свободного договора, заключенного дикарями между собой. Но не один Руссо это утверждает. Большинство современных юристов и публицистов, из школы Канта, или из всякой другой индивидуалистической и либеральной школы, не признающие ни общества, основанного на божественном праве теологов, ни общества, определяемого гегелианской школой, как более или менее мистическую реализацию объективной морали, ни первобытно-животного общества натуралистов, берут volens и за неимением другого основания за свою исходную точку *молчаливый договор.* Молчаливый договор! Т. е. контракт без слов и, следовательно, без мысли, без воли, – возмутительная нелепость! Бессмысленная фикция и, что хуже, злая фикция. Недостойное надувательство! Ибо оно предполагает, что в то время, когда я еще не был в состоянии ни желать, ни думать, ни говорить, только тем, что я давал себя обирать без протеста, я уже дал согласие на вечное рабство как свое, так и всего своего потомства!

Последствия *общественного договора* поистине злополучны, ибо они приводят к абсолютному властвованию Государства. И, однако, взятый за исходную точку принцип кажется чрезвычайно либеральным. Индивиды, до заключения этого контракта, предполагаются пользующимися всецело свободой, ибо, согласно этой теории, только естественный человек, дикарь, и обладает полной свободой. Мы высказали свое мнение об этой естественной свободе, которая является не чем иным, как абсолютной зависимостью человека-гориллы от постоянного влияния внешнего мира. Но предположим, что человек действительно свободен в исходной точке своей истории: зачем бы тогда, спрашивается, образовываться обществу? Для того, отвечают, чтобы гарантировать индивиду безопасность от возможных вторжений этого самого внешнего мира, включая сюда всех других людей, живущих обществами или нет, но которые не принадлежат к этому новому образовывающемуся обществу.

Итак, вот каковы эти первобытные люди, совершенно свободные, каждый сам по себе и для себя самого, но которые пользуются этой безграничной свободой, лишь покуда не встре-

тятся друг с другом, лишь поскольку остаются погруженными в абсолютное индивидуальное одиночество. Свобода одного не нуждается в свободе другого; напротив того, каждая из этих индивидуальных свобод довольствуется сама собой, существует сама по себе, так что свобода каждого необходимо представляется отрицанием свободы всех других, и все свободы, встречаясь одна с другой, должны взаимно ограничивать друг друга и уменьшать, должны противоречить одна другой и взаимно уничтожать друг друга.

Дабы не уничтожить друг друга совершенно, они заключают между собой явный или молчаливый *договор,* посредством которого они отдают часть самих себя, чтобы обеспечить остальное. Этот договор становится основанием общества, или, лучше сказать, Государства; ибо надо заметить, что в этой теории нет места для общества, в ней существует только Государство, или, лучше сказать, общество в ней совершенно поглощено Государством.

Общество, это естественный образ существования человеческого коллектива, независимо от всякого договора. Оно управляется правами и традиционными обычаями, но не законами. Оно медленно прогрессирует, движимое импульсами индивидуальной инициативы, а не мыслью и волей законодателя. Существует много законов, управляющих обществом без его ведома, но это законы естественные, присущие социальному телу, как физические законы присущи материальным телам. Большая часть этих законов до сих пор не открыта, а между тем они управляли человеческим обществом с его рождения, независимо от мысли и воли составлявших его людей. Отсюда вытекает, что их не надо сравнивать с законами политическими и юридическими, которые, провозглашенные какой-нибудь законодательной властью в разбираемой нами теории, признаются логическими выводами первого договора, сознательно заключенного людьми.

Государство не является непосредственным продуктом природы; оно не предшествует, как общество, пробуждению мысли в человеке, и мы попытаемся в дальнейшем показать, каким образом *религиозное сознание создает его в естественном обществе.* По мнению либеральных публицистов, первое Государство было создано свободной и сознательной волей людей; по мнению абсолютистов, оно является созданием божества. В обоих случаях оно главенствует над обществом и стремится его совершенно поглотить.

Во втором случае это поглощение понятно само собой: божественное учреждение необходимо должно пожрать всякую естественную организацию. Любопытнее всего то, что индивидуалистическая школа со своим свободным договором приходит к тому же результату. И в самом деле, эта школа начинает с отрицания самого существования естественного общества, предшествовавшего заключению договора, – ибо подобное общество предполагает между индивидами естественные отношения и, следовательно, *взаимное ограничение их свобод,* что противоречило бы абсолютной свободе, которую каждый, согласно этой теории, пользуется до заключения договора, и что было бы ни более ни менее, как этот самый договор, существующий как естественный факт и даже предшествующий свободному договору. Согласно этой теории, стало быть, человеческое общество начинается лишь с заключения договора. Но тогда что такое это общество? Это чистое, логическое осуществление договора со всеми его предначертаниями и законодательными и практическими следствиями – это Государство.

Рассмотрим его поближе. Что оно из себя представляет? Сумму отрицаний индивидуальных свобод всех его членов; или же сумму жертв, приносимых всеми его членами, отказывающимися от доли своих свобод в пользу общего блага. Мы видели, что, согласно индивидуалистической теории, свобода каждого составляет границу или естественное отрицание свободы всех других. Так вот, это абсолютное ограничение, это отрицание свободы каждого во имя свободы всех или общего права – это и есть Государство. Стало быть, там, где начинается Государство, кончается индивидуальная свобода и наоборот.

Мне ответят, что Государство, представитель общественного блага или всеобщего интереса, отнимает у каждого часть его свободы лишь для того, чтобы обеспечить ему остальное.

Но это остальное – это, если хотите, безопасность, но никак не свобода. Свобода неделима: нельзя урезать часть ее, не убивая целого. Та малая часть, которую вы урезываете, составляет самую сущность моей свободы, она все. В силу естественного, необходимого и непреоборимого влечения, вся моя свобода концентрируется именно в той части, которую вы урезываете, сколь бы ни была мала эта часть. Это история жены Синей Бороды, которая имела в своем распоряжении целый дворец с полной и всецелой свободой проникать всюду, видеть и трогать все, за исключением маленькой комнатки, которую всевластная воля ее ужасного мужа запретила ей открывать под страхом смерти. И вот, отвернувшись от всех великолепий дворца, все ее внимание сосредоточилось на этой плохой, маленькой комнатке: она открыла ее и была права, открывая ее, ибо это был необходимый акт ее свободы, между тем как запрещение входить туда было вопиющим нарушением этой самой свободы. Это также история грехопадения Адама и Евы: запрещение вкусить плод от дерева познания добра и зла на том только основании, что такова была воля Господа, являлись со стороны Бога актом ужасного деспотизма, и если бы наши прародители послушались, весь человеческий род оставался бы погруженным в самое унизительное рабство. Напротив, их непослушание нас освободило и спасло. Это было, говоря мифически, первым актом человеческой свободы.

Но, скажут мне, Государство, демократическое Государство, основанное на свободном всеобщем избирательном праве всех граждан, не может быть отрицанием их свободы. А почему же нет? Это будет вполне зависеть от назначения и власти, какие граждане предоставят Государству. Республиканское Государство, основанное на всеобщем избирательном праве, может быть очень деспотичным, более даже деспотичным, чем монархическое Государство, если под тем предлогом, что оно является представителем всеобщей воли, оно будет давить волю и свободное движение каждого из своих членов всей тяжестью своего коллективного могущества.

Но Государство, скажут еще, ограничивает свободу своих членов лишь постольку, поскольку эта свобода направлена к несправедливости, ко злу. Оно мешает им убивать друг друга, грабить друг друга и оскорблять друг друга и вообще делать зло, но оно, наоборот, предоставляет им полную и всецелую свободу делать добро. Это опять все та же история Синей Бороды или запретного плода: что такое зло, что такое добро?

С точки зрения разбираемой нами системы, до заключения договора не существовало различия между добром и злом, тогда каждый индивид одиноко пользовался своей свободой и своим абсолютным правом и не оказывал никакого внимания к свободе других, за исключением тех случаев, когда этого требовала его слабость или относительная сила – другими словами, его благоразумие и личный интерес[60]. Тогда, согласно все той же теории, эгоизм был верховным законом, единственным правом: добро определялось успехом, зло – одной только неудачей, и справедливость была не чем иным, как признанием совершившегося факта, как бы он ни был ужасен, жесток и отвратителен, – совсем как в политической морали, преобладающей в настоящее время в Европе.

Различие между добром и злом начинается, согласно этой системе, лишь по заключении общественного договора. Тогда все, что было признано составляющим общее благо, было провозглашено добром, а все, что было противно этому благу, – злом. Договаривающиеся члены, сделавшись гражданами, связав себя более или менее торжественным обещанием, тем самым

[60] Подобные отношения, которые, впрочем, никогда не могли существовать между первобытными людьми, ибо социальная жизнь предшествовала пробуждению индивидуального сознания и сознательной воли людей и потому что вне общества ни один человеческий индивид никогда не мог пользоваться ни абсолютной, ни даже относительной свободой, – подобные отношения совершенно тождественны с теми, которые существуют в настоящее время между современными Государствами, каждое из которых считает себя облеченным абсолютной свободой, властью и правом, исключающими свободу всех других Государств. Поэтому оно оказывает всем другим Государствам лишь то внимание, которого требует его собственный интерес, – что и производит между всеми государствами постоянную скрытую или открытую войну.

наложили на себя обязанность подчинять свои частные интересы общему благу, неразделенному интересу всех, и свои личные права отделили от общественного права, единственный представитель которого, Государство, было тем самым облечено властью подавлять всякий бунт индивидуального эгоизма, но с обязанностью защищать неприкосновенность прав каждого из своих членов, пока эти права не вступают в противоречие с правом общим.

Теперь мы рассмотрим, что должно из себя представлять таким образом устроенное Государство, как в его отношениях к другим, подобным ему Государствам, так и в его отношениях к управляемому им населению. Это исследование представляется нам тем более интересным и полезным, что Государство, как оно определяется в этой теории, есть именно современное Государство, поскольку оно отбросило религиозную идею; это *светское, или атеистическое Государство,* провозглашенное современными публицистами. Посмотрим же, в чем состоит его мораль? Это, как мы сказали, современное Государство, освободившееся из-под ига церкви и, следовательно, отбросившее всемирную или космополитическую мораль христианской религии, и, прибавим мы, еще не дошедшее до гуманитарной идеи, не проникшееся гуманитарной моралью, что, впрочем, ему невозможно сделать, не уничтожая себя, ибо в своем обособленном существовании и обособленной концентрации государство является слишком узким, чтобы быть в состоянии охватить, вместить интересы всего человечества и, следовательно, всечеловеческую мораль.

Современные Государства достигли именно вышеописанного состояния. Христианство служит им лишь предлогом и фразой или средством обманывать простецов, ибо они преследуют цель, не имеющую никакого отношения к религиозным идеям. И великие государственные люди наших дней: Пальмерстоны, Муравьевы, Кавуры, Бисмарки, Наполеоны очень бы посмеялись, если бы кто-нибудь принял всерьез их религиозные убеждения. Они бы посмеялись еще более, если бы им приписали гуманитарные чувства, намерения и стремления, которые они не пропускают случая публично обозвать глупостью. Что же им остается для образования морали? Единственно, государственный интерес. С этой точки зрения, которая, впрочем, за очень малыми исключениями, была точкой зрения государственных людей, *сильных людей* всех времен и всех стран, все, что служит к сохранению, возвеличению и укреплению государства, как бы это ни было святотатственно с религиозной точки зрения, как бы это ни казалось возмутительным с точки зрения человеческой морали, – является *добром,* и, наоборот, все, что противоречит государственному интересу, хотя бы в других отношениях это было самой святой и самой человечески-справедливой вещью, – является *злом.* Такова в своей неподдельности мораль и вековая практика всех Государств.

Такова же мораль Государства, основанного на теории общественного договора. Согласно этой системе, добро и справедливость начинают существовать лишь с заключения договора и являются не чем иным, как содержанием и целью договора, т. е. *общим благом и общественным правом* всех заключивших его индивидов – *исключаются все не принимавшие участия в заключении договора.* Следовательно, под добром в этой системе понимается лишь *наибольшее удовлетворение коллективного эгоизма частной и ограниченной ассоциации,* которая, будучи основана на частичном пожертвовании индивидуальным эгоизмом со стороны каждого из ее членов, выключает из своей среды, как иностранцев и естественных врагов, огромное большинство человеческого рода, входящее или не входящее в подобные же ассоциации.

Существование одного какого-нибудь ограниченного Государства предполагает и, в случае нужды, вызывает образование нескольких других Государств, ибо, естественно, индивиды, находящиеся вне его и угрожаемые с его стороны в своем существовании и свободе, соединяются, в свою очередь, против него. И вот человечество разбивается на бесконечное число Государств, чуждых, враждебных и угрожающих друг другу. Между ними нет общественного договора, нет общего права, ибо в противном случае они бы перестали быть абсолютно независимыми друг от друга Государствами и сделались бы составными частями одного великого

Государства. Но если только это великое Государство не охватит все человечество, оно будет иметь против себя другие великие, внутренно федеративные Государства, которые необходимо будут относиться к нему с тою же враждебностью, и война останется верховным законом и внутренней необходимостью в жизни человечества.

Каждое государство, федеративно или нет его внутреннее устройство, должно стремится, под страхом гибели, сделаться самым могущественным. Оно должно пожирать, дабы не быть пожранным, завоевывать, чтобы не быть завоеванным, порабощать, чтобы не быть порабощенным, ибо две равные, но в то же время противоположные силы не могут существовать, не уничтожая друг друга.

Государство – это самое вопиющее, самое циническое и самое полное отрицание человечества. Оно разрывает всемирную солидарность всех людей на земле и соединяет часть их лишь с целью уничтожения, завоевания и порабощения всех остальных. Оно берет под свое покровительство лишь своих собственных граждан, признает человеческое право, человечность и цивилизацию лишь внутри своих собственных границ; не признавая вне себя самого никакого права, оно логически присваивает себе право самой свирепой бесчеловечности по отношению ко всем чужим народностям, которых оно может по своему произволу громить, уничтожать или порабощать. Если оно и выказывает по отношению к ним великодушие и человечность, то никак не из чувства долга; ибо оно имеет обязанности, во-первых, лишь по отношению к самому себе; и во-вторых, к тем из своих членов, которые его свободно основали, которые продолжают его свободно составлять или же, как это всегда в конце концов случается, сделались его подданными. Так как международное право не существует, *так как оно никак не может существовать серьезным и действительным образом, не подрывая в самом основаниі принцип абсолютной верховности Государств*, то Государство не может иметь никаких обязанностей по отношению к чужим народностям. Если оно, стало быть, человечно обращается с покоренным народом, если оно лишь наполовину его обирает и уничтожает, если оно не низводит его до последней степени рабства, то оно поступает так из политики, может быть, из осторожности или по чистому великодушию, но никогда не по долгу, – ибо оно имеет абсолютное право располагать покоренными народами по своему произволу.

Это вопиющее отрицание человечности, составляющее сущность Государства, является, с точки зрения последнего, высшим долгом и самой большой добродетелью: оно называется *патриотизмом* и составляет *наивысшую мораль* Государства. Мы называем ее наивысшей трансцендентной моралью, потому что она обыкновенно превосходит уровень человеческой, частной или общественной морали и справедливости и тем самым чаще всего становится в противоречие с ними. Так, например, оскорблять, угнетать, грабить считается, с точки зрения обыкновенной человеческой морали, преступлением. Наоборот, в общественной жизни и с точки зрения патриотизма, когда это делается для большей славы Государства, для сохранения или расширения его могущества, все это становится долгом и добродетелью. И эта добродетель, этот долг обязательны для каждого гражданина-патриота; каждый считается обязанным их исполнять не только против иностранцев, но даже против своих собственных соотечественников, подобных ему членов и подданных Государства, всякий раз, как того требует благо Государства.

Это объясняет нам, почему с самого начала истории, т. е. с зарождения государств, политический мир всегда был и продолжает быть ареной высшего мошенничества и несравненного разбоя – разбоя и мошенничества, впрочем, высоко ценимых, ибо они предписаны патриотизмом, высшею моралью и верховным интересом государства. Это объясняет нам, почему вся история древних и современных государств является лишь рядом возмутительных преступлений; почему короли и министры в прошедшем и настоящем, во все времена и во всех странах, государственные люди, дипломаты, бюрократы и военные являются, если их судить с точки зрения простой морали и человеческой справедливости, достойными сто раз, тысячу раз висе-

лицы или каторги; ибо не существует ужаса, жестокости, святотатства, клятвопреступления, обмана, низкой сделки, циинического воровства, бесстыдного грабежа и грязной измены, которые бы не совершались, которые бы не продолжали ежегодно совершаться представителями государств, без всякого другого извинения, кроме эластичного, столь удобного и, вместе с тем, столь страшного слова: *государственный интерес*.

Истинно ужасное слово! Оно развратило и обесчестило больше людей в официальных сферах и правящих классах общества, чем само христианство. Как только это слово произнесено, все замолкает, все исчезает: добросовестность, честь, справедливость, право, само сострадание, и вместе с ними исчезают логика и здравый смысл; черное становится белым, а белое черным, отвратительное – человеческим, а самые подлые обманы, самые ужасные преступления становятся достойными поступками.

Великий итальянский философ и политик Макиавелли был первым, произнесшим это слово, или, по крайней мере, первым, придавшим ему его настоящее значение и огромную популярность, которою оно еще и доселе пользуется в правящем мире. Мыслитель, реалист и позитивист в высшей степени, Макиавелли первый понял, что крупные и могущественные государства могут быть основаны и поддерживаемы лишь преступлениями, множеством больших преступлений и самым крайним презрением ко всему, называемому честностью. Он это написал, объяснил и доказал со страшной откровенностью. И так как идея человечества была в то время совершенно неведома; так как идея братства, не человеческого, а религиозного, проповедываемая католической церковью, была в то время, как и всегда, не чем иным, как ужасной иронией, которую Церковь разоблачала каждое мгновение своими же мероприятиями; так как во время Макиавелли никому бы не пришло даже в голову, что существует какое-то народное право, ибо народы всегда рассматривались как инертная и тупая масса, приговоренная к бесконечному послушанию, как своего рода мясо для Государства, как предмет для стрижки и обирания; так как нигде, ни в Италии, ни вне ее не было решительно ничего, что бы было выше Государства, – то Макиавелли заключил с большой логичностью, что Государство есть высшая цель всего человеческого существования, что надо служить ему во что бы то ни стало и что хороший патриот не должен останавливаться, служа ему, ни перед каким преступлением, ибо интерес Государства перевешивает все остальное. Макиавелли советует преступление, он предписывает его и объявляет, что оно необходимое условие политической мудрости и истинного патриотизма. Называется ли Государство монархией или республикой, преступление равно необходимо для его торжества и для его сохранения. Преступление изменит, конечно, свое направление и цель, но характер его останется тот же. Это будет всегда модное, непрестанное попрание справедливости, сострадания и честности – ради блага Государства.

Да, Макиавелли прав; мы не можем в этом сомневаться после опыта трех с половиной столетий, прибавившегося к его опыту. Да, вся история говорит нам это: тогда как мелкие государства добродетельны лишь благодаря своей слабости, могущественные государства поддерживаются лишь преступлением. Только вывод наш будет совершенно иной, чем вывод Макиавелли, и это по очень простой причине: мы дети революции, и мы наследовали от нее религию человечества, которую мы должны основать на развалинах религии божества; мы верим в права человека, в достоинство и необходимое освобождение человеческого рода; мы верим в человеческую свободу и в человеческое братство, основанное на человеческой справедливости. Одним словом, мы верим в победу человечества на земле. Но это торжество, которое мы страстно призываем и которое мы хотим приблизить нашими общими усилиями, являющееся по самой природе своей отрицанием преступления, которое само не что иное, как отрицание человечества, может осуществиться, лишь когда преступление перестанет быть тем, чем оно является более или менее в настоящее время повсюду: *самым основанием политического существования народов, поглощенных, порабощенных государственной идеей.* И так как теперь уже

доказано, что никакое Государство не может существовать, не совершая преступлений или, по крайней мере, не мечтая о них, не обдумывая их исполнение, если оно по бессилию и не может выполнять их на деле, – то мы заключаем, *что безусловно необходимо уничтожение Государств* или, если хотите, их полное и коренное переустройство, в том смысле, чтобы они перестали быть централизованными и организованными сверху вниз державами, основанными на насилии или на авторитете какого-нибудь принципа, и реорганизовались бы снизу вверх, с абсолютной свободой для всех частей, входить в союз или нет, и с сохранением для каждой части свободы всегда выйти из этого союза, даже если бы она вошла в него по доброй воле; реорганизовались бы согласно действительным интересам и естественным стремлениям всех частей, через свободную федерацию индивидов и ассоциаций, коммун, областей, провинций и наций в единое человечество.

Таковы выводы, к которым нас необходимо приводит исследование внешних отношений даже так называемого свободного Государства к другим государствам. В дальнейшем мы увидим, что Государство, основывающееся на божественном праве или религиозной санкции, приходит совершенно к тем же результатам. Рассмотрим теперь отношение Государства, основанного на свободном договоре, к своим собственным гражданам или подданным.

Мы видели, что, выбрасывая огромное большинство человеческого рода из своей среды, что, ставя его вне сферы обязательств и взаимного долга морали, справедливости и права, Государство отрицает человечество и посредством громкого слова «патриотизм» обязывает своих подданных к несправедливости и жестокости как к высшему долгу. Оно ограничивает, убивает в них человечность, дабы, перестав быть людьми, они сделались только гражданами или – с точки зрения исторической последовательности фактов справедливей сказать – чтобы они не поднялись выше гражданина, не достигли до высоты человека. Мы видели, впрочем, что всякое Государство, под страхом гибели и поглощения соседними государствами, должно стремиться к всемогуществу и, сделавшись могущественным, должно завоевывать другие государства. Кто говорит о завоевании, говорит о завоеванных, угнетенных, обращенных в рабство народах, под какой бы это ни делалось формой или названием. Итак, рабство является необходимым следствием существования Государства.

Рабство может изменить форму и название, но суть его остается неизменной. Эта суть выражается в следующих словах: *быть рабом, значит – быть принужденным работать для другого – так же, как быть господином – это значит пользоваться работой другого.* В Древнем мире, подобно тому, как теперь в Азии, в Африке и даже еще в части Америки, рабы назывались прямо рабами. В средних веках они получили имя крепостных, в настоящее время их называют *наемниками.* Положение этих последних гораздо более достойно и менее тяжело, чем положение рабов, но тем не менее голод, а также политические и социальные учреждения принуждают их выполнять очень тяжелую работу, для того чтобы дать возможность другим проводить жизнь в полном или относительном бездействии. Следовательно, они рабы. И вообще, ни одно древнее или современное Государст – во никогда не могло обойтись без принудительного труда наемных и порабощенных масс как главного и абсолютно необходимого условия досуга, свободы и культурного развития политического класса – *граждан*. В этом отношении даже Соединенные Штаты Северной Америки не составляют исключения.

Таковы внутренние условия жизни государства, необходимо вытекающие из его внешнего положения, т. е. из его естественной, постоянной и неизбежной враждебности по отношению ко всем другим государствам. Посмотрим теперь, каковы условия, непосредственно вытекающие для граждан из свободного договора, на котором они строят Государство.

Назначение государства не ограничивается обеспечением безопасности своих членов против всех внешних нападений, оно должно еще во внутренней жизни защищать их друг от друга и *каждого от самого себя.* Ибо Государство – и это его характерная и основная черта, – всякое Государство, как и всякая теология, основывается на предположении, что чело-

век существенно зол и дурен. В Государстве, нами теперь рассматриваемом, *добро,* как мы видели, начинается лишь с заключения общественного договора и является, следовательно, лишь следствием этого договора и даже его содержанием. Оно не является порождением свободы. Напротив, покуда люди остаются уединенными в своей абсолютной индивидуальности, пользуясь всей своей естественной свободой, не знающей других границ, кроме границ возможности, а не права, до тех пор они следуют лишь одному закону – своему естественному эгоизму, они оскорбляют друг друга, взаимно друг друга обкрадывают, обирают, убивают и пожирают, каждый соразмерно своему уму, своей хитрости, своим материальным силам, подобно тому, как поступают, как мы это уже видели, в настоящее время, государства. Следовательно, человеческая природа рождает не *добро, а зло;* человек по природе дурен. Каким образом он таким сделался? Объяснить это – дело теологии. Факт тот, что Государство при своем возникновении находит человека уже дурным и берется сделать его хорошим, т. е. пересоздать естественного человека в гражданина.

На это можно возразить, что так как Государство является продуктом свободно заключенного людьми договора, а добро является продуктом Государства, то, следовательно, оно – продукт свободы! Подобный вывод совершенно неверен. Государство даже по этой теории не является продуктом свободы, а, наоборот, жертвы и добровольного отречения от свободы. Люди в естественном состоянии совершенно свободны с точки зрения *права,* но *на деле* они подвержены всем опасностям, которые каждую минуту угрожают их жизни и безопасности. И вот, чтобы обеспечить эту последнюю, они отрекаются от большей или меньшей части своей свободы, и поскольку они пожертвовали ею ради своей безопасности, поскольку они стали гражданами, постольку они сделались *рабами Государства,* поэтому мы правы, утверждая, что *с точки зрения Государства добро рождается не из свободы, но, наоборот, из отрицания свободы.*

Замечательная вещь это подобие между теологией – наукой Церкви и политикой – теорией Государства, эта встреча двух столь различных по внешности родов мыслей и фактов в одном и том же убеждении: *убеждении в необходимости заклания человеческой свободы ради насаждения в людях нравственности и пересоздания их, согласно Церкви – в святых, согласно Государству – в добродетельных граждан.* Что касается до нас, мы нисколько не удивляемся, ибо мы убеждены и постараемся ниже доказать, что политика и теология – родные сестры, имеющие одно происхождение и преследующие одну цель под разными именами; что всякое Государство является земной Церковью, подобно тому как, в свою очередь, всякая Церковь вместе со своим небом – местопребыванием блаженных и бессмертных богов является не чем иным, как небесным Государством.

Государство, стало быть, как и Церковь, исходит из того основного предположения, что люди существенно дурны и что, предоставленные своей естественной свободе, они бы раздирали друг друга и являли бы зрелище самой ужасной разнузданности, где самые сильные убивали бы или эксплуатировали самых слабых. Не правда ли, это было бы нечто совершенно противоположное тому, что происходит в настоящее время в наших образцовых государствах? Далее, Государство возводит в принцип положение, что для того, чтобы руководить людьми и подавлять их дурные страсти, необходим руководитель и узда; но что эта власть должна принадлежать человеку гениальному и добродетельному [61], законодателю своего народа, как Моисей, Ликург и Солон, – и что тогда этот вождь и эта узда будут воплощать в себе мудрость и карающую мощь Государства.

---

[61] Это идеал Мадзини. – См. Doveri dell'uomo (Napoli 1860), стр. 83 и A. Pio IX Papa, стр. 27: «Мы признаем святость Власти, освященной гением и добродетелью, этими единственными священнослужителями будущего, и проявляющей великую способность жертвовать: она проповедует добро и добровольно ведет к нему видимым образом».

Во имя логики мы бы могли поспорить об уместности законодателя, ибо в рассматриваемой нами теперь системе речь идет не о кодексе законов, налагаемом какой-нибудь властью, а о взаимном договоре, свободно заключенном свободными основателями Государства. И так как эти основатели, согласно разбираемой системе, были не более, не менее, как дикарями, которые до тех пор жили в самой полной естественной свободе и, следовательно, должны были не знать различия между добром и злом, то мы могли бы спросить: каким образом они вдруг стали различать их и отделять? Правда, нам могут возразить, что дикари заключили вначале свой взаимный договор с единственной целью обеспечить свою безопасность; поэтому то, что они называли *добром*, было не что иное, как несколько немногочисленных пунктов, внесенных в договор, как, например: не убивать друг друга, не грабить имущество друг у друга и взаимно оказывать друг другу помощь при всех нападениях извне. Но впоследствии законодатель, гениальный и добродетельный человек, родившийся уже в таким образом организованном обществе и поэтому воспитанный, в некотором роде, в его духе, мог расширить и углубить условия общественной жизни и, таким образом, создать первый кодекс нравственности и законов.

Но сейчас же возникает другой вопрос. Предположим, что человек, одаренный необычайными гениальными способностями и рожденный в среде этого еще весьма первобытного общества, был в состоянии при помощи очень грубого воспитания, которое он получил в этом обществе, и благодаря своему уму возвыситься до создания кодекса нравственности. Но каким образом мог он добиться, чтобы этот кодекс был принят его народом? Силою одной логики? Это невозможно. Логика в конце концов всегда торжествует, даже над самыми затверделыми умами, но для этого надо много больше времени, чем срок жизни одного человека, а имея дело с мало развитыми умами, потребовалось бы, пожалуй, даже несколько столетий. С помощью силы, принуждения? Но тогда это уже будет общество, основанное не на свободном договоре, а на завоевании, на порабощении. По-следнее предположение приведет нас прямо к действительным историческим обществам, в которых все вещи объясняются, правда, гораздо более естественно, чем в теориях наших либеральных публицистов, но исследование и изучение которых не только не служат к прославлению Государства, о котором так заботятся эти господа, но напротив того, заставляют нас, как мы это позже увидим, желать в возможно скором времени его полного и коренного уничтожения.

Остается третий способ, посредством которого великий законодатель мог бы заставить своих сограждан принять свой кодекс: а именно – божественный ав-торитет. И в самом деле, мы видим, что величайшие из известных законодателей, от Моисея до Магомета включительно, прибегли к этому средству. Оно очень действительно среди народов, в которых верования и религиозное чувство имеют еще большое влияние, и, конечно, очень могущественно среди дикарей. Но общество, основанное таким путем, не является уже обществом, основанным на свободном договоре. Основанное благодаря непосредственному воздействию божественной воли, оно необходимо будет государством теократическим, монархическим или аристократическим, но ни в коем случае не демократическим. А так как с богами торговаться нельзя, так как они столь же могущественны, как и деспотичны, то приходится слепо принимать все, что они налагают, и подчиняться их воле во что бы то ни стало. Отсюда вытекает, что в законодательстве, диктуемом богами, нет места для свободы. Оставим пока предположение, впрочем, очень верное, об основании Государства путем прямого или косвенного воздействия божественного всемогущества и, пообещав себе рассмотреть его впоследствии, возвратимся теперь к исследованию свободного государства, основанного на свободном договоре. Хотя мы и пришли к убеждению в совершенной невозможности объяснить противоречивый в себе самом факт законодательства, порожденного гением одного человека и единогласно принятого целым народом дикарей добровольно, так что законодатель не должен был прибегать к грубой силе или к какому-нибудь божественному надувательству, но мы соглашаемся допустить это чудо и просим теперь объяснения другого чуда, не менее трудного для понимания, чем первое: пред-

положим, что новый кодекс нравственности и законов провозглашен и единогласно принят, но каким образом осуществляется он на практике, в жизни? Кто наблюдает за его исполнением?

Можно ли предположить, чтобы после этого единогласного принятия все или хотя бы большинство дикарей, составляющих первобытное общество и которые до того, как новое законодательство было провозглашено, были погружены в самую полную анархию, вдруг все сразу, в силу одного провозглашения его и свободного принятия, до такой степени переменились, что начали по собственному почину и без другой побудительной причины, кроме своих собственных убеждений, добросовестно соблюдать и правильно выполнять все предписания и законы, налагаемые на них неведомой до сих пор для них моралью.

Допущение возможности такого чуда было бы равносильно признанию бесполезности Государства, признанию, что естественный человек способен понимать, желать и делать добро, побуждаемый единственно своей собственной свободой; а это было бы столь же противно теории так называемого свободного Государства, как и теории Государства религиозного или божеского. В основании обеих теорий лежит предположение, что человек неспособен возвыситься до добра и делать его по собственному, естественному побуждению, ибо это побуждение, согласно этим самым теориям, непреоборимо и непрестанно влечет людей ко злу. Итак, обе теории нас учат, что для того, чтобы обеспечить соблюдение принципов и выполнение законов в каком бы то ни было человеческом обществе, необходимо, чтобы во главе Государства стояла бдительная, правящая и, в случае нужды, карающая власть.

Остается узнать, кто должен и кто может ею обладать?

Относительно Государства, основанного на божеском праве и через вмешательство какого-нибудь бога, ответ очень легок: власть должна принадлежать, во-первых, священникам, во-вторых, светским властям, освященным священниками. Гораздо более затруднителен ответ при теории Государства, основанного на свободном договоре. В самом деле, в чистой демократии, где царит свобода, кто должен быть стражем и исполнителем законов, защитником справедливости и общественного порядка против злых помыслов каждого? Ведь каждый признан неспособным управлять и обуздывать са-мого себя в той мере, в какой это необходимо для блага Государства, ибо свобода каждого имеет естественное влечение ко злу. Тогда кто же будет выполнять обязанности Государства?

Скажут: самые лучшие из граждан, самые умные и добродетельные, те, которые лучше других поймут общие интересы общества и необходимость для каждого, долг каждого подчинять им свои частные интересы. В самом деле, необходимо, чтобы эти люди были столь же умны, как и добродетельны, ибо, если они будут только умны без добродетели, они могут вести общественные дела в своих личных интересах, а если они будут добродетельны, но не умны, они неизбежно провалят общественное дело, несмотря на всю свою добросовестность. Стало быть, чтобы республика не погибла, необходимо, чтобы она обладала во все эпохи известным количеством такого рода людей; надо, чтобы во все продолжение ее существования следовал, так сказать, непрерывный ряд добродетельных и в то же время умных граждан.

А условие это осуществляется не легко и не часто. В истории каждой страны эпохи, дающие значительное число выдающихся людей, отмечются как эпохи необыкновенные, блещущие сквозь мглу веков. Обыкновенно в правящих сферах преобладает посредственность, преобладает серый цвет, и часто, как мы это видим из истории, черный и красный цвета, т. е. торжествующие пороки и кровавое насилие. Мы могли бы отсюда заключить, что если бы была правда, как это с очевидностью вытекает из теории так называемого рационального или либерального государства, что сохранение и существование всякого политического общества зависят от непрерывного ряда следующих друг за другом замечательных как по уму, так и по добродетели людей, – то из всех в настоящее время существующих обществ нет ни одного, которое не должно бы было уже давно погибнуть. Если мы к этой трудности, чтобы не сказать невозможности, прибавим те, которые возникают из совершенно особого развращающего действия,

оказываемого на человека обладанием властью, если мы прибавим чрезвычайные искушения, которые осаждают, так сказать, день и ночь именно самых высокопоставленных лиц и против которых не обеспечивают ни ум, ни даже добродетель, ибо добродетель отдельного человека хрупкая вещь, – то мы думаем, что имеем полное право считать чудом существование стольких обществ. Но оставим то.

Предположим, что в идеальном обществе находится, в каждую эпоху, достаточное число людей равно умных и добродетельных, которые могут достойно выполнять государственные функции. Кто их отыщет, кто их различит, кто вложит в их руки бразды правления? Или они сами их захватят в сознании своего ума и добродетели, подобно тому, как это сделали два греческие мудреца Клеобул и Периандр, которым, несмотря на их великую предполагаемую мудрость, греки тем не менее дали имя тиранов? Но каким образом они захватят власть? Посредством убеждения или посредством силы? Если посредством убеждения, то мы заметим, что можно хорошо убеждать лишь в том, в чем сам убежден, и что именно лучшие люди бывают всего менее убеждены в своем собственном достоинстве, а если даже они и сознают его, то им обыкновенно неприятно говорить об этом другим, между тем как люди дурные и посредственные, вечно собой удовлетворенные, не испытывают никакого стеснения в самохвальстве. Но предположим, что желание служить своему отечеству заставило замолчать в истинно достойных людях эту чрезмерную скромность, они выступают перед избирательным собранием своих сограждан. Будут ли они, однако, всегда выбраны, всегда предпочтены народом честолюбивым, красноречивым и ловким интриганам? Если же, напротив того, они хотят достичь власти силой, то им необходимо иметь в своем распоряжении достаточно силы, чтобы сломить сопротивление целой партии. Они достигнут власти через междуусобную войну, после которой останется непримиренная, а лишь побежденная и враждебная партия. Чтобы сдерживать ее, им будет необходимо продолжать пользоваться силой. Тогда это не будет уже свободное общество, но деспотическое государство, основанное на насилии и в котором вы, может быть, найдете много вещей, которые покажутся вам восхитительными, но никогда не найдете свободы.

Для сохранения функции свободного государства, имеющего в своей исходной точке общественный договор, нам нужно предположить, что большинство граждан обладает всегда необходимым благоразумием, прозорливостью и справедливостью, чтобы во главе правления ставить самых достойных и самых способных людей. Но для того, чтобы народ проявлял, и не раз и не случайно, а всегда, во всех производимых им выборах, в продолжение всего своего существования, эту прозорливость, эту справедливость, это благоразумие, надо, чтобы он сам, взятый в целом, достиг той степени нравственного развития и культуры, при которой правительство и государство уже совершенно бесполезны. Такой народ должен только жить, предоставляя полную свободу всем своим влечениям. Справедливость и общественный порядок возникнут сами по себе и естественно из его жизни, и Государство, перестав быть провидением, опекуном, воспитателем, управителем общества, отказавшись от всякой карательной власти и ниспав до подчиненной роли, какую ему указывает Прудон, сделается не чем иным, как простым бюро, своего рода центральной конторой, предназначенной для услуг обществу.

Без сомнения, такая политическая организация, или, лучше сказать, такое ослабление политической деятельности в пользу свободы общественной жизни, было бы для общества великим благодеянием, но оно бы нисколько не удовлетворило сторонников необходимости Государства. Им непременно нужно Государство-провидение, Государство – управитель общественной жизни, Государство, чинящее суд и поддерживающее общественный порядок. Другими словами, сознаются ли они себе в этом или нет, называются ли они республиканцами, демократами или даже социалистами – им всегда нужно, чтобы управляемый народ был более или менее невежествен, несовершеннолетен, неспособен, или, называя вещи их собственными именами, чтобы народ был более или менее – *«чернью»*. Это необходимо им, конечно, для того, чтобы, поборов в себе бескорыстие и скромность, они могли бы оставаться собой ради обще-

ственной пользы и чтобы, сильные добродетельным самоотвержением и своим исключительным умом, будучи привилегированными стражами человеческого стада, толкая его к его благу и ведя его к его спасению, они могли бы также и обирать его немного.

Всякая последовательная и искренняя теория Государства существенно основана на принципе *высшей власти,* т. е. на той теологической, метафизической и политической идее, что массы, оставаясь вечно неспособными к самоуправлению, должны всегда пребывать под благодетельным игом мудрости и справедливости, подчиняться которым тем или иным способом им вменяется сверху. Но во имя чего и кем вменяется им это подчинение? Власть, признаваемая и уважаемая массами, может иметь лишь три источника: силу, религию или превосходство ума. Впоследствии мы будем говорить о государствах, основанных на двойной власти религии и силы; теперь, рассматривая теорию Государства, основанного на свободном договоре, мы должны выключить оба эти фактора. Нам остается, стало быть, в данном случае власть, основанная на превосходстве ума, которое, как известно, всегда составляет удел меньшинства.

И в самом деле, что мы видим во всех прошлых и настоящих государствах, даже если они обладают самыми демократическими учреждениями, как, например, Соединенные Штаты Северной Америки и Швейцария? «Народоправство», несмотря на внешний вид народного всемогущества, остается почти всегда фикцией. В действительности меньшинство является правящим классом. В Соединенных Штатах до последней войны за освобождение рабов и отчасти даже до сих пор – например, вся партия нынешнего президента Джонсона – правительственной партией были и остаются так называемые демократы, крайние сторонники рабства и свирепой олигархии плантаторов, бессовестные, продажные демагоги, готовые все закласть ради своей жадности, своего зловредного честолюбия и которые своей отвратительной деятельностью и влиянием, которым они беспрепятственно пользовались около пятидесяти лет кряду, сильно способствовали извращению политических народов Соединенных Штатов. В настоящее время истинно просвещенное, великодушное меньшинство, но все же и опять-таки *меньшинство,* партия республиканцев, с успехом борется с зловредной политикой демократов. Будем надеяться, что его торжество будет полным, будем на это надеяться ради блага человечества; но как бы ни была велика искренность этой партии свободы, как бы ни были возвышенны и великодушны провозглашаемые ею принципы, не следует надеяться, что, достигнув власти, эта партия откажется от исключительного положения правящего меньшинства и что народное самоуправление сделалось наконец действительным фактом. Для этого понадобилась бы революция более глубокая, чем все те, которые до сих пор потрясали старый и новый мир.

В Швейцарии, несмотря на все совершившиеся демократические революции, управляет все еще имущий класс, буржуазия, т. е. меньшинство, привилегированное в отношении имущества, досуга и образования. Верховная власть народа – слово, которое нам, впрочем, ненавистно, ибо, на наш взгляд, всякая верховная власть достойна ненависти, – народное самоуправление в Швейцарии тоже является фикцией. Народ обладает здесь верховной властью по праву, но не на деле, ибо, поглощенный ежедневной работой, не оставляющей ему совсем досуга, и если не совершенно невежественный, то, во всяком случае, сильно уступающий в образовании буржуазному классу, он принужден отдавать в руки буржуазии свою фиктивную власть. Единственная выгода, которую он из нее извлекает, как в Соединенных Штатах Северной Америки, так и в Швейцарии, это что честолюбивое меньшинство, политические классы не могут добиться власти иначе, как ухаживая за ним, льстя его временным, иногда очень дурным страстям и чаще всего обманывая его.

Да не подумают, что мы хотим указать преимущество монархии перед демократическими учреждениями. Мы твердо убеждены, что самая несовершенная республика в тысячу раз лучше, чем самая просвещенная монархия, ибо в республике есть минуты, когда народ, хотя и вечно эксплуатируемый, по крайней мере, не угнетен, между тем как в монархиях он

угнетен постоянно. И кроме того, демократический режим возвышает мало-помалу массы до общественной жизни, а монархия никогда этого не делает. Но хотя мы и отдаем предпочтение республике, все же мы принуждены признать и провозгласить, что какова бы ни была форма правления, все же, пока, вследствие *наследственного* неравенства занятий, имущественного, образования и прав, будет править исключительно меньшинство и будет неизбежная эксплуатация этим меньшинством большинства.

Государство есть не что иное, как эти систематизированные главенство и эксплуатация. Мы попробуем это доказать, рассматривая следствия управления народными массами каким-нибудь меньшинством, сколь угодно просвещенным и самоотверженным, в идеальном Государстве, основанном на свободном договоре.

Раз условия договора определены, остается лишь провести их на практике. Предположим, что народ, достаточно мудрый, чтобы признать свою собственную неспособность, имеет еще необходимую прозорливость, чтобы вверять управление общественными делами лишь самым лучшим гражданам.

Эти привилегированные индивиды, привилегированные вначале не с точки зрения права, а лишь на деле. Они были выбраны народом потому, что они самые просвещенные, самые искусные, самые мудрые, самые мужественные и самые самоотверженные. Взятые из массы граждан, которые по предположению все между собой равны, они не образуют еще пока собой отдельного класса, но лишь отдельную группу, привилегированную лишь природой, и вследствие этого отличенную народным избранием. Число их необходимо весьма ограниченно, ибо во всякой стране и во всякое время число людей, одаренных такими выдающимися качествами, что они словно вынуждают всеобщее уважение народа, бывает, как это показывает нам опыт, весьма незначительным. Итак, из боязни плохо выбрать, народ должен будет всегда избирать своих правителей из этого незначительного числа.

И вот общество уже разделяется на две категории, чтобы не сказать – еще на два класса, из которых одна, составленная из громадного большинства граждан, добровольно подчиняется правлению своих выборных; другая, состоящая из незначительного числа даровитых натур, признанных и избранных народом в качестве таковых, уполномочена народом управлять им. Завися от народного избрания, эти люди вначале не отличаются от массы граждан ничем иным, как теми самыми качествами, которые снискали им доверие своих соотечественников, и являются среди всей массы граждан, естественно, самыми полезными и самоотверженными. Они не присваивают еще себе никакой привилегии, никакого особенного права, за исключением права выполнять, покуда этого желает народ, специальные обязанности, которые на них возложены. Во всем прочем, в образе жизни, в условиях и средствах своего существования они нисколько не отличаются от народа, так что между всеми продолжает царить совершенное равенство.

Но может ли равенство долго продолжаться? Мы утверждаем, что нет, и это очень легко доказать.

Нет ничего более опасного для личной нравственности человека, как привычка повелевать. Самый лучший, самый просвещенный, бескорыстный, великодушный, чистый человек неизбежно испортится при этих условиях. Власти присущи два чувства, которые обязательно производят эту деморализацию: *презрение к народным массам и преувеличение своего собственного достоинства.*

Массы, сознав свою неспособность к самоуправлению, выбрали меня в вожди. Тем самым они открыто признали мое *превосходство* и свое *сравнительное ничтожество.* Из всей этой толпы людей, в которой есть лишь два-три человека, могущих быть признанными мной за равных, я один способен управлять общественными делами. Народ во мне нуждается, он не может обойтись без моих услуг, между тем как я довольствуюсь самим собой. Итак, народ должен повиноваться мне для собственного своего блага, и, снисходя до управления им, я создаю его счастье.

Не правда ли, этого всего совершенно достаточно, чтобы потерять голову и обезуметь от гордости? Таким образом, власть и привычка повелевать становятся даже для самых просвещенных и добродетельных людей источником интеллектуального и морального самообольщения.

Всякая человеческая мораль – немного ниже мы постараемся доказать абсолютную истину этого принципа, развитие, объяснение и самое широкое применение которого составляют главную цель этого сочинения, – всякая коллективная и индивидуальная мораль существенно покоится на *человеческом уважении.* Что подразумеваем мы под человеческим уважением? Признание человечности, человеческого права и человеческого достоинства в каждом человеке, какова бы ни была его раса, цвет его кожи, степень развития его ума и даже нравственности. Но могу ли я уважать человека, если он глуп, зол, презренен? Конечно, если он обладает этими качествами, то мне невозможно уважать в нем его подлость, тупоумие, глупость. Эти качества меня возмущают и вызывают во мне отвращение; я приму против них в случае надобности самые энергичные меры и даже убью этого человека, если у меня не останется других средств защитить свою жизнь, свое право или то, что мне дорого и мной уважаемо. Но во время самой энергичной, ожесточенной и в случае нужды смертельной борьбы с этим человеком я должен уважать в нем его человеческую природу. Только этой ценой я могу сохранить свое собственное человеческое достоинство. Однако, если этот человек не признает ни в ком этого достоинства, можно ли признавать его в нем? Если он своего рода дикий зверь или, как это иногда случается, хуже, чем зверь, можно ли признавать в нем человеческую природу, не будет ли это значить вдаваться в фикцию. Нет, ибо каково бы ни было его интеллектуальное и моральное падение, если органически он не является ни идиотом, ни безумным – в каких случаях с ним надо было бы обращаться не как с преступником, а как с больным, – если он в полном обладании своими чувствами и данным ему от природы умом, его человеческая природа, среди самых чудовищных уклонений, все же весьма реально существует в нем *в качестве всегда открытой для него, покуда он жив, возможности возвыситься до сознания своей человечности – если только произойдет коренная перемена в социальных условиях, делающих его тем, чем он есть.*

Возьмите самую умную, самую способную обезьяну, поставьте ее в самые лучшие человеческие условия – и все же вы никогда не сделаете из нее человека. Возьмите самого закоренелого преступника и самого бедного умом человека; если только ни в одном из них нет какого-нибудь органического дефекта, определяющего его идиотизм или неизлечимую манию, то прежде всего вы должны будете признать, что если один сделался преступником, а другой еще не возвысился до сознания своей человечности и своих человеческих обязанностей, то *виноваты в этом не они сами, а социальная среда, в которой они родились и развились.*

Здесь мы касаемся самого важного вопроса социальной науки о человеке вообще. Мы уже повторили неоднократно, что мы *абсолютно отрицаем свободу воли,* в том смысле, какой приписывают этому слову теология, метафизика и наука о праве, т. е. смысле произвольного самоопределения индивидуальной воли человека, независимо от всяких естественных и социальных влияний.

Мы отрицаем существование души, существование духовной субстанции, независимой и отделимой от тела. Напротив того, мы утверждаем, что, подобно тому, как тело индивида, со всеми своими способностями и инстинктивными предрасположениями, является не чем иным, как производной всех общих и частных причин, определивших его индивидуальную организацию, – что неправильно называется душой; интеллектуальные и моральные качества человека являются прямым продуктом или, лучше сказать, естественным, непосредственным выражением этой самой организации, именно степени органического развития, которой достиг мозг благодаря стечению независимых от воли причин.

Всякий даже самый ничтожный индивид является продуктом веков; история причин, способствовавших его образованию, не имеет начала. Если бы мы имели дар, которым никто не обладает и не будет никогда обладать, дар познать и охватить бесконечное многообразие трансформаций материи или Существа, которые фатально происходили от рождения нашего земного шара до его рождения, то мы бы могли, никогда даже не видев, сказать с почти математической точностью, какова его органическая природа, определить до малейших подробностей степень и характер его интеллектуальных и моральных способностей – одним словом, его *душу,* какова она в минуты его рождения. Но нам невозможно анализировать и охватить все эти последовательные трансформации, хотя мы можем сказать без страха ошибиться, что *всякий человеческий индивид в момент своего рождения является всецело продуктом исторического, т. е. физиологического и социального развития его расы, народа и касты, – если в его стране существуют касты, – его семьи, его предков и индивидуальной природы его отца и матери, передавших ему непосредственно, путем физиологического наследства, – в качестве исходного пункта для него и определения его индивидуальной природы, – все фатальные последствия их собственного предыдущего существования: как материального, так и нравственного, как индивидуального, так и социального, включая сюда все их мысли, чувства и поступки, включая разнообразные события их жизни и все крупные или мелкие происшествия, в которых они принимали участие, включая сюда равным образом бесконечное многообразие случайностей, которым они могли подвергаться*[62], и со всем тем, что они наследовали тем же способом от своих собственных родителей.

Нам нет надобности напоминать, чего никто, впрочем, не отрицает, что различия рас, народов и даже классов и семей, определяются причинами географическими, этнографическими, физиологическими, экономическими – включая сюда два крупных пункта: вопрос занятий, т. е. вопрос разделения коллективного труда общества и распределения богатства, и вопрос питания, как в отношении количества, так и в отношении качества, – а также причинами историческими, религиозными, философскими, юридическими и социальными; и что все эти причины, комбинируясь различным образом для каждой расы, каждой нации и чаще всего для каждой провинции и для каждой коммуны, для каждого класса и для каждой семьи, придают каждой особенную физиономию, т. е. различный физиологический тип, совокупность особенных предрасположений и способностей – независимо от воли индивидов, входящих в состав групп и являющихся всецело их продуктом.

Таким образом, каждый человеческий индивид в момент своего рождения является *материальной, органической производной* всего разнообразия причин, которые, комбинировавшись, произвели его. Его душа – т. е. его органическое предрасположение к развитию чувств, идей и воли – является лишь продуктом, она вполне определяется физиологическим, индивидуальным качеством его мозговой и нервной системы, которая, как и все его остальное тело, совершенно зависит от более или менее счастливой комбинации этих причин. Она составляет собственно то, что мы называем *отличительной, первоначальной природой индивида.*

Существует столько же различных характеров, сколько и индивидов. Эти индивидуальные различия проявляются тем яснее, чем более они развиваются, или, лучше сказать, они

---

[62] Случайности, которым подвержен зародыш во время своего развития в чреве матери, вполне объясняет различие, часто существующее между детьми тех же родителей, и делают для нас понятным, каким образом у умных родителей, может быть дитя-идиот. Но это вседа лишь несчастное исключение, происшедшее вследствие какой-нибудь случайной, минутной причины. Природа благодаря несуществованию бога никогда не бывает капризной, ничего не делает без достаточной причины и никогда не меняет раз принятого направления и стремления, если только она не принуждена к этому силой обстоятельств, так что закон воспроизведения человеческого рода путем следующих друг за другом брачных пар, составляющих семью, выражается так: если бы каждая пара прибавляла к физиологическому наследию от своих родителей новое физическое, интеллектуальное и моральное развитие, то – так как каждое духовное усовершенствование является усовершенствованием мозга – каждое вновь рождающееся существо должно быть во всех отношениях выше своих родителей.

не только проявляются с большей силой, *они действительно увеличиваются по мере того, как индивиды развиваются, потому что различные вещи, внешние условия – одним словом, тысячи по большей части неуловимых причин, воздействующих на развитие индивидов, – сами по себе весьма различны.* Это обусловливает то, что чем более подвигается в жизни какой-нибудь индивид, тем более обрисовывается его индивидуальная природа, тем более он отличается, как своими достоинствами, так и недостатками, от всех других индивидов.

До какой степени индивидуальный характер или душа, т. е. индивидуальные особенности мозгового и нервного устройства развиты в новорожденном ребенке? Разрешение этого вопроса является делом физиологов. Мы знаем лишь, что все эти особенности должны быть необходимо наследственными в том смысле, который мы пытались объяснить, т. е. определенными бесконечностью самых разнообразных причин: материальных и моральных, механических и физических, органических и духовных, исторических, географических, экономических и социальных, больших и малых, постоянных и случайных, непосредственных и очень отдаленных в пространстве и во времени, и *совокупность которых комбинируется в единое живое Существо и индивидуализируется в первый и в последний раз, в ряде всемирных видоизменений, единственно лишь в этом ребенке, который в чисто индивидуальном применении этого слова никогда не имел и никогда не будет иметь себе подобного.*

Остается узнать, до какой степени и в каком смысле этот индивидуальный характер является действительно определенным в тот момент, когда ребенок выходит из чрева матери. Является ли это определение лишь материальным или же в то же время духовным и моральным, хотя бы в качестве лишь естественной способности и тенденции или инстинктивного предрасположения? Рождается ли ребенок умным или глупым, добрым или злым, одаренным или лишенным воли, предрасположенным к развитию того или другого таланта? Может ли он унаследовать характер, привычки, недостатки или интеллектуальные и моральные качества своих родителей и предков?

Вот вопросы, разрешение коих чрезвычайно трудно, и мы не думаем, чтобы физиология и экспериментальная психология были в настоящее время достаточно зрелыми и развитыми, чтобы быть в состоянии ответить на них с полным знанием дела. Наш известный соотечественник г. Сеченов говорит в своем замечательном труде о деятельности мозга, что в громадном большинстве случаев 999/1000 частей психического характера индивида[63]… конечно, более или менее заметные в человеке до его смерти. «Я не утверждаю, – говорит он, – чтобы можно было посредством воспитания переделать дурака в умного человека. Это так же невозможно, как дать слух индивиду, рожденному без акустического нерва. Я думаю лишь, что, взяв с детского возраста по природе умного негра, японца или самоеда, можно из них сделать при помощи европейского воспитания, в самой среде европейского общества, людей, очень мало отличающихся в психическом отношении от цивилизованного европейца».

Устанавливая это отношение между 999/1000 частями психического характера, принадлежащими, согласно ему, воспитанию, и только одной тысячной, оставляемой им на долю наследственности, г. Сеченов не подразумевал, конечно, исключений: гениальных и необыкновенно талантливых людей или идиотов и дураков. Он говорит лишь о громадном большинстве людей, одаренных обыкновенными или средними способностями. Они являются, с точки зрения социальной организации, самыми интересными, мы сказали бы даже, единственно интересными, – ибо общество создано ими и для них, а не для исключений и не гениальными людьми, как бы ни казалось безмерным могущество этих последних.

Что нас особенно интересует в этом вопросе, это узнать: могут ли, подобно интеллектуальным способностям, также и *моральные качества* – доброта или злость, храбрость или трусость, сила или слабость характера, великодушие или жадность, эгоизм или любовь к ближ-

[63] Здесь недостает нескольких строчек в оригинале. (*Прим. изд.*)

нему и другие положительные или отрицательные качества этого рода, – могут ли они быть физиологически унаследованы от родителей, предков или, независимо от наследства, образоваться в силу какой-либо случайной, известной или неизвестной причины, которой подвергся ребенок во чреве матери? Одним словом, может ли ребенок принести, рождаясь, какие-нибудь *готовые моральные предрасположения?*

Мы этого не думаем. Чтобы лучше поставить вопрос, заметим, во-первых, что если бы существование *врожденных* моральных качеств было допустимо, то это могло бы быть лишь при условии, что они связаны в новорожденном ребенке с какой-нибудь физиологической, чисто материальной особенностью его организма: ребенок, выходя из чрева матери, не имеет еще ни души, ни ума, ни даже инстинктов; он рождается для всего этого; он, стало быть, лишь физическое существо, и его способности и качества, если он их имеет, могут быть лишь анатомическими и физиологическими. Поэтому для того, чтобы ребенок мог родиться добрым, великодушным, самоотверженным, смелым или злым, скупым, эгоистом и трусом, надо, чтобы каждое из этих достоинств или недостатков соответствовало какой-нибудь материальной и, так сказать, местной особенности его организма и именно его мозга, а такое предположение вернуло бы нас к системе Галля, который думал, что он нашел для каждого качества и для каждого недостатка соответствующие шашки и впадины на черепе. Система эта, как известно, единогласно отвергнута современными физиологами.

Но если бы она была основательна, что бы отсюда вытекало? Раз недостатки и пороки, так же как и хорошие качества, врожденны, то остается узнать, могут ли они быть искоренены воспитанием или нет? В первом случае вина во всех преступлениях, сделанных людьми, падала бы на общество, не сумевшее дать им надлежащего воспитания, а не на них, которые могут, напротив, быть рассматриваемыми как жертвы социальной непредусмотрительности. Во втором случае, раз *врожденные* предрасположения признаны фатальными и непоправимыми, обществу не остается ничего другого, как отделаться от всех индивидов, запечатленных каким-нибудь естественным, врожденным пороком. Но, дабы не впасть в отвратительный порок лицемерия, общество должно тогда признать, что оно делает это единственно в интересах своего сохранения, а не справедливости.

Есть еще одно соображение, могущее способствовать уяснению этого вопроса: в мире интеллектуальном и моральном, как и в мире физическом, существует только положительное; отрицательное не существует, оно не есть что-нибудь само по себе, а лишь более или менее значительное уменьшение положительного. Так, например, холод является лишь известным состоянием тепла, это лишь относительное отсутствие, лишь очень значительное уменьшение тепла! Так же обстоит дело с мраком, являющимся лишь светом, уменьшенным донельзя… Мрак и холод не существуют. В мире интеллектуальном глупость является не чем иным, как слабостью ума, а в нравственности недоброжелательство, жадность, трусость являются лишь доброжелательством, великодушием и храбростью, доведенными не до нуля, а до очень малого количества. Как бы оно мало ни было, все же оно положительное количество, которое может быть развито, усилено и увеличено воспитанием в положительном смысле, – что было бы невозможно, если бы пороки или отрицательные качества являлись отдельными свойствами. Тогда их надо было бы убивать, а не развивать, ибо развитие их могло бы в таком случае произойти лишь в отрицательном смысле.

Наконец, не позволяя себе предрешать эти важные физиологические вопросы, в которых мы не скрываем своего полного невежества, прибавим лишь, озираясь на единогласный авторитет всех современных физиологов, последнее соображение. Констатировано и доказано, что в человеческом организме нет отдельных областей и органов для инстинктивных, аффективных, моральных и интеллектуальных способностей и что все вырабатываются *в одной и той*

же части мозга посредством *одного и того же нервного механизма*[64]. Отсюда с очевидностью вытекает, что не может быть вопроса о различных нравственных или безнравственных предрасположениях, фатально определяющих в самом организме ребенка наследственные и врожденные достоинства или пороки, и что *моральная врожденность* никоим образом не обособляется от *интеллектуальной врожденности,* ибо и та и другая сводится к большей или меньшей степени совершенства, достигнутого вообще развитием мозга.

«Раз признаны анатомические и физиологические свойства ума, – говорит Литтре (стр. 355), – то можно проникнуть в самую глубь его истории. Покуда ум не был переделан и обогащен цивилизацией, покуда он обладал лишь простыми идеями[65], производимыми как внутренними, так и внешними впечатлениями[66], *он находился на самой низшей ступени развития;* для того, чтобы подняться на самую высшую ступень, ум обладает лишь способностью задерживать впечатления и способностью ассоциации[67], но этого достаточно. Мало-помалу образуются *сложные комбинации,* увеличивающие силу и поле мозговой деятельности[68]; наконец, подвигаясь все вперед, человеческий мозг начинает совершать более крупную умственную работу. *Умственная машина* увеличивается и совершенствуется, а без машины нельзя сделать ничего значительного ни в интеллектуальной области, ни в области промышленной».

«По мере того, как совершается эта работа мозга, она призывает к себе на помощь важное свойство жизни, а именно *наследственность,* которая способствует закреплению полученного результата в настоящем и облегчению дальнейшего усовершенствования. *Раз приобретены новые умственные способности, они передаются* – это экспериментальный факт – *потомкам под видом врожденностей;* врожденностей вторичных, третичных, которые, в умственной области, создают усовершенствованные человеческие породы и расы. Это заметно, когда сталкиваются друг с другом народности, шедшие по разным путям развития; низшая или исчезает, или лишь медленно достигает до уровня высшей».

---

[64] См. замечательную статью Литтре: «О методе в психологии» в журнале: «Позитивная философия». Физиологически установлено, говорит знаменитый позитивист, «что мозг ничего не создает; он лишь воспринимает. Его функции заключаются в перерабатывании того, что ему передается (чувствами), в желании и идеи; *но сам он не привносит ничего своего в то, что составляет сущность этих идей и этих чувств.* По правде сказать, все дается ему извне, ибо органические состояния, без которых не поддерживается ни коллективная жизнь и без которых не было бы и чувства, *являются внешними* (для человека), и природа осуществляет их независимо от всякого мозга и всякой психики, в растениях и в особенности в низших животных. Отсюда вытекает, что надо отчасти изменить смысл слова: *субъективное.* Субъективное не может означать нечто, что предшествует развитию человеческого существа, как то: *я*, идея, чувство, идеал. Оно может лишь означать *перерабатывающую способность нервных клеток*; за исключением этого смысла, субъективное всегда смешано с объективным» (№ 111, стр. 302). А на стр. 343—344 Литтре говорит еще: «Рассудок не является способностью, витающей над принесенными ему впечатлениями, его единственное дело (чисто физиологическое) состоит в сравнении их между собой, чтобы вывести заключение; но он не имеет над ними никакой высшей власти. *Галлюцинации* доказывают это; галлюцинации – это продукт впечатлений, не вызванных ничем объективным. В силу болезненной деятельности нервных клеток, приспособленных к передаче впечатлений, призрачные впечатления притекают к интеллектуальному центру („серое вещество оболочки той части мозга, которая занимает всю верхнюю и нижнюю часть черепного углубления или мозга в собственном смысле“), как будто бы они были реальными. Рассудок, воспринимая их, по необходимости работает над фиктивным материалом, и вот являются воображаемые представления. Впрочем, за исключением патологических явлений, совершенно подобное же доказательство даст нам развитие человеческих идей в истории. *Вначале наблюдения – за исключением самых простых – ошибочны, и суждения тоже ошибочны.* Люди видят, что солнце встает на востоке и заходит на западе, и, основываясь на этом, рассудок построяет неверное заключение, которое впоследствии исправляется лишь благодаря другим лучшим наблюдениям. *Если бы рассудок был первичной, а не вторичной способностью, то человеческая история была бы иной* (человечество не имело бы предком двоюродного брата гориллы). *Тогда бы великие истины были познаваемы раньше всего*, и из них бы дедуктивным путем вытекали второстепенные истины; такова и есть геологическая гипотеза…» Г. Литтре мог бы прибавить: а *также* метафизическая и юридическая.

[65] Мы сказали бы, первичными понятиями или даже простыми представлениями предметов.

[66] Чувственные впечатления, получаемые индивидом посредством нервов от внешних и внутренних предметов.

[67] Удержание простых идей в памяти и ассоциация их самой деятельностью мозга.

[68] Посредством ассоциации простых идей.

Ниже процитировав слова Люиса: «Мозговая сфера, где царят чувственные впечатления, и та, где происходят чисто интеллектуальные проявления, тесно соединены между собой», Литтре прибавляет:[69]

«Это совершенное подобие между интеллектом и чувством, а именно источником, где нервы черпают[70], и центром, где то, что они черпают, перерабатывается[71], вместе с тождественностью обоих центров, это означает, что *физиология чувства не может разниться от физиологии интеллекта».*

«Следовательно, *пришлось отказаться искать в мозгу органы для влечений и страстей и признать, что в нем происходят лишь впечатлительные процессы, которые надлежит определить».*

«Источником идей являются чувственные впечатления, источником чувств – впечатления *инстинктивные.* Дело нервных клеточек заключается в перерабатывании в чувства инстинктивных впечатлений. Проблема происхождения чувств совершенно параллельна проблеме происхождения идей».

«Этот род деятельности мозга происходит над двумя сортами инстинктивных впечатлений, над теми, которые принадлежат *инстинктам поддержания индивидуальной жизни*, и теми, которые принадлежат к *инстинктам поддержания жизни рода.* Первая категория перерабатывается в мозгу в *себялюбие,* вторая в *любовь к другим,* в первичной форме, половой любви, любви матери к ребенку и ребенка к матери».

«В этом отношении не лишнее будет бросить беглый взгляд на сравнительную физиологию. У рыб, стоящих в мозговом отношении на самой низшей ступени лестницы позвоночных и не знающих ни семьи, ни детенышей, инстинкт остается чисто половым. Но чувства, порождаемые им, начинают проявляться у некоторых млекопитающих и у птиц; устанавливается настоящее сожительство, но по большей части оно лишь временно. Так же точно обстоит дело с зачатками семейных отношений между родителями и детенышами. Наконец, у некоторых животных, и между прочим у человека, между различными семьями образуются такого же рода отношения, как между членами одной и той же семьи; там и сям, среди животных зарождается общественность. Раз фундамент, таким образом, заложен, то нетрудно понять, что *первичные чувства,* по мере осложнения жизни, как для индивида, так и для общества, *переходят во вторичные чувства и в комбинации чувств, которые становятся столь же нераздельными, как нераздельны в интеллекте ассоциированные идеи»* (стр. 357).

Таким образом, по-видимому, установлено, что в мозгу не существует *специальных органов,* ни для различных интеллектуальных способностей, ни для различных моральных качеств, аффектов и страстей, добрых или злых. Следовательно, ни достоинства, ни недостатки не могут быть унаследованы, врожденны, ибо, как мы сказали, эта наследственность и врожденность может быть в новорожденном лишь физиологической, материальной. В чем же может заключаться прогрессивное, исторически передаваемое совершенствование мозга, как в интеллектуальном, так и в моральном отношении? Единственно в гармоническом развитии всей мозговой и нервной системы, т. е. как в верности, тонкости и живости нервных впечатлений, так

---

[69] Стр. 357.

[70] Источник, где нервы почерпают как чувственные, так и инстинктивные впечатления, или sensorium communis, это, по мнению Литтре и Люиса, оптический слой, куда стекаются все, как внешние, так и внутренние впечатления – т. е. произведенные внешними предметами, или же являющиеся изнутри организма, – и который (оптический слой) «системой волокон и их соединений передает эти впечатления серому веществу оболочки мозга-центра, как аффективных, так и интеллектуальных способностей» (стр. 340—341).

[71] Серое вещество мозга, состоящее из нервных клеточек: «Установлено, что нервные клеточки, составляющие вещество мозга, являясь, анатомически, окончанием нервов, куда стекаются все внутренние впечатления, служат для переработки этих впечатлений в идеи; затем, по образовании идей, для суждения о сходстве или различии их, для задержания их в памяти, для соединения их путем ассоциации. Ни более ни менее. Все интеллектуальное развитие человека имеет своей исходной точкой эти анатомические и физиологические условия» (стр. 352).

и в способности мозга перерабатывать эти впечатления в чувства, в идеи и комбинировать, охватывать и удерживать все более и более широкие ассоциации чувства и идей.

Весьма вероятно, что, если у какой-нибудь расы, нации, у какого-нибудь класса или в какой-нибудь семье, вследствие их отличительной природы, всегда обусловленной их географическим и экономическим положением, характером их занятий, количеством и качеством пищи, так же как их политической и социальной организацией, одним словом, всей их жизнью и большей или меньшей степенью интеллектуального и морального развития, – что, если, вследствие всех этих условий, одна или несколько систем органических функций, совокупность которых образует жизнь человеческого тела, будут развиты в ущерб всем другим системам в родителях – весьма вероятно, почти несомненно, говорим мы, что их ребенок унаследует в той или иной степени ту же плачевную дисгармонию – с возможностью только исправить ее до некоторой степени благодаря своей собственной будущей работе над самим собой, а иногда также благодаря социальным революциям, без которых установление более полной гармонии в физиологическом развитии индивидов, взятых в отдельности, может быть часто невозможным.

Во всяком случае, надо сказать, что абсолютная гармония в развитии человеческих мускульных, инстинктивных, интеллектуальных и моральных способностей является идеалом, который никогда нельзя будет осуществить; во-первых, потому, что история физиологически тяготеет более или менее (и да придет время, когда можно будет сказать: все менее и менее) – над всеми народами и над всеми индивидами; и затем потому, что всякая семья и всякий народ всегда поставлены в различные условия, между которыми, по крайней мере, некоторые будут всегда противоречить полному и моральному развитию людей.

Итак, то, что передается наследственным путем из поколения в поколение, то, что может быть *физиологически врожденным* в индивидах, рождающихся к жизни, это не достоинства их или недостатки, не идеи или ассоциации чувств и идей, а единственно лишь мускульный и нервный механизм, *более или менее усовершенствованные органы*, посредством которых человек движется, дышит, ощущает себя, получает внешние впечатления и удерживает их, воображает, судит, комбинирует, ассоциирует и понимает чувства и идеи, являющиеся не чем иным, как теми же самыми, как внешними, так и внутренними впечатлениями, сгруппированными и переработанными вначале в конкретные представления, затем в абстрактные понятия, при помощи чисто физиологической и, прибавим еще, совершенно непроизвольной деятельности мозга.

Ассоциации чувств и идей, последовательное развитие и видоизменение которых составляют всю интеллектуальную и моральную часть истории человечества, не обусловливают образование в человеческом мозгу новых органов, соответствующих каждой отдельной ассоциации, и, следовательно, не могут быть переданы индивидам путем физиологической наследственности. Физиологически наследуется лишь все более и более усиленная, расширенная и усовершенствованная способность понимать их и создавать новые. Но сами ассоциации и представляющие их сложные идеи, как, например, идея бога, отечества, нравственности и т. д., не могут быть врожденными и передаются индивидам лишь *путем общественной традиции и воспитания.* Они овладевают ребенком с первого дня его рождения, и так как они уже воплотились в окружающей его жизни, во всех, как материальных, так и моральных деталях общественной среды, в которой он родился, то они проникают тысячью различных способов в его, сначала детское, затем отроческое и юношеское сознание, которое рождается, растет и формируется под их всесильным влиянием.

Беря воспитание в самом широком смысле этого слова, понимая под ним не только обучение и уроки нравственности, но и главным образом примеры, являемые ребенку всеми окружающими лицами; влияние всего, что он слышит, что он видит; понимая под этим словом не только умственное образование ребенка, но также развитие его тела посредством питания, гигиены, физических упражнений, – мы скажем с полной уверенностью, что никто нам

серьезно не будет противоречить, что всякий ребенок, всякий юноша и, наконец, всякий взрослый человек является всецело продуктом среды, которая вскормила его и воспитала, – продуктом фатальным, непроизвольным и, следовательно, безответственным.

Человек рождается без души, без сознания, без тени какой-нибудь идеи или чувства, но с организмом, индивидуальная природа которого определена бесконечным числом обстоятельств и условий, предшествовавших самому появлению воли, и которая, в свою очередь, обусловливает большую или меньшую способность человека к восприятию и присвоению чувств, идей и ассоциаций чувств и идей, выработанных веками и переданных каждому как *общественное наследие,* при помощи полученного каждым воспитания. Плохо это воспитание или хорошо, оно навязано человеку обстоятельствами, он в нем нисколько не ответствен. Оно формирует человека, насколько позволяет более или менее счастливая индивидуальная природа последнего, так сказать, по своему образу, так что человек думает, чувствует и желает то же самое, что думают, чувствуют и хотят все его окружающие.

Но в таком случае спросят, может быть, как же объяснить, что воспитание, по внешности, по крайней мере, почти тождественное, часто дает самые различные результаты, что касается развития характера, ума и сердца? А разве не различны при рождении индивидуальные организмы? Это природное и врожденное различие, сколько бы ни было оно мало, является, однако, положительным и реальным: различие в темпераменте, в жизненной энергии, в преобладании одного чувства, одной группы органических функций над другой, в природных живости и способности. Мы постарались доказать, что пороки так же, как и моральные качества – факты индивидуального и общественного сознания, – не могут быть фактически унаследованы и что человек не может быть предопределен физиологически быть непоправимо злым, неспособным к добру; но мы не думали отрицать, что различные индивидуальные организмы, из которых одни, более счастливо одаренные, способны к более широкому гуманному развитию, чем другие. Правда, мы думаем, что в настоящее время слишком преувеличиваются естественные различия между индивидами и что наибольшую часть ныне существующих различий надо приписать не столько природе, сколько различному воспитанию, полученному каждым.

Для разрешения этого вопроса надо было бы, во всяком случае, чтобы две науки, могущие его разрешить, а именно: физиологическая психология, или наука о мозге, и педагогика, или наука о воспитании и общественном развитии мозга, вышли из детского состояния, в котором они обе еще пребывают. Но раз установлено физиологическое различие между индивидами в какой бы то ни было степени, то с совершенной очевидностью вытекает, что какая-нибудь система воспитания, сама по себе превосходная как абстрактная система, может быть хороша для одного и дурна для другого.

Для того чтобы быть совершенным, воспитание должно бы было быть гораздо более индивидуализированным, чем оно является теперь; индивидуализировано в духе свободы и основано на уважении свободы, даже и в детях. Оно должно стремиться не к *дрессировке* характера, ума и сердца, а к их пробуждению к независимой и свободной деятельности. Оно не должно иметь другой цели, как развитие свободы, другого культа, или, лучше сказать, другой морали, другого объекта уважения, как свободу каждого и всех; как простую справедливость, не юридическую, а человеческую; простой разум, не теологический, не метафизический, а научный; и труд как мускульный, так и нервный, – как первую и обязательную для всех, основу всякого достоинства, всякой свободы и права. Такое воспитание, широко распространенное на всех, на женщин, как и на мужчин, при экономических и социальных условиях, основанных на справедливости, заставило бы исчезнуть много так называемых естественных различий.

Нам могут возразить: как бы ни было несовершенно воспитание, но, во всяком случае, им одним нельзя объяснить тот неоспоримый факт, что довольно часто в семьях, наиболее лишенных нравственного чувства, можно встретить личностей, поражающих нас благородством своих инстинктов и чувств, и что, напротив того, еще чаще в семьях, самых развитых

в нравственном и интеллектуальном отношении, встречаются индивиды, низкие по уму и по сердцу. Но это лишь видимое противоречие. В самом деле, хотя мы и сказали, что в огромном большинстве случаев человек является всецело продуктом социальных условий, в среде которых он развивается; хотя мы и оставили сравнительно малую долю влиянию физиологического наследства естественных качеств, с которыми человек уже рождается, тем не менее мы не отрицали этого влияния. Мы признали даже, что в некоторых исключительных случаях, в людях гениальных или очень талантливых, напр., так же, как в идиотах и в людях нравственно очень испорченных, это влияние естественного определения на развитие индивида – столь же фатального, как и влияние воспитания и общества – может быть даже очень велико. Последнее слово относительно всех этих вопросов принадлежит физиологии мозга, а эта последняя еще не достигла той степени развития, которая дала бы ей возможность разрешить их даже приблизительно. Единственная вещь, которую мы можем в данный момент с уверенностью утверждать, это то, что все эти вопросы бьются между двумя фатализмами: фатализмом естественным, органическим, физиологически наследственным, и фатализмом наследственности, общественной традиции, воспитания, общественного, экономического и политического устройства каждой страны. В этих двух фатализмах нет места для свободы воли.

Но, помимо естественного, положительного или отрицательного, определения индивида, которое может поставить его в большее или меньшее противоречие с духом, царящим в его семье, могут существовать для каждого отдельного случая еще другие, скрытые причины, которые в большинстве случаев всегда остаются неузнанными, но которые должны быть нами приняты тем не менее в расчет. Стечение особых обстоятельств, неожиданное событие, иногда даже очень незначительный сам по себе случай: нечаянная встреча какого-нибудь человека, книга, попавшая в руки данному индивиду в надлежащий момент, – все это, в ребенке, в подростке или в юноше, когда воображение кипит и все еще совершенно открыто для впечатлений жизни, может произвести коренной переворот как к добру, так и ко злу. Прибавьте упругость, свойственную всем молодым характерам, в особенности когда они одарены известной естественной энергией, которая заставляет их реагировать против слишком повелительных и настойчиво-деспотичных влияний и благодаря которой иногда даже избыток зла может породить добро.

Может ли, в свою очередь, породить зло избыток добра или то, что, обыкновенно, называется этим именем? Да, когда добро вменяется как деспотический, абсолютный закон – религиозный, доктринерно-философский, политический, юридический, социальный или семейно-патриархальный – одним словом, когда, как бы оно ни казалось добром, или на самом деле было добром, оно налагается на индивида как отрицание свободы, а не является ее продуктом. Но в таком случае бунт против добра, навязываемого таким способом, является не только естественным, но и законным; восстание это не толь-ко не зло, а, напротив, добро; ибо не существует добра вне свободы, а свобода является источником и абсолютным условием всякого добра, которое истинно достойно этого слова: *ведь добро – это не что иное, как свобода.*

Развить и доказать ту истину, которая нам лично представляется совершенно простой и ясной, – единственная цель этой статьи. Возвратимся теперь к нашему вопросу.

Пример того же самого видимого противоречия или аномалии мы часто имеем в более широком масштабе в истории народов. Например, как объяснить, что в еврейском народе, бывшем когда-то самым узким и односторонним народом на свете, до того односторонним и узким, что, признавая, так сказать, абсолютную привилегированность, божественное избрание, главным основанием своего существования, – этот народ считал, что он один угоден богу, что его бог, Иегова – бог-отец христиан, – доведя свою заботливость о еврейском народе до самой дикой жестокости ко всем другим народам, приказал ему уничтожить огнем и мечом все племена, занимавшие раньше Обетованную Землю, для того чтобы очистить место для своего народа-мессии; как объяснить, что в среде этого народа мог родиться Иисус Христос, осно-

ватель всечеловеческой мировой религии и тем самым разрушитель самого существования еврейской нации как политического и социального тела? Каким образом этот исключительно национальный мир мог породить такого реформатора, религиозного революционера, как апостол[72]……..

[72] Продолжение этой статьи утеряно, если только оно когда-нибудь было написано.

Принципы и организация интернационального революционного общества[73]

I. Революционный катехизис

1. *Отрицание наличности действительного, внемирового личного бога*, а посему и всякого откровения и всякого божественного вмешательства в дела мира и человечества. *Уничтожение служения божеству и его культа*.

2. *Заменяя* культ божества *уваженьем и любовью к человечеству*, мы провозглашаем:

человеческий разум единственным *критерием* истины,

человеческую совесть основой справедливости,

индивидуальную и коллективную свободу единственной создательницей порядка в человечестве.

3. *Свобода* есть абсолютное право всех взрослых мужчин и женщин не искать чьего-либо разрешения на свои деяния, кроме решения своей собственной совести и своего собственного разума, определяться в своих действиях только своей собственной волей и, следовательно, быть ответственными лишь ближайшим образом перед ними, затем перед обществом, к которому они принадлежат, но лишь постольку, поскольку они дают свое свободное согласие принадлежать к таковому.

4. Неправда, что свобода одного гражданина ограничивается свободой всех остальных. Человек действительно свободен лишь в той мере, в какой его свободно признанная свободной совестью всех остальных и как в зеркале в нем отражающаяся и излучающаяся из него свобода находит в свободе других подтверждение и расширение в бесконечность. Человек действительно свободен только среди равным образом свободных людей, и так как он свободен лишь в своем качестве человека, то рабство хотя бы одного-единственного человека на земле является как нарушение самого принципа человечности, отрицанием свободы всех.

5. *Свобода* каждого может, таким образом, найти осуществление только при равенстве всех. Осуществление свободы в правовом и фактическом равенстве является *справедливость*.

6. Существует только один-единственный догмат, один-единственный закон, одна-единственная моральная основа для людей – *свобода*. Уважать свободу ближнего есть *обязанность*; любить его, служить ему есть *добродетель*.

7. *Безусловное исключение всякого принципа авторитета и государственной необходимости*.

Человеческое общество, которое при своем зарождении было естественным фактом, предшествовавшим свободе и пробуждению человеческой мысли, и позднее стало религиозным фактом, организованным по принципу божественного и человеческого авторитета, должно сегодня получить новый образ на основе свободы, которая отныне должна стать единственным образующим принципом его политической и экономической организации. *Порядок в обществе должен быть равнодействующей всех местных, коллективных и индивидуальных свобод, достигших возможно высшей степени развития*.

---

[73] Данный проект по созданию тайного общества был завершен М.А. Бакуниным в 1866 г. На русском языке впервые полностью опубликован в 1928 г. Вяч. Полонским в книге «Материалы для биографии М. Бакунина» (т. III, с. 33–113).В настоящее издание составители сочли необходимым включить вторую главу этого документа, в концентрированной форме содержащую основные теоретические положения автора. Текст печатается по: Материалы для биографии М. Бакунина. Т. III. М.–Л., 1928. С. 39—68.

8. Следовательно, политическая и экономическая организация социальной жизни не должна более, как это имело место до сих пор, исходить сверху вниз и от центра к периферии, по принципу единства и вынужденной централизации, но *снизу вверх и от периферии к центру*, по принципу свободной ассоциации и федерации.

9. *Политическая организация*. Невозможно установить конкретное, всеобщее и обязательное правило для внутреннего развития и политической организации наций, ибо существование каждой отдельной нации подчинено множеству различных исторических, географических и экономических условий, которые не позволяют установить образец организации, равно подходящий и приемлемый для всех. Такое, безусловно лишенное всякой практической полезности предприятие было бы, впрочем, вторжением в богатство и непосредственность жизни, которая любит бесконечное разнообразие, и, что имеет еще большее значение, стало бы в противоречие с самим принципом свободы. *Но все же имеются существенные, абсолютные условия*, вне которых практическое осуществление и организация свободы будут всегда невозможны.

Эти условия следующие:

a) *Радикальная отмена всякой официальной религии и всякой привилегированной или даже только охраняемой, оплачиваемой и поддерживаемой государством церкви* . Безусловная свобода совести и пропаганды для каждого с неограниченной возможностью для каждого воздвигать своим богам, каковы бы они ни были, сколько ему угодно храмов и оплачивать и содержать священников своей религии.

b) Церкви, рассматриваемые как религиозные корпорации, не будут пользоваться ни одним из прав, предоставляемых продуктивным ассоциациям, они не могут ни наследовать, ни иметь какое-либо принадлежащее общине имущество, за исключением их домов или молитвенных учреждений, они не могут ни в каком случае заниматься воспитанием детей, ибо их единственная жизненная цель есть систематическое отрицание морали и свободы и доходное волшебство.

c) *Отмена монархии. Республика.*

d) *Отмена классов, рангов, привилегий и всякого рода различий. Безусловное уравнение в политических правах мужчин и женщин. Всеобщее право голоса.*

e) *Отмена*, уничтожение и моральное, политическое, судебное, бюрократическое и финансовое банкротство *опекающего главенствующего, централистического* государства, являющегося двойником и другим «я» церкви и тем самым постоянным источником обеднения, отупения и порабощения народов. Как естественное следствие, *упразднение всех государственных университетов*, причем забота об общественном образовании должна быть возложена исключительно на общины и свободные ассоциации; *отмена государственного суда,* причем все судьи должны избираться народом; *отмена, имеющая силу в настоящее время в Европе гражданских и уголовных кодексов, ибо все они вдохновляются одинаково культом бога, государства, религиозно или политически освященного семейства и собственности и противоречат общечеловеческому праву, а кодекс свободы может быть создан только самой свободой. Упразднение банков и всех остальных кредитных учреждений государства. Упразднение всякого центрального управления, бюрократии, постоянного войска и государственной полиции.*

f) Непосредственное и прямое избрание народом всех общественных, судебных и гражданских служащих, а также всех национальных, провинциальных и коммунальных представителей или советников, то есть избрание их путем предоставления права голоса всем взрослым мужчинам и женщинам.

g) *Внутренняя реорганизация* каждой страны с *безусловной свободой индивидов, производительных ассоциаций и общин,* как исходной точкой и основой.

h) *Индивидуальные права.* 1) Право каждого отдельного мужского или женского существа пользоваться со дня своего рождения до своего совершеннолетия полным содержанием, охраной, защитой, воспитанием и обучением за счет общества во всех общественных школах, низших, средних и высших, профессиональных, обучающих искусству и наукам. 2) Равное право каждого на совет и в пределах возможности на помощь со стороны общества в начале своего жизненного пути, каковой каждый достигший совершеннолетия будет избирать свободно; затем общество, объявившее его абсолютно свободным, уже не будет иметь какого-либо дальнейшего авторитетного наблюдения за ним и сложит с себя всякую дальнейшую ответственность за него, причем на обществе остается лишь обязанность по отношению к нему уважать его свободу и в случае нужды защищать таковую. 3) Свобода каждого совершеннолетнего индивида, мужчины или женщины, должна быть полной и безусловной; свобода передвижения, свобода громко высказывать всякое свое мнение, быть ленивым или прилежным, неморальным или моральным – одним словом, по своему усмотрению распоряжаться своей личностью и своим имуществом, не отдавая в этом никому отчета; свобода честно жить собственным трудом или позорной эксплуатацией благотворительности или личного доверия, раз последние добровольны и оказываются взрослым лицом. 4) Неограниченная свобода всякого рода пропаганды путем речей, печати, в общественных и частных собраниях, без всякой другой узды, налагаемой на эту свободу, кроме благотворной естественной мощи общественного мнения. Безусловная свобода союзов и соглашений, не исключая тех, которые по своей цели будут неморальны или казаться таковыми, и даже тех, целью которых было бы извращение и разрушение индивидуальной и общественной свободы. 5) Свобода может и должна обороняться только свободой и опасным противоречием, и бессмыслицей является посягать на нее, под вводящим в заблуждение своей кажущейся истинностью предлогом защиты ее, ибо мораль не имеет другого источника, другого побуждения, другой причины и другой цели, кроме свободы, а так как она сама не что иное, как свобода, то все налагаемые на свободу в защиту морали ограничения обращаются во вред морали. Психология, статистика и вся история доказывают нам, что индивидуальная и социальная имморальность всегда была следствием дурного общественного и домашнего воспитания и отсутствия или извращения общественного мнения, которое существует, развивается и морализуется только благодаря свободе, и прежде всего была следствием ошибочной организации общества. Опыт учит нас, говорит знаменитый французский статистик Кеттле, что общество всегда подготовляет преступления, и преступники только необходимые орудия для выполнения их. Поэтому бесполезно противопоставлять социальной имморальности строгость вторгающегося в индивидуальную свободу законодательства. Опыт учит нас, напротив, что авторитарная репрессивная система не только не кладет предела преступности, но все глубже и шире развивает ее в странах, зараженных ею, и что общественная и частная мораль всегда падала или повышалась в меру ограничения или расширения личной свободы и что, следовательно, чтобы сделать современное общество моральным, мы должны начать прежде всего с радикального разрушения всей этой, основанной на неравенстве, привилегиях, божественном авторитете и презрении к человечеству, политической и общественной организации, и когда мы перестроим ее заново на основах полнейшего равенства, справедливости, труда и воспитания, опирающегося на разум и вдохновляемого лишь уважением к человеку, мы должны поставить ее под охрану общественного мнения и вложить в нее душу безусловнейшей свободы. 6) Однако общество не должно оставаться совершенно безоружным перед лицом паразитирующих, злостных и вредных субъектов. Так как работа должна стать основой всех политических прав, то общество, нация, провинция или община могут каждая, в пределах своей компетенции, отнять эти права у тех взрослых лиц, которые, не будучи ни инвалидами, ни больными, ни старыми, живут за счет общественной или частной благотворительности, с обязательством восстановить их в их правах, как только они опять начнут жить собственным трудом. 7) Так как свобода каждого человеческого существа неотчуждаема, то

общество никогда не потерпит, чтобы кто-нибудь юридически продал свою свободу или как-либо иначе распорядился ею по контракту в пользу какого-либо другого лица иначе, как на основах полнейшего равенства и взаимности. Однако оно будет не в состоянии помешать тому, чтобы мужчина или женщина, совершенно лишенные чувства личного достоинства, стали к другому лицу и без контракта в отношения, носящие характер добровольного рабства, но оно будет рассматривать таких лиц как живущих за счет частной благотворительности и, следовательно, лишит их пользования политическими правами *на все время такого рабства*. 8) Все лица, утратившие политические права, теряют равным образом право воспитывать своих детей и иметь их при себе. 9) В случае нарушения свободно принятых на себя обязательств или в случае открытого и доказанного посягательства на собственность, личность и в особенности на свободу гражданина своей страны или иностранца общество налагает на местного или чуждого гражданина, совершившего проступок, наказание, положенное по местным законам. 10) Безусловная отмена всех позорящих и жестоких наказаний, телесного наказания и смертной казни, поскольку закон одобряет и приводит в исполнение таковые. Отмена всех наказаний, имеющих неопределенную или слишком долгую длительность, не оставляющих никакой надежды, никакой возможности реабилитации, ибо преступление должно рассматриваться как болезнь и наказание скорее как лечение, чем как возмездие со стороны общества. 11) Каждый, осужденный по законам какого-либо общественного союза, нации, провинции или общины, получит право не подчиниться наложенному на него наказанию, если он заявит, что не желает больше принадлежать к этому обществу. В таком случае последнее будет иметь право, с своей стороны, изгнать его из своей среды и объявить его стоящим вне его гарантии и его защиты. 12) Строптивый, который при этих условиях вновь подпадает под действие естественного закона, око за око, зуб за зуб, может быть ограблен, оскорблен, даже убит, по крайней мере на занимаемой этим обществом территории, причем обществу не будет до этого никакого дела. Каждый может от него отделаться, как от вредного животного, но ни в коем случае он не смеет поработить его, использовать его как раба.

i) *Права ассоциаций*. Кооперативные рабочие ассоциации представляют новое явление в истории; мы присутствуем ныне при их рождении и можем в настоящую минуту только предчувствовать то огромное развитие, которое им, без всякого сомнения, предстоит, и те новые политические и общественные отношения, которые из них возникнут, но ближе определить их мы не можем.

Возможно и даже весьма вероятно, что в один прекрасный день они, перешагнув за границы общин, провинций и даже современных государств, даруют всему человеческому обществу новый строй, причем последнее будет уже делиться не на нации, а на различные промышленные группы, организованные согласно потребностям производства, а не политики. Это дело будущего. Что нас касается, то теперь мы можем выставить только следующий безусловный принцип: *все ассоциации, какая бы ни была их цель, равно как и все индивиды, должны пользоваться безусловной свободой.* Ни общество, ни какая-либо часть его: община, провинция или нация – не имеют права мешать свободным лицам свободно образовывать ассоциации для какой-либо цели – религиозной, политической, научной, промышленной, художественной или даже в целях взаимного развращения и эксплуатации людей беспечных и глупых, при условии, *что последние уже достигли совершеннолетия.* Борьба с шарлатанами и губительными ассоциациями есть дело исключительно общественного мнения. Но общество имеет обязанность и право отказать в общественной гарантии, юридическом признании и политических и гражданских правах каждой ассоциации, как коллективу, которая по своим целям, своим программам и своим уставам будет противоречить началам, положенным в основу его строя, и все члены которой не находятся на положении полнейшего равенства и взаимности, причем оно не имеет, однако, права лишить самих членов сказанной выше гарантии и прав только на основании их участия в неузаконенных через такую общественную гарантию ассоциациях. Разница между

узаконенными и неузаконенными ассоциациями будет, таким образом, заключаться в следующем: ассоциации, признанные коллективными юридическими лицами, будут по этому самому иметь право приносить общественным судам жалобы на все другие узаконенные ассоциации в случае нарушения каких-либо принятых по отношению к ним обязательств. Непризнанные юридически ассоциации не будут иметь этого права как коллективы, но они не могут в этом случае и нести какой-либо юридической ответственности, ибо все их обязательства должны быть признаны не имеющими силы в глазах общества, не санкционировавшего их коллективное бытие, причем, однако, ни один из их членов не освобождается тем от взятых им на себя индивидуальных обязательств.

j) Деление страны на области, провинции, уезды и общины или на департаменты и коммуны, как во Франции, будет, естественно, зависеть от положения, исторических привычек, потребностей данного времени и особых обстоятельств, в которых находится та или другая страна. Здесь необходимы только два общих и обязательных основных положения для всякой страны, которая хочет серьезно организовать свою свободу. *Во-первых, каждая организация должна идти снизу вверх от общины к центральному единству, страны к государству, путем федерации. Во-вторых, между общинами и государством должен стоять по меньшей мере хоть один автономный посредник: департамент, область или провинция.* В противном случае община, в тесном смысле этого слова, будет всегда слишком слаба, чтобы сопротивляться равномерно и деспотически централизующему давлению государства, чем каждая страна по необходимости приводится к деспотическому режиму французской монархии, как мы это дважды видели на примере Франции, ибо деспотизм всегда имел свои корни скорее в централизующей организации государства, чем в постоянном естественном предрасположении королей к деспотии.

k) Основой политической организации страны должна быть *безусловно автономная община, всегда представляемая большинством голосов всех совершеннолетних жителей, мужчин и женщин на равных правах.* Никакая власть не имеет права вмешиваться в ее внутреннюю жизнь, ее действия и ее управление. Она назначает и сменяет путем голосования всех служащих, правителей и судей и распоряжается без всякого контроля своим имуществом и финансами. Каждая община будет иметь безусловное право создать, независимо от какого-либо высшего утверждения, свое собственное законодательство и свой собственный внутренний строй. Но чтобы войти в провинциальную федерацию и стать интегральной частью провинции, она должна безусловно согласовать свой собственный строй с главнейшими основаниями строя провинции и получить на него санкцию парламента этой провинции. Она должна также подчиняться приговорам провинциального суда и предписываемым провинциальным правительством мероприятиям по отношению к ней, раз таковые санкционированы голосованием провинциального парламента. В противном случае она была бы исключена из гарантии, солидарности и общения и стала бы вне закона провинции.

l) *Провинция не имеет права быть ничем, кроме свободной федерации автономных общин. Провинциальный парламент, состоящий или из одной-единственной палаты, представителей всех общин, или из двух палат, представителей общин и представителей всего населения провинции, независимо от общин, – этот провинциальный парламент, который не будет вмешиваться во внутреннее управление общинами, установит основные положения провинциальной конституции*, которые должны быть обязательными для всех общин, желающих принять участие в провинциальном парламенте. Эти основные положения, составляющие предмет настоящего катехизиса, перечислены в статье II. На этих положенных в основание началах *парламент* выработает провинциальное законодательство, объемлющее обязанности и права лиц, ассоциаций и общин, а также наказания за нарушение таковых, причем общинное законодательство сохраняет право отклоняться во второстепенных пунктах от провинциального законодательства, но не от его основ; при этом необходимы стремление к действительному, живому

единству, а не к однообразию, и вера в то, что еще более тесное единство принесут с собой опыт, время, развитие совместной жизни, собственное разумение и потребности общин, одним словом – свобода, но ни в каком случае не принуждение или насилие со стороны провинциальной власти, ибо даже истина и справедливость становятся, если они насильственно навязаны, неправдой и ложью. Провинциальный парламент установит конституцию федерации общин, их права и обязанности как таковые и по отношению к парламенту, суду и правительству провинции. Он голосует законы, распоряжения и мероприятия, вытекающие из потребностей всей провинции или связанные с решениями национального парламента, не теряя никогда из виду автономии провинций и автономии общин. Не вмешиваясь во внутреннее управление общин, он устанавливает долю их участия в национальных и провинциальных сборах. Община сама распределяет эту повинность между всеми работоспособными и взрослыми жителями. Парламент контролирует, наконец, действия, одобряет или отвергает предложения *провинциального правительства*, которое, естественно, всегда является выборным. *Провинциальный суд*, также выборный, выносит безапелляционное решение по всем делам между лицами и общинами, ассоциациями и общинами и является первой инстанцией по всем делам между общинами и правительством или провинциальным парламентом.

m) *Нация не может быть ничем иным, как федерацией автономных провинций. Национальный парламент,* состоящий или из одной палаты, представителей всех провинций, или из двух палат, представителей провинций и представителей всего национального населения безотносительно к провинциям, этот *национальный парламент*, который не будет вмешиваться в управление и во внутреннюю политическую жизнь провинций, установит *основные принципы национальной конституции*, которые должны быть обязательными для всех провинций, желающих принять участие в национальном соглашении. Эти основные положения перечислены в статье II. На основании их *национальный парламент* выработает *национальную конституцию*, от которой провинциальные конституции могут отклоняться во второстепенных пунктах, но отнюдь не в основных положениях. Он выработает *конституцию федерации провинций*, будет голосовать все законы, распоряжения и мероприятия, вытекающие из потребностей всей нации, определять все сборы и распределять их по провинциям, которым останется задача распределить таковые по общинам. Он будет, наконец, контролировать все действия *национальной исполнительной власти*, всегда избираемой на время, и принимать или отвергать ее предложения. Он заключает союзы между нациями, решает вопросы мира и войны и один имеет право, всегда на определенный срок, распорядиться набором национальной армии. Правительство будет только исполнительным органом его воли. *Национальный суд* выносит безапелляционные решения по всем делам между лицами, ассоциациями и общинами и провинцией, а также по всем спорам между провинциями. В случаях возникновения споров между провинциями и государством, подлежащих разрешению того же суда, провинции могут принести апелляционную жалобу в *интернациональный суд*, если таковой будет учрежден.

n) *Интернациональная федерация* будет обнимать все нации, которые объединились на ранее изложенных и имеющих быть изложенными ниже основаниях. Весьма вероятно и крайне желательно, когда снова настанет час великой революции, чтобы все народы, ставшие под стяг народного освобождения, протянули друг другу руку для заключения прочного и тесного союза против коалиции стран, которые станут под начало реакции. Этот союз образует сначала ограниченную федерацию, являясь как бы зарождением всеобщей федерации народов, которая в будущем должна охватить весь земной шар. Интернациональная федерация революционных народов с парламентом, судом и правящим комитетом, которые все интернациональны, естественно будет основана на принципах самой революции. В применении к международной политике эти принципы следующие: 1) Каждая страна, каждый народ, большой он или маленький, слабый или сильный, каждая область, провинция или община обладают абсолютным правом располагать своей собственной судьбой, определять свое существование, сами избирать себе

союзы, которые они желают заключить, соединяться и расходиться по собственному желанию и согласно своим потребностям, не считаясь с так называемыми историческими правами и политическими, коммерческими или стратегическими потребностями государств. Чтобы объединение частей в одно целое было подлинным, плодотворным и могучим, оно должно быть безусловно свободным. Оно должно являться исключительно результатом местной, внутренней потребности и взаимного притяжения частей; единственными же судьями этих потребностей и этого взаимного притяжения могут быть лишь сами части. 2) Полная отмена так называемого исторического права и ужасного права завоевания, ибо таковые противоречат принципу свободы. 3) Абсолютное отрицание политики расширения, славы и могущества государства, – политики, которая обращает каждую страну в крепость, исключающую из своей среды все остальное человечество и тем вынужденную смотреть на себя до известной степени как на все человечество, становиться самодовлеющей, самоорганизоваться внутри себя, как отдельный мир, независимый от человеческой солидарности в целом, и искать свое благоденствие и славу в том зле, какое она наносит другим народам. Страна-завоевательница по необходимости представляет внутри страну порабощенную. 4) Слава и величие народа заключаются единственно в развитии его человечности; мерилом его мощи, единства и удельного веса его внутренней жизнеспособности может служить единственно степень его свободы. Если за основу взять свободу, то необходимо придешь к единству; от единства же трудно и, пожалуй, невозможно прийти к свободе. Когда же в этом случае к ней приходят, то происходит это лишь путем разрушения образовавшегося внутри свободы единства. 5) Благосостояние и свобода как народов, так и отдельной личности абсолютно солидарны, отсюда – абсолютная свобода торговли, деловых сношений и передвижения между объединенными в федерацию странами. Упразднение границ, отмена паспортов и таможен. Каждый гражданин входящей в федерацию страны должен пользоваться всеми гражданскими правами во всех других странах той же федерации и иметь возможность легко приобрести в них все политические права и права гражданства. 6) Так как свобода всех, как отдельных личностей, так и коллективов, солидарна, то ни один народ, провинция, община и ассоциация не могут быть подвергнуты притеснению без того, чтобы это не угрожало свободе всех остальных и чтобы они не почувствовали этой угрозы. Каждый за всех и все за каждого – вот священный принцип *интернациональной федерации*. 7) Ни одна страна, входящая в федерацию, не должна иметь постоянной армии, и в ней не должно быть такой организации, благодаря которой солдат отделялся бы от гражданина. Постоянные армии и солдатчина – источники разорения, разврата, отупения и тирании внутри страны, и к тому же они являются угрозой благосостоянию и независимости всех других стран. Каждый здоровый гражданин должен в случае нужды становиться солдатом для защиты своего очага или свободы. Национальная оборона должна быть организована в каждой стране по общинам и провинциям приблизительно так, как это сделано в Соединенных Штатах Америки или в Швейцарии. 8) *Интернациональный парламент*, состоящий из одной палаты представителей всех народов или из двух палат, из коих одна состоит из вышеуказанных представителей, а другая из непосредственных представителей всего населения федерации без различия национальности, этот *федеральный парламент* составит интернациональный договор и установит федеральное законодательство, развивать и дополнять которое в соответствии с требованиями времени он один уполномочен. Единственное назначение *интернационального суда* заключается в том, чтобы в качестве высшей инстанции разрешать споры между государствами и их провинциями. Возможные же разногласия между отдельными федеративными государствами могут разрешаться лишь в первой и последней инстанции интернациональным парламентом, который тоже безапелляционно решает все вопросы общей политики, а также и вопросы войны против реакционной коалиции от имени революционной федерации. 9) Ни одно из федеративных государств не может вести войну против другого федеративного государства. Раз интернациональный парламент вынес свое решение, государство, против которого вынесено это реше-

ние, должно подчиниться. Если оно этого не сделает, то все остальные государства, входящие в федерацию, должны порвать с ним федеральные отношения, поставить его вне федерального закона, солидарности и федерального общения и, в случае нападения на них с его стороны, солидарно вооружиться против него. 10) Все государства, принадлежащие к революционной федерации, должны принимать деятельное участие во всякой войне, какую придется вести одному из них с не принадлежащим к федерации государством. Прежде чем объявить войну, каждое федеральное государство должно о том заявить парламенту и лишь тогда ее объявить, когда интернациональный парламент найдет, что имеется достаточный повод к войне. В таком случае исполнительная федеральная директория берет в свои руки дело обиженного государства и требует именем всей революционной федерации немедленного удовлетворения от нападающего чуждого государства. Если же парламент придет к заключению, что в данном случае ни нападения, ни действительной обиды не произошло, то он посоветует государству, принесшему жалобу, не затевать войны и заявит ему, что если оно тем не менее вздумает воевать, то ему придется вести эту войну одному. 11) Надо надеяться, что со временем входящие в федерацию государства откажутся от разорительной роскоши отдельного представительства и будут довольствоваться одним федеральным дипломатическим представительством. 12) *Ограниченная интернациональная революционная федерация* по отношению к народам, которые захотели бы впоследствии к ней примкнуть, должна оставаться открытою на основе идей и воинствующей, активной солидарности революции, как мы ее здесь изложили, никогда никому и ни при каких условиях не делая уступок в отношении этих принципов. Следовательно, в федерацию могут войти лишь те народы, которые примут принципы, перечисленные в статье II.

10) *Социальная организация.* Без *политического равенства* не может быть действительной политической свободы, но политическое равенство будет лишь тогда возможным, когда установится равенство экономическое и социальное.

a) Равенство не означает ни уравнения индивидуальных различий, ни интеллектуального, морального и физического тождества индивидов. Это разнообразие способностей и сил, эти различия расы, национальности, пола, возраста среди людей вовсе не составляют социального зла, а, напротив, представляют богатство человечества. Экономическое и социальное равенство в равной мере вовсе не обусловливает равенства личных состояний, поскольку они являются результатом способности, производительной энергии и бережливости отдельных лиц.

b) Равенство и справедливость требуют лишь одного, а именно: *такого устройства общества, чтобы каждое человеческое существо при своем появлении на свет нашло в нем, поскольку это зависит не от природы, а от общества, одинаковые средства для развития в детстве и в юношеском возрасте до полной возмужалости, сначала в отношении своего воспитания и образования, а позднее для упражнения своих сил, которыми природа наделила каждого человека для работы*. Это равенство в *исходной точке*, которая требует справедливости для всякого, окажется невозможным до тех пор, пока существует право наследования.

c) Справедливость и достоинство человека требуют, чтобы *каждый был сыном лишь собственных своих дел.* Мы с негодованием отвергаем догмат первородного греха, наследственного позора и ответственности. С той же по – следовательностью должны мы отвергнуть мифическую наследственность добродетели, ложную наследственность почестей и прав, а также и *наследственность* имущества. Наследник какого-нибудь имущества уже не является сыном своих дел и в отношении исходной точки оказывается в привилегированном положении.

d) *Отмена права наследования.* До тех пор, пока будет существовать это право, будут продолжать существовать, если не по праву, то по крайней мере на деле, наследственные различия классов, положений, имущества – словом, социальное неравенство и привилегии. А фактическое неравенство по закону, присущему человеческому обществу, всегда приводит к неравенству юридическому; социальное неравенство обязательно приводит к неравенству политическому. А без политического равенства, как мы говорили, не может быть свободы в общем,

человеческом, истинно демократическом смысле этого слова: общество продолжало бы распадаться на две неравные части, из которых одна, неизмеримо большая, охватывающая всю массу народа, терпела бы притеснение и эксплуатацию другой. Следовательно, *право наследования противостоит победе свободы*; и если общество хочет сделаться свободным, оно должно его отменить.

e) *Оно должно его отменить, ибо это право, основанное на фикции, само противоречит принципу свободы.* Все личные, политические и социальные права связаны с действительной, живой личностью. После смерти существует лишь фиктивная воля лица, уже не существующего и утесняющего во имя смерти живых. Если умерший дорожит выполнением своей воли, то пусть же сам придет и выполнит ее, если может; но он не имеет права требовать, чтобы общество предоставило в распоряжение его ничтожества всю свою власть и свои права.

f) Законная и серьезная задача права наследования всегда заключалась в том, чтобы обеспечить грядущим поколениям средства развиваться и становиться зрелыми людьми. *А потому право наследовать будет иметь лишь фонд воспитания и общественного обучения*, с обязательством заботиться о равном уходе, воспитании и обучении для всех детей от их рождения до совершеннолетия и полной их свободы. Таким путем все родители в равной мере будут успокоены относительно судьбы своих детей, а так как равенство всех является одним из основных условий нравственности каждого, а привилегии служат источником безнравственности, то все родители, любовь которых к детям благоразумна и служит не тщеславию их, а сознанию человеческого достоинства, даже если бы они могли оставить своим детям наследственную долю, которая поставила бы их в привилегированное положение, предпочтут для них режим полного равенства.

g) По устранении неравенства, вытекающего из права наследования, все же сохранится, хотя и в значительно меньшей силе, неравенство, вытекающее из различия природных способностей, сил и производительной энергии отдельных личностей, – различие, которое хотя никогда окончательно не исчезнет, однако постепенно будет ослабевать под влиянием основанного на равенстве воспитания и социальной организации и которое, впрочем, с отменой права наследования никогда уже не будет ложиться бременем на грядущие поколения.

h) *Труд* – основа достоинства человека и его права, ибо лишь свободным разумным трудом творит человек цивилизованный мир, сам, как творец, отвоевывая у внешнего мира и у собственной животной природы свое человеческое естество и свое право.

Клеймо бесчестия, наложенное на идею труда в античном мире и в феодальном обществе, еще и доныне не вполне смытое, несмотря на все фразы о достоинстве труда, которые ежедневно повторяются на все лады, имеет два источника: прежде всего характерное убеждение древних, которое и в наши дни имеет тайных приверженцев, будто для того, чтобы дать части человечества возможность гуманизироваться при посредстве науки, искусства, правотворчества и правоосуществления, необходимо, чтобы другая его часть, и естественно гораздо более многочисленная, посвятила бы себя физическому труду в качестве рабов. Этот основной принцип античной цивилизации был причиной ее крушения. Городская община, развращенная и дезорганизованная привилегированной праздностью граждан и, с другой стороны, подточенная незаметной и медленной, но упорной деятельностью этого обездоленного мира рабов, который, несмотря на свое рабство, спасительным действием труда, хотя и подневольного, был морализован и сохранен в его первобытной силе, – эта античная городская община пала под ударами варварских народов, к которым эти рабы большей частью и принадлежали по рождению. Христианство, эта религия рабов, разрушило позднее античное неравенство лишь для того, чтобы создать новое; привилегия божьей милости и богоизбранничества (в соединении с) неравенством, по необходимости возникшим из права завоевания, снова разделила на два лагеря человеческое общество: на смердов и дворянство, на подвластных и на господ; последние получили в удел благородное военное ремесло и ремесло управления, в то время как на

долю крепостных оставалась лишь работа, на которую смотрели не только как на унизительную, но и как на проклятую. Та же причина вызывала неизбежно то же следствие: мир дворянства, обессиленный и деморализованный привилегией праздности, пал в 1789 году под ударами крепостных возмущенных рабочих, объединившихся и могучих. Тогда была провозглашена свобода труда, его правовая реабилитация. Но лишь правовая, ибо фактически труд по-прежнему унижен и порабощен. Первый источник этого порабощения, содержавшийся в догмате политического неравенства людей, был засыпан великой революцией; поэтому современное презрение к труду приходится приписать второму источнику, который заключается не в чем ином, как в разделении между *умственным и физическим трудом*, постепенно развившимся и продолжающим существовать и поныне; оно воспроизводит в новой форме античное неравенство и снова делит социальный мир на два лагеря: *меньшинство*, ныне *привилегированное* не по закону, а по капиталу, и *большинство рабочих по принуждению*, принуждаемых ныне уже не несправедливым преимуществом, предоставляемым законом, а голодом. Действительно, в наше время достоинство труда теоретически признается, и общественное мнение считает, что позорно жить без труда. Но так как человеческий труд, рассматриваемый в целом, распадается на две части, из коих одна, как всецело умственная, признается исключительно почетной, заключая в себе искусства, мышление, концепцию, изображение, исчисление, управление и общее, а также частное руководство трудом, другая же лишь физическое выполнение, которое через экономический и социальный закон разделения труда ограничивается чисто механической деятельностью без мысли и идеи, – при этих обстоятельствах привилегированные хозяева капитала, в том числе и люди, по своим личным способностям менее всего к этому призванные, овладели первой категорией труда и предоставили вторую народу. Отсюда проистекают три великих зла: одно для привилегированных капиталов, второе для народных масс и третье, вытекающее из двух предыдущих, для продукции, благосостояния, справедливости и умственного и морального развития всего общества. Зло, от которого страдают привилегированные классы, заключается в следующем: взяв себе при распределении социальных функций наиболее удобную их часть, они начинают занимать в умственном и моральном мире все менее и менее значительное место. Бесспорно, что для развития ума, науки и искусства известный досуг необходим; но такой досуг надо заслужить, он должен следовать за здоровым утомлением от дневного труда, как заслуженный отдых, который должен зависеть лишь от большей или меньшей степени энергии, способности и доброй воли отдельного лица и быть предоставлен обществом всем без исключения и в равной мере. Между тем всякое свободное время, предоставляемое по привилегии, нисколько не укрепляет ума, но расслабляет, деморализует и убивает его. Вся история учит нас, что, за редкими исключениями, привилегированные, благодаря богатству и званию, классы всегда были наименее продуктивными в умственном отношении, а величайшие открытия в области науки, искусства и промышленности были в большинстве случаев сделаны людьми, которые в юном возрасте были вынуждены зарабатывать себе пропитание тяжелым трудом. Человеческая природа так устроена, что возможность дурного всегда порождает это дурное и что нравственность отдельного человека в гораздо большей степени зависит от условий его жизни и от его среды, чем от его собственной воли. В этом отношении, как, впрочем, и во всех остальных, закон социальной солидарности неумолим, так что, если желаешь поднять мораль людей, надо не столько заботиться об их совести, сколько о социальных условиях их существования, и, как для отдельного человека, так и для общества, нет лучшего средства поднять нравственный уровень, как свобода при полнейшем равенстве. Посадите самого искреннего демократа на трон; если он немедленно его не покинет, то непременно сделается отъявленным негодяем. Человек, рожденный аристократом, если он по счастливой случайности не возненавидит своего звания и не будет стыдиться своего дворянства, неизбежно будет тщеславным и ничтожным, вздыхающим о прошлом, бесполезным для настоящего и яростным противником будущего. Точно так же и буржуа, баловень капи-

тала и привилегированного досуга, будет проводить свободное время в праздности, разврате и кутежах или использует капитал и досуг как страшное оружие для еще большего порабощения класса трудящихся и вызовет в конце концов против себя революцию, более ужасную, чем революция 1793 года.

Еще легче определить то зло, от которого страдает народ; он работает на других, и работа его – без свободы, досуга и умственной деятельности – тем самым делается недостойною и унижает, подавляет и убивает его. Он вынужден работать на других, ибо, рожденный в нищете, без воспитания и разумного обучения, морально порабощенный религиозными влияниями, он оказывается брошенным в жизнь, безоружным, лишенным авторитета, без инициативы и собственной воли. Вынужденный голодом с самого раннего возраста зарабатывать себе жалкий кусок хлеба, он должен продавать свою физическую силу, свой труд на самых суровых условиях и даже не думает, да и не имеет к тому материальной возможности, потребовать иных условий. Под давлением нужды и отчаяния он иногда подымает восстание, но без единства и силы, сообщаемых мыслью, плохо руководимый большей частью предаваемый и продаваемый своими вождями, почти всегда в полном неведении, против которого из своих страданий ему направиться, часто нанося свои удары в ложном неправлении, он, по крайней мере до сих пор, терпел неудачу в своих возмущениях и, утомленный бесплодной борьбой, снова впадал в прежнее рабство. Это рабство будет длиться до тех пор, покуда капитал, стоя вне совокупной деятельности рабочих сил, будет их эксплуатировать и покуда образование, которое в хорошо организованном обществе должно было бы быть равномерно распространено на всех, развивает интеллект только привилегированного класса и тем предает в его руки всю умственную область труда, оставляя народу лишь грубое применение его порабощенных физических сил, всегда обреченных выполнять идеи, которые принадлежат не ему. Благодаря такому несправедливому и пагубному извращению труд народа становится чисто механическим, напоминающим труд рабочего скота, и, обесчещенный и презираемый, естественно лишается всякого права. Отсюда проистекает для общества огромное зло как в политическом, так и в умственном и моральном отношении. Меньшинство, пользующееся монополией науки, само, в результате такого преимущества, бывает поражено и в уме, и в сердце в такой степени, что от избытка знаний глупеет; ибо нет ничего вреднее и бесплоднее, как патентованная и привилегированная интеллигентность. С другой стороны, народ, совершенно лишенный науки, подавленный повседневным, механическим трудом, который скорее его притупляет, чем развивает его природные интеллектуальные способности, лишенный света, который указал бы ему путь к его освобождению, – народ напрасно надрывается над своей принудительной работой, и так как численное превосходство всегда на его стороне, то он всегда является угрозой существованию самого общества.

Поэтому представляется необходимым, чтобы ныне несправедливое разделение работы умственной и работы физической было иначе организовано. От такого разделения сильно страдает сама экономическая продуктивность общества: интеллект, оторванный от физического труда, становится невозможным, засыхает, вырождается, в то время как физическая работа, оторванная от ума, тупеет, и в таком искусственном разъединении ни одна из обеих частей не производит и половины того, что они могут и должны произвести, когда, объединенные в новом социальном синтезе, обе станут единой производительной деятельностью. Когда человек науки будет работать, а человек труда будет думать, интеллигентный и свободный труд будет почитаться лучшим украшением и похвалой человека, основой его достоинства, его права, проявлением его человеческой мысли на земле – и тогда человечество обретет свое устроение.

k) *Интеллигентный и свободный труд по необходимости будет ассоциированным трудом.* Свободному выбору каждого будет представлено объединяться с другими в труде или нет; но не подлежит сомнению, что, за исключением работ, связанных с воображением, самая при-

рода которых требует сосредоточения в себе интеллекта отдельного лица, во всех промышленных и даже научных и художественных предприятиях, допускающих сотрудничество, все будут предпочитать совместную работу по той простой причине, что последняя самым удивительным образом приумножает продуктивность труда каждого отдельного человека и что каждый член и сотрудник производительного объединения гораздо больше заработает с гораздо меньшей затратой времени и труда. Когда эти свободные производительные объединения уже не будут рабами, а в свою очередь станут хозяевами и владельцами необходимого им капитала, будут видеть в своей среде, в качестве сотрудников, наряду с рабочими силами, освобожденными благодаря всеобщему образованию, все специальные силы интеллекта, необходимые для каждого предприятия; когда они, объединившись между собою, всегда свободно, в соответствии со своими потребностями и наиболее подходящим для себя образом, переступив рано или поздно через национальные границы, образуют огромную экономическую федерацию; когда стоящий во главе ее парламент, располагая столь же всеобъемлющим, как и подробным, и точным статистическим материалом, какой в наши дни не может существовать, комбинируя спрос и предложение, будет направлять, устанавливать и распределять между отдельными странами производство мировой промышленности, так чтобы уже не было или почти не было ни торговых, ни промышленных кризисов, вынужденной остановки производства, катастроф и нужды и потери капитала, – тогда человеческий труд, источник свободы всех и каждого, возродит мир к новой жизни.

l) *Земля со всеми ее естественными богатствами – собственность всех, но обладать ею будут те, кто ее обрабатывает.*

m) Женщина, по своей природе отличная от мужчины, но не уступающая ему ни в чем, трудолюбивая и свободная как мужчина, будет провозглашена равной во всех политических и социальных правах, а также во всех политических и социальных функциях и обязанностях.

n) Упразднение не семьи естественной, а семьи *легальной*, основанной на гражданском законе и праве собственности. Церковный и гражданский брак заменяется *браком свободным*. Два взрослых лица разного пола имеют право по собственному желанию, согласно своим интересам и сердечным потребностям, соединяться и расходиться без того, чтобы общество имело право препятствовать их союзу или против их желания поддерживать его. Ввиду отмены права наследования и обеспечения обществом воспитания детей исчезают все доводы, которые до сих пор обычно приводятся в пользу политического и гражданского освящения нерасторжимости брака, и союз полов должен быть предоставлен полной свободе, которая и в этом случае, как и во всех других, является необходимым условием искренней нравственности. В свободном браке муж и жена должны в равной мере пользоваться безусловной свободой. Ни сила страсти, ни раньше добровольно предоставленные права не должны служить извинением для нападения одной стороны на свободу другой – всякое насилие в этом направлении должно рассматриваться как преступление.

o) За все время беременности вплоть до рождения ребенка женщина имеет право на поддержку со стороны общества, которая выплачивается не за счет матери, а за счет ребенка; мать, кормящая и воспитывающая своих детей, имеет равным образом право получать от общества возмещение ее расходов по содержанию их и оплату труда, который она несет ради них.

p) Родителю будет предоставлено право оставить детей у себя и заняться их воспитанием под опекой и высшим надзором общества, которое всегда будет иметь право и обязанность отнять детей у родителей, если только последние дурным примером, неправильным обучением или грубым, бесчеловечным обращением могут деморализовать детей или помешать их развитию.

q) Дети не принадлежат ни родителям, ни обществу, они принадлежат сами себе и своей будущей свободе. Как дети, до достижения ими возраста свободы, они находятся лишь в состоянии потенциальной свободы и должны поэтому подчиняться режиму *авторитета*. Родители

являются их естественными опекунами, это правда; однако *законный и верховный их опекун* – общество, право и обязанность которого – заниматься ими, ибо его собственная будущность зависит от того интеллектуального и морального руководства, какое преподадут детям, а взрослым общество может дать свободу лишь при том условии, что оно будет наблюдать за воспитанием несовершеннолетних.

r) *Школа должна заменять церковь* с той огромной разницей, что, в то время как церковь в своей религиозно-воспитательной деятельности преследует лишь одну цель – увековечить режим человеческого несовершеннолетия и так называемого божественного авторитета, воспитание и образование, даваемое школой, имеет, напротив, лишь ту цель, чтобы дать детям, по достижении ими совершеннолетия, действительное освобождение, так что и воспитание, и образование будут не чем иным, как постепенным, последовательным посвящением в свободу через троякое развитие: физических сил, ума и воли детей. Разум, истина, справедливость, уважение к человеку, сознание собственного достоинства, солидарно и неразрывно связанного с человеческим достоинством других, любовь к свободе для себя и для всех других, культ труда как основы и условия всякого права, презрения к неразумию, лжи, несправедливости, трусости, рабству и праздности – вот те начала, которые должны быть положены в основу общественного воспитания. Оно сперва должно образовать людей, затем рабочих, – специалистов и граждан, а по мере приближения детей к зрелому возрасту начало авторитета должно, естественно, все более и более уступать свое место в воспитании началу свободы, дабы юноши, достигшие зрелости к тому времени, когда закон делает их свободными, успели позабыть, как в детстве ими руководило и над ними властвовало что бы то ни было иное, чем свобода. Уважение к человеку, этот зародыш свободы, должно оставаться налицо даже при самых суровых и безусловных проявлениях авторитета. Все моральное воспитание заключается в следующем: внушайте детям это уважение, и вы из них сделаете людей.

По окончании начального и среднего образования дети, сообразно их способностям и склонностям, будут выбирать, по совету и разъяснению, но не по принуждению старших, высшее или специальное учебное заведение. Одновременно каждый должен изучать теоретически и практически наиболее привлекательную для него отрасль промышленности, а деньги, заработанные им за время ученичества, он получит по достижении совершеннолетия.

s) Юноша, достигший совершеннолетия, объявляется свободным и становится безусловным хозяином своих поступков. В возмещение забот, проявленных по отношению к нему во время его детства обществом, последнее потребует от него трех вещей: чтобы он остался *свободным*, чтобы он *жил своим трудом* и чтобы он *уважал свободу других*. А так как преступление и пороки, от которых страдает современное общество, являются исключительно продуктом плохой социальной организации, то можно быть уверенным, что при организации и воспитании, основанных на разуме, справедливости, свободе, уважении к человеку и полном равенстве, добро станет правилом, в то время как зло будет представлять болезненное исключение, которое под всемогущим влиянием морализованного общественного мнения будет все реже и реже встречаться.

t) Старики, неспособные к труду и больные, окруженные заботами и уважением, сохраняя все политические права, будут пользоваться обильным содержанием и полным уходом за счет общества.

II. Сводка основных идей этого катехизиса

a) Отрицание бога.

b) Почитание человечества должно заменить культ божества. Человеческий разум признается единственным критерием истины, человеческая совесть – основой справедливости, индивидуальная и коллективная свобода – источником и единственной основой порядка в человечестве.

c) Свобода индивида может быть осуществлена лишь в равенстве всех. Осуществление свободы в равенстве есть справедливость.

d) Безусловное исключение принципа авторитета и государственной необходимости. *Свобода должна являться единственным устрояющим началом всей социальной организации, как политической, так и экономической. Общественный порядок должен быть совокупным результатом развития всех местных, коллективных и индивидуальных свобод. Следовательно, вся политическая и экономическая организация в целом* не должна, как в наши дни, исходить сверху вниз, от центра к периферии по принципу единства, а снизу вверх, от периферии к центру, *по принципу свободного объединения и федерации.*

e) *Политическая организация. Упразднение всякой официальной* – охраняемой и *оплачиваемой* государством – церкви. *Абсолютная свобода совести* и культура с неограниченным правом для каждого строить храмы своим богам и оплачивать свое духовенство. Абсолютная *свобода религиозных ассоциаций*, которые, впрочем, не должны обладать никакими гражданскими и политическими правами и не могут заниматься воспитанием детей. *Упразднение и банкротство централизующего и опекающего государства.* Абсолютная свобода каждого индивида, признание политических прав лишь за теми, кто живет собственным трудом, при условии, что они уважают свободу других. *Всеобщее право голоса, безграничная свобода печати, пропаганды, слова и собраний* (как для частных, так и для общественных собраний). *Абсолютная свобода союзов,* причем, однако, юридическое признание дается лишь тем из них, которые по своим целям и внутренней организации не стоят в противоречии с основными началами общества. *Абсолютная автономия общин с правом самоуправления и даже издания собственных законов, поскольку таковые соответствуют принципам, лежащим в основе строя провинции, раз данная община желает входить в состав федерации и пользоваться гарантией, предоставляемой провинцией. Провинция должна представлять лишь федерацию общин. Автономия провинций* по отношению к нации с правом самоуправления и издания законов, поскольку таковые соответствуют основным принципам национального строя, если провинция желает принадлежать к федерации и пользоваться гарантиями, предоставляемыми нацией. *Нация должна представлять лишь федерацию провинций, желающих добровольно к ней принадлежать; она обязана уважать автономию* каждой провинции, но в то же время она вправе требовать, чтобы строй и сепаратное законодательство провинций, *принадлежащих к федерации и желающих пользоваться гарантиями*, предоставляемыми нацией, соответствовали в существенных пунктах национальному строю и законодательству, чтобы в делах, касающихся взаимоотношений провинций и общих интересов нации, каждая провинция выполняла декреты, принятые национальным парламентом и сообщенные ей национальным правительством, и чтобы каждая провинция подчинялась решениям национального суда, с оговоркой ее права принести апелляционную жалобу международному суду, когда таковой будет учрежден. При отказе повиноваться в одном из этих трех случаев провинцию ставят вне закона и национальной солидарности, и, в случае нападения с ее стороны на одну из федеративных провинций, национальная армия внушает ей должное благоразумие.

Отмена так называемого исторического права, права завоевания и всякой политики, направленной на округление, расширение, славу и внешнее могущество государства. Благо-

состояние и свобода наций – солидарны, и каждая должна искать своей мощи в свободе. Национальная независимость есть национальное, неотчуждаемое право, как независимость отдельного лица есть таковое же его право; она должна быть священна на основании этого факта, а *не* на основании исторического права. *Из того, что какая-либо страна была объединена с какой-нибудь другой страной в течение нескольких столетий, хотя бы и добровольно, не следует, что она должна и впредь терпеть это объединение, если она того не желает; ибо прошлые поколения не имеют никакого права отчуждать свободу настоящего и будущих поколений. Итак, каждая нация, провинция и община будет обладать безусловным правом располагать сама собою, вступать в союз с другими, порывать прежние и настоящие союзы и вступать в новые, без того чтобы какая-либо другая сторона имела право или интерес ей в этом помешать.* Всякое насильственное действие в этой области должно встретить дружный отпор со стороны всей *национальной федерации* в целом, ибо каждое посягательство на свободу отдельной страны является оскорблением, угрозой, косвенным посягательством на свободу всех наций. Наконец, *интернациональная федерация и революционная солидарность свободных народов* против реакционной коалиции еще порабощенных стран.

f) *Социальная организация.* Политическое равенство немыслимо без равенства экономического. Экономическое равенство и социальная справедливость немыслимы до тех пор, пока в обществе не установлено полного равенства исходной точки для каждого человеческого существа, вступающего в жизнь, равенства, заключающего в себе равенство средств для содержания, воспитания и обучения, а позднее и для применения тех разнообразных способностей и сил, какие природа вложила в каждого отдельного индивида. *Отмена права наследования. Фонд общественного воспитания один будет иметь право наследовать*, ибо на нем будет лежать обязанность содержания, надзора, воспитания и обучения детей, от их рождения до совершеннолетия. Так как только труд производит продукты, то каждый должен работать, чтобы жить, в противном случае на него будут смотреть, как на вора. Интеллигентный и свободный труд, основа человеческого достоинства и всех политических прав, и *одиночная* работа с каждым днем все более сливаются между собою в *сотрудничестве*. Поверхность и недра земли, собственность всех, будут в обладании лишь тех, кто их разрабатывает. *Равенство мужчины и женщины во всех политических и социальных правах. Упразднение легальной семьи, основанной на гражданском праве и имуществе. Свободный брак. Дети не принадлежат ни родителям, ни обществу. Верховная опека над детьми, их воспитание и обучение принадлежат обществу.* Школа заменит церковь. Ее задача – *создать свободного человека*. Уничтожение института тюрем и палача. Уважение к старикам, неспособным к труду, и больным и забота о них.

12. *Революционная политика.* Наше основное убеждение заключается в том, что так как свобода всех народов солидарна, то и отдельные революции в отдельных странах должны тоже быть солидарны; что отныне в Европе и во всем цивилизованном мире нет больше революции, а существует лишь одна *всеобщая революция*, точно так же как существует лишь единая европейская и мировая реакция; что, следовательно, все особые интересы, все национальные самолюбия, притязания, мелкие зависти и вражды должны теперь слиться в одном *общем, универсальном интересе революции*, которая обеспечит свободу и независимость каждой нации через солидарность всех наций; что далее священный союз мировой реакции и заговор королей, духовенства, дворянства и буржуазного феодализма, опирающийся на огромные бюджеты, постоянные армии, обширную бюрократию, располагающий всеми теми ужасными средствами, которые дает им современная централизация с ее привычкой, так сказать, рутиной ее приемов и правом конспирировать и основывать все свои действия на законе, что все это – чудовищный, грозный, губительный факт и что для того, чтобы бороться с ним, для того, чтобы противопоставить ему столь же мощный факт, для того, чтобы победить и уничтожить

этот заговор, требуется по меньшей мере такой же революционный союз и действие всех народов цивилизованного мира.

Против этой мировой реакции *изолированная революция отдельного народа не может иметь успеха;* она была бы безумием, а следовательно, ошибкой, для самого этого народа и изменой и преступлением по отношению ко всем остальным. Отныне восстание каждого народа должно происходить не с точки зрения его интересов, а с точки зрения интересов всего мира. Но дабы одна нация могла восстать таким образом во имя всего мира, она должна иметь и мировую программу, достаточно широкую, глубокую и истинную – словом, достаточно общечеловеческую программу, охватывающую таким образом интересы всех и возбуждающую страсти всех народных масс Европы, без различия национальности, – *а такой программой может быть лишь программа демократической и социальной революции*.

а) *Цель демократической и социальной революции* может быть формулирована в двух словах: *политически* – это отмена исторического права, права завоевания и права дипломатического. Это – полное освобождение лиц и ассоциаций от ига божественного и человеческого авторитета, – полное разрушение принудительных объединений и сочетаний общин в провинции, провинций же и завоеванных стран в государстве. Это, наконец, – полное коренное упразднение централистического, опекающего, авторитарного государства со всеми его военными, бюрократическими, правительственными, административными, судебными и гражданскими установлениями. Одним словом, это – *возвращение свободы всем – лицам, коллективам, ассоциациям, общинам, провинциям, областям, нациям и взаимная гарантия этой свободы посредством федерации.*

С социальной же точки зрения это – подкрепление политического равенства при посредстве равенства экономического. В начале жизненного поприща каждого человека лежит *равенство исходной точки*, не природой данное, а равенство социальное для каждого, т. е. равенство средств содержания, воспитания и обучения для каждого ребенка того и другого пола до достижении им совершеннолетия.

Программа общества международной революции[74]

Первая часть

Теоретические основы

I. *Отрицание бога и принципа власти, как человеческой, так и божественной, а также всякого опекания одних людей другими*, даже в том случае, если бы эту опеку предполагали установить над совершеннолетними, но лишенными образования лицами или над невежественными массами – во имя ли высшего разума или научной истины, представляемых группой признанных интеллигентных и патентованных лиц, или же тем или другим классом, что повело бы в том и в другом случае к образованию своего рода *умственной аристократии*, наиболее отвратительной из всех и наиболее вредной для свободы.

Прим. 1. Позитивная и рационалистическая наука является единственным светочем, который может привести человека к познанию истины и которая может дать мерило для личного поведения человека и для его отношений к обществу. Но и наука подвержена ошибкам; но даже если бы она их и не совершала, то и в таком случае она не должна присваивать себе право управлять людьми вопреки их убеждению и их воле. Общество, действительно свободное, может признать за наукой только двоякого рода право, осуществление которого является в то же время и ее обязанностью: это, *во-первых*, воспитание и образование лиц обоего пола, одинаково доступное и обязательное для всех детей и подростков до их совершеннолетия, когда воздействие всякой власти должно прекратиться, *во-вторых*, распространение и внедрение в умы своих научных выводов и положений посредством совершенно свободной пропаганды.

Прим. 2. Отрицая безусловно *опеку* над людьми (в какой бы форме она ни проявлялась), которую хотели бы установить люди науки, практики и опыта над невежественными массами, мы далеки от того, чтобы отрицать *естественное и благодетельное влияние знания и опыта на эти массы, но лишь при условии, чтобы это влияние оказывалось просто путем естественного воздействия высшего интеллекта на низшие и чтобы оно не было облечено ни в какие официальные формы и не сопровождалось бы никакими особыми привилегиями – политическими или социальными, – ибо эти две вещи неизбежно вызывают, с одной стороны, порабощение народных масс, а с другой – развращение и отупение (abetissement) самих представителей ума и науки.*

II. *Отрицание свободы воли и права общества наказывать* вследствие того, что всякий человек без исключения является не чем иным, как неизбежным (involontaire) продуктом той естественной и социальной среды, в которой он родился, вырос и живет. Существуют четыре основные причины человеческой безнравственности (immoralite): 1) *отсутствие разумной гигиены и рационального воспитания; 2) неравенство экономических и социальных условий; 3) невежество народных масс*, которое является естественным результатом их экономического и социального положения, и 4) неизбежное последствие указанных явлений – *рабство*. Воспитание, образование и организация общества согласно требованиям свободы и справедливости должны заменить *наказание*. В течение всего переходного, более или менее длительного, периода, который неминуемо последует за социальной революцией, общество – в интересах самозащиты от неисправимых лиц, не преступных, но социально опасных, – не будет иметь нужды

[74] Этот фрагмент был, вероятно, написан в 1866—1868 гг. Впервые его опубликовал на русском языке М. Неттлау (Берлин, 1923). В настоящем издании текст печатается по: Материалы для биографии М. Бакунина. Т. III. М.–Л., 1928. С. 119—133.

применять к этим лицам какие-либо наказания, кроме как лишения их гарантий и солидарности, т. е. устранения или исключения их из данного общества.

III. Отрицание свободы воли отнюдь не есть отрицание *свободы. Свобода является, напротив, неизбежным следствием и результатом естественной и социальной необходимости*.

Прим. 1. Человек не свободен по отношению к законам природы, которые являются основой и необходимым условием его существования. Он зависит от законов природы, которые властвуют над человеком точно так же, как они господствуют и над всем существующим. Ничто не в состоянии избавить человека от роковой непреложности этих законов; всякая попытка человека к восстанию против этих законов привела бы его лишь к самоуничтожению. Однако благодаря способности, присущей человеческой природе как таковой и которая неизбежно побуждает человека бороться за свое существование, *человек может и должен постепенно освобождаться от тяжелой подчиненности и от естественной и подавляющей его враждебности внешнего мира, который его окружает, будет ли это в области чисто физической или социальной – при помощи мысли*, науки, посредством применения знания к инстинкту желания, т. е. при помощи своей *разумной воли*.

Прим. 2. Человек является последним звеном, высшей ступенью в непрерывном ряде существ, которые, начиная с простейших элементов и кончая самим человеком, и составляют известный нам мир. Человек – животное, которое благодаря более высокому развитию своего организма, в особенности мозга, обладает способностью мыслить и выражать свои мысли словами. В этом состоит все различие, отделяющее человека от всех других видов животных – его старших братьев во времени, но младших в отношении умственных способностей. Различие это, однако, огромно. Это различие – единственная причина всего того, что мы называем нашей историей, сущность и смысл которой могут быть выражены кратко в следующих словах: *человек исходит от животности, чтобы прийти к человечности, то есть к устройству своего общественного существования на основах науки, сознания, разумного труда и свободы*.

Прим. 3. Человек – животное общественное, подобное многим другим животным, появившимся на земле до него. *Человек не создает общества путем свободного договора: он рождается в недрах общества и вне общества он не мог бы жить как человек, ни даже стать человеком, ни мыслить, ни говорить, ни хотеть, ни действовать разумно*. Ввиду того, что общество формирует и определяет его человеческую сущность, человек находится в такой же абсолютной зависимости от общества, как от самой физической природы, и нет такого великого гения, который всецело был бы свободен от влияния общества.

IV. *Социальная солидарность является первым человеческим законом, свобода составляет второй закон общества*. Оба эти закона взаимно дополняют друг друга и, будучи неотделимы один от другого, составляют всю сущность человечности. Таким образом, свобода не есть отрицание солидарности, наоборот, она представляет собою развитие и, если можно так сказать, очеловечение последней.

V. *Свобода* не есть независимость человека по отношению к непреложным законам природы и общества. *Свобода – это прежде всего способность человека к постепенному освобождению от гнета внешнего физического мира при помощи науки и рационального труда; свобода, наконец, это – право человека располагать самим собою и действовать сообразно своим собственным взглядам и убеждениям*, – право, противополагаемое деспотическим и властническим притязаниям со стороны другого человека, или группы, или класса людей, или общества в его целом.

Прим. 1. Не следует смешивать социологических законов, иначе называемых законами общественной физиологии, которые столь же обязательны и неизбежны для всякого человека, как и законы физической природы (ибо эти законы, по существу своему, являются также физическими), – с законами политическими, уголовными и гражданскими, которые в боль-

шей или меньшей степени выражают нравы, обычаи, интересы и взгляды, в определенную эпоху господствующие в обществе или в части этого общества, в отдельном общественном классе. Вполне естественно, что, будучи признаны большинством людей или хотя бы только господствующим классом, эти законы оказывают большое влияние на каждого человека – благотворное или вредное – в зависимости от их характера. Но для самого общества нисколько не хорошо, не справедливо и не полезно, чтобы эти законы могли быть предписаны властническим или насильственным образом кому бы то ни было вопреки его собственному убеждению. Ибо последнее означало бы покушение на свободу, на личное достоинство, на самую человеческую сущность членов общества.

VI. *Естественное общество, в недрах которого рождается каждый человек и вне которого человек никогда не смог бы стать разумным и свободным существом, само очеловечивается лишь по мере того, как все люди, составляющие это общество, становятся все более и более индивидуально и коллективно свободными*.

Прим. 1. *Быть индивидуально свободным* значит для человека, живущего в общественной среде, – не поступаться ни мыслью, ни волей перед какой-либо властью, кроме своего собственного разума и собственного понимания справедливости; одним словом, не считать за истину ничего другого, кроме того, в чем человек сам убежден, и не подчиняться никакому иному закону, кроме того, который приемлет его совесть. Таково condito sine qua non (непременное условие) сохранения человеческого достоинства, неоспоримое право человека – признак его человечности.

Быть *коллективно свободным* – значит жить среди свободных людей и быть свободным их свободой. Человек, как мы уже сказали, не мог бы стать разумным существом, обладающим сознательной волей, а следовательно, не мог бы и завоевать себе индивидуальную свободу вне общества и без его содействия. Свобода каждого является результатом общей солидарности. Но если признать эту солидарность за основу и считать ее непременным условием всякой личной свободы, то будет вполне ясно, что человек, живущий среди рабов, даже на положении их господина, неизбежно будет рабом их рабства и что сделаться действительно и вполне свободным он сможет лишь путем их освобождения. Следовательно, свобода всех необходима для моей свободы; отсюда следует, что неверно утверждение, что свобода всех является пределом и ограничением моей свободы, что равносильно полному отрицанию последней. Наоборот, общая свобода всех представляет необходимое условие для бесконечного расширения свободы личной.

VII. *Личная свобода каждого человека становится действительной и возможной только благодаря коллективной свободе общества, частью которого человек является в силу естественных и непреложных законов*.

Прим. 1. Свобода – подобно человечности, чистейшим выражением которой она и является, – представляет собою не начало, а, наоборот, завершительный момент истории. Человеческое общество, как мы уже сказали, начинается с животности (bestialite). Первобытные люди и дикари так мало сознают свои человеческие свойства и свое естественное право человека, что начинают с взаимного пожирания друг друга; к несчастью, и современные дикари не перестали это делать и до сих пор. Вторым периодом на пути исторического развития человеческого общества является рабство. Третьим периодом, в средине которого мы живем в настоящее время, является эпоха экономической эксплуатации или порядок наемного труда (салариат). Четвертым периодом, к которому мы стремимся и, надо надеяться, приближаемся, будет эпоха *справедливости*, эпоха свободы в равенстве и во взаимной солидарности.

VIII. *Первобытный человек становится человеком свободным, очеловечивается и делается нравственным, осознает все более и более свою человеческую сущность лишь по мере того, как эти человеческие права он начинает признавать и за другими людьми*. Следовательно, в интересах своей собственной личности, своей собственной нравственности и личной

свободы каждый человек должен стремиться к свободе, к нравственности и к человечности всех людей.

IX. *Уважение к свободе другого человека представляет, следовательно, высший долг каждого человека. Любить эту свободу и служить ей – вот единственная добродетель. Это – основа всякой морали; другой не существует*.

X. *Так как свобода есть результат и самое высшее выражение солидарности, то есть взаимности интересов, то она может быть осуществлена полностью лишь при условии равенства*. Политическое равенство может быть основано только на равенстве экономическом и социальном. Осуществление свободы через равенство – вот справедливость.

XI. Ввиду того, что труд является единственным источником всех ценностей, полезностей и социальных богатств, то человек, который является существом социальным по преимуществу, не может жить не трудясь.

XII. Только ассоциированный (associe) труд может служить для поддержания существования большого и мало-мальски цивилизованного общества. Все, что обозначают под именем цивилизации, не могло быть создано иначе, нежели путем такого ассоциированного труда. Весь секрет бесконечной производительности труда человеческого заключается прежде всего в использовании более или менее научно развитого разума (который сам является, в свою очередь, продуктом трудовой деятельности предшествующих и настоящих поколений) и затем в разделении труда, но при непременном условии комбинирования или ассоциирования этого разделенного труда.

XIII. Все исторические несправедливости, все войны, все политические и социальные привилегии имели и имеют своей главной причиной и своей целью захват и эксплуатацию какого-либо ассоциированного труда в пользу более сильных: народов-завоевателей, классов или отдельных личностей. Такова истинная историческая причина рабства, крепостничества и системы наемного труда, т. е., резюмируя все это кратко, – причина так называемого *права частной и наследственной собственности*.

XIV. С того момента, когда право частной собственности оказалось принятым и утвердившимся, общество должно было разделиться на две части: с одной стороны, собственническое и привилегированное меньшинство, эксплуатирующее принудительно ассоциированный труд народных масс, и, с другой стороны, порабощенные миллионы пролетариев, в виде ли рабов, или крепостных, или наемных рабочих. На долю первых благодаря досугу, вытекающему из-за отсутствия необходимости трудиться для удовлетворения своих потребностей, выпали все блага цивилизации, воспитания и образования, а другие, то есть многомиллионные массы, оказались осужденными на постоянный принудительный труд, на полное невежество и на безысходную нужду.

XV. Цивилизация меньшинства человеческого рода основана, таким образом, на вынужденном варварстве огромного большинства. Привилегированные лица всех политических и социальных оттенков, все собственники, в силу самого своего положения, оказываются естественными врагами, эксплуататорами и угнетателями миллионов народных масс.

XVI. Вследствие того, что досуг, это драгоценное преимущество господствующих классов, столь же необходим для развития умственных способностей, как необходимы известный достаток и некоторая свобода деятельности для выработки характера, вполне естественно, что господствующие классы оказались с самого начала более цивилизованными, более развитыми, более очеловеченными и, в известной степени, даже более нравственными, чем народные массы. Но ввиду того, что, с другой стороны, бездеятельность и всякого рода привилегии ослабляют физически и морально представителей меньшинства, направляют их ум на ложный путь, заставляя его защищать ложь и несправедливость, выгодные с частными интересами меньшинства, совершенно очевидно, что рано или поздно привилегированные классы должны

впасть в испорченность, отупение и вырождение. Это мы и наблюдаем действительно в настоящее время.

XVII. С другой стороны, полное отсутствие досуга и повседневный принудительный труд естественно и неизбежно обрекают народные массы на состояние варварства. Труд сам по себе не мог и не может способствовать развитию их умственных сил, так как благодаря их вынужденному наследственному невежеству вся разумная часть работы – приложение к труду научных завоеваний, комбинирование и управление производительными силами – предоставлялась и предоставляется почти исключительно еще и теперь представителям буржуазного класса; одна лишь мускульная, неразумная, механическая часть работы, ставшая с введением машин еще более отупляющей благодаря разделению труда, предоставлена народу, который в полном смысле слова убивается (assome) своим повседневным, подневольным трудом.

Несмотря, однако, на все это, благодаря громадной морализующей силе, присущей труду как таковому, благодаря также тому, что, требуя справедливости, свободы и равенства для себя самого, рабочий тем самым требует их и для всех, ибо нет на свете человеческого существа, за исключением, пожалуй, женщин и детей, с которыми обращались бы еще хуже, чем с рабочим; наконец, благодаря тому, что современный рабочий мало пользовался благами жизни и не успел еще развратиться в такой степени, как господствующие классы; и еще благодаря тому, что при отсутствии образования рабочий обладает тем огромным преимуществом, что его нетронутые ум и сердце не были развращены эгоистическими интересами и корыстной ложью, что он сохранил в себе неиспользованной всю природную энергию, между тем как все привилегированные классы вырождаются, слабеют и загнивают; – благодаря всему этому один только рабочий не утратил веру в жизнь, имеет настоящее представление об истине, свободе, равенстве и справедливости и стремится к их осуществлению; в силу этого только рабочему принадлежит будущее.

Наша социалистическая программа

XVIII. Рабочий требует и должен требовать:

1) Уравнения политического, экономического и социального всех классов и всех людей, живущих на земле.

2) Уничтожения наследственной собственности.

3) Передачи земли в пользование сельскохозяйственным ассоциациям, а капитала и всех орудий производства – индустриальным ассоциациям работников.

4) Уничтожения отцовского, семейного права, то есть деспотической власти мужа и отца, основанной исключительно на праве наследственной собственности, а также уравнения женщины с мужчиной в правах политических, экономических и социальных.

5) Содержания, воспитания и образования всех детей обоего пола до достижения ими совершеннолетия за счет общества, причем обучение, научное и промышленное, включая сюда и все отрасли высшего преподавания, должно быть равное и обязательное для всех.

Школа должна заменить собою церковь и сделать ненужным более уголовные кодексы, наказания, тюрьмы, палачей и жандармов.

Дети не являются ничьей собственностью – ни родителей, ни даже общества; они принадлежат только их собственной грядущей свободе. Но в детях свобода эта еще не реализована, она у них лишь в потенции, ибо действительная свобода, т. е. полное ее сознание и осуществление ее во всякой личности, выражающееся главным образом в чувстве собственного достоинства и в настоящем уважении к чужой свободе и человеческому достоинству, – такого рода сознание свободы может развиться в детях лишь благодаря рациональному воспитанию их ума, а также их характера и воли. Отсюда следует, что общество, вся будущность которого зависит от надлежащей постановки образования и воспитания детей и которое поэтому не только вправе,

но и обязано следить за этим, является естественным опекуном всех детей обоего пола; а так как общество, вследствие предстоящего уничтожения личного наследственного права, будет впредь и единственным наследником, то оно, естественно, будет считать одной из первейших своих обязанностей предоставление всех необходимых средств для содержания, воспитания и образования детей обоего пола без различия, независимо от происхождения детей и от их родителей.

Права родителей будут сводиться к тому, чтобы любить своих детей и иметь над ними естественный авторитет, поскольку последний не будет противоречить нравственности и препятствовать умственному развитию и грядущей свободе детей. Брак в смысле гражданского и политического акта, как и всякое вмешательство в дела интимные, должен будет исчезнуть. Дети будут *принадлежать* естественно, а не по праву, – преимущественно матери, при разумном контроле общества.

Ввиду того, что дети, в особенности малолетние, не способны еще к вполне сознательному управлению своими поступками, *принцип опеки и авторитета*, который надлежит устранить совершенно из общества, будет все – таки находить естественное применение в деле воспитания и образования детей. Однако авторитет и опека эти должны быть истинно гуманны и разумны и совершенно свободны от всяких теологических, метафизических и юридических пережитков; они должны будут исходить из того положения, что от рождения ни одно человеческое существо не является ни хорошим, ни испорченным и что *добро*, т. е. *любовь к свободе, сознание справедливости и солидарности, культ* или, *вернее, уважение и навык к истине, разуму и труду* не могут быть развиты в человеке иначе, как только путем рационального воспитания, основанного на уважении как в теории, так и на практике к разуму, справедливости и свободе. Таким образом, единственной целью этого *авторитета* должна быть подготовка всех детей к свободе. Этой цели авторитет может достичь только тем, что авторитет будет постепенно сводить самого себя «на нет», уступая место самодеятельности детей, по мере приближения их к совершеннолетию. Образование должно будет охватывать все отрасли науки, техники и промышленности. Оно должно быть одновременно и научным и профессиональным, общим – обязательным для всех детей, и специальным – применительно ко вкусам и наклонностям каждого из них так, чтобы всякий юноша и девушка, вышедшие из школы и достигшие гражданского совершеннолетия, были бы одинаково подготовлены как к умственному, так и к ручному труду.

Вышедшие из-под опеки и признанные обществом свободными членами общества, молодые люди вольны будут вступать или не вступать для работы в трудовые союзы. Однако все они по необходимости пожелают вступить в эти объединения, так как с уничтожением права наследования и с переходом всей земли, капиталов и орудий производства в собственность международной, или, вернее, всемирной, федерации свободных рабочих союзов не будет более ни места, ни возможности для конкуренции, т. е. существования обособленного труда.

Никто больше не сможет эксплуатировать чужой труд; каждый должен будет работать для того, чтобы жить. И каждый, кто не пожелает трудиться, волен будет умереть с голоду, если только он не отыщет какого-либо союза или коммуны, которые согласились бы из жалости содержать его. Но в этом случае, по всей вероятности, будет признано вполне справедливым не наделять этого человека какими-либо политическими правами, раз он, будучи трудоспособным, предпочитает тем не менее постыдно жить паразитом за счет чужого труда, так как не будет никакого другого основания для наделения человека политическими и социальными правами, кроме труда, выполняемого каждым отдельным членом общества. Впрочем, случаи подобного рода могут быть только *во время переходного периода*, когда будет еще, к сожалению, немало на свете личностей, выросших при современном порядке несправедливости и привилегий и не воспитанных в сознании справедливости и истинного человеческого достоинства, а также в уважении и в привычке к труду. По отношению к подобным личностям революци-

онное или революционизованное общество будет находиться перед тягостной дилеммой: либо принудить их так или иначе работать, что было бы деспотизмом, либо же дать себя эксплуатировать бездельникам, а это явилось бы новым источником развращения всего общества.

В обществе, организованном на началах равенства и справедливости, которые являются основой подлинной свободы, при рациональной постановке дела воспитания и образования и под давлением общественного мнения, не могущего не презирать бездельников, раз оно зиждется на уважении к труду, – нужно надеяться, что в таком обществе праздность и тунеядство станут невозможны. Если же и будут, в виде исключения, редкие явления тунеядства, то оно будет справедливо рассматриваться как особого рода болезнь, от которой будут лечить в больницах.

Одни только дети, пока они не достигнут известного возраста, а впоследствии лишь постольку, поскольку необходимо будет дать им время для приобретения знаний и не перегружать их при этом чрезмерной работой, затем инвалиды, старики и больные смогут быть освобождаемы от труда без урона для их человеческого достоинства и без ущерба для их прав как свободных граждан.

XIX. *В интересах своего полного экономического освобождения рабочие должны будут требовать полного и окончательного уничтожения государства со всеми его учреждениями* .

Прим. 1. Что такое государство? Это – историческая организация принципа власти и опеки, божеской и человеческой, над народными массами во имя какой-либо религии, либо исключительных привилегий одного или нескольких классов собственников в ущерб тысячам рабочих, подневольный труд которых они жестоко эксплуатируют. Завоевание, лежащее в основе прав собственности и личного наследования, тем самым явилось и фундаментом для всякого государства. Эксплуатация труда народных масс в пользу собственников, освященная *церковью* во имя вымышленного божества, которое попы постоянно заставляли становиться на сторону более сильных или более ловких, – вот что называется *правом*. Развитие благосостояния, комфорта, роскоши и утонченного и развращенного ума привилегированных классов, – развитие, необходимым условием которого являются нужда и невежество огромного большинства народа, – вот что называется *цивилизацией*. Организация, гарантирующая существование всего этого скопления исторических несправедливостей, и есть *государство*.

Следовательно, рабочие должны желать разрушения государства.

Прим. 2. Государство, неизбежно основанное на эксплуатации и порабощении масс и, в качестве такового, угнетающее и попирающее всякую свободу народа и всякую справедливость, неизбежно должно быть грубым, хищническим, грабительским и стремиться к завоеваниям. Государство – всякое государство, безразлично, монархия или республика, есть отрицание человечности. Государство есть отрицание человечности потому, что, ставя своей высшей и абсолютной целью *патриотизм своих граждан, ставя, согласно самой своей сущности, выше всего в мире интерес собственного самосохранения, собственной мощи внутри и распространение ее во-вне, – государство отрицает как частные интересы и человеческие права своих подданных*, так и права чужеземцев, тем самым оно нарушает всемирную солидарность между народами и между людьми, ставит их вне справедливости, вне человечности.

Прим. 3. Государство – младший брат церкви. Государство не может привести никакого реального базиса для оправдания своего существования, кроме какой-либо теологической или метафизической идеи. Будучи по природе своей противно человеческой справедливости, оно должно неизбежно основываться на богословской или метафизической фикции. В античном мире не было даже понятия нации или общества, так как общество было всецело поглощено и порабощено государством, а каждое государство выводило свое начало и право на существование и на господство от какого-либо бога или от целой совокупности богов, которые и считались исключительными покровителями того или иного государства. В древнем мире человек был неизвестен; самое понятие человечества не существовало. Были одни только граждане.

Вот почему в той стадии цивилизации рабство было естественным явлением и необходимой базой свободы граждан.

Когда христианство разрушило языческое многобожие и провозгласило единого бога, государствам пришлось прибегнуть к святым из христианского рая: у каждого христианского государства оказалось по одному или по нескольку святых – его покровителей и защитников перед лицом господа бога, который, по этому случаю, вероятно, не раз должен был очутиться в весьма затруднительном положении. Кроме того, каждое государство находит еще и по сей день нужным заявлять, что господь бог покровительствует ему особым и исключительным образом.

Метафизика и наука о праве, основанная в теории на отвлеченной общей идее, а в действительности на классовых интересах имущих, также пытались отыскать рациональную базу для оправдания существования государства. Они прибегали для этого к фикции всеобщего и молчаливого соглашения, или к теории общественного договора, или же к фикции объективной справедливости и всеобщего народного блага, осуществляемого, по их словам, государством. По мнению демократов-якобинцев, государство имеет своей задачей способствовать торжеству всеобщих и коллективных интересов всех граждан над эгоистическими интересами отдельных личностей, общин и областей, государство, по их мнению, это – всеобщая справедливость и коллективный разум, одерживающие победу над эгоизмом и ограниченностью отдельных людей. Государство, следовательно, фактом своего существования как бы утверждает, что отдельные люди неразумны, не могут организовать общественную жизнь, не способны возвыситься над своими частными интересами. И вот на помощь этому приходит государство, которое во имя так называемой свободы всех – свободы коллективной и всеобщей, – которое в действительности есть лишь гнетущая абстракция, выведенная из отрицания или ограничения прав отдельных лиц и основанная на фактическом рабстве каждого. Но всякая абстракция может существовать лишь постольку, поскольку ее поддерживает положительная заинтересованность в ней реальных существ; в этом отношении *абстракция* «государство» действительно представляет весьма положительную заинтересованность правящих имущих и эксплуатирующих классов, называемых интеллигентными, так как во имя этой абстракции мы видим систематическое принесение в жертву интересов и свободы порабощенных масс ради выгоды привилегированного меньшинства.

Прим. 4. Патриотизм – добродетель и страсть политическая и государственная.[75]

[75] На этом месте рукопись заканчивается. *Прим. Н. Лебедева*.

Народное дело[76]

Романов, Пугачев или Пестель

Времена – что ни день – становятся серьезнее. Наступила и для русских пора дела. Замолк праздничный шум упоенной собою литературы. Под гнетом современных и еще более грозных будущих обстоятельств, ожидаемых и предвидимых всеми, люди, наименее серьезные, наиболее развращенные болтовнею литературною, призадумались – полно болтать, опасно болтать, преступно болтать. Ведь дело идет о спасении себя, семьи, имущества, о спасении России от кровавых несчастий, от конечного разорения. Всякий должен теперь размыслить серьезно и свои политические верования и свое положение, а размыслив, решать: *куда, к чему, с кем и за кем идти?*

Теперь только наступает в России время действительного образования и развития партий. Несколько месяцев тому назад очень много людей не знали еще сами, к какому они принадлежат лагерю. Было, правда, много ученых разделений и подразделений в теории, но на практике они не разъединяли людей, потому что не было ясно определенной практической цели. Болтливо-шумною толпою стремились все вперед, на свободу, иные по убеждению, другие по инстинкту, третьи по моде и, наконец, остальные из страха, и казалось, что в этой толпе все единомышленники и братья. Но вот засветилось первое, слабое зарево тех пожаров, которыми грозит, может быть, кровавая *русская* революция, и замолк гул праздной толпы. Она приутихла. Пожары были совершенно случайны; такие пожары – обыкновенное, почти периодическое явление в России. Но возбужденные политические власти, а главное, подлый страх, скрывающийся нередко за нашим шумливым геройством, придали ныне петроградским пожарам другое значение. Правительство первое дало пример. Оно нашло полезным обвинить в поджоге передовую молодежь и распространить эту клевету между народом, дабы возбудить его против студентов. В прежнее время никто из литераторствующей, порядочной публики не смел бы присоединить своего голоса к клеветливому воплю из ума вон испуганной власти. Того бы не потерпело общественное мнение, которое даже при самом Николае умело клеймить продажную литературу и литераторов третьего отделения. Теперь им лафа. Пользуясь общим испугом публики, не привыкшей еще к общественным потрясениям, знакомой только с болтовней, а не с делом, они смело подняли свое знамя. А для того, чтоб не испугать слабых людей излишнею откровенностью, они написали на нем слово «*Прогресс*», искусно прикрывая клевету и донос недорогими либеральными фразами. И, нет сомнения, что они приобретут на первое время, но только на короткое время, значительную популярность. Николаевский период развил в России очень много дряблых душ, без страсти в сердце, без живой мысли в голове, но с великолепными фразами на языке. Этим людям в последнее время становилось между нами неловко. Они чувствовали, что дело доходит до дел, до жертвы… Их много, и они все пойдут под доктринерское знамя, под сень благодушащего правительства. Благо отступление открыто и для измены есть благовидный предлог, а для прикрытия ее великодушная фраза: «мы стоим за цивилизацию против варварства», то есть за немцев против русского народа… Что ж, с богом, идите! Нам остается пожелать вам доброго пути да успех на новом поприще. Только смотрите, не ошибитесь в расчете: случалось не редко, что те здания, под которыми люди скрывались от бури, бывали первые поражены громом.

---

[76] Впервые эта работа была опубликована в 1868—1869 гг. в виде цикла статей.В настоящем издании текст печатается по: *Бакунин М.* Избранные сочинения. Т. III. Пб.–М., 1920. С. 73—97.

Очистившись от старых друзей, сомнительных и слабонервных, мы стали сильнее. Нам нужны теперь люди, которые до конца были бы преданы *народному делу* и на которых потому можно было бы рассчитывать, ибо теперь наша партия окончательно стала партиею дела. А наше дело – служить революции.

Многие еще рассуждают о том, будет ли в России революция или не будет. Не замечая, что в России уже *теперь* революция. Она началась последовательно, широко проникла во все составы умирающего от дряхлости государства и возобновляющейся общественной жизни; она царит во всех, везде и во всем, действует руками правительства успешнее даже, чем усилиями своих приверженцев, и не успокоится, не остановится до тех пор, пока не переродит русского мира, пока не воздвигнет и не создаст нового славянского мира.

Династия явно губит себя. Она ищет спасения в прекращении, а не в поощрении проснувшейся народной жизни, которая, если б была понята, могла бы поднять царский дом на неведомую доселе высоту могущества и славы. Но где высота, там и бездна, и непонятая, оскорбленная, разъяренная смешными попытками пигмеев удержать ее непреклонно логическое течение, та же народная жизнь может сбросить его, со всеми его немецкими советниками и доморощенными доктринерами, со всею бюрократическою и полицейскою сволочью, в бездонную пропасть… А жаль!

Редко царскому дому выпадала на долю такая величавая, такая благородная роль. Александр II мог бы так легко сделаться народным кумиром, первым русским земским царем, могучим не страхом и не гнусным насилием, но любовью, свободою, благоденствием своего народа. Опираясь на этот народ, он мог бы стать спасителем и главою всего славянского мира. Для этого не нужно было ни гения, ни даже той макиавеллистической науки, которою так искусно и так усиленно держатся другие. Нужно было только широкое, в благодушии и в правде крепкое русское сердце. Вся русская, да и вся славянская живая деятельность просилась ему в руки, готовая служить пьедесталом для его исторического величия. Самое царствование отца, гибельное для России и для славян во всех отношениях, должно было служить ему наукою и вместе отрицательною рекомендациею в глазах народов. Николай душил Польшу; Александр должен был освободить Польшу со всем, что хочет быть Польшей. Он должен был сделать это и по справедливости, и для освобождения России от ненужной тяготы и от еще менее нужного бесчестия, и для того, чтоб, освободившись раз навсегда от немцев, открыть себе широкие ворота в славянский мир. Николай довел до крайнего безумия систему петровскую, систему отрицания и придушения народа во имя немецкого государства; он до того напряг искусственные силы этого государства, что оно надломилось и треснуло, убив его самого. Александр должен бы был почувствовать, что безобразное здание, стоившее миллионов человеческих жертв, потоков и своей, и чужой крови, держаться далее не может, и что никаких сил не достанет удержать его от конечного падения. На развалинах петровского государства может существовать только Россия *земская*, живой народ. Для народа нужно было расчистить место.

Казалось сначала, что Александр II понимал свое значение, по крайней мере в отношении к России, потому что в Польше он с первого раза тремя словами испортил все свое положение. И сколько преступлений, сколько несчастий, сколько бесчестия для нас и кровавых жертв для поляков вытекало из этих трех слов: «Point de réveries!» Теперь всякий может решить, кто безумно, преступно мечтал: поляки или Александр Николаевич?

Его начало в России было великолепно. Он объявил свободу народу, свободу и новую жизнь после тысячелетнего рабства. Казалось, он хотел *земской России*, потому что в государстве петровском свободный народ немыслим. 19 февраля 1861 года, несмотря на все промахи, недостатки, уродливые противоречия и не менее безобразные тесноты указа об освобождения крестьян, Александр II был самым великим, самым любимым, самым могучим царем, который когда-либо царствовал в России. Но он так мало понимал это, так мало знал, чувствовал душу народную, он до такой степени немец, что в этот самый день, торжественнейший из тор-

жественных дней в русской истории, он прятался в своем дворце и окружал себя караулами, боясь народного бунта. Видно, совесть была не чиста, видно, он замышлял недоброе, видно, он не хотел настоящей свободы народу, который верил, да и все еще верит в него до безумия.

И в самом деле не была чиста совесть. Александр II и не мыслил о свободе народа. Она была бы противна всем инстинктам его. Немец никогда не поймет и не полюбит земской России; и в то самое время, как русский народ ждал от него новой жизни, он вместе с советниками своими думал только о том, как бы укрепить, восстановить и, если можно, расширить двухвековую причину русской безжизненности, народоненавистное тюремное здание петровского государства. Задумав гибельное, невозможное, он губит себя и свой дом и готов ввергнуть Россию в кровавую революцию. Гения Петра Великого недостало бы теперь на такое дело, а он предпринял его.

Отсутствием русского смысла и народолюбивого сердца в царе, безумным стремлением удержать во что бы ни стало петровское государство объясняются вполне и все противоречия указа об освобождении и столь же разорительная, сколь и опасная нелепость переходного состояния, и бесчеловечно глупое стреляние по невинным крестьянам в разных губерниях, и объявление царя народу, что не будет ему другой воли, и студенческие истории, и заключение в крепость тверских дворян, и упорное желание правительства сохранить сословие дворянское наперекор воле самого дворянства, и теперешний терроризм, и, наконец, последнее слово: Липранди! Липранди, убитый общим презрением, воскрес. Он зовется на помощь – он будет спасать Россию!.. Жребий брошен. Для Александра II, кажется, нет более возврата на другую дорогу. Не мы, он главный революционер в России, и да падет на его голову кровь, которая прольется!

А он, и только он один, мог совершить в России величайшую и благодетельнейшую революцию, *не пролив капли крови.* Он может еще и теперь: если мы отчаиваемся в мирном исходе, так это не потому, чтоб было поздно, а потому, что мы отчаялись, наконец, в способности Александра Николаевича понять единственный путь, на котором он может спасти себя и Россию. Остановить движение народа, пробудившегося после тысячелетнего сна, невозможно. Но если б царь встал твердо и смело во главе самого движения, тогда бы его могуществу на добро и на славу России не было бы меры. На этом пути опасности нет никакой, успех верный.

Народу нужна земля – отдай ему всю землю. А чтоб не разорить собственников *мнимым* выкупом, пусть выкупается она не крестьянами, а целым государством. Народу нужна воля, полная воля движения, занятий… Так дайте ему эту волю, избавьте его из-под опеки правительственной, которая его всегда угнетала да разоряла, избавьте его от чиновников, которых он ненавидит, наравне с дворянами. Дайте ему полное самоуправление общинное, волостное, областное и государственное. Народу ненавистны сословия, созданные вашими прадедами для притеснения народа; так уничтожьте эти сословия, которые сами теперь готовы отказаться от всех своих преимуществ, отчасти потому, что преимущества эти стали ничтожны, отчасти по благородному побуждению, отчасти же от страха. Пусть будет в России один нераздельный народ. И не бойтесь, он будет в состоянии сам собою управляться. Народ знает своих людей, и в этих людях, поверьте, более дельного смысла, чем во взросшем в блудном безделии дворянстве. Не бойтесь также, что через областное самоуправление разорвется связь провинций между собою, рушится единство русской земли. Ведь автономия провинций будет только административная, внутренне-законодательная, юридическая, а не политическая. И ни в одной стране, исключая, может быть, Францию, нет в народе такого смысла единства строя, государственной целости и величия народного, как в России. Только во Франции присоединяется к этому страсть бюрократическая; в России ее нет. Чиновник противен народу, а бюрократическая централизация необходимым насилием своим только отталкивает его от единства; и только тогда воцарится действительная, вольная целость в русской земле, когда чиновническое управление заменится в ней самоуправлением народным. Единство земли русской, нахо-

дившее доселе свое выражение только в царе, требует теперь еще другого представительства: *Всенародного Земского Собора.*

Говорят, что в Петербурге боятся пуще всего земской Думы; опасаются, что с нею начнется революция в России. Да неужели же там в самом деле не понимают, что революция давно началась? Пусть посмотрят вокруг себя, в самих себя, пусть сравнят свое настроение духа с тем, что чувствовалось правительством при императоре Николае, – и пусть скажут: разве это не коренная и не полная революция? Вы слепы, это правда. Но неужели слепость ваша дошла до той степени, что вы думаете: можно воротиться назад или отделаться шутками? Итак, не в том вопрос, будет ли или не будет революция, а в том: *будет ли исход ее мирный или кровавый*? Он будет мирный и благодатный, если царь, встав во главе движения народного, вместе с Земским Собором, приступит широко и решительно к коренному преобразованию России в духе свободы и земства. Ну а если ослепленный царь задумает идти вспять, или остановится на полумерах, или станет искать спасения в Липранди, – исход будет ужасный. Тогда революция примет характер беспощадной резни, не вследствие прокламация и заговоров восторженной молодежи, а вследствие восстания всенародного. На Александре Николаевиче лежит теперь ответственность страшная. Он может еще спасти Россию от конечного разорения, от крови. Сделает ли он? Захочет ли он?

Без Собора Земского он не сделает ничего. Только Земский Собор способен умиротворить Россию, восстановить кредит публичный и частный, устроить и обеспечить выкуп земли и возвратить потрясенному обществу спокойствие и веру. А самодержавие?! – скажете вы. Да разве оно действительно существует? Это каприз, вчера Панина, сегодня Головина, завтра Липранди. Это бесконтрольное право на зло, немощь на добро, – право быть пассивным и далеко не почтенным орудием в руках лакеев придворных, министерских и канцелярских, – право чуждаться России, не знать ее, мутить ее, – право ввергнуть ее в кровавую революцию.

Ну а если Земский Собор будет враждебен царю? Да возможно ли это! Ведь посылать на него своих выборных будет народ, до сих пор еще безгранично в царя верующий, всего от него ожидающий. Откуда же взяться вражде? Нет сомнения в том, что если б царь созвал *теперь* Земский Собор, он *впервые* увидел бы себя окруженным людьми, действительно ему преданными. Продолжись безурядица еще несколько лет, расположение народа может перемениться. В наше время быстро живется. Но теперь народ за царя и против дворянства, и против чиновничества, и против всего, что носит немецкое платье. Для него все враги в этом лагере официальной России, все – кроме царя. Кто ж станет говорить ему против царя? А если б кто и стал говорить, разве народ ему поверит? Не царь ли освободил крестьян против воли дворян, против совокупного желания чиновничества?

Разочаровать народ, потрясти его веру в царя может только сам царь. Вот где опасность и, может быть, главная причина того панического страха, который ощущают в Петербурге при одном слове: «Земский Собор». И в самом деле, после двухсотлетнего отчуждения русский народ, через своих представителей, в первый раз встретится лицом к лицу с своим царем. Минута решительная, минута в высшей степени критическая! Как понравятся они друг другу? От этой встречи будет зависеть вся будущность и царей и России.

Двести лет стонал русский народ под гнетом Московско-Петербургского государства и переносил такие тягости, такие терзания, такие мытарства, каких иноземец себе представить не может. Прямою причиною всех бедствий его были цари. Они, позабыв клятву своего родоначальника, народного избранника Михаила Романова, создали эту чудовищную самодержавную централизацию и окрестили ее в народной крови. Они образовали народу противные касты, и духовную и чиновно-дворянскую, как орудия для губительного самовластия, и отдали им народ, одним в духовное, другим в телесное рабство. Их силою, волею, их прямым покровительством держались единственно и буйный произвол полудикого дворянина, и притеснительное варварство чиновников. Цари до самой последней минуты смотрели на русский народ с

презрением горшечника к глине, как на бездушный материал, обязанный принять по их произволу любую форму. В конце царствования Николая один генерал из немцев говорил полковнику, командиру образцового полка, принявшему партию несчастных мужиков-рекрутов: «Вы мне хоть половину из них убейте, но чтоб другая зато была вымуштрована на славу». И что немец осмелился высказать громко, другие делали втихомолку. Жизнь простого человека, крестьянина, мещанина, была нипочем. Система царская истребила таким образом в продолжение каких-нибудь двухсот лет далеко более миллиона человеческих жертв, – так, без всякой нужды, просто вследствие какого-то скотского пренебрежения к человеческому праву и к человеческой жизни. И в то время, когда дикое, разоренное в пух дворянство сорило народными деньгами, не менее блудные, не менее дикие и, без сомнения, более виновные цари наши сорили людьми.

Но факт замечательный! Русский народ, хотя и главная жертва царизма, не потерял веры в царя. Беды свои он приписывает кому и чему вам угодно, и помещикам, и чиновникам, и попам, только отнюдь не царю. Есть, правда, секты в расколе, переставшие за него молиться; есть другие, тайно ненавидящие царскую власть. Но это отрицание, хоть выработавшееся в среде народа, далеко не выражает народное большинство, которое еще крепко держится своей веры в царя. Здесь не место углубляться в причину этого *факта* многозначительного, несомненного, а для нас особенно важного, потому что, рады ли мы ему или нет, он обусловливает непременно и наше положение, и нашу деятельность. В другом месте я старался объяснить его тем, что народ почитает в царе *символическое представление единства, величия и славы Русской земли.* И думаю, что я не ошибся. Но этого мало: другие, более христианские народы, когда им приходится жутко, а восстание по каким бы то ни было причинам кажется невозможно, ищут своего утешения в вознаграждении загробном, в небесном царе, на том свете. Русский народ по преимуществу реальный народ. Ему и утешение-то надо земное, земной бог – царь, лицо, впрочем, довольно идеальное, хоть и облеченное в плоть и в человеческий образ и заключающее в се-бе самую злую иронию против царей действительных. Царь – идеал русского народа, это род русского Христа, отец и кормилец русского народа, весь проникнутый любовью к небу и мыслью о его благе. Он давно дал бы народу все, что нужно ему – и волю, и землю. Да он сам, бедный, в неволе: лиходеи бояре да злое чиновничество вяжут его. Но вот наступит время, когда он воспрянет и, позвав народ свой на помощь, истребит дворян, и попов, и начальство, и тогда наступит в России пора *золотой воли*! Вот, кажется, смысл народной веры в царя. Вот чего он ждет от него в феврале или в марте 1863 г. Ведь он более двухсот лет, проведенных в неизъяснимых муках, ждет слова царского и воскресения; и теперь, когда все надежды, все ожидания его оживились предварительным обещанием царя, согласится ли он ожидать еще далее? Не думаю.

В 1863 году быть в России страшной беде, если царь не решится созвать всенародную Земскую Думу… И вот народ пошлет своих выборных к царю-избавителю. Доверию и преданности посланцев народных к царю не будет пределов, и, опираясь на них, встретив их с равною верою и любовью и решившись дать народу то, чего ныне нельзя уже более удержать от него, царь мог бы поставить свой трон так высоко и так крепко, как он еще никогда не стоял. Но что, если вместо царя-избавителя, царя земского народные посланцы встретят в нем петербургского императора в прусском мундире, тесносердечного немца, окруженного синклитом таких же немцев? Что, если вместо ожидаемой свободы, царь не даст ему ничего или почти ничего и захочет отделаться от народа словами да полумерами? Ну, тогда несдобровать и царизму, по крайней мере императорскому, петербургскому, немецкому, гольштейн-готорпскому! Ведь привязанность народа к царю не придворная, не холопская, не религиозная. И религия народа не небесная, а земная, жаждущая, требующая удовлетворения себе на земле. В общем чувстве народном обетованный час исполнения, кажется, настал, и народ не даст ему пройти даром. Тогда опять кровавая революция. Но если бы в этот роковой момент, когда для целой России

будет решаться вопрос о жизни и смерти, о мире и крови, царь земский предстал перед всенародный собор, царь правдивый, любящий народ по воле его, чего бы не мог он сделать с таким народом! Кто смел бы восстать против него? И мир, и вера восстановились бы, как чудом и деньги нашлись бы, и все бы устроилось просто, естественно, для всех безобидно, для всех привольно… Руководимый таким царем, Земский Собор создал бы новую Россию на основаниях вольных, широких, без потрясений, без жертв, даже без усиленной борьбы и без шума, потому что воля и нужды народа ясны, потому что в нем выработался ум крепкий и здоровый, зародыш будущей организации, и потому что злой умысел и никакая враждебная сила не были бы в состоянии бороться против соединенного могущества царя и народа.

Есть ли надежда, что такой союз состоится? Мы скажем прямо, что нет. Несмотря на несомненную преданность народа к царю, царь видимым образом боится его. Боится потому, что не любит его, потому что не хочет поступиться перед ним своею немецкою важностью, своим мелким императорским произволом и потому что чувствует, вероятно, что с этим народом шутить нельзя. Но, может быть, он решился бы еще довериться народу в надежде на его слепую привязанность, если он не боялся пуще всего влияния передовой революционной молодежи. Страх в настоящее время еще совершенно напрасный! Как ни горько сознаваться в этом, но я думаю, что для будущего успеха самого революционного дела мы должны громко высказать то убеждение, что до сих пор влияние нашей партии на народ было близко к нулю. Революционная пропаганда еще не нашла к нему доступа и не умела еще потрясти его туземной, его несчастной веры в царя. Никогда еще не чувствовался так сильно разрыв, существующий между народом и нами, и никто из нас не перешел еще через пропасть, отделяющую нас от него. Мы готовы жить его жизнью, его мыслью, но он нас не знает, и пошел бы, без сомнения, против нас за царя, потому что и его он также не знает. Итак, если вы хотите встретиться с народом, свободным от наших влияний, сзывайте его теперь. Ну а если пропустите время, то, пожалуй, наша передовая молодежь, наша надежда и наша сила, пробьет себе, наконец, дорогу к народу и чрез роковую пропасть подаст ему руку. Вина будет ваша.

И почему молодежь не за вас, а вся молодежь против вас? Ведь это для вас большое несчастье: несчастье потому, что молодежь уже сама по себе составляет и право, и силу, особенно когда, не заключаясь в себе, собой суетно не довольствуясь, она стремительно, страстно рвется в народ, к службе народной. Для такой молодежи нет непреоборимых препятствий. Народ, сам молодой и сам страстный, рано или поздно призовет ее. Почему ж она против вас? Недавно умерший предводитель демократической партии в Соединенных Штатах, полковник Дуглас, во время последних президентских выборов сказал одному из своих друзей: «Наше дело потеряно, молодежь против нас!» Глубокое слово! Молодежь, как народ, живет более инстинктом, а инстинкт всегда тянет ее на сторону жизни, на сторону правды… С нею беда. Она может ошибаться в мыслях или, вернее, в выражении мыслей своих, – в чувстве она ошибается редко. А чувство вашей молодежи, всею энергиею своею отталкивает ее от вас. Вы, господа доктринеры всякого рода, ее ненавидите, как вообще не любят ее школьные учителя, которые чувствуют, что она вправе над ними смеяться. Она бежит от вас, потому что пахнет от вас фарисейским педантством, ложью и смертью; а ей прежде всего надо жизни воли да правды. Но почему отстала она от царя, почему объявила себя против того, кто первый объявил свободу народу?

Никто не посмеет упрекнуть ее в эгоизме. Она рукоплескала освобождению крестьян и готова теперь отдать все, начиная с себя, для того только чтоб русский народ был свободен. Не увлеклась ли она отвлеченными революционными идеалами и громким словом «республика»? Отчасти, пожалуй, и так. Но это только весьма поверхностная и второстепенная причина. Большинство нашей передовой молодежи, кажется, хорошо понимает, что западные абстракции, консервативные ли, либерально-буржуазные или даже демократические, к нашему русскому движению неприменимы: что оно, без сомнения, и демократическое, и в высшей степени социальное, но что оно развивается вместе с тем при условиях, совершенно различных от тех, при

которых совершались подобные же движения на Западе. И первое из условий – то, что оно не есть главным образом движение образованной и привилегированной части России. Таковым было оно во времена декабристов. Теперь главную роль в нем будет играть народ. Он есть главная цель и единая, настоящая сила всего движения. Молодежь понимает, что жить вне народа становится делом невозможным и что, кто хочет жить для него, в нем одном жизнь и будущность, вне его мертвый мир. Но этот народ выступает на сцену не как лист белой бумаги, на котором всякий по произволу может написать свои любимые мысли. Нет, лист этот уж частью исписан, и хоть осталось на нем еще много белого места, допишет его сам народ. Никому он не может поручить этого дела, потому что никто в образованном русском мире не жил еще его жизнью. Русский народ движется не по отвлеченным принципам; он не читает ни иностранных, ни русских книг, он чужд западным идеалам, и все попытки доктринаризма, консервативного, либерального, даже революционного, подчинить его своему направлению будут напрасны. Да, ни для кого и ни для чего не отступится он от *своей* жизни. А жил он много, потому что страдал много. Несмотря на страшное давление императорской системы, даже в продолжение этого двухвекового немецкого отрицания он имел свою внутреннюю живую историю. У него выработались свои идеалы, и составляет он в настоящее время могучий, своеобразный, крепко в себе заключенный и сплоченный мир, дышащий весеннею свежестью, и чувствуется в нем стремительное движение вперед. Наступило, кажется, его время; он просится наружу, на свет, хочет сказать свое слово и начать свое явное дело. Мы верим в его будущность, надеясь, что, свободный от закоренелых и на Западе в закон обратившихся предрассудков, религиозных, политических, юридических и социальных, он в историю внесет новые начала и создаст цивилизацию иную: и новую веру, и новое право, и новую жизнь.

Перед этим великим, серьезным и даже грозным лицом народа нельзя дурачиться. Молодежь оставит смешную и противную роль непрошеных школьных учителей мертвецам московской и с. – петербургской привилегированной журналистики. Ей самой предстоит подвиг другой, не учительский, а очистительный, *подвиг сближения и примирения с народом.* Ведь она почти вся, по своему происхождению, образованию, по привычкам жизни и мысли, наконец, по всем общественным отношениям своим, стоит вне народа, принадлежа к тому привилегированному официальному миру, который народ не без причины ненавидит, видя в нем главный источник всех своих бедствий. Стремления ее чисты и благородны: она сама ненавидит исключительность своего положения и готова жертвовать всем народу, лишь бы только он принял ее в свое общение. Но народ не знает ее и, судя ее по платью, по языку, а главное, по жизни, столь различной от его жизни, принимает за врага. Где же тут учительствовать! разве без веры и доброй воли учащегося учение возможно? Да, наконец, чему мы станем учить? Ведь если оставим естественные и математические науки в стороне, последним словом всей нашей премудрости будет отрицание так называемых непреложных истин западного учения, полное отрицание Запада. Но народ наш Западом никогда не увлекался; потому ему и до отрицания его нет никакого дела. А главное то, что со всею своею наукою мы бесконечно беднее народа. Народ наш, пожалуй, груб, безграмотен, я не говорю – неразвит, потому что у него было свое историческое развитие, покрепче и посущественнее нашего; он никаких книг, кроме немногих своих, еще не читает. Но зато в нем есть жизнь, есть сила, есть будущность – он есть… А нас, собственно, нет; наша жизнь пуста и бесцельна. У нас нет ни дела, ни поля для дела. И если будущность для нас существует, так только в народе. Итак, народ может и без нас обойтись, мы без него не можем.

Без сомнения, слившись с народом, принятые народом, мы можем принести ему много пользы. Да, мы принесем ему громадный опыт неудавшейся западной жизни, которую мы вместе с Западом пережили, способность обобщения и точного определения фактов, ясность сознания. Знакомые с историею и наученные чужим опытом, мы можем предохранить его от

обмана и помочь ему высказать его волю. Вот и все. Мы принесем ему формы для жизни, он даст нам жизнь, кто дает больше? Разумеется, народ, а не мы.

Вопрос о нашем сближении с народом, не для народа, а для нас, для всей нашей деятельности, есть вопрос о жизни и смерти. Сближение это необходимо, но оно трудно, потому что требует с нашей стороны совершенного перерождения, не только внешнего, но и внутреннего. Борода, русское платье, жесткие руки, грубая речь не составляют еще русского человека. Нужно, чтоб ум наш выучился понимать ум народа и чтоб наши сердца приучились бить в один такт с его великим, но для нас еще темным сердцем. Мы должны видеть в нем не средство, а цель; не смотреть на него как на материал революции, по нашим идеям, как на «мясо освобождения», напротив, смотреть на себя, *если он на то согласится*, как на слуг своего дела. Одним словом, мы должны полюбить его пуще себя, дабы он нас полюбил, дабы он нам свое дело поверил.

Любить страстно, отдаваться всею душою, побеждать громадные трудности и препятствия, силою любви и жертвы победить ожесточенное сердце народное, дело молодости. Вот где ее назначение! Учиться она должна у народа, а не учить. Не себя, а его возвышать и вся отдаться его делу. Ну, тогда народ признает ее.

Прокламация «Молодая Россия» доказывает, что в некоторых молодых людях существует еще страшное самообольщение и совершенное непонимание нашего критического положения. Они кричат и решают, как будто бы за ними стоял целый народ. А народ-то еще по ту сторону пропасти и не только вас слушать не хочет, но даже готов избить вас по первому мановению царя. Что же, мученичество? Да ведь мученичество хорошо, когда мученики делают дело. Редакторов «Молодой России» я упрекаю в двух серьезных преступлениях. Во-первых, в безумном и в истинно доктринерском пренебрежении к народу; и во-вторых, в нецеремонном, бестактном и легкомысленном обращении с великим делом освобождения, для которого они между тем готовы жертвовать своею жизнью. Они, видно, так мало привыкли еще к настоящему действию, что им все кажется, будто они вращаются в мире абстракций. В теории все сходит с рук. На практике, особливо в такое время, как наше, что не полезно, то вред общему делу, и виновниками вреда были люди, желавшие служить ему. Без *дисциплины*, без строя, без скромности перед величием цели мы будем только тешить врагов наших и никогда не одержим победы.

Но прокламация редакторов «Молодой России» не может быть принята за серьезное выражение идей передовой молодежи. Несколько смелых юношей собрались и издали свою прокламацию… Довольно было, чтоб перепугать до смерти наших бедных правителей. Правда, что юноши говорят и об «общем собрании», и о «комитетах провинциальных тайного революционного общества». Но ведь это было сказано зря, для пущей важности, и для того, чтоб доставить лишнее впечатление чересчур впечатлительному правительству. Огромное большинство нашей молодежи принадлежит к партии народной, к той партии, которая поставила себе единою целью *торжество народного дела.* Эта партия не имеет предрассудков ни за царя, ни против царя, и если б сам царь, начавши великое дело, не изменил впоследствии народу, она бы никогда от царя не отстала.

И теперь было бы еще не поздно. И теперь та же самая молодежь радостно пошла бы за ним, лишь бы только он сам шел во главе народа: не остановили бы ее никакие западно-революционные предрассудки, ибо, где жизнь, где правда, где разрешение судеб народа, там и она. И сколько молодой и благородной энергии, сколько живых сил и сколько ума было бы тогда к его услугам для совершения великого дела – умиротворения и воссоздания России!

Россия спокойно и твердо пошла бы широким путем свободного развития и, укрепившись внутри, восстановила бы скоро свое утраченное внешнее обаяние. Величие России русскому народу так дорого, что он никогда от него не откажется. Он принес ему столько жертв!.. Но понятно, что оно должно быть ныне воздвигнуто на иных основаниях. Бог с ним, с вели-

чием петровским, екатерининским, николаевским, обрекшим русский народ на постыдную роль палача и вместе раба-мученика! Мы искали силы и славы, а нашли лишь бесславие, заслужили ненависть и проклятия истерзанных нами народов и кончили поражением и постыдным бессилием. Слава богу: наша двухвековая тюрьма, петровское государство, наконец рушится. Никакая сила не восстановит его. Мы же сами подтолкнем его в пропасть и воля нам! воля героической Польше! воля Белоруссии, Литве, Украйне! Пусть будет Польшею все, что хочет быть Польшею. Воля Финляндии! воля Чухонцам и Латышам в Остзейских провинциях! А немцам пора в Германию!

Если б царь понял, что он отныне должен быть не главою насильственной централизации, а главою свободной федерации вольных народов, то, опираясь на плотную возрожденную силу, в союзе с Польшею и Украйною, разорвав все ненавистные союзы немецкие, подняв смело всеславянское знамя, он стал бы избавителем Славянского мира!

Мечта – скажут мне; да, разумеется, мечта. Но мечта только потому, что в Петербурге нет ни мысли, ни сердца, ни воли и что царь наш, в противность царю Давиду, ищет всегда короны, а находит корову. И еще повторим: ни одному царю не было дано так много, и ни с одного так много не спросится.

На Петербург надежды нет. Царь избрал себе путь, гибельный для России. Как безнадежный больной, он окружил себя шарлатанами, – настало время для наших Некеров и Колоннов. Настоящее министерство – jeune, intelligent et fort, и, подражая дружественному ныне правительству, хочет надуть Россию формами без содержания; с свободою на языке оно намерено продолжать дело блудного произвола. Но забывают они только одно, что обман, возможный в стране, истощенной политическими борьбами, невозможен у нас, потому что у нас жизнь только вчера началась, страсти в приливе, а не в отливе, и наша трагедия еще впереди. Как ни умны министры, но Александр Николаевич не доверяется им вполне, на помощь им он позвал знаменитого доктора Липранди, который лечит средствами героическими и, без сомнения, скорее доведет до трагедии. Большое утешение правительственного Петербурга теперь – это народ и привязанность народа к царю. Народом грозят они революционной молодежи. «Стоит только царю махнуть рукою, и студентов не будет». Да, без сомнения, не будет; да, на другой день и дворянства в целой России не будет, а с дворянством ляжет под топором все чиновничество; вы сами, голубчики, пропадете. Ну-ка попробуйте махнуть-то рукой. И останутся народ да царь. Да что станет этот царь с этим народом делать? Ведь царь-то наш бюрократический, дворянский, а не земский. Он сам утонет в дворянской крови, чтоб уступить место какому нибудь Пугачеву! Не попробовать ли лучше николаевских средств: кнута, виселицы да Сибири? Средства хорошие. Но вряд ли они вам ныне помогут. *Ведь страх убит в России.* Ныне пойдут на лобное место, смеясь над вами. Да и самым трусам нет никакого расчета пятиться перед *вашим* страхом. В России есть теперь страх пострашнее – страх *народного восстания.* А если придется выбирать между топором или виселицею, так, разумеется, лучше пасть с сознанием высокого подвига, чем жертвою рокового недоразумения народного.

У вас есть еще одно средство – война. Война национальная против немцев, в союзе с Италией и с Францией, пожалуй, хоть за свободу славян, лишь бы только русскому народу не дать свободы. Да, в самом деле, идти войною на немцев хорошее, а главное, необходимое славянское дело, во всяком случае, лучше, чем поляков душить немцам в угоду. Подняться на освобождение славян из-под ига турецкого и немецкого будет потребностью, необходимостью и святою обязанностью освобожденного русского народа. Но вы, враги русской и польской свободы, какую дадите вы свободу славянам? Или вы хотите повторить в сотый раз старый, постыдный обман? Не удовлетворив никого и не разрешив ничего у себя дома, на что вы будете опираться? Даже войско придется вам содержать на мелок чужими субсидиями. И будете вы только служить средством для целей чужих, сами ничего не приобретете. Россию же вконец разорите. Да, может быть, вы и рассчитываете на ее истощение? Может, думаете усмирить ее

голодом? Смотрите, не ошибитесь в расчете: война не помешала у нас ни пугачевщине, ни новгородскому бунту.

Но напрасны все ваши старания. Ни война, ни уловки мнимо либерального(?!) министерства, ни явная реакция вам не помогут. Народ проснулся и ждет своего часа, вы сами способствовали его пробуждению. Кокетничая перед ним и возбуждая его против молодого образованного поколения, вы сами будите в нем сознание силы, и он сам возьмет силою то, чего вы ему добровольно дать не хотите.

Для мирного исхода настоящего неотвратимого кризиса средство только одно: *Земский всенародный Собор и на нем разрешение земского народного дела.* Это средство единоспасительное – в руках царя. Но он его употребить не хочет. Значит, он хочет крови.

Когда правители губят страну, честные люди должны приняться за дело спасения. Всем истинным консерваторам, имеющим ум, чтоб понимать и предугадывать необходимые происшествия, всем купцам, попам и дворянам, чиновникам военным и гражданским, любящим спокойствие и мир и желающим сохранить жизнь, имущество, жен, сестер и детей, всем, кому дороги благоденствие и слава России, я советовал бы об этом крепко подумать. Ведь времени на свободное размышление осталось немного. И не худо было бы, если бы они, сговорившись, составили между собою громадное консервативное общество, которое я им предложил бы назвать «*общество для* спасения России от близорукости царской и от преступного министерского шарлатанства», и пусть хором подымут они голос в пользу *Земского Собора* как единого средства для предотвращения кровавой разрушительной катастрофы.

А нам, революционной партии, что делать? Мы также сплотимся и станем под знамя «*Народного дела*». Мы хотим достигнуть его *народным путем* и не остановимся до тех пор, пока оно не исполнится совершенно.

Мы хотим и желаем:

1. Чтобы вся земля русская была объявлена собственностью целого народа, так чтоб не было ни одного русского, который бы не имел части в русской земле.

2. Хотим самоуправления народного – общинного, волостного, уездного, областного и, наконец, государственного, с царем или без царя, все равно и как захочет народ. Но чтоб не было в России чиновничества и чтоб централизация бюрократическая заменилась вольною областною федерацией.

3. Хотим, чтоб Польше, Литве, Украйне, Финнам и Латышам прибалтийским, а также и Кавказскому краю была возвращена полная свобода и право распорядиться собою и устроиться по своему произволу, без всякого с нашей стороны вмешательства, прямого или косвенного.

4. Хотим братского и, если будет возможно, федерального союза с Польшею, Литвою, Украйною, прибалтийскими жителями и с народами Закавказского края. Готовы и обязаны помогать им против всякого насилия и против всех внешних врагов, особливо же против немцев, когда они сами позовут нас на помощь.

5. Вместе с Польшей, с Литвой, с Украйной мы хотим подать руку помощи нашим братьям Славянам, томящимся ныне под гнетом Прусского королевства, Австрийской и Турецкой империи, обязываясь не вложить меча в ножны, пока хоть один Славянин останется в немецком, в турецком или другом каком рабстве.

6. Мы будем искать тесного союза с *Италией*, с которою у нас чувства, интересы и враги общие, с *Мадьярами*, ненавидящими, как и мы, австрийскую монархию, если только они совершенно откажутся от притеснения Славян, с *Румынами* и даже с *Греками*, когда последние оставят в покое Болгар и, довольствуясь быть собою, забудут свои честолюбивые и свободопротивные, а главное, суетные византийские мечты.

7. Мы будем стремиться, вместе со всеми племенами Славянскими, к осуществлению заветной Славянской мечты: к созданию *Великой и вольной федерации Всеславянской*, где каждый народ, велик или мал, будет вместе вольным и братски с другими народами связанным

членом; чтоб каждый стоял за всех и все за каждого и чтоб не было в братском союзе особенных государственных сил, чтоб не было ничьей гегемонии, но чтоб существовала единая и нераздельная общеславянская сила.

Вот широкая программа дела Славянского, вот необходимое последнее слово народно-русского дела. Этому-то делу мы посвятили всю жизнь свою.

Теперь с кем, куда и за кем мы пойдем? Куда? Мы сказали. С кем? Мы также сказали: разумеется, ни с кем другим, как с народом. Но за кем? За Романовым, за Пугачевым или, если новый Пестель найдется, за ним?

Скажем правду: мы охотнее всего пошли бы за Романовым, если б Романов мог и хотел превратиться из петербургского императора в царя земского. Мы потому охотно стали бы под его знаменем, что сам народ русский еще его признает и что сила его создана, готова на дело и могла бы сделаться непобедимою силою, если б он дал ей только крещение народное. Мы еще потому пошли бы за ним, что он *один* мог бы совершить и окончить великую мирную революцию, не пролив ни одной капли русской или славянской крови. Кровавые революции благодаря людской глупости становятся иногда необходимыми, но все-таки они зло, великое зло и большое несчастье, не только в отношении к жертвам своим, но и в отношении к чистоте и к полноте достижения той цели, для которой они совершаются. Мы видели это на революции французской.

Итак, отношение наше к Романову ясно. Мы не враги и не друзья его, мы друзья народно-русского, славянского дела. Если царь во главе его, мы за ним. Но когда он пойдет против него, мы будем его врагами. Поэтому весь вопрос состоит в том: хочет ли он быть русским земским царем Романовым, или Голштейн-Готорпским императором Петербургским? Хочет он служить России, славянам или немцам? Вопрос этот скоро решится, и тогда мы будем знать, что нам делать. Ни для него и ни для кого в мире мы не отступимся ни от одного пункта своей программы. И если для осуществления ее будет необходима кровь, да, будет кровь.

Мы без содрогания не можем подумать о тысячах жертв, которые падут, вероятно. Но вся тяжесть кровавой вины пусть ляжет тогда на единственного виновника, на царя, который всех может спасти и, кажется, всех погубит. А средство спасения и для него, и для нас только одно: идти до конца во главе революции и не останавливаться на полдороге. Если б мы хотели остановить настоящую революцию, то не могли бы; никто в мире не может. А если бы могли, то не хотели бы, потому что она необходима для освобождения нашего народа, для совершения русских и славянских судеб.

Если царь изменит России, Россия будет повергнута в кровавые бедствия. Что будет, какую форму примет движение, кто станет во главе его? Самозванец-царь, Пугачев или новый Пестель-диктатор? Предугадать теперь невозможно. Если Пугачев, то дай бог, чтоб в нем нашелся политический гений Пестеля, потому что без него он утопит Россию и, пожалуй, всю будущность России в крови. Если Пестель, то пусть будет он человеком народным, как Пугачев, ибо иначе его не потерпит народ. А может быть, ни Пестель, ни Пугачев, ни Романов, а Земский Собор спасет Россию.

Предугадать нельзя ничего. Наш долг теперь крепко сомкнуться и единодушно готовиться к делу. Поклясться друг другу не отставать от народа, идти с ним, покуда сил станет. Времени, может быть, осталось немного – *употребим его на сближение с народом во что бы то ни стало, дабы он признал нас своими* и позволил бы нам спасти хоть несколько жертв. Сойтись с народом, слиться с ним во единую душу и во единое тело – задача трудная, но для нас неизбежная и неотвратимая. Иначе мы будем представителями не народного дела, а только своих тесных кружковых интересов и своих личных страстей, чуждых и противных народу, а потому и преступных, ибо ныне что не служит исключительно делу народному, то преступно. Он один призван к жизни в России, и только что с ним и что за него, то лишь имеет право на жизнь, то будет иметь силу на жизнь. Вне его нет русской силы, и, лишь только соединившись

с ним, мы можем вырваться из бессилия. Вот почему мы должны сойтись с народом во что бы ни стало. Важнее этого для нас нет теперь другого вопроса.

Как с ним сойтись? Путь к достижению цели один: *искренность, правда.* Если вы не обманываете ни его, ни себя, когда говорите о своих стремлениях к народу, то вы найдете дорогу в душу и в веру его. Любите народ, он вас полюбит, живите с ним, и он пойдет за вами, и вы будете сильны его силою. Народ наш умен, он скоро узнает своих друзей, когда у него будут друзья *действительные.* Формулировать общее правило, известный прием для сближения с народом нет возможности: все это было бы мертво и сухо, потому что было бы ложно. Живое дело должно вытекать из живого ума и из живого сердца.

Вас много, и вы рассеяны по всей Русской земле. Пусть каждый из вас, служа общему делу, идет к народу по-своему, но пусть каждый идет прямо и искренно, без хитрости, без обмана, пусть каждый несет в дар ему и весь ум, и все сердце, и чистую, крепкую волю служить ему. Пусть каждый свяжет судьбу свою с его судьбою. Пусть каждый молодой человек перевоспитает себя в среде народной… И вы сделаетесь тогда, без сомнения, людьми народными.

Подвиг нелегкий, но зато высокий и стоящий жертв: подвиг повивания новорождающегося русского мира! Кому он кажется противен, тот лучше не берись за русское дело. Для того есть приют под знаменем доктринеров. Путь наш труден. Отсталых, испуганных и усталых будет еще много… Но мы, друзья, выдержим до конца и безбоязненно, твердым шагом пойдем к народу, а там, когда с ним сойдемся, помчимся вместе с ним, куда вынесет буря.

В России[77]

То, что происходит сейчас в России, достойно внимания всех социальных демократов Европы.

Нужно сознаться, что до сих пор имели совершенно ошибочное представление о характере и стремлениях, а также об экономическом положении народа, населяющего эту обширную страну. Так, до сих пор было еще довольно распространенным мнением в Европе, что теперешний царь (Александр II.) – благодетель и освободитель народа – является предметом народного поклонения, что он действительно освободил русских крестьян и устроил на солидном фундаменте благосостояние сельских общин, которые составляют всю силу и все богатство Всероссийской империи. Разве не думали и не говорили, что, осчастливив народ и заслужив его признательность, он стал настолько силен, что стоит ему сделать знак, чтобы эти миллионы фанатических варваров двинулись против Европы?

Говорили это и повторяли на тысячу различных ладов, одни не подозревая, другие прекрасно зная, что они этим оказывают огромную услугу столь ненавистному царскому владычеству, основанному гораздо более на воображении, на паническом страхе, ловко распространяемом им вокруг себя, и на умелом пользовании этим обстоятельством его дипломатами, чем на реальных фактах.

Так, разве не думали в 1861 г., доверяя телеграммам князя Горчакова и русской и заграничной прессе, субсидированной петербургским правительством, что весь русский народ, все классы: дворянство, духовенство, купечество, учащаяся молодежь и в особенности крестьяне – единодушно желали раздавить, уничтожить Польшу, что правительство, которое хотело бы, может быть, действовать мягче, было принуждено стать палачом этого несчастного народа и что оно затопило его в крови, лишь повинуясь этой единодушной воле, этой безмерной народной страсти?

За очень немногими исключениями, все в Европе верили этому, и эта всеобщая вера в значительной мере способствовала тому, что если негодование европейского общества не совсем затихло, то, во всяком случае, действие его было парализовано.

Трусость и несогласия европейской дипломатии помогли, и Европа остановилась перед этим величественным проявлением якобы могущественного народа. Не посмели выступить против него и дали спокойно совершиться новому великому преступлению в Польше, не пойдя дальше смешных протестов.

Потом явились софисты, русские и не русские, одни платные, другие глупо ослепленные, – Прудон, великий Прудон, попал, к сожалению, в их ряды; они явились нам разъяснить, что будто бы польские революционеры – католики и аристократы, представители мира, осужденного погибнуть; тогда как русское правительство, со всеми своими палачами, представляет, против них, интересы демократии, интересы угнетенных крестьян и нового принципа экономической справедливости.

---

[77] Молодой революционер Нечаев, прибывший из России, приехал в Бельгию в марте 1869 г. К концу марта он был в Женеве, где сейчас же вступил в сношения с Бакуниным. Последний писал мне (письмо от 13 апреля): «В настоящий момент я чрезвычайно занят тем, что происходит сейчас в России. Наша молодежь, быть может, самая революционная, как в теоретическом отношении, так и практически, в мире, волнуется так сильно, что правительство принуждено было закрыть университеты, академии и несколько школ в Петербурге, Москве и Казани. У меня сейчас здесь один из таких молодых фанатиков. Которые ни в чем не сомневаются, ничего не боятся и которые поставили себе принципом, что многие, очень многие должны погибнуть от руки правительства, но что они не успокоятся до тех пор, пока народ не восстанет. Они восхитительны, эти молодые фанатики, верующие без бога и герои без фраз! Папе Мерон доставило бы удовольствие видеть моего гостя, тебе тоже».

Вот ложь, которую осмелились распространять и которая нашла доверие в Европе, и все это способствовало значительному увеличению престижа и воображаемого могущества – могущества, которым никогда не следует пренебрегать Всероссийской Империи в Европе.

Нужно, чтобы европейское общество ничего не знало из всего того, что существует и что происходит в этой огромной стране, чтобы поверить всем этим выдумкам, распространяемым, прямо или косвенно, русской дипломатией. И особенно странно то, что та часть печати во всех странах, которая принадлежит польской эмиграции или находится под ее влиянием, помогла московской дипломатии, отождествляя везде и всегда русский народ с петербургским правительством. Неужели столь законная ненависть поляков к своим угнетателям настолько ослепила их, что они не понимают, что таким способом они оказывают услугу именно тем, кого они ненавидят? Или они действительно являются до такой степени сторонниками существующих экономических порядков, что предпочитают даже свирепый царский режим социальной революции русских крестьян?

Как бы то ни было, пора покончить с этим постыдным и опасным невежеством. Являясь представителями международного освобождения труда и рабочих всех стран, мы не можем и не должны иметь никаких национальных предпочтений. Угнетенные рабочие всех стран – наши братья, и, равнодушно относясь к интересам, честолюбивым помыслам и тщеславию, мы хотим полного умственного, социально-экономического и политического освобождения народа.

Наша программа[78]

I. *Умственного освобождения*, потому что без него политическая и социальная свобода не могут быть ни полными, ни твердыми. Вера в бога, вера в бессмертие души и всякого рода идеализм вообще, как мы это докажем впоследствии, служа, с одной стороны, непременной опорой и оправданием для деспотизма, для всякого рода привилегий и для эксплуатирования народа, с другой стороны, деморализует самый народ, разбивая его существо как бы на два друг другу противоречащие стремления и лишая его, таким образом, энергии, необходимой для завоевания его естественных прав и для полного устройства свободной и счастливой жизни.

II. *Социально-экономического освобождения* народа, без которого всякая свобода была бы отвратительною и пустозвонною ложью. Экономический быт народов был всегда краеугольным камнем и заключал в себе настоящее объяснение их политического существования. Все доселе существовавшие и существующие политические и гражданские организации в мире держатся на следующих главных основаниях: на факте завоевания, на праве наследственной собственности, на семейном праве отца и мужа и на освящении всех этих основ религиею; а все это вместе и составляет существо государства. Необходимым результатом всего государственного устройства было и должно было быть рабское подчинение чернорабочего и невежественного большинства так называемому образованному эксплуатирующему меньшинству. Государство без привилегий, политических и юридических, основанных на привилегиях экономических, немыслимо.

Желая действительного и окончательного освобождения народа, мы хотим:

1) Упразднения права наследственной собственности.

2) Уравнения прав женщин, как политических, так и социально-экономических, с правами мужчины; следовательно, хотим уничтожения семейного права и брака, как церковного, так и гражданского, неразрывно связанного с правом наследства.

3) С уничтожением брака рождается вопрос о воспитании детей. Их содержание со времени определившейся беременности матери до самого их совершеннолетия; их воспитание и образование, равное для всех – от низшей ступени до специального высшего научного развития, – в одно и то же время индустриальное и умственное, соединяющее в себе подготовление человека и к мускульному, и к нервному труду, должно лежать главным образом на попечении свободного общества.

Основой экономической правды мы ставим два коренных положения:

Земля принадлежит только тем, кто ее обрабатывает своими руками – земледельческим общинам. Капиталы и все орудия труда работникам – рабочим ассоциациям.

III. Вся будущая политическая организация должна быть не чем другим, как свободною федерациею вольных рабочих, как земледельческих, так и фабрично-ремесленных артелей (ассоциаций).

И потому, во имя освобождения политического, мы хотим прежде всего окончательного уничтожения государства, хотим искоренения всякой государственности со всеми ее церковными, политическими, военно – и гражданско-бюрократическими, юридическими, учеными и финансово-экономическими учреждениями.

Мы хотим полной воли для всех народов, ныне угнетенных империею, с правом полнейшего самораспоряжения, на основании их собственных инстинктов, нужд и воли; дабы, федерируясь снизу вверх, те из них, которые *захотят* быть членами русского народа, могли бы создать сообща действительно вольное и счастливое общество в дружеской и федеративной связи с *такими же* обществами в Европе и в целом мире.

---

[78] Народное Дело № 1, стр. 6–7, 1868.

Всестороннее образование[79]

I

Мы рассмотрим сегодня первым следующий вопрос: возможно ли полное освобождение рабочих масс, пока образование их будет ниже образования, получаемого буржуазией, или пока вообще будет существовать какой-нибудь класс, многочисленный или нет, пользующийся по своему рождению привилегией лучшего воспитания и более полного образования? Поставить этот вопрос – значит решить его.

Очевидно, что из двух лиц, одаренных от природы приблизительно одинаковыми умственными способностями, то, которое больше знает, умственный кругозор которого более расширен благодаря приобретенным научным знаниям и которое, лучше поняв взаимную связь естественных и социальных фактов, или то, что называют естественными и социальными законами, легче и шире постигнет характер среды, в которой живет, – это лицо будет чувствовать себя более свободным в этой среде, окажется на практике способнее и сильнее другого. Понятно, что тот, кто больше знает, будет господствовать над тем, кто знает меньше. И если бы существовало только различие в воспитании и образовании между классами, то этого одного различия было бы вполне достаточно, чтобы в сравнительно короткий срок породить все другие, и человечество вернулось бы к современному состоянию, т. е. оно было бы вновь разделено на массу рабов и небольшую кучку господ, причем первые, как и теперь, работали бы на последних.

Понятно, стало быть, почему социалисты-буржуа требуют для народа только побольше образования, немножко больше того, что народ получает ныне, и почему мы, демократы-социалисты, требуем для него, наоборот, *полного всестороннего образования*, насколько позволяет состояние умственного развития века, чтобы не могло существовать никакого класса, стоящего выше рабочих масс и могущего приобретать большие знания, и который именно потому, что у него будет больше знаний, сможет господствовать над рабочими и эксплуатировать их.

Буржуазные социалисты желают сохранения классов, так как каждый класс, по их мнению, должен иметь свою функцию, один, напр., должен представлять науку, другой – ручной труд; мы же желаем окончательного и полного уничтожения классов, объединения общества, экономического и социального равенства всех людей на земле. Они желали бы, сохраняя классы, уменьшить, смягчить и сгладить несправедливость и неравенство – этот исторический фундамент современного общества, – мы же хотим разрушить их. Отсюда ясно, что между буржуазными социалистами и нами немыслимы ни соглашение, ни примирение, ни даже союз.

Но, скажут нам, – и этот аргумент всего чаще выставляют против нас, и господа доктринеры всех цветов считают его неопровержимым, – невозможно, чтобы все человечество отдалось науке: оно умерло бы с голоду. Следовательно, необходимо, чтобы в то время как одни занимаются наукой, другие работали бы и производили продукты, которые необходимы прежде всего им самим, а затем также и людям, посвятившим себя исключительно умственному труду, так как люди эти трудятся не для себя одних: их научные открытия не толь-ко обогащают человеческий ум, но и улучшают быт всего человечества благодаря применению их к промышленности и земледелию и вообще к политической и экономической жизни. Разве их художественные произведения не облагораживают жизнь всех людей?

---

[79] Впервые опубликовано в виде цикла статей в августе 1869 года в газете «Egalite».В настоящем издании печатается по: *Бакунин М.* Избранные сочинения. Т. IV. Пб.–М., 1920. С. 41—63.

Нисколько. И мы всего больше упрекаем науку и искусство именно в том, что они распространяют свои благодеяния и оказывают свое благотворное влияние только на очень незначительную часть общества, минуя огромное большинство, и, следовательно, в ущерб ему. Относительно прогресса в науке и искусствах можно сказать теперь то же, что уже не раз было замечено с большим основанием относительно удивительного развития промышленности, торговли, кредита, одним словом, общественного богатства в наиболее цивилизованных странах современного мира. Это богатство совершенно исключительное и с каждым днем все более и более стремится к исключительности, сосредоточиваясь все в меньшем и меньшем количестве рук и выбрасывая низшие слои среднего класса, так называемую мелкую буржуазию, в ряды пролетариата, так что развитие этого богатства находится в прямом отношении к возрастающей нищете рабочих масс. Отсюда следует, что пропасть, разделяющая счастливое и привилегированное меньшинство от миллионов работников, которые содержат это меньшинство трудом своих рук, постоянно расширяется, и чем счастливее становятся счастливцы, эксплуататоры народного труда, тем бедственнее делается положение работников. Стоит только сравнить баснословную роскошь крупного аристократического, финансового, торгового и промышленного мира Англии с бедственным положением рабочих той же страны; стоит прочитать недавно обнародованное наивное и вместе с тем ужасающее письмо одного умного и честного лондонского сребреника, Вальтера Дюгана, который *добровольно* отравился вместе с женою и шестью детьми, спасаясь от унижений, нищеты и от мучений голода, – и придется сознаться, что наша пресловутая цивилизация для народа не что иное, как источник рабства и нищеты.

То же можно сказать и о современном прогрессе в области науки и искусств. Прогресс этот огромный – это правда; но чем больше он возрастает, тем больше становится причиною умственного, а следовательно, и материального рабства, причиною нищеты и умственной отсталости народа, постоянно расширяя пропасть, отделяющую умственный уровень народа от умственного уровня привилегированных классов.

Ум народа с точки зрения природной способности, конечно, в настоящий момент менее притуплен, менее испорчен, искалечен и извращен необходимостью защищать несправедливые интересы, и, следовательно, он, естественно, обладает большей мощью, чем буржуазный ум; но зато последний вооружен наукою, а это оружие ужасно. Очень часто случается, что очень умный рабочий вынужден замолчать перед глупым ученым, который побивает его не умом, которого у него нет, а образованием, отсутствующим у рабочего. Он мог получить это образование, потому что в то время как его, глупого, учили и развивали в школе, труд рабочего одевал его, давал ему жилище, кормил его и снабжал всем необходимым для его образования, учителями и книгами.

Мы прекрасно знаем, что и в буржуазном классе не всякий обладает равными знаниями. Тут также своего рода иерархия, зависящая не от способности индивидов, большего или меньшего богатства того социального слоя, к которому они принадлежат по рождению: так, например, образование, получаемое детьми мелкой буржуазии, немногим превышая образование рабочих, почти ничтожно в сравнении с тем, которым общество щедро наделяет среднюю и высшую буржуазию. И что же мы видим? Мелкая буржуазия, которая, с одной стороны, в данное время причисляется к среднему классу только благодаря смешному тщеславию, а с другой стороны, поставлена в зависимость от крупных капиталистов, находится в большинстве случаев в еще более бедственном и унизительном положении, чем пролетариат. Поэтому, говоря о привилегированных классах, мы никогда не подразумеваем в числе их ту жалкую мелкую буржуазию. Будь у нее больше и смелости, она не преминула бы присоединиться к нам, чтобы вместе бороться против крупной и средней буржуазии, которая давит ее теперь не меньше, чем пролетариат. Если экономическое развитие общества будет продолжаться в том же направлении еще лет десять, что нам кажется, впрочем, невозможным, то большая часть средней буржуазии сначала очутится в теперешнем положении мелкой буржуазии, а потом, мало-помалу,

поглотится пролетариатом, все благодаря той же фатальной концентрации собственности все в меньшем и меньшем количестве рук, и, в конце концов, неизбежным результатом этого будет окончательное разделение социального мира на незначительное, но непомерно богатое, ученое и господствующее меньшинство и на огромное большинство несчастных, невежественных и порабощенных пролетариев. Каждого добросовестного человека, всех, кому дороги человеческое достоинство и справедливость, т. е. свобода и равенство, поражает тот факт, что все изобретения человеческого разума, все великие приложения науки к промышленности, торговле и вообще к социальной жизни, до сих пор служили только интересам привилегированных классов и могуществу государств, вечных покровителей всякого политического и социального неравенства, и никогда не приносили пользы народным массам. Стоит только указать на машины, чтобы каждый рабочий и искренний сторонник освобождения труда согласился с этим.

Какая сила поддерживает привилегированные классы еще и теперь, со всем их наглым довольством и несправедливыми наслаждениями всеми благами жизни против столь законного негодования народных масс? Сила, присущая им? Нет, их охраняет только государственная сила. В государстве, впрочем, дети их занимают ныне, как и всегда, высшие должности и даже средние и низшие, они не исполняют только обязанностей рабочих и солдат. А что составляет ныне главную силу государства? Наука.

Да, наука. Наука, правительственная, административная и наука финансовая; наука, учащая стричь народное стадо, не вызывая слишком сильного протеста, и когда оно начинает протестовать, учащая подавлять эти протесты, заставлять терпеть и повиноваться; наука, учащая обманывать и разъединять народные массы, держать их всегда в спасительном невежестве, чтобы они никогда не могли, соединившись и помогая друг другу, организовать из себя силу, способную свергнуть государство: наука военная прежде всего, с усовершенствованным оружием и всеми ужасными орудиями разрушения, «творящими чудеса»; наконец, наука изобретателей, создавшая пароходы, железные дороги и телеграфы, которые, служа для военных целей, удесятеряют оборонительную и наступательную силу государств; телеграфы, которые, превращая каждое правительство в сторукое или тысячерукое чудовище, дают им возможность быть вездесущими, всезнающими, всемогущими – все это создает самую чудовищную политическую централизацию, какая только существовала в мире.

После этого можно ли отрицать, что до сих пор всякий прогресс, без исключения, в науке служил всегда средством для обогащения привилегированных классов и усиления государств в ущерб благосостоянию народных масс, пролетариата? Но, возразят нам, разве рабочие не пользуются также благами прогресса? Разве в нашем обществе они не являются гораздо более цивилизованными по сравнению с прошлыми веками?

На это мы ответим словами Лассаля, знаменитого немецкого социалиста. Для того, чтобы судить о прогрессе рабочих масс, с точки зрения их политического и экономического освобождения, не нужно сравнивать их умственный уровень в настоящем веке с умственным уровнем их в прошлые века. Надо посмотреть, прогрессировали ли они за данный период времени в такой же степени, как и привилегированные классы. Ибо, если они совершили такой же прогресс, как и эти последние, разница в умственном развитии между ними и привилегированными будет такая же, как и прежде; если пролетариат совершит больший прогресс и быстрее, чем привилегированные, разница эта необходимо уменьшится. Если же, наоборот, прогресс рабочего будет идти медленнее и, следовательно, будет совершен в меньшей степени, чем прогресс господствующих классов в тот же проме-жуток времени, разница эта увеличится: пропасть, разделявшая их, станет шире, привилегированный станет более могущественным, рабочий сделается зависимым, более рабом, чем раньше. Если мы выйдем с вами одновременно из двух разных пунктов и вы будете впереди меня на сто шагов и если при этом вы будете делать

шестьдесят шагов в минуту, в то время как я только тридцать, то через час расстояние, разделявшее нас, будет не сто шагов, а тысяча девятьсот.

Этот пример дает точную идею о взаимном прогрессе, совершаемом буржуазией и пролетариатом. До сих пор буржуазия двигалась быстрее по пути цивилизации, чем пролетарии, но не потому, чтобы ее природные умственные способности были выше умственных способностей последних, – теперь мы с полным правом можем сказать обратное, – а потому, что экономическая и политическая организация общества была такова, что одна только буржуазия могла получать образование, что наука существовала только для нее и что пролетариат осужден на вынужденное невежество, так что если он все-таки делает прогресс, – и этот прогресс не подлежит сомнению, – так это не благодаря обществу, а вопреки ему.

Резюмируем все нами сказанное. При современной организации общества прогресс науки был причиной *относительного* невежества пролетариата, подобно тому как прогресс промышленности и торговли был причиной его *относительной* бедности. Умственный и материальный прогресс, следовательно, одинаково способствовал увеличению его рабства. Что отсюда следует? То, что мы должны отвергнуть *эту* буржуазную науку и бороться против нее, так же как мы должны бороться против буржуазного богатства и отвергнуть его. Бороться и отвергнуть их в том смысле, что, разрушая общественный строй, при котором они являются собственностью одного или нескольких классов, мы должны требовать как общего достояния для всех.

II

Мы доказали, что, пока существуют две или несколько степеней образования для различных слоев общества, до той поры необходимо будут существовать классы, т. е. экономические и политические привилегии для небольшого числа счастливцев, и рабство и нищета для большинства. Как члены Международного Общества Рабочих мы хотим равенства, а потому должны также желать всестороннего и равного образования для всех.

Но, спросят, если все будут образованны, кто же захочет работать? Наш ответ прост: *все должны работать и все должны быть образованны*. На это очень часто возражают, что подобное смешение умственного и механического труда может произойти только в ущерб тому и другому: работники физического труда будут плохими учеными, а ученые всегда останутся очень плохими рабочими. Да, в современном обществе, где ручной и умственный труд одинаково искажены тем совершенно искусственным разобщением, которому оба подвергнуты. Но мы убеждены, что обе эти силы, мускульная и нервная, должны быть одинаково развиты в каждом живом и цельном человеке и не только не могут вредить друг другу, а напротив, каждая должна поддерживать, расширять и укреплять другую: знание ученого будет плодотворнее, полезнее и шире, если ученый будет знаком и с ручным трудом, труд образованного рабочего будет *осмысленнее* и, следовательно, более производителен, чем труд невежественного рабочего.

Из этого следует, что в интересе как самого труда, так и науки не должно существовать ни рабочих, ни ученых, а должны быть только люди.

Люди, которые теперь в силу своего умственного превосходства занимаются исключительно наукою, которые, однажды попав в эту область, подчиняются влиянию условий своего буржуазного положения и обращают все свои открытия исключительно на пользу своего привилегированного класса, – эти люди, сделавшись действительно солидарными со всеми людьми, солидарными не в воображении только и не на словах, а на деле, через труд, обратят также неизбежно открытия и приложения науки на пользу всех, и прежде всего на облегчение и облагорожение труда, этой единственно законной и реальной основы человеческого общества. Возможно и даже очень вероятно, что в переходный период, более или менее продолжительный, который наступит, естественно, после великого социального кризиса, наиболее высоко стоящие науки упадут значительно ниже их настоящего уровня. Несомненно также и то, что роскошь и все, составляющее утонченность жизни, должны будут исчезнуть надолго из общества и вернутся уже не как исключительная привилегия, а как общее достояние, возвышающее жизнь всех людей, только тогда, когда общество доставит все необходимое всем своим членам.

Считать ли, впрочем, несчастием или даже неудобством это временное затмение высшей науки? То, что наука потеряет в движении ввысь, она выиграет в широте распространения. Будет, конечно, меньше ученых, но будете меньше и невежд. Взамен нескольких первоклассных умов миллионы людей, теперь униженных и раздавленных, получат возможность жить почеловечески. Не будет полубогов, но не будет и рабов. Полубоги и рабы станут людьми; первые немного спустятся с своей исключительной высоты, вторые значительно поднимутся. Не будет, следовательно, места ни для обоготворения, ни для презрения. Все подадут друг другу руки и, соединившись, с новой энергией пойдут к новым завоеваниям как в науке, так и в жизни.

Поэтому, не страшась этого, впрочем, совершенно временного, затмения науки, мы призываем его, наоборот, всей душой, ибо следствием его будет очеловечение как ученых, так и работников ручного труда, примирение науки с жизнью. И мы уверены, что как только это осуществится, прогресс человечества как в науке, так и в жизни быстро превзойдет все, что мы до сих пор видели, и все, что мы теперь можем вообразить.

Но здесь является другой вопрос: *способны ли все личности возвыситься до одинаковой степени образования?* Вообразим себе общество, устроенное на началах полного равенства, где дети с самого рождения находятся в одинаковых условиях, как политических, так и экономических, и социальных, т. е. пользуются совершенно одинаковой обстановкой, воспитанием и образованием. Между миллионами этих маленьких существ будут бесконечные различия в энергии, в естественных склонностях и способностях.

Вот самый сильный аргумент наших противников, чистых буржуа и буржуазных социалистов. Они считают его неопровержимым. Постараемся доказать им противное.

Во-первых, по какому праву они ссылаются на принцип индивидуальных способностей? Возможно ли в современном обществе развитие этих способностей? Возможно ли оно в каком бы то ни было обществе, экономическим основанием которого будет служить наследственное право? Ясно, что нет, ибо раз будет существовать наследственное право, будущая карьера ребенка не может быть результатом его личных способностей и энергии, а прежде всего зависит от степени богатства или нищеты его семьи. Богатый, но глупый наследник получит высшее образование, а самые умные дети рабочего все же останутся невежественными, как это происходит теперь. Какое, стало быть, лицемерие, какой бесстыдный обман говорить об индивидуальных правах, основанных на индивидуальных способностях, не только в современном обществе, но даже в будущем, реформированном обществе, но основанием которого останутся индивидуальная собственность и наследственное право.

Столько теперь толкуют о личной свободе, а между тем в современной жизни господствует не человеческая личность, не личность сама по себе, а личность, привилегированная по своему социальному положению, следовательно, господствует привилегированное положение, класс. Пусть попробует какой-нибудь умный человек из рядов буржуазии восстать против экономических привилегий этого почтенного класса, и добрые буржуа, толкующие о личной свободе, покажут, как уважают они свободу личности! Толкуют о личных способностях, как будто мы не видим ежедневно, что самые выдающиеся по своим способностям личности из рабочего и буржуазного мира вынуждены уступать первенство и даже склонять голову перед тупоумием наследников золотого тельца? Только при совершенном равенстве могут *получить* полное развитие действительно индивидуальные способности и индивидуальная, непривилегированная, а человеческая свобода. Когда будет существовать *равенство в точке отправления* для всех людей – земле, тогда только, – сохраняя, однако, высшие права солидарности, которая есть и всегда будет самым великим производителем в социальной жизни: человеческого ума и материальных благ, – тогда только можно будет сказать с большим правом, чем теперь, что всякий человек есть то, чем он сам себя сделал. Отсюда следует, что для того, чтобы личные способности процветали и могли давать беспрепятственно все свои плоды, нужно прежде всего уничтожить все личные привилегии, как политические, так и экономические, т. е. нужно уничтожение классов. Нужно уничтожение индивидуальной собственности и наследственного права, нужно торжество экономического, политического и социального равенства.

Но когда равенство восторжествует и утвердится, не будет больше никакого различия в способностях и в степени энергии людей? Будет различие, не в такой степени, быть может, как существует теперь, но, несомненно, будет различие. Истина, перешедшая в пословицу и которая, вероятно, никогда не перестанет быть истиной, гласит, что нет двух листьев на одном и том же дереве, которые бы совершенно походили один на другой. Тем более это верно по отношению к людям, которые являются гораздо более сложными существами, чем листья. Но это различие не только не составляет зла, а напротив, по верному замечанию Фейербаха, составляет богатство человечества. Благодаря этому различию человечество есть коллективная единица, в которой каждый член дополняет всех других и сам нуждается во всех; так что это бесконечное различие человеческих личностей является самой причиной, главным основанием их солидарности, составляет сильный аргумент в пользу равенства.

В сущности, даже и в современном обществе, если исключить две категории людей: гениев и идиотов, и если оставить в стороне различия, искусственно созданные под влиянием тысячи социальных причин, как то: воспитание, образование, политическое и экономическое положение, которые все различаются не только в каждом слое общества, но почти в каждом семействе, то и теперь необходимо будет признать, что относительно умственных способностей и нравственной энергии огромное большинство людей очень похоже друг на друга или по крайней мере стоят друг друга; слабость каждого в одном каком-нибудь отношении почти всегда уравновешивается силой в другом отношении, так что невозможно сказать о человеке, взятом в массе, что он гораздо выше или ниже другого. Огромное большинство людей не одинаковы, но, так сказать, эквивалентны друг другу, а следовательно, и равны. Аргументация наших противников, следовательно, может опираться только на гениев и идиотов.

Известно, что идиотизм есть физиологическая и социальная болезнь. Ее нужно, следовательно, лечить не в школах, а в больницах, и должно надеяться, что с введением социальной гигиены, более рациональной, и в особенности более заботящейся о физическом и нравственном здоровье людей, и с устройством нового общества на началах общего равенства уничтожится совершенно эта болезнь, столь унизительная для человеческого рода. Что же касается до гениев, то нужно заметить прежде всего, что, к счастию или к несчастию, они всегда появлялись в истории только как очень редкие исключения из всех известных правил, а исключения не организовывают. Будем, однако, надеяться, что будущее общество найдет в действительно практической и народной организации своей коллективной силы средство сделать этих великих гениев менее необходимыми, менее подавляющими и более действительно благодетельными для всех. Не следует забывать глубокомысленного изречения Вольтера: «Есть некто, у кого больше ума, чем у самых великих гениев, это – все». Следовательно, для того чтобы не бояться больше диктаторских вожделений и деспотического честолюбия гениальных людей, надо организовать массу, т. е. *всех*, посредством полной свободы, основанной на полном равенстве, политическом, экономическом и социальном.

О возможности же создавать гениальных людей посредством воспитания нечего и думать. Впрочем, из всех известных гениев ни один или почти ни один не проявил себя таковым ни в детстве, ни в отрочестве, ни даже в первой молодости. Они явились гениями только в зрелом возрасте, а многие признаны были только после смерти, между тем как много неудавшихся великих людей, которые в молодости провозглашены были необыкновенными, кончили жизнь полным ничтожеством. Следовательно, ни в детстве, ни даже в отрочестве нельзя определить относительное превосходство или низкое качество людей, степень их способностей и естественные склонности. Все это обнаруживается и определяется только с развитием личности, и так как некоторые натуры развиваются рано, а другие поздно, хотя эти последние нисколько не ниже, а иногда и выше первых, то ни один школьный учитель не будет в состоянии заранее определить поприще и образ занятий, которые выберут дети, когда достигнут периода самостоятельности.

Из сказанного следует, что общество, не принимая в соображение действительные или кажущиеся различия в наклонностях и не имея никакой возможности определить и никакого права назначить будущее поприще детей, обязано дать всем без исключения *воспитание и образование совершенно равное*.

(Egalite, 14 августа 1869 г.)

III

Образование всех степеней для всех должно быть равное и, следовательно, полное; другими словами, оно должно приготовлять каждого ребенка и к труду, для того чтобы все могли быть одинаково цельными людьми.

Позитивная философия[80], уничтожив обаяние религиозных басен и метафизических бредней, дает нам возможность предвидеть, в чем должно заключаться научное образование в будущем. Основанием его будет изучение природы, а завершением социология. Идеал перестанет быть властителем и исказителем жизни, каким он является во всех религиозных и метафизических системах, и будет лишь последним и наилучшим выражением действительного мира. Перестав быть мечтой, он станет сам действительностью.

Так как никакой ум, как бы он ни был обширен, не в состоянии обнять все науки во всей их полноте, так как, с другой стороны, общее знакомство со всеми науками безусловно необходимо для полного развития ума, преподавание, естественно, будет делиться на две части: на общую, которая будет знакомить с главными элементами всех наук без исключения и давать не поверхностное, а действительное понятие о взаимном их отношении; и на специальную часть, разделенную по необходимости на несколько групп или факультетов, из которых каждый будет обнимать во всей их полноте известное число предметов, по самой природе своей дополняющих друг друга.

Первая часть, общая, обязательная для всех детей, будет составлять, если можно так выразиться, человеческое образование их ума, замещая вполне метафизику и теологию и вместе с тем достаточно развивая детей, чтобы они могли, достигнув юношеского возраста, с полным сознанием избрать тот факультет, который наиболее подходит к их личным способностям и вкусам.

Конечно, может случиться, что, выбирая ученую специальность, юноша под влиянием второстепенных, внешних или даже внутренних причин иногда ошибется и изберет науку или поприще, не совсем соответствующее его способностям.

Но так как мы искренние, а не лицемерные поклонники *личной свободы* и во имя этой свободы ненавидим от всего сердца принцип власти и всевозможные проявления этого божественного противочеловеческого принципа; так как мы ненавидим и осуждаем всей силой нашей любви к свободе власть родительскую и учительскую, находя их одинаково безнравственными и пагубными; так как повседневный опыт доказывает нам, что отец семейства и школьный учитель, несмотря на свою обязательную, вошедшую в пословицу мудрость, и даже в силу ее, ошибаются относительно способностей своих детей еще легче, нежели сами дети; и так как в силу общего человеческого закона, закона неопровержимого, рокового, всякий человек, имеющий власть, злоупотребляет ею, школьные учителя и отцы семейств, устраивая произвольно будущность детей, обращают гораздо больше внимания на свои собственные вкусы, чем на естественные склонности детей; и, наконец, так как ошибки, совершенные деспотизмом, гораздо гибельнее и труднее поправимы, чем ошибки, совершенные свободой действия, то мы поддерживаем против всех опекунов мира, официальных и официозных, полную и безусловную свободу для детей самим выбирать и определять свое поприще. Если они ошибутся, сама эта ошибка послужит им действительным уроком для будущего; а общее образование, которое все они будут иметь, поможет им без большого труда вернуться на истинный путь, указанный им их собственной природой.

---

[80] Под этим выражением «позитивной философии» Бакунин отнюдь не подразумевает позитивизм или контизм, недостатки которого он так прекрасно доказал в своем *Приложении (Философские рассуждения о божественном призраке, действительном мире и человеке),* напечатанном в т. III (франц. издание) его сочинений. Он говорит о научной философии вообще, которая опирается на наблюдения и опыт. – *Прим. Дж. Г.*

Дети, как и взрослые люди, становятся умнее только благодаря своему собственному опыту и иногда благодаря опыту других.

При всестороннем образовании рядом с преподаванием *научным* или *теоретическим* необходимо должно быть образование *прикладное* или *практическое*. Только таким образом образуется цельный человек: работник понимающий и знающий.

Преподавание практическое параллельно с научным образованием будет делиться, так же как и научное, на две части: общую, дающую детям общую идею и первые практические сведения относительно всех индустрий без исключения и идею их совокупности, составляющей материальную сторону цивилизации, общую сумму человеческого труда, и специальную часть, разделенную также на группы индустрий, более тесно связанных между собой.

Общее образование должно подготовлять юношей к свободному выбору специальной группы индустрий и среди этих последних той отрасли, к которой они чувствуют себя наиболее склонными. Достигнув этого второго периода индустриального образования, юноши будут под руководством профессоров производить первые опыты серьезной работы.

Рядом с научным и прикладным образованием необходимо должно будет существовать образование практическое или, скорее, ряд последовательных опытов нравственности, не божественной, а человеческой. Божественная нравственность основана на двух безнравственных принципах: на уважении власти и презрении к человечеству. Человеческая же нравственность основана, напротив, на презрении власти и уважении к свободе и человечеству. Божественная нравственность считает работу унижением и наказанием; человеческая же нравственность видит в ней высшее условие счастья и достоинства людей. Божественная нравственность, в силу необходимой последовательности, приводит к политике, которая признает только права людей, могущих, по причине своего привилегированного экономического положения, жить без труда. Человеческая нравственность, напротив, признает права только тех, которые работают. Она признает, что только одной работой человек становится человеком.

Воспитание детей, беря за исходную точку власть, должно последовательно дойти до совершенно полной свободы. Мы понимаем под свободой, с положительной точки зрения, полное развитие всех способностей, которые находятся в человеке, с отрицательной же точки зрения, независимость воли каждого от воли других.

Человек никогда не может быть совершенно свободен по отношению к естественным и социальным законам. Законы, которые делят таким образом на две группы для большего удобства науки, в действительности принадлежат к одной и той же категории, так как они все суть законы естественные, законы неизбежные, составляющие основу и условия всякого существования, так что ни одно живое существо не может восстать против них, не уничтожив тем самым себя.

Но нужно глубоко различать эти естественные законы от законов авторитарных, произвольных, политических, религиозных, уголовных и гражданских, которые на протяжении истории созданы были привилегированными классами в интересах эксплуатации труда рабочих масс, с единственной целью подавления их свободы, и которые под предлогом мнимой нравственности были всегда источником самой полнейшей безнравственности. Итак, невольное и неизбежное подчинение всем законам, которые, независимо от воли людей, составляют самую жизнь природы и общества; но насколько возможна полная независимость каждого по отношению всех честолюбивых претензий и всякой воли, как индивидуальной, так и коллективной, которая вознамерилась бы не воздействовать своим естественным влиянием, а навязать свой закон, свой деспотизм. Что же касается естественного влияния, которое люди оказывают друг на друга, то оно тоже составляет одно из тех условий социальной жизни, против которых восстание так же бесполезно, как и невозможно. Это влияние есть основа физической материальной, умственной и нравственной солидарности людей. Человеческая личность, продукт солидарности, т. е. общества, подчиняясь его естественным законам, может, конечно, до некоторой

степени противодействовать ему под влиянием чувств, навеянных извне и особенно посторонним обществом, но она не может выйти из него, не сделавшись немедленно членом другой солидарной среды и не подпав там новым влияниям. Ибо для человека жизнь без всякого общества, вне всякого человеческого влияния, полное отчуждение равняются нравственной и физической смерти. Солидарность есть не продукт, а мать индивидуальности, и человеческая личность может родиться и развиваться только среди человеческого общества.

Сумма преобладающих социальных влияний, выраженная солидарным или общим сознанием более или менее обширной группы людей, называется общественным мнением. А кто не знает всесильного влияния общественного мнения на всех людей? Действие самых драконовских ограничительных законов ничто в сравнении с ним.

Следовательно, общественное мнение есть самый главный воспитатель человека, а отсюда вытекает, что для нравственного улучшения личности нужно прежде всего сделать человечным его мнение или его общественную совесть.

(Egalite, 14 августа, 1869 г.)

IV

Мы сказали, что для улучшения человеческой нравственности нужно улучшить в нравственном отношении само общество.

Социализм, основанный на точных науках, совершенно отвергает учение «свободной воли»; он признает, что все так называемые пороки и добродетели людей суть лишь продукт комбинированного действия природы и общества. Природа силою этнографических, физиологических и патологических влияний производит способности и склонности, которые называются естественными, а общественная организация развивает их, или останавливает, или же искажает их развитие. Все люди, без исключения, в каждый момент своей жизни бывают только тем, чем сделала их природа и общество.

Только эта естественная и социальная необходимость делает возможной статистику как науку, которая не довольствуется занесением фактов в списки и перечнем их, но старается, кроме того, объяснить связь и соотношение их с организацией общества. Уголовная статистика, например, констатирует факт, что в одной и той же стране, в одном и том же городе в период 10, 20, 30 и даже иногда больше лет, если в это время не было никаких политических и социальных переворотов, могущих изменять организацию общества, одно и то же преступление или проступок повторяется ежегодно почти одинаковое число раз; и, что еще более замечательно, даже способы совершения известных преступлений повторяются из года в год одинаковое число раз: напр., число отравлений, убийств ножом или огнестрельным оружием, так же как и число самоубийств тем или другим способом всегда почти одинаково. Это заставило Кеттле произнести следующие достопамятные слова: «Общество подготовляет преступления, а личности только выполняют их».

Это периодическое повторение одних и тех же социальных фактов было бы невозможно, если бы умственные и нравственные наклонности людей, равно как и поступки их, зависели от их свободной воли. Слова «свободная воля» или не имеют смысла, или же выражают, что личность принимает известное решение совершенно произвольно, помимо всякого внешнего влияния, естественного или социального. Но если бы это было так, если бы люди зависели только от самих себя, в мире господствовала бы самая большая анархия; всякая солидарность между людьми была бы невозможна. Миллионы противоречивых и независимых друг от друга свободных воль необходимо стремились бы уничтожить друг друга и, конечно, достигли бы этого, если бы над ними, выше их, не было деспотической воли небесного провидения, которая «направляет их, пока они суетятся», и, уничтожая их всех одновременно, водворяет среди человеческой неурядицы божественный порядок.

Поэтому мы видим, что все сторонники учения свободной воли принуждены логикою вещей признать действие божественного Промысла. Это – основание всех богословских и метафизических учений, великолепная система, долгое время тешившая человеческую совесть, и должно сознаться, с точки зрения отвлеченного мышления или религиозно-поэтической фантазии она должна казаться полной гармонии и величия. Но, к несчастью, историческая действительность, соответствующая этой системе, была всегда ужасной, и сама система не выдерживает научной критики. Действительно, мы знаем, что, пока на земле царствовало божественное право, огромное большинство людей подвергалось грубой, немилосердной эксплуатации, тирании, гнету и унижению; мы знаем, что и до сих пор именем религиозного или метафизического божества стараются удержать народные массы в рабстве. Да иначе и быть не может, потому что если божественная воля управляет всем миром, как природой, так и человеческим обществом, то для человеческой свободы нет места. Человеческая во – ля неизбежно бессильна перед волей божьей. Таким образом, желание защитить метафизическую, отвлеченную или воображаемую свободу людей, свободную волю приводит к отрицанию действительной свободы. Перед боже-

ским всемогуществом и вездесущием человек является рабом. Так как свобода человека в общем уничтожается божественным провидением, то остается только привилегия, т. е. особые права, ниспосланные божественной благодатью известным лицам, известной иерархии, династии, классу.

Точно так же божественное провидение делает невозможной и всякую науку, что означает, что оно просто отрицает человеческий разум; другими словами, чтобы признать его, должно отказаться от своего здравого смысла. Раз мир управляется божественной волей, нечего уже искать естественной связи между явлениями и остается смотреть на них как на ряд проявлений высшей воли, предначертания которой, по словам Св. Писания, должны всегда оставаться непроницаемы для людей, чтобы не потерять своего божественного характера. Божественный промысл не только отрицает человеческую логику, но и логику вообще, ибо всякая логика подразумевает естественную необходимость, а такая необходимость была бы противна божественной свободе; с точки зрения человеческой это торжество бессмыслия. Кто хочет верить, должен, следовательно, отказаться и от свободы, и от науки, должен позволить эксплуатировать, тиранить себя любимцам милосердного бога, повторяя слова св. Тертуллиана: *«верую, потому что это нелепо»* – и дополняя их изречением столь же логичным, как и первые: *«и хочу беззакония»*. Мы же, добровольно отрекающиеся от блаженства будущего света и желающие только полного торжества человечества на земле, мы смиренно сознаемся, что божественная логика непостижима для нас и что мы довольствуемся логикой человеческой, основанной на опыте и на знании взаимной связи явлений, как естественных, так и социальных. Наука, т. е. сумма опытов, много раз повторенных, приведенных в порядок и обдуманных, доказывает нам, что «свободная воля» – невозможная фикция, противная самой природе вещей; что так называемая воля есть лишь проявление известной нервной деятельности, как наша физическая сила есть результат действия наших мышц, что, следовательно, и то и другое одинаково продукты естественной и социальной жизни, т. е. тех физических и общественных условий, среди которых каждый человек родится и развивается; таким образом, повторяем, каждый человек в каждую минуту своей жизни есть результат комбинированного действия природы и общества; откуда ясно вытекает истина положения, высказанного нами в предыдущей статье: что для улучшения человеческой нравственности нужно улучшить общественную среду. Улучшить эту среду можно только одним способом – водворяя в ней справедливость, т. е. полную свободу[81] каждого среди полного равенства всех. Неравенство в социальном положении и правах и неизбежно вытекающее из него отсутствие свободы для всех – вот та великая коллективная несправедливость, от которой происходят все индивидуальные несправедливости. Уничтожьте первую, и все другие исчезнут сами собою. Видя, как мало люди привилегированные стремятся к нравственному улучшению или, что то же, к уравнению своих прав с прочими, мы боимся, что торжество истины может водвориться только посредством социальной революции.

Чтобы люди были нравственными, т. е. совершенными людьми, людьми в полном смысле слова, необходимы три вещи: рождение в гигиенических условиях, рациональное и всестороннее образование, сопровождаемое воспитанием, основанным на уважении к труду, разуму, равенству и свободе, и общественная среда, в которой каждая человеческая личность, пользуясь полной свободой, была бы как по праву, так и в действительности равна всем другим. Существует ли подобная среда? Нет. Следовательно, нужно создать ее. Если бы в существующем обществе и удалось основать школы, которые давали бы своим ученикам образование и воспитание, настолько совершенное, насколько мы только можем себе представить, они все-

[81] Мы уже сказали, что под свободой мы понимаем, с одной стороны, по возможности полное развитие всех естественных способностей каждого человека, а с другой – его независимость не по отношению законов естественных и социальных, а по отношению всех законов, налагаемых человеческой волей – коллективной или индивидуальной, все равно.

таки не могли бы создать людей справедливых, свободных и нравственных, ибо по выходе из школы человек попадал бы в общество, управляемое совершенно другими принципами; а так как общество всегда сильнее отдельных личностей, то скоро оно подчинило бы их своему влиянию, другими словами, развратило бы их. Впрочем, основание подобных школ совершенно невозможно в современном обществе, так как общественная жизнь обнимает все, подчиняет своим условиям и школу, и семейную жизнь, и отдельную личность.

Учителя, профессора, родители – все члены этого общества, все более или менее развращены им. Как же могут они дать ученикам то, чего нет в них самих? Нравственность проповедуется хорошо только примером, а так как социалистическая нравственность совершенно противоположна современной морали, то учителя, находясь более или менее под властью этой последней, доказывали бы ученикам своим примером совершенно противное тому, что проповедовали в школах. Следовательно, социалистическое воспитание невозможно в школах, как невозможно и в современной семье.

Но и интегральное, то есть всестороннее, образование совершенно невозможно при современном порядке вещей. Буржуа не имеют никакого желания, чтобы де-ти их делались работниками, а работники лишены всех средств дать своим детям научное образование.

Бесподобна наивность и простота буржуазных социалистов, которые все твердят: «Дадим народу прежде образование, а потом освободим его». Мы говорим наоборот: «Пусть он прежде освободится, а потом он сам начнет учиться». Кто будет учить народ? Уж не вы ли? Но вы не учите его, вы его отравляете, стараясь внушить ему все религиозные, исторические, политические, юридические и экономические предрассудки, защищающие вас против него и в то же время мертвящие его ум, расслабляющие его законную злобу и волю. Вы убиваете его ежедневной работой и нищетой и говорите ему: «учись!» Желали бы мы видеть, как вы с вашими детьми стали бы учиться после 13, 14, 16 часов оскотинивающего труда, при нищете, при неуверенности в завтрашнем дне.

Нет, господа, несмотря на все наше уважение к великому вопросу всестороннего образования, мы утверждаем, что не в нем теперь главный интерес для народа. Первый вопрос для народа – его экономическое освобождение, которое необходимо и непосредственно влечет за собой его политическое, а вслед за тем и умственное, и нравственное освобождение.

Поэтому мы целиком принимаем следующее постановление Брюссельского конгресса 1887 года:

«Признавая, что в настоящее время организация рационального образования невозможна, конгресс приглашает отдельные секции открыть публичные курсы по программе научного, профессионального и производственного образования, т. е. всестороннего, чтобы пополнить по возможности недостаточность образования рабочих. *Само собой разумеется, что уменьшение часов работы должно считать предварительным, необходимым условием этого!»*

Да, конечно, рабочие должны сделать все возможное, чтобы получить то образование, какого они могут достигнуть при тех материальных условиях, в которых они находятся. Но не увлекаясь сладкими песенками буржуа и буржуазных социалистов, они должны прежде всего сосредоточить свои силы на великом вопросе своего экономического освобождения, которое должно быть источником всякого рода освобождения.

(Egalite, 21 августа 1869 г.)

Письма о патриотизме к товарищам международного общества рабочих Локля и Шо-Де-Фона[82]

Письмо первое[83]

Друзья и братья!

Прежде чем покинуть ваши горы, я чувствую потребность еще раз выразить вам письменно мою глубокую благодарность за сделанный мне вами братский прием. Разве не удивительно, что какой-то человек, русский, бывший дворянин, которого вы до последнего времени совершенно не знали и чья нога в первый раз ступила на вашу землю, тотчас же по своем прибытии был окружен несколькими сотнями братьев! Подобное чудо в настоящее время может быть осуществлено лишь *Международным Обществом Рабочих*, и это по простой причине: оно одно теперь являет собой историческую жизнь и творческую мощь политического и социального будущего. Те, кого объединяет живая мысль, живая воля и великое общее стремление, являются действительно братьями, даже если они незнакомы друг с другом.

Было время, когда буржуазия, обладая такой же жизненной мощью и являясь единственным историческим классом, представляла подобное зрелище братства и единения, как в действиях, так и в мыслях. Это было лучшее время этого класса, без сомнения, всегда почтенного, но отныне бессильного, тупого и бесплодного, эпоха его самого энергичного развития. Такова была буржуазия до великой революции 1793 года; таковой была она еще, но в меньшей мере, до революции 1830 и 1848 года. Тогда пред буржуазией был целый мир для покорения, она должна была занятъ место в обществе, и, организованная для борьбы, умная, смелая, чувствуя себя сильной правом всех, она обладала непреоборимым всемогуществом; она одна совершила три революции против соединенных сил монархии, дворянства и духовенства.

В то время буржуазия тоже создала всемирную, могучую международную ассоциацию: *Франк-Масонство*.

Очень ошибся бы тот, кто судил бы о Франк-Масонстве прошлого века или даже начала этого века по тому, чем оно является теперь. Учреждение по преимуществу буржуазное, Франк-Масонство, в своем растущем могуществе сначала и потом в своем упадке, было как бы выражением интеллектуального и морального развития, могущества и упадка буржуазии. В настоящее время, спустившись до печальной роли старой интриганки и болтуньи, оно ничтожно, бесполезно, иногда вредно и всегда смешно, между тем как до 1830 и в особенности до 1793 года оно соединяло в себе, за малым числом исключений, все выдающиеся умы, самые пылкие сердца, самые гордые воли, самые смелые характеры и представляло собой деятельную, могучую и истинно полезную организацию. Это было мощное воплощение и осуществление на практике гуманитарных идей XVIII века. Все великие принципы свободы, равенства, братства, человеческого разума и справедливости, выработанные теоретически философией этого века, сделались в среде Франк – Масонства практическими догматами и как бы основами новой морали и новой политики – душой гигантского предприятия разрушения и воссоздания.

---

[82] В начале 1869 г. М.А. Бакунин прочел в «Интернациональном кружке» г. Локля в Швейцарии лекцию «Философия народа». Эту лекцию он затем превратил в серию статей, появившихся в мае–сентябре 1869 г. в выходившей в Локле под редакцией Д. Гильома газете «Прогресс» под общим заголовком «Письма о патриотизме» и подзаголовком «К товарищам Международного общества рабочих Локля и Шо-де-Фона». На русском языке «Письма о патриотизме» опубликованы впервые в сборнике «Историческое развитие Интернационала» (Цюрих, 1873. Ч. I).В настоящем издании текст печатается по: *Бакунин М.* Избранные сочинения. Т. IV. Пб.–М., 1920. С. 79–109.

[83] Женева, 23 февраля 1869 г. – Le Progres, № 6 (1 марта, 1869 г.).

Франк-Масонство было в то время не более, не менее, как всемирным заговором революционной буржуазии против феодальной, монархической и божеской тирании.

Это был Интернационал буржуазии.

Известно, что все главные деятели первой революции были Франк-Масонами и что, когда эта революция разразилась, она встретила благодаря Франк-Масонству друзей и преданных, могущественных союзников во всех других странах, что, конечно, сильно помогло ее торжеству. Но так же очевидно, что торжество революции убило Франк-Масонство, ибо после того, как революция в значительной мере выполнила пожелания буржуазии и поставила ее на место родовой аристократии, буржуазия, бывшая долгое время утесняемым и эксплуатируемым классом, естественно, сделалась, в свою очередь, классом привилегированным, эксплуататорским, притесняющим, консервативным и реакционным, сделалась другом и самой надежной поддержкой государства. После захвата власти первым Наполеоном Франк-Масонство сделалось в большинстве стран Европейского континента императорским учреждением.

Реставрация его отчасти воскресила. Буржуазия, видя угрозу возвращения старого режима, вынужденная уступить церкви и дворянству место, завоеванное ею в первую революцию, принуждена была снова сделаться революционной. Но какая разница между этим подогретым революционаризмом и горячим, могучим революционаризмом, вдохновлявшим ее в конце прошлого столетия! Тогда буржуазия была искренна, она серьезно и наивно верила в права человека, ее двигал, вдохновлял гений разрушения и обновления, она была в полной силе ума и в полном развитии сил; она еще не подозревала, что бездна отделяет ее от народа; она себя считала, чувствовала и действительно была представительницей народа. Реакция термидора и заговор Бабефа навсегда лишили ее этой иллюзии. Бездна, разделяющая рабочий народ от эксплуатирующей, властвующей и благоденствующей буржуазии, открылась, и, чтобы заполнить эту бездну, понадобится весь класс буржуазии, целиком, все привилегированное существование буржуа. Поэтому не вся буржуазия в ее целом, а только часть ее возобновила после реставрации заговорщицкую деятельность против дворянского, клерикального режима и законных королей.

В следующем письме я разовью вам, если вы мне позволите, свои мысли относительно последней фазы конституционного либерализма и буржуазного карбонаризма.

Письмо второе[84]

Я сказал в предыдущем письме, что реакционные, легитимистические, феодальные и клерикальные попытки пробудили снова революционный дух буржуазии, но что между этим новым духом и телом, который одушевлял ее до 1793 года, была громадная разница. Буржуа прошлого столетия были гигантами, в сравнении с которыми самые смелые из буржуа этого столетия кажутся лишь пигмеями.

Чтобы в этом убедиться, надо только сравнить их программы. Какова была программа философии и великой революции XVIII столетия? Не более, не менее, как полное освобождение всего человечества; осуществление для каждого и всех права и действительной и полной свободы путем всеобщего политического и социального уравнения; торжество человечности на развалинах божеского мира; царство свободы и братства на земле. Ошибкой этой философии и этой революции было непонимание, что осуществление человеческого братства невозможно, пока существуют государства, и что действительное уничтожение классов и политическое, и социальное уравнение индивидов возможны не иначе, как при уравнении для всех и каждого экономических средств, воспитания, образования, труда и жизни. Тем не менее было бы несправедливо упрекать XVIII век за то, что он этого не понял. Общественные науки не создаются, не изучаются с помощью одних книг; они нуждаются в великих уроках истории, и надо было совершить революцию 1789 и 1793 годов, надо было повторить опыт 1830 и 1848 годов, чтобы прийти к этому, отныне несокрушимому заключению, что всякая политическая революция, не ставящая себе *немедленной* и *прямой* целью экономическое равенство, является, с точки зрения народных интересов и прав, не чем иным, как лицемерной и замаскированной реакцией.

Эта столь очевидная и простая истина была еще неизвестной в конце XVIII столетия, и, когда Бабеф выдвинул экономический и социальный вопрос, сила революции была уже исчерпана. Тем не менее этой последней принадлежит бессмертная честь провозглашения самой великой цели из всех когда-либо поставленных в истории – освобождение всего человечества в его целом.

Какую же цель преследует в сравнении с этой громадной программой программа революционного либерализма в эпоху Реставрации и Июльской монархии? Пресловутую благоразумную свободу, очень скромную, очень упорядоченную, очень ограниченную, приноровленную как раз к ослабевшему темпераменту полунасыщенной буржуазии, которая, уставши от борьбы и ощущая нетерпение начать благоденствовать, уже чувствовала для себя угрозу не сверху, но снизу и с беспокойством видела появление на горизонте черной массы бесчисленных миллионов эксплуатируемых пролетариев, уставших терпеть и готовящихся потребовать своих прав.

С начала настоящего столетия этот рождающийся призрак, названный позже красным призраком, этот ужасный призрак права всех, противуположного привилегиям класса счастливцев, эта народная справедливость и народный разум, которые при своем дальнейшем развитии должны обратить в прах софизмы буржуазной экономии, юриспруденции, политики и метафизики, становятся посреди современных триумфов буржуазии помехою ее счастью, ослабляют ее уверенность, ее ум.

А ведь при Реставрации социальный вопрос был еще почти неведом или, лучше сказать, забыт. Было несколько отдельных великих мечтателей, как Сен-Симон, Роберт Оуен, Фурье, гениальный ум которых или великие сердца отгадали необходимость радикальной переработки экономической организации общества. Вокруг каждого из них группировалось малое число пылких и преданных учеников, составляя как бы несколько небольших церквей, но они были

[84] *Женева, 28 марта 1869 г. – Le Progres, № 7 (3 апр. 1869 г.), стр. 2–3.*

столь же неизвестны, как их учителя, и не имели никакого влияния на окружающий мир. Было еще коммунистическое завещание Бабефа, переданное его знаменитым товарищем и другом, Буонаротти, наиболее энергичным пролетариям посредством тайной народной организации. Но тогда это было еще подпольной работой, проявление которой дало себя почувствовать только позже, при Июльской монархии; во время Реставрации она совершенно не была замечена буржуазным классом. Народ, рабочие массы оставались спокойными и ничего еще для себя самих не требовали.

Ясно, что если боязнь народной справедливости имела в эту эпоху какое-либо существование, то она могла жить лишь в нечистой совести буржуа. Откуда явилась эта нечистая совесть? Или буржуа, жившие при Реставрации, были, как индивиды, более злыми, чем их отцы, сделавшие революции 1789 и 1793 года? Нисколько. Это были почти одинаковые люди, но только поставленные в другую среду и другие политические условия, обогащенные новой опытностью и, следовательно, имеющие другую совесть.

Буржуа прошлого столетия искренно верили, что, освобождая самих себя от монархического, клерикального и феодального ига, они освободят вместе с собой весь народ. И это наивное, искреннее верование и было источником их геройской смелости и их невероятной мощи. Они чувствовали свое единение со всеми и шли на приступ, неся в себе силу и право для всех. Благодаря этому праву и этой народной мощи, которая, так сказать, воплотилась тогда в классе буржуазии, буржуа прошлого столетия могли овладеть крепостью политического права, составлявшей предмет вожделения их отцов в продолжение стольких столетий. Но в то мгновение, как они водрузили на ней свое знамя, новый свет озарил их ум. Как только они завоевали власть, они начали понимать, что между их буржуазными интересами и интересами народных масс нет ничего общего, что, напротив, между ними есть радикальное противоречие и что могущество и исключительное процветание класса собственников могут опираться лишь на нищету и политическую и социальную зависимость пролетариата.

С тех пор отношения между буржуазией и народом коренным образом изменились, и еще раньше, чем рабочие поняли, что буржуа, более по необходимости, чем по злой воле, являются их естественными врагами, буржуа уже достигли сознания этого фатального антагонизма. Это-то сознание я и называю нечистой совестью буржуа.

Письмо третье[85]

Нечистая совесть буржуа, сказал я, парализовала с начала столетия все интеллектуальное и моральное движение буржуазии. Я делаю поправку и заменяю слово *парализовала* словом *извратила*. Ибо было бы неправильно обозвать параличным тот ум, который, перейдя от теории к приложению позитивных наук, создал все чудеса современной промышленности, пароходы, железные дороги и телеграф; который, с другой стороны, открыл новую науку – статистику, и, доведя политическую экономию и историческую критику развития богатства и цивилизации народов до их последних выводов, положил основание новой философии – социализму, являющемуся с точки зрения интересов буржуазии не чем иным, как великодушным самоубийством, отрицанием всего буржуазного мира.

Паралич наступил лишь позже, с 1848 года, когда буржуазия, испуганная результатами своих прежних работ, сознательно бросилась назад и, отрекшись, ради сохранения своих богатств, от всякой мысли и всякой воли, подчинилась военным покровителям и отдалась душой и телом самой полной реакции. С этого времени она более ничего не изобрела, она потеряла вместе со смелостью и творческую мощь. У нее даже нет больше инстинкта самосохранения, ибо все, что она делает для своего спасения, фатально толкает ее в бездну.

До 1848 года она была еще в полной силе духа. Правда, этот дух уже не обладал той жизненной силой, с помощью которой в период от XVI до XVIII века он создал целый новый мир. Это уже не был героический дух класса, который обладал всеми дерзновениями, ибо должен был все завоевать: теперь это был благоразумный и рассудительный дух нового собственника, который, приобретая горячо желанное имущество, должен теперь заботиться о его процветании и ценности. Характерной чертой буржуазного духа первой половины этого столетия является почти исключительно утилитарная тенденция.

Буржуазию в этом упрекали, и упреки эти несправедливы. Я, напротив, думаю, что буржуазия оказала человечеству последнюю великую услугу, проповедуя гораздо больше собственным примером, чем теориями, культ или, лучше сказать, уважение к материальным интересам. В сущности, эти интересы всегда имели в мире преобладающее значение; но раньше они маскировались под видом лицемерного и нездорового идеализма, который именно и делал их зловредными и отталкивающими.

Тот, кто хоть немного занимался историей, не мог не заметить, что в основе самых абстрактных, высоких и идеальных религиозных и теологических распрей всегда был какой-нибудь крупный материальный интерес. Все расовые национальные, государственные и классовые войны никогда не имели другой цели, кроме владычества, являющегося необходимой гарантией и условием обладания богатствами и пользования ими. Человеческая история, рассматриваемая с этой точки зрения, является не чем иным, как продолжением великой борьбы за существование, составляющей согласно Дарвину основной закон органической природы.

В животном мире эта борьба происходит без идей и без фраз, и ей нет разрешения; пока земля будет существовать, животные будут пожирать друг друга. Это естественное условие жизни животных. Люди, животные плотоядные по преимуществу, начали свою историю с людоедства. Теперь они стремятся к всемирной ассоциации, к коллективному производству и потреблению.

Но между этими двумя крайними точками какая кровавая и ужасная трагедия! И конец этой трагедии еще не настал. После людоедства наступило рабство; после рабства крепостное право; после крепостного права наемный труд, за которым должны последовать, во-первых, страшный день возмездия, а затем позже, много позже, эра братства. Вот фазы, чрез которые

---

[85] *Женева, 14 апреля 1869 г. – Le Progres, № 8 (17 апр. 1869 г.,), стр 2 – 3.*

проходит животная борьба за жизнь в истории, постепенно преобразуясь в человеческую организацию жизни.

И среди этой братоубийственной борьбы людей против людей, в этом взаимном пожирании друг друга, в этом рабстве и этой эксплуатации одних другими, которые, меняя название и формы, тянулись непрерывно из века в век до наших дней, какую роль играла религия? Она всегда освящала насилие и обратила его в право. Она перенесла человечность, справедливость и братство на фиктивное небо, чтобы оставить на земле царство несправедливости и грубой силы. Она благословляла счастливых бандитов, и, чтобы сделать их еще счастливее, она проповедовала их бесчисленным жертвам, народам, покорность и послушание. И чем выше и прекраснее казался идеал, которому она поклонялась на небе, тем действительность на земле становилась ужаснее. Ибо в природе всякого идеализма, как религиозного, так и метафизического, заложено презрение к реальному миру, и, презирая его, он вместе с тем его эксплуатирует, откуда вытекает, что всякий идеализм необходимо порождает лицемерие.

Человек – материя и не может безнаказанно презирать материю. Он – животное и не может уничтожить свою животность; но он может и должен ее переработать и очеловечить через свободу, т. е. посредством комбинированного действия справедливости и разума, которые, в свою очередь, могут иметь влияние на нее только потому, что они являются ее продуктом и высшим выражением. Напротив того, всякий раз, когда человек хотел отвлечься от своей животности, он становился ее игрушкой и рабом, а чаще всего даже лицемерным служителем, свидетельством чему служат священники самой идеальной и самой нелепой из религий – католицизма.

Сравните их хорошо известную безнравственность с их обетом целомудрия; сравните их ненасытную жадность с их учением об отречении от благ сего мира и согласитесь, что не существует больших материалистов, чем эти проповедники христианского идеализма. Даже сейчас какой вопрос волнует всего больше церковь? Вопрос о сохранении своего имущества, угрожаемого повсюду теперь конфискацией со стороны государства, этой новой церкви, являющейся выражением политического идеализма.

Политический идеализм не менее нелеп, не менее вреден, не менее лицемерен, чем идеализм религиозный, коего он является лишь разновидностью, лишь светским и земным выражением или проявлением. Государство – это младший брат церкви; а патриотизм, эта государственная добродетель, этот культ государства, является лишь отражением божественного культа.

Добродетельный человек согласно предписаниям идеальной, религиозной и политической школы должен служить Богу и жертвовать собой ради государства. И вот эту-то доктрину буржуазный *утилитаризм* с начала этого столетия и стал оценивать по достоинству.

Письмо четвертое[86]

Одной из величайших заслуг буржуазного утилитаризма было, как я уже сказал, убийство религии государства, убийство патриотизма.

Патриотизм, как известно, добродетель мира античного, рожденная среди греческих и римских республик, где в действительности никогда не было другой религии, кроме религии государства, другого предмета поклонения, кроме государства.

Что такое государство? Метафизики и гористы отвечают нам, что это общественная вещь; интересы, общее благо и право всех в противуположении разлагающему действию эгоистичных интересов и страстей каждого. Это справедливость, и осуществление морали и добродетели на земле. Следовательно, для индивидов не может быть более высокого подвига и более великой обязанности, как жертвовать собой и, в случае нужды, умереть ради торжества, ради могущества государства.

Вот в немногих словах вся теология государства. Посмотрим теперь, не скрывает ли эта политическая теология, так же как и теология религиозная, под очень красивой и поэтической внешностью очень обыденную и грязную действительность.

Проанализируем сперва самую идею государства, такую, какой нам ее представляют ее восхвалители. Это пожертвование естественной свободой и интересами каждого, как индивида, так и сравнительно мелких коллективных единиц – ассоциаций, коммун и провинций, – ради интересов и свободы всех, ради благоденствия великого целого. Но это все, это великое целое, что это такое в действительности? Это совокупность всех индивидов и всех более ограниченных человеческих коллективов, которые его составляют. Но раз для того, чтобы его составить, нужно пожертвовать всеми индивидуальными и местными интересами, то чем же является в действительности то целое, которое должно быть их представителем? Это не живое целое, предоставляющее каждому свободно дышать и становящееся тем более богатым, могучим и свободным, чем шире развертываются на его лоне свобода и благоденствие каждого; это не естественное человеческое общество, которое утверждает и увеличивает жизнь каждого посредством жизни всех; напротив того, это заклание как каждого индивида, так и всех местных ассоциаций, абстракция, убивающая живое общество, ограничение или, лучше сказать, полное отрицание жизни и права всех частей, составляющих общее целое, во имя так называемого всеобщего блага. Это государство, это алтарь политической религии, на котором приносится в жертву естественное общество: это всепожиратель, живущий человеческими жертвами, подобно церкви. Государство, повторяю еще раз, – меньший брат церкви.

Чтобы доказать тождество церкви и государства, я прошу читателя констатировать тот факт, что как церковь, так и государство основаны существенным образом на идее пожертвования жизнью и естественным правом и что они исходят из одного и того же принципа; принципа прирожденной порочности людей, которая может быть побеждена лишь божьей благодатью и смертью в боге естественного человека согласно церкви, а согласно государству лишь законом и закланием индивида на алтаре государства. И церковь, и государство стремятся пересоздать человека, первая в святого, второе – в гражданина. Но естественный человек должен умереть, ибо он осужден единогласно как религией церкви, так и религией государства.

Таковы в их идеальной чистоте тождественные теории церкви и государства. Это чистые абстракции; но всякая историческая абстракция предполагает исторические факты. Эти факты, как я уже сказал в предыдущем письме, реального, грубого характера: это насилие, грабеж, порабощение, завоевание. Человек так создан, что он не довольствуется тем, что делает то или другое, он чувствует потребность объяснить и оправдать перед своей собственной сове-

[86] *Женева, 28 апреля, 1869 г. – Le Progres, № 9 (1 мая 1869 г.), стр. 2–3.*

стью и в глазах всего мира то, что он делает. Религия явилась, стало быть, как раз кстати, чтобы благословить совершившиеся факты, и, благодаря этому благословению, несправедливый и грубый факт превратился в право. Юридическая наука и политическое право, как известно, вначале вытекали из теологии, позже из метафизики, которая является не чем иным, как замаскированной теологией, имеющей смешную претензию не быть нелепой. Метафизика старалась, но тщетно, придать им характер науки.

Рассмотрим теперь, какую роль играла и продолжает играть в реальной жизни, в человеческом обществе эта абстракция государства, параллельная исторической абстракции, называемой церковью?

Государство, сказал я, по самой сущности своей есть громадное кладбище, где происходит самопожертвование, смерть и погребение всех проявлений индивидуальной и местной жизни, всех интересов частей, которые и составляют все вместе общество. Это алтарь, на котором реальная свобода и благоденствие народов приносятся в жертву политическому величию; и чем это пожертвование более полно, тем государство совершенней. Я отсюда заключаю, и это мое убеждение, что русская империя – это государство по преимуществу, это, без риторики и без фраз, самое совершенное государство в Европе. Напротив того, все государства, в которых народы могут еще дышать, являются с точки зрения идеала государствами несовершенными, подобно тому как все другие церкви, по сравнению с римско-католической церковью, являются неудавшимися церквами.

Государство, сказал я, это абстракция, пожирающая народную жизнь; но для того, чтобы абстракция могла родиться, развиться и продолжать существовать в реальном мире, надо, чтобы существовало реальное коллективное тело, заинтересованное в ее существовании. Таковым не может быть большинство народа, ибо оно именно является жертвой государства: нуждаться в нем может лишь привилегированная группа, жреческое сословие государства, правящий и обладающий собственностью класс, являющийся в государстве тем же, чем в церкви является духовное сословие, священники.

И в самом деле, что видим мы в продолжение всей истории? Государство было всегда принадлежностью какого-нибудь привилегированного класса: духовного сословия, дворянства или буржуазии; наконец, когда все другие классы истощаются, выступает на сцену класс бюрократов, и тогда государство падает или, если угодно, возвышается до положения машины. Но для существования государства непременно нужно, чтобы какой-нибудь привилегированный класс был заинтересован в его существовании. И вот солидарные интересы этого привилегированного класса и есть именно то, что называется *патриотизмом*.

Письмо пятое[87]

Был ли когда-либо патриотизм, в том сложном смысле, который придают этому слову, народной страстью или добродетелью?

Имея в руках историю, я не колеблясь отвечаю на этот вопрос решительным *нет*, и, чтобы доказать читателю, что я не ошибаюсь, отвечая таким образом, я прошу у него позволения проанализировать главнейшие элементы, которые, комбинируясь более или менее различным образом между собою, составляют то, что называется патриотизмом.

Таких элементов четыре: 1) естественный или физиологический элемент; 2) экономический; 3) политический и 4) религиозный или фанатический.

Физиологический элемент является главным основанием всякого наивного, инстинктивного и грубого патриотизма. Это естественная страсть, которая именно потому, что она слишком естественная, т. е. совершенно животная, находится в жесточайшем противоречии со всей политикой и, что много хуже, сильно затрудняет экономическое, научное и гуманное развитие общества.

Естественный патриотизм, явление совершенно звериное, встречающееся на всех ступенях животной жизни и даже, можно отчасти сказать, в растительном царстве. Взятый в этом смысле патриотизм – это губительная война, первое проявление в человечестве той великой и роковой борьбы за существование, которая составляет все развитие, всю жизнь естественного или реального мира, – борьбы непрестанной, всемирного пожирания друг друга, которое питает каждого индивида, каждую породу мясом и кровью индивидов других пород и которое, фатально возобновляясь с каждым часом, с каждым мгновением, позволяет жить и развиваться самым совершенным, сильным и умным породам на счет других.

Те, кто занимается земледелием или садоводством, знают, как трудно уберечь свои посадки против паразитических видов, которые отнимают у них свет и необходимые для питания химические элементы земли. Наиболее могучее растение, которое лучше других приноровлено к специальным условиям климата и почвы, развивается всегда со сравнительно большей силой и естественно стремится задушить все другие. Это молчаливая, но неустанная борьба, и нужно энергичное вмешательство человека, чтобы защитить предпочитаемые им растения от этого нашествия.

В животном царстве продолжается та же борьба, только происходит она более драматически, с большим шумом. Здесь уже не молчаливое, незаметное задушение. Здесь течет кровь, и мучимое, раздираемое, пожираемое животное наполняет воздух криками. Наконец, человек, животное говорящее, вносит в эту борьбу первую фразу, и фраза эта называется патриотизмом.

Борьба за жизнь в растительном и животном царстве не есть лишь борьба между индивидами: это борьба между породами, группами и семействами. Во всяком живом существе есть два инстинкта, два главных интереса: питание и воспроизведение. С точки зрения питания каждый индивид является естественным врагом всех других, невзирая ни на какие связи – семейные, групповые или родовые – его с другими. Поговорка, что волки не едят друг друга, справедлива лишь до тех пор, покуда волки находят для своего питания животных, принадлежащих к другим породам; но мы знаем, что как только в этих последних ощущается недостаток, волки преспокойно пожирают друг друга. Кошки, свиньи и еще многие другие животные часто съедают своих собственных детенышей, и нет животного, которое бы этого не сделало, вынужденное голодом. А человеческие общества не начали ли с людоедства? И кто не слыхал печальных историй о потерпевших крушение моряках, которые блуждали среди океана, носясь на хрупком судне, и, будучи лишены пищи, бросали жребий, кто из них должен быть

[87] *Женева 25 мая 1869 г. – Le Progres (29 мая 1899 г.), стр. 2 – 3.*

пожертвован и съеден другими. Наконец, разве мы не видели при последнем большом голоде, опустошившем Алжир, матерей, которые съедали собственных детей?

Дело в том, что голод – это жестокий и непобедимый деспот, и необходимость питаться, необходимость чисто индивидуальная, является первым законом, главным условием жизни. Это основание всей человеческой и социальной жизни, точно так же как и жизни растительной и животной. Бунт против необходимости питания равносилен отрицанию всей жизни, самоприговору к небытию.

Но наряду с этим основным законом живой природы есть и другой столь же существенный – закон воспроизведения. Первый стремится к сохранению индивидов, второй – к созданию семейств, групп и пород. Индивиды, побуждаемые естественной необходимостью, стремятся соединиться, для целей воспроизведения, с индивидами, которые по организму близки к ним, подобны им. Бывают различия в организмах, делающие совокупление бесплодным или даже невозможным. Эта невозможность очевидна между царством растительным и царством животным; но даже и в этом последнем совокупление четвероногих, например, с птицами, рыбами, пресмыкающимися или насекомыми, равным образом невозможно.

Ограничившись одними четвероногими, мы найдем ту же невозможность между различными группами и, таким образом, приходим к заключению, что возможность совокупления и воспроизведения становится реальной для каждого индивида лишь в очень ограниченном кругу индивидов, которые, будучи одарены организмом тождественным или близким к его организму, составляют вместе с ним одну и ту же группу или одно и то же семейство.

Так как инстинкт воспроизведения составляет единственную связь солидарности, могущую существовать между индивидами животного мира, то там, где эта способность прекращается, прекращается и всякая животная солидарность. Все, остающееся вне группы, в среде которой возможно для индивида воспроизведение, составляет другую породу, совершенно чуждый мир, мир враждебный и осужденный на истребление; все, что находится внутри, составляет обширное отечество породы, как, например, для людей человечество.

Но это истребление и пожирание одного живого индивида другим происходит не только за пределами того ограниченного мира, который мы назвали обширным отечеством породы. Мы находим их внутри самого этого мира и такими же свирепыми, а иногда и более свирепыми вследствие сопротивления и стеснения, которые они здесь встречают, потому что к борьбе из-за голода присоединяется столь же ожесточенная борьба из – за любви.

Кроме того, каждая порода животных подразделяется на различные группы и семейства, видоизменяясь под влиянием географических и климатологических условий различных стран, в которых она живет. Большее или меньшее различие условий жизни определяет соответственное различие в организме индивидов, принадлежащих к одной и той же породе. К тому же известно, что всякий животный индивид, естественно, стремится совокупиться с индивидом, наиболее сходным с ним, откуда, естественно, вытекает развитие большого числа видоизменений в каждой породе. А так как различия, разделяющие все эти новые виды одни от других, основаны главным образом на воспроизведении, а воспроизведение есть единственная основа всей солидарности, то очевидно, что широкая солидарность породы должна подразделяться на множество более ограниченных солидарностей и широкое отечество породы разбиваться на массу маленьких животных отечеств, враждебных и уничтожающих друг друга.

Физиологический или естественный патриотизм[88]

I

Я показал в своем предыдущем письме, каким образом патриотизм, как естественная страсть, вытекает из физиологического закона, а именно из закона, определяющего разделение живых существ на породы, семейства и группы.

Страсть патриотическая очевидно страсть общественная. Чтобы найти ее яснейшее выражение в животном мире, надо обратиться к породам животных, которые, подобно человеку, одарены в высшей мере общественной природой, например, к муравьям, к пчелам, к бобрам и ко многим другим животным, обладающим общими, постоянными жилищами, а также к животным, кочующим стадами. Животные, имеющие общее, постоянное жилище, представляют с точки зрения, конечно, естественного патриотизма патриотизм земледельческих народов, а животные, кочующие стадами, патриотизм кочевых народов.

Очевидно, что патриотизм первых полнее патриотизма последних. Этот последний выражает лишь солидарность индивидов в стаде, между тем как первый создает еще связь индивидов с почвой и жилищем, в котором они обитают. Привычка – эта вторая натура как людей, так и животных, и образ жизни гораздо определеннее, устойчивее у животных общественных и оседлых, чем среди бродячих стад; а из этих-то особенностей в привычках и в образе жизни и составляется главный элемент патриотизма.

Естественный патриотизм можно определить так: инстинктивная, машинальная и совершенно лишенная критики привязанность к общественно принятому, наследственному, традиционному образу жизни, и столь же инстинктивная, машинальная враждебность ко всякому другому образу жизни. Это любовь к своему и к своим и ненависть ко всему, имеющему чуждый характер. Стало быть, патриотизм, с одной стороны, коллективный эгоизм, а с другой стороны – война.

Такая солидарность недостаточно сильна, чтобы индивиды – члены животной общины не пожирали друг друга в случае нужды; но она достаточно сильна, чтобы индивиды, забыв междоусобие, соединялись всякий раз, как им грозит вторжение чужой общины.

Посмотрите, например, на собак какой-нибудь деревни. Собаки в естественном состоянии не составляют коллективных республик; предоставленные собственным инстинктам, они живут, подобно волкам, в бродячих стаях, и только под влиянием человека обращаются в оседлых животных. Но прикрепленные к месту, они составляют в каждой деревне своего рода республику, основанную не на коммунистическом строе, а на индивидуальной свободе, согласно девизу, столь любимому буржуазными экономистами: каждый за себя, и черт побери оплошавшего. У собак безграничная свобода и попустительство, конкуренция, безустанная, безжалостная гражданская война, в которой более сильный всегда кусает более слабого, – совершенно как в буржуазных республиках. Но пусть только собака соседней деревни пробежит по их улице, и вы тотчас увидите, как все эти ссорящиеся сограждане толпой бросаются на несчастного иностранца.

Не есть ли это точная копия или, лучше сказать, оригинал, ежедневно копируемый человеческим обществом? Не есть ли это самое полное проявление того естественного патриотизма, о котором я сказал и осмеливаюсь повторить, что это чисто звериная страсть? Ее звериный характер несомненен, ибо собаки, бесспорно, звери, а человек, будучи животным подобно

[88] *Le Progres, № 12 (12 июня 1869 г.), стр. 2–3.*

собаке и другим земным животным, но только животным, одаренным физиологической способностью думать и говорить, начинает свою историю со звериного состояния и только с течением веков завоевывает и создает человечность.

Раз мы знаем происхождение человека, нас не должна удивлять его звериная натура, являющаяся естественным фактом в серии естественных фактов; нас не должна она и возмущать, ибо отсюда нисколько не вытекает, что против нее надо бороться с самой большой энергией, так как вся человеческая жизнь не что иное, как непрерывная борьба с естественной животностью человека ради его человечности.

Я хотел лишь констатировать, что патриотизм, восхваляемый нам поэтами, политиками всех школ, правительствами и всеми привилегированными классами как высшая и идеальная добродетель, имеет корень не в человеческих, но в звериных свойствах человека.

И действительно, безраздельное царствование естественного патриотизма мы видим в начале истории, а в настоящее время в наименее цивилизованных частях человеческого общества. Конечно, в человеческих обществах патриотизм является гораздо более сложным чувством, чем в других животных обществах, по той простой причине, что жизнь человека, животного мыслящего и одаренного словом, обнимает несравненно больше предметов, чем жизнь животных других пород. К чисто физическим привычкам и обычаям в нем присоединяются еще традиции, более или менее абстрактные, интеллектуальные и моральные, – целая масса истинных или ложных представлений вместе с различными религиозными, экономическими, политическими и социальными обычаями. Все это составляет элементы естественного патриотизма человека, поскольку все эти вещи, комбинируясь тем или другим образом, создают для данного общества особую форму существования, традиционный образ жить, мыслить и действовать иначе, чем другие.

Но какова бы ни была разница в отношении количества и даже качества охватываемых ими объектов, между естественным патриотизмом человеческих и звериных обществ, общее между ними то, что и тот и другой являются инстинктивными, традиционными, привычными, общественными страстями и что интенсивность того и другого нисколько не зависит от характера их содержания. Напротив того, можно сказать, что чем это содержание менее сложно, чем оно проще, тем сильнее и исключительнее патриотическое чувство, которое служит его проявлением и выражением.

Животное, очевидно, гораздо более привязано к наследственным обычаям общества, к которому оно принадлежит, чем человек. У животного эта патриотическая привязанность фатальна; не будучи в состоянии само освободиться от нее, оно избавляется от нее иногда только под влиянием человека. То же самое и в человеческих обществах: чем менее развита цивилизация, чем менее сложна сама основа социальной жизни, тем сильнее проявляется естественный патриотизм, т. е. инстинктивная привязанность индивидов ко всем материальным, интеллектуальным и моральным привычкам, составляющим обычную, традиционную жизнь отдельной общины, и ненависть их ко всему чуждому, ко всему отличающемуся. Откуда вытекает, что естественный патриотизм обратно пропорционален развитию цивилизации, т. е. торжеству человечности в человеческих обществах.

Никто не будет отрицать, что инстинктивный или естественный патриотизм жалких племен ледовитого пояса, едва затронутых человеческой цивилизацией и сама материальная жизнь чья так бедна, бесконечно сильнее или исключительнее, чем патриотизм, например, француза, англичанина или немца. Немец, англичанин, француз везде могут жить и акклиматизироваться, между тем как уроженец полярных стран умер бы в скором времени от тоски по родине, если бы его удерживали вдали от нее. И, однако, что может быть более ничтожным, менее человечным, чем его существование! Это служит лишним доказательством, что интенсивность естественного патриотизма является показателем не человечности, а звериного состояния.

Наряду с положительным элементом патриотизма, заключающимся в инстинктивной привязанности индивидов к определенному образу существования, свойственному той общине, к которой они принадлежат, существует еще отрицательный элемент, столь же существенный, как и первый и неотделимый от него; это равно инстинктивное отвращение ко всему чуждому – отвращение инстинктивное и, следовательно, совершенно звериное; да, действительно, звериное, ибо это отвращение тем энергичнее и непобедимее, чем менее тот, который его испытывает, думал и понимал, чем менее он человек.

В настоящее время это патриотическое отвращение ко всему иностранному встречается только у диких народов; в Европе его можно найти у полудикого населения, которое буржуазная цивилизация не удостоила просветить, хотя она и не забывает его эксплуатировать. В самых больших, столичных городах Европы, в самом Париже и особенно в Лондоне есть улицы, предоставленные нищенскому населению, которого никогда не касались лучи просвещения. Достаточно появления на этих улицах иностранца, чтобы толпа несчастных человеческих существ – мужчин, женщин, детей, едва одетых и носящих во всей своей внешности следы самой ужасной нищеты и самого глубокого падения, окружила его и осыпала ругательствами, иногда даже побоями, единственно потому, что он иностранец. Разве подобного рода грубый и дикий патриотизм не является самым кричащим отрицанием всего, что называется человечностью?

И однако, есть весьма просвещенные буржуазные газеты, как, например, *Journal de Geneve*, которые не чувствуют никакого стыда эксплуатировать столь мало человеческий предрассудок и столь всецело звериную страсть. Я, однако, должен отдать им справедливость и охотно сознаюсь, что эти газеты эксплуатируют патриотизм, нисколько его не разделяя и единственно лишь потому, что им выгодно его эксплуатировать, подобно тому как поступают в настоящее время почти все священники всех религий, проповедующие религиозные нелепости, сами не веря в них и единственно лишь потому, что в интересах привилегированных классов, чтобы народные массы продолжали верить.

Когда газета *Journal de Geneve* не находит уже более аргументов и доказательств, она говорит: эта вещь, эта идея, этот человек нам *чужды*, и она имеет столь низкое представление о своих соотечественниках, что надеется, что достаточно будет произнести это страшное слово *чуждый*, чтобы они, позабыв все, и здравый смысл, и человечность, и справедливость, стали на ее сторону.

Я сам не женевец, но я слишком уважаю жителей Женевы, чтобы не думать, что *Journal* ошибается на их счет. Они, конечно, не захотят пожертвовать человечностью ради звериного состояния, эксплуатируемого коварством.

Патриотизм (продолжение)[89]

Я сказал, что патриотизм, поскольку он инстинктивен или естествен, имел все свои корни в животной жизни, не представляет ничего другого, кроме особой комбинации коллективных привычек: материальных, интеллектуальных и моральных. Экономических, политических и социальных, развитых традицией или историей в данном обществе. Эти привычки, прибавил я еще, могут быть хороши или плохи, так как содержание или объект этого инстинктивного чувства – патриотизма не имеет никакого влияния на степень его интенсивности. Даже если бы пришлось допустить в этом отношении известную разницу, то она скорее склонялась бы на сторону худых, чем хороших, привычек. Ибо по причине животного происхождения всякого человеческого общества и в силу той инертности, которая оказывает столь же могучее действие в интеллектуальном и моральном мире, как и в мире материальном, – во всяком обществе, которое еще не вырождается, а, напротив, прогрессирует и идет вперед, плохие привычки, имея за собою первенство по времени, вкоренены более глубоко, чем хорошие. Это нам объясняет, почему из общей суммы нынешних общественных привычек в самых передовых странах цивилизованного мира по крайней мере девять десятых никуда не годятся.

Пусть не воображают, что я вздумал объявить войну всеобщему обычаю общества и людей управляться *привычками*. Как и во многих других вещах, люди в этом лишь фатально повинуются естественному закону, а восставать против естественных законов было бы нелепо. Действие привычек в интеллектуальной и моральной жизни индивидов и обществ подобно действию растительных сил в жизни органической. Как то, так и другое является условиями существования и реальности. Как добро, так и зло должны, чтобы сделаться реальной вещью, перейти в привычку как в отдельном человеке, так и в обществе. Все упражнения, которым предаются люди, не имеют другой цели, и самые лучшие вещи не могут укорениться в человеке и сделаться его второй природой иначе, как в силу привычки. Легкомысленно восставать против нее, ибо это фатальная сила, которую не смогли бы уничтожить никакой ум и никакая воля. Но если, просвещенные разумом нашего века и нашим представлением об истинной справедливости, мы серьезно пожелаем сделаться людьми, то нам остается только одно: постоянно направлять силу воли, т. е. привычку хотеть, развитую в нас независимыми от нас обстоятельствами, к искоренению плохих привычек и к насаждению на их место хороших. Чтобы очеловечить целое общество, надо беспощадно уничтожать все причины, все политические, экономические и социальные условия, порождающие в индивидах зло, и заместить их такими условиями, которые бы развили в этих самых индивидах привычку и практику добра. С точки зрения современного сознания человечности и справедливости, какими, благодаря прошедшему развитию истории, мы их теперь наконец понимаем, патриотизм является привычкой дурной, узкой и злополучной, ибо он является отрицанием человеческого равенства и солидарности. Социальный вопрос, практически выставленный в настоящее время рабочим миром Европы и Америки и разрешение которого возможно не иначе, как с уничтожением границ государств, необходимо стремится искоренить эту традиционную привычку из сознания рабочих всех стран. Ниже я покажу, что уже с начала столетия эта привычка была сильно поколеблена в сознании высшей финансовой, торговой и промышленной буржуазии благодаря удивительному и совершенно международному развитию ее богатств и экономических интересов. Но прежде я должен показать, каким образом гораздо раньше этой буржуазной революции инстинктивный, естественный патриотизм, являющийся по самой природе своей очень узким, очень ограниченным чувством и чисто местной общественной привычкой, потерпел в

[89] *Le Progres, № 14 (10 июня 1869 г.), стр. 2–3.*

самом начале истории глубокое изменение, извращение и ослабление благодаря образованию политических государств.

В самом деле, патриотизм, поскольку это чисто естественное чувство, т. е. продукт реально солидарной жизни общества, еще не ослабленный или мало ослабленный размышлением или действием экономических и политических интересов, а также религиозных абстракций, такой патриотизм, если и не вполне, то в громадной своей части животный, может обнимать лишь очень ограниченный мир: одно племя, одну общину, одну деревню. В начале истории, как и ныне у диких народов, не было ни наций, ни национальных языков, ни национальных религий, – не было, значит, отечеств в политическом смысле этого слова. Каждое местечко, каждая деревня имела свой собственный язык, своего бога, своего священника или колдуна. Это было не что иное, как размножившаяся, расширившаяся семья, которая, ведя войну со всеми, отрицала своим существованием все остальное человечество. Таков естественный патриотизм в своей энергичной и наивной неподкрашенности.

Мы встречаем еще остатки этого патриотизма даже в некоторых из самых цивилизованных стран Европы, например, в Италии, особенно в южных областях итальянского полуострова, где строение почвы, горы и море создают преграды между долинами, общинами и городами, отделяют их, изолируют и делают почти совершенно чуждыми друг другу. Прудон заметил с большой основательностью в своей брошюре об итальянском единстве, что это единство является покуда еще только идеей и чисто буржуазной, но нисколько не народной страстью; что, по крайней мере, деревенское население осталось и поныне по отношению к этому единству в большинстве случаев совершенно равнодушно, а я прибавлю, даже враждебно, ибо это единство, с одной стороны, вступает в противоречие с местными патриотизмами, с другой стороны, ничего до сих пор не принесло населению, кроме безжалостной эксплуатации, гнета и разорения.

Не видим ли мы часто даже в Швейцарии, особенно в отсталых кантонах, борьбу местного патриотизма против кантонального, а последнего против национального патриотизма, имеющего своим объектом всю республиканскую конфедерацию в ее целом?

В заключение, резюмируя все сказанное, я повторяю, что патриотизм, как естественное чувство, будучи по своей сущности чувством местным, является серьезным препятствием к образованию государств и что, следовательно, эти последние, а с ними и цивилизация, не могли основаться иначе, как уничтожив, если и не вполне, то в значительной степени эту животную страсть.

Патриотизм (продолжение)[90]

Рассмотрев патриотизм с естественной точки зрения и показав, что *с этой точки зрения* патриотизм является, с одной стороны, чувством собственно звериным или животным, ибо свойствен всем животным породам, и что, с другой стороны, он – явление существенно местное, ибо он может обнять лишь очень ограниченное пространство мира, где лишенный цивилизации человек проводит свою жизнь, – я перехожу теперь к анализу исключительно человеческого патриотизма, патриотизма *экономического, политического* и *религиозного*.

Это факт, констатированный натуралистами и теперь уже сделавшийся аксиомой, что количество всякого населения всегда соответствует количеству средств к пропитанию, находящихся в обитаемой этим населением стране. Население увеличивается всякий раз, как эти средства встречаются в большем количестве; оно уменьшается с уменьшением этого количества. Когда данное население съедает все запасы страны, оно переселяется. Но это переселение, разрывая все его старые привычки, все повседневные усвоенные жизненные обычаи и принуждая искать, без всякого знания, без всякой мысли, инстинктивно и совершенно наудачу, средства пропитания в совершенно незнакомых странах, всегда сопровождается лишениями и страшными мучениями. Большая часть переселяющегося животного населения умирает с голоду и часто служит пищей остающимся в живых; только меньшей части удается акклиматизироваться и разыскать новые средства к пропитанию в новой стране.

Потом возникает война, война между породами, которые, чтобы питаться, должны пожирать друг друга. Рассматриваемый с этой точки зрения, животный мир является не чем иным, как кровавой гекатомбой, ужасной и плачевной трагедией, написанной голодом.

Те, кто признает существование Бога-творца, и не подозревают, какой они делают ему милый комплимент, выставляя его творцом *этого мира*. Как? Всемогущий, всемудрый всеблагой Бог не мог прийти ни к чему другому, как к созданию подобного мира, подобного страшилища?

Правда, теологи имеют превосходный аргумент для объяснения этого возмутительного противоречия. Мир был создан совершенным, говорят они; в нем царила вначале абсолютная гармония, до того времени, как человек согрешил, и разгневанный на него Бог проклял человека и мир.

Это объяснение тем более поучительно, что оно полно нелепостей, а, как известно, в нелепом-то и состоит сила теологов. Для них, чем какая-нибудь вещь более нелепа, невозможна, тем она истиннее. Вся религия не что другое, как обожествление нелепого.

Совершенный Бог сотворил совершенный мир, но вот это совершенство поскальзывается и навлекает на себя проклятие творца; после этого абсолютное совершенство делается абсолютным несовершенством. Каким образом совершенство могло сделаться несовершенством? На это ответят, что так случилось именно потому, что мир, хотя и совершенный при сотворении, тем не менее не был абсолютным совершенством, ибо абсолютен один Бог, Высшее Совершенство. Мир был совершенен лишь относительно и в сравнении с тем, каков он теперь.

Но в таком случае, зачем употреблять слово «совершенство», слово, не применимое ни к чему относительному? Разве совершенство может быть неабсолютным? Скажите лучше, что Бог сотворил мир несовершенным, но лучшим, чем он есть в настоящее время. Но если он был лишь относительно лучшим, если он не был совершенным, то он не представлял той гармонии и абсолютного мира, рассказами о которых господа теологи нам протрещали уши. И в таком случае мы спросим у них: разве не должен творец, по вашим собственным словам, быть оцениваем по своему творению, как работник по совершенной им работе? Творец несовершенной

[90] *Le Progres, №17 (21 августа, 1869 г.) стр. 2 – 4.*

вещи очевидно несовершенен; раз мир был создан несовершенным, то Бог, его творец, очевидно несовершенен. Ибо факт сотворения несовершенного мира может быть объяснен лишь его немудростью, или немощностью, или же злобой.

Но, возразят мне, мир был совершенен, но только менее совершенен, чем Бог. На это я отвечу, что когда дело идет о совершенстве, то нельзя говорить о большем или меньшем; совершенство полно, всецело, абсолютно или же вовсе не существует. Стало быть, если мир был менее совершенен, чем Бог, мир был несовершенным; откуда вытекает, что Бог, творец несовершенного мира, был сам несовершенен, что он остается несовершенным, что он никогда не был Богом, что Бог не существует.

Чтобы спасти существование Бога, господа теологи будут принуждены согласиться, что созданный им мир был при сотворении совершенным. Но тогда я им поставлю два маленьких вопроса. Во-первых, если мир был совершенным, то каким образом два совершенства могли существовать вне друг друга? Совершенство может быть лишь едино; оно не терпит двойственности, ибо в двойственности одно ограничивается другим и становится таким образом несовершенным. Значит, если мир был совершенен, то не было Бога ни превыше его, ни даже вне его, сам мир был Богом. Второй вопрос: если мир был совершенен, то каким образом он мог ниспасть? Хорошее совершенство, могущее измениться и исчезнуть! И если признать, что совершенство может ниспасть, то, значит, и Бог может ниспасть! Другими словами, Бог, конечно, существовал в верующем воображении людей, но человеческий разум, все более и более торжествующий в истории, обрекает его на уничтожение.

Наконец, как он странен, этот Бог христиан! Он сотворил человека таким образом, чтобы тот мог, чтобы тот *должен* был согрешить и ниспасть. Бог, имея между своими бесконечными атрибутами всеведение, не мог не знать, творя человека, что тот согрешит; а раз Бог это знал, человек должен был пасть: иначе он дерзко уличил бы во лжи божественное всеведение. Тогда зачем говорят о человеческой свободе? Здесь была фатальность! Повинуясь этому фатальному влечению, – самый простодушный отец семейства и тот на месте Бога мог бы это предвидеть, – человек грешит: и вот Бог – совершенство вдруг впадает в ужасный гнев, столь же смешной, как и отвратительный. Бог проклинает не только тех, кто преступил его закон, но и все их потомство, хотя оно в то время еще не существовало, и следовательно, было совершенно невинно в грехе наших прародителей. Не удовольствовавшись этой возмутительной несправедливостью, он проклинает еще ни в чем не повинный, гармоничный мир и делает его вместилищем всех ужасов и преступлений, местом постоянной бойни. Потом, рабски связанный собственным гневом и проклятием, изреченным им против мира и людей, против своего собственного творения, что делает Бог, вспомнив, наконец, что он Бог любви? Ему недостаточно, что он наполнил ради своего гнева кровью целый мир; этот кровавый Бог проливает еще кровь своего единственного Сына; он жертвует им под предлогом примирения мира с своим божеским Величеством! И если бы еще это удалось! Но нет, природа и человечество остаются столь же раздираемыми и окровавленными, как и до этого чудовищного искупления. Отсюда с очевидностью вытекает, что христианский Бог, подобно всем предшествовавшим ему Богам, является Богом столь же бессильным, как и жестоким, столь же нелепым, как и злым.

И такие-то нелепости хотят навязать нашей свободе, нашему разуму! Посредством подобных чудовищностей претендуют воспитать, очеловечить людей! Когда же господа теологи возымеют достаточно смелости, чтобы открыто отказаться не только от разума, но и от человечности? Недостаточно сказать с Тертуллианом: «Credo, quia absurdum» – верю в то, что нелепо; пусть они постараются еще навязать нам, если могут, христианство с помощью кнута, как это делает всероссийский царь, с помощью костров, как Кальвин, с помощью Святой Инквизиции, как добрые католики, посредством насилий, пыток и казней, которые так бы желали еще применить священники всех религий. Пусть они испробуют все эти прекрасные средства, но пусть не льстят себя надеждой восторжествовать над нами каким-нибудь другим способом.

Что касается до нас, представим раз навсегда все эти божественные нелепости и ужасы тем, кто безумно верит, что еще долго можно будет во имя их эксплуатировать народ и рабочие массы. Возвратимся к нашему чисто человечному разуму и будем всегда помнить, что человеческое просвещение, единственное могущее нас просветить, освободить, сделать достойными и счастливыми, является не в начале, но по отношению того времени, в котором мы живем, в конце истории и что человек в своем историческом развитии, изшел из животности, чтобы достичь мало-помалу человечности. Не будем же никогда смотреть вспять, но всегда вперед, ибо впереди наше солнце и наше спасение. И если позволительно, если даже полезно иногда оглянуться назад, то только для того, чтобы констатировать, чем мы были и чем не должны уже более быть, что мы делали и чего не должны уже более делать.

Естественный мир является всегдашней ареной непредающейся борьбы, борьбы за жизнь. Нам нечего спрашивать себя, почему это так. Не мы это сделали, мы нашли это, рождаясь в жизнь. Это наша естественная исходная точка, и мы в этом нисколько не ответственны. Нам достаточно знать, что так было и, вероятно, всегда будет. Гармония устанавливается в этом мире через борьбу, через торжество одних, через поражение и чаще всего смерть других. Рост и развитие пород ограничены их собственным голодом и аппетитами других пород, т. е. страданием и смертью. Мы не говорим с христианами, что земной шар – долина плача, но мы должны согласиться, что земля наша совсем не такая нежная мать, как иные рассказывают, и что живые существа должны иметь немало энергии, чтобы жить на ней. В естественном мире сильные выживают, а слабые гибнут, и первые выживают только потому, что вторые гибнут.

Возможно ли, чтобы этот фатальный закон естественной жизни был столь же неизбежен в мире человеческом и социальном?

Патриотизм (продолжение)[91]

Присуждены ли люди самой своей природой к пожиранию друг друга, чтобы жить, подобно тому, как это делают животные других пород?

Увы! В колыбели человеческой цивилизации мы находим людоедство; в то же время и впоследствии все-уничтожающие войны, войны рас и народов: войны завоевательные, войны равновесия, войны политические и войны религиозные, войны во имя «великих идей», подобные той, которую ведет Франция, управляемая своим теперешним императором (Наполеон III.), и войны патриотические, во имя великого национального единства, подобные тем, которые задумывают ныне, с одной стороны, пангерманский министр в Берлине и, с другой стороны, панславистский царь в Петербурге.

И в основании всего этого, под всеми лицемерными фразами, которыми пользуются, чтобы придать себе внешний вид человечности и правоты, что мы находим? Всегда один и тот же экономический вопрос: *стремление одних жить и благоденствовать на счет других*. Все остальное лишь одна болтовня. Невежды, простецы и глупцы даются на эту удочку, но ловкие люди, управляющие судьбами государств, знают очень хорошо, что в основании всех войн есть только один повод: грабеж, завоевание чужого богатства и порабощение чужого труда.

Такова жестокая и грубая действительность, которую Боги всех религий, Боги войны всегда благословляли, начиная с Еговы, бога евреев, вечного Отца нашего Господа Иисуса Христа, который приказал своему избранному народу избить всех жителей Обетованной земли, и кончая католическим Богом, представленным папами, которые в вознаграждение за избиение язычников, магометан и еретиков подарили землю этих несчастных их счастливым убийцам, еще не смывшим с себя их кровь. Для жертв – ад; для палачей – имущество и земли убитых, – такова цель самых священных войн, религиозных войн.

Очевидно, что, по крайней мере, до сего времени человечество не было исключением из общего закона животного мира, который приговаривает все живые существа пожирать друг друга, чтобы жить. Только социализм, как я постараюсь это показать в следующих статьях, только социализм, ставя на место политической, юридической и божеской справедливости справедливость человеческую, замещая патриотизм всемирной солидарностью людей, а экономическую конкуренцию международной организацией общества, всецело основанного на труде, может положить конец войне, этому грубому проявлению человеческой животности.

Но до тех пор, пока он не восторжествует на земле, тщетно будут протестовать все буржуазные конгрессы мира и свободы, тщетно будут председательствовать на них все Викторы Гюго всего света; люди будут продолжать раздирать друг друга, как дикие животные.

Доказано, что человеческая история, подобно истории всех других животных пород, началась с войны. Война эта, не имевшая и не имеющая другой цели, кроме завоевания средств к жизни, имела различные фазы развития, параллельные различным фазам цивилизации, т. е. развития человеческих потребностей и средств к их удовлетворению.

Вначале человек, это всеядное животное, жил, подобно другим животным, плодами и овощами, охотой и рыбной ловлей. В продолжение многих веков, без сомнения, человек охотился и ловил рыбу так, как это делают и ныне животные, т. е. без помощи других орудий, кроме тех, которыми его одарила природа. В первый раз, как он воспользовался самым грубым орудием, простой палкой или камнем, он совершил акт мышления и выказал себя, разумеется, нисколько этого не подозревая, животным мыслящим – человеком. Ибо даже самое простое орудие должно соответствовать намеченной цели, и, следовательно, пользование им предполагает известную сообразительность ума, которая существенно отличает человека – животного

[91] *Le Progres № 16 (18 сентября 1869 г.), стр. 4.*

от всех других земных животных. Благодаря этой способности мыслить, обдумывать, изобретать человек усовершенствовал, правда, очень медленно, в продолжение многих веков, свои орудия и превратился в охотника или в вооруженного дикого зверя.

Достигши этой первой ступени цивилизации, маленькие группы людей, естественно, могли питаться с большей легкостью, убивая живые существа, не исключая людей, тоже служивших им на пищу, чем животные, лишенные орудий охоты и войны. А так как *размножение животных всегда прямо пропорционально количеству средств пропитания*, то очевидно, число людей должно было увеличиваться в большей пропорции, чем число животных других пород, и, наконец, должен был наступить момент, когда невозделанная земля не была уже в состоянии прокормить всех людей.

Если бы[92] человеческий разум не обладал способностью прогресса, если бы он не развивался все больше и больше, с одной стороны, опираясь на традицию, сохраняющую для будущих поколений знания, добытые прошлыми поколениями, а с другой стороны, распространяясь благодаря дару слова, неотделимого от дара мысли, если бы он не был одарен неограниченной способностью изобретать все новые способы для защиты человеческого существования против всех враждебных ему сил природы, – эта недостаточность природных средств к существованию явилась бы непреодолимой гранью для размножения человеческой породы.

Но благодаря этой драгоценной способности, позволяющей ему познавать, размышлять и понимать, человек может перешагнуть чрез эту естественную грань, останавливающую развитие всех других животных пород. Когда естественные источники истощились, он создал искусственные. Пользуясь не своей физической силой, но превосходством своего ума, он начал не просто убивать животных, чтобы их немедленно пожрать, а подчинять их, приручать и как бы воспитывать, чтобы сделать пригодными для своих целей. И таким образом, на протяжении веков еще группы охотников превращаются в группы пастухов.

Этот новый источник пропитания, естественно, еще умножил человеческую породу, что привело ее к необходимости создать новые средства к поддержанию жизни. Когда эксплуатация животных стала недостаточной, люди стали эксплуатировать землю. Таким образом, бродячие и кочевые народы обратились на протяжении многих других веков в народы земледельческие.

В этот-то период истории и устанавливается, собственно говоря, рабовладельчество. Люди, бывшие самыми что ни на есть дикими зверями, начали с пожирания убитых ими или взятых в плен неприятелей. Но когда они начали понимать всю выгоду заставлять животных служить себе и эксплуатировать их, а не убивать сейчас же, то они должны были скоро понять, какую пользу они могли извлечь из услуг человека, самого умного из земных животных. Побежденный враг перестал быть пожираем, но становился рабом, принужденным исполнять работу, необходимую для пропитания своего хозяина.

Труд пастушеских народов столь легок и прост, что для него почти не требуется работы рабов. Поэтому мы видим, что у кочующих и пастушеских народов число рабов очень ограниченно, чтоб не сказать почти равно нулю. Другое дело у народов оседлых и земледельческих. Земледелие требует настойчивого, ежедневного и тягостного труда. Свободный человек лесов и степей, охотник или скотовод, берется за земледелие с большим отвращением. Поэтому мы видим и в настоящее время, например, у диких народов Америки, что самые тягостные и отвратительные домашние работы возлагаются на существо сравнительно слабое, на женщину. Мужчины не знают других занятий, кроме охоты, войны, которые даже и в нашей цивилизации считаются самыми благородными занятиями, и, презирая всякий другой труд, лениво лежат, куря свои трубки, между тем как их несчастные жены, эти естественные рабыни грубого человека, изнемогают под тяжестью своего ежедневного труда.

[92] (Продолжение). Le Progres, № 20 (2 октября 1869 г.), стр. 3.

Шаг вперед в цивилизации, и работа жены возлагается на раба. Вьючное животное, одаренное умом, принужденное нести всю тягость физической работы, дает своему господину возможность досуга и интеллектуального и морального развития.

Кнуто-Германская империя и социальная революция[93]

Комментарии

19 ноября 1870 г., т. е. в разгар франко-прусской войны, Бакунин сообщил Н.П. Огареву, что он работает над книгой, в которой намеревается дать «патологический эскиз настоящей Франции и Европы» для назидания будущим деятелям и «для оправдания своей системы и образа действия» (см.: Письма М.А. Бакунина к А.И. Герцену и Н.П. Огареву. СПб., 1906. С. 314—315).

Воспоминания М. Неттлау и Д. Гильома и их текстологический анализ бакунинских рукописей конца 1879-го – первой половины 1871 г. дают возможность изложить следующую версию событий, связанных с этим замыслом. По ходу работы над «патологическим эскизом Франции и Европы» Бакунин, дойдя до с. 105, заметил, что отошел от основной идеи задуманной книги в сторону, и решил это «отступление» вынести в приложение к книге. В рукописи появился заголовок: «Appendice, consideration philosophique sur le fantome, sur le monde reel et sur l'homme» («Приложение, философские размышления о божественном призраке, о действительном мире и о человеке»). Доведя в ноябре–декабре 1870 г. рукопись до 256 страниц, Бакунин отказался от мысли продолжать эту, по его словам, «философскую диссертацию». Материал, составивший «отступление» от основной идеи задуманной книги, т. е. в основном текст, названный им «Приложение…», составлявший с. 105—256 рукописи первой редакции, Бакунин в январе 1871 г. отложил в сторону и продолжил работу над первоначальным замыслом «патологического эскиза» Европы, взяв за исходный пункт первые 80 страниц из начальной рукописи общим объемом 256 страниц. Когда эти 80 страниц разрослись до 285 страниц рукописи новой редакции, он отослал рукопись Д. Гильому для издания (в феврале–марте 1871 г.). У рукописи появился данный самим автором заголовок: «La revolution sociale ou la dictature militaire» («Социальная революция или военная диктатура»). Из письма к Н.П. Огареву от 5 апреля 1871 г. видно, что к этому времени Бакунин задумал дать книге новое название, а именно: «L'Empire knouto-germanique et la revolution sociale» («Кнуто-Германская империя и социальная революция»). Но было поздно. В это время в Женеве уже вышла книга под названием: «La revolution sociale ou la dictature militaire par Michel Bakounine» (работа под таким названием есть в Музее книги РГБ). В помещенном в самом начале списке опечаток в числе прочего указывалось, что заголовок этого труда должен быть «Кнуто-Германская империя и социальная революция». Так появился первый выпуск книги, известной ныне именно под этим последним названием и охватившей первые 138 страниц из бакунинской рукописи второй редакции.

Еще до того, как вышел из печати первый выпуск этой книги, в апреле 1871 г. у Бакунина уже созрел план второго выпуска «Кнуто-Германской империи…». Не вошедшие в первый выпуск с. 139—285 рукописи второй редакции Бакунин забрал из издательства, чтобы переработать их в запланированный второй выпуск книги под тем же названием. По ходу доработки этого варианта рукописи он написал еще ряд фрагментов, в частности большое примечание к одной из фраз на с. 285 этой рукописи, составившее ее продолжение (с. 286—340). Но эти части рукописи при жизни Бакунина остались неопубликованными.

---

[93] Как видно из предисловия, заглавие, напечатанное первоначально в брошюре на этом месте, но затем исправленное в «опечатках», было: «*Социальная революция или военная диктатура* Михаила Бакунина. Женева, Кооперативная типография, route de Carouge, 8. 1871».

Шесть лет спустя после смерти Бакунина К. Кафиеро и Э. Реклю издали под названием «Бог и Государство» часть бакунинской рукописи, которая должна была составить второй выпуск «Кнуто-Германской империи…» (с. 149—247).

В 1895 г. другой издатель сочинений Бакунина, М. Неттлау, опубликовал на языке оригинала еще одну часть той же бакунинской рукописи (с. 286—340), которую тоже назвал «Бог и Государство», хотя это была совсем другая часть бакунинской рукописи.

Когда изданием сочинений Бакунина занялся Д. Гильом, он имел в своем распоряжении все сохранившиеся рукописи Бакунина конца 1870 – первой половины 1871 г., из которых была опубликована лишь меньшая часть, в частности часть рукописи под названием «Кнуто-Германская империя и социальная революция. Выпуск первый» (с. 1–138), а также две другие части под названием «Бог и Государство» (с. 149—247 и 286—340).

Как поступил Д. Гильом? Поскольку уже существовал опубликованный первый выпуск «Кнуто-Германской империи…» и были достоверные сведения о том, что Бакунин работал над вторым ее выпуском, Гильом, опубликовав с. 139—285 бакунинской рукописи второй редакции, дал своей публикации название «Кнуто-Германская империя и социальная революция. Выпуск второй». Гильом сохранил также название, которое сам Бакунин избрал для раздела, над которым он работал, готовя второй выпуск «Кнуто-Германской империи…», а именно «Исторические софизмы доктринерской школы немецких коммунистов». Он также указал место, которое занимали в этой бакунинской рукописи публикации Кафиеро и Реклю, а также Неттлау (публикацию Неттлау он, однако, во второй выпуск не включил, поскольку она была опубликована в 1895 г. в 1-м томе того же Собрания сочинений Бакунина).

Когда в анархистском издательстве «Голос труда» в 1919—1921 гг. стали издаваться «Избранные сочинения» Бакунина в пяти томах, его издателям пришла мысль опубликовать «Кнуто-Германскую империю…», как они считали, в полном виде. С этой целью они объединили под одним названием первый выпуск этой книги, вышедший в 1871 г., часть бакунинской рукописи, которую издал Гильом (т. е. расширенный вариант публикации 1882 г. Кафиеро и Реклю), и часть бакунинской рукописи, которую опубликовал в 1895 г.

В настоящем издании составители решили воспроизвести текст именно в том виде, в каком он был опубликован во II томе «Избранных сочинений» М.А. Бакунина, выпущенном издательством «Голос труда». С отдельными текстами обоих очерков под названием «Бог и Государство», а также с «Философскими рассуждениями о божественном призраке, о действительном мире и о человеке», не объединенными во второй выпуск «Кнуто – Германской империи…», читатель при желании может познакомиться, обратившись к изданию: Бакунин М.А. Избранные философские сочинения и письма. М., 1987. С. 344—521.

Первый выпуск

29 сентября 1870 г. Лион.

Мой дорогой друг,

Я не хочу уехать из Лиона, не сказав тебе последнего прости. Осторожность не позволяет мне прийти еще раз пожать тебе руку. Мне больше нечего делать здесь. Я приехал в Лион, чтобы сражаться или умереть с вами. Я приехал потому, что глубоко убежден, что дело Франции снова сделалось ныне делом человечества и что ее падение, ее порабощение режимом, который будет навязан ей прусскими штыками, было бы, с точки зрения свободы и человеческого прогресса, величайшим несчастьем, какое только может постигнуть Европу и весь мир.

Я принял участие в минувшем движении и подписал свое имя под резолюциями *Центрального Комитета Спасения Франции*, потому что для меня очевидно, что после действительного и полного разрушения всей административной и правящей машины вашей страны

для Франции не остается больше другого средства спасения, как самоорганизация и федерация ее коммун вне какой бы то ни было официальной опеки и руководства.

Все эти обломки прежней администрации страны, эти муниципалитеты, составленные в большей части из буржуа или обуржуазившихся рабочих; людей практической сноровки, если только таковая была у них, лишенных интеллигентности, энергии и страдающих отсутствием добросовестности; все эти прокуроры Республики, префекты, супрефекты и особенно эти чрезвычайные комиссары, снабженные военными и гражданскими полномочиями, призрачной и роковой властью этого обломка правительства, заседающего в Туре, в час бессильной диктатуры, – все это годно лишь для того, чтобы парализовать последние усилия Франции и сдать ее пруссакам.

Вчерашнее движение, если бы оно осталось победоносным, – а оно осталось бы таковым, если бы генерал Клюзере, слишком стремившийся угодить всем партиям, не покинул так скоро дела народа, – это движение, которое опрокинуло бы бездарный, бессильный и на три четверти реакционный муниципалитет Лиона, заместило бы его революционным комитетом – всемогущим, ибо он был бы не фиктивным, а непосредственным и истинным выражением народной воли; это движение, говорю я, могло бы спасти Лион, а с Лионом и Францию.

Вот уже двадцать пять дней истекло со времени провозглашения Республики, а что сделано для того, чтобы подготовить и организовать защиту Лиона? Ничего, решительно ничего!

Лион – вторая столица Франции и ключ Юга. Помимо задачи своей собственной обороны, на нем лежит двойной долг: организовать вооруженное восстание Юга и освободить Париж.

Он мог, он может еще сделать и то и другое. Если Лион восстанет, он неизбежно увлечет за собой весь Юг Франции. Лион и Марсель сделаются двумя полюсами чудовищного национального и революционного движения; движения, которое, разом поднимая деревни и города, возбудит сотни тысяч сражающихся и противопоставит по-военному – организованным силам нашествия всемогущество революции. Напротив того, для всех должно быть очевидно, что если Лион попадет в руки пруссакам, Франция безвозвратно потеряна. От Лиона до Марселя они не встретят больше препятствий. А что тогда? Тогда Франция сделается тем же, чем так долго – слишком долго – была Италия по отношению к вашему бывшему императору: вассалом Его Величества императора Германии. Можно ли пасть ниже?

Только Лион может уберечь Францию от такого падения и такой постыдной смерти. Но для этого нужно было бы, чтобы Лион пробудился, чтобы он действовал, не теряя ни дня, ни мгновения. Пруссаки, к несчастью, не теряют больше времени. Они разучились спать: систематические, как истые немцы, преследуя с безнадежной точностью свои искусно скомбинированные планы и присоединяя к этому классическому качеству своей расы быстроту действий, до сих пор считавшуюся исключительной принадлежностью французских войск, они решительно и более чем когда-либо угрожающе продвигаются вперед, к самому сердцу Франции. Они идут на Лион. Что же делает Лион для своей защиты? Ничего.

И, однако, с тех пор, как Франция существует, никогда еще она не находилась в более безнадежном, более ужасном положении.

Вся армия ее разрушена. Большая часть ее военного материала, благодаря честности императорского правительства и администрации, существовала лишь на бумаге, остальная же часть, благодаря их осторожности, была так хорошо запрятана в крепостях Метца и Страсбурга, что послужит, вероятно, гораздо больше вооружению наступающих пруссаков, нежели национальной обороне. Эта последняя во всех уголках Франции нуждается ныне в пушках, снарядах, ружьях, и – что еще хуже – ей не хватает денег для покупки всего необходимого. Не то чтобы буржуазия Франции испытывала нужду в деньгах. Напротив, благодаря покровительственным законам, которые позволяли ей широко эксплуатировать труд пролетариата, ее карманы хорошо набиты. Но деньги буржуа отнюдь не патриотичны и упорно предпочитают в

настоящее время эмиграцию и даже насильственную реквизицию пруссаками риску быть призванными содействовать спасению отечества в опасности. Наконец, я должен сказать, что у Франции нет больше администрации. Та, что существует еще и которую правительство Национальной Обороны имело преступную слабость удержать, есть лишь бонапартистская машина, созданная для специального обслуживания разбойников Второго Декабря. Она, как я уже сказал в другом месте, способна не организовать, но лишь до конца предать Францию и выдать ее пруссакам.

Лишенная всего, что составляет могущество государств, Франция уже больше не государство. Это – огромная страна, богатая, интеллигентная, исполненная возможностей и природных сил, но совершенно дезорганизованная и осужденная, при всей этой ужасной дезорганизации, защищаться против самого убийственного нашествия, какое только когда-либо обрушивалось на нацию, Что она может противопоставить пруссакам? Одну лишь внезапную организацию огромного народного восстания, *Революцию*.

Здесь я слышу всех сторонников общественного порядка во что бы то ни стало, доктринеров, адвокатов, всех этих эксплуататоров в желтых перчатках буржуазного республиканства и даже изрядное количество так называемых представителей народа, как, например, ваш гражданин Бриалу, перебежчиков от народного дела, которых жалкое, вчера рожденное честолюбие сегодня толкает в стан буржуазии; я слышу, как они восклицают:

«Революция! Подумайте, ведь это было бы верхом несчастия для Франции! Это было бы междоусобным раздором, гражданской войной ввиду давящего, уничтожающего нас врага! Самое абсолютное доверие правительству Национальной Обороны; полнейшее послушание военным и гражданским чиновникам, коих оно облекло властью; самый тесный союз между гражданами самых различных политических, религиозных и социальных воззрений, между всеми классами и всеми партиями, – вот единственное средство спасти Францию!»

Доверие порождает единение, а единение создает силу – вот истины, которых, конечно, никто не будет пытаться отрицать. Но, чтобы это были истины, необходимы две вещи: нужно, чтобы доверие не было глупостью и чтобы единение, одинаково искреннее со стороны всех, не было самообманом, ложью или лицемерной эксплуатацией одной партии другою. Нужно, чтобы все объединяющиеся партии, совершенно забывая – конечно, не навсегда, не на все время, пока будет длиться их союз – свои частные и необходимо противоположные интересы, – интересы и цели, разделяющие их в обычное время, в равной мере были поглощены преследованием общей цели. Иначе что произойдет? Искренняя партия поневоле сделается жертвой и будет одурачена тою, которая будет менее искреннею или совершенно неискреннею. Она увидит себя принесенной в жертву не ради торжества общего дела, но в ущерб этому делу и ради исключительной выгоды партии, которая сумеет лицемерно эксплуатировать этот союз. Разве не необходимо для того, чтобы единение было действительно возможным, чтобы по крайней мере цель, во имя которой партии должны объединиться, была одна и та же. А так ли это ныне? Можно ли сказать, что буржуазия и пролетариат хотят абсолютно одного и того же? Отнюдь нет!

Рабочие Франции хотят спасения Франции любою ценою: даже если бы для спасения ее пришлось бы из Франции сделать пустыню, взорвать все дома, разрушить и сжечь все города, разорить все, что так дорого буржуа: собственность, капиталы, промышленность и торговлю. Одним словом, превратить целую страну в одну огромную могилу, чтобы похоронить пруссаков.

Они хотят войны до последней крайности, варварской войны на ножах, если нужно. Не имея никаких материальных благ для принесения в жертву, они отдают свою жизнь. Многие из них и именно – большая часть тех, кто состоит членом Международной Ассоциации Рабочих, вполне сознают высокую миссию, выпавшую ныне на долю пролетариата Франции. Они знают, что, если Франция падет, дело человечества в Европе погибнет по крайней мере на полвека.

Они знают, что они ответственны за спасение Франции не только перед Францией, но перед целым миром.

Эти идеи распространены, конечно, лишь среди наиболее передовых рабочих, но все рабочие Франции, без всякого различия, инстинктивно понимают, что порабощение их страны под иго пруссаков было бы смертью их надежд на будущее. И они решились скорее умереть, чем завещать своим детям существование жалких рабов. Они хотят, следовательно, спасения Франции любой ценой и во что бы то ни стало.

Буржуазия, или по меньшей мере громадное большинство этого почтенного класса, хочет совершенно противоположного. Что ей важнее всего, так это сохранность во что бы то ни стало ее домов, ее собственности и ее капиталов. Не столько целостность национальной территории, сколько целость ее карманов, наполненных благодаря труду пролетариата, эксплуатировавшегося ею под сенью национальных законов. В глубине души своей, не смея публично признаться в этом, она хочет, следовательно, мира во что бы то ни стало, хотя бы пришлось купить его ценою уменьшения, упадка и порабощения Франции.

Но если буржуазия и пролетариат Франции преследуют не только различные, но и абсолютно противоположные цели, каким чудом действительный и искренний союз мог бы установиться между ними? Ясно, что столь рьяно проповедуемое соглашение всегда останется чистейшей ложью. Ложь убила Францию. Неужели надеются, что ложь же вернет ей жизнь? Сколько бы ни осуждали рознь, она не перестанет фактически существовать. А раз она существует, раз самою силою вещей она должна существовать, было бы мальчишеством, скажу даже больше, было бы гибельно с точки зрения спасения Франции игнорировать ее, отрицать ее, совершенно не признавать открыто ее существования. Итак, раз спасение Франции призывает вас к единению, забудьте, принесите в жертву все ваши интересы, все ваши честолюбия и все ваши личные разделения. Забудьте и принесите в жертву, насколько возможно будет сделать это, все партийные разногласия. Но во имя этого самого спасения остерегайтесь всяких иллюзий, ибо в нынешнем положении вещей иллюзии смертельны. Ищите союз лишь с теми, кто так же серьезно, так же страстно, как вы сами, хочет спасти Францию *любою ценою*.

Когда идут навстречу огромной опасности, не лучше ли идти в малом количестве, с полной уверенностью не быть покинутым в момент борьбы, нежели тащить за собой целую толпу ложных союзников, которые предадут вас при первой же стычке?

* * *

С дисциплиной и доверием дело обстоит так же, как и с единением.

Все это прекрасные вещи, когда они направлены надлежащим образом. Но они пагубны, когда ими наделяют не заслуживающих их людей. Страстный поклонник свободы, я признаюсь, что отношусь с большим недоверием к тем, у кого слово «дисциплина» не сходит с языка. Она в высшей степени опасна, особенно во Франции, где дисциплина чаще всего означает, с одной стороны, деспотизм, с другой – автоматизм. Во Франции мистический культ власти, любовь к командованию и привычка подчиняться командованию разрушили в обществе, равно как и в огромном большинстве индивидов, всякое чувство свободы, всякую веру в самопроизвольный и живой порядок, который создать может одна лишь Свобода. Скажите им о свободе, и они сейчас же завопят об анархии. Ибо им кажется, что, едва перестанет действовать дисциплина государства, всегда угнетающая и насильственная, все общество должно заняться междоусобной бранью и рухнуть. В этом-то и кроется секрет поразительного рабства, которое французское общество переносит с того времени, как оно произвело свою великую революцию. Робеспьер и якобинцы завещали ему культ дисциплины государства. Этот культ, вы его обращете целиком во всех ваших буржуазных республиканцах – официальных и официозных, – а он-то и губит ныне Францию.

Он ее губит, парализуя единственный источник и единственное средство освобождения, остающиеся для нее – свободное приложение народных сил. Он губит ее также, заставляя ее искать свое спасение во власти и призрачном действии государства, которое ныне представляет собою лишь тщетные деспотические претензии, сопровождаемые абсолютным бессилием.

При всей своей враждебности к тому, что во Франции зовется дисциплиной, я признаю тем не менее, что известная дисциплина, не автоматическая, но добровольная и продуманная, прекрасно согласуемая со свободой индивидов, необходима и всегда будет необходима, когда многие индивиды, свободно объединившись, предпримут какую-нибудь работу или какие-либо коллективные действия. При таких условиях такая дисциплина не что иное, как добровольное и обдуманное согласование всех индивидуальных условий, направленных к общей цели.

В момент действия, в разгар борьбы роли, конечно, распределяются сообразно способностям каждого, оцененным и выясненным целым коллективом: одни управляют и распоряжаются, другие исполняют распоряжения. Но никакая роль не окаменевает, не закрепляется и не остается неотъемлемой принадлежностью кого бы то ни было. Иерархический строй и повышения не существуют, так что вчерашний распорядитель сегодня может сделаться подчиненным. Никто не возвышается над другими или если возвышается, то лишь для того, чтобы немного спустя снова пасть подобно морской волне, вечно возвращаясь к спасительному уровню равенства.

В этой системе, в сущности, нет больше власти. Власть растворяется в коллективе и делается действительным выражением свободы каждого, верным и серьезным осуществлением воли всех: каждый повинуется лишь потому, что дежурный начальник приказывает ему лишь то, чего он сам хочет.

Вот истинно человеческая дисциплина, дисциплина, необходимая для организации свободы. Совсем не такова дисциплина, проповедуемая вашими республиканскими государственными людьми. Они хотят старой французской дисциплины, автоматической, рутинной, слепой.

Начальник – не выбранный свободно и лишь на один день, но навязанный государством надолго, если не навсегда, – приказывает, и нужно подчиняться. Спасение Франции, говорят вам они, и даже свобода Франции возможна лишь этой ценою. Пассивное повиновение – основа всех деспотизмов, будет, следовательно, также краеугольным камнем, на коем вы будете основывать вашу республику.

Но если мой начальник приказывает мне обратить оружие против этой самой республики или выдать Францию пруссакам, должен я повиноваться ему или нет? Если я буду ему повиноваться, я предам Францию; а если ослушаюсь, я нарушу, разобью дисциплину, которую вы хотите мне навязать как единственное средство спасения для Франции.

И не говорите, что эта дилемма, которую я прошу вас разрешить, – праздная дилемма. Нет, она животрепещущей злободневности, ибо как раз над разрешением ее бьются сейчас ваши солдаты. Кто не знает, что их начальники, их генералы и громадное большинство их высших офицеров преданы душой и телом императорскому режиму? Кто не видит, что они открыто и повсюду составляют заговоры против республики? Что должны делать солдаты? Если они будут повиноваться, они предадут Францию. А если ослушаются, они разрушат то, что у вас остается от правильно организованных войск.

Для республиканцев, сторонников государства, общественного порядка и дисциплины во что бы то ни стало, эта дилемма неразрешима. Для нас, революционеров-социалистов, она не представляет никакой трудности. Да, они должны ослушаться, они должны взбунтоваться, они должны разбить эту дисциплину и разрушить современную организацию регулярных войск, они должны во имя спасения Франции разрушить этот призрак государства, бессильный для добра, могущественный для зла. Потому что спасение Франции может прийти теперь лишь от единой действительной силы, остающейся у Франции, – от революции.

* * *

Что же сказать об этом доверии, которое вам рекомендуют ныне как наивысшую добродетель республиканцев? Некогда, в бытность их подлинными республиканцами, они рекомендовали демократии быть недоверчивой. Впрочем, не было даже нужды советовать это: демократия недоверчива по своему положению, по природе, а также и вследствие исторического опыта: ибо во все времена она была жертвой и бывала обманута всеми честолюбцами, всеми интриганами, как целыми классами, так и отдельными индивидами, которые под предлогом направления и ведения ее к надежной пристани вечно эксплуатировали и обманывали ее. Она до сих пор только и делала, что служила ступенькой для их подъема.

Теперь господа республиканцы от буржуазного журнализма советуют ей доверять. Но кому и чему? Кто они такие, чтобы сметь рекомендовать доверие, и что они сделали, чтобы заслужить его сами? Они писали фразы, слабоокрашенные республиканизмом, насквозь пропитанные узкобуржуазным духом по столько-то за строчку. И сколько маленьких Оливье в зародыше между ними! Что общего между ними, корыстными и рабскими защитниками интересов имущего, эксплуатирующего класса, и пролетариатом? Разделили ли они когда-нибудь страдания рабочего люда, к которому осмеливаются пренебрежительно обращать свои выговоры и советы? Сочувствовали ли хотя бы они этим страданиям? Защищали ли они когда-нибудь интересы и права работников от буржуазной эксплуатации? Наоборот, всякий раз, как великий вопрос века, экономический вопрос, бывал поставлен, они становились апостолами буржуазной доктрины, осуждающей пролетариат на вечную нищету и на вечное рабство, в пользу свободы и материального процветания привилегированного меньшинства.

Вот каковы люди, считающие себя вправе рекомендовать народу доверие. Посмотрим же, кто заслуживал и кто заслуживает ныне доверия?

Не буржуазия ли? Но, не говоря даже о реакционном бешенстве, которое этот класс выказал в июне 1848 г., и о угодливой и раболепной подлости, доказательства коей она давала двадцать пять лет подряд, во время президентства, равно как и царствования Наполеона III; не говоря о безжалостной эксплуатации, при помощи которой они перевели в свои карманы весь продукт народного труда, оставив едва самое необходимое несчастным наемникам; не говоря о ненасытимой жадности и о той жестокой и подлой скупости, которые, основывая все процветание буржуазного класса на нищете и на экономическом рабстве пролетариата, делают этот класс непримиримым врагом народа, – посмотрим, каковы могут быть *нынешние* права этой буржуазии на доверие народа?

Несчастия Франции не переродили ли ее разом? Не сделалась ли она снова истинно патриотической, республиканской, демократической, народной и революционной?

Выказала ли она расположение подняться с массами и отдать свою жизнь и свой кошелек для спасения Франции? Раскаялась ли она в своих прежних несправедливостях, в своих бесчестных недавних изменах и бросилась ли она снова откровенно в объятия народа, полная доверия к нему? Не стала ли она в сердечном порыве во главе народа, чтобы спасти страну?

Мой друг, не правда ли, достаточно поставить эти вопросы, чтобы при виде того, что происходит ныне, быть вынужденным ответить на них отрицательно.

Увы! Буржуазия отнюдь не изменилась, не исправилась, не раскаялась. Ныне, как вчера и даже больше, чем вчера, выведенная на чистую воду обличительным светом, который события бросают как на людей, так и на вещи, она выказала себя черствой, эгоистической, жадной, узкой, глупой, одновременно грубой и раболепной, свирепой, когда она считает возможным быть таковой без большой опасности для себя, как в скверной памяти июньские дни, всегда распростертою ниц перед властью и публичной силой, от которой она ждет своего спасенья, и врагом народа всегда и во что бы то ни стало.

Буржуазия ненавидит народ по причине всего того зла, которое она сделала ему; она ненавидит его потому, что видит в нищете, невежестве и рабстве этого народа свое собственное осуждение, ибо она знает, что она слишком заслужила народный гнев, и потому что она чувствует себя угрожаемой во всем своем существовании этим гневом, который день ото дня становится более напряженным и более раздраженным. Она ненавидит народ потому, что он страшен ей; она его ненавидит ныне вдвойне, потому что единственный искренний патриот, разбуженный от своего оцепенения несчастьем Франции, которая, впрочем, как и все отечества мира, была лишь мачехой для него, народ осмелился подняться. Он сознает себя, подсчитывает свои силы, организуется, начинает говорить громко, петь *Марсельезу* на улицах и производимым им шумом, угрозами, которые он уже бросает по адресу изменников Франции, нарушает общественный порядок, смущает нечистую совесть и лишает спокойствия господ буржуа.

Доверие приобретается лишь доверием. Оказала ли буржуазия хоть малейшее доверие к народу? Далеко нет! Все, что она сделала, все, что она делает, доказывает, напротив того, что ее недоверчивость к нему переходит всякие пределы. До такой степени, что в момент, когда интерес и спасение Франции с очевидностью требуют, чтобы весь народ был вооружен, она не хотела дать ему оружие.

Когда народ пригрозил взять его силою, она должна была уступить. Но выдав ему ружья, она сделала все возможные усилия, чтобы не дать ему патронов. Она должна была еще раз уступить. И вот теперь, когда народ вооружен, он сделался от этого лишь более опасным и более ненавистным в глазах буржуазии.

По причине ненависти к народу и страха перед ним буржуазия отнюдь не хотела и не хочет республики. Не забудем никогда, дорогой друг: в Марселе, Лионе, Париже, во всех крупных городах Франции отнюдь не буржуазия, но народ, рабочие провозгласили республику. В Париже это даже были не малоревностные, неустойчивые республиканцы Законодательного Корпуса, ныне почти все члены правительства Национальной Обороны; это были рабочие кварталов Виллет и Бельвиль, которые провозгласили ее против желания и ясно выраженного намерения этих своеобразных вчерашних республиканцев. Красный призрак, знамя революционного социализма, преступление, совершенное господами буржуа в июне, заставили их потерять вкус к республике. Не забудем, что 4 сентября, когда рабочие Бельвиля встретили г. Гамбетта и приветствовали его возгласами: «Да здравствует Республика!», он ответил им такими словами: «Да здравствует Франция, *говорю я вам*».

Г. Гамбетта, как и все другие, отнюдь не хотел республики. Революции он хотел еще меньше. Мы знаем, впрочем, это по всем речам, произнесенным им с тех пор, как его имя привлекло к нему внимание публики. Г. Гамбетта очень хочет называться государственным человеком, *умным, умеренным, консервативным, рациональным и позитивистским республиканцем*[94], но он в ужасе перед революцией. Он хочет управлять народом, но отнюдь не быть управляемым им. Поэтому не направлялись ли 3 и 4 сентября все усилия г. Гамбетта и его коллег радикальной левой Законодательного Корпуса к одной-единственной цели: избежать всеми силами установления правительства, исшедшего из народной революции. В ночь с 3 на 4 сентября они употребили неслыханные усилия, чтобы заставить бонапартистскую правую и министерство Паликао принять проект г. Жюля Фавра, представленный накануне и подписанный всей радикальной левой; проект, который требовал не больше, не меньше, как становления *Правительственной Комиссии*, легально назначенной Законодательным Корпусом, соглашаясь даже на то, чтобы бонапартисты были в ней в большинстве, и не ставя другого условия, кроме вхождения в эту комиссию нескольких членов радикальной левой.

Все эти махинации были разбиты народным движением, которое вспыхнуло вечером 4 сентября. Но даже в разгаре восстания рабочих Парижа, в то время, как народ наводнил три-

[94] См. письмо в *Progres de Lyon*. – *Прим. Бакунина.*

буны и залу Законодательного Корпуса, г. Гамбетта, верный своей мысли систематически-антиреволюционной, рекомендовал еще народу хранить молчание и уважать *свободу прений* (!), *чтобы не могли сказать, что правительство, которое должно было быть избрано голосованием Законодательного Корпуса, составлено под насильственным давлением народа*.

Как истый адвокат, сторонник легальной фикции во что бы то ни стало, г. Гамбетта думал, без сомнения, что правительство. которое будет назначено этим Законодательным Корпусом, вышедшим из императорского подлога и заключающим в своих недрах самые примечательные бесчестия Франции, было бы в тысячу раз более внушительно и более почтенно, чем правительство, приветствуемое отчаянием и негодованием проданного народа. Эта любовь к конституционной лжи до такой степени ослепила г. Гамбетта, что он, несмотря на весь свой ум, не понял, что никто не смог бы и не захотел бы верить в свободу голоса, имевшего место при подобных обстоятельствах. К счастью, бонапартистское большинство, перепуганное все более и более угрожающими проявлениями народного гнева и презрения, разбежалось; и г. Гамбетта, оставшись в зале Законодательного Корпуса один со своими коллегами радикальной левой, увидел себя вынужденным, конечно, против своей воли отказаться от своей мечты о легальной власти и примириться с тем, что народ передал в руки этой левой власть революционную. Я скажу сейчас, какое жалкое употребление сделали он и его коллеги в течение четырех недель, истекших с 4 сентября, из этой власти, доверенной им народом Парижа, для того, чтобы они вызвали во всей Франции спасительную революцию, но которою до сего времени они пользовались, напротив, лишь для того, чтобы повсюду парализовать революцию.

В этом отношении г. Гамбетта и все его коллеги по правительству Национальной Обороны были лишь слишком верным выражением чувств и преобладающей мысли буржуазии. Соберите всех буржуа Франции и спросите их, что они предпочитают: освобождение их отечества социальною революцией – а иной революции, кроме социальной, в настоящее время быть не может, – или же порабощение его под игом пруссаков? Если они осмеливаются быть искренними, лишь бы они находились в положении, которое позволило им без риска высказать всю их мысль, девять десятых… что я говорю! девяносто девять сотых или даже девятьсот девяносто девять тысячных, ответят вам, не колеблясь, что революции они предпочитают порабощение. Спросите их еще: в случае, если бы для спасения Франции оказалось необходимым пожертвовать значительной частью их собственности, их благ, их движимого и недвижимого имущества, чувствуют ли они себя расположенными к такой жертве? Или же, употребляя риторическую фигуру г. Жюля Фавра, они действительно готовы скорее быть погребенными под развалинами своих вилл и домов, нежели отдать их пруссакам? Они вам единодушно ответят, что они предпочитают выкупить их у пруссаков. Думаете ли вы, что если бы парижские буржуа не находились на глазах и под рукой – всегда угрожающей – парижских рабочих, Париж оказал бы пруссакам столь славное сопротивление?

* * *

Не клевещу ли, однако, я на буржуазию?

Дорогой друг, вы хорошо знаете, что нет. И к тому же теперь существует очевидное и ясное неотразимое доказательство истинности, справедливости всех моих обвинений против буржуазии. Недобросовестность и равнодушие буржуазии слишком ярко проявились в денежном вопросе. Всем известно, что финансы страны разорены; что нет ни одного су в кассах того самого правительства Национальной Обороны, которое господа буржуа будто бы поддерживают теперь так ревностно и горячо. Все понимают, что это правительство не может наполнить кассы обычными способами займов и налогов. Непризнанное правительство не может найти кредита; что же касается дохода от налогов, доход этот свелся к нулю. Часть Франции, включающая в себя наиболее промышленные, наиболее богатые провинции, занята пруссаками и

систематически ими грабится. Повсюду в других местах торговля, промышленность, все деловые сделки остановились. Косвенные налоги не дают больше ничего или почти ничего. Прямые налоги уплачиваются с безграничными трудностями и безнадежной медленностью И все это в такой момент, когда Франция нуждалась бы во всех своих ресурсах и во всем своем кредите, чтобы оплачивать чрезвычайные, неисчислимые, гигантские расходы национальной обороны. Самые неопытные в делах люди должны понять, что если Франция не найдет немедленно денег, большого количества денег, ей невозможно будет продолжать свою защиту против нашествия пруссаков.

Лучше, чем кто бы то ни было, должна понять это буржуазия, проводящая всю жизнь в возне с делами и не признающая иного могущества, кроме денежного. Она должна также понять, что, так как Франция не может больше добыть себе всех необходимых для своего спасения денег обычными для государства средствами, она вынуждена – это ее право и обязанность – брать их там, где они имеются. А где же они имеются? Конечно, не в карманах несчастного пролетариата, которому буржуазная скупость едва оставляет чем питаться; следовательно, единственно, исключительно в несгораемых шкафах господ буржуа. Они одни обладают деньгами, необходимыми для спасения Франции. Предложили ли они свободно, по собственному почину, хотя бы малую часть своих капиталов?

Я возвращусь еще, дорогой друг, к денежному вопросу, являющемуся главным вопросом, когда нужно оценить искренность чувств, принципов и патриотизма буржуа. Общее правило: хотите вы безошибочно узнать, серьезно ли хочет буржуа того или иного? Спросите, готов ли он для достижения этого на денежную жертву. Ибо будьте уверены, когда буржуа страстно хочет чего-нибудь, он не отступит ни перед какой денежной жертвой. Не затратили ли они безграничные суммы, чтобы убить, задушить республику 1848 г.? И позже не вотировали ли они с увлечением все налоги и займы, предложенные Наполеоном III, и не нашли ли они в своих несгораемых ящиках баснословные суммы, чтобы подписаться на все эти займы? Наконец, предложите им, укажите им способ восстановить во Франции хорошую монархию – весьма реакционную, весьма сильную, которая вернула бы им, вместе с дорогим общественным порядком и спокойствием улиц, экономическое господство, ценную привилегию эксплуатировать нищету пролетариата без жалости, без стыда, легально, систематически, и вы увидите, останутся ли они глухи!

Обещайте им только, что по изгнании пруссаков с французской территории восстановят эту монархию с Генрихом ли V, или с Дюком Орлеанским или даже с одним из отпрысков бесчестного Бонапарта, и будьте уверены, их несгораемые ящики сейчас же раскроются, и они найдут там все необходимые для изгнания пруссаков средства. Но им обещают республику, царство демократии, власть народа, освобождение народной черни. Они совсем не хотят ни вашей республики, ни подобного освобождения и доказывают это, держа закрытыми свои сундуки и не жертвуя ни одного су.

Вы знаете лучше, чем я, дорогой друг, какова была участь несчастного займа для организации обороны Лиона, выпущенного муниципалитетом этого города. Сколько человек подписалось? Такое ничтожное количество, что сами проповедники буржуазного патриотизма почувствовали унижение, отчаяние, безутешность.

И после этого рекомендуют народу иметь доверие к буржуазии! У нее самой хватает нахальства, цинизма просить – что я говорю – требовать доверия! Она имеет претензию одна править и вести дела республики, которую в глубине сердца проклинает. Во имя республики она старается установить и усилить свой авторитет и свое исключительное господство, поколебленное на момент. Она завладела всеми должностями, она заполнила все места, оставив лишь некоторые для рабочих-перебежчиков, которые так счастливы восседать среди господ буржуа. Какое же употребление делают они из захваченной таким образом власти? Об этом можно судить, рассматривая деяния вашего муниципалитета.

Но мне скажут, вы не имеете права нападать на муниципалитет, ибо избранный после революции самим народом путем прямого голосования он есть создание всеобщего избирательного права! В качестве такого он должен быть священным для вас.

* * *

Признаюсь вам откровенно, дорогой друг, я не разделяю ни в малейшей мере суеверного преклонения перед всеобщим избирательным правом ваших радикальных буржуа или ваших буржуазных республиканцев. В другом письме я изложу вам причины, не позволяющие мне восторгаться им. Здесь мне достаточно принципиально установить истину, которая мне кажется неоспоримой и которую мне нетрудно будет позже доказать как путем рассуждения, так и большим количеством фактов, почерпнутых в политической жизни всех стран, пользующихся в настоящий момент республиканскими и демократическими учреждениями. А именно: *пока избирательное право будет осуществляться в обществе, где народ, рабочая масса* **экономически** *подчинена меньшинству, владеющему собственностью и капиталом, насколько бы независимым или свободным ни был или скорее ни казался народ в политическом отношении, выборы никогда не могут быть иными, как призрачными, антидемократическими и абсолютно противоположными нуждам, инстинктам и действительной воле населения.*

Не были ли все выборы, непосредственно произведенные народом Франции со времен декабрьского переворота, диаметрально противоположными интересам этого народа, и последнее голосование императорского плебисцита не дало ли семь миллионов «да» императору? Скажут, конечно, что при империи всеобщее голосование никогда не было свободно осуществляемо, ибо свобода прессы, союзов и собраний – основные условия политической свободы – были отменены, и беззащитный народ предоставлен развращающему воздействию субсидируемой прессы и бесчестной администрации. Пусть так. Но выборы 1848 г. в Учредительное Собрание и выборы президента, равно как и выборы в мае 1849 г. в Законодательное Собрание, были, я полагаю, абсолютно свободны. Они производились помимо какого бы то ни было давления или даже официального вмешательства при соблюдении всех условий самой абсолютной свободы. И, однако, что они дали? Ничего, кроме реакции.

«Один из первых актов Временного Правительства, – говорит Прудон[95], – акт, за который оно себе больше всего аплодировало, – это применение всеобщего избирательного права. В самый день обнародования декрета мы писали эти самые слова, которые тогда могли сойти за парадокс: *Всеобщее избирательное право – это контрреволюция*. Можно судить по событиям, ошибались ли мы. Выборы 1848 г. были произведены в подавляющем большинстве священниками, легитимистами, приверженцами династии, всем, что только имеется во Франции наиболее реакционного, наиболее отсталого. И иначе быть не могло».

Да, это не могло, и ныне, в настоящий момент это еще не может быть иначе, пока неравенство экономических и социальных условий жизни будет по-прежнему преобладать в общественной организации, пока общество будет по-прежнему разделено на два класса, из которых один, эксплуатирующий и привилегированный, будет пользоваться всеми преимуществами состояния, образования и досуга, а другой, включающий в себя всю массу пролетариата, на свою долю будет получать лишь насильственный, убивающий ручной труд, невежество, нищету с их неизбежным спутником – рабством – не по закону, но на деле.

Да, это есть рабство, ибо, как бы широки ни были политические права, которые вы предоставляете этим миллионам наемных пролетариев, подлинных каторжников голода, вы никогда не дойдете до того, чтобы их оградить от порочного влияния, от естественного господства различных представителей привилегированного класса, начиная от священника и до самого

[95] *Революционные идеи*.

якобинского, самого красного буржуазного республиканца; представителей, которые, как бы ни казались или как бы на самом деле ни были несогласны между собою в вопросах политических, тем не менее объединены в общем и высшем интересе: эксплуатации нищеты, невежества, политической неопытности и доверчивости пролетариата на пользу экономического господства владеющего класса.

Как мог бы противостоять интригам клерикальной, дворянской и буржуазной политики пролетариат деревни и города? Для самозащиты у него лишь одно оружие – инстинкт, который почти всегда стремится к истинному и справедливому, потому что он сам есть главная, если не единственная, жертва несправедливости и обмана, царствующих в современном обществе, и потому что, угнетенный привилегиями, он, естественно, требует равенства для всех.

Но инстинкт – недостаточное оружие для спасения пролетариата от реакционных махинаций привилегированных классов. Инстинкт, предоставленный самому себе, и поскольку он не превратился еще в сознательно обдуманную, ясно определенную мысль, легко дает сбить себя с пути, подменить и обмануть. Подняться же до сознания себя самого для него невозможно без помощи образования, науки; а наука, знание дел и людей, политический опыт совершенно отсутствуют у пролетариата. Последствия этого предвидеть легко: пролетариат хочет одного, а ловкие люди, пользуясь его невежеством, заставляют его делать другое, так что он даже и не подозревает, что делает совсем противоположное тому, что хочет. И когда, наконец, он замечает это, обыкновенно бывает слишком поздно исправить сделанное зло, первой и главной жертвой которого он естественно, необходимо и всегда является.

Таким-то путем священники, дворяне, крупные собственники и вся эта бонапартистская администрация, которая благодаря преступной глупости правительства, именующего себя правительством Национальной Обороны[96], может спокойно продолжать ныне свою империалистскую пропаганду в деревнях; таким-то путем все эти творцы открытой реакции, пользуясь закоренелым невежеством французского крестьянства, стремятся поднять его против республики, в пользу пруссаков. Увы! Они слишком преуспевают в этом. Ибо разве не видим мы коммуны, не только раскрывающей свои врата пруссакам, но еще и доносящие и изгоняющие партизанские отряды, являющиеся для их освобождения.

Разве крестьяне Франции перестали быть французами? Совсем нет. Я даже думаю, что патриотизм, взятый в наиболее узком и наиболее исключительном смысле слова, только среди них и сохранился таким могущественным и таким искренним. Ибо они больше, чем какая-либо другая часть населения, обладают той привязанностью к земле, питают тот культ земли, которые составляют основную предпосылку патриотизма. Как же случилось, что они не хотят или что они колеблются еще подняться для защиты этой земли от пруссаков? О, это потому, что они были обмануты и что их продолжают еще обманывать. При помощи макиавеллевской пропаганды, начатой в 1848 г. легитимистами и орлеанистами в согласии с умеренными республиканцами вроде г. Жюля Фавра и К°, затем продолжаемой с большим успехом бонапартистской прессой и администрацией, их удалось убедить, что социалисты-рабочие, сторонники раздела, мечтают не больше, не меньше, как о конфискации их земель; что один лишь император хотел защищать их против этого грабежа и что революционеры-социалисты выдали его и его армию пруссакам из мести, но что прусский король примирился с императором и вновь введет его, победоносного, чтобы восстановить порядок во Франции.

Это очень глупо, но это так. Во многих, – что я говорю? – в большинстве французских провинций крестьянин вполне искренне верит во все это. И это даже единственное основание его инертности и его враждебности к республике. Это большое несчастье, ибо ясно, что, если деревни останутся инертными, если крестьяне Франции, соединившись с рабочими городов, не встанут массами, чтобы выгнать пруссаков, Франция потеряна. Как бы ни был велик героизм,

[96] Не справедливее ли было бы называть его правительством разорения Франции?

проявляемый городами, – а в нужный момент все города его проявляют в изобилии, – города, отделенные от деревень, будут изолированы, как оазисы в пустыне. Они необходимо должны пасть.

* * *

Если что доказывает в моих глазах глубокую неспособность этого своеобразного правительства Национальной Обороны, так это то, что с первого же дня, когда оно оказалось у власти, оно отнюдь не приняло немедленно же необходимых мер, чтобы просветить деревни насчет современного порядка вещей и чтобы вызвать, чтобы возбудить повсюду вооруженное восстание крестьян. Неужели так трудно было понять эту столь простую, столь очевидную для всех истину, что от массового восстания крестьян, объединенного с восстанием народа в городах, зависело и еще поныне зависит спасение Франции? Но сделало ли до сего дня хоть единственный шаг, предприняло ли какие-либо меры правительство Парижа и Тура, чтобы вызвать восстание крестьян? Оно ничего не сделало, чтобы вызвать его, и, напротив, сделало все, чтобы это восстание стало невозможным. Таково его безумие и его преступление – безумие и преступление, могущие убить Францию.

Оно сделало восстание деревень невозможным, поддерживая во всех коммунах Франции муниципальную администрацию империи: тех же самых мэров, мировых судей, полевых стражников, разумеется, и попов, которые были профильтрованы, выбраны, поставлены и покровительствуемы гг. префектами и супрефектами, равно как и императорскими епископами с единственной целью: обслуживать интересы династии, хотя бы и вопреки интересам всех и вся и даже самой Франции. Эти самые чиновники, которые провели все выборы империи, в том числе и последний плебисцит, и которые в истекшем августе под управлением г. Шевро, министра внутренних дел в правительстве Паликао, подняли против либералов и демократов всех оттенков в пользу Наполеона III в тот самый момент, когда этот негодяй предавал Францию пруссакам, кровавый крестовый поход, жестокую пропаганду, распространявшую во всех коммунах клевету, столь же смешную, как и гнусную, якобы республиканцы, толкнувши императора в эту войну, объединились теперь против него с солдатами Германии.

Таковы люди, которых правительство Национальной Обороны по своему тупоумию или равнодушию – одинаково преступному – оставило до сего дня во главе всех сельских коммун Франции. Могут ли эти люди, до такой степени скомпрометированные, что всякая перемена курса для них уже стала невозможной, могут ли они оправдаться теперь и, разом переменив направление, мнения и речи, действовать как искренние сторонники республики и спасения Франции? Да ведь крестьяне стали бы смеяться им в лицо! Они, следовательно, *вынуждены* говорить и действовать ныне, как вчера; вынуждены отстаивать и защищать интересы императора против республики, интересы династии против Франции и интересы пруссаков, нынешних союзников императора и династии, против национальной обороны. Вот чем объясняется, что все коммуны вместо того, чтобы оказывать сопротивление пруссакам, раскрывают им свои объятия.

Повторяю еще раз: это великий позор, великое несчастье и огромная опасность для Франции. И вся вина за это падает на правительство Национальной Обороны. Если все пойдет тем же порядком, если в ближайшем будущем не переменят настроения деревень, если не поднимут крестьян против пруссаков, – Франция безвозвратно потеряна.

Но как их поднять? Я подробно разработал этот вопрос в другой брошюре[97]. Здесь я скажу об этом лишь несколько слов. Первым условием, конечно, является немедленное и массовое отозвание теперешних коммунальных чиновников, ибо, пока эти бонапартисты оста-

[97] Letters a un Francais sur ia crise actuelle. Septembere 1870 (Письма к французу о современном кризисе. Сентябрь 1870).

нутся на местах, ничего нельзя будет сделать. Но это отозвание будет лишь отрицательной мерой. Она абсолютно необходима, но недостаточна. На крестьянина, по природе реалиста и скептика, можно успешно воздействовать лишь средствами положительными. Достаточно сказать, что декреты и прокламации, хотя бы и подписанные всеми членами правительства Национальной Обороны, совершенно ему незнакомыми, равно как и газетные статьи, на него не производят никакого впечатления. Крестьянин не занимается чтением. Его воображение, его сердце закрыты для идей, пока они появляются в литературной или отвлеченной форме. Чтобы он мог схватить их, идеи должны выявляться ему живым словом живых людей и мощью фактов. Тогда он слушает, понимает и кончает тем, что дает себя убедить.

Следует ли послать в деревни пропагандистов, апостолов республики? Это средство было бы неплохо; только оно представляет некоторую трудность и двойную опасность. Трудность заключается в том, что правительство Национальной Обороны, тем более хватающееся за свою власть, что власть эта ничтожна, и верное своей несчастной системе политической централизации при таких обстоятельствах, когда эта централизация сделалась абсолютно невозможной, захочет само выбирать и назначать всех этих апостолов или поручить это своим новым префектам и чрезвычайным комиссарам. Все же они, или почти все, принадлежат к тому же политическому лагерю, как и само правительство, то есть все они или почти все – буржуазные республиканцы, адвокаты или редакторы газет, либо платонические (и такие еще лучшие из них, хотя и не самые разумные), либо весьма заинтересованные поклонники республики, идею которой они усвоили не из жизни, но почерпнули из книжек и которая сулит одним славу и мученический венец, а другим – блестящую карьеру и доходное место.

При всем том это весьма умеренные республиканцы, *консерваторы, рационалисты и позитивисты* вроде г. Гамбетты и как таковые – ожесточенные враги революции и социализма и поклонники государственной власти во что бы то ни стало.

Эти почетные чиновники новой республики захотят, разумеется, послать миссионерами в деревни лишь людей собственного закала и абсолютно разделяющих их собственные политические убеждения. Для всей Франции таковых понадобилось бы по меньшей мере несколько тысяч.

Где, черт побери, возьмут они их? Буржуазные республиканцы ныне редки, даже среди молодежи! Так редки, что в городе, как Лион, например, их не наберется в достаточном количестве для заполнения важнейших должностей, которые должны бы быть доверены лишь искренним республиканцам.

Первая опасность заключается в следующем: если даже префекты и супрефекты нашли бы в своих департаментах достаточное количество молодых людей, чтобы заполнить пропагандистские должности в деревнях, эти новые миссионеры неизбежно были бы почти всегда и везде ниже – и по своей революционной интеллигентности, и по энергии своего характера, – нежели сами пославшие их префекты и супрефекты, подобно тому, как эти последние ниже выродившихся и более или менее оскопленных детей великой революции, которые, замещая ныне высшие должности членов правительства Национальной Обороны, осмелились взять в свои слабые руки судьбы Франции.

Так, спускаясь все ниже и ниже, от ничтожеств к еще большим ничтожествам, не нашлось бы для посылки пропагандистами республики в деревни никого лучше республиканцев, вроде г. Андрие, прокурора Республики, или г. Евгения Верона, редактора *Прогресса* в Лионе, людей, которые во имя республики станут пропагандировать реакцию. Думаете ли вы, дорогой друг, что это могло бы привить крестьянам вкус к республике?

Увы, я опасаюсь обратного. Между бледными поклонниками невозможной отныне буржуазной республики и крестьянином Франции – не *позитивистом и рационалистом,* как г. Гамбетта, но человеком весьма положительным и обладающим здравым смыслом – нет ничего общего. Даже если бы они были воодушевлены лучшими намерениями в мире, они увидели бы,

как рушится перед лукавой замкнутостью этих грубых деревенских работников вся их литературная доктринерская и крючкотворная риторика. Воодушевить крестьянина не невозможно, но чрезвычайно трудно. Для этого следовало бы прежде всего носить в себе самом ту глубокую и могучую страсть, которая волнует души, и вызывает, и производит то, что в обыденной жизни, в однообразном повседневном существовании называют чудесами преданности, самопожертвования, энергии и победоносного действия. Люди 1792 и 1793 гг., особенно Дантон, обладали этой страстью и с нею и благодаря ей обладали силой творить чудеса. Они были бесноватыми и достигли того, что сделали бесноватою всю нацию. Или, скорее, они сами были наиболее энергичным выражением страсти, воодушевлявшей всю нацию.

Среди всех нынешних и вчерашних людей, составляющих буржуазно-радикальную партию Франции, встречали ли вы или слышали ли хотя бы об одном, о ком можно было бы сказать, что он носит в самом сердце нечто, хоть немного приближающееся к той страсти и к той вере, которые воодушевляли людей Великой революции? Ни одного нет, не правда ли?

Позже я изложу вам причины, которым, по моему мнению, следует приписать этот прискорбный упадок буржуазного республиканизма. Я удовольствуюсь теперь констатированием и общим утверждением, которое докажу позднее, – что буржуазный республиканизм был морально и интеллектуально оскоплен, сделан глупым, бессильным, лживым, подлым, реакционным и в качестве такового окончательно выкинут с исторической арены появлением революционного социализма.

Мы изучали вместе с вами, дорогой друг, представителей этой партии в самом Лионе. Мы видели их за работой. Что они говорили, что они делали, что они делают среди ужасного кризиса, угрожающего поглотить Францию? Всего лишь жалкую, маленькую реакцию! Они не осмеливаются еще делать большую. Две недели достаточны были для них, чтобы показать лионскому народу, что республиканские и монархические властители различаются лишь по имени. То же ревнивое оберегание власти, презирающей и боящейся народного контроля, то же недоверие к народу, та же снисходительность и те же поблажки для привилегированных классов. И, однако, г. Шальмель-Лакур, префект и ныне, благодаря низкопоклонной подлости Лионского муниципалитета, диктатор этого города, – задушевный друг г-на Гамбетта, его любимый избранник, конфиденциальный делегат и верный выразитель самых интимных мыслей этого великого республиканца, этого *homme viril* (мужественного человека), от которого Франция наивно ждет ныне своего спасения. И, однако, г. Андрие, нынешний прокурор республики и прокурор, действительно достойный этого имени, ибо обещает скоро превзойти своим ультраюридическим рвением и своей неизмеримой любовью к общественному порядку самых ревностных прокуроров империи, – г. Андрие выставлял себя при предыдущем режиме свободомыслящим, фанатическим врагом попов, преданным сторонником социализма и другом Интернационала. Я думаю даже, что незадолго до падения империи ему выпало особое счастье быть заключенным в тюрьму в качестве такового, и он был извлечен оттуда победоносным народом.

Как случилось, что эти люди изменились и что – вчерашние революционеры – они сделались ныне такими решительными реакционерами? Результат ли это удовлетворенного честолюбия? Не было ли это потому, что, получив благодаря народной революции достаточно прибыльные, достаточно высокие теплые местечки, они больше всего стараются сохранить их за собой? Ах, конечно, честолюбие и корысть являются сильными мотивами, и они развратили многих, но я не думаю, чтобы пребывание у власти в течение двух недель было достаточно, чтобы развратить души этих новых чиновников республики. Обманывали ли они народ, когда представлялись ему при империи как сторонники революции? Откровенно говоря, я не могу этому поверить. Они сами обманывались насчет самих себя, воображая себя революционерами. Они приняли свою ненависть, очень искреннюю, хотя не очень страстную и энергичную, к империи за горячую любовь к революции, и, построив себе такую иллюзию относительно

самих себя, они не догадывались, что они являются партизанами революции и реакционерами в то же самое время.

«Реакционная идея, – сказал Прудон[98], – пусть народ не забывает этого, зародилась в недрах республиканской партии». И далее он прибавляет, что первоисточником этой мысли является «ее (партии) *правительственное рвение*», крючкотворное, мелочное, фанатическое, полицейское и тем более деспотичное, что оно считает все себе позволенным, так как ее деспотизм все – гда имеет предлогом самое спасение республики и свободы.

Буржуазные республиканцы совершенно ошибочно отождествляют *свою* республику со свободой. В этом главный источник всех их иллюзий, когда они находятся в оппозиции, их разочарований и их непоследовательностей, когда они получают власть в свои руки. Их республика всецело основана на этой идее власти и сильного правительства, правительства, которое должно выказать себя тем энергичнее и могущественнее, что оно поставлено народным избранием. И они не хотят понять такой простой истины, подтвержденной опытом всех времен и всех стран, что всякая власть, организованная, установленная, воздействующая на народ, необходимо исключает свободу народа. Так как политическое государство не имеет иного назначения, кроме как покровительствовать эксплуатации экономически привилегированными классами народного труда, то и государственная власть может быть совместима лишь исключительно с свободой этих классов, интересы которых оно представляет, и по той же самой причине оно должно быть враждебно свободе народа. Кто говорит государство или власть, тот говорит господство. Но всякое господство предполагает существование масс, над которыми господствуют. Государство, следовательно, не может иметь доверия к самодеятельности и к свободному движению масс, самые заветные интересы коих противны его существованию. Оно их естественный враг, их обязательный угнетатель, и, остерегаясь всеми мерами от признания этого, оно должно всегда действовать как таковое.

Вот чего не понимает большая часть молодых сторонников авторитетной или буржуазной республики, поскольку они остаются в оппозиции, пока они еще сами не отведали власти. До глубины сердца презирая со всей страстностью своих бледных, ублюдочных, изнервничавшихся натур монархический деспотизм, они воображают, что ненавидят деспотизм вообще. Желая иметь силу и храбрость, чтобы низвергнуть трон, они считают себя революционерами. И они не подозревают, что ненавидят вовсе не деспотизм, но лишь его монархическую форму и что этот самый деспотизм, едва лишь он примет республиканскую форму, найдет в них самых наиболее ревностных приверженцев.

Они не знают, что деспотизм заключается не столько *в форме* государства и власти, сколько в самом *принципе* государства и политической власти, и что, следовательно, республиканское государство должно быть по своей сущности так же деспотично, как и государство, управляемое государем или королем. Между этими двумя государствами имеется лишь одно действительное различие. Оба одинаково имеют своей главной основой и целью экономическое порабощение масс в пользу владеющих классов. Разница же между ними та, что для достижения этой цели монархическая власть, которая в наши дни повсюду стремится превратиться в военную диктатуру, не допускает свободы ни одного класса, ни даже того, которому она покровительствует в ущерб народу. Она очень хочет и вынуждена служить интересам буржуазии, но не позволяет ей сколько-нибудь серьезно вмешиваться в управление делами страны.

Когда эта система осуществляется неопытными или слишком нечестными руками или когда она ставит в слишком наглядную оппозицию интересы династии с интересами эксплуататоров промышленности и торговли страны, как это только что случилось во Франции, она может сильно скомпрометировать интересы буржуазии. Она представляет собою другую невыгоду, очень серьезную с точки зрения буржуа: она задевает их тщеславие и их гордость. Правда,

[98] «Общая идея Революции».

она защищает их и предлагает им с точки зрения эксплуатирования народного труда совершенную безопасность, но в то же время она их унижает, ставя слишком узкие границы их мании резонировать, и, когда они осмеливаются протестовать, она с ними не церемонится. Естественно, это нервирует наиболее пылкую и, если хотите, наиболее великодушную и наименее рассуждающую партию буржуазного класса. И таким путем в среде его формируется из ненависти к этому угнетению буржуазно-республиканская партия.

Чего хочет эта партия? Уничтожения государства? Прекращения официально покровительствуемого и гарантируемого государством эксплуатирования народных масс? Действительной и полной эмансипации всех посредством экономического освобождения народа? Совсем нет. Буржуазные республиканцы – самые отчаянные и самые страстные враги социальной революции. В моменты политического кризиса, чтобы свергнуть трон, они действительно снисходят до обещания материальных улучшений этому, *столь заслуживающему интереса* классу работников; но так как в то же время они воодушевлены самой твердой решимостью сохранить и поддержать все принципы, все *священные основы* современного общества, все эти экономические и юридические институты, необходимым следствием которых является действительное рабство народа, то их обещания рассеиваются, конечно, всегда, как дым. Народ, разочарованный, ропщет, угрожает, бунтует, и тогда, чтобы сдержать взрыв народного недовольства, они видят себя вынужденными – они, буржуазные революционеры, – прибегнуть к всемогущей репрессии государства. Отсюда следует, что республиканское государство совершенно так же угнетает, как и государство монархическое. Только оно угнетает отнюдь не владеющие классы, но лишь народ.

Поэтому никакая форма правительства не является столь благоприятной интересам буржуазии и столь же любимою этим классом, как республика. Если бы только она имела силы удержаться при современном экономическом положении Европы против все более и более угрожающих социалистических вожделений рабочих масс. Следовательно, буржуазия опасается совсем не доброты республики, которая целиком ей на пользу, но ее недостаточной мощи как государства или ее способности удержаться и защищаться против бунтов пролетариата. Нет буржуа, который не сказал бы вам: «Республика – прекрасная вещь, к несчастью, она невозможна; она не может долго существовать, ибо никогда не найдет в себе необходимой силы, чтобы стать серьезным, почтенным государством, способным заставить уважать себя и внушить массам почтение к нам». Обожая республику платонически, не сомневаясь в ее возможности или по меньшей мере в ее длительности, буржуа всегда, следовательно, стремится стать под защиту военной диктатуры, которую он презирает, которая его оскорбляет, унижает и которая рано или поздно кончает тем, что разоряет его, но которая все-таки доставляет ему все условия силы для спокойствия на улицах и общественного порядка.

Это роковое предпочтение огромного большинства буржуазии к режиму штыка приводит в отчаяние буржуазных республиканцев. Поэтому они делали и делают как раз ныне «*сверхчеловеческие*» усилия, чтобы заставить его полюбить республику. Чтобы доказать ему, что, отнюдь не вредя интересам буржуа, она, напротив того, будет вполне благоприятна им, или – что то же – что она всегда будет противна интересам пролетариата и что она будет обладать необходимой силой для внушения народу уважения к законам, гарантирующим спокойное экономическое и политическое господство буржуазии.

Такова ныне главная забота всех членов правительства Национальной Обороны, точно так же как и всех префектов, супрефектов, адвокатов республики и генеральных комиссаров, делегированных ими в департаменты. Это делается не столько ради защиты Франции от нашествия пруссаков, сколько для того, чтобы доказать буржуа, что они, республиканцы и настоящие обладатели государственной власти, имеют всю добрую волю и всю желательную власть, чтобы сдержать бунты пролетариата. Встаньте на такую точку зрения, и вы поймете все иначе необъяснимые поступки этих своеобразных защитников и спасителей Франции.

Воодушевленные таким духом и преследуя такую цель, они поневоле катятся к реакции. Как могли бы они делать и вызывать революцию даже тогда, когда революция – как это очевидно ныне – единственное средство спасения Франции? Как они, носящие в себе официальную смерть и паралич всякого народного действия, разнесли бы движение и жизнь по деревням? Что могли бы они сказать крестьянам, чтобы поднять их против вторжения пруссаков, перед лицом всех этих бонапартистских попов, мировых судей, мэров и полевых стражников, уважать которых заставляет их безудержная любовь к общественному порядку и которые с утра до вечера, вооруженные влиянием и несравненно большею способностью действовать, чем они сами, ведут и будут продолжать вести в деревнях совершенно противоположную пропаганду. Попытаются ли они тронуть крестьян фразами, когда все факты будут опровергать эти фразы?

Знайте же, крестьянин ненавидит всякое правительство. Он терпит его из осторожности: он регулярно выплачивает налоги и терпит, когда берут его сыновей в солдаты, потому что не видит, как он мог бы сделать иначе. И он не желает содействовать никакой перемене правительства, потому что говорит себе, что все правительства стоят друг за друга и что новое правительство, как бы оно ни называлось, не будет лучше прежнего; а также и потому, что хочет избежать риска и расходов, связанных с бесполезной переменой. Впрочем, из всех режимов республиканское правительство наиболее ненавистно для него, ибо напоминает ему, во-первых, добавочные сантимы 1848 г., и затем потому, что в течение двадцати лет, не переставая, республику чернили и ругали в его глазах. Она для него – пугало, потому что отождествляется с режимом сплошного насилия, и притом она не дает ему никакой выгоды и, наоборот, связана с материальным разрушением. Республика для него – это царство того, что он ненавидит больше всего – диктатуры адвокатов и городских буржуа, и, выбирая между диктатурами, он имеет «дурной вкус» предпочитать диктатуру штыка.

Как же надеяться в таком случае, что *официальные* представители республики смогут склонить крестьянина к республике? Когда он почувствует себя сильнее, он посмеется над ними и прогонит их из своей деревни. А когда он окажется слабейшим, он замкнется в самом себе – молча и инертно. Посылать буржуазных республиканцев, адвокатов, редакторов газет в деревни, чтобы вести там пропаганду в пользу республики, было бы, следовательно, смертельным ударом для республики.

Но что же в таком случае делать? Есть только одно средство – это революционизировать деревни точно так же, как и города. А кто может сделать это? Единственный класс, который действительно открыто носит ныне в своих недрах революцию, есть класс городских рабочих.

Но как рабочие возьмутся за революционизирование деревень? Пошлют ли в каждую деревню отдельных рабочих в качестве апостолов республики? Но где они возьмут деньги, необходимые на покрытие расходов этой пропаганды? Правда, гг. префекты, супрефекты и генеральные комиссары могли бы послать их за счет государства. Но тогда эти посланцы не были бы больше делегатами рабочего мира, но делегатами государства, что коренным образом изменило бы характер, роль и самое содержание их пропаганды, уже не революционной, но поневоле реакционной. Ибо первое, что они вынуждены были бы делать, – это внушить крестьянам доверие ко всем вновь установленным или сохраненным республикой властям; следовательно, также доверие к властям бонапартистским, зловредная деятельность коих продолжает еще тяготеть над деревнями. Впрочем, очевидно, что гг. супрефекты, префекты и генеральные комиссары, согласно естественному закону, заставляющему каждого предпочитать то, что соответствует, а не противоположно его природе, выбрали бы для выполнения этой роли пропагандистов республики рабочих наименее революционных, наиболее послушных или наиболее угодливых. Это опять была бы реакция под рабочим флагом. А мы сказали, что только революция может революционизировать деревни.

Наконец, следует прибавить, что индивидуальная пропаганда, будь она даже производима самыми революционными в мире людьми, не сможет оказать слишком большого влияния

на крестьян. Красноречие совсем не очаровывает их, и слова, когда они не являются проявлением силы и не сопровождаются немедленно делами, остаются для них лишь словами. Рабочий, который один выступил бы с речью в деревне, сильно рисковал бы быть поднятым на смех и изгнанным, как буржуа.

Что же надо делать?

Нужно послать в деревни в качестве пропагандистов вольные отряды.

Общее правило: кто хочет пропагандировать революцию, должен сам быть действительно революционным. Чтобы поднять людей, нужно быть одержимым бесом, иначе будут произноситься безрезультатные речи, производиться бесплодный шум, но дела не будет. Итак, прежде всего пропагандистские вольные отряды должны быть сами революционно вдохновлены и организованы. Они должны носить революцию в своей груди, чтобы быть в состоянии вызвать и возбудить ее вокруг себя. Затем они должны наметить себе систему, линию поведения, сообразную с поставленной себе целью.

Какова эта цель? Не навязать революцию деревням, но вызвать и возбудить ее там.

Революция, навязанная декретами или вооруженной рукой, уже не есть революция, но противоположность революции, ибо она неизбежно вызывает реакцию. В то же время вольные отряды должны явиться в деревни как внушительная сила, способная заставить уважать себя, не для того, конечно, чтобы производить насилия над крестьянами, но чтобы отнять у них всякое желание смеяться над ними и дурно обращаться с ними прежде даже, чем выслушают их, что могло бы случиться с индивидуальными пропагандистами, не сопровождаемыми внушительной силой. Крестьяне несколько грубы, а грубые натуры легко могут быть увлечены престижем и проявлениями силы, хотя и могут потом взбунтоваться, если эта сила навязывает им условия, слишком противные их инстинктам и их интересам.

Вот чего должны очень остерегаться вольные отряды. Они ничего не должны навязывать, но все возбуждать. Что они могут и что должны, естественно, делать – это с самого начала отстранить все, что могло бы препятствовать успеху пропаганды. Так, они должны начать с расклассированья без кровопролития всей коммунальной администрации, неизбежно пропитанной бонапартистским, легитимистским или орлеанистским ядом; захватить, выслать или, в случае необходимости, арестовать гг. коммунальных чиновников, точно так же, как и всех крупных реакционных собственников – и господ попов вместе с ними, – ни по какой иной причине, *как за их тайное соглашательство с пруссаками*. Легальный муниципалитет должен быть замещен революционным комитетом, образованным из небольшого числа наиболее энергичных и наиболее искренне преданных революции крестьян.

Но прежде чем создать этот комитет, нужно произвести действительный переворот в настроениях если не всех крестьян, то по меньшей мере значительного большинства крестьян. Нужно, чтобы это большинство воодушевилось идеей революции. Как произвести это чудо? На основе выгоды. Говорят, что французский крестьянин корыстолюбив. Ну что же. Нужно, чтобы самое его корыстолюбие заинтересовалось в революции. Нужно ему предложить и немедленно дать крупные материальные преимущества.

* * *

Пусть не кричат о безнравственности подобной системы. По нынешним временам и при наличии примеров, даваемых нам всеми милостивыми властителями, держащими в руках судьбы Европы, – их правителями, генералами, их министрами, их высшими и низшими чиновниками. И всеми привилегированными классами, духовенством, дворянством, буржуазией, право же, было бы некрасиво возмущаться этой системой. Это было бы напрасным лицемерием. В настоящее время выгода управляет всем, объясняет все. И так как материальные инте-

ресы и корыстолюбие крестьян губят ныне Францию, почему бы не спасти ее выгодами же и корыстолюбием крестьян? Тем более что они уже спасли ее однажды, а именно в 1792 году.

Послушайте, что говорит по этому поводу великий историк Франции Мишлэ, которого никто, конечно, не обвинит в безнравственном материализме:[99]

«Никогда не было такой октябрьской пахоты, как в 91 году, когда пахарь, серьезно наученный Варенном и Пильнитцем[100], впервые обдумал опасности, угрожавшие ему, и все завоевания революции, которые хотели отнять у него. Его работа, одушевленная воинственным негодованием, была уже сражением в его воображении. Он пахал, как солдат, шел за сохой военным шагом и, стегая свой скот более суровыми ударами хворостины, кричал то: „Ну, Пруссия!“, то „Ну, пошла, Австрия!“. Бык шагал, словно лошадь, лезвие жадно и быстро врезалось в землю, черная борозда дымилась, наполненная дыханием жизни.

Дело в том, что этот человек не мог терпеливо перенести, что его *недавним приобретениям* грозит опасность, едва проснулось в нем его человеческое достоинство. *Свободный, попирая свободное поле, он чувствовал, шагая, под собою землю, свободную от податей, от десятины, землю, которая уже принадлежит или будет завтра принадлежать ему… Долой господ!* Каждый господин себе. Все короли. Каждый на своей земле. Старая поговорка сбывается. *Бедняк – король в своем доме.*

В своем доме и вне его. Разве вся Франция теперь не его дом?»

И дальше, говоря о впечатлении, произведенном на крестьян вторжением герцога Брауншвейгского:

«Вступив в Вердэн, герцог Брауншвейгский почувствовал себя там так хорошо, что пробыл целую неделю. Уже там эмигранты, окружавшие прусского короля, начали напоминать ему о данных им обещаниях. Этот принц сказал при отъезде следующие странные слова (Гарденберг слышал их): „он не будет вмешиваться в управление Францией, он лишь вернет королю абсолютную власть“. Вернуть королю королевство, церкви священникам, *имения помещикам* – в этом заключалось все его честолюбие. Чего требовал он от Франции за все эти благодеяния? Никакой территориальной уступки, ничего, кроме оплаты издержек, связанных с войной, предпринятой ради ее спасения.

Эта маленькая фраза: „*возвратить имения*“ – заключала в себе многое. Крупным помещиком было духовенство. Ему следовало вернуть *имений на четыре миллиарда, признать недействительными запродажные сделки*, уже к январю 1792 г. произведенные *на один миллиард*, а за истекшие с тех пор десять месяцев бесконечно возросшие. Что сталось бы с бесчисленным множеством контрактов, прямо или косвенно связанных с этими операциями? Ведь пострадали бы не только интересы приобретателей, но и интересы тех, кто ссужал их деньгами, и тех, кто купил у них земли, целого множества третьих лиц… целого народа, *действительно связанного с Революцией* **почтенными выгодами**. *Революция снова призвала к настоящему назначению – служить для поддержки бедняков, – эти имения*, в течение многих уже веков служившие совсем иным целям, нежели те, ради которых их завещали благочестивые жертвователи. *Они перешли от мертвой руки в живые руки,* **от лентяев к труженикам**, *от развратных аббатов, от пузатых настоятелей, от чванных епископов к честному землепашцу. Новая Франция возникла за этот короткий промежуток времени*. А эти невежды (эмигранты), ведшие иностранца, и не подозревали этого…

При этих многозначительных словах о восстановлении священников, о возвращении имений и т. д. крестьянин насторожился и понял, что во Францию вступает контрреволюция, что должно произойти громадное изменение *порядка вещей* и людей. Не у всех были ружья, но те, у кого они были, взяли их; и у кого были вилы, взял вилы, а у кого коса, – косу. Необычай-

[99] История французской революции Мишлэ, т. III.

[100] В Варенне был узнан и задержан убегавший Людовик XVI, в Пильнитце он был заключен.

ные вещи стали твориться на французской земле. Она казалась пустыней. Хлеб исчез, словно ураган унес его, и перевезен был на запад. На пути врага остались лишь зеленый виноград, болезнь и смерть».

Несколько дальше Мишлэ рисует такую картину крестьянского восстания во Франции:

«Население рвалось к бою с таким увлечением, что власти начали пугаться и удерживали его. Беспорядочные массы, почти безоружные, устремлялись к одному и тому же пункту; не знали, как их разместить, чем накормить. На востоке, особенно в Лотарингии, холмы и все господствующие возвышенности, сделались грубо укрепленными при помощи срубленных деревьев лагерями, наподобие наших древних лагерей времен Цезаря. Верцингеторикс подумал бы, видя все это, что он находится в сердце Галлии. Немцам пришлось сильно призадуматься, когда они проходили, оставляя позади себя эти народные лагеря. Каково-то будет их возвращение? Во что превратилось бы отступление сквозь эти враждебные массы, которые со всех сторон, словно вешние воды, во время великого таяния снега, низвергнутся на них?.. Они должны были понять: им приходилось иметь дело не с армией, но с целой Францией».

* * *

Увы, не противоположное ли этому мы видим теперь? Почему же та же самая Франция, которая в 1792 г. поднялась целиком, чтобы помешать чужеземному нашествию, почему не встает она теперь, когда ей угрожает гораздо большая опасность, чем в 1792 г.? Ах, это потому, что в 1792 г. она была наэлектризована революцией, а ныне парализована реакцией, покровительствуемой и воплощаемой своим правительством так называемой Национальной Обороны.

Почему крестьяне массами поднялись против пруссаков в 1792 г. и почему ныне они остаются не только инертными, но скорее даже более благожелательными к тем же самым пруссакам, чем к той же самой республике? Ах, это потому, что для них республика уже больше не та, что была раньше. Республика, основанная Национальным Конвентом 22 сентября 1792 г., была республикой в высшей степени народной и революционной. Она предоставляла народу огромные, или, как говорит Мишлэ, *почтенные*, выгоды. Путем сперва массовой конфискации церковных имений, а затем конфискации имений эмигрировавшего, или взбунтовавшегося, или заподозренного и обезглавленного дворянства она дала ему землю, и, чтобы сделать невозможным возвращение этой земли ее прежним владельцам, народ поднялся массами. Между тем как нынешняя республика, отнюдь не народная, но, напротив того, полная враждебности и недоверия к народу, республика адвокатов, несносных доктринеров и даже буржуазная, не дает ему ничего, кроме фраз, увеличения налогов и риска, без малейшего материального за то вознаграждения.

Крестьянин тоже не верит в эту республику, но по другим соображениям, чем буржуа. Он не верит в нее именно потому, что находит ее слишком буржуазною, слишком благоприятною интересам буржуазии, а в глубине своего сердца он питает тайную ненависть против буржуа. И хотя эта ненависть проявляется в иных формах, нежели ненависть городских рабочих против этого класса, ставшего ныне столь малопочтенным, она от этого не менее сильна.

Никогда не следует забывать, что крестьяне, бесконечное большинство крестьян по меньшей мере, хотя и сделались собственниками во Франции, *тем не менее живут трудом рук своих*. Вот что существенно отличает их от буржуазного класса, бóльшая часть коего живет *выгодной эксплуатацией труда народных масс*. И это, с другой стороны, объединяет крестьян с рабочими городов, несмотря на различие их положений – к невыгоде рабочих, – на различие идей и, к сожалению, слишком часто вытекающих отсюда принципиальных недоразумений.

Что особенно отдаляет крестьян от городских рабочих – это некоторый умственный *аристократизм*, очень плохо, впрочем, обоснованный, который рабочие часто выставляют напоказ перед ними. Конечно, рабочие более начитанны, их ум, их знания, их идеи лучше развиты.

Во имя этого-то маленького научного превосходства им случается порою свысока обращаться с крестьянами, выказывать им свое пренебрежение. И, как я уже заметил в другом произведении[101], рабочие весьма не правы, ибо по этим же самым соображениям и с гораздо бóльшим основанием буржуа, которые гораздо ученее и развитее рабочих, имели бы еще больше права презирать этих по – следних. И, как известно, они не упускают случая подчеркнуть свое превосходство.

* * *

Позвольте мне, дорогой друг, повторить здесь несколько страниц из моей только что упомянутой работы. «Крестьяне, – сказал я в этой брошюре, – рассматривают городских рабочих, как *дольщиков*, и боятся, как бы социалисты не явились конфисковать их земли, которые они любят больше всего в мире.

– Что же должны сделать рабочие, чтобы победить это недоверие и эту враждебность к ним крестьян? Прежде всего, перестать выражать им свое презрение, перестать презирать их. Это необходимо для спасения революции, ибо ненависть крестьян представляет из себя громадную опасность. Если бы не было этого недоверия и ненависти, революция давно уже была бы совершена, ибо враждебность, которая, к сожалению, существует в деревнях против городов, является не только во Франции, но во всех странах основой и главной силой реакции. Итак, в интересах революции, которая должна освободить их, рабочие должны перестать возможно скорее выказывать это презрение к крестьянам. Они должны сделать это по справедливости, ибо, право же, у них нет никакого основания презирать и ненавидеть крестьян. *Крестьяне не тунеядцы, они суровые труженики, как и сами рабочие*, только они трудятся в различных условиях. Вот и все. *Перед лицом буржуа-эксплуататора рабочий должен чувствовать себя братом крестьянина*.

Крестьяне пойдут вместе с городскими рабочими на спасение отечества, как только они убедятся, что *городские рабочие не собираются навязать им свою волю, ни какой бы то ни было политический и социальный порядок, изобретенный городами для вящего благополучия деревень, как только они получат уверенность, что рабочие отнюдь не имеют намерения отобрать у них их землю.*

Ну, так самое необходимое теперь, чтобы рабочие действительно отказались от этой претензии и от этого намерения и отказались так, чтобы крестьяне узнали и действительно убедились в этом. Рабочие должны от этого отказаться, ибо даже если бы подобные притязания были осуществимы, они были бы в высшей степени *несправедливы и реакционны*; и теперь, когда их осуществление сделалось абсолютно невозможным, они представляют собой лишь преступное безумие.

По какому праву рабочие навязали бы крестьянам какую бы то ни было форму правительства или организации? По праву революции, говорят. Но революция перестает быть революцией, когда вместо того, чтобы вызывать свободные проявления масс, она возбуждает реакцию в их недрах. Средство и условие, если не сказать, главная цель революции – это уничтожение принципа власти во всех его возможных проявлениях, это полное уничтожение политического и юридического Государства, потому что Государство, младший брат Церкви, как это прекрасно доказал Прудон, есть историческое освящение всех деспотизмов и всех привилегий, политическое основание всех экономических и социальных порабощений, самая сущность и центр всякой реакции. Когда во имя революции хотят создать Государство, будь это даже лишь временное государство, творят реакцию и работают для деспотизма, а не для свободы, для учреждения привилегий и против равенства.

[101] Письма к Французу о современном кризисе. Сентябрь.

Это ясно как день. Но социалистические рабочие Франции, воспитанные на политических традициях якобинцев, никогда не хотели этого понять. Теперь они вынуждены будут понять это, к счастью для революции и их собственного. Откуда явилось у них это столь же смешное, как и наглое, столь же несправедливое, как пагубное, притязание навязать свой политический и социальный идеал десяти миллионам крестьян, не желающим его? Очевидно, это буржуазное наследие, политический завет буржуазного революционаризма. Каково же обоснование, объяснение, какова теория этого притязания? Мнимое или действительное превосходство интеллигентности, образования – словом, цивилизации рабочей над цивилизацией деревенской. Но знаете ли вы, что с таким принципом можно узаконить любое завоевание, освятить любое угнетение? Буржуазия никогда и не пользуется другим принципом для доказательства своей миссии *править*, или, что то же самое, эксплуатировать рабочий мир. Переходя от нации к нации, точно так же как и от одного класса к другому, этот роковой принцип, представляющий собой не что иное, как принцип власти, объясняет и оправдывает все нашествия, все завоевания. Разве не им же пользовались немцы, чтобы оправдать все свои покушения против свободы и против независимости славянских народов и чтобы узаконить насильственное и жестокое онемечивание.

Это, говорят они, победа цивилизации над варварством. Берегитесь! Немцы начинают замечать также, что протестантская, германская цивилизация гораздо выше цивилизации католической, представленной главным образом народами латинской расы, и в частности цивилизации французской. Берегитесь, чтобы они не вообразили в скором времени, что их миссия – цивилизовать вас и сделать вас счастливыми, совершенно так же, как вы воображаете, что ваша миссия цивилизовать и освобождать ваших же земляков, ваших братьев, крестьян Франции. По-моему, и то и другое притязание одинаково постыдны, и я объявляю вам, что как в международных отношениях, так и в отношениях одного класса к другому я всегда буду на стороне тех, кого захотят цивилизовать подобным способом. Я восстану вместе с ними против всех этих наглых цивилизаторов, как бы они ни назывались – рабочими или немцами, и, восстав против них, я послужу революции против реакции.

Но в таком случае, скажут мне, нужно, по-вашему, предоставить невежественных и суеверных крестьян всяким влияниям и всем интригам реакции? Отнюдь нет. Следует раздавить реакцию и в деревнях, и в городах; но нужно для этого поразить ее на деле, а не вести с ней войну при помощи декретов. Я уже сказал, что ничего нельзя искоренить декретами. Напротив, декреты и всяческие акты власти укрепляют то, что они хотели бы разрушить.

Вместо того, чтобы хотеть отобрать у крестьян земли, которыми они сейчас владеют, предоставьте им следовать их естественному инстинкту. Знаете ли, что тогда произойдет? Крестьянин хочет, чтобы *вся земля* принадлежала ему. Он считает чужаками и узурпаторами знатного вельможу и богатого буржуа, чьи обширные владения, возделанные наемными руками, уменьшают его поля. Революция 1789 г. дала крестьянам церковные земли; *они захотят воспользоваться другой революцией, чтобы овладеть землями дворянства и буржуазии.*

Но если бы это случилось, если бы крестьяне наложили свою руку на всякую частицу земли, еще не принадлежащей им, не укрепился ли бы от этого досадным образом принцип индивидуальной собственности и не оказались ли бы крестьяне более чем когда-либо враждебными социалистическим рабочим городов?

Совсем нет, ибо, раз *Государство уничтожено, юридическое и политическое освящение, гарантия собственности Государством будет отсутствовать. Собственность не будет уже правом, она будет низведена до простого факта.*

Тогда настанет гражданская война, скажете вы. Раз частная собственность не будет более гарантирована никакой высшей политической властью, но лишь защищаема усилиями владельца, каждый захочет овладеть имуществом другого и более сильные ограбят слабых.

Конечно, вначале не все пойдет совершенно мирным путем, ведь это борьба. *Общественный порядок*, эта высшая святыня буржуа, будет нарушен, и первые явления, вытекающие из подобного положения вещей, могут представить из себя то, что принято называть гражданской войной. Но предпочтете ли вы вместо того отдать Францию пруссакам?

Впрочем, не бойтесь, что крестьяне пожрут друг друга. Если бы они даже и захотели сделать это вначале, они не замедлили бы убедиться в материальной невозможности упорствовать на этом пути, и тогда можно быть уверенным, что они постараются согласиться между собою, договориться и сорганизоваться. Потребность питаться и питать свою семью и, следовательно, необходимость продолжать полевые работы, необходимость охранять свои дома, свои семьи и самую жизнь их от непредвиденных нападений – все это, несомненно, вынудит их скоро вступить на путь взаимных сделок.

И не думайте также, что в этих сделках, *происходящих помимо какой бы то ни было официальной опеки* единственно силою вещей, более сильные, более богатые будут оказывать преобладающее влияние. Богатство богатых, не гарантированное более юридическими установлениями, перестанет быть могуществом. Богатые так влиятельны ныне лишь потому, что в силу заигрываний перед ними государственных чиновников они специально покровительствуемы государством. Как только они не смогут больше опираться на государство, их могущество сразу изчезнет. Что же касается более упорных, более сильных, они будут сведены на нет коллективной мощью бедных и беднейших крестьян, равно как и сельских батраков, всей этой массы, ныне обреченной на немые страдания и которую революционное движение вооружит непреодолимой мощью.

Заметьте себе хорошенько: я не утверждаю, что деревни, которые переорганизуются таким образом снизу вверх, создадут с первого же раза идеальную организацию, во всех пунктах согласную с нашими мечтами. Но в чем я убежден, так это в том, что это будет организация *жизненная* и как таковая в тысячу раз высшая сравнительно с ныне существующей. Впрочем, эта новая организация, оставаясь всегда открытой для пропаганды городов и не могущая более быть закрепленной и, так сказать, окаменелой вследствие юридической санкции государства, будет свободно прогрессировать, развиваясь и совершенствуясь не по намеченному плану, но всегда свободно и жизненно, никогда не декретированная и не легализированная, пока не достигнет такой степени целесообразности, какой можно надеяться в наши дни.

Так как жизнь и самопроизвольная деятельность, прекращенные на протяжении веков всепоглощающей деятельностью государства, будут вновь предоставлены коммунам, естественно, что каждая коммуна за отправной пункт своего нового развития возьмет не то умственное и нравственное состояние, какое предполагает за нею официальная фикция, но действительный уровень своей цивилизации; и так как степень действительной цивилизации весьма различна у коммун Франции, равно как и у Европы вообще, отсюда неизбежно будет вытекать большое различие в развитии; но взаимное соглашение, гармония, равновесие, установленные с общего согласия, заменят искусственное и насильственное единство государств. Будет новая жизнь и новый мир.

Вы скажете мне: „Но эти революционные волнения, эта внутренняя борьба, которая, естественно, должна родиться из разрушения политических и юридических установлений, – не парализуют ли они национальной обороны и вместо того, чтобы способствовать отражению пруссаков, не облегчат ли, напротив, завоевание Франции?“

Отнюдь нет. История доказывает нам, что никогда нации не выказывали себя столь могущественными вовне, как когда внутри они чувствовали себя глубоко потрясенными и взволнованными, и что, наоборот, они никогда не были столь слабыми, как когда они казались объединенными и спокойными под эгидой какой-либо власти. По существу, нет ничего естественнее: борьба – это деятельная мысль, это жизнь, и эта активная, и жизненная мысль – сила. Чтобы убедиться в этом, сравните несколько эпох вашей собственной истории. Взгляните на Фран-

цию, какой она была в дни молодости Людовика XIV, пережившую Фронду, развившуюся, окрепшую благодаря борьбе, и Францию времен его старости, монархию, прочно установленную, объединенную, умиротворенную *великим королем*: первая – вся блиставшая победами и вторая – идущая от поражения к поражению и к разрушению. Сравните также Францию 1792 г. с современной Францией. Если когда-либо Франция была раздираема гражданской войной, так это именно в 1792—1793 гг.: движение, борьба – борьба не на жизнь, а на смерть – происходила во всех пунктах республики, и, однако, Франция победоносно отразила нашествие Европы, почти целиком объединившейся против нее. В 1870 г. объединенная и умиротворенная Франция Империи побита немецкими армиями и выказывает себя до такой степени деморализованной, что приходится дрожать за ее существование».

* * *

Здесь является вопрос: революция 1792 и 1793 гг. могла дать крестьянам, правда, не даром, но по очень низким ценам, национальные имения, т. е. земли церкви и эмигрировавшего дворянства, конфискованные государством. Теперь же, возразят мне, им больше нечего дать. О, найдется! Разве церковь, религиозные ордена обоего пола благодаря преступному сообщничеству легитимистской монархии и особенно второй империи не сделались снова очень богатыми?

Правда, наибольшая часть их богатств была весьма предусмотрительно мобилизована в предвидении возможных революций. Церковь, которая наряду со своими небесными заботами не пренебрегала никогда своими материальными интересами и всегда отличалась остроумностью своих экономических спекуляций, поместила, конечно, большую часть своих земных благ, которые она непрерывно приумножала изо дня в день для вящего блага бедных и несчастных, во всякого рода торговые, промышленные и банковские предприятия, как частные, так и общественные, и в ренты всех стран. Так что нужно по меньшей мере всемирное банкротство, которое явится неизбежным следствием всемирной социальной революции, чтобы лишить ее этих богатств, составляющих ныне главное орудие ее могущества – увы! – еще слишком чудовищного, но остается не менее верным и то, что она обладает в настоящее время, особенно на юге Франции, огромным имуществом, в земле и постройках, равно как в церковных украшениях и утвари, – настоящих сокровищах из золота и серебра, украшенных драгоценными камнями. Ну, так вот все это может и должно быть конфисковано – не в пользу государства, но коммунами.

* * *

Имеются затем имения тысяч собственников-бонапартистов, которые в течение двадцати лет императорского режима отличились своим рвением и которые были всячески покровительствуемы империей. Конфисковать эти имения было не только правом, но было и остается долгом, ибо бонапартистская партия – совсем не обыкновенная историческая партия, вышедшая органически правильным путем из постепенного религиозного, политического и экономического развития страны, покоящаяся на каком-либо правильном или ложном национальном принципе. Это – просто банда разбойников, убийц, воров, которая, опираясь, с одной стороны, *на реакционную подлость трепещущей перед красным призраком буржуазии, которая сама еще красна от крови рабочих Парижа, пролитой ее руками,* с другой стороны, на благословения священников и на преступное честолюбие высшего офицерства, ночью овладела Францией: «Дюжина светских Robert-Macaire'ов из высшего света, объединенных пороком и общей нуждой, разоренных, потерявших репутацию и обремененных долгами, ввиду восстановления своего положения и состояния не отступили перед одним из самых отвратительных покушений,

известных в истории». Вот в немногих словах вся правда о декабрьском перевороте. Разбойники восторжествовали. Они безраздельно царствуют в течение восемнадцати лет над прекраснейшей страной Европы, которую Европа считает вполне основательно центром цивилизованного мира. *Они создали официальную Францию по своему образцу и подобию*. Они сохранили почти нетронутой видимость учреждений и вещей, но перевернули основу их, низведя их до своего собственного умственного и нравственного уровня. Все прежние слова остались. По-прежнему говорят о свободе, справедливости, достоинстве, праве цивилизации и человечности, но смысл этих слов совершенно изменился в их устах, каждое слово означает в действительности совершенно противоположное тому, что оно должно бы выражать; это похоже на разбойничью шайку, которая по какой-то кровавой иронии употребляет самые благородные выражения при обсуждении самых отвратительных измерений и поступков. Не таковы ли еще и ныне отличительные черты императорской Франции?

«Есть ли что-нибудь более отвратительное, более подлое, чем, например, императорский Сенат, составленный, по выражению Конституции, *из всех знаменитостей страны*? Не является ли он, заведомо для всех, богадельней для всех соучастников преступления, для всех гнусных декабристов? Есть ли что-либо более бесчестное, чем правосудие империи, чем все эти трибуналы и чиновники, не знающие другого долга, как поддерживать при всякой оказии и во что бы то ни стало бесчестность продажных тварей империи». [102]

Вот что в марте месяце, в то время, как империя еще процветала, писал один из моих самых близких друзей[103]. То, что говорил он о сенаторах и о судьях, было одинаково приложимо ко всему официальному и официозному миру, к военным и статским чиновникам, коммунальным и департаментальным – ко всем преданным избирателям, равно как и ко всем бонапартистским депутатам. Банда разбойников, сперва не слишком многочисленная, но все увеличивающаяся год от года, привлекая в свои недра выгодами все извращенные и прогнившие элементы, затем удерживая их у себя солидарностью в бесчестье и преступлении, кончила тем, что покрыла собою всю Францию, охватив ее своими звеньями, как огромная гадина.

Вот что называется бонапартистской партией. Если когда-либо существовала во Франции преступная и роковая партия – это была именно она. Она не только насиловала ее свободу, испортила ее характер, развратила ее совесть, оподлила ее ум, обесчестила ее имя; она разрушила безудержным грабежом, длившимся подряд восемнадцать лет, ее состояние, ее силы и затем выдала ее, дезорганизованную, на завоевание пруссаков. И даже теперь, когда она должна бы терзаться угрызениями совести, умирать от стыда, чувствовать себя раздавленной грузом своей подлости, униженной всеобщим презрением, она снова, после нескольких дней наружного бездействия и молчания, поднимает голову, она снова осмеливается говорить и открыто устраивать заговор против Франции в пользу бесчестного Бонапарта, отныне союзника пруссаков, покровительствуемого ими.

Это непродолжительное молчание и бездействие было вызвано не раскаянием, но единственно жестоким страхом, который причинил ей первый взрыв народного возмущения. В первые дни сентября бонапартисты поверили в революцию, и, зная слишком хорошо, что нет такого нападения, которого они не заслуживали бы, они бежали и попрятались, как трусы, дрожа перед справедливым народным гневом. Они знали, что революция не любит фраз и, что раз она пробудилась и действует, она не остановится на полдороге. Бонапартисты думали, следовательно, что они политически уничтожены, и в течение первых дней, последовавших за провозглашением республики, они только и мечтали о том, чтобы спрятать в надежном месте свои приобретенные кражей богатства и свои драгоценные особы.

---

[102] *Бернские Медведи и Медведь С. – Петербургский,* патриотическая жалоба отчаявшегося и униженного швейцарца. Невшатель 1870.

[103] Сам Бакунин. – *Дж. Г.*

Они были приятно поражены, видя, что могли еще сделать и то и другое без малейшего затруднения и без малейшей опасности. Как и в феврале и марте 1848 г., буржуазные доктринеры и адвокаты, находящиеся во главе нового временного правительства республики, вместо того чтобы принять меры к спасению, изрекали фразы. Невежественные относительно революционной практики и истинного положения Франции, как и их предшественники, испытывая, как и они, ужас перед революцией, гг. Гамбетта и К*о* хотели поразить мир рыцарским великодушием, оказавшимся не только неуместным, но и преступным. Оно было настоящей изменой Франции, ибо вручило доверие и оружие ее наиболее опасному врагу – шайке бонапартистов.

Воодушевленное этим тщеславным желанием, этой фразой, правительство Национальной Обороны приняло поэтому все необходимые меры, – и на этот раз даже самые энергичные, – чтобы господа бонапартистские разбойники, грабители и воры могли спокойно покинуть Париж и Францию, увозя с собой все свое движимое состояние и оставляя под совершенно особым покровительством свои дома и свои земли, которые они не могли захватить с собой. Оно довело даже свою удивительную заботливость к этой банде убийц Франции до того, что рисковало всей своей популярностью, защищая их от слишком законного народного возмущения и недоверия. А именно, во многих провинциальных городах народ, который ничего не понимает относительно этого смешного, столь плохо направленного великодушия и который, когда поднимается для действия, идет всегда прямо к своей цели, арестовал нескольких высших чиновников империи, особенно отличившихся бесчестностью и жестокостью своих поступков, как официальных, так и частных. Как только правительство Национальной Обороны и особенно г. Гамбетта, министр внутренних дел, узнали об этом, как, ссылаясь на диктаторские полномочия, которые, по его мнению, были вручены ему народом Парижа, но которыми по странному противоречию он счел своим долгом пользовать-ся лишь против народа, но не в своих дипломатических сношениях с вторгающимся иностранцем, он поспешил приказать самым высокомерным и самым решительным образом немедленно выпустить на свободу всех этих негодяев.

Вы помните, конечно, дорогой друг, сцены, происходившие в Лионе во второй половине сентября, вследствие освобождения бывшего префекта, генерального прокурора и городовых империи.

Эта мера, предписанная самим г. Гамбетта, и с рвением и радостью приведенная в исполнение г. Андрие, прокурором республики, при помощи муниципального Совета тем сильнее возмутила народ Лиона, что в то же самое время в крепости этого города сидело много заключенных солдат, закованных в кандалы, единственным преступлением коих было громкое выражение своих симпатий к республике. И их освобождения народ тщетно добивался в течение многих дней.

Я еще вернусь к этому инциденту, бывшему первым проявлением раскола, который неизбежно должен был произойти между народом Лиона и республиканскими властями, как муниципальными, выборными, так и назначенными правительством Национальной Обороны. Я ограничусь теперь, дорогой друг, указанием на более чем странное противоречие, существующее между чрезвычайной, непомерной, скажу даже, непростительной терпимостью этого правительства по отношению к людям, разорившим, обесчестившим, продавшим и продолжающим еще и ныне продавать страну, и драконовской строгостью, проявляемой им по отношению к республиканцам, которые были гораздо более республиканцами и революционерами, чем оно само. Можно подумать, что диктаторская власть была дана ему не революцией, но реакцией, чтобы свирепствовать против революции, и что лишь ради продолжения маскарада империи оно называет себя республиканским правительством.

Можно подумать, что оно освободило и выпустило из тюрем самых ревностных и наиболее скомпрометированных слуг Наполеона III лишь для того, чтобы очистить место для республиканцев. Вы были свидетелем, а отчасти также и жертвой той готовности и той грубости, с какими они их преследовали, изгоняли, арестовывали и заключали в тюрьмы. Они не удо-

вольствовались этими *легальными и официальными* преследованиями, они прибегли к самой бесчестной клевете. Они осмелились заявить, что эти люди, которые среди официальной лжи, уцелевшей от империи и продолжающей разрушать последние надежды Франции, отважились сказать народу правду, всю правду, что эти люди были подкупленные пруссаками агенты.

Они освобождали бонапартистов, этих заведомых, уличенных «французских пруссаков» – ибо кто может теперь усомниться в явном союзе Бисмарка со сторонниками Наполеона III? Они сами устраивают делишки наступающего врага; во имя не знаю какой смешной легальности и правительственного курса, существующего лишь на бумаге да в их фразах, они повсюду парализуют народное движение, самопроизвольное восстание, вооружение и организацию коммун, которые одни только и могут спасти Францию в тех ужасных обстоятельствах, в каких находится страна. И тем самым они, «национальные оборонцы», сами неизбежно выдают Францию пруссакам. И, не довольствуясь арестом людей, явных революционеров, коих единственное преступление заключается в том, что они осмеливаются выяснить их неспособность, беспомощность и недобросовестность и указывают единственное средство спасения для Франции, они позволяют еще себе бросать им в лицо это гнусное прозвище пруссаков!

О, как был прав Прудон, говоря (позвольте мне привести целый отрывок, который слишком прекрасен и слишком справедлив, чтобы можно было выкинуть из него хоть слово): «Увы, именно свои и оказываются всегда предателями! В 1848 г., как в 1793-м, ограничивали революцию сами представители ее. Наша республика, как и старый якобинизм, все так же не что иное, как *дурное настроение буржуазии*, без принципа и без плана, *которая хочет и не хочет*; которая вечно ворчит, подозревает и тем не менее остается в дураках; *которая повсюду за пределами своей шайки только и видит, что крамольников и анархистов*, которая, роясь в архивах полиции, только и умеет открыть там действительные или предполагаемые слабости патриотов; которая запрещает культ Шателя и заставляет парижского архиепископа служить обедни; *которая на все вопросы избегает называть вещи своими именами из страха скомпрометировать себя, воздерживается во всем, никогда ни на что не решается, подозрительно относится к ясным доводам и определенным позициям*. Не тот же ли это все Робеспьер, *говорун без инициативы*, считающий Дантона слишком деятельным, порицающий великодушное дерзание, на которое чувствует сам себя неспособным; воздерживающийся 10 августа (подобно Гамбетта и К*о* до 4 сентября), не одобряющий и не порицающий сентябрьскую резню (как эти самые граждане – объявление республики народом Парижа); вотирующий Конституцию 1793 г. и отсрочку ее применения до заключения мира; громящий праздник *Разума* и устраивающий праздник *Высшего Существа*; преследующий Каррье и поддерживающий Фукье-Тэнвиля; дающий поцелуй мира Камиллу Дэмулэну утром, а ночью дающий приказ арестовать его; предлагающий отмену смертной казни и редактирующий закон 22 прэриаля; превозносящий по очереди аббата Сийэса, Мирабо, Барнава, Петиона, Дантона, Марата, Эбера и затем посылающий на гильотину и ссылающий одного за другим: Эбера, Дантона, Петиона, Барнава, первого – как анархиста, второго – как снисходительного, третьего – как федералиста, четвертого – как конституционалиста; *не уважающий никого, кроме правящей буржуазии* и строптивого духовенства; *дискредитирующий революцию* то по поводу церковной присяги, то путем ассигнаций; щадящий лишь тех, кто находил прибежище в молчании или самоубийстве, и умирающий, наконец, в тот день, когда, оставшись почти один с людьми золотой середины, он пытается в сообществе с ними опутать в свою пользу Революцию цепями».[104]

О да, что отличает всех этих буржуазных республиканцев, истинных учеников Робеспьера, – это их любовь к государственной власти во что бы то ни стало и ненависть к революции.

Эта ненависть и эта любовь у них общая с монархистами всех оттенков, вплоть до бонапартистов, и это торжество чувств, это инстинктивное и тайное сочувствие, оно-то их и делает

[104] Прудон. Общие идеи Революции. – *Прим. Бакунина.*

столь терпимыми и столь удивительно великодушными к самым преступным слугам Наполеона III.

Они признают, что среди государственных людей Империи имеются действительно крупные преступники и что все они причинили Франции огромное, едва поправимое зло. Но, в конце концов, это были государственные люди: комиссары полиции – эти патентованные и украшенные орденами шпионы, доносившие постоянно для навлечения императорских преследований на все, что оставалось честного во Франции. Даже городовые, эти привилегированные избиватели публики, разве они не были, в конце концов, слугами государства? А государственные люди должны же относиться с почтением друг к другу, ибо официальные и буржуазные республиканцы прежде всего – государственные люди, и были бы очень сердиты на того, кто позволил бы себе усомниться в этом. Прочтите все их речи, особенно речи г. Гамбетта. Вы найдете в каждом слове эту постоянную заботу о государстве, эту смешную и наивную претензию выставлять себя государственным человеком.

Никогда не следует упускать это из вида, ибо этим все объясняется: и их снисходительность к разбойникам Империи, и их строгости против республиканцев-революционеров. Государственный человек, будь он монархист или республиканец, не может не испытывать ужаса перед революцией и революционерами, ибо революция – это ниспровержение государства, революционеры же – разрушители буржуазного строя, общественного порядка.

Не думаете ли вы, что я преувеличиваю? Я докажу это фактами.

Те буржуазные республиканцы, которые в феврале и в марте 1848 г. аплодировали великодушию временного правительства, которое покровительствовало бегству Луи Филиппа и всех министров и которое, уничтожив смертную казнь за политические преступления, приняло великодушное решение не преследовать никакого общественного чиновника за проступки, совершенные при предыдущем режиме, – эти самые буржуазные республиканцы, включая сюда, разумеется, г. Жюля Фавра, одного из наиболее фанатических, как известно, представителей буржуазной реакции в 1848 г. в Учредительном Собрании и в 1849 г. в Законодательном Собрании, а ныне члена правительства Национальной Обороны и представителя республиканской Франции для заграницы, – эти самые буржуазные республиканцы что говорили, что декретировали и делали они в июле? Употребляли ли они ту же снисходительность по отношению к рабочим массами, которых голод толкает на восстание?

Г. Луи Блан, тоже государственный человек, но социалистический государственный человек, ответит вам:[105]

Пятнадцать тысяч граждан были арестованы после июньских событий, и четыре тысячи триста сорок восемь сосланы без суда *в целях общей безопасности*. В течение двух лет они требовали суда; к ним послали комиссию *помилования*, и их освобождение было так же произвольно, как их аресты. Кто бы поверил, что найдется человек, который в девятнадцатом веке осмелится произнести перед Собранием следующие слова: «Было бы невозможно судить сосланных на Белль-Иль, против многих из них не существует материальных улик». И так как по утверждению этого человека, который был не кто иной, как Барош (Барош Империи и в 1848 г. соучастник Жюля Фавра и многих других республиканцев в преступлении, совершенном в июне против рабочих), *не существовало материальных улик*, которые заранее дали бы уверенность, что суд закончится осуждением, без суда присудили четыреста шестьдесят восемь человек, заключенных на понтонах, к ссылке в Алжир. Среди них фигурировал Лагард, председатель люксембургских делегатов. Он прислал из Бреста рабочим Парижа следующее прекрасное и трогательное письмо:

«Братья, тот, кто вследствие февральских событий 1848 г. был призван к завидной чести идти во главе вас, тот, кто в течение девятнадцати месяцев мог переносить вдали от своей

[105] Луи Блан, История Революции 1848 г., т. II. – *Прим. Бакунина.*

многочисленной семьи муки самого чудовищного пленения, тот, наконец, кто только что *без суда* приговорен к десяти годам каторжных работ в чужой земле в силу применения *обратной силы закона, придуманного, голосованного и обнародованного под влиянием ненависти и страха* (буржуазными республиканцами), не захотел покинуть почву родины, не узнав мотивов, по которым смелый министр осмелился взгромоздить самое ужасное изгнание.

Вследствие этого он обратился к коменданту понтона „La Guerriere“, который дал ему следующую справку, *дословно* извлеченную из заметок, приложенных к его делу:

„*Лагард, делегат Люксембурга,* человек *неоспоримой честности*, человек *очень мирный*, образованный, всеми любимый и вследствие этого *очень опасный* для пропаганды“.

Я представляю оценке моих сограждан только один этот факт, убежденный, что их совесть сумеет прекрасно рассудить, кто больше заслуживает их сочувствия – палачи или жертвы.

Что же касается вас, братья, позвольте мне сказать вам: я уезжаю, но я не побежден, знайте это! Я уезжаю, но я не прощаюсь с вами.

Нет, братья, я не прощаюсь с вами. Я верю в здравый смысл народа; я верю в святость дела, которому я посвятил все мои умственные способности; я верю в Республику, ибо она, как самый мир, не может погибнуть. Вот почему я говорю вам: до свиданья, и особенно: *единение и благоразумие*.

Да здравствует Республика!

На рейде Бреста, понтон „La Guerriére“.

Лагард,

бывший председатель люксембургских делегатов».

Есть ли что красноречивее этих фактов! И не тысячу ли раз были правы, говоря и повторяя, что буржуазная реакция июня – жестокая, кровавая, ужасная, циничная, бесстыдная – была истинной матерью декабрьского переворота! Принцип был один и тот же, императорская жестокость была только подражанием жестокости буржуазной и лишь превосходила ее количеством жертв, сосланных и убитых. Что касается числа убитых, это даже еще и недостоверно, ибо июньская резня, массовые расстрелы безоружных рабочих буржуазными национальными гвардейцами без всякого суда и даже не в самый день победы, а на другой день ее были ужасны. Что же касается числа сосланных, разница весьма значительна. Буржуазные республиканцы арестовали пятнадцать тысяч и выслали четыре тысячи триста сорок восемь рабочих. Декабрьские разбойники, в свою очередь, арестовали около двадцати шести тысяч граждан и выслали почти половину – около тринадцати тысяч.

Очевидно, с 1848 по 1851 год прогресс был, но он выразился лишь в количестве, не в качестве. Относительно же качества, т. е. принципа, следует признать, что поведение разбойников Наполеона III было много простительнее, чем буржуазных республиканцев 1848 г. Те были разбойниками, наемниками деспота; следовательно, убивая преданных республиканцев, они практиковали свое ремесло. И можно даже сказать, что, высылая половину своих пленников, а не убивая всех сразу, они в некотором роде проявили великодушие. Между тем как буржуазные республиканцы, ссылая без всякого суда и *ввиду общественной безопасности* четыре тысячи триста сорок восемь граждан, попрали свою совесть, оплевали свои собственные принципы и, подновляя и *узаконивая* декабрьский государственный переворот, убили республику.

Да, я говорю это открыто, по чистой совести и смотря прямо в глаза: Морни, Бароши, Персиньи, Флери, Пиетри и все их товарищи по участию в кровавой императорской оргии гораздо менее виновны, чем г. Жюль Фавр, ныне член правительства Национальной Обороны; менее виновны, чем все другие буржуазные республиканцы, которые в Учредительном и Законодательном Собраниях с 1848 по 1851 г. голосовали вместе с ними. Не это ли чувство виновности и преступной солидарности с бонапартистами делает их ныне столь снисходительными и столь великодушными к этим последним?

Есть еще другое обстоятельство, достойное быть отмеченным и обдуманным. За исключением Прудона и г. Луи Блана, почти все историки революции 1848 г. и декабрьского государственного переворота, точно так же как и наиболее крупные писатели буржуазного радикализма – Виктор Гюго, Кине и др., много говорили о преступлении и преступниках декабря, но никогда не удостоили остановиться на преступлении и преступниках июня[106]! И, однако, очевидно, что декабрь был не чем иным, как роковым следствием июня и его повторением в увеличенном масштабе.

Почему же это молчание относительно июня? Не потому ли, что июньские преступники были буржуазные республиканцы, и вышеупомянутые писатели морально были в большей или меньшей степени их сообщниками? Сообщниками принципиальными и в таком случае неизбежно косвенными сообщниками их деяний? Это весьма правдоподобно. Но есть еще и другая причина, уже достоверная. Преступление июня было совершено лишь над рабочими, социалистами-революционерами, следовательно, *чуждыми* классу и естественными врагами принципов, представляемых всеми этими почтенными писателями. Между тем как преступление декабря задело и изгнало тысячи буржуазных республиканцев, их братьев с социальной и их единомышленников с политической точки зрения. И притом они сами все явились более или менее жертвами его. Отсюда их крайняя чувствительность к декабрю и равнодушие к июню.

Общее правило: буржуа, каким бы красным республиканцем он ни был, будет гораздо более живо потрясен, взволнован и поражен неудачей, жертвой которой окажется другой буржуа, будь то отчаянный империалист, чем несчастием рабочего, человека из народа. В этом различении есть, конечно, великая несправедливость, но эта несправедливость отнюдь не предумышленная, она инстинктивная. Она происходит оттого, что условия и привычки жизни, всегда оказывающие на людей более могущественное влияние, чем их идеи и политические убеждения, эти условия и эти привычки, эта специальная манера существовать, развиваться, думать и действовать, все эти социальные отношения, столь многочисленные и в то же время столь правильно сводящиеся к одной и той же цели, составляющей буржуазную жизнь, буржуазный мир, устанавливают между людьми, принадлежащими к этому миру, каковы бы ни были различия их политических мнений, бесконечно более реальную, более глубокую, более могущественную и в особенности более искреннюю солидарность, чем та, какая могла бы установиться между буржуа и рабочими вследствие более или менее глубокой общности убеждений и идей.

Жизнь господствует над мыслью и определяет волю. Вот истина, которую никогда не следует терять из вида, когда хотят понять что-либо в политических и социальных явлениях. Если хотят установить искреннюю и совершенную общность мыслей и воли между людьми, нужно основывать их на одинаковых жизненных условиях, на общности интересов. А так как самые условия существования мира буржуазного и мира рабочего создают между ними пропасть, ибо один мир – есть мир эксплуатирующий, другой же – эксплуатируемый и жертва, я заключаю, что, если человек, рожденный и воспитанный в буржуазной среде, хочет сделаться искренне и не на словах только другом и братом рабочих, он должен отказаться от всех условий своего прошлого существования, от всех своих буржуазных привычек, порвать все свои отношения с буржуазным миром – в области чувства, тщеславия и ума и, повернувшись спиной к

[106] Они не могли назвать «преступлением» подавление июньского восстания и «преступниками» тех, кто предоставил свои услуги для этого кровавого дела, ибо они сами были в числе палачей. Виктор Гюго был «один из шестидесяти представителей, посланных Учредительным Собранием, чтобы подавить восстание и направить атакующую колонну», и 25 июня «он стоял лицом к лицу с повстанцами из одной из соседних с Вогезской площадью улиц» (В. Гюго. *Действия и речи со времени изгнания.* V. Hugo, Acts et paroles depuis l'exil). Что же касается Кине, он говорит: «В качестве полковника одиннадцатого легиона, стоявшего на страже Собрания, я охранял его. *Бонапартисты были душой восстания* (sic); я же защищал республику… Может быть, Луи Бонапарт вернулся с триумфом, если бы июньское восстание восторжествовало» (*Edgar Quinet, acant l'exil*). – *Дж. Г.*

этому миру, ставши его врагом и объявив ему непримиримую войну, броситься целиком без ограничений и без возврата в рабочий мир.

Если он не испытывает этой страстной жажды справедливости, достаточной для того, чтобы внушить ему такую решимость, влить в него такое мужество, пусть он не обманывает самого себя и не обманывает рабочих: он никогда не сделается их другом. Его отвлеченные мысли, его мечты о справедливости могут еще увлечь его на сторону мира эксплуатируемых в моменты спокойного теоретического размышления, когда все тихо кругом. Но пусть наступит великий социальный кризис, когда два этих непримиримо противоположных мира встретятся в решительной битве, и все привязанности его жизни неизбежно отбросят его в мир эксплуататоров. Это уже случалось раньше со многими из наших бывших друзей, и это всегда будет происходить со всеми буржуазными республиканцами и социалистами.

Социальная ненависть, как и ненависть религиозная, гораздо напряженнее, гораздо глубже, чем ненависть политическая. Вот объяснение снисходительности ваших буржуазных демократов к бонапартистам и их чрезмерной строгости к революционерам-социалистам. Они ненавидят гораздо меньше первых, чем вторых; и необходимым последствием этого является их объединение с бонапартистами в общей реакции.[107]

* * *

Бонапартисты, сперва чрезвычайно перепуганные, скоро заметили, что в лице правительства Национальной Обороны и всего этого нового мнимореспубликанского и официального люда, созданного наспех этим правительством, они имеют могущественных союзников. Они должны были весьма удивиться и обрадоваться, – они, которые, за отсутствием других качеств, обладают по меньшей мере качеством действительно практических людей, желающих средств, которые ведут к их цели, – когда они увидели, что это правительство не только пощадило их самих и предоставило им пользоваться на полной свободе плодами их грабежа, но даже сохранило повсюду, в военной, юридической и гражданской администрации новой Республики, старых чиновников Империи, довольствуясь лишь замещением префектов и супрефектов, генеральных прокуроров и прокуроров, так же как и самые министерства, переполненными бонапартистами, и громадное большинство коммун Франции под развращающим игом муниципалитетов, назначенных правительством Наполеона III, тех самых муниципалитетов, которые произвели последний плебисцит и которые при министерстве Паликао и при иезуитском управлении Шевро развили в деревнях такую чудовищную пропаганду в пользу бесчестного.

Они должны были много смеяться над этой глупостью, действительно непостижимой со стороны умных людей, составляющих теперешнее временное правительство, что они могли надеяться, что, как только они, республиканцы, встанут во главе власти, то вся эта бонапартистская администрация сделается тоже республиканской. Бонапартисты действовали совсем по-иному в декабре. Их первой заботой было сменить и изгнать, до последнего мелкого чиновника, всех, кто не хотел дать себя совратить, выгнать всю республиканскую администрацию и поставить на все должности от самых высоких до самых низших и ничтожных питомцев бонапартистской банды. Что же касается до республиканцев и революционеров, они массами ссылали и заключали в тюрьмы последних и высылали из Франции первых, оставляя внутри страны лишь наиболее безвредных, наименее решительных, наименее убежденных, наиболее глупых или же тех, кто согласился так или иначе продать себя. Вот так-то им удалось добиться власти над страной и надругаться над нею в продолжение больше чем двадцати лет без всякого

[107] До сих пор Бакунин сохранял со своим произведением характер письма, адресованного лично к некоему другу. Начиная с следующего абзаца, он покидает форму послания. – *Дж. Г.*

сопротивления с ее стороны. Ибо, как я уже заметил, бонапартизм ведет свое начало с июня, а не с декабря, и г. Жюль Фавр и его друзья, буржуазные республиканцы Учредительного Собрания, были его истинными основателями.

Нужно быть справедливым ко всем, даже к бонапартистам. Конечно, это негодяи, но негодяи весьма практичные. Повторяю еще раз, они обладали пониманием и желанием средств, ведущих к их цели, и в этом отношении они выказали себя гораздо выше республиканцев, которые делают вид, будто они правят ныне Францией. Даже в настоящее время, после своего поражения, бонапартисты выказывают себя более тонкими и много более могущественными политиками, нежели все эти официальные республиканцы, занявшие их места. Это они, а не республиканцы правят Францией еще и по сию пору. Ободренные великодушием правительства Национальной Обороны, утешившись созерцанием царящей всюду правительственной реакции вместо революции, которой они опасаются, найдя снова во всех отраслях администрации Республики своих старых друзей, своих сообщников, неразрывно с ними связанных той *солидарностью бесчестия и преступления*, о которой я уже говорил и к которой я возвращусь еще позже, сохраняя в своих руках ужасное орудие, все эти бесконечные богатства, которые они собрали на протяжении двадцати лет отчаянного грабежа, бонапартисты решительно подняли голову.

Их скрытое и могущественное влияние – в тысячу раз более могущественное, чем влияние коллективного короля Ивто (Ivetot), правящего в Туре, чувствуется повсюду. Их газеты – «Отечество», «Конституционалист», «Страна», «Народ», принадлежащий г. Дювернуа, «Свобода» г. Эмиля де Жирардена и еще многие другие – продолжают появляться.

Они предают правительство Республики и говорят открыто, без страха и без стыда, как если бы они не были наемные предатели, развратители, продавцы, могильщики Франции. К г. Эмилю де Жирардену, осипшему было в первые дни сентября, снова вернулся его голос, его цинизм, его неподражаемое вероломство. Как в 1848 г., он великодушно предлагает правительству республики «ежедневно по идее». Ничто его не смущает, ничто не удивляет; с того момента, как он понял, что не тронут ни его особу, ни его карман, он осмелел и чувствует себя снова хозяином положения. «Установите только Республику, – пишет он, – и вы увидите, какие великолепные политические, экономические и философские реформы я вам предложу». Газеты империи вновь создают открыто реакцию в пользу империи. Органы иезуитизма вновь начинают говорить о благодеяниях религии.

Бонапартистская интрига не ограничивается этой пропагандой посредством прессы. Она сделалась всемогущей в деревнях, а также и в городах. В деревнях, поддерживаемая целой толпой крупных и средних собственников-бонапартистов, господ попов и всех этих бывших имперских муниципалитетов, нежно сохраненных и покровительствуемых правительством Республики, она проповедует с большей, чем когда-либо, страстностью ненависть к Республике и любовь к империи. Она учит крестьян не принимать никакого участия в национальной обороне и советует им, напротив, принять получше пруссаков, этих новых союзников императора. В городах поддерживаемые бюро префектур и супрефектур, если не самими префектами и супрефектами – судьями империи, если не генеральными адвокатами и прокурорами Республики, генералами и почти всеми высшими офицерами армии, если не солдатами, которые хотя и патриоты, но связаны старой дисциплиной; поддержанные также большей частью муниципалитетов и бесчисленным большинством крупных и мелких коммерсантов, промышленников, собственников и лавочников; поддержанные даже этой толпой буржуазных республиканцев, умеренных, боязливых, все же антиреволюционных, которые, находя в себе энергию лишь против народа, помогают делу бонапартизма, не зная и не желая этого; поддержанные всеми эти элементами бессознательной и сознательной реакции, бонапартисты парализуют всякое движение, самодеятельность и организацию народных сил и тем самым, несомненно, выдают как города, так и деревни пруссакам, а через пруссаков – главе своей банды – императору.

Наконец – я могу сказать, – они выдают пруссакам крепости и армии Франции, доказательство – бесчестная капитуляция Седана, Страсбурга и Руана[108]. Они убивают Францию.

* * *

Должно ли и могло ли правительство Национальной Обороны сносить это? Мне кажется, что на этот вопрос может быть дан лишь один ответ – нет, тысячу раз нет! Его первая, его самая главная обязанность, с точки зрения спасения Франции, состояла в том, что оно должно было вырвать с корнем заговор и зловредную деятельность бонапартистов. Но как вырвать ее? Было лишь одно средство – это сперва арестовать и заключить в тюрьму всех, целиком, в Париже и в провинциях, начиная с императрицы Евгении и ее двора, всех военных чиновников, военных и гражданских сенаторов, государственных советников, бонапартистских депутатов, генералов, полковников, в случае надобности, даже капитанов, архиепископов и епископов, префектов, супрефектов, мэров, мировых судей, весь административный и юридический корпус, не забывая полицию, всех заведомо преданных империи собственников – одним словом, всех, кто составляет бонапартистскую банду.

Были ли возможны эти массовые аресты? Ничего не было легче. Достаточно было правительству Национальной Обороны и его делегатам в провинциях дать знак, рекомендуя при этом населению не обижать никого, и можно было быть уверенным, что в немного дней, без особого насилия и без всякого кровопролития, огромное большинство бонапартистов, особенно все богатые, влиятельные и почетные члены этой партии, на всем пространстве Франции были бы арестованы и посажены в тюрьму. Разве само население департаментов не арестовало многих по своей инициативе в первой половине сентября и – заметьте это хорошенько – не причинив никому никакого зла, самым вежливым и самым гуманным образом в мире?

Нравы французского народа уже больше не грубы и не жестоки, особенно нравы пролетариата городов Франции. Если еще и остались некоторые пережитки, их надо искать отчасти у крестьян, главным же образом у столь же тупого, как многочисленного класса лавочников. О, эти действительно жестоки! Они доказали это в июне 1848 г.[109], и многие факты доказывают,

---

[108] Слова «Руана» нет в рукописи: оно прибавлено в корректуре. Руан был занят пруссаками 8 декабря 1870 г. – *Дж. Г.*

[109] Вот в каких выражениях г. Луи Блан описывает положение на другой день после победы, одержанной в июне буржуазными национальными гвардейцами над рабочими Парижа:«Ничто не смогло бы изобразить положение и вид Парижа в течение часов, предшествовавших и немедленно следовавших за окончанием этой неслыханной драмы. Едва осадное положение было объявлено, как полицейские комиссары отправились по всем направлениям, приказывая прохожим идти по домам. И горе тому, кто вновь появится до нового приказа на пороге дома! Если декрет застиг вас одетыми в буржуазный фрак далеко от вашего жилища, вас препровождали домой от поста до поста и требовали больше не выходить. Так как были арестованы женщины с записками, спрятанными в прическе, и патроны были найдены за обшивкой фиакров, то все давало повод к подозрению. Гробы могли содержать порох: к похоронам относились недоверчиво, и трупы на пути к вечному упокоению были отмечены как подозрительные. Напитки, доставляемые солдатам (национальной гвардии, разумеется), могли быть отравлены: из предосторожности арестовывали несчастных продавцов лимонада, и пятнадцатилетние маркитантки внушали страх. Гражданам было запрещено показываться у окна и даже оставлять открытыми ставни, ибо шпионство и убийство было там, на страже, разумеется! Лампа, перемещающаяся за стеклом, отблеск луны на черепице крыши были достаточны, чтобы распространить ужас. Оплакивать ошибки повстанцев; плакать среди стольких побежденных, среди тех, кого любили, никто не сумел безнаказанно. *Расстреляли одну молодую девушку за то, что она щипала корпию* в лазарете восставших для своего возлюбленного, может быть, для своего мужа, для отца!Париж в течение нескольких дней имел вид города, взятого приступом. Количество разрушенных домов и зданий с брешами, пробитыми пушечным ядром, *свидетельствовали в достаточной мере о могуществе этого великого усилия, сделанного народом, доведенным до крайности*. Улицы были перерезаны шеренгами буржуа в мундирах; перепуганные патрули бродили по мостовой… Говорить ли о репрессиях?„Рабочие! И все вы, кто держит еще оружие, направленное против Республики! В последний раз, во имя всего, что есть почитаемого, святого и священного для людей, сложите ваше оружие! Национальное Собрание, вся нация целиком просит вас об этом. *Вам говорят, что вас ждет кровавая месть: это наши враги, ваши враги говорят так!* Придите к нам, придите как братья, раскаявшиеся и подчинившиеся закону, и объятья Республики готовы принять вас“.Такова была прокламация, с которой генерал Кавеньяк обратился к восставшим 26 июня. Во второй прокламации, обращенной к национальной гвардии и к армии, он говорил так: „В Париже я вижу победителей и побежденных. Пусть имя мое будет проклято, если я соглашусь видеть в нем жертвы“. Никогда, поистине, более прекрасные слова не были произнесены, особенно в подобный момент! Но как это обещание было выполнено, Боже праведный!..

что по природе они не переменились и ныне. Что особенно делает лавочника столь жестоким, это наряду с его безнадежной тупостью низость, страх и ненасытимая жадность. Он мстит за страх, который ему пришлось испытать, и за риск, которому подвергался его кошелек, который вместе с его непомерным тщеславием составляет, как изве-стно, самую чувствительную часть его бытия. Он мстит лишь тогда, когда может сделать это без малейшей опасности для самого себя. Да, но уже тогда он жалости не знает.

Кто знает рабочих Франции, тот знает также и то, что если где еще сохранились истинные человеческие качества, столь сильно пониженные, а еще больше извращенные в наши дни официальным лицемерием и буржуазной чувствительностью, так сохранились они среди рабочих. Это ныне единственный класс общества, о котором можно сказать, что он действительно великодушен, слишком великодушен порою и слишком забывчив к ужасным преступлениям и гнусным изменам, жертвою коих он был слишком часто. Он не способен к жестокости. Но в то же время в нем есть верный инстинкт, направляющий его прямо к цели; здравый смысл, который говорит ему, что, когда хотят положить конец злодеяниям, нужно сперва парализовать злодеев. Франция, очевидно, была предана, следовало помешать предателям предавать ее еще больше. Вот почему почти во всех городах Франции первым движением рабочих было арестовать и заключить в тюрьмы бонапартистов.

Правительство Национальной Обороны заставило повсюду выпустить их. Кто был не прав – рабочие или правительство? Конечно, это последнее. Оно не только было не право, оно совершило преступление, выпуская их. Почему же, кстати, оно не выпустило в то же время всех убийц, воров и преступников всякого рода, содержащихся в тюрьмах Франции? Какая разница между ними и бонапартистами? Я не вижу никакой, и если она и существует, то она целиком говорит в пользу уголовных преступников и против бонапартистов. Первые воровали, нападали, обижали, убивали отдельных людей. Часть последних совершила буквально те же самые преступления, и все вместе они ограбили, изнасиловали, обесчестили, убили, предали и продали Францию, целый народ. Какое преступление больше? Без сомнения – преступление бонапартистов.

Могло ли бы правительство Национальной Обороны причинить больше зла Франции, если бы оно освободило всех преступников и каторжников, заключенных в тюрьмах и работающих на каторге, – чем оно причинило ей тем, что уважало и заставляло других уважать свободу и собственность бонапартистов и оставляло их свободно довершать разрушение Франции? Нет, тысячу раз нет! Освобожденные каторжники убили бы несколько десятков, скажем, несколько сотен или даже несколько тысяч человек (пруссаки ежедневно убивают гораздо больше), затем они были бы быстро снова захвачены и заключены в тюрьму самим народом. Бонапартисты убивают народ, и стоит им дать делать это еще некоторое время, они посадят в тюрьму весь народ – всю Францию.

Но как арестовать и удержать в тюрьме столько людей без всякого суда? О, за этим дело не станет! Лишь бы нашлось во Франции достаточное количество добросовестных судей, и лишь бы они дали себе труд порыться в старых законах прислужников Наполеона III, они, без

Репрессии во многих местах носили дикий характер: так, *пленники, скученные* в саду Тюильри, в глубине подземелья на берегу пруда, *были убиваемы наудачу* пулями, ибо в них стреляли через отдушины; *так, пленные были наскоро расстреляны* на площадке Грэнель, на кладбище Монпарнас, в каменоломнях Монмартра, во дворе отеля Клюни, в монастыре св. Бенуа… так, после окончания борьбы ужасный террор воцарился в разоренном Париже.Один штрих дополнит картину.3 июля, довольно большое количество пленных было взято из подвалов Военной Школы, чтобы быть препровожденными в префектуру полиции и оттуда в форты. *Из связали по четверо, руки с руками, очень сильно скрутив веревки. Заметим, так как эти несчастные, истощенные голодом, не могли двигаться, для них принесли миски с супом. Со связанными руками они были вынуждены лечь на животы и ползти к мискам, как животные, при громких взрывах смеха конвойных офицеров, которые называли это социализмом на практике!* Этот факт сообщен мне одним из подвергнувшихся этой пытке» (История Революции 1848 г. Луи Блана, т. II).«Вот какова буржуазная гуманность, и мы видели, как позже правосудие буржуазных республиканцев проявилось в виде высылки *без суда, просто как мера общественной безопасности*, четырех тысяч трехсот сорока восьми из пятнадцати тысяч арестованных.» – *Прим. Бакунина.*

сомнения, легко найдут, за что присудить три четверти их к каторге и многих даже к смерти, просто применяя к ним без всякой чрезвычайной строгости уголовный кодекс как он есть.

Впрочем, разве сами бонапартисты не дали примера? Разве они не арестовали и не заключили в тюрьмы во время и после декабрьского переворота более двадцати шести тысяч и не сослали в Алжир и в Кайенну более тринадцати тысяч граждан-патриотов? Скажут, что им было позволительно действовать так, потому что они были бонапартисты, т. е. люди без убеждений, без принципов, разбойники; но что республиканцы, борющиеся во имя права и желающие торжества принципа справедливости, не должны, не могут попирать их элементарные и основные условия. Тогда я приведу другой пример.

В 1848 г., после **вашей** июньской победы, господа буржуазные республиканцы, выказывающие себя ныне столь щепетильными в этом вопросе о правосудии, ибо теперь речь идет о применении его к бонапартистам, т. е. к людям, которые по своему рождению, воспитанию, привычкам, общественному положению и манере рассматривать социальный вопрос, вопрос освобождения пролетариата принадлежат к вашему классу, являются вашими братьями; так вот после победы, одержанной вами в июне над рабочими Парижа, разве Национальное Собрание, в котором заседали вы, господин Жюль Фавр, и вы, господин Кремье, и в рядах которого по меньшей мере вы, г. Жюль Фавр, вместе с г. Паскалем Дюпра, вашим земляком, были одним из самых красноречивых ораторов бешеной реакции, – разве это Собрание буржуазных республиканцев не позволяло в течение трех дней взбесившейся буржуазии расстреливать без всякого суда сотни, если не тысячи безоружных рабочих? И сейчас же вслед за тем не благодаря ли ему было отправлено на каторгу пятнадцать тысяч рабочих *без всякого суда, лишь ввиду общественной безопасности*? И после того, как они оставались долгие месяцы, тщетно прося того самого правосудия, во имя которого вы произносите теперь столько красивых фраз в надежде, что эти фразы могут маскировать вашу связь с реакцией, – не то же ли самое Собрание буржуазных республиканцев с вами, г. Жюль Фавр, во главе сорока восьми человек *снова без суда* и снова *в качестве меры общественной безопасности*? Чего там, все вы – лишь.

Как это случилось, что г. Жюль Фавр не нашел в себе и не счел полезным употребить против бонапартистов немножко той *гордой энергии*, немножко той безжалостной жестокости, которые он так широко проявлял в июне 1848 г., когда дело шло об усмирении рабочих-социалистов? Или, может быть, он думает, что рабочие, которые требуют своего права на жизнь, на человеческие условия существования, которые с оружием в руках требуют равной для всех справедливости, более виновны, чем бонапартисты, которые убивают Францию?

Именно так! Такова неоспоримо невыражаемая мысль, конечно, в такой мысли не решаются признаться самому себе, – но глубоко буржуазный и по этой самой причине единодушный инстинкт, вдохновляющий все декреты правительства Национальной Обороны, точно так же как и действия большей части его провинциальных делегатов: генеральных комиссаров, префектов, супрефектов, генеральных прокуроров и прокуроров Республики, которые, принадлежа либо к сословию адвокатов, либо к республиканской прессе, представляют, так сказать, цвет молодого буржуазного радикализма. В глазах всех этих пламенных патриотов, точно так же как *в исторически закрепленном* мнении г. Жюль Фавра, *социальная революция составляет для Франции еще большую опасность, чем самое иностранное нашествие*. Я очень хотел бы верить, что если не все, то по крайней мере наибольшая часть этих достойных граждан охотно пожертвовали бы своей жизнью, чтобы спасти славу, величие и независимость Франции; но я равным образом и даже еще больше уверен, что еще более крупное большинство из них предпочло бы скорее видеть эту благородную Францию подпавшею под временное иго пруссаков, чем быть обязанною своим спасением настоящей народной революции, которая неизбежно одним ударом уничтожила бы и экономическое, и политическое господство их класса. Отсюда их возмутительная, но вынужденная снисходительность к столь многочисленным и, к сожалению, еще слишком могущественным сторонникам бонапартистской измены и их страстная

строгость, их неумолимые преследования социалистов-революционеров. Представителей тех рабочих классов, которые одни ныне принимают всерьез освобождение страны.

Очевидно, что это вовсе не напрасная щепетильность в вопросах правосудия, но просто страх вызвать и ободрить социальную революцию мешает правительству принять меры строгости против открытого заговора бонапартистской партии. Чем иначе объяснить, что оно не приняло их еще 4 сентября? Могло ли оно, осмелившееся принять на себя ужасную ответственность спасения Франции, хоть на мгновение усомниться в своем праве и в своем долге прибегнуть к самым энергичным мерам против бесчестных сторонников режима, который, не довольствуясь тем, что сверг Францию в бездну, до сих пор старается парализовать все ее средства защиты, в надежде быть в состоянии восстановить императорский трон с помощью и покровительством пруссаков?

Члены правительства Национальной Обороны ненавидят революцию. Пусть так. Но если доказано и день ото дня становится все очевиднее, что в бедственном положении, в котором находится Франция, ей не остается другого выбора, как: *либо революция, либо иго пруссаков*, то, рассматривая вопрос лишь с точки зрения патриотизма, разве не ясно, что эти люди, принявшие на себя диктаторскую власть во имя спасения Франции, станут преступниками и сделаются сами предателями своего отечества, когда из ненависти к революции они выдадут или хотя бы лишь допустят выдачу ее пруссакам?

* * *

Вот уже скоро месяц, как императорский режим, опрокинутый прусскими штыками, низвергнут в прах. Временное правительство, составленное из более или менее радикальных буржуа, заняло его место. Что же сделало оно для спасения Франции?

Таков должен быть главный и единственный вопрос. Что же касается до законности правительства Национальной Обороны и до его права – я скажу более, – до его обязанности принять власть из рук народа, после того как он смел, наконец, бонапартистских паразитов, то этот вопрос может быть поставлен на завтра, после постыдной Седанской катастрофы лишь соучастниками Наполеона III или, что то же самое, врагами Франции. Г-н Эмиль де Жирарден, конечно, принадлежит к их числу1.

Если бы момент не был так ужасен, можно было бы посмеяться над несравненной наглостью этих людей. Они превосходят ныне Робер Макэра, духовного главу их церкви, и самого Наполеона III, их главу во плоти.

Как! Они убили Республику и возвели на трон достойного императора при помощи известных всем средств. В течение двадцати лет подряд они были весьма корыстным и добровольным орудием самых циничных насилий над всеми возможными правами и законностями, они систематически развращали, отравляли и дезорганизовали Францию, они отупляли ее. Наконец, они навлекли на эту несчастную жертву их алчности и постыдного честолюбия такие несчастия, глубина коих превосходит все, что могло бы представить себе самое пессимистическое воображение. Перед лицом столь ужасной катастрофы, главными творцами которой они были, подавленные угрызениями совести, стыдом, ужасом и страхом тысячу раз заслуженного народного возмездия, они должны бы провалиться сквозь землю, не правда ли? Или же, по крайней мере, скрыться по следам своего господина под прусское знамя, единственно способное ныне прикрыть их нечисть. Так нет же! Ободренные преступной снисходительностью правительства Национальной Обороны, они остались в Париже и распространились по всей Франции, громогласно восставая против этого правительства, которое они объявляют во имя прав народа, во имя всеобщего избирательного права незаконным и незакономерным.

Их расчет справедлив. Раз уже падение Наполеона III сделалось бесповоротно совершившимся фактом, нет другого средства вернуть его во Францию, как окончательное торжество

пруссаков. Но чтобы обеспечить и ускорить это торжество, нужно парализовать все патриотические и неизбежно революционные усилия Франции, разрушить в корне все средства защиты, и, чтобы достигнуть этой цели, самый кратчайший, самый верный путь к этому есть немедленный созыв Учредительного Собрания. Я докажу это. Но прежде всего я считаю полезным показать, что пруссаки могут и должны хотеть восстановления Наполеона III на троне Франции.

Союз с Россией и русофобия немцев[110]

Как ни блестяще положение графа Бисмарка и его господина короля Вильгельма I, оно далеко не из легких. Их цель очевидна: это объединение, наполовину насильственное, наполовину добровольное, всех немецких государств под королевским скипетром Пруссии, который скоро превратят, без сомнения, в императорский скипетр; это – создание самой могущественной империи в сердце Европы. Всего каких-нибудь пять лет назад Пруссия рассматривалась как последняя из пяти великих держав Европы. Ныне она хочет сделаться – и без сомнения сделается – первою. И берегись тогда независимость и свобода Европы! Берегитесь тогда в особенности маленькие государства, имеющие несчастье обладать на своей территории немецким или бывшим немецким населением, как, напр., фламандцы. Аппетит немецкой буржуазии столь же жесток, как огромно ее раболепство, и, опираясь на этот патриотический аппарат и на это чисто немецкое раболепство, г. граф фон Бисмарк, который отнюдь не щепетилен и является слишком государственным человеком, чтобы беречь кровь народов и щадить их кошельки, их свободу и их права, был бы весьма способен предпринять в пользу своего господина осуществление мечты Карла Пятого.

Часть огромной задачи, которую он себе поставил, закончена. Благодаря сообщничеству Наполеона III, которого он одурачил благодаря союзу с императором Александром II, которого он также надует, ему удалось уже раздавить Австрию. Теперь он держит ее в повиновении благодаря угрожающей позиции своей верной союзницы – России.

Что же касается царской империи, то ко времени раздела Польши и именно вследствие этого раздела она попала в зависимость от Прусского королевства, как это последнее попало в зависимость от Всероссийской империи. Они не могут вступить в войну друг с другом без того, чтобы не освободить польских провинций, доставшихся на их долю, что одинаково невозможно как для одной, так и для другой, потому что обладание этими провинциями для каждой из них составляет существенное условие их могущества как государства. Не имея, таким образом, возможности воевать друг с другом, они волей-неволей должны быть тесными союзниками. Стоит Польше всколыхнуться, и Русская империя и Прусское королевство вынуждены воспылать друг к другу избытком любви. Эта вынужденная солидарность есть роковой, часто невыгодный и всегда тягостный результат разбоя, совершенного ими обоими над этой благородной и несчастной Польшей. Ибо не следует воображать, чтобы русские, даже люди официальные, любили пруссаков, ни чтобы эти последние обожали русских. Напротив того, они до глубины сердца ненавидят друг друга. Но как два разбойника, скованные друг с другом солидарностью своего преступления, они вынуждены вместе идти и взаимно помогать друг другу. Отсюда та невыразимая нежность, объединяющая дворы С. – Петербурга и Берлина, которую граф фон Бисмарк никогда не забывает поддерживать каким-нибудь подарком, в виде, напр., нескольких несчастных польских патриотов, выданных время от времени палачам Варшавы или Вильно.

Однако на безоблачном горизонте этой дружбы уже показывается черная точка. Это вопрос о балтийских провинциях. Провинции эти, как известно, ни русские, ни немецкие. Они латышские или финские, ибо немецкое население, состоящее из дворян и из буржуа, состав-

[110] Это заглавие, существующее в рукописи, где я вписал его своею собственной рукой, опущено в брошюре. – *Дж. Г.*

ляет в них весьма ничтожное меньшинство. Эти провинции принадлежали сперва Польше, потом – Швеции, еще позже они были завоеваны Россией. Самое благоприятное с точки зрения народа – а я не признаю никакой другой – решение было бы, по-моему, возвращение их вместе с Финляндией не под владычество Швеции, но к очень тесному федеративному союзу с нею, в качестве членов скандинавской федерации, обнимающей Швецию, Норвегию, Данию и всю датскую часть Шлезвига, – пусть уже гг. немцы этим не огорчаются.

Это было бы справедливо и естественно, и как раз эти два обстоятельства достаточны, чтобы немцам это не понравилось. Наконец, это положило бы спасительную границу их морскому честолюбию. Русские хотят русифицировать эти провинции, немцы хотят их германизировать. Как одни, так и другие не правы. Громадное большинство населения, равно ненавидящее как немцев, так и русских, хочет остаться тем, что оно из себя представляет, т. е. финнами и латышами, и лишь в Скандинавской Федерации они найдут утверждение своей автономии и своего права быть самими собою.

Но, как я уже говорил, с этим отнюдь не мирятся патриотические вожделения немцев. С некоторых пор этим вопросом занимаются в Германии. Он возбужден в связи с преследованием русским правительством протестантского духовенства, которое в этих провинциях представлено немцами. Эти преследования гнусны, как гнусны все акты какого бы то ни было деспотизма, русского или прусского, но не превосходят того, что в прусско-польских провинциях, и, однако, эта же самая немецкая публика весьма остерегается протестовать против прусского деспотизма. Изо всего этого следует, что для немцев дело вовсе не в справедливости, а в приобретении, в завоевании. Они весьма вожделеют эти провинции, которые действительно были бы им очень полезны с точки зрения их морского могущества в Балтийском море, и я не сомневаюсь, что в каком-нибудь затаенном уголке своего мозга Бисмарк лелеет мысль рано или поздно завладеть ими тем или иным способом. Такова черная тень, возникшая между Россией и Пруссией.

Как ни черна она, она все же еще не способна разделить их. Они слишком нуждаются одна в другой. Пруссия, которая отныне не может больше иметь иных союзников, кроме России, ибо все другие государства, не исключая даже Англию, чувствуя себя ныне угрожаемыми ее честолюбием, которое скоро не будет знать пределов, восстают или восстанут рано или поздно против нее, – Пруссия весьма поостережется поставить теперь вопрос, который необходимо должен поссорить ее с ее единственным другом – Россией. Она будет нуждаться в ее помощи, по меньшей мере в ее нейтралитете до тех пор, пока не уничтожит совершенно, по крайней мере, на двадцать лет могущество Франции, пока не разрушит Австрийскую империю и не присоединит к себе немецкую Швейцарию, часть Бельгии, Голландии и всю Данию. Обладание этими двумя государствами ей необходимо для создания и для упрочения ее морского могущества. Все это будет необходимым следствием ее торжества над Францией, если только это торжество полно и окончательно. Но все это, предполагая даже самые счастливые обстоятельства для Пруссии, не сможет осуществиться сразу. Исполнение этих грандиозных проектов возьмет несколько лет, и за все это время Пруссия больше чем когда-либо будет нуждаться в помощи России; ибо необходимо предположить, что остаток Европы, каким бы подлым и глупым он себя сейчас ни выказывал, кончит, однако, тем, что пробудится, когда почувствует нож у горла, и не даст скушать себя под прусско-германским соусом без сопротивления и борьбы. Пруссия, даже торжествующая, даже раздавившая Францию, была бы слишком слабою, чтобы бороться против всех объединенных европейских государств. Если бы Россия тоже обернулась против нее, она бы погибла. Она пала бы даже при нейтралитете России. Ей абсолютно необходима деятельная поддержка России, та самая поддержка, которая ныне оказывает ей неизмеримую услугу, держит в узде Австрию; ибо очевидно, что если бы Австрия не была бы угрожаема Россией, то на другой же день после вступления немецких армий на территорию Франции она

бросила бы свои войска на Пруссию, на Германию, обедневшую солдатами, чтобы возвратить свое утерянное господство и извлечь блестящий реванш за Садову.

Г. фон Бисмарк слишком осторожный человек, чтобы поссориться с Россией при подобных обстоятельствах. Конечно, этот союз должен быть ему неприятен во многих отношениях. Он роняет его популярность в Германии. Конечно, г. фон Бисмарк слишком государственный человек, чтобы предавать сентиментальную ценность любви и доверию народов. Но он знает, что эта любовь и это доверие представляют из себя порою большую силу, единственную вещь, которая в глазах глубокого политика, как он, действительно почтенна. Итак, эта непопулярность союза с Россией его стесняет. Он должен, без сомнения, сожалеть, что единственный остающийся ныне союз для Германии является как раз таким союзом, который единодушно отвергается Германией.

* * *

Когда я говорю о чувствах Германии, я, разумеется, имею в виду чувства ее буржуазии и ее пролетариата. Немецкое дворянство отнюдь не ненавидит Россию, ибо оно знает Россию лишь как державу, варварская политика и произвол которой ему нравится, льстит его инстинктам, соответствует его собственной природе. Оно относилось с энтузиазмом и восхищением, питая настоящий культ к покойному императору Николаю. Этот германизированный Чингиз-хан или, скорее, этот монголизированный немецкий принц воплощал в ее глазах высший идеал абсолютного государя. Ныне оно вновь находит верный образ его в своем королепугале, будущем императоре Германии. Отсюда следует, что немецкое дворянство никогда не будет противиться русскому союзу. Напротив, оно горячо поддерживает его по двум причинам: во-первых, по глубокой симпатии к деспотическим стремлениям русской политики; затем потому, что его король хочет этого союза, и до тех пор, пока королевская политика будет стремиться к порабощению народов, его воля будет священна для него. Но так не было бы, конечно, если бы король, вдруг изменив всем традициям своей династии, декретировал бы освобождение народов. Тогда, но лишь тогда оно было бы способно взбунтоваться против него, что, впрочем, не было бы очень опасным, ибо немецкое дворянство, как ни многочисленно оно, совершенно бессильно. У него нет корней в стране, и оно держится как бюрократическая, и особенно военная, каста лишь милостью государства. Впрочем, так как совершенно невероятно, чтобы будущий император Германии когда бы то ни было *добровольно и свободно* подписал указ об освобождении, можно надеяться, что трогательная гармония, существующая между ним и его верным дворянством, сохранится навсегда. Лишь бы он продолжал быть настоящим деспотом, оно останется его преданным рабом, который счастлив пресмыкаться перед ним и выполнять все его приказы, как бы тираничны, как бы жестоки они ни были.

Но не так обстоит дело с пролетариатом Германии. Я особенно имею в виду городской пролетариат. Деревенский пролетариат слишком придавлен, слишком принижен и вследствие своего бедственного положения, и вследствие своих обычных подчиненных отношений к помещику, и благодаря систематически отравленному политической и религиозной ложью образованию, которое он получает в начальных школах, чтобы он сам мог бы отдать себе отчет в своих чувствах и желаниях. Его мысли редко выходят за пределы слишком ограниченного горизонта его несчастного существования. Он неизбежно социалист по своему положению и по природе, сам того не подозревая. Одна лишь социальная революция, действительно мировая и радикальная, более всемирная и глубокая, нежели об этом мечтают немецкие социал-демократы, могла бы разбудить спящего в нем черта. Этот черт – инстинкт свободы, страсть к равенству, святое чувство бунта, – раз проснувшись в его груди, уже больше не уснет. Но до того решительного момента деревенский пролетариат останется в согласии с проповедями

господина пастора покорным подданным своего короля и механическим орудием в руках всех возможных общественных властей.

Что же касается до крестьян-собственников, они в большинстве своем склонны скорее поддерживать королевскую политику, нежели бороться с нею. И есть много причин к тому: прежде всего, антагонизм между деревнями и городами, который в Германии существует точно так же, как и в других странах, солидно укрепившись в ней с 1525 г., когда буржуазия Германии, с Лютером и Меланхтоном во главе, предала столь постыдно и губительно для себя самой единственную крестьянскую революцию, имевшую место в Германии; затем – в высшей степени отсталая система образования, о которой я уже говорил, господствующая во всех школах Германии и особенно Пруссии; эгоизм, консервативные инстинкты и предрассудки, присущие всем собственникам – мелким и крупным; наконец, относительная оторванность деревенских рабочих, чрезвычайно замедляющая распространение идей и развитие политических страстей. Из всего этого следует, что крестьяне-собственники Германии гораздо больше интересуются своими деревенскими делами, близко касающимися их, нежели общей политикой. А так как природа немцев, говоря вообще, гораздо более склонна к послушанию, нежели к сопротивлению, к набожному доверию, нежели к бунту, отсюда следует, что немецкий крестьянин охотно подчиняется во всех главных делах страны мудрости высоких авторитетов, установленных Богом. Настанет, разумеется, момент, когда и крестьянин Германии проснется. Это произойдет тогда, когда величие и слава новой Прусско-Германской империи, создающейся ныне не без некоторой мистической и исторической симпатии с его стороны, предстанет ему в виде тяжких налогов и экономических бедствий. Это произойдет, когда он увидит, что его маленькая собственность, отягощенная долгами, ипотеками, налогами и обложениями всякого рода, тает и ускользает из его рук, чтобы округлить все увеличивающиеся владения крупных собственников; это произойдет, когда он поймет, что роковой экономический закон толкает и его, в свою очередь, в ряды пролетариата. Тогда он проснется и, наверно, восстанет. Но этот момент еще далек, и если пришлось бы ждать его, Германия, которая не грешит отсутствием терпеливости, могла бы потерять терпение.

Городской и фабричный пролетариат находится в совершенно противоположном положении.

Рабочие, хотя и привязанные, подобно рабам, нищетою к местностям, в которых они работают, совершенно не имеют местных интересов. Все их интересы – общего характера, и даже не национального, а интернационального. Ибо вопрос работы и заработной платы, единственный вопрос, действительно, живо непосредственно и ежедневно интересующий их, стал центром и основанием всех других вопросов, как социальных, так и политических, и религиозных, и стремится ныне, благодаря естественному развитию всемогущества капитала в промышленности и торговле, принять совершенно международный характер. Это-то и объясняет чудесный рост *Международной Ассоциации Рабочих*, ассоциации, которая, будучи основана всего шесть лет назад, насчитывает в одной Европе более миллиона членов.

Немецкие рабочие не остались позади других. Особенно за эти последние годы они оказали значительный прогресс, и, быть может, не далек тот момент, когда они смогут составить настоящую силу. Правда, они стремятся к этому способом, который мне не кажется наилучшим. Вместо того чтобы стараться образовать силу явно революционную, отрицательную, разрушающую государство, единственную, которая, по моему глубокому убеждению, могла бы привести к полному и всеобщему освобождению рабочих и труда, они хотят или, скорее, они дают увлечь себя своим вожакам мечтами о создании положительной силы, об учреждении нового рабочего, народного государства, по необходимости национального, патриотического и всегерманского, что ставит их в вопиющее противоречие с основными принципами *Международной Ассоциации* и в весьма двусмысленное положение по отношению к Прусско-Германской дворянской и буржуазной империи, которую стряпает господин фон Бисмарк. Они

надеются, конечно, что сперва путем легальной агитации, за которою последует более определенное и более решительное революционное движение, им удастся овладеть этой империей и превратить ее в чисто народное Государство. Эта политика, которую я считаю иллюзорной и губительной, прежде всего придаст их движению реформаторский, а не революционный характер, что, впрочем, отчасти зависит и от особенностей природы немецкого народа, более расположенного к последовательным и медленным реформам, нежели к революции. Эта политика представляет собою еще другую крупную невыгоду, которая, впрочем, есть лишь следствие первой: социалистическое движение рабочих Германии идет на буксире демократически-буржуазной партии. Позже хотели отрицать самое существование этого соглашения, но оно было слишком отчетливо констатировано частичным принятием буржуазно-социалистической программы д-ра Якоби за основу возможного соглашения между буржуазными демократами и пролетариатом Германии, точно так же как различными попытками сделок, которые пытались провести на Нюрнбергском и Штутгардском конгрессах. Это во всех отношениях прочное соглашение. Оно не может принести рабочим никакой пользы, даже частичной, ибо демократическая и буржуазно-социалистическая партия Германии поистине слишком ничтожна, слишком до смешного беспомощна, чтобы придать им силу. Но она много способствовала сужению и искажению социалистической программы рабочих Германии. Программа рабочих Австрии, например, прежде чем они дали зачислить себя в партию социалистической демократии, была гораздо шире, бесконечно шире и практичнее, чем теперь.

Как бы то ни было, это скорее ошибка системы, чем инстинкта. Инстинкт немецких рабочих явно революционен и день ото дня станет еще более революционным; несмотря на усилия интриганов, подкупленных г. фон Бисмарком, им не удастся подчинить рабочие немецкие массы его Прусско-Германской империи. К тому же время правительственных заигрываний с социализмом прошло. Имея отныне за собой рабский и тупой энтузиазм всей буржуазии Германии, безразличие и пассивное послушание, если не симпатии деревни, все немецкое дворянство, ждущее лишь сигнала для истребления с корнем «сволочи», и организованную силу громадных воинских частей, вдохновленных и руководимых этим самым дворянством, г. фон Бисмарк неизбежно пожелает раздавить пролетариат и уничтожить в корне железом и огнем эту язву, этот проклятый социальный вопрос, сосредоточивший в себе весь сохранившийся в людях и нациях дух бунта. Это будет война не на живот, а на смерть с пролетариатом в Германии, как повсюду в других странах. Но, призывая рабочих всех стран хорошенько приготовиться к ней, я заявляю, что не боюсь этой войны. Напротив, я рассчитываю на нее, чтобы вселить дьявола в тело рабочих масс. Она быстро покончит со всеми этими бесконечными и бесцельными рассуждениями, которые усыпляют и истощают, не приводя ни к какому результату, и она зажжет в груди пролетариата Европы ту страсть, без которой не бывает победы. Что же касается конечной победы пролетариата, то кто же может в ней сомневаться? За нее справедливость и логика истории.

Немецкий рабочий, становясь изо дня в день все революционнее, колебался, однако, одно мгновение в начале этой войны. С одной стороны, он видел Наполеона III, с другой – Бисмарка со своим пугалом-королем. Первый представлял собою нашествие, два других – национальную оборону. Не было ли естественным с его стороны, что, несмотря на всю его антипатию к этим двум представителям немецкого деспотизма, он поверил на одно мгновение, что колебание было весьма непродолжительно. Едва первые известия о победах, одержанных немецкими войсками, были объявлены в Германии, сейчас же, как только стало очевидно, что французы не могут уже перейти Рейн, особенно после Седанской капитуляции и достопамятного и бесповоротного падения в грязь Наполеона III, когда война Германии с Францией, теряя свой характер законной самообороны, приняла характер войны завоевательной, войны немецкого деспотизма против свободы Франции, чувства немецкого пролетариата сразу переменились и приняли направление открытой оппозиции этой войне и глубокой симпатии к Французской

Республике. И здесь я спешу отдать справедливость вожакам социал-демократической партии, всему ее руководящему комитету, Бебелю, Либкнехту и многим другим, которые среди шума, поднятого официальной публикой и всей буржуазией Германии, бешеной от патриотизма, имели мужество открыто провозгласить священные права Франции.

Они благородно, геройски выполнили свой долг, ибо поистине им нужно было иметь геройское мужество, чтобы осмелиться говорить человеческим языком посреди всего этого ревущего буржуазного зверья.

* * *

Немецкие рабочие – естественно-страстные враги союза с Россией и русской политики. Русские революционеры не должны удивляться, ни даже слишком огорчаться, если иногда немецким рабочим случается распространять и на самый русский народ столь глубокую и столь законную ненависть, которую им внушают существование и все политические акты Всероссийской империи. Немецкие рабочие, в свою очередь, не должны более отныне удивляться и слишком оскорбляться, если пролетариату Франции случается не делать надлежащего различия между официальной, бюрократической, военной, дворянской, буржуазной Германией и Германией народной. Чтобы не слишком жаловаться, чтобы быть справедливыми, немецкие рабочие должны судить сами по себе. Не смешивают ли они часто, слишком часто, следуя в этом примеру и советам многих своих вожаков, Русскую империю и русский народ в одном и том же чувстве презрения и ненависти, даже не подумав, что этот народ есть первая жертва и непримиримый враг и вечный бунтовщик против этой империи, как я часто имел случай доказывать это в моих речах и в моих брошюрах и как я снова установлю это на протяжении настоящего сочинения. Но немецкие рабочие могут возразить, что они не считаются со словами, что их осуждение основано на фактах и что все русские действия, о которых известно за границей, это действия антигуманные, жестокие, варварские, деспотические. На это русским революционерам нечего ответить. Они должны будут признать, что до известной степени немецкие рабочие правы. Каждый народ более или менее солидарен и ответственен за действия, совершенные его государством от его имени и его руками, до тех пор, пока он не перевернет и не разрушит это государство. Но если это верно для России, это должно быть равным образом верно и для Германии.

Конечно, русская империя представляет собою и осуществляет варварскую, антигуманную, постыдную, ненавистную, подлую систему. Снабдите ее какими угодно эпитетами – я не буду в претензии. Я – сторонник русского народа, а не патриот государства или Всероссийской империи и не думаю, чтобы нашелся кто-нибудь, ненавидящий ее более, чем я. Только, так как прежде всего следует быть справедливым, я прошу немецких патриотов соблаговолить заметить и признать, что, за исключением некоторых формальных лицемерий, их Прусское королевство и их старая Австрийская империя до 1866 г. не были много либеральнее и гуманнее, чем Всероссийская империя, и что Прусско-Германская, или *Кнуто-Германская империя*, которую немецкий патриотизм воздвигает ныне на развалинах и в крови Франции, обещает даже превзойти Русскую империю ужасами. В самом деле, разве Русская империя, как она ни отвратительна, причинила когда-нибудь Германии или Европе хоть сотую часть того зла, которое Германия причиняет ныне Франции и которым она угрожает всей Европе? Конечно, если кто и имеет право ненавидеть Русскую империю и Россию, так это поляки. Конечно, если русские когда-либо обесчестили себя и совершили ужасы, выполняя кровавые приказы своих царей, так это в Польше. Так вот, я взываю к самим полякам: совершили ли когда-либо русские армии, солдаты и офицеры, взятые в массе, десятую часть тех гнусностей, которые армии, солдаты и офицеры Германии, взятые в массе, совершают ныне во Франции? Поляки, сказал я, имеют право ненавидеть Россию. Но не немцы, если только они в то же время не ненави-

дят себя самих. В самом деле, какое зло было им когда-либо причинено Русской империей? Разве какой-либо русский император мечтал когда-либо завоевать Германию? Отторг ли он от нее когда-либо какую-нибудь провинцию? Вступали ли русский войска в Германию, чтобы уничтожить ее никогда не существовавшую республику и восстановить на троне ее деспотов, которые никогда не переставали царствовать?

Два раза только за все время, как существуют международные отношения между Россией и Германией, русские императоры причинили ей положительное зло. Первый раз Петр III, который, едва взойдя на престол в 1761 г., спас Фридриха Великого и королевство Прусское вместе с ним от неизбежного уничтожения, приказав русской армии, сражавшейся до тех пор с австрийцами против него, присоединиться к нему против австрийцев. Другой раз это был Александр I, который в 1807 г. спас Пруссию от полного уничтожения.

Вот, без сомнения, две очень плохие услуги, оказанные Россией Германии, и если немцы жалуются именно на это, я должен признать, что они тысячу раз правы. Ибо, спасая дважды Пруссию, Россия, несомненно, если и не сама сковала, то по меньшей мере помогла сковать цепи Германии. Иначе я поистине никак не могу понять, на что могут жаловаться эти добрые немецкие патриоты?

В 1813 г. русские пришли в Германию как освободители и немало способствовали, что бы там ни говорили господа немцы, освобождению ее от ига Наполеона. Или, может быть, они в претензии на того самого императора Александра за то, что он помешал в 1814 г. прусскому фельдмаршалу Блюхеру отдать Париж на разграбление, когда тот высказал такое желание? Если так, то это показывает, что пруссаки всегда имели те же инстинкты и что их природа не изменилась. Или они недовольны Александром за то, что он почти заставил Людовика XVIII дать Франции конституцию, вопреки желаниям, высказанным королем прусским и императором Австрии, и за то, что он изумил Европу и Францию, выказав себя, он, император России, более гуманным и более либеральным, чем два великих властителя Германии?

Может быть, немцы не могут простить России постыдного раздела Польши? Увы! Они не имеют на это права, ибо они сами взяли добрый кусок этого пирога. Конечно, этот раздел был преступлением. Но среди коронованных разбойников, совершивших его, был один русский и два немецких: императрица Австрии Мария Тереза и великий король Пруссии Фридрих II. Я мог бы даже сказать, что все трое были немцы, ибо развратной памяти императрица Екатерина II была не кем иным, как чистокровной немецкой принцессой. Фридрих II, как известно, обладал хорошим аппетитом. Не предложил ли он своей доброй русской кумушке разделить также и Швецию, где царствовал его племянник? Инициатива раздела Польши с полным правом принадлежала ему. Прусское королевство выиграло от него гораздо больше, чем двое других соучастников в разделе, ибо оно сорганизовалось как настоящая великая держава лишь благодаря завоеванию Силезии и этому разделу Польши.

Наконец, может быть, немцы настроены против Русской империи за свирепое, варварское, кровавое подавление двух польских революций в 1830 и в 1863 гг.? Но и на это они не имеют никакого права, ибо в 1830, как и в 1863 г., Пруссия была самой интимной сообщницей Санкт-Петербургского кабинета и верным, услужливым поставщиком его палачей. Разве граф фон Бисмарк, канцлер и основатель будущей Кнуто-Германской империи, не считал своим приятным долгом выдавать Муравьевым и Бергам всех поляков, попадавших ему в руки? А эти самые прусские лейтенанты, выставляющие теперь напоказ свою гуманность и свой пангерманский либерализм во Франции, разве они не организовали в 1863, 1864 и 1865 годах в польской Пруссии и в великом герцогстве Познани, как истые жандармы, какими они, впрочем, являются и по природе, и по вкусам, правильную охоту на несчастных польских повстанцев, бежавших от казаков, чтобы выдать их закованными в цепях русскому правительству? Когда в 1863 году Франция, Англия и Австрия послали свои протесты князю Горчакову в защиту Польши, одна Пруссия не пожелала протестовать. Ей было невозможно протестовать по той простой

причине, что с 1860 года все усилия ее дипломатии стремились к отговариванию императора Александра II от малейшей уступки полякам.[111]

Очевидно, что во всех этих отношениях немецкие патриоты не имеют права посылать упреки Русской империи. Если она фальшиво поет – и поистине ее голос отвратителен, – Пруссия, являющаяся ныне головою, сердцем и рукою великой объединенной Германии, никогда не отказывала ей в добровольном аккомпанементе. Остается, следовательно, одна последняя обида:

«Россия, – говорят немцы, – с 1815 года и по сей день оказывала гибельное влияние как на внешнюю, так и на внутреннюю политику Германии. Если Германия так долго оставалась разделенною, если она остается рабой, то этим она обязана роковому влиянию».

Признаюсь, что этот упрек мне всегда казался чрезвычайно смешным, продиктованным недобросовестностью и недостойным великого народа. Достоинство каждой нации, по-моему, должно состоять главным образом в том, чтобы каждый принимал всю ответственность за свои действия на себя, не стараясь жалким образом перекладывать свои ошибки на других. Не правда ли, это очень глупая штука, все эти причитания взрослого мальчугана, жалующегося со слезами, что кто-то его испортил, увлек на злое дело. Ну, то, что непозволительно мальчугану, еще с большим основанием должно быть запрещено нации, запрещено самим уважением, которое она должна иметь к себе самой1.

В конце этого сочинения, бросая взгляд на германо-славянский вопрос, я докажу неоспоримыми историческими фактами, что дипломатическое воздействие России на Германию, – а другого никогда и не было, – как в отношении внутреннего развития, так и в отношении ее внешнего расширения, сводилось к нулю или почти к нулю до 1866 г. и было ничтожно во всех случаях, когда эти добрые немецкие патриоты и сама русская дипломатия не создавали его в своем воображении. И я докажу, что с 1866 г. С. – Петербургский кабинет, признательный за моральное содействие, если не за материальную поддержку, которую кабинет Берлина оказывал ему во время Крымской войны и более чем когда-либо подчиненный прусской политике, сильно содействовал своим угрожающим настроением против Австрии и Франции полному успеху гигантских проектов графа фон Бисмарка и, следовательно, также окончательному созданию великой Прусско-Германской империи, установление которой увенчает, наконец, все пожелания немецких патриотов.

Как доктор Фауст, эти великолепные патриоты преследовали две цели, две противоположные тенденции: стремление к могущественной национальной единице и стремление к свободе. Желая примирить две непримиримые вещи, они долго парализовали одна другую, пока, наконец, наученные опытом, они решились пожертвовать одной, чтобы завоевать другую. Итак, теперь на развалинах – не свободы, – они никогда не были свободны, – но их либеральных мечтаний, они строят свою великую Прусско-Германскую империю. Отныне они, по их собственному признанию, *свободно* составят могущественную нацию, чудовищное государство и рабский народ.

* * *

В течение пятидесяти лет подряд, с 1815 по 1866 гг., немецкая буржуазия переживала своеобразную иллюзию относительно себя самой: она считала себя либеральной, совершенно не будучи таковой. С того времени, как она получила крещение Меланхтона и Лютера, кото-

[111] Когда посланник Великобритании в Берлине, лорд Блумфильд, если не путаю имени, предложил г. фон Бисмарку подписать от имени Пруссии знаменитый протест западных держав, г. фон Бисмарк отказался, сказав английскому посланнику: «Как хотите вы, чтобы мы протестовали, когда в течение уже трех лет мы только и делаем, что твердим России одно: не делать никакой уступки Польше». – *Прим. Бакунина*.

рые *религиозно* подчинили ее абсолютной власти ее принцев, она окончательно потеряла все свои последние инстинкты свободы. Покорность и послушание во что бы то ни стало сделались более чем когда-либо ее привычкой и обдуманным выражением ее самых интимных убеждений, результатом ее суеверного культа всемогущего государства. Бунтовское чувство, эта сатаническая гордость, отвергающая подчинение какому бы то ни было господину, божеского или человеческого происхождения, которое лишь одно создает в человеке любовь к независимости и к свободе, не только неизвестно ему, оно отталкивает, скандализует и пугает его. Немецкая буржуазия не могла бы жить без господина. Она испытывает слишком большую потребность уважать, обожать и подчиняться кому бы то ни было. Если не королю, императору, – ну, что же! – так коллективному монарху, Государству и всем чиновникам Государства, как это было до сих пор во Франкфурте, в Гамбурге, в Бремене и в Любеке, называемых республиканскими и свободными, которые перейдут под господство нового императора Германии, не заметив даже, что они потеряли свою свободу.

Следовательно, не необходимость повиноваться господину вызывает неудовольствие немецкого буржуа, ибо это в его привычках, это его вторая натура, его религия, его страсть, но незначительность, слабость, относительное бессилие того, кому он должен и хочет повиноваться. Немецкий буржуа обладает в высшей степени этой гордостью всех лакеев, которые отражают на самих себе важность, богатство, величие, могущество своего господина. Так объясняется культ задним числом исторической и почти мифической фигуры императора Германии, культ, рожденный в 1815 г. одновременно с немецким мнимым либерализмом; с тех пор он всегда обязательно ему сопутствовал и необходимо должен был рано или поздно задушить и разрушить его, как он сделал это в наши дни. Возьмите все патриотические песни немцев, сложенные с 1815 г. Я не говорю о песнях рабочих-социалистов, открывающих новую эру, пророчащих новый мир, мир всеобщего освобождения. Нет, возьмите песни буржуазных патриотов, начиная с пангерманского гимна Арндта. Какое чувство преобладает в нем? Любовь к свободе? Нет, чувство национального величия и могущества: «Где немецкое отечество?» – спрашивает он. И отвечает: «Всюду, где звучит немецкий язык». Свобода лишь весьма слабо вдохновляет певцов немецкого патриотизма. Можно бы было сказать, что они упоминают о ней лишь из приличия. Их серьезный и искренний энтузиазм принадлежит лишь одному национальному единению. И даже сегодня какими аргументами пользуются они, чтобы доказать обитателям Эльзаса и Лотарингии, которые были крещены во французы революцией и которые в настоящий момент столь ужасного для них кризиса чувствуют себя французами более страстно, чем когда бы то ни было, – чтобы доказать этим обитателям Эльзаса и Лотарингии, что они немцы и должны снова стать немцами? Обещают ли они им свободу, освобождение труда, большое материальное благосостояние, благородное и широкое человеческое развитие? Нет, ничего подобного. Эти аргументы так мало трогают их самих, что они не понимают даже, что они могут трогать других. Впрочем, они не осмелились бы доводить так далеко ложь во времена гласности, когда ложь делается столь трудною, если не невозможною. Они знают, и все знают, что эти прекрасные вещи не существуют в Германии и что Германия может стать великой Кнуто-Германской империей, лишь отказавшись от них надолго, даже в мечтах своих, ибо действительность стала ныне слишком захватывающей, слишком грубой, чтобы в ней было место и досуг для мечтаний.

За отсутствием всех этих великих вещей, одновременно реальных и человеческих, о чем говорят им публицисты, ученые, патриоты и поэты немецкой буржуазии? О былом величии Германской империи, о Гогенштауфенах и об императоре Барбароссе. Не сошли ли они с ума? Не идиоты ли они? Нет, они – немецкие буржуа, немецкие патриоты. Но какого же дьявола эти добрые буржуа, эти великолепные патриоты обожают это великое католическое, императорское и феодальное прошлое Германии? Находят ли они в нем, как итальянские города в двенадцатом, тринадцатом, четырнадцатом и пятнадцатом веках, воспоминания о могуществе, свободе,

умственной жизни и славе буржуазии? Разве буржуазия или, если мы хотим расширить это слово, сообразуясь с духом этих отдаленных времен, нация, немецкий народ был тогда менее грубо придавлен, менее угнетен своими принципами-деспотами и своим надменным дворянством? Нет, конечно, это было хуже, чем теперь. Но тогда чего хотят они искать в прошлых веках, эти буржуазные ученые в Германии? Могущество господина. Таково честолюбие лакеев.

В присутствии того, что происходит сегодня, сомнения более невозможны. Немецкая буржуазия никогда не любила, не понимала и не хотела свободы. Она живет в своем рабстве, спокойная и счастливая, как мышь в сыре, и хочет только, чтобы сыр был большим. С 1815 года до наших дней она хотела лишь одного. Но этого одного она хотела с настойчивой, *энергичной* и достойной более благородного объекта страстью. Она хотела чувствовать себя под рукой могущественного господина, будь он жестокий и грубый деспот, лишь бы он мог дать, в награду за ее необходимое рабство, то, что она называет своим национальным величием, лишь бы он заставлял дрожать все народы, включая сюда и немецкий народ во имя германской цивилизации.

Мне возразят, что буржуазия всех стран выказывает ныне те же стремления, что повсюду она испуганно старается укрыться под покровительство военной диктатуры, ее последнее убежище против все более и более угрожающих нашествий пролетариата. Всюду она отказывается от своей свободы, во имя спасения своего кошелька, и, чтобы сохранить свои привилегии, она отказывается от своего права. Буржуазный либерализм во всех странах сделался ложью и едва существует лишь по имени.

Да, это правда. Но, по меньшей мере в прошлом, либерализм итальянских, швейцарских, голландских, бельгийских, английских и французских буржуа действительно существовал, тогда как либерализм буржуазии немецкой никогда не существовал. Вы не найдете никаких следов его ни до, ни после Реформации.

История немецкого либерализма

Гражданская война, столь пагубная для могущества государств, напротив того и как раз по этой самой причине, всегда благоприятна пробуждению народной инициативы и интеллектуальному, моральному и даже материальному развитию народов. Причина этого очень проста: гражданская война нарушает, колеблет в массах баранье состояние, столь дорогое правительствам и превращающее народ в стада, которые пасут и стригут по желанию. Она порывает оскотинивающее однообразие их ежедневного существования, машинального, лишенного мысли и, заставляя думать над претензиями различных принцев или партий, оспаривающих друг у друга право угнетать и эксплуатировать их, приводит их чаще всего к сознанию, если не продуманному, то по меньшей мере инстинктивному, той глубокой истины, что как один, так и другие не имеют права на них и что намерения их всех одинаково дурны. Кроме того, с момента, как обычно усыпленная мысль масс просыпается в одном направлении, она неизбежно начинает работать и в других направлениях. Ум народа возбуждается, порывает со своей вековой неподвижностью, и, выходя за пределы машинальной веры, разбивая иго традиционных и окаменелых представлений или понятий, которые заменяли ему всякие мысли, он подвергает все вчерашние кумиры страстной суровой критике, направляемой его здравым смыслом и его честной совестью, часто более стоящею, нежели наука. Так пробуждается ум народа. С умом родится в нем священный инстинкт, чисто человеческий инстинкт бунта, источник всякого освобождения, и одновременно развиваются его мораль и его материальное благосостояние, дети-близнецы свободы. Эта свобода, столь благодательная для народа, находит поддержку, гарантию и поощрение в самой гражданской войне, которая, разделяя его угнетателей, эксплуататоров, опекунов или господ, необходимо уменьшает зловредное могущество тех и других. Когда господа дерутся между собою, бедный народ, освобожденный по меньшей мере отча-

сти от однообразная общественного порядка или, скорее, от анархии и окаменелой несправедливости, которые ему навязаны под именем общественного порядка их ненавистной властью, может вздохнуть несколько свободнее. Впрочем, противные стороны, ослабленные разделением и борьбой, нуждаются в симпатии масс, чтобы победить в борьбе друг с другом. Народ становится любовницей, перед которой заискивают, за которой ухаживают, которую задабривают. Ему дают всевозможные обещания, ему делают различные действительные политические и материальные уступки. Если он не освобождает себя в такой момент – он сам целиком виноват в этом.

Как раз при таких обстоятельствах более или менее освободились в средние века коммуны всех стран Западной Европы. По способу, каким они освободились, и, особенно по политическим, интеллектуальным и социальным результатам, которые они сумели извлечь из своего освобождения, можно судить об уме, естественных стремлениях и темпераментах различных национальностей.

Так, уже к концу одиннадцатого века мы видим Италию обладающею полным развитием ее муниципальных свобод, торговли и рождающихся искусств. Города Италии сумели использовать начинавшуюся памятную борьбу императоров и пап, чтобы завоевать свою независимость. В том же веке Франция и Англия переживают уже полный расцвет схоластической философии, и, как следствие этого первого пробуждения мысли в области веры и этого первого смутного бунта разума против веры, мы видим на юге Франции зарождение ереси, занесенной из романской Швейцарии. В Германии же – ничего. Она работает, молится, поет, строит свои храмы – великолепное выражение ее крепкой и наивной веры, и повинуется безропотно своим священникам, дворянам, принцам и императорам, которые грубо обращаются с ней и грабят ее без жалости и стыда.

В двенадцатом веке образуется великая Лига независимых и свободных городов Италии против императора и против папы. С политической свободой, естественно, начинается бунт ума. Великий Арно де Брешиа сожжен в Риме в 1155 году за ересь. Во Франции сжигают Пьера де Брюи и преследуют Абеляра. И что еще существеннее – поистине народная и революционная ересь Альбигойцев восстает против господства папы, священников и феодальных сеньеров. Преследуемые, они распространяются во Фландрии, в Богемии, до Болгарии, но не в Германии. В Англии король Генрих I Боклерк вынужден подписать хартию, основу всех последующих свобод. Среди всего этого движения одна верная Германия остается неподвижной и незатронутой. Ни одной мысли, ни одного акта, который отметил бы пробуждение мысли, ни одного акта, который отметил бы пробуждение независимой воли или какого-либо стремления в народе. Только два важных факта можно отметить за это время. Во-первых, создание двух новых рыцарских орденов: тевтонских крестоносцев и ливонских оруженосцев. Задачей обоих была подготовка величия и мощи будущей Кнуто-Германской империи путем пропаганды оружием католицизма и германизма на севере и на северо-востоке Европы. Известен единообразный и постоянный метод, который употребляли эти любезные пропагандисты Евангелия Христа, чтобы обратить в христианство и германизировать славянские варварские и языческие населения. Впрочем, это тот же самый метод, который употребляется теперь их достойными преемниками для *морализации*, для *цивилизации*, для *германизации* Франции; эти три различных глагола в мыслях и на языке немецких патриотов равнозначащи. Это массовые и единичные избиения, пожары, грабежи, насилия, уничтожение одной части населения и порабощение другой. В завоеванных странах, вокруг лагерей вооруженных цивилизаторов, образовывались затем немецкие города. В них поселялся святой епископ, благословляющий, несмотря ни на что, все преступления, совершенные или затеянные этими благородными разбойниками. С ним являлась стая попов, и они насильно крестили уцелевших от погромов, а затем заставляли этих рабов строить церкви. Привлеченные таким обилием святости и славы, прибывали затем эти добрые немецкие буржуа, смиренные, раболепные, подло-почтительные

перед дворянской наглостью, ползающие на коленях перед установленными политическими и религиозными властями – одним словом, низкопоклонничающие перед всем, что представляет какую-либо власть, но в высшей степени жестокие и полные презрения и ненависти к туземному побежденному населению. Впрочем, к этим если не очень блестящим, то, во всяком случае, полезным качествам они присоединяли силу, ум, упорство в труде и удивительную способность роста и распространения, что делало этих трудолюбивых паразитов весьма опасными для независимости и цельности национального характера даже в стране, где они поселились не по праву завоевания, но из милости, как, например, в Польше. Таким образом восточная и западная Пруссия и часть великого герцогства Познанского в один прекрасный день оказались германизированными. Второй германский акт, совершившийся в этом веке, – это возрождение римского права, вызванное, конечно, не национальной инициативой, но специальным повелением императоров, которые, поддерживая и распространяя изучение вновь обретенных Пандектов Юстиниана, подготовляли основы для современного абсолютизма.

В тринадцатом веке немецкая буржуазия кажется наконец пробудившейся. Войне Гвельфов и Гиббелинов, продолжавшейся около столетия, удалось прервать ее песни и мечты и вызвать ее из ее набожной летаргии. Она начала поистине умелой хозяйской рукой. Следуя, несомненно, примеру, который им дали города Италии, торговые сношения которой распространились по всей Германии, более шестидесяти немецких городов образовали чудовищную торговую и неизбежно политическую лигу, знаменитую Ганзу.

Если бы немецкая буржуазия имела инстинкт свободы, хотя бы даже частичный и ограниченный, какой только и был доступен в эти отдаленные времена, она могла бы завоевать свою независимость и установить свое политическое могущество уже в тринадцатом веке, как это сделала гораздо раньше итальянская буржуазия. Политическое положение немецких городов в эту эпоху, впрочем, вполне было сходно с положением итальянских городов, с которыми они были связаны вдвойне – и претензиями Священной Империи, и более реальными торговыми отношениями.

Как республиканские города Италии, немецкие города могли рассчитывать лишь на себя самих. Они не могли, как коммуны Франции, опереться на возрастающее могущество монархической централизации, так как власть императоров, которая гораздо более основывалась на их способностях и на их личном влиянии, нежели на политических институтах, и вследствие этого изменялась с переменой лиц, никогда не могла укрепиться и пустить корни в Германии. Впрочем, вечно занятые делами Италии и их бесконечной борьбой с папами, они проводили три четверти своего времени вне Германии. По этим двум причинам власть императоров, вечно непрочная и вечно оспариваемая, не могла представить собою, как и власть королей Франции, достаточную и серьезную поддержку освобождению коммун.

Города Германии не могли так же, как и английские коммуны, объединиться с земельной аристократией против власти императора, чтобы потребовать свою долю политической свободы: царский дом и вся феодальная знать Германии в противоположность английской аристократии всегда отличались совершенным отсутствием политического смысла. Это было просто сборище грубых разбойников, свирепых, глупых, невежественных, склонных лишь к жестокой и грабительской войне, разврату и сладострастию. Они были годны лишь для нападений на городских торговцев на большой дороге или для разграбления самих городов, когда чувствовали себя в силах, но не для понимания пользы союза с ними.

Немецкие города, чтобы защищаться против грубого притеснения, против придирок и регулярного или нерегулярного грабежа императоров, властительных принцев и дворян, могли, следовательно, в действительности рассчитывать лишь на свои собственные силы и на союз между собой. Но чтобы этот союз, эта самая Ганза, которая всегда была лишь почти исключительно торговым союзом, могла доставить им достаточное покровительство, следовало бы, чтобы она приняла определенно-политический характер и значение: чтобы она вмешалась,

как признанная и уважаемая сторона, в самую конституцию и во все как внутренние, так и внешние дела Империи.

Впрочем, обстоятельства были в высшей степени благоприятны. Могущество всех властей Империи было значительно ослаблено борьбой Гиббелинов и Гвельфов; и раз немецкие города почувствовали себя достаточно сильными для образования взаимной защиты против всех угрожавших им грабителей, коронованных или некоронованных, ничто не мешало им придать этой лиге гораздо более положительный политический характер, характер могучей коллективной силы, требующей уважения и заставляющей уважать себя. Они могли сделать больше; пользуясь более или менее фиктивным союзом, который мистическая святая Империя установила между Италией и Германией, немецкие города могли бы объединиться или сфедерироваться с итальянскими городами, подобно тому, как они объединились с фламандскими городами и позже даже с некоторыми польскими городами. Они, конечно, должны были бы сделать это не на узконемецкой, а на широкой международной базе. И кто знает, не придал ли бы такой союз, в котором к природной, несколько грубой и тяжеловатой силе немцев, присоединились ум, политический талант и любовь к свободе итальянцев, политическому и социальному развитию Запада совсем иное и гораздо более благоприятное направление для цивилизации всего мира. Единственная крупная невыгода, которая, вероятно, произошла бы от такого союза, было бы образование нового политического слоя, могущественного и свободного, вне рядов земледельческих масс и, следовательно, враждебного им; крестьяне Италии и Германии тогда находились бы еще в большой зависимости от феодальных сеньеров, чего, впрочем, и так не удалось избежать, ибо муниципальная организация городов имела своим последствием глубокое разделение крестьян от буржуа и их рабочих, как в Италии, так и в Германии.

Но не будем мечтать за этих добрых немецких буржуа! Они достаточно мечтают сами. Только, к несчастью, предметом их мечтаний никогда не была свобода. Они никогда, ни в те времена, ни позже, не обладали интеллектуальными и моральными предрасположениями, необходимыми для понимания, для любви, для желания и создания свободы. Дух независимости был им всегда чужд. Бунт для них так же отвратителен, как и ужасен. Он несовместим с их покорным и подчиненнным характером, с их терпеливо и мирнотрудолюбивыми привычками, с их одновременно рассудочным и мистическим культом власти. Можно сказать, что все немецкие буржуа родятся с шишкой набожности, общественного порядка и послушания во что бы то ни стало. Люди с такими предрасположениями никогда не становятся свободными и даже посреди самых благоприятных условий остаются рабами.

Это и случилось с Лигой ганзейских городов. Она никогда не преступала границ умеренности и благоразумия, стремясь лишь к трем вещам: чтобы ей предоставили мирно обогащаться от ее промышленности и торговли; чтобы уважали ее организацию и внутреннее законоуправление и чтобы от нее не требовали слишком больших денежных жертв в обмен на покровительство или терпимость, которые ей оказывали. Что же касается общих дел Империи, как внутренних, так и внешних, немецкая буржуазия охотно предоставляла заботы о них «большим господам», будучи слишком скромна сама, чтобы вмешиваться в них.

Такая большая политическая умеренность необходимо должна была сопровождаться или скорее даже являться верным симптомом большой медленности в интеллектуальном и социальном развитии нации. И в самом деле, мы видим, что за весь тринадцатый век немецкий ум, несмотря на большое торговое и промышленное движение, несмотря на все материальное процветание немецких городов, не произвел решительно ничего. В тот самый век в школах Парижского университета, невзирая на короля и папу, проповедовали уже доктрину, смелость которой привела бы в ужас наших метафизиков и наших теологов. Эта доктрина утверждала, например, что мир, будучи вечным, не мог быть сотворенным, и отрицала нематериальность душ и свободную волю. В Англии мы видим великого монаха Роджера Бекона, предшественника современной науки и действительного изобретателя компаса и пороха, хотя немцы и

хотели бы приписать себе это полезное изобретение, без сомнения, для того, чтобы опровергнуть известную пословицу. В Италии родился Данте. В Германии – полнейшая интеллектуальная ночь.

В шестнадцатом веке Италия обладала уже великолепной национальной литературой: Данте, Петрарка, Боккацио; и в области политической – Риенции и Мишель Ландо, рабочий-чесальщик, хоругвеносец во Флоренции. Во Франции коммуны, представленные в Генеральных Штатах, окончательно определяют свой политический характер, поддерживая королевство против аристократии и папы. Это также век жаккерии, первого деревенского восстания Франции, восстания к которому искренние социалисты не будут испытывать, конечно, ни презрения, ни тем более ненависти буржуа.

В Англии Джон Виклеф, истинный инициатор религиозной реформации, начинает свои проповеди. В Богемии, славянской стране, составляющей, к сожалению, часть Германской империи, мы сталкиваемся в народных массах, среди крестьян, с интереснейшей и симпатичнейшей сектой Братцев, осмелившейся выступить на борьбу с небесным деспотом, встав на сторону Сатаны, этого духовного главы всех прошлых, настоящих и будущих революционеров, истинного виновника – по свидетельству Библии – человеческого освобождения, отрицателя небесной империи, как мы являемся отрицателями всех земных империй, творца свободы, того, кого Прудон в своей книге о Справедливости приветствовал с красноречием, исполненным любви. Братцы подготовили почву для революции Гусса и Жижки. Наконец, швейцарская свобода родилась в том же веке.

Бунт немецких кантонов Швейцарии против деспотизма Габсбургского дома – явление, столь противное национальному духу Германии, что необходимым, непосредственным последствием его было образование новой швейцарской нации, крещенной во имя бунта и свободы и как таковой отделенной отныне непреодолимым барьером от Германской империи.

Немецкие патриоты любят повторять словами знаменитой пангерманской песни Арндта, что «их отечество распространяется повсюду, где звучит немецкая речь, воспевающая хвалу Господу Богу».

So weit die deutsche Zunge klingt,
Und Gott im Himmel Lieder singt.

Если бы они хотели скорее считаться с истинным смыслом их истории, нежели с вдохновениями их всепожирающей фантазии, они должны были бы сказать, что их отечество распространяется повсюду, где существует рабство народов, и перестает быть там, где начинается свобода.

Не только Швейцария, но и города Фландрии, хотя и связанные с немецкими городами материальными интересами, интересами возрастающей и процветающей торговли, и несмотря на то, что они принимали участие в Ганзейской лиге, стремились, начиная с того века, все больше отделиться от Германии под влиянием этой самой свободы.

В Германии на протяжении всего этого века среди возрастающего материального процветания – никакого ни интеллектуального, ни социального движения. В политике только два события: первое – декларация принцев Империи, которые, увлеченные примером королей Франции, объявили, что Империя должна быть не зависимой от папы и что императорское достоинство исходит от одного Бога; второе – учреждение знаменитой Золотой Буллы, которая окончательно организует Империю и решает, что отныне будет существовать семь принцев – избирателей в честь семи золотых светильников Апокалипсиса.

Вот, наконец, мы подошли к пятнадцатому веку – это век Возрождения. Италия в полном расцвете. Вооруженная философией, обретенной в Древней Греции, она разбивает тягостную тюрьму, в которой католицизм на протяжении десяти веков держал заключенным чело-

веческий ум. Вера падает, возрождается свободная мысль. Это сверкающая и радостная заря человеческого освобождения. Свободная почва Италии покрывается свободными и смелыми мыслителями. Сама Церковь становится языческой. Папы и кардиналы, пренебрегая святым Павлом ради Аристотеля и Платона, проникаются материалистической философией Эпикура и, забыв христианского Юпитера, служат лишь Вакху и Венере. Впрочем, это не мешает им время от времени преследовать свободных мыслителей, увлекательная пропаганда которых грозит уничтожить в народных массах веру в этот источник папского могущества и доходов. Пламенный знаменитый пропагандист новой веры, веры человеческой, Пик де Мирандоль, умерший таким молодым, особенно навлекает на себя громы Ватикана.

Во Франции и в Англии – затишье. В первой половине этого века – постыдная, глупая война, раздутая честолюбием королей и глупо поддержанная английской нацией, – война, которая откинула назад на целый век и Англию, и Францию. Как ныне пруссаки, англичане пятнадцатого века хотели разрушить, подчинить Францию. Они даже овладели Парижем, что не удалось еще до сих пор немцам, несмотря на все их желание[112], и сожгли Жанну д'Арк в Руане, как немцы вешают ныне вольных стрелков. Они были наконец изгнаны из Парижа и из Франции, что случится, будем надеяться, и с немцами.

Во второй половине пятнадцатого века во Франции мы видим зарождение истинного королевского деспотизма, укрепленного этой войной. Это – эпоха Людовика XI, грубого бурбона, который стоит один Вильгельма I с его Бисмарком и Мольтке, это – основатель бюрократической и военной централизации Франции, создатель государства. Он еще снисходит иногда до того, чтобы опереться на корыстные симпатии своей верной буржуазии, которая с удовольствием любуется, как ее добрый король сносит столь надменные и гордые головы ее феодальных сеньеров. Но чувствуется уже по манере его обращения с нею, что, если она не хотела бы его поддерживать, он сумел бы заставить ее. Всякая независимость – дворянская или буржуазная, духовная или телесная – ему одинаково противна. Он уничтожает рыцарство и учреждает военные ордена – в этом выражается его попечение о дворянстве. Он облагает свои любезные города сообразно своему капризу и диктует свою волю Генеральным Штатам – такова при нем свобода буржуазии. Наконец, он запрещает чтение сочинений авторов-материалистов, не допускающих реальности отвлеченных идей, и приказывает чтение ортодоксальных мыслителей, защищающих *реальное* существование этих идей, – такова свобода мысли. И что же! Несмотря на столь тяжкое давление, во Франции в конце пятнадцатого века появляется Рабле, глубоко народный галльский гений, преисполненный духа человеческого бунта, характеризующего век Возрождения.

В Англии, несмотря на ослабление народного духа – естественное последствие постыдной войны, которую она вела с Францией в течение всего пятнадцатого века, – ученики Виклефа пропагандируют доктрину своего учителя, несмотря на жестокие преследования, жертвами коих они становятся, и подготовляют таким образом почву для религиозной революции, которая вспыхнула сто лет спустя. В то же время путем индивидуальной, неслышной невидимой и неуловимой, но тем не менее очень живучей пропаганды в Англии, как и во Франции, свободный дух Возрождения стремится создать новую философию. Фламандские города, ревнивые к своей свободе и сильные своим материальным процветанием, входят целиком в современное аристократическое и индивидуальное развитие, еще больше отделяясь благодаря этому от Германии.

Что касается Германии, мы видим ее спящею самым глубоким сном в течение всей первой половины этого века. И, однако, в недрах Империи и в самом непосредственном соседстве с Германией произошло громадного значения событие, которое было достаточным, чтобы

[112] Эти страницы были написаны между 11 и 16 февраля 1871 г. – *Дж. Г.*

встряхнуть оцепенение любой другой нации. Я имею в виду религиозный бунт Иоанна Гусса, великого славянского реформатора.

* * *

С чувством глубокой симпатии и братской гордости думаю я об этом великом национальном движении славянского народа. Это было больше чем религиозное движение – это был победоносный протест против немецкого деспотизма, против аристократическо-буржуазной цивилизации немцев, это был бунт классической славянской общины против немецкого Государства. Два великих славянских бунта имели уже место в одинна-дцатом веке. Первый был направлен против благочестивого угнетения храбрых тевтонских рыцарей, предков нынешних дворянчиков-лейтенантов Пруссии. Славянские инсургенты сожгли все церкви и истребили всех священников. Они ненавидели христианство, представлявшее германизм в его наименее привлекательной форме. Это были любезный рыцарь, добродетельный священник и честный буржуа, все трое чистокровные немцы, представляющие как таковые идею власти во что бы то ни стало и реальность грубого, наглого и жестокого угнетения. Второе восстание произошло тридцатью годами позже в Польше. Это было первое и единственное восстание чисто польских крестьян. Оно было подавлено королем Казимиром. Вот какое суждение об этом событии дал великий польский историк Лелевель, патриотизм и даже известное предпочтение которого к классу, который он называл *благородной демократией*, не могут быть никем подвергнуты сомнению: «Партия Маслова (глава восставших крестьян Мазовии) была народной и в союзе с язычеством; партия Казимира была аристократической и сторонницей христианства» (то есть германизма). И дальше он прибавляет: «Безусловно, нужно рассматривать это гибельное событие как победу, одержанную над низшими классами, участь которых могла лишь ухудшиться впоследствии. *Порядок был восстановлен*, но ход социального состояния повернулся с тех пор сильно к невыгоде низших классов». (История Польши Иоакима Лелевеля. Т. II, стр. 19).

Богемия позволяла себя германизировать еще больше, чем Польша. Как и Польша, она никогда не была завоевана немцами, но дала им глубоко испортить себя. Будучи членом Священной Империи с момента ее образования как Государства, она никогда, к своему несчастью, не могла отделиться от нее и восприняла все ее клерикальные, феодальные и буржуазные учреждения. Города и дворянство Богемии частью германизировались; дворянство, буржуазия и духовенство были немецкими не по рождению, но по крещению, точно так же по своему воспитанию и политическому и социальному положению, ибо первобытная организация славянских общин не признавала ни священников, ни классов. Одни лишь крестьяне Богемии не были поражены этою немецкою чумою и, разумеется, являлись ее жертвами. Этим объясняется их инстинктивные симпатии ко всем крупным народным ересям. Так, ересь де-Во распространилась в Богемии уже в двенадцатом веке и секта Братцев в четырнадцатом, и к концу этого века настала очередь для ереси Виклефа, сочинения которого были переведены на богемский язык. Все эти ереси стучали также и в двери Германии; они даже должны были пересечь ее, чтобы достигнуть Богемии. Но в недрах немецкого народа они не встретили ни малейшего отзвука. Нося в себе семена бунта, они должны были скользить по его непоколебимой верности, не затронув ее, не будучи даже в силах нарушить его глубокий сон. Напротив того, они нашли благодатную почву в Богемии, народ которой, порабощенный, но не германизированный, проклинал от всего сердца и это рабство, и всю аристократически-буржуазную цивилизацию немцев. Этим объясняется, почему на пути религиозного протеста чешский народ должен был на целый век опередить немецкий народ.

Одним из первых проявлений этого религиозного движения в Богемии было массовое изгнание всех немецких профессоров из Пражского университета – ужасное преступление, которое немцы никогда не могли простить чешскому народу. И, однако, если взглянуть на дело

поближе, придется согласиться, что этот народ был тысячу раз прав, изгоняя этих патентованных и угодливых развратителей славянской молодежи. Стоит вспомнить, чем были немецкие профессора – за исключением очень короткого периода около тридцати пяти лет, между 1813 и 1848 годами, когда *тлетворный дух* либерализма и даже французского демократизма проскользнул контрабандой и удержался в немецких университетах, представленный там двадцатью-тридцатью славными учеными, воодушевленными искренним либерализмом; до этого времени они были, а после под влиянием реакции 1849 г. снова стали льстецами всех властвующих, учителями раболепства. Происшедшие из немецкой буржуазии, они добросовестно отражают ее стремление и дух. Их наука есть верное проявление рабского сознания. Это идейное освящение исторического рабства.

Немецкие профессора пятнадцатого века в Праге были по крайней мере столь же низкопоклонны, такие же лакеи, как и профессора нынешней Германии, которые телом и душою преданы Вильгельму I, свирепому, будущему господину Кнуто-Германской империи. Они были рабски преданы заранее всем императорам, каких благоугодно будет семи апокалиптическим принцам – избирателям Германии дать Священной германской империи. Им было безразлично, кто бы ни был господином, лишь господин был бы, так как общество без господина – чудовищность, которая необходимо должна возмущать их немецко-буржуазное воображение. Общество без господина было бы ниспровержением германской цивилизации.

Какие же науки преподавали эти немецкие профессора пятнадцатого века? Римско-католическую теологию и кодекс Юстиниана – два орудия деспотизма. Прибавьте сюда схоластическую философию, и притом в такую эпоху, когда она, оказавшая, несомненно, в прошлых веках большие услуги освобождению духа, остановилась и как бы застыла в своей чудовищной и педантичной неповоротливости, в которой современная мысль, одушевленная предчувствием, если еще не обладанием, живой науки, пробила не одну брешь. Прибавьте сюда еще немножко варварской медицины, преподаваемой, как и все остальное, на самой варварской латыни, и перед вами весь научный багаж этих профессоров. Стоило ли все это того, чтобы удерживать их? Напротив, было крайне важно как можно скорее удалить их, ибо помимо того, что они развращали молодежь своим обучением и своим раболепным примером, они были весьма ревностными агентами этого рокового дома Габсбургов, который уже вожделял Богемию в качестве своей добычи.

Ян Гус и Иероним Парижский, его друг и ученик, много содействовали их изгнанию. Поэтому, когда император Сигизмунд, нарушая право неприкосновенности, которое он им обещал, предал их сперва суду Констанского Собора, а затем велел сжечь их обоих, одного в 1415 г., а другого в 1416 г., там, в сердце Германии, в присутствии громадного стечения немцев, прибывших издалека, чтобы насладиться зрелищем, не раздался ни один голос, протестующий против этой вероломной и бесчестной жестокости. Нужно было, чтобы прошло еще сто лет для того, чтобы Лютер реабилитировал в Германии память этих двух великих славянских реформаторов и мучеников.

Но, если немецкий народ, вероятно, еще спящий и грезящий, оставил без протеста это постыдное преступление, чешский народ протестовал чудовищной революцией. Великий, грозный Жижка, этот народный герой-мститель, память о ком живет еще как залог будущего в недрах богемских деревень, восстал и, во главе своих таборитов исколесив всю Богемию, сжигал церкви, истреблял священников и сметал всех паразитов, императорских или немецких, что тогда было равнозначаще, ибо все немцы в Богемии были сторонниками императора. После Жижки явился великий Прокоп, вселявший ужас в сердца немцев. Даже сами буржуа Праги, впрочем, бесконечно более умеренные, чем гусситы деревень, в 1419 году выбрасывали, по старинному обычаю страны, в окна сторонников императора Сигизмунда, когда этот бесчестный клятвопреступник имел наглую циническую смелость заявить себя претендентом на вакантную корону Богемии. Хороший пример, достойный подражания! Так следовало бы

поступать ввиду всемирного освобождения со всеми, кто захотел бы навязать себя народным массам в качестве *официальной власти*, под какой бы маской, под каким бы предлогом и под каким бы наименованием это ни было.

В течение семнадцати лет подряд эти ужасные Табориты, живя друг с другом в братских общинах, побивали все Саксонские, Франконские, Баварские, Рейнские и Австрийские войска, которые император и папа посылали в крестовые походы против них. Они очищали Моравию и Силезию и несли ужас своего оружия в самое сердце Австрии. Они были, наконец, побиты императором Сигизмундом. Почему? Потому что они были ослаблены интригами и изменой тоже чешской партии, но образованной коалицией туземного дворянства и буржуазии Праги, немцев по воспитанию, положению, идеям и нравам, если не по сердцу, и называвшейся из оппозиции к Таборитам – коммунистам и революционерам – партией *калистенов*, требующей *мудрых и возможных* реформ, представлявшей, одним словом, в эту эпоху в Богемии ту самую политику лицемерной умеренности и умелого бессилия, которую так хорошо представляют теперь гг. Палацкий, Ригер, Браунер и К*о*.

Начиная с этой эпохи народная революция быстро пошла на убыль, уступая место сперва дипломатическому влиянию, а век спустя господству австрийской династии. Политики, умеренные, ловкие, пользуясь победой гнусного Сигизмунда, овладели правительством, как они сделают, вероятно, с Францией, после окончания этой войны и для вящего несчастья Франции. Они послужат – одни сознательно и с большой пользой для своих карманов, другие глупо, сами не подозревая того, – орудием австрийской политики, как Тьеры, Жюли Фавры, Жюли Симоны, Пикары, и много других послужат орудиями в руках Бисмарка. Австрия магнетизировала и вдохновляла их. Двадцать пять лет спустя после поражения гусситов Сигизмундом эти ловкие и осторожные патриоты нанесли последний удар независимости Богемии, разрушив руками своего короля Подебрада город Табор или скорее военный лагерь таборитов. Так буржуазные республиканцы Франции восстановляют и еще больше будут восстановлять своего президента или короля против социалистического пролетариата, этого последнего военного лагеря будущего и национального достоинства Франции.

В 1526 году корона Богемии досталась, наконец, австрийской династии, которая уже больше не выпустила ее из своих рук. В 1620 г. после агонии, длившейся немного меньше ста лет, Богемия, преданная мечу и огню, опустошенная, разграбленная, разгромленная и наполовину обезлюдевшая, разом потерявшая все, что оставалось у нее от былой самостоятельности, национального существования и политических прав, оказалась закованной под тройным игом императорской администрации, немецкой цивилизации и австрийских иезуитов. Будем надеяться, для чести и спасения человечества, что с Францией не случится того же.

В начале второй половины пятнадцатого века немецкая нация представила, наконец, доказательство ума и жизни, и это доказательство, нужно признаться, было блестящим. Она изобрела книгопечатание, и этим путем, созданным ею самою, она вошла в сношения с интеллектуальным движением всей Европы. Ветер Италии, сирокко свободной мысли, пахнул на нее, и под этим горячим дыханием растаяли ее варварское безразличие, ее ледяная неподвижность. Германия делается гуманистской и гуманной.

Кроме прессы, был еще и другой менее общий и более живой способ сношений. Немецкие путешественники, возвращаясь из Италии к концу этого века, приносили из нее новые идеи, Евангелие человеческого освобождения и пропагандировали его с религиозной страстью. И на этот раз драгоценное семя не было утеряно. Оно нашло в Германии почву, совсем подготовленную для его восприятия. Эта великая нация, пробужденная к мысли, к жизни, к действию, в свою очередь, должна была взять в свои руки управление умственным движением. Но увы! Она оказалась неспособной сохранить его за собой больше двадцати пяти лет.

Следует хорошо различать движение Возрождения и движение религиозной Реформы. В Германии первое очень немного предварило лишь второе. Был короткий период между 1517

и 1525 годами, когда эти два движения казались слившимися, хотя они были воодушевлены совершенно противоположным духом. Одно было представлено такими людьми, как Эразм, Рейхлин, благородный, героический Ульрих фон Гуттен, поэт и гениальный мыслитель, ученик Пик де Мирандоля и друг Франца фон Сиккенгена, Эколампада и Цвингли, который образовал в некотором роде связь между чисто философским движением Возрождения, чисто религиозным превращением веры благодаря протестантской Реформе и революционным восстанием масс, вызванным первыми проявлениями этой реформы. Другое движение представлено главным образом Лютером и Меланхтоном, двумя отцами нового религиозного и теологического развития Германии. Первое из этих движений – глубоко гуманитарное – стремилось под влиянием философских и литературных работ Эразма, Рейхлина и других к полному освобождению ума и к разрушению грубых верований христианства, и в то же время благодаря более практической и более героической деятельности. Ульриха фон Гуттена, Эколампада и Цвингли оно стремилось к освобождению народных масс от дворянского и княжеского гнета. Между тем как движение Реформы, фанатически религиозное, теологическое и как таковое полное почтения к божественному и презрения к человеческому, суеверное до такой степени, что способно видеть дьявола и бросать ему чернильницу в голову, – как это, говорят, случилось с Лютером в Вартбургском замке, где еще показывают чернильное пятно на стене, – должно было необходимо сделаться непримиримым врагом и свободы ума, и свободы народов.

Во всяком случае, как я сказал уже, был момент, когда эти два движения, столь противоположные, должны были в действительности слиться, первое будучи революционным по принципу, второе вынужденное быть таковым по положению вещей. Впрочем, в самом Лютере было очевидное противоречие. Как теолог, он был и должен был быть реакционером, но по натуре, по темпераменту, по инстинкту он был страстным революционером. Он имел натуру человека из народа, и эта могучая натура отнюдь не была создана, чтобы терпеливо переносить чье бы то ни было иго. Он не хотел склоняться перед Богом, в которого слепо верил и присутствие и милость которого он, по его мнению, чувствовал в своем сердце. И во имя этого-то Бога мягкий Меланхтон, ученый-теолог, и только теолог, его друг, ученик, а в действительности его учитель и укротитель его львиной натуры, сумел окончательно приковать его к реакции.

Первые рыканья этого сурового и великого немца были совершенно революционными. Нельзя в самом деле придумать ничего более революционного, чем его манифесты против Рима; чем ругательства и угрозы, которые он бросал в лицо принцев Германии; чем страстная его полемика против лицемерного и развратного деспота и реформатора Англии Генриха VIII. С 1517 до 1525 года в Германии только и слышно было, что громовые раскаты этого голоса, который, казалось, призывал немецкий народ к общему обновлению, к революции.

Его призыв был услышан. Крестьяне Германии поднялись с грозным кличем, с кличем социалистов: «*Война дворцам, мир хижинам*!», который переводится ныне еще более грозным криком: «Долой всех эксплуататоров и всех опекунов человечества; свобода и процветание труду, равенство всех и братство человеческого мира, свободно образованного на развалинах всех государств!»

Это был критический момент для религиозной Реформы и для всей политической судьбы Германии. Если бы Лютер захотел встать во главе этого великого народного социалистического движения сельских населений, восставших против их феодальных сеньеров, если бы буржуазия городов поддержала его, все было бы покончено с Империей, деспотизмом принцев и наглостью дворян в Германии. Но для того, чтобы поддержать его, нужно было бы, чтобы Лютер не был теологом, который более озабочен божественной славой, чем человеческим достоинством, и возмущен, что угнетенные люди, рабы, которые должны бы думать лишь о вечном спасении их душ, осмеливаются требовать свою долю человеческого счастья *на этой земле*; нужно было бы также, чтобы буржуа городов Германии не были немецкими буржуа.

Раздавленный равнодушием и в весьма значительной части также явной враждебностью городов и теологическими проклятиями Меланхтона и Лютера гораздо более, нежели вооруженной силой сеньеров и принцев, этот грозный бунт крестьян Германии был побежден. Десять лет спустя было также подавлено другое восстание, последнее, которое было вызвано в Германии религиозной Реформой. Я говорю о попытке мистико-коммунистической организации анабаптистов Мюнстера, столицы Вестфалии. Мюнстер был взят, и Иван Лейденский, анабаптистский пророк, при рукоплесканиях Меланхтона и Лютера был казнен.

Впрочем, уже пять лет перед тем, в 1530 году, два теолога Германии наложили печать на все последующее движение их страны, даже религиозное, представив императору и принцам Германии свою Аугсбургскую исповедь. Эта Исповедь, разом подрезая крылья свободному полету души, отрицая даже ту самую свободу индивидуальной совести, во имя которой возникла Реформация, навязывая им, как абсолютный божественный закон, особый догматизм под охраной протестантских принцев, признанных естественными покровителями и главами религиозного культа, установила но-вую официальную Церковь, которая, будучи более абсолютна, чем даже Римско-Католическая Церковь, и столь же раболепна перед земной властью, как Византийская Церковь, стала отныне в руках этих протестантских принцев орудием ужасного деспотизма и осудила всю Германию – как протестантскую, так рикошетом и католическую – по меньшей мере на три века самого оскотиневающего рабства – рабства, которое, увы, даже ныне, как мне кажется, не расположено уступить место свободе.[113]

Было большим счастьем для Швейцарии, что Страсбургский Собор, управляющийся в том же году Цвингли и Бюсером, отверг эту конституцию рабства – конституцию якобы религиозную, – и таковою она была на самом деле, ибо во имя Бога она освящала абсолютную власть принцев. Вышедшая почти исключительно из теологической и ученой головы профессора Меланхтона, под очевидным давлением глубокого, безграничного, непоколебимого, раболепного уважения, которое всякий немецкий добропорядочный буржуа и профессор испытывает к личности своих учителей, она была слепо принята немецким народом, *потому что его принцы приняли ее*, – новый симптом не только внешнего, но и внутреннего, исторического рабства, тяготеющего на этом народе.

Эту, впрочем, столь естественную тенденцию протестантских принцев Германии разделить между собою обломки духовной власти папы или сделаться главами Церкви в пределах своих государств мы находим также и в других протестантских монархических странах, например, в Англии и в Швеции. Но ни в той, ни в другой ей не удалось восторжествовать над гордым чувством независимости, которое проснулось в народах. В Швеции, Дании и Норвегии народ, и особенно крестьянский класс, сумел удержать свою свободу и свои права как против вторжений дворянства, так и против вторжения монархии. В Англии борьба англиканской официальной Церкви с свободными Церквами пресвитерианцев Шотландии и независимых Англии привела к великой и памятной революции, от которой ведет свое счисление национальное величие Великобритании. Но в Германии столь естественный деспотизм принцев не встретил тех же препятствий. Все прошлое немецкого народа, столь преисполненное мечтами, но столь бедное

---

[113] Чтобы убедиться в раболепном духе, характеризующем Лютеранскую Церковь в Германии даже еще в наши дни, достаточно прочесть формулу декларации или письменной присяги, которую всякий лютеранский священник королевства Пруссии должен подписать и поклясться выполнять прежде, чем вступить в отправление своих обязанностей. Она не превосходит, но, конечно, равняется по раболепству обязательствам, которые налагаются на русское духовенство. Каждый евангелический священник Пруссии приносит присягу быть на всю свою жизнь преданным и покорным слугою своего государя и господина – не Господа Бога, но короля Прусского; всегда тщательно соблюдать его святые приказания и никогда не терять из вида священные интересы Его Величества; насаждать такое же уважение и такое же абсолютное повиновение среди своей паствы и *доносить правительству обо всех стремлениях, обо всех предприятиях, обо всех актах, какие могут быть противны желаниям или интересам правительства.* И подобным рабам доверяют исключительное руководство народными школами Пруссии. Это столь хваленое образование есть, следовательно, не что иное, как отравление масс, систематическая пропаганда доктрины рабства. – *Прим. Бакунина.*

свободными мыслями и действиями или народной инициативой, было отлито, если можно так выразиться, в форме набожного подчинения и почтительного послушания, покорного и пассивного; он не нашел в себе самом в этот критический момент своей истории ни достаточной энергии и независимости, ни необходимой страсти, чтобы поддержать свою свободу против традиционной и грубой власти своих бесчисленных государей, дворян и принцев. В первый момент энтузиазма он, правда, обнаружил великолепный порыв. Одно время Германия казалась слишком узкой для того, чтобы сдержать его клокочущую революционную страсть. Но это был лишь один момент, один порыв и как бы временное и искусственное проявление воспаления мозга. Скоро ему не хватило дыхания; и, отяжелев, без дыхания и без сил он рухнул. Тогда, снова обузданный Меланхтоном и Лютером, он спокойно позволил вернуть себя в стойло, под историческое и спасительное иго принцев.

Он видел во сне свободу и пробудился рабом больше чем когда-либо. С тех пор Германия сделалась истинным центром реакции в Европе. Не довольствуясь проповедованием рабства на собственном примере и посылкой своих принцев, принцесс и дипломатов для введения и пропаганды его во всех странах Европы, она сделала его предметом своих глубоких научных спекуляций. Во всех других странах администрация в самом широком смысле этого слова, как организация бюрократической и фискальной эксплуатации государством народных масс, рассматривается как искусство – искусство обуздывать народы, удерживать их в строгой дисциплине и стричь их, не заставляя кричать слишком громко. В Германии это искусство преподается как наука, во всех университетах. Эта наука могла бы быть названа современной теологией, теологией культа Государства. В этой религии земного абсолютизма государь занимает место Господа Бога, бюрократы занимают место священников, и народ, разумеется, всегда – жертва, приносимая на алтарь государства.

Если правда – как я в этом глубоко убежден, – что только инстинктом свободы, ненавистью к угнетателям и способностью взбунтоваться против сего, что носит характер эксплуатации и господства в мире, против всякого рода эксплуатации и деспотизма, проявляется человеческое достоинство германских наций и народов, нужно согласиться, что с тех пор, как существует германская нация до 1848 года, одни крестьяне Германии доказали своим бунтом в шестнадцатом веке, что эта нация не абсолютно чужда этому достоинству.

Напротив того, если бы захотели судить о германском народе по делам и проявлениям его буржуазии, то пришлось бы сделать заключение, что он предназначен осуществить собой идеал добровольного рабства.

Второй выпуск

Предисловие

Под заглавием «*Кнуто-Германская империя и социальная революция, выпуск второй*», я помещаю, согласно намерениям автора, содержание последних листов (начиная 27-й строчкой 138-го листа) большой рукописи Бакунина (не включая сюда вставки, написанной на листах 286—340, вставки, напечатанной Максом Неттлау в 1-м томе Собрания сочинений). Это продолжение рукописи должно было быть напечатано благодаря моим стараниям летом 1871 г. и было бы напечатано, если бы имелись материальные средства. Наконец, оно появляется целиком в первоначальной форме теперь, на тридцать шесть лет позже, чем надеялся автор.

В заголовке этой части рукописи Бакунин написал: «Исторические софизмы доктринерской школы немецких коммунистов». Но это заглавие не соответствует содержанию этого второго выпуска.

Автор начинает (листы 139—142) провозглашением принципа, «составляющего существенное основание позитивного социализма», а именно, что «факты рождают идеи» и что «из всех фактов экономические явления составляют существенную основу, главное основание, из которого неизбежно вытекают все остальные явления, интеллектуальные и моральные, политические и социальные». Он напоминает, что этот принцип «впервые был научно формулирован и развит Карлом Марксом». Бакунин, естественно, сам подписывается под экономическим материализмом, однако с оговоркой. «Этот принцип, – говорит он, – глубоко справедлив, когда его рассматривают в правильном освещении, т. е. с точки зрения относительной. Но когда его утверждают абсолютным образом, как единственное основание всех других принципов, как это делает школа немецких коммунистов, он становится совершенно ложным».

Здесь вместо того, чтобы немедленно приступить к затронутому вопросу, к изложению и опровержению «исторических софизмов» школы Маркса, автор прежде всего констатирует, что в прямом противоречии к провозглашенному материалистами принципу находится принцип идеалистов всех школ: идеалисты «претендуют, что идеи господствуют над фактами и производят их». И во имя материализма Бакунин нападает на идеалистическую доктрину: «Вне всякого сомнения, идеалисты ошибаются, и одни лишь материалисты правы. Да, факты определяют идеи; да, идеал, как выразился Прудон, есть лишь цветок, корнями которому служат материальные условия существования». Он посвящает листы 149—286 и длинное незаконченное примечание к 128—240 л. предварительному опровержению идеализма в его различных формах: сперва в форме религиозной, затем в форме, какую ему придал в девятнадцатом веке Виктор Кузен, – эклектизма.

Иногда в течение этой работы Бакунин вспоминает, что вся эта длинная полемика против идеализма есть лишь введение и что ему придется затем излагать настоящий предмет его работы. Два раза – на листах 213 и 229 – он снова упоминает о школе немецких коммунистов, школе «материалистов-доктринеров, которые не сумели отделаться от религии Государства», как бы для того, чтобы показать, что он не потерял из вида своего обещания, данного вначале, опровергнуть «исторические софизмы». Но рукопись осталась незаконченной и прерывается раньше, чем Бакунин мог закончить свое опровержение идеализма.

Дж. Гильом

Исторические софизмы доктринерской школы немецких коммунистов[114]

(…) Не таково мнение доктринерской школы социалистов, или скорее государственных коммунистов Германии, школы, основанной несколько раньше 1848 г. и оказавшей – надо признать это – крупные услуги делу пролетариата не только в Германии, но и в Европе. Это ей главным образом принадлежит великая идея *Международной Ассоциации рабочих*, а также и инициатива ее первого осуществления. Ныне она находится во главе *Социал-Демократической рабочей партии* в Германии, имеющей своим органом «Фольксштат» («Народное Государство»).

Это, следовательно, весьма почтенная школа, что не мешает ей по временам глубоко заблуждаться: одной из главных ее ошибок было то, что она приняла за основание своих теорий принцип, глубоко верный, когда его рассматривают в верном освещении, то есть с точки зрения относительной, но который, рассматриваемый и выставленный вне связи с условиями, как единственное основание и первоисточник всех других принципов (как это делает эта школа), становится совершенно ложным.

Этот принцип, составляющий, впрочем, существенное основание позитивного социализма, был впервые научно формулирован и развит г. Карлом Марксом, главным вождем школы немецких коммунистов. Он проходит красной нитью через знаменитый «*Коммунистический Манифест*», выпущенный в 1848 г. международным комитетом французских, английских, бельгийских и немецких коммунистов, собравшихся в Лондоне: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Этот манифест, составленный, как известно, гг. Марксом и Энгельсом, сделался основой всех дальнейших научных работ школы и агитационной деятельности, которая велась позднее Фердинандом Лассалем в Германии.

Этот принцип абсолютно противоположен принципу, признаваемому идеалистами всех школ. В то время как идеалисты выводят всю историю, включая сюда и развитие материальных интересов, и различные ступени экономической организации общества из развития идей, немецкие коммунисты, напротив того, во всей человеческой истории, в самых идеальных проявлениях как коллективной, так и индивидуальной жизни человечества, во всяком интеллектуальном, моральном, религиозном, метафизическом, научном, художественном, политическом, юридическом и социальном развитии, имевших место в прошлом и происходящих в настоящем, видели лишь отражение или неизбежное последствие развития экономических явлений. Между тем как идеалисты утверждают, что идеи господствуют над явлениями и производят их, коммунисты, наоборот, в полном согласии с научным материализмом утверждают, что явления порождают идеи и что идеи всегда суть лишь идеальное отражение совершившихся явлений; что из общей суммы всех явлений явления экономические, материальные явления в точном смысле слова представляют собою настоящую базу, главное основание; всякие же другие явления – интеллектуальные и моральные, политические и социальные, лишь необходимо вытекают из них.[115]

Кто прав, идеалисты или материалисты? Раз вопрос ставится таким образом, колебание становится невозможным. Вне всякого сомнения, идеалисты заблуждаются, а материалисты правы. Да, факты господствуют над идеями; да, идеал, как выразился Прудон, есть лишь цве-

---

[114] *Это заглавие следует в рукописи Бакунина непосредственно за фразой (в конце 138-го листа) относительно «немецкой нации», которой заканчивается первый выпуск: «Если бы, наоборот, ее хотели судить по фактам и поступкам ее буржуазии, то пришлось бы прийти к заключению, что немецкая нация как бы предназначена судьбой к тому, чтобы осуществить идеал добровольного братства». – Дж. Г.*

[115] Здесь начинается отрывок рукописи, изданной Элиаэ Реклю и Кафиэро в виде брошюры под заглавием: «Бог и Государство».

ток, материальные условия существования которого представляют его корень. Да, вся интеллектуальная и моральная, политическая и социальная история человечества есть лишь отражение его экономической истории.

Все отрасли современной сознательной и серьезной науки приходят к провозглашению этой великой основной и решительной истины: да, общественный мир, мир чисто человеческий – одним словом, человечество есть не что иное, как последнее совершеннейшее – для нас по крайней мере и применительно к нашей планете – развитие, наивысшее проявление животного начала. Но как всякое развитие неизбежно влечет за собой отрицание своей основы или исходной точки, человечество есть в то же время все возрастающее отрицание животного начала в людях. И именно это отрицание, столь же разумное, как естественное, и разумное именно потому лишь, что естественное, – в одно и то же время и историческое, и логическое, роковым образом неизбежное, как и всякое развитие и осуществление всех естественных законов мира, – оно-то и составляет и создает идеал, мир интеллектуальных и моральных условностей, идей.

Да, наши первые предки, наши Адамы и Евы, были если не гориллы, то по меньшей мере очень близкие родичи гориллы, всеядные, умные и жестокие животные, одаренные в неизмеримо большей степени, чем животные всех других видов, двумя ценными способностями: *способностью мыслить* и *способностью, потребностью бунта*.

Эти две способности, все возрастая на протяжении истории, представляют собственно «момент»[116], сторону, отрицательную силу в позитивном развитии животного начала в человеке и создают, следовательно, все то, что является человеческим в человеке.

Библия очень интересная и порою очень глубокая книга, когда ее рассматривают как одно из древнейших, дошедших до нас проявлений человеческой мудрости и фантазии, весьма наивно выражает эту истину в мифе о первородном грехе. Иегова, несомненно, самый ревнивый, самый тщеславный, самый жестокий, самый несправедливый, кровожадный, самый большой деспот и самый сильный враг человеческого достоинства и свободы из всех богов, какому когда-либо поклонялись люди, создав неизвестно по какому капризу, – вероятно, чтобы было чем развлечься от скуки, которая должна быть ужасна в его вечном эгоистическом одиночестве, или для того, чтобы обзавестись новыми рабами, – Адама и Еву, великодушно предоставил в их распоряжение всю землю со всеми ее плодами и животными и поставил лишь одно ограничение полному пользованию этими благами.

Он строго запретил им касаться плодов древа познания. Он хотел, следовательно, чтобы человек, лишенный самосознания, оставался вечно животным, ползающим на четвереньках перед вечным Богом, его Создателем и Господином. Но вот появляется Сатана, вечный бунтовщик, первый свободный мыслитель и эмансипатор миров. Он пристыдил человека за его невежество и скотскую покорность: он эмансипировал его и наложил на его лоб печать свободы и человечности, толкая его к непослушанию и вкушению плода науки.

Остальное всем известно. Господь Бог, предвидение которого, составляющее одну из божественных способностей, должно бы было, однако, уведомить его о том, что должно произойти, предался ужасному и смешному бешенству, он проклял Сатану, человека и весь мир, созданные им самим, поражая, так сказать, себя самого в своем собственном творении, как это делают дети, когда приходят в гнев. И, не довольствуясь наказанием наших предков в настоящем, он проклял их во всех их грядущих поколениях, неповинных в преступлении, совершенном их предками. Наши католические и протестантские теологи находят это очень глубоким и очень справедливым именно потому, что это чудовищно несправедливо и нелепо! Затем вспомнив, что он не только Бог мести и гнева, но еще и Бог любви, после того как он исковеркал существование нескольких миллиардов несчастных человеческих существ и осудил их на веч-

[116] «Момент» здесь является синонимом «фактора», как в выражении «психологический момент». – *Дж. Г.*

ный ад, он проникся жалостью к остальным, и, чтобы спасти их, чтобы примирить свою вечную божественную любовь со своим вечным и божественным гневом, всегда падким до жертв и крови, он послал в мир в виде искупительной жертвы своего единственного сына, чтобы он был убит людьми. Это называется тайной искупления, лежащей в основе всех христианских религий. И еще если бы божественный Спаситель спас человечество! Нет! В раю, обещанном Христом, – это известно, ибо объявлено формально, – будет лишь очень немного избранных. Остальные бесконечное большинство поколений, нынешних и грядущих, будут вечно жариться в аду. В ожидании, чтобы утешить нас, Бог, всегда справедливый, всегда добрый, отдал землю правительствам Наполенов III, Вильгельмов I, Фердинандов Австрийских и Александров Всероссийских.

Таковы нелепые сказки, преподносимые нам, и таковы чудовищные доктрины, которым обучают в самый расцвет девятнадцатого века во всех народных школах Европы, по специальному приказу правительств. Это называют – цивилизовать народы! Не очевидно ли, что все эти правительства суть систематические отравители, заинтересованные отупители народных масс?

Меня охватывает гнев всякий раз, когда я думаю о тех подлых и преступных средствах, которые употребляют, чтобы удержать нации в вечном рабстве, чтобы быть в состоянии лучше стричь их, и это отвлекло меня далеко в сторону. Ибо что в самом деле преступления всех Тропманов мира в сравнении с теми оскорблениями человечества, которые ежедневно средь бела дня на всем пространстве цивилизованного мира совершаются теми самыми, кто осмеливается называть себя опекунами и отцами народов?

Возвращаюсь к мифу о первородном грехе.

Бог подтвердил, что Сатана был прав, и признал, что дьявол не обманул Адама и Еву, обещая им науку и свободу в награду за акт неповиновения, совершить который он соблазнил их. Ибо едва они съели запрещенный плод, как Бог сказал сам себе (см. Библию): «Вот человек сделался подобен одному из Нас, он знает добро и зло. Помешаем же ему съесть плод древа жизни, дабы он не стал бессмертным, как Мы».

Оставим теперь в стороне сказочную сторону этого мифа и рассмотрим его истинный смысл. Смысл его очень ясен. Человек эмансипировался, он отделался от животности и стал человеком. Он начал историю и свое чисто человеческое развитие актом непослушания и науки, то есть *бунтом* и *мыслью*.

* * *

[117] Три элемента, или, если угодно, три основных принципа, составляют существенные условия всякого человеческого развития в истории, как индивидуального, так и коллективного: 1) *человеческая животность*, 2) *мысль* и 3) *бунт*. Первому соответствует собственно *социальная и частная экономия*, второму – *наука*; третьему – *свобода*.[118]

Идеалисты всех школ, аристократы и буржуа, теологи и метафизики, политики и моралисты, духовенство, философы или поэты – не считая либеральных экономистов, как известно, ярых поклонников идеала – весьма оскорбляются, когда им говорят, что человек со всем своим великолепным умом, своими высокими идеями и своими бесконечными стремлениями есть – как и все, существующее в мире, – не что иное, как материя, не что иное, как продукт этой *грубой материи*.

---

[117] Этот и два следующих абзаца были извлечены издателями «Бога и Государства» из того места, которое они занимают в рукописи, и перенесены в начало брошюры.

[118] Читатель найдет более полное развитие этих трех принципов в *Приложении* в конце этой книги под заглавием: *Философские соображения относительно божественного призрака, реального мира и человека*. – *Прим. Бакунина.*

Мы могли бы ответить им, что материя, о которой говорят материалисты, – стремительная, вечно подвижная, деятельная и плодотворная; материя с определенными химическими или органическими качествами и проявляющаяся механическими, физическими животными или интеллектуальными свойствами или силами, которые ей неизбежно присущи, что эта материя не имеет ничего общего с *презренной материей* идеалистов. Эта последняя, продукт их ложного отвлечения, действительно нечто тупое, неодушевленное, неподвижное, неспособное произвести ни малейшей вещи, *caput mortuum*, *презренный* вымысел, противоположный тому *прекрасному* вымыслу, который они называют *Богом*, высшим существом, в сравнении с которым материя в их понимании лишенная ими самими всего того, что составля-ет ее истинную природу, неизбежно представляет собою высшее небытие. Они отняли у материи ум, жизнь, все определяющие качества, действительные отношения или силы, самое движение, без коего материя не была бы даже весомой, оставив ей лишь абсолютную непроницаемость и неподвижность в пространстве. Они приписали все эти силы качества и естественные проявления воображаемому Существу, созданному их отвлеченной фантазией; затем, переменив роли, они назвали этот продукт их воображения, этот призрак, этого Бога, который есть ничто, «Высшим Существом». И в виде неизбежного следствия, они объявили, что все реально существующее, материя, мир – ничто. После того они с важностью говорят нам, что эта материя неспособна ничего произвести, ни даже прийти сама собою в движение и что, следовательно, она должна была быть создана их Богом.

[119] В приложении в конце этой книги я вывел на чистую воду поистине возмутительные нелепости, к которым неизбежно приводит представление о Боге как личном создателе и руководителе мира, или безличном, рассматриваемом как род божественной души, разлитой во всем мире, вечный принцип коего она таким образом составляет, или даже как бесконечной божественной мысли, вечно присущей и действующей в мире и проявляющейся всегда во всей совокупности материальных и законченных существ.

Здесь я ограничусь указанием лишь на один пункт.

[120] Совершенно понятно последовательное развитие материального мира, точно так же как и органической животной жизни, исторического прогресса человеческого ума, как индивидуального, так и социального в этом мире. Это вполне естественное движение от простого к сложному, снизу вверх или от низшего к высшему; движение, согласное со всем нашим ежедневным опытом и, следовательно, согласное также с нашей естественной логикой, с самими законами нашего ума, который формируется и развивается лишь с помощью этого самого опыта, есть не что иное, как, так сказать, его мысленное, мозговое, воспроизведение или логический вывод из него.

Система идеалистов представляет собою совершенную противоположность этому. Она есть абсолютное извращение всякого человеческого опыта и всемирного и всеобщего здравого смысла, который есть необходимое условие всякого соглашения между людьми и который, восходя от той столь простой и столь же единодушно признанной истины, что дважды два – четыре, к самым высшим и сложным научным положениям, не допуская притом ничего, что не подтверждается строго опытом или наблюдением предметов или явлений, составляет единственную серьезную основу человеческих знаний.

Вместо того чтобы следовать естественным путем снизу вверх, от низшего к высшему, от сравнительно простого к более сложному, вместо того чтобы умно, рационально проследить прогрессивное и реальное движение мира, называемого неорганическим в мире органическом, растительном, затем животном и, наконец, специально человеческом: химической материи или химического существа в живой материи или в живом существе и живого существа в существе

---

[119] Этот абзац был исключен издателями «Бога и Государства». – *Дж. Г.*

[120] Этот абзац издателями «Бога и Государства» помещен после следующего за ним. – *Дж. Г.*

мыслящем, идеалистические мыслители, одержимые, ослепленные и толкаемые божественным призраком, унаследованным ими от теологии, следуют совершенно противоположным путем. Они идут сверху вниз, от высшего к низшему, от сложного к простому. Они начинают Богом, представленным в виде личного существа или в виде божественной субстанции или идеи, и первый же шаг, который они делают, является страшным падением из высших вершин вечного идеала в грязь материального мира; от абсолютного совершенства к абсолютному несовершенству; от мысли о бытии или скорее от высшего бытия к небытию. Когда, как и почему божественное, вечное, бесконечное существо, абсолютное совершенство, вероятно, надоевшее самому себе, решилось на это отчаянное Salto mortale (смертельный прыжок), этого ни один идеалист, ни один теолог, метафизик или поэт никогда сами не могли понять, а тем более объяснить профанам. Все религии прошлого и настоящего и все трансцендентные философские системы вертятся вокруг этой единственной и безнравственной тайны![121]

Святые люди, боговдохновенные законодатели, пророки Мессии искали в ней жизнь и нашли лишь пытки и смерть. Подобно древнему сфинксу, она пожрала их, ибо они не сумели объяснить ее. Великие философы от Гераклита и Платона до Декарта, Спинозы, Лейбница, Канта, Фихте, Шеллинга и Гегеля, не говоря уже об индийских философах, написали горы томов и создали столь же остроумные, как и возвышенные, системы, в которых они мимоходом высказали много прекрасных и великих вещей и открыли бессмертные истины, но оставили эту тайну, главный предмет их трансцендентных изысканий, столь же непроницаемой, какою она была и до них. Но раз гигантские усилия самых удивительных гениев, которых знает мир и которые в течение по меньшей мере тридцати веков всякий раз заново предпринимали этот сизифов труд, привели лишь к тому, чтобы сделать эту тайну еще более непонятной, можем ли мы надеяться, что она будет нам раскрыта теперь глупой диалектикой какого-нибудь узколобого ученика искусственно подогретой метафизики, и это в эпоху, когда живые и серьезные умы отвернулись от этой двусмысленной науки, вытекшей из сделки, исторически, разумеется, вполне объяснимой, между неразумием веры и здравым научным разумом.

Очевидно, что эта ужасная тайна необъяснима, то есть что она нелепа, ибо одну только нелепость нельзя объяснить. Очевидно, что, если кто-либо ради своего счастья или жизни стремится к ней, тот должен отказаться от своего разума и, обратившись, если может, к наивной, слепой грубой вере, повторить с Тертуллианом и всеми искренно верующими слова, которые резюмируют самую сущность теологии – *credo quia absurdum*.[122]

Тогда всякие споры прекращаются, и остается лишь торжествующая глупость веры. Но тогда сейчас же рождается другой вопрос: *как может в интеллигентном и образованном человеке родиться потребность верить в эту тайну*?

Нет ничего более естественного, как то, что вера в Бога, Творца, руководителя, судьи, учителя, проклинателя, спасителя и благодетеля мира, сохранилась в народе и особенно среди сельского населения гораздо больше, чем среди городского пролетариата. Народ, к несчастью, еще слишком невежествен. И он удерживается в своем невежестве систематическими усилиями всех правительств, считающих не без основания невежество одним из самых существенных условий своего собственного могущества.

Подавленный своим ежедневным трудом, лишенный досугов, умственных занятий, чтения – словом, почти всех средств и влияний, развивающих мысль человека, народ чаще всего принимает без критики и гуртом религиозные традиции, которые с детства окружают его во

---

[121] Я называю ее «безнравственной», ибо, как мне думается, я доказал в упомянутом уже приложении, что эта тайна была и продолжает еще быть освящением всех ужасов, совершенных и совершаемых в человеческом мире. И я называю ее единственной (игра слов: unique uinique), ибо все другие богословские и метафизические нелепости, отделяющие человеческий ум, суть лишь ее неизбежные последствия. – *Прим. Бакунина.*

[122] «Верю, потому что это нелепо», то есть, так как это нелепо и не может мне быть *доказано* разумом, я вынужден, чтобы быть христианином, *верить* в силу добродетели веры. – *Дж. Г.*

всех обстоятельствах жизни, искусственно поддерживаются в его среде толпой официальных отравителей всякого рода, духовных и светских, и превращаются у него в род умственной и нравственной привычки, слишком часто более могущественной, чем его естественно-здравый смысл.

Есть и другая причина, объясняющая и в некотором роде узаконивающая нелепые верования народа. Эта причина – жалкое положение, на которое народ фатально обречен экономической организацией общества в наиболее цивилизованных странах Европы.

Сведенный в интеллектуальном и моральном, равно как и в материальном, отношении к минимуму человеческого существования, заключенный в условиях своей жизни как узник в тюрьму без горизонта, без исхода, даже без будущего, если верить экономистам, народ должен был бы иметь чрезвычайно узкую душу и плоский инстинкт буржуа, чтобы не испытывать потребности выйти из этого положения. Но для этого у него есть лишь три средства, из коих два мнимых и одно действительное. Два первых – это кабак и церковь, разврат тела и разврат души. Третье – социальная революция.

Отсюда я заключаю, что только эта последняя – по крайней мере в гораздо большей степени, чем всякая теоретическая пропаганда свободных мыслителей, – будет способна вытравить последние следы религиозных верований и развратные привычки народа – верования и привычки, гораздо более тесно связанные между собою, чем это обыкновенно думают. И, заменяя эти призрачные и в то же время грубые радости этого телесного и духовного разврата тонкими, но реальными радостями осуществленной полностью в каждом и во всех человечности, одна лишь социальная революция будет обладать силой закрыть в одно и то же время и все кабаки, и все церкви.

До тех пор народ, взятый в массе, будет верить, и если у него и нет разумного основания, он имеет по крайней мере право на это.

Есть разряд людей, которые, если и не верят, должны, по крайней мере, казаться верующими. Все мучители, все угнетатели и все эксплуататоры человечества, священники, монархи, государственные люди, военные, общественные и частные финансисты, чиновники всех сортов, жандармы, тюремщики и палачи, монополисты, капиталисты, ростовщики, предприниматели и собственники, адвокаты, экономисты, политиканы всех цветов, до последнего бакалейщика, – все в один голос повторяют слова Вольтера:

«Если бы Бог не существовал, его надо было бы изобрести».

Ибо вы понимаете, для народа необходима религия. Это – предохранительный клапан.

Существует, наконец, довольно многочисленная категория честных, но слабых душ, которые, будучи слишком интеллигентными, чтобы принимать всерьез христианские догмы, отбрасывают их по частям, но не имеют ни мужества, ни силы, ни необходимой решимости, чтобы отвергнуть их полностью. Они предоставляют вашей критике все особенные нелепости религии, они отворачиваются от чудес, но с отчаянием цепляются за главную нелепость, источник всех других, за чудо, которое объясняет и узаконивает все другие чудеса, – за существование Бога. Их Бог – отнюдь не сильное и мощное существо, не грубо позитивный Бог теологии. Это – существо туманное, прозрачное, призрачное, до такой степени призрачное, что, когда его готовы схватить, оно превращается в ничто. Это – мираж, блуждающий огонек, не светящий и не греющий. И, однако, они держатся за него и верят, что, если он исчезнет, все исчезнет с ним. Это души недвижимые, болезненные, выбитые из колеи современной цивилизации, не принадлежащие ни к настоящему, ни к будущему, бледные призраки, вечно висящие между небом и землей и занимающие совершенно такую же позицию между буржуазной политикой и социализмом пролетариата. Они не чувствуют в себе силы ни мыслить до конца, ни хотеть, ни решиться и теряют свое время, вечно пытаясь примирить непримиримое. В общественной жизни они называются буржуазными социалистами.

Ни с ними, ни против них невозможен никакой спор. Они слишком слабы.

Но есть небольшое количество знаменитых людей, о которых никто не осмелится говорить без уважения и в чьих полном здоровье, силе ума и искренности никто не вздумает усомниться. Достаточно назвать имена Мадзини, Мишлэ, Кинэ, Джона Стюарта Милля[123]. Благородные и сильные души, великие сердца, великие умы, великие писатели, а Мадзини еще и героический и революционный возродитель великой нации, они все – апостолы идеализма и страстные противники, презирающие материализм, а следовательно, и социализм, как в философии, так и в политике.

Следовательно, нужно обсуждать этот вопрос против них.

Отметим прежде всего, что ни один из поименованных мною великих людей, и вообще ни один другой сколько-нибудь выдающийся идеалистический мыслитель наших дней не заботится о собственно логической стороне этого вопроса. Ни один не попытался философски разрешить возможность божественного *сальто мортале* из вечных и чистых областей духа в грязь материального мира. Побоялись ли они затронуть это неразрешимое противоречие и отчаялись разрешить его после того, как величайшие гении истории не успели в этом, или же они считают его уже в достаточной мере решенным? Это их тайна. Факт тот, что они оставили в стороне теоретическое доказательство существования Бога и развили лишь практические причины и следствие его. Они все говорили о нем как о факте всемирно признанном и как таковом, не могущем более быть предметом какого-либо сомнения, ограничиваясь вместо всяких доказательств констатированием древности и этой самой всеобщности веры в Бога.

Это внушительное единодушие по мнению многих знаменитых людей и писателей (назовем лишь наиболее известных), по красноречивому мнению Жозефа де Мэстра и великого итальянского патриота Джузеппе Мадзини, стоит больше, чем все научные доказательства; а если логика небольшого числа последовательных, весьма серьезных, но непопулярных мыслителей противна этой общепризнанной истине, тем хуже, говорят они, для этих мыслителей и для их логики, ибо всеобщее согласие, всемирное и древнее принятие какой-либо идеи во все времена признавалось наиболее неоспоримым доказательством ее истинности. Чувство всех, убеждение, которое находится и держится всегда и повсюду, не может обманывать. Оно должно иметь свои корни в абсолютно присущей необходимости самой природы человека. А так как было констатировано, что все народы прошлого и настоящего верили и верят в существование Бога, очевидно, что те, кто имеет несчастие сомневаться в нем, какова бы ни была логика, вовлекшая их в это сомнение, суть существа ненормальные, чудовища.

Итак, *древность* и *всемирность* верования является, вопреки всякой науке и всякой логике, достаточным и непререкаемым доказательством его истинности. Почему же?

До века Коперника и Галилея все верили, что Солнце вертится вокруг Земли. Разве они не ошибались?

Есть ли что древнее и распространеннее рабства? Может быть, людоедство. С образования исторического общества и до наших дней всегда и везде была эксплуатация вынужденного труда масс, рабов, крепостных или наемников каким-либо господствующим меньшинством, угнетение народов Церковью и Государством. Нужно ли заключать из этого, что эксплуатация и угнетение есть необходимость, абсолютно присущая самому существованию общества? Вот примеры, доказывающие, что аргументация адвокатов Господа Бога ничего не доказывает.

В самом деле, нет ничего столь всеобщего и столь древнего, как несправедливость и нелепость; напротив, истина и справедливость в развитии человеческих обществ наименее распространены, наиболее молоды. Это объясняет также и постоянное историческое явление неслыханных преследований, которым первые провозгласившие истину и справедливость под-

[123] Стюарт Милль, быть может, единственный из их числа, в серьезности идеализма которого можно усомниться по двум причинам: во-первых, он страстный поклонник, приверженец позитивной философии Огюста Конта, философии, которая, несмотря на многочисленные умышленные недоговоренности, действительно атеистична, во-вторых, Стюарт Милль – англичанин, а в Англии заявить себя теистом значило бы еще и поныне поставить себя вне общества.

вергались и подвергаются со стороны официальных, дипломированных представителей, заинтересованных во «всеобщих» и «древних» верованиях, и часто со стороны тех самых народных масс, которые, замучив проповедников истины, всегда кончали тем, что потом принимали и приводили к торжеству их идеи.

В этом историческом явлении нет ничего, что бы удивляло и устрашало нас, материалистов и социалистов-революционеров.

Сильные нашим сознанием, нашей любовью к истине во что бы то ни стало, этой логической страстью, которая сама по себе является великой силой и вне которой нет мысли; сильные нашей страстью к справедливости и нашей непоколебимой верой в торжество человечности над всем зверским в теории и практике; сильные, наконец, доверием и взаимной поддержкой, которую оказывают друг другу небольшое число разделяющих наши убеждения, мы миримся с этим историческим явлением, в котором мы видим проявление социального закона, столь же естественного, столь же необходимого и столь же неизменного, как и все другие законы, правящие миром.

Этот закон есть логическое, неизбежное следствие *животного происхождения* человеческого общества. А перед лицом всех научных, физиологических, психологических, исторических доказательств, накопленных в наши дни, точно так же как и перед лицом подвигов немцев, завоевателей Франции, дающих ныне такое блестящее доказательство этого, положительно нельзя более сомневаться в действительности такого происхождения. Но с того момента, как мы примем животное происхождение человека, все объясняется. История предстает тогда перед нами как революционное отрицание прошлого – то медленное, апатическое, сонное, то страстное и мощное. Именно в прогрессивном отрицании первобытной животности человека, в развитии его человечности она и состоит. Человек, хищное животное, двоюродный брат гориллы, вышел из глубокой ночи животного инстинкта, чтобы прийти к свету ума, что и объясняет совершенно естественно все былые заблуждения и утешает нас отчасти в нынешних ошибках.

Он вышел из животного рабства и, пройдя через божественное рабство, переходный этап между его животностью и человечностью, идет ныне к завоеванию и осуществлению своей человеческой свободы. Отсюда следует, что древность верования, какой-нибудь идеи далеко не является доказательством в их пользу и, напротив, должна сделать нас подозрительными. Ибо позади нас наша животность, а перед нами наша человечность, а свет человечности только один может нас согреть и осветить, только он может освободить нас, сделать достойными, свободными, счастливыми и осуществить братство среди нас, – он никогда не находится в начале, но по отношению к эпохе, в которой живут, всегда в конце истории. Не будем же смотреть назад, будем всегда смотреть вперед, ибо впереди наше солнце и наше спасение. И если позволительно, если даже полезно и необходимо оглянуться ради изучения нашего прошлого, так это нужно лишь для того, чтобы констатировать, чем мы были и чем мы не должны более быть; во что мы верили, и что думали, и во что мы не должны больше верить, чего не должны больше думать; что мы делали и чего не должны больше никогда делать.

Это относительно *древности*. Что же касается *всемирности* какого-нибудь заблуждения, то это доказывает лишь одно – сходство, если не совершенное тождество человеческой природы во все времена и во всех странах. И раз установлено, что все народы во все эпохи их жизни верили и верят еще в Бога, мы должны лишь заключить, что божественная идея, исходящая из нас самих, есть заблуждение, историческая необходимость в развитии человечества, и спросить себя: почему и как она произошла в истории, почему громадное большинство человеческого рода принимает ее еще и ныне за истину?

Пока мы не будем в состоянии отдать себе отчет, каким путем идея сверхъестественного или божественного мира возникла и должна была фатально возникнуть в историческом развитии человеческого сознания, мы никогда не сможем разрушить ее во мнении большинства, как

бы мы ни были научно убеждены в нелепости этой идеи. Ибо мы никогда не сможем поразить ее в самых глубинах человеческого существа, где она родилась, и, осужденные на бесплодную борьбу без исхода и без конца, мы будем всегда вынуждены поражать ее лишь на поверхности в ее бесчисленных проявлениях, в которых нелепость, едва пораженная ударами здравого смысла, сейчас же возродится в новой и не менее бессмысленной форме. Пока корень всех нелепостей, терзающих мир, вера в Бога остается нетронутой, она никогда не перестанет давать новые ростки. Так в наши дни в некоторых кругах высшего общества спиритизм стремится утвердиться на развалинах христианства.

Не только в интересах масс, но и в интересах нашего собственного здравого смысла мы должны постараться понять историческое происхождение идеи Бога, преемственность причин, развивших и породивших эту идею в сознании людей. Сколько бы мы ни говорили и ни думали, что мы атеисты, пока мы не поймем этих причин, мы дадим господствовать над нами в большей или в меньшей степени голосу этого всеобщего сознания, тайну которого мы не познали, и ввиду естественной слабости даже самого сильного индивида перед всемогущим влиянием окружающей его социальной среды мы всегда будем рисковать рано или поздно вновь впасть тем или иным способом в бездну религиозной нелепости. Примеры этих последних обращений часты в современном обществе.

* * *

Я указал на главную практическую причину могущества, которое имеют еще и ныне религиозные верования над массами. Не столько мистические склонности, сколько глубокое недовольство сердца вызывает у них это заблуждение ума – это инстинктивный и страстный протест человеческого существа против узости, плоскости, страданий и стыда жалкого существования. Против этой болезни, сказал я, есть лишь одно средство: социальная революция.

В приложении я постарался изложить причины, которые обусловливали рождение и историческое развитие религиозных галлюцинаций в сознании человека. Здесь я хочу обсуждать вопрос о существовании Бога или Божественного происхождения мира и человека лишь с точки зрения его моральной и социальной полезности, и о теоретической причине этого верования я скажу лишь несколько слов, чтобы лучше пояснить мою мысль.

Все религии с их богами, полубогами, пророками, мессиями и святыми были созданы доверчивой фантазией людей, еще не достигших полного развития и полного обладания своими умственными способностями. Вследствие этого религиозное небо есть не что иное, как мираж, в котором экзальтированный невежеством и верой человек находит свое собственное изображение, но увлеченное и опрокинутое, то есть *обожествленное*.

История религий, история происхождения величия и упадка богов, преемственно следовавших в человеческом веровании, есть, следовательно, не что иное, как развитие коллективного ума и сознания людей.

По мере того как в своем прогрессивном историческом ходе они открывали в самих в себе или во внешней природе какую-либо силу, положительное качество или даже крупный недостаток, они приписывали их своим богам, преувеличив, расширив их сверх меры, как это обыкновенно делают дети игрой своей религиозной фантазии. Благодаря этой скромности и набожной щедрости верующих, легковерных людей небо обогатилось отбросами земли, и как неизбежное следствие, чем небо делалось богаче, тем беднее становились человечество и земли. Раз божество было установлено, оно, естественно, было провозглашено первопричиной, первоисточником, судьей и неограниченным властителем: мир стал ничем, бог – всем. И человек, его истинный создатель, извлекши, сам того не зная, его из небытия, преклонил колена перед ним, поклонился ему и провозгласил себя его созданием и рабом.

Христианство является самой настоящей типичной религией, ибо оно представляет собою и проявляет во всей ее полноте природу, истинную сущность всякой религиозной системы, представляющей собою *приниженье, порабощение и уничтожение человечества в пользу божественности.*

Раз Бог – все, реальный мир и человек – ничто. Раз Бог есть истина, справедливость, могущество и жизнь, человек есть ложь, несправедливость, зло, уродство, бессилие и смерть. Раз Бог – господин, человек – раб. Неспособный сам по себе найти справедливость, истину и вечную жизнь, он может достигнуть их лишь при помощи божественного откровения. Но кто говорит об откровении, тот говорит о проповедниках откровения, о мессиях, пророках, священниках и законодателях, вдохновленных самим Богом. А все они, раз признанные представителями божества на земле в качестве святых учителей человечества, избранных самим Богом, чтобы направлять человечество на путь спасения, они должны неизбежно пользоваться абсолютной властью. Все люди обязаны им неограниченным и пассивным повиновением. Ибо перед Божественным разумом разум человеческий и перед справедливостью Бога земная справедливость – ничто. Рабы Бога, люди должны быть рабами и Церкви и Государства, *поскольку оно освящено Церковью*. Вот что христианство поняло лучше всех существовавших и существующих религий, не исключая и древние восточные религии, которые, впрочем, охватывали лишь народы благородные и привилегированные, между тем как христианство имеет претензию охватить все человечество. И из всех христианских сект римский католицизм один провозгласил это положение и осуществил его со строгой последовательностью. Вот почему христианство есть абсолютная религия и почему Апостольская Римская Церковь единственно последовательная, законная и божественная.

Пусть же не обижаются метафизики и религиозные идеалисты, философы, политики или поэты. *Идея Бога влечет за собою отречение от человеческого разума и справедливости, она есть самое решительное отрицание человеческой свободы и приводит неизбежно к рабству людей в теории и на практике*.

Следовательно, если только не хотеть рабства и оскотинивания людей, как этого хотят иезуиты, как хотят этого ханжи, пиетисты или протестанские методисты, мы не можем, мы не должны делать ни малейшей уступки ни Богу теологии, ни Богу метафизики. Ибо в мистическом алфавите, кто сказал A, должен сказать Z. И кто хочет поклоняться Богу, тот должен, не создавая себе ребяческих иллюзий, храбро отказаться от своей свободы и своей человечности.

Если Бог есть, человек – раб. А человек может и должен быть свободным. Следовательно, Бог не существует.

Пусть кто-либо попытается выйти из этого заколдованного круга! Делайте же выбор!

* * *

Нужно ли напоминать, насколько и как религии отупляют и развращают народы? Они убивают у них разум, это главное орудие человеческого освобождения, и приводят их к идиотству, главному условию их рабства. Они обесчещивают человеческий труд и делают его признаком и источником подчинения. Они убивают понимание и чувство человеческой справедливости, всегда склоняя весы на сторону торжествующих негодяев, привилегированных объектов божественной милости. Они убивают гордость и достоинство человека, покровительствуя лишь ползучим и смиренным. Они душат в сердцах народов всякое чувство человеческого братства, наполняя его божественной жестокостью.

Все религии жестоки, все основаны на крови, ибо все покоятся главным образом на идее жертвы, то есть на вечном обречении человечества ненасытимой мстительности Божества. В этой кровавой тайне человек все-гда жертва, а священник – также человек, но человек привилегированный милостью Божией – божественный палач. Это объясняет нам, почему свя-

щенники всех религий, самых лучших, самых гуманных, самых мягких, имеют почти всегда в глубине своего сердца – а если не сердца, то воображения, ума (а громадное влияние того и другого на сердце людей известно), – почему? говорю я, – что-то жестокое и кровожадное.

* * *

Все это наши современные знаменитые идеалисты знают лучше, чем кто-либо. Это люди ученые, знающие историю назубок. А так как они в то же время живые люди, великие души, проникнутые искреннею и глубокою любовью к благу человечества, то они с несравненным красноречием прокляли и заклеймили все это зло, все преступления религии. Они с негодованием отвергают всякую солидарность с Богом позитивных религий и с ее былыми и нынешними представителями на земле.

Бог, которому они поклоняются или которого они представляют себе, поклоняясь, именно тем и отличается от реальных богов истории, что он вовсе не позитивный Бог и не Бог, каким бы то ни было образом определенный теологически или хотя бы даже метафизически. Это – не Высшее существо Робеспьера и Жан-Жака Руссо, – не пантеистический Бог Спинозы и даже не имманентный, трансцендентальный и весьма двусмысленный Бог Гегеля. Они весьма остерегаются давать ему какое-либо позитивное определение, прекрасно чувствуя, что всякое определение отдаст их в жертву разрушительной критики. Они не скажут о нем, личный это Бог или безличный, создал ли он или не создал мир. Они даже не станут говорить об его божественном провидении. Все это могло бы их скомпрометировать. Они удовлетворяются названием «Бог», и это все. Но что такое их Бог? Это даже не идея, а лишь – стремление души.

Их Бог – общее название для всего, что им кажется великим, добрым, прекрасным, благородным, человечным. Но почему же тогда не говорят они «Человек»? А дело в том, что и король Вильгельм Прусский, и Наполеон III – тоже люди, и это ставит их в весьма затруднительное положение. Существующее человечество представляет из себя смесь всего, что есть самого возвышенного, самого прекрасного в мире с самым низменным и чудовищным. Как же они справляются с этим? Одно они называют *божественным*, а другое *животным*, представляя себе божественность и животность как два полюса, между которыми они помещают человечество. Они не хотят или не могут понять, что эти три выражения, в сущности, представляют собою одно и что разделением они разрушают их.

Идеалисты не сильны в логике, и можно думать, что они презирают ее. Вот это-то и отличает их от пантеистических и деистических метафизиков и сообщает их идеям характер практического идеализма, черпающего свои вдохновения гораздо в меньшей степени из строгого развития мысли, нежели из опыта, я сказал бы, пожалуй, даже из эмоций, как исторических и коллективных, так и индивидуальных, – из жизни. Это дает их пропаганде видимость богатства и жизненной силы, но это лишь видимость, ибо сама жизнь делается бесплодной, когда она парализована логическим противоречием.

Это противоречие заключается в следующем: они хотят Бога и в то же время они хотят человечества. Они упорствуют в объединении этих двух понятий, которые, раз будучи разделены, не могут более быть сопоставлены без того, чтобы взаимно не разрушить друг друга. Они говорят, не переводя дыхания: «Бог и свобода и человек», «Бог и достоинство, и справедливость, и равенство, и братство, и благополучие людей», не заботясь о фатальной логике, согласно с которой, если существует Бог, все это осуждено на небытие. Ибо, если Бог есть, он является неизменно вечным, высшим, абсолютным господином, а раз существует этот господин, человек – раб. Если же человек – раб, для него невозможны ни справедливость, ни равенство, ни братство, ни благополучие. Они могут, сколько хотят, в противность здравому смыслу и всему историческому опыту представлять себе своего Бога воодушевленным самой нежной любовью к человеческой свободе, но господин, что бы он ни делал и каким бы либералом он

ни хотел выказать себя, остается тем не менее всегда господином, и его существование неизбежно влечет за собою рабство всех, кто ниже его. Следовательно, если бы Бог существовал, для него было бы лишь одно средство послужить человеческой свободе – это прекратить свое существование.

Ревниво-влюбленный в человеческую свободу и рассматривая ее как необходимое условие всего, чему я поклоняюсь и что уважаю в человечестве, я перевертываю афоризм Вольтера и говорю: *если бы Бог действительно существовал, следовало бы уничтожить его*.

* * *

Строгая логика, диктующая мне эти слова, слишком очевидна, чтобы была нужда развивать больше эту аргументацию. И мне кажется немыслимым, чтобы знаменитые люди, названные мною, столь известные и столь справедливо уважаемые, не были бы сами поражены и не заметили противоречий, в которые они впадают, говоря одновременно о Боге и о человеческой свободе. Чтобы не считаться с этим, они должны полагать, что эта непо – следовательность или эта логическая несообразность была *практически* необходима для блага человечества.

Возможно также, что, говоря о *свободе* как о чем-то весьма почтенном и дорогом для них, они понимают ее совершенно иначе, чем мы, материалисты и социалисты – революционеры. В самом деле, они никогда не говорят о ней без того, чтобы не прибавить сейчас же другое слово: *власть* – слово и понятие, которое мы ненавидим всем сердцем.

Что такое власть? Есть ли это неизбежная сила естественных законов, проявляющаяся в сцеплении и в роковой последовательности явлений, как физического, так и социального мира? В самом деле, возмущение против этих законов не только непозволительно, но и невозможно. Мы можем не считаться с ними или не вполне еще знать их, но не можем не повиноваться им, ибо они составляют основу и самые условия нашего существования: они нас окружают, проникают нас, управляют всеми нашими движениями, нашими мыслями, нашими действиями таким образом, что даже, когда мы думаем, что не повинуемся им, в действительности мы лишь проявляем их всемогущество.

Да, мы, безусловно, рабы этих законов. Но в этом рабстве нет ничего унизительного, или скорее это даже не рабство. Ибо рабство предполагает наличность некоторого господина над нами, законодателя, стоящего вне того, кем он управляет, между тем как эти законы не вне нас – они нам присущи, они составляют наше естество, все наше естество, как телесное, так и умственное и нравственное. Лишь в силу этих законов мы живем, дышим, действуем, мыслим, хотим. Вне их мы ничто, *мы не существуем*. Откуда же взялись бы у нас возможность и желание возмутиться против них?

Перед лицом естественных законов для человека есть лишь одна возможная свобода – это признавать их и все в большей мере применять их сообразно с преследуемой им целью освобождения или развития, как коллективного, так и индивидуального. Эти законы, раз признанные, проявляют власть, никогда не оспариваемую большинством людей. Нужно, например, быть, сумасшедшим или теологом или, по крайней мере, метафизиком, юристом или буржуазным экономистом, чтобы возмущаться против закона, по которому дважды два – четыре. Нужно обладать верой, чтобы воображать, что не сгоришь в огне или что не потонешь в воде, если только не прибегать к какому-нибудь фокусу, который, в свою очередь, основан на каких-нибудь других естественных законах. Но это возмущение или скорее эти попытки больного воображения к бессмысленному возмущению представляют из себя лишь довольно редкие исключения. Ибо вообще можно сказать, что большинство людей в своей повседневной жизни повинуется почти беспрекословно здравому смыслу, т. е. всей совокупности общепризнанных естественных законов.

Великое несчастье в том, что большое количество естественных законов, уже установленных как таковые наукой, остается неизвестным народным массам благодаря заботам этих попечительных правительств, которые существуют, как известно, для блага народов. Есть еще другое неудобство – это то, что большая часть естественных законов, присущих развитию человеческого общества и столь же необходимых, неизменных, фатальных, как законы, управляющие физическим миром, самою наукою не установлены и не признаны должным образом.

Раз они будут признаны, сперва наукой и при посредстве целесообразной системы народного воспитания и образования войдут в сознание всех, вопрос о свободе будет совершенно разрешен. Самые упорные государственники должны будут признать, что тогда не будет нужды ни в организации, ни в управлении, ни в политическом законодательстве – в этих трех институтах, всегда одинаково пагубных и противных свободе народа, ибо они навязывают ему систему внешних и, следовательно, деспотических законов, хотя бы эти три института исходили от воли государя, или из голосования парламента, избранного на основе всеобщего избирательного права, или даже если они согласуются с естественными законами, чего, впрочем, никогда не было и быть не может.

Свобода человека состоит единственно в том, что он повинуется естественным законам, потому что *он сам* признает их таковыми, а не потому, что они были ему внешне навязаны какой-либо посторонней волей – божественной или человеческой, коллективной или индивидуальной.

Представьте себе ученую академию, составленную из самых знаменитых представителей науки; представьте себе, что на эту академию было бы возложено законодательство и организация общества и что, вдохновляясь лишь самой чистой любовью к истине, она диктовала бы обществу лишь законы, абсолютно согласные с новейшими открытиями науки. Я утверждаю, что это законодательство и эта организация были бы чудовищны. И это по двум причинам. Во-первых, потому, что человеческая наука по необходимости всегда несовершенна, и, сравнивая уже открытое ею с тем, что ей остается открыть, можно сказать, что если бы захотели заставить практическую жизнь людей, как коллективную, так и индивидуальную, строго сообразоваться исключительно с последними данными науки, то как общество, так и индивиды были бы осуждены на муки прокрустова ложа, которые их убили бы, ибо жизнь всегда бесконечно шире, чем наука.

Вторая причина такова: общество, которое стало бы повиноваться законодательству, исходящему из научной академии, не потому, что оно само поняло разумные основания их – а в таком случае существование академии стало бы бесполезным, – но потому, что это законодательство, исходя из академии, навязывалось бы во имя науки, которую чтят, не понимая ее, – такое общество было бы обществом не людей, но скотов. Это было бы вторым изданием несчастной Парагвайской Республики, которая долгое время позволяла управлять собою Ордену иезуитов. Такое общество не преминуло был вскоре опуститься на самую низкую ступень идиотизма.

Но есть еще третья причина, делающая такое правительство невозможным. А именно научная академия, облеченная, так сказать, абсолютною верховною властью, хотя бы она состояла даже из самых знаменитых людей, неизбежно и скоро кончила бы тем, что сама развратилась бы и морально, и интеллектуально. Такова уже ныне история всех академий при небольшом количестве предоставленных им привилегий. Самый крупный научный гений с того момента, как он становится академиком, официальным патентованным ученым, неизбежно регрессирует и засыпает. Он теряет свою самобытность, свою революционную смелость и эту не укладывающуюся в общие рамки дикую энергию, характеризующую самых великих гениев, призванных всегда к разрушению отживших миров и к закладке основ новых миров. Он, несомненно, выигрывает в хороших манерах, в полезной и практической мудрости, теряя в мощности мысли. Одним словом, он вырождается.

Таково уж свойство привилегии и всякого привилегированного положения – убивать ум и сердце людей. Человек, политически или экономически привилегированный, есть человек, развращенный интеллектуально и морально. Вот социальный закон, не признающий никакого исключения, приложимый одинаково к целым нациям, классам, сообществам и индивидам. Это закон равенства, высшее условие свободы и человечности. Главнейшая цель этой книги в том и заключается, чтобы развить этот закон и доказать истинность его во всех проявлениях человеческой жизни.

Научное учреждение, которому доверили бы управление обществом, кончило бы скоро тем, что стало бы заниматься не наукой, но совсем другим делом. И это дело, дело всякой установившейся власти, состояло бы в стремлении прочно укрепиться и сделать вверенное ее заботам общество более тупым и, следовательно, все более нуждающимся в ее управлении и руководстве.

Но что справедливо относительно научной академии, справедливо и относительно всех учредительных и законодательных собраний, даже вышедших из всеобщего избирательного права. Это последнее может, правда, обновить его состав, что не препятствует образованию в течение нескольких годов собрания политиканов, привилегированных не по праву, но фактически, которые, посвящая себя исключительно управлению общественными делами страны, кончают тем, что образуют род политической аристократии или олигархии. Пример – Соединенные Штаты Америки и Швейцария.

Таким образом, не надо никакого внешнего законодательства и никакой власти; одно, впрочем, неотделимо от другого, и оба они стремятся к порабощению общества и к отупению самих законодателей.

* * *

Вытекает ли из этого, что я отвергаю всякий авторитет? Такая мысль далека от меня. Когда дело идет о сапогах, я полагаюсь на авторитет сапожника; если дело идет о доме, о канале или о железной дороге, я советуюсь с архитектором или инженером. За тем или иным специальным знанием я обращаюсь к тому или иному ученому. Но я не позволю ни сапожнику, ни архитектору, ни ученому навязать мне их авторитет. Я свободно выслушиваю их со всем уважением, которого заслуживает их ум, характер, знания, сохраняя за собою во всяком случае мое неоспоримое право критики и контроля. Я не удовольствуюсь тем, что посоветуюсь с одним авторитетным специалистом, я посоветуюсь со многими. Я сравню их мнения и выберу то, которое мне кажется наиболее справедливым. Но я не признаю отнюдь непогрешимого авторитета даже в узкоспециальных вопросах. Следовательно, какое бы уважение я ни питал к честности и искренности того или иного индивида, у меня нет абсолютной веры ни к кому. Такая вера была бы роковою для моего разума, моей свободы и для успеха моего предприятия. Она меня немедленно превратила бы в тупого раба, в орудие воли и интересов другого.

Если я преклонюсь перед авторитетом специалистов и если я объявлю себя готовым следовать в известной мере и так долго, как мне это кажется необходимым, их указаниям и даже руководству, то это лишь потому, что их авторитет никем не навязан мне – ни людьми, ни Богом. В противном случае я отверг бы с ужасом и послал бы к черту их советы, их руководство и их знания, уверенный, что они заставят меня заплатить потерей моей свободы и моего достоинства за те окутанные массой лжи крупицы человеческой истины, какие они могут мне дать.

Я преклоняюсь перед авторитетом специалистов потому, что он мне внушен моим собственным разумом. Я сознаю, что могу охватить во всех деталях и в позитивном развитии лишь малую долю человеческой науки. Величайший ум недостаточен для того, чтобы охватить все. Отсюда следует для науки, как и для промышленности, необходимость разделения и ассоциации труда. Я получаю и даю – такова человеческая жизнь. Всякий является авторитетным

руководителем, и всякий управляем в свою очередь. Следовательно, отнюдь не существует закрепленного и постоянного авторитета, но постоянный взаимный обмен власти и подчинения, временный и – что особенно важно – добровольный.

Это самое соображение не позволяет мне, следовательно, признать закрепленный, постоянный и универсальный авторитет, ибо не существует универсального человека, способного охватить все науки, все ветви социальной жизни со всеми богатыми подробностями, без которых приложение науки к жизни совершенно невозможно. И если такая универсальность могла когда-либо быть осуществлена одним человеком и если бы он захотел этим возвеличить себя, чтобы навязать нам свой авторитет, нужно было бы изгнать этого человека из общества, потому что его авторитет неизбежно свел бы всех других к рабству и тупости. Я не думаю, чтобы общество должно было дурно обращаться с гениальными людьми, как оно делало это до сих пор. Но я не думаю также, чтобы оно должно было слишком ублажать их и – особенно – наделять их привилегиями или какими-нибудь исключительными правами. И это по трем причинам. Прежде всего потому, что обществу не раз случилось бы принять шарлатана за гениального человека; затем потому, что этой системой привилегий оно могло бы превратить в шарлатана даже действительно гениального человека, деморализовать его и сделать глупцом; и, наконец, потому, что оно создало бы себе этим деспота.

Я резюмирую. Итак, мы признаем абсолютный авторитет науки, ибо наука имеет своим предметом лишь умственное, отраженное и, насколько лишь возможно, систематическое воспроизведение естественных законов, присущих как материальной, так и интеллектуальной и моральной жизни физического и социального мира, этих двух миров, составляющих в действительности лишь единый естественный мир. Помимо этой, единственной законной власти, ибо она разумна и соответствует человеческой свободе, мы объявляем всякую другую власть лживой, произвольной, деспотической и гибельной.

Мы признаем абсолютный авторитет науки, но отвергаем непогрешимость и универсальность представителей науки. В нашей Церкви – да будет мне позволено на минуту употребить это выражение, которое, впрочем, я ненавижу – Церковь и Государство для меня два заклятых врага, – в нашей Церкви, как и в Церкви протестантской, имеется глава, невидимый Христос, – наука. И подобно протестантам, будучи более последовательными, чем протестанты, мы не хотим терпеть ни папы, ни собора, ни конклава непогрешимых кардиналов, ни епископов, ни даже священников. Наш Христос отличается от протестантского и христианского Христа тем, что этот последний – существо личное, наш же – безличен. Христианский Христос, предвечно законченный, представляется как существо совершенное, между тем как законченность и совершенство нашего Христа, науки, всегда в будущем; другими словами, они не осуществятся никогда. Признавая же абсолютную власть лишь за *абсолютной наукой*, мы, следовательно, никоим образом не связываем свою свободу.

Под этими словами «абсолютная наука» я понимаю науку действительно универсальную, которая идеально воспроизводила бы во всей ее полноте и со всеми ее бесконечными деталями вселенную, систему или согласование всех естественных законов, проявляющихся в непрерывном развитии миров. Очевидно, что такая наука, верховный предмет всех усилий человеческого ума, никогда не осуществится в своей абсолютной полноте. Наш Христос останется, следовательно, вечно незаконченным, что значительно должно посбить спесь его патентованных представителей среди нас. Против этого Бога-сына, во имя которого они хотели бы навязать нам свой наглый и педантичный авторитет, мы будем апеллировать к Богу-отцу, который есть реальный мир, реальная жизнь, коей он есть лишь слишком нереальное выражение, а мы – реальные существа, живущие, работающие, борющиеся, любящие, надеющиеся, наслаждающиеся и страдающие, – непосредственные представители.

Но, отвергая абсолютный, универсальный и непогрешимый авторитет людей науки, мы охотно преклоняемся перед почтенным, но относительным и очень преходящим, очень огра-

ниченным авторитетом представителей специальных наук; готовы советоваться с ними поочередно с каждым и весьма признательны за все ценные указания, которые они пожелают нам преподать при условии, что они соблаговолят принять наши советы относительно того, в чем мы более сведущи, чем они. И вообще, мы очень хотели бы, чтобы люди, одаренные большими знаниями, большим опытом, большим умом, а главное – большим сердцем, оказывали на нас естественное и законное влияние, добровольно принимаемое, но никогда не навязываемое, во имя какого бы то ни было официального авторитета – небесного или земного. Мы признаем всякий естественный авторитет и всякое воздействие на нас факта, но не права; потому что всякий авторитет и всякое влияние права, официально навязываемое нам, сейчас же превращается в угнетение и ложь, и в силу этого неизбежно – как это уже достаточно, я полагаю, доказано мною – приводит нас к рабству и нелепостям.

Одним словом, мы отвергаем всякое привилегированное, патентованное, официальное и легальное, хотя бы и даже вытекающее из всеобщего избирательного права, законодательство, власть и воздействие, так как мы убеждены, что они всегда неизбежно обращаются лишь к выгоде господствующего и эксплуатирующего меньшинства в ущерб интересам огромного порабощенного большинства.

Вот в каком смысле мы действительно анархисты.

* * *

Современные идеалисты понимают власть, авторитет совершенно своеобразно.[124]

Хотя и свободные от традиционных предрассудков всех существующих позитивных религий, они тем не менее придают идее власти божественный, абсолютный смысл. Эта их власть отнюдь не есть авторитет чудесно раскрытой откровением истины и не авторитет строго и научно доказанной истины. Они основывают ее на небольшом количестве псевдофилософской аргументации и на громадной дозе смутно-религиозной веры идеально абстрактно-поэтического чувства. Их религия есть как бы последняя попытка обоготворения всего, что является человеческим в человеке.

Это совершенная противоположность предпринятой нами задаче. Мы считаем своим долгом ввиду человеческой свободы, человеческого достоинства и человеческого благополучия отобрать у него блага, похищенные им у земли, чтобы возвратить их земле. Между тем как, пытаясь совершить последнюю героическую религиозную кражу, они, напротив того, хотели бы снова возвратить небу, этому ныне разоблаченному божественному вору, в свою очередь обворованному смелым безбожием и научным анализом свободных мыслителей, все самое великое, самое прекрасное и самое благородное, чем лишь обладает человечество.

Им кажется, без сомнения, что человеческие идеи и дела, чтобы пользоваться большим авторитетом среди людей, должны быть облечены божественной санкцией. Как эта санкция выявляется? Не чудом, как в позитивных религиях, но самым величием или святостью идей и дел: то, что велико, что прекрасно, что благородно, что справедливо, объявляется божественным. В этом новом религиозном культе всякий человек, вдохновленный этими идеями и совершающий великие дела, становится жрецом, непосредственно посвященным самим Богом. Доказательства? Нет надобности ни в каких других доказательствах, кроме самого величия идей, которые он выражает, и дел, которые он совершает: они столь святы, что могли быть внушены лишь Богом.

---

[124] По-французски слово «autorite» означает одновременно и «власть», и «авторитет», что позволяет Бакунину, возражая против власти, говорить и о власти в собственном смысле слова, в смысле господства непосредственного, и в смысле духовного преимущества, пользуясь в своей аргументации примерами то власти, то авторитета. По-русски неизбежно приходится в некоторых случаях употреблять одно, в некоторых же – другое слово. То же самое и со словом «influence», которое в одних случаях переводится словом «влияние», в других – словом «воздействие». – Прим. переводчика.

Вот в немногих словах вся их философия: философия чувства, а не реальной мысли, своего рода метафизический пиетизм. На первый взгляд это кажется невинным, но в действительности совсем не таково, и вполне определенная, весьма узкая и сухая доктрина, скрывающаяся под неуловимой расплывчатостью этой поэтической формы, приводит к тем же бедственным результатам, как и все позитивные религии, то есть к самому полному отрицанию человеческой свободы и человеческого достоинства.

Провозгласить божественным все, что есть великого, справедливого, благородного, прекрасного в человечестве, это значит молчаливо признать, что человечество само по себе было бы неспособно произвести его, а это сводится к признанию, что предоставленная самой себе человеческая собственная природа жалка, несправедлива, низка и безобразна. Таким образом, мы возвращаемся назад к сущности всякой религии, то есть к унижению человечества, к вящей славе Божества. И с того момента, как признается, что человек, естественно, существо низшего порядка, что он по самой своей природе не способен возвыситься самостоятельно, без помощи божественного вдохновения, до верных и справедливых идей, становится необходимым признать также и все теологические, политические и социальные по – следствия позитивных религий. С того момента, как Бог, высшее и совершеннейшее существо, противополагается человечеству, божественные посредники, избранные, боговдохновленные, появляются, словно из-под земли, чтобы освещать, направлять и руководить во имя его человеческим родом.

Нельзя ли предположить, что все люди равным образом вдохновлены Богом? Тогда, конечно, не было бы больше надобности в посредниках. Но это предположение невозможно, ибо факты слишком противоречат ему. Нужно было бы тогда приписать божественному вдохновению все нелепости и все ошибки, которые проявляются, и все ужасы, мучения, подлости и глупости, которые совершаются в человеческом мире. Следовательно, в этом мире имеется лишь немного божественно вдохновленных людей. Это – великие люди истории, *добродетельные гении*, как говорит знаменитый итальянский гражданин и пророк Джузеппе Мадзини. Непосредственно вдохновленные самим Богом и опираясь на всеобщее сочувствие, выраженное всенародным голосованием – Dio e Popolo (Бог и Народ), – они призваны *управлять* человеческими обществами.[125]

Таким образом, мы снова возвращаемся к Церкви и Государству. Правда, в этой новой организации, установленной, как и все старинные политические организации, *милостью Божией*, но на этот раз подкрепляемой, по крайней мере ради формы, в виде необходимой уступки современному духу, как в заголовках императорских декретов Наполеона III: *волею* (фиктивною) *народа*, Церковь не будет больше называться Церковью. Она называется Школой. Но на скамьях этой школы усядутся не только дети: там будет вечный несовершеннолетний ученик, навсегда признанный неспособным выдержать экзамены, возвыситься до науки своих учителей и обойтись без их указки, – народ1.

(Приведенное здесь примечание издателем «Бога и Государства» было помещено в самом тексте вслед за абзацем, кончающимся словами: «и одно только животное грубое остается в действительности на земле». – *Дж. Г.*) Государство не будет больше называться Монархией; оно будет называться Республикой, но от этого оно не станет меньше государством, иначе говоря официальной и планомерно установленной опекой меньшинства компетентных людей, *добродетельных гениев или талантов*, чтобы надзирать и управлять поведением этого большого неисправимого и ужасного ребенка – народа.

Профессора школы и чиновники Государства будут называть себя республиканцами. Но они от этого не станут меньше опекунами, пасторами, и народ останется тем, чем был вечно

[125] Шесть или семь лет назад в Лондоне я слышал, как Г. Луи Блан высказывал приблизительно такую же мысль: лучшая форма правления, сказал он мне, была бы такая, которая всегда вручала бы дело «*добродетельным гениям*». – *Прим. Бакунина.*

до сих пор – стадом. Пусть же тогда бережется он стригущих, ибо, где есть стадо, непременно будут и те, кто стрижет и пожирает стадо.

Народ по этой системе будет вечным школьником и воспитанником. Несмотря на свою совершенно призрачную, верховную власть, он будет продолжать служить орудием чужой воли и мысли, а следовательно, и чужих интересов. Между этим положением и тем, что мы называем свободой, единственно истинной свободой, – целая пропасть. Это будет под новыми формами старинное угнетение и старинное рабство. А там, где есть рабство, есть и нищета, и скотское огрубление, настоящее *материалистическое* состояние общества, как привилегированных классов, так и масс.

Обожествляя человеческие вещи, идеалисты всегда приходят к торжеству грубого материализма. И по очень простой причине: божественное испаряется и возносится на свою родину, на небо, и одно только животно-грубое остается действительно на земле.

* * *

Да, теоретический идеализм неизбежно приводит на практике к самому грубому материализму – не для тех, конечно, которые искренне проповедуют идеализм, им приходится обыкновенно видеть в конце концов бесплодность своих усилий, – но для тех, кто старается воплотить их учение в жизнь, и для целого общества, посколь-ку оно дает себя подчинить идеалистическим доктринам.

Нет недостатка в исторических доказательствах этого общего факта, который на первый взгляд может показаться странным, но вполне естественно объясняется, если больше подумать над ним.

Сравните две последние цивилизации античного мира – греческую и римскую. Которая из этих цивилизаций была более материалистична, более натуралистична в своей исходной точке и более гуманно-идеалистична по своим результатам? Конечно, греческая. Которая, напротив, была более абстрактно-идеалистична в исходной точке, приносила материальную свободу человека в жертву идеальной свободе гражданина, представленной абстракцией юридического права, и естественное развитие человеческого общества – абстракции государства и которая по своим последствиям явилась более грубой? Конечно – римская цивилизация. Правда, греческая цивилизация, как и все античные цивилизации, в том числе и римская, была исключительно национальная и основана была на рабстве. Но, несмотря на эти два громадных исторических недостатка, она тем не менее первая поняла и осуществила идею человечности. Она облагородила и действительно идеализировала жизнь людей. Она превратила человеческие стада в свободные ассоциации свободных людей, она создала бессмертные науки, искусства, поэзию и философию и первые понятия уважения человека на основе свободы. При помощи политической и социальной свободы она создала свободную мысль. И в конце Средних веков, в эпоху Возрождения достаточно было, чтобы несколько греческих эмигрантов принесли в Италию некоторые из своих бессмертных книг, чтобы жизнь, свобода, мысль, гуманность, погребенные в мрачной темнице католицизма, воскресли. Эмансипация человека – вот имя греческой цивилизации. А имя цивилизации римской? Завоевание со всеми его грубыми последствиями. А ее последнее слово? Всемогущество Цезарей. Это – обесценивание и порабощение наций и людей.

И даже еще ныне – что убивает, что грубо, материально давит свободу и человечность во всех странах Европы? Торжество принципа цезаризма, или римского принципа.

Сравните теперь две современные цивилизации: цивилизацию итальянскую и германскую. Первая представляет, без сомнения, по своему общему характеру материализм. Вторая, напротив того, является представительницей всего, что только есть наиболее абстрактного,

наиболее чистого и наиболее трансцендентного в смысле идеализма. Посмотрим, каковы практические результаты той и другой.

Италия уже оказала громадные услуги делу человеческой эмансипации. Она первая воскресила и широко ввела в Европе принцип свободы и возвратила человечеству лучшие его достояния: промышленность, торговлю, поэзию, искусства, позитивные науки и свободную мысль. Задавленная затем на протяжении трех веков императорским и папским деспотизмом, втоптанная в грязь своей правящей буржуазией, она, правда, представляется теперь сильно потускневшей в сравнении с тем, что была раньше. И, однако, какая разница, если сравнить ее с Германией! В Италии, несмотря на этот упадок – будем надеяться, преходящий, – можно жить и дышать по-человечески, свободно, среди народа, который кажется рожденным для свободы. Италия, даже буржуазная, может с гордостью указать вам на людей, как Мадзини и Гарибальди. В Германии дышишь[126] в атмосфере политического и социального рабства, философски объясняемого и принимаемого великим народом с сознательной покорностью и добровольно. Ее герои – я говорю о Германии настоящего, а не будущего, о Германии аристократической, бюрократической, политической и буржуазной, а не о Германии пролетарской, – ее герои – полная противоположность Мадзини и Гарибальди. Это ныне Вильгельм I, жестокий и наивный представитель протестантского Бога, это господа фон Бисмарк и фон Мольтке, генералы Мантейфель и Верден. Во всех своих международных сношениях Германия со времени своего существования медленно, систематически стремилась к нашествиям, завоеваниям, всегда готовая распространить на соседние народы свое собственное добровольное рабство. И с тех пор, как она стала объединенной державой, она стала угрозой, опасностью для свободы всей Европы. Имя Германии в настоящее время – это грубое и торжествующее холопство.

Чтобы показать, как теоретический идеализм непрерывно и фатально превращается в практический материализм, достаточно привести пример всех христианских Церквей, и, разумеется, в первую голову Римской Апостольской Церкви. Есть ли что возвышеннее, в смысле идеала, бескорыстнее, отрешеннее от всех земных интересов, чем доктрина Христа, проповедуемая Церковью? И что может быть более грубоматериалистично, чем постоянная практика этой самой Церкви с восьмого века, когда она начала складываться как держава? Каков был и каков еще в настоящее время главный предмет всех ее тяжб с государями Европы? Тленные блага, доходы Церкви прежде всего и затем светская власть, политические привилегии Церкви. Надо, впрочем, отдать Церкви справедливость – она первая в новейшей истории открыла ту неоспоримую, но очень малохристианскую истину, что богатство и власть, экономическая эксплуатация и политическое угнетение масс суть две неотделимые стороны царства божественной идеи на земле: богатство укрепляет и увеличивает власть, власть открывает и создает постоянно новые источники богатства, а вместе они лучше, чем мученичество и вера апостолов, и лучше, чем божественная благодать, обеспечивают успех христианской пропаганды. Это историческая истина, с которой считаются и протестантские Церкви. Я говорю, конечно, о независимых Церквах Англии, Америки и Швейцарии, а не о подчиненных Церквах Германии. Эти последние не обладают никакой собственной инициативой: они делают то, что их господа, их светские государи, которые в то же время являются и их духовными вождями, приказывают им делать. Известно, что протестантская пропаганда, особенно Англии и Америки, очень тесно связана с пропагандой материальных коммерческих интересов этих двух великих наций. И известно, что эта последняя пропаганда отнюдь не имеет своим предметом обогащение и материальное процветание стран, в которые она проникает в союзе со словом Божиим, но именно эксплуатацию этих стран для обогащения и все возрастающего материального бла-

[126] Бакунин не поместил совсем текста на листах 194 и 195, которые целиком заняты продолжением примечания, начатого на листке 186.

госостояния некоторых классов своей собственной страны, которые являются одновременно и чрезвычайно эксплуататорскими, и чрезвычайно набожными.

Одним словом, совсем не трудно доказать с историческими данными в руках, что Церковь, что все Церкви, христианские и нехристианские, наряду со своей духовной пропагандой и, вероятно, чтобы ускорить и укрепить ее успех, никогда не пренебрегали тем, чтобы сорганизоваться в крупные компании для экономической эксплуатации масс и их труда под покровительством и с прямого и специального благословения какого-нибудь Божества; что все государства, которые при своем происхождении, как известно, были со всеми своими политическими и юридическими учреждениями и своими господствующими и привилегированными классами не чем иным, как светскими отделениями этих различных Церквей, имели также своим главным предметом лишь ту же самую эксплуатацию на пользу светского меньшинства, косвенно узаконенного Церковью, и что вообще деятельность Господа Бога и всех Божественных идей на земле в конце концов приводила всегда и везде к созданию материального процветания немногих на почве фанатического идеализма постоянно голодающих масс.

То, что мы видим сейчас, служит лишь новым доказательством этого. За исключением заблуждающихся великих сердец и великих умов, названных мною выше, кто ныне является самыми ожесточенными защитниками идеализма? Во-первых, все царствующие дома и их придворные. Во Франции – Наполеон III со своей супругой, госпожой Евгенией; все их бывшие министры, царедворцы и маршалы от Руэ и Базэна до Флери и Пиетри; мужи и жены императорского мира, которые так хорошо идеализировали и спасли Францию; журналисты и ученые: Кассаньяки, Жирардены, Дювернуа, Вельо, Леверрье, Дюма; наконец, черная фаланга иезуитов и иезуиток во всевозможных рясах и одеждах; все дворянство и вся высшая и средняя буржуазия Франции; либеральные доктринеры и либералы без доктрин: Гизо, Тьерье, Жюли Февры, Пельтаны и Жюли Симоны; все ожесточенные защитники буржуазной эксплуатации. В Пруссии, в Германии, – Вильгельм I, истинный современный представитель Господа Бога на земле; все его генералы, все его померанские и другие офицеры, вся его армия, которая, сильная своей религиозной верой, завоевала Францию всем известным «идеальным» способом. В России – царь и весь его двор: Муравьевы и Берги, все убийцы и набожные усмирители Польши. Повсюду, одним словом, религиозный или философский идеализм (причем один есть лишь более или менее свободное толкование второго) служит ныне знамением материальной эксплуатации. Напротив того, знамя теоретического материализма, красное знамя экономического равенства и социальной справедливости, поднято практическим идеализмом угнетенных и изголодавшихся масс, стремящихся осуществить наибольшую свободу и человеческие права каждого в братстве всех людей на земле.

Кто же истинные идеалисты, идеалисты не отвлеченности, но жизни, не неба, но земли, и кто – материалисты?

* * *

Очевидно, что основное условие теоретического или божественного идеализма – пожертвование логикой, человеческим разумом, отказ от науки. С другой стороны, мы видим, что, защищая идеалистические доктрины, невольно оказываешься увлеченным в стан угнетателей и эксплуататоров народных масс. Вот два важных основания, которые должны были казаться достаточными, чтобы отдалить от идеализма всякий великий ум, всякое великое сердце. Как же случилось, что наши знаменитые современные идеалисты, у которых, конечно, нет недостатка ни в уме, ни в сердце, ни в доброй воле и которые посвятили все свое существование целиком служению Человечеству, – как же случилось, что они упорно остаются в рядах представителей доктрины, отныне осужденной и обесчещенной?

Нужно, чтобы они были побуждаемы к этому очень сильными мотивами. Это не может быть ни логика, ни наука, ибо и логика, и наука против идеалистической доктрины. Это не могут быть, разумеется, и личные интересы, ибо такие люди бесконечно выше всего, что может быть названо личным интересом. Нужно, следовательно, чтобы это был сильный мотив морального порядка. Какой же? Он может быть только один: эти знаменитые люди думают, конечно, что идеалистические теории или верования существенно необходимы для достоинства и морального величия человека и что материалистические теории, напротив того, понижают его до уровня животного.

А если верно обратное?

Всякое развитие, как я уже сказал, влечет за собою отрицание исходной точки. Так как исходная точка, по учению материалистической школы, материальна, то отрицание ее необходимо должно быть идеально. Исходя от совокупности реального мира или от того, что отвлеченно называют материей, материализм логически приходит к действительной идеализации, то есть к гуманизации, к полной и совершенной эмансипации общества. Напротив того, так как по той же самой причине исходная точка идеалистической школы идеальна, то эта школа неизбежно приходит к материализации общества, к организации грубого деспотизма и к подлой, несправедливой эксплуатации в форме Церкви и Государства. Историческое развитие человека по учению материалистической школы есть прогрессивное восхождение, а по идеалистической системе оно может быть лишь непрерывным падением.

Какой бы вопрос, касающийся человека, мы ни затронули, мы всегда натолкнемся на то же основное противоречие между двумя школами. Таким образом, как уже я отметил, материализм исходит от животности, чтобы установить человечность; идеализм исходит от божественности, чтобы установить рабство и осудить массы на безысходную животность. Материализм отрицает свободную волю и приходит к установлению свободы; идеализм во имя человеческого достоинства провозглашает свободную волю и приходит к установлению свободы; идеализм во имя человеческого достоинства провозглашает свободную волю и на развалинах всякой свободы основывает власть. Материализм отвергает принцип власти, ибо рассматривает ее с полным основанием как порождение животности и потому что, напротив того, торжество человечества, которое, по его мнению, есть главная цель и смысл истории, осуществимо лишь при свободе. Одним словом, в любом вопросе вы всегда уличите идеалистов в практическом осуществлении материализма. Между тем как материалистов вы, напротив того, увидите всегда преследующими и осуществляющими самые глубокоидеальные стремления и мысли.

* * *

По системе идеалистов история, как я уже сказал, не может быть не чем иным, как непрерывным падением. Они начинают с ужасного падения, после которого никогда уже не поднимаются, с божественного *сальто мортале* из возвышенных сфер чистой абсолютной идеи в область материи. И заметьте еще – какой материи! Не той вечно деятельной и подвижной материи, полной свойств и сил, жизни и ума, какою она нам представляется в реальном мире, но материи отвлеченной, обедненной и сведенной к абсолютной нищете путем форменного грабежа этими «пруссаками мысли», то есть теологами и метафизиками, которые из нее все украли, чтобы отдать своему императору, своему Богу, – той материи, которая, лишенная всех присущих ей свойств, всякой деятельности и всякого движения, представляет лишь в противоположность божественной идее абсолютную глупость, непроницаемость, инертность и неподвижность.

Это падение столь ужасно, что Божество – божественная личность или идея сплющивается, теряет сознание самой себя и уже никогда не находит себя. И в этом отчаянном положении она еще вынуждена творить чудеса! Ибо, раз материя инертна, всякое движение, которое

происходит в мире, даже самое материальное, есть чудо и может быть лишь продуктом Божественного вмешательства, действий Бога на материю. И вот это бедное Божество, разжалованное и почти уничтоженное своим падением, остается несколько тысяч веков в этом обморочном состоянии, затем медленно пробуждается, стремясь всегда безуспешно схватить какое-нибудь смутное воспоминание о себе самом; и всякое движение, которое оно производит с этой целью в материи, становит-ся творением, новой формацией, новым чудом. Таким путем оно происходит через все ступени материальности и животности: сперва газ, простое или, скорее, химическое тело, минерал, оно затем распространяется по земле в виде растительной и животной организации, потом сосредоточивается в человеке. Здесь оно как будто должно бы найти себя, ибо в каждом человеческом существе оно возжигает ангельскую искру, частицу свое-го собственного Божественного существа, бессмертную душу.

Как удалось ему вложить абсолютно нематериальное вещество в вещество абсолютно материальное? Как тело может содержать, заключать в себе, ограничивать, парализовать чистый дух? Вот еще один из вопросов, который только вера, это страстное и глупое утверждение нелепости, может разрешить. Это – самое великое чудо. Здесь мы можем лишь установить результаты, практические следствия этого чуда.

После тысяч веков бесполезных усилий, чтобы прийти в себя, Божество, потерянное и распространенное в материи, которую оно одушевляет и которую приводит в движение, находит точку опоры, своего рода фокус своего собственного сосредоточения. Это – человек, это – его бессмертная душа, странным образом заключенная в смертном теле. Но каждый отдельный человек, рассматриваемый индивидуально, бесконечно ограничен, слишком мал, чтобы заключать Божественную безграничность; он может содержать в себе лишь чрезвычайно малую частицу ее, бессмертную, как Целое, но бесконечно меньшую, нежели Целое. Отсюда следует, что Божественное существо – существо абсолютно нематериальное. Дух делим, как и материя. Вот еще другая тайна, решение которой нужно предоставить вере.

Если бы Бог весь целиком мог поместиться в каждом человеке, тогда каждый человек был бы богом. Мы бы имели бесконечное количество богов, причем каждый оказывался бы ограничен всеми другими. И в то же время каждый был бы бесконечен – противоречие, которое непременно повлекло бы взаимное уничтожение людей ввиду невозможности существования более чем одного. Что же касается частиц, то это другое дело. В самом деле, нет ничего более рационального, чем то, чтобы одна частица была ограничена другою и была меньше своего целого. Только здесь представляется другое противоречие. Существо ограниченное, существо большее и существо меньшее – это свойство материи, но не духа. У такого духа, каким его представляют себе материалисты, это, конечно, может быть, ибо по учению материалистов действительный дух, душа есть не что иное, как функционирование материального организма человека. И тогда большая или меньшая величина души абсолютно зависит от большего или меньшего совершенства человеческого организма. Но эти самые свойства ограничения и относительной величины не могут быть приписаны духу, каким его понимают идеалисты, душе, абсолютно нематериальной, духу, существующему вне всякой материи. Там не может быть ни большего, ни меньшего, никакой границы между духами, ибо есть лишь один Дух и Бог. Если прибавить, что бесконечно малые и ограниченные частицы, составляющие человеческие души, в то же время бессмертны, мы дойдем до верха противоречий. Но это вопрос веры. Не будем останавливаться на нем.

Итак, следовательно, Божество разорвано и вмещено бесконечно малыми дозами в бесконечное количество существ обоего пола, всех возрастов, всех рас и всех цветов.

Это для него в высшей степени неудобное и несчастное положение, ибо божественные частицы столь мало узнают друг друга в начале своего человеческого существования, что начинают с пожирания друг друга. Однако среди этого состояния варварства и чисто животной грубости нравов божественные частицы, человеческие души сохраняют смутное воспоминание

своей первобытной божественности и непобедимо влекутся к Целому. Они ищут друг друга, они ищут его. Это – само Божество, распространенное и затерянное в материальном мире, ищет себя в людях, и оно столь разрушено множественностью человеческих тюрем, в которых рассеяно, что, ища себя, совершает кучу глупостей.

Начиная с фетишизма, оно ищет себя и поклоняется самому себе то в камне, то в кусочке дерева, то в тряпке. Даже весьма вероятно, что оно никогда не вышло бы из тряпки, если бы *другое* Божество, которое воздержалось от падения в материю и которое сохранилось в состоянии чистого духа на возвышенных высотах абсолютного идеала или в небесных сферах, не сжалилось бы над ним.

И вот опять новая тайна – тайна Божества, раскалывающегося на две половины, из которых каждая является целой и бесконечной, и из коих одна – Бог Отец – скрывается в чистых нематериальных областях, а другая – Бог Сын – снизошла в материю. Мы увидим сейчас установившиеся непрерывные сношения сверху вниз и снизу вверх между этими двумя Божествами, отделенными одно от другого. И эти сношения, рассматриваемые как единый, вечный и постоянный акт, составляют Святой Дух. Такова в своем истинном теологическом и метафизическом смысле великая страшная тайна христианской Троицы.

Но покинем скорее эти высоты и посмотрим, что происходит на земле.

Бог Отец, видя с высоты своего вечного великолепия, что бедняга Бог Сын, сплющенный и ошеломленный падением, до такой степени погрузился и потерялся в материи, что, придя даже в человеческое состояние, не может найти себя, решается наконец помочь ему.

Из огромного количества этих частиц, одновременно бессмертных, божественных и бесконечно малых, в которых Бог Сын рассыпан до такой степени, что не может больше узнать Самого Себя, Бог Отец выбирает наиболее ему понравившиеся и делает их своими вдохновенными, своими пророками, своими «добродетельными гениями», великими благодетелями и законодателями человечества: Зороастр, Будда, Моисей, Конфуций, Ликург, Солон, Сократ, божественный Платон и особенно Иисус Христос, совершенная реализация Бога Сына, наконец, собранного и сконцентрированного в единую человеческую личность; все апостолы: Святой Петр, Святой Павел и особенно Святой Иоанн; Константин Великий, Магомет, затем Карл Великий, Григорий VII, Данте, по мнению некоторых, также и Лютер, Вольтер и Руссо, Робеспьер и Дантон и много других великих и святых исторических персонажей, всех имен которых невозможно припомнить, но среди которых я, в качестве русского, прошу не забыть Святого Николая.

* * *

Итак, мы дошли до проявления Бога на земле. Но сейчас же, как только Бог появляется, человек сводится на ничто. Скажут, что он нисколько не сводится на ничто, ибо он сам частица Бога. Виноват! Я допускаю, что частица, кусочек определенного ограниченного целого, как бы мала ни была эта частица, является некоторым количеством, относительной величиной. Но часть, частица бесконечно великого по сравнению с ним необходимо бесконечно мала. Умножьте миллиарды миллиардов на миллиарды миллиардов, их произведение по сравнению с бесконечно великим будет бесконечно мало, а бесконечно малое равно нулю. Бог – все, следовательно, человек и весь реальный мир с ним вместе, вселенная, – ничто. Вы не выйдете из этого.

Бог появляется, человек сводится на ничто. И чем больше Божество делается великим, тем человечество делается более несчастным. Такова история всех религий. Таков результат всех божественных вдохновений и законодательств. В истории имя Бога есть страшная историческая палица, которою все божественно вдохновленные, великие «добродетельные гении», сокрушили свободу, достоинство, разум и благосостояние людей.

Мы имели вначале падение Бога. Мы имеем теперь падение, более интересующее нас, – падение человека, причиненное одним лишь появлением или проявлением Бога на земле.

Поглядите же, в каком глубоком заблуждении находятся наши дорогие знаменитые идеалисты. Говоря нам о Боге, они думают, они хотят возвысить нас, эмансипировать, облагородить, и, напротив того, они нас давят и обесценивают. Они воображают, что с помощью имени Бога они сами смогут установить братство среди людей, и, напротив того, они создают гордость, презрение, они сеют раздоры, ненависть, войну, они основывают рабство. Ибо с Богом непременно приходят различные степени божественного вдохновения; человечество делится на весьма вдохновленных, на менее вдохновленных и на совсем не вдохновленных.

Правда, все они равно ничтожны перед Богом; но по сравнению друг с другом одни более велики, нежели другие, и не только фактически, что было бы несущественно, ибо фактическое неравенство теряется само собою в коллективности, раз оно не находит в ней ничего, никакой акции или законного установления, за которое могло бы уцепиться; нет, одни более велики, чем другие по божественному праву вдохновения, что тотчас же создает неравенство, закрепленное, постоянное, окаменелое. Более вдохновленным *должны* внимать и повиноваться менее вдохновленные, и менее вдохновленным – совсем не вдохновленные. Вот хорошо установленный принцип власти и с ним два основных учреждения рабства: Церковь и Государство.

Из всех деспотизмов деспотизм доктринеров, или религиозных вдохновленных, есть наихудший. Они так ревностно относятся к славе своего Бога и к торжеству своей идеи, что в их сердце не остается больше места ни для свободы, ни для достоинства, ни даже для страданий живых людей, реальных людей. Божественная ревность, заботы об идее иссушают в конце концов в самых нежных душах, в самых сострадательных сердцах источник любви к человеку. Рассматривая все, что существует, все, что делается в мире с точки зрения вечности или отвлеченной идеи, они с пренебрежением относятся к вещам преходящим; но ведь вся жизнь реальных людей из плоти и костей составлена лишь из преходящих вещей. Они сами существа преходящие, которые, уходя, правда, замещаются другими, точно так же преходящими, но никогда не возвращаются в своей индивидуальности. Что есть постоянного или относительно вечного в реальных людях, так это факт существования человечества, которое, развиваясь непрерывно, переходит, все более богатое, от одного поколения к другому. Я говорю, *относительно* вечного, ибо когда наша планета будет разрушена – а она не преминет погибнуть рано или поздно, ибо все, что имеет начало, должно непременно иметь конец, – когда наша планета разложится, чтобы послужить, без сомнения, какому-нибудь новому образованию в системе вселенной, единственно реально вечной, кто знает, что сделается со всем человеческим развитием? Однако, так как момент этого разрушения бесконечно удален от нас, мы вполне можем рассматривать человечество как вечное относительно столь короткой человеческой жизни. Но самый этот факт прогрессивного человечества реален и жизненен, лишь поскольку он проявляется и осуществляется в определенное время, в определенном месте, в людях действительно живых, а не в его общей идее.

* * *

Общая идея всегда есть отвлечение и поэтому са-мому в некотором роде – отрицание реальной жизни. Я устанавливаю в Приложении то свойство человеческой мысли, а следовательно, также и науки, что она в состоянии схватить и назвать в реальных фактах лишь их общий смысл, их общие отношения, их общие законы; одним словом, мысль и наука могут схватить то, что постоянно в их непрерывных превращениях вещей, но никогда не их материальную, индивидуальную сторону, трепещущую, так сказать, жизнью и реальностью, но именно в силу этого быстротечную и неуловимую. Наука понимает мысль о действительности, но не самую действительность, мысль о жизни, но не самую жизнь. Вот граница, единственная гра-

ница, действительно непереходимая для нее, ибо она обусловлена самой природой человеческой мысли, которая есть единственный орган науки.

На этой природе мысли основываются неоспоримые права и великая миссия науки, но также и ее жизненное бессилие и даже ее зловредное действие всякий раз, как в лице своих официальных дипломированных представителей она присваивает себе право управлять жизнью. Миссия науки такова: устанавливая общие отношения преходящих и реальных вещей, распознавая общие законы, которые присущи развитию явлений как физического, так и социального мира, она ставит, так сказать, незыблемые вехи прогрессивного движения человечества, указывая людям общие условия, строгое соблюдение коих необходимо и незнание или забвение коих все – гда приводит к роковым последствиям. Одним словом, наука – это компас жизни, но это не есть жизнь. Наука незыблема, безлична, обща, отвлеченна, нечувствительна, подобно законам, коих она есть лишь идеальное, отраженное или умственное, то есть *мозговое*, отражение (подчеркиваю это слово, чтобы напомнить, что сама наука есть лишь материальный продукт материального органа материального организма человека – мозга). Жизнь вся быстротечна и преходяща, но также и вся трепещет реальностью и индивидуальностью, чувствительностью, страданиями, радостями, стремлениями, потребностями и страстями. Она одна самопроизвольно творит вещи и все реальные существа. Наука ничего не создает, она лишь констатирует и признает творения жизни. И всякий раз, как люди науки, выходя из своего отвлеченного мира, вмешиваются в дело живых творений в реальном мире, все, что они предлагают, или все, что они создают, – бедно, до смешного отвлеченно, лишено крови и жизни, мертворожденно наподобие *Гомункула*, созданного Вагнером, педантичным учеником бессмертного доктора Фауста. Из этого следует, что наука имеет своей единственной миссией освещать жизнь, но не управлять ею.

Правительство науки и людей науки, хотя бы они и назывались позитивистами, учениками Огюста Конта или даже учениками доктринерской школы немецких коммунистов, может быть лишь бессильным, смешным, бесчеловечным, жестоким, угнетающим, эксплуатирующим, зловредным. Можно сказать о людях науки *как о таковых* то же, что я сказал уже о теологах и метафизиках: у них нет ни чувства, ни сердца для того, чтобы быть индивидуальными и живыми. И в этом их даже нельзя упрекнуть, ибо это естественное следствие их ремесла. Будучи людьми науки, они только и могут интересоваться, что обобщениями, законами[127]…

(*Не хватает трех страничек рукописи*.)

…Они не исключительно люди науки, они также более или менее люди жизни.

Во всяком случае, не следует на это слишком полагаться. И если можно быть почти уверенным, что никакой ученый не посмеет теперь обращаться с человеком, как он обращается с кроликом[128], тем не менее всегда следует опасаться, как бы коллегия ученых, если только это ей позволить, не подвергла живых людей научным опытам, без сомнения, менее жестоким, но

---

[127] Кооперативная типография в Женеве получила в несколько приемов 210 первых листов рукописи Бакунина. Эти листы были целиком набраны. Существуют корректурные оттиски с 44 колонн набора той части рукописи, которая не вошла в первый выпуск *Кнуто-Германской империи*. Эти оттиски сохранились в бумагах Бакунина и прерываются на слове «законами», слове, которое стоит последним на листке 210, но не приходится последним в строчке оттиска, оставляя, наоборот, ее незаконченной, – верное доказательство, что типография не имела листка 211 и не могла продолжать набор дальше листка 210.Когда не изданные еще рукописи Бакунина упаковывались в ящик, чтобы быть пересланными мне (в 1877 г.), три листка 211—213 не могли быть разысканы. Ящик заключал в себе листки с 138 (конец) по 210, затем листки 214—340. Листков же 211, 212 и 213 не хватало. Какова причина их утраты? Я никак не могу догадаться.Издатели брошюры «Бог и Государство» попытались заполнить этот пробел. Они соединили последнюю строчку листка 210 с первой листка 214 при помощи 23 строчек текста, не принадлежащего Бакунину, и который должен был быть составлен Элизе Реклю. Я не воспроизвожу этот выдуманный текст, предпочитая предоставить самому читателю труд заполнить его собственным размышлением то, чего не хватает здесь в рукописи. – *Дж. Г.*

[128] Кажется, что в недостающих листках Бакунин говорил о вивисекции и об опытах, произведенных учеными с кроликами. – *Дж. Г.*

которые были бы не менее от этого гибельны для человеческих жертв. Если ученые не могут производить опытов над телом отдельных людей, они только и жаждут произвести их над телом социальным, и вот в этом-то им следует непременно помешать.

В своей нынешней организации монополисты науки – ученые, оставаясь в качестве таковых вне общественной жизни, образуют, несомненно, особую касту, имеющую много сходного с кастой священников. Научная отвлеченность есть их бог, живые и реальные индивидуальности – жертвы, а сами они – патентованные и посвященные жрецы.

Наука не может выйти из области отвлеченностей. В этом отношении она бесконечно ниже искусства, которое также, собственно говоря, имеет дело лишь с общими типами и с общими положениями. Но благодаря свойственным ему приемам, оно умеет воплотить их формы, хотя и не живые в смысле реальной жизни, но тем не менее вызывающие в нашем воображении чувство или воспоминание о жизни. Оно в некотором роде индивидуализирует типы и положения, которые восприняло, и этими индивидуальностями без плоти и костей, которые являются в силу того постоянными или бессмертными и которые оно имеет силу творить, оно напоминает нам живые, реальные индивидуальности, появляющиеся и исчезающие у нас на глазах. Искусство есть, следовательно, в некотором роде возвращение абстракции к жизни.

Наука же, напротив того, есть вечное приношение в жертву быстротечной, преходящей, но реальной жизни на алтарь вечных абстракций.

Наука так же мало способна схватить индивидуальность человека, как и индивидуальность кролика. Другими словами, она одинаково равнодушна как к тому, так и другому – не потому, чтобы ей был неизвестен принцип индивидуальности. Она его прекрасно сознает как принцип, но не как факт. Она прекрасно знает, что все животные виды, включая сюда вид человека, имеют реальное существование лишь в неопределенном числе индивидов, рождающихся и умирающих, уступающих место новым индивидам, равным образом преходящим. Наука знает, что по мере того, как поднимаешься от животных видов к видам высшим, принцип индивидуальности становится все больше определенным, индивиды становят – ся более совершенными и более свободными. Она знает, наконец, что человек, последнее и самое совершенное животное на этой земле, представляет собою самую полную и самую достойную рассмотрения индивидуальность по причине его способности понимать и конкретизировать, олицетворять в некотором роде в себе самом и в своем существовании, как общественном, так и частном, универсальный закон, она знает, когда она не заражена доктринерством – теологическим, метафизическим, политическим или юридическим, или даже узко научной гордостью, и когда она не остается глухою к инстинктам и самопроизвольным стремлениям жизни, – она знает – и это ее последнее слово, – что уважение человеческой личности есть высший закон человечества и что великая, настоящая цель истории, единственная, законная, – это гуманизация и эмансипация, очеловечение и освобождение, реальная свобода, реальное благосостояние, счастье каждого живущего в обществе индивида. Ибо в конечном счете, если только не вернуться к свободе убийственной фикции общественного блага под сенью Государства, фикции, всегда основанной на систематическом принесении народных масс в жертву, – нужно признать, что коллективная свобода и благосостояние реальны лишь тогда, когда они представляют собою сумму индивидуальных свобод и процветаний.

Наука знает все это, но она не считается, не может считаться с этим. Так как абстракция составляет истинную природу науки, она может понять принцип живой и реальной индивидуальности, но ей нечего делать с реальными и живыми индивидами. Она занимается индивидами вообще, но не Петром и Яковом, не тем или другим индивидом, не существующим, не могущим существовать для нее. Повторяю, индивиды, с которыми она может иметь дело, суть лишь абстракции.

Однако, историю делают не абстрактные, но реальные, живые, преходящие индивиды. У абстракций нет своих способов передвижения, они двигаются лишь, когда их носят реальные

люди. Для этих же существ, состоящих не только в идее, но реально из плоти и крови, наука – нечто бессердечное. Она рассматривает их самое большее, как *мясо (материал) для интеллектуального и социального развития*. Что ей до частных условий и до мимолетной судьбы Петра или Якова? Она поставила бы себя в смешное положение, она отреклась бы от своей роли, уничтожила бы себя, если бы захотела принять их за что-нибудь иное, чем за простые примеры в подтверждение своих вечных теорий. И смешно было бы претендовать на нее за это, ибо не в том ее миссия. Она не может схватить конкретное. Она может двигаться лишь в абстракциях. Ее миссия – заниматься *общими* положениями и условиями существования и развития либо вообще человеческого рода, либо определенной расы, породы, класса или категории индивидов, *общими* причинами их процветания или их упадка и *общими* средствами для их усовершенствования во всех отношениях. Лишь бы она выполнила этот труд широко и рационально – тем самым она выполнила бы весь свой долг, и было бы поистине смешно и несправедливо требовать от нее большего.

Но равным образом было бы смешно и даже опасно доверять ей миссию, выполнить которую она не способна. Так как ей свойственно игнорировать существование и участь Петра и Якова, то никогда не следует позволять ни ей, ни кому бы то ни было во имя ее управлять Петром и Яковом. Ибо она была бы вполне способна обращаться с ними почти так же, как она обращается с кроликами. Или скорее она продолжала бы игнорировать их; но ее патентованные представители, люди далеко не абстрактные, напротив того, весьма живые, имеющие очень реальные интересы, идущие на уступки под вредным влиянием, которое привилегии роковым образом оказывают на людей, – они кончили бы тем, что стали бы сдирать с этого Петра и Якова шкуру во имя науки, как до тех пор сдирали с них шкуру попы, политики всех мастей и адвокаты, во имя Бога, Государства и юридического права.

То, что я проповедую, есть, следовательно, до известной степени *бунт жизни против науки* или скорее *против правления науки*, не разрушение науки – это было бы преступлением против человечества, – но водворение науки на ее настоящее место, чтобы она уже никогда не могла покинуть его. До настоящего времени вся история человечества была лишь вечным и кровавым приношением миллионов бедных человеческих существ в жертву какой-либо безжалостной абстракции: бога, отечества, могущества государств, национальной чести, прав исторических, прав юридических, политической свободы, общественного блага. Таково было до сих пор естественное, самопроизвольное и роковое движение человеческих обществ. Что касается прошлого, то мы ничего не можем с ним поделать и должны принять его, как принимаем естественную необходимость. Нужно думать, что это был единственный возможный путь воспитания человеческого рода. Ибо не следует обманывать себя: даже признавая самую обширную роль за макиавеллистическими ухищрениями правящих классов, мы должны признать, что никакое меньшинство не было достаточно могущественно, чтобы навязать массам все эти ужасные самопожертвования, если бы в самих массах не имелось безумного самопроизвольного движения, толкающего их все к новым самопожертвованиям во имя одной из этих прожорливых абстракций, которые, подобно историческим вампирам, всегда питались человеческой кровью.

Что теологи, политики и юристы находят это прекрасным, это само собой понятно. Жрецы этих абстракций, они только этими постоянными жертвоприношениями народных масс и живут. Что метафизика соглашается с этим, это также не должно удивлять нас. Ее миссия в том и заключается, что она узаконивает и оправдывает, насколько возможно, все, что само по себе вопиюще несправедливо и нелепо. Но мы должны с прискорбием констатировать, что сама положительная наука выказывала до сих пор те же тенденции. Она могла делать это лишь по двум причинам: во-первых, потому, что, развившись вне жизни народных масс, она представлена привилегированной группой, и затем потому, что до сих пор она ставила себя самое абсолютной и последней целью всякого человеческого развития. Между тем путем справедли-

вой критики, на какую она способна и какую в конце концов она увидит себя вынужденной направить против себя самой, она должна бы понять, что она есть лишь необходимое средство для осуществления более высокой цели – полной гуманизации *реального* положения всех *реальных* индивидов, которые рождаются, живут и умирают на земле.

Громадное преимущество позитивной науки над теологией, метафизикой, политикой и юридическим правом заключается в том, что на место лживых и гибельных абстракций, проповедуемых этими доктринами, она ставит истинные абстракции, выражающие общую природу или самую логику вещей, их общих отношений и общих законов их развития. Вот что резко отделяет ее от всех предыдущих доктрин и что всегда обеспечит ей важное значение в человеческом обществе. Она явится в некотором роде его коллективным сознанием. Но есть одна сторона, которою она соприкасается абсолютно со всеми этими доктринами: именно, что ее предметом являются и не могут не являться лишь абстракции и что она вынуждена самою своей природою игнорировать реальных индивидов, вне которых даже самые верные абстракции отнюдь не имеют достаток, нужно установить следующее различие между практической деятельностью вышеупомянутых доктрин и позитивной науки. Первые пользовались невежеством масс, чтобы со сладострастием приносить их в жертву своим абстракциям, составляющим единственный законный предмет ее изучения.

Истории, как действительной науки, например, еще не существует, и в настоящее время едва начинают намечаться бесконечно сложные задачи этой науки. Но предположим, что история, наконец, сложилась в окончательную форму, – что она могла бы дать нам? Она воспроизведет верную и продуманную картину естественного развития как материальных, так и духовных, как экономических, так и политических, социальных, религиозных, философских, эстетических и научных общих условий обществ, имеющих свою историю. Но эта универсальная картина человеческой цивилизации, как бы она ни была детализирована, никогда не сможет представлять из себя что-либо иное, чем общую и, следовательно, *абстрактную* оценку, абстрактную в том смысле, что миллиарды человеческих индивидов, составлявших *живой и страдающий материал* этой истории, одновременно торжествующей и мрачной, – торжествующей с точки зрения ее общих результатов и мрачной с точки зрения бесчисленных искателей человеческих жертв, «раздавленных колесами ее колесницы», – эти миллиарды безвестных индивидов, без которых, однако, не был бы достигнут ни один из великих абстрактных результатов истории и на долю которых – заметьте это хорошенько – никогда не выпала возможность воспользоваться ни одним из достигнутых результатов, – эти индивиды не найдут себе ни малейшего местечка в истории. Они жили, и они были принесены в жертву, раздавлены для блага абстрактного человечества, вот и все.

Следует ли упрекать за это историческую науку? Это было бы смешно и несправедливо. Индивиды неуловимы для мысли, для размышления и даже для слова человеческого, которое способно выражать лишь абстракции, – неуловимы в настоящем, точно так же как и в прошлом. Следовательно, сама социальная наука, наука будущего, будет по-прежнему неизбежно игнорировать их. Все, что мы имели право требовать от нее, – это то, чтобы она указала нам верно и определенно *общие причины индивидуальных страданий*, и среди этих причин она не забудет, разумеется, принесение в жертву и подчинение – увы! слишком еще обычные и в наше время – живых индивидов отвлеченным обобщениям; в то же время она должна показать нам *общие условия, необходимые для действительного освобождения индивидов, живущих в обществе*. Такова ее миссия, и таковы ее пределы, за которыми деятельность социальной науки может быть лишь бессильной и пагубной. Ибо за этими пределами начинаются доктринерские и правительственные претензии ее патентованных представителей, ее жрецов. Пора уже покончить со всеми папами и жрецами, мы не хотим их, даже если бы они назывались социал-демократами.

Повторяю еще раз, единственная миссия науки – это освещать путь. Но только сама жизнь, которая освобождена от всех правительственных и доктринерских преград и которой предоставлена полнота ее самопроизвольности, может творить.

Как разрешить такое противоречие?

С одной стороны, наука необходима для рациональной организации общества; с другой стороны, неспособная интересоваться реальным и живым, она не должна вмешиваться в реальную и практическую организацию общества.

Это противоречие может быть разрешено лишь одним способом: наука как моральное начало, существующее вне всеобщей общественной жизни и представленное корпорацией патентованных ученых, должна быть ликвидирована и распространена в широких народных массах. Призванная отныне представлять коллективное сознание общества, она должна действительно стать всеобщим достоянием. Ничего не теряя от этого в своем универсальном характере, от которого она никогда не сможет отделаться, не перестав быть наукой и продолжая заниматься исключительно общими причинами, общими условиями и общими отношениями индивидов и вещей, она в действительности сольется с непосредственной и реальной жизнью всех человеческих индивидов. Это будет движение, аналогичное тому, которое заставило протестантов в начале Реформации говорить, что нет нужды в священниках, ибо отныне всякий человек делается своим собственным священником благодаря невидимому непосредственному вмешательству нашего Господа Иисуса Христа, так как ему удалось наконец проглотить своего Господа Бога. Но здесь речь не идет ни о Господе нашем Иисусе Христе, ни о Господе Боге, ни о политической свободе, ни о юридическом праве – все эти вещи, как известно, суть метафизические откровения и все одинаково неудобоваримы.

Мир научных абстракций вовсе не есть откровение, он присущ реальному миру, коего он есть лишь общее или абстрактное выражение и представление. Покуда он образует отдельную область, представленную специальной корпорацией ученых, этот идеальный мир угрожает нам занять место Господа Бога по отношению к реальному миру и предоставить своим патентованным представителям обязанности священников. Вот почему нужно растворить отдельную социальную организацию ученых во всеобщем и равном для всех образовании, чтобы массы, перестав быть стадом, ведомым и стригомым привилегированными пастырями, могли отныне взять в свои руки свои собственные исторические судьбы.[129]

Но пока массы не достигнут известного уровня образования, не следует ли предоставить людям науки управлять ими? Избави Бог, лучше им вовсе обойтись без науки, нежели быть *управляемыми* учеными. Первым следствием существования правительства ученых было бы установление недопустимости науки для народа. Это было бы неизбежно правительство аристократическое, ибо современные научные учреждения аристократичны. Умственная аристократия! С точки зрения практической она наиболее неумолимая и с точки зрения социальной наиболее надменная и оскорбительная – такова была бы власть, установленная во имя науки. Подобный режим был бы способен парализовать жизнь и движение в обществе. Ученые, всегда самодовольные, самовлюбленные и бессильные, захотели бы вмешиваться во все, и все источники жизни иссякли бы под их абстрактным и ученым дыханием.

Еще раз повторяю, жизнь, а не наука творит жизнь; самопроизвольная деятельность самого народа одна может создать народную свободу. Без сомнения, было бы большим сча-

[129] Наука, становясь всеобщим достоянием, сольется в некотором роде с непосредственной и реальной жизнью каждого. Она выиграет в пользе и приятности то, что потеряет в гордости, в честолюбии и педантическом доктринерстве. Это, конечно, не помешает тому, чтобы гениальные люди, более способные к научным изысканиям, нежели большинство их современников, отдались более исключительно, чем другие, культивированию наук и оказали великие услуги человечеству, не претендуя тем не менее на иное социальное влияние, чем естественное влияние, которое более высокая интеллектуальность никогда не перестанет оказывать в своей среде: ни на иную награду, кроме той, какую каждый избранный ум находит в удовлетворении своей благородной страсти. – *Прим. Бакунина.*

стьем, если бы наука могла уже теперь освещать самопроизвольное шествие народа к его освобождению. Но лучше отсутствие света, чем ложный свет, скудно зажженный извне с очевидной целью сбить народ с правильного пути. Впрочем, совершенного отсутствия света народ не испытает.

Не напрасно он прошел длинный исторический путь и оплатил свои ошибки веками страшных страданий. Практический опыт этих болезненных испытаний представляет собою своего рода традиционную науку, которая в известных отношениях стоит теоретической науки. Наконец, часть учащейся молодежи, те из буржуазных учащихся, которые чувствуют достаточно ненависти ко лжи, к лицемерию, к несправедливости и к подлости буржуазии, чтобы найти в себе самих мужество повернуться к ней спиной, и достаточно энтузиазма, чтобы беззаветно отдаться справедливому и туманному делу пролетариата, эта молодежь будет, как я уже сказал, братским руководителем народа: неся народу знания, которых ему еще недостает, она сделает совершенно бесполезным правительство ученых.

Если народ должен остерегаться правительства ученых, он еще с большим основанием должен остерегаться правительства вдохновленных идеалистов. Чем более искренни эти верующие и поэты небес, тем более становятся они опасными. Научная абстракция, как я уже сказал, есть рациональная абстракция, верная в своей сущности, необходимая в жизни, теоретическим представлением, сознанием которой она является. Она может, она должна быть поглощена и переварена жизнью. Идеалистическая абстракция Бог есть разъедающий яд, разрушающий и разлагающий жизнь, искажающий и убивающий ее. Гордость идеалиста, будучи отнюдь не личной, но божественной, непобедима и неумолима. Он может, он должен умереть, но он никогда не уступит и до последнего издыхания он будет пытаться поработить мир под каблук своего Бога, как прусские лейтенанты, эти практические идеалисты Германии, хотели бы видеть мир раздавленным сапогом со шпорой своего короля. Это та же вера – ее объекты даже не слишком различны – и тот же результат веры, рабство.

В то же время это – победа самого грязного и самого грубого материализма: нет нужды доказывать это относительно Германии, ибо нужно бы поистине быть слепым, чтобы не увидеть этого в настоящее время. Но я считаю еще необходимым доказать это относительно божественного идеализма.

* * *

Человек, как и все остальное в мире, – существо вполне материальное. Ум, способность мыслить, способность получать и отражать различные ощущения как внешние, так и внутренние, вспоминать о них, когда они миновали, и воспроизводить их воображением, сравнивать и отличать их друг от друга, делать отвлечения общих определений и создавать тем самым общие или абстрактные понятия, наконец, образовывать идеи, группируя и комбинируя понятия сообразно различным методам, – одним словом, разум, единственный создатель всего нашего идеального мира, есть свойство животного мира и главным образом абсолютно материального мозгового механизма.

Мы знаем это вполне достоверно благодаря индивидуальному опыту, который никогда не был опровергнут ни одним фактом и который может быть проверен каждым человеком в любой момент его жизни. Все животные, не исключая самых низших видов, обладают в той или иной мере интеллектом, и мы видим, что в ряду видов интеллект животных тем больше развивается, чем ближе организация данного вида приближается к человеческой. Но у одного лишь человека интеллект достигнет той силы абстракции, которая, собственно, и составляет мысль.

Универсальный опыт[130], который в конечном счете есть единственное начало, источник всех наших знаний, доказывает нам, следовательно, *во-первых*, что всякий интеллект всегда связан с каким-нибудь животным телом, и, *во-вторых*, что интенсивность, сила этой животной функции зависит от относительного совершенства животного организма. Этот второй результат универсального опыта приложим не только к различным видам животных; мы обнаруживаем его также у людей, интеллектуальная и моральная сила которых зависит слишком очевидно от большего или меньшего совершенства их организма, как расы, как нации, как класса и как индивида, чтобы была надобность долго останавливаться на этом.[131]

С другой стороны, достоверно, что ни один человек никогда не видел, не мог видеть чистого духа, освобожденного от всякой материальной формы, существующего отдельно от какого бы то ни было животного тела. Но если никто не видел его, как люди могли дойти до того, чтобы поверить в его существование? Ибо факт этого верования несомненен, и если и не универсален, как это утверждают идеалисты, то по меньшей мере весьма распространен. И как таковой он вполне заслуживает нашего почтительного внимания, ибо всеобщее верование, каким бы глупым оно ни было, всегда оказывает слишком сильное влияние на человеческие судьбы, чтобы было позволительно игнорировать его или отвлекаться от него.

* * *

Факт этого исторического верования объясняется, впрочем, естественным и рациональным образом. На примере детей и подростков и даже многих людей, давно уже достигших совершеннолетия, видно, что человек может пользоваться своими умственными способностями раньше, чем он отдает себе отчет в том, каким образом он ими пользуется, и раньше, чем он отчетливо и ясно сознает, что он пользуется ими. В этот период бессознательной работы наивного или верующего ума человек, преследуемый внешним миром и толкаемый внутренним возбудителем, именуемым жизнью с ее многочисленными потребностями, творит множество вымыслов, понятий и идей, по необходимости весьма несовершенных вначале и очень мало соответствующих действительности вещей и фактов, которую они стремятся выразить. И так как он не сознает еще работу своего собственного интеллекта, не знает еще, что это

---

[130] Следует различать универсальный *опыт*, на котором основывается всякая наука, от универсальной *веры*, на которую идеалисты хотят опереть свои верования. Опыт есть реальное констатирование реальных фактов; вера есть лишь предположение фактов, которых никто не видел и которые, следовательно, находятся в противоречии со всеобщим опытом всех. – *Прим. Бакунина.*

[131] Идеалисты, все те, кто верит в нематериальность и в бессмертие человеческой души, должны быть чрезвычайно смущены фактом интеллектуального различия, существующего между расами, народами и индивидами. Как объяснить эту разницу? Если только не допустить, что божественные частицы были распределены неравномерно? К несчастью, существует слишком значительное количество людей совершенно тупых, глупых до идиотизма. Не получили ли они при распределении частицу, одновременно и божественную, и тупую? Чтобы выйти из этого затруднения, идеалисты необходимо должны предположить, что все человеческие души одинаковы, но что тюрьмы, в которых они заключены, – человеческие тела не одинаковы, и одни более способны, чем другие, служить органом для чистой интеллектуальности души. Одна душа, таким образом, имела бы в своем распоряжении органы весьма тонкие, другие органы слишком грубые. Но такими тонкостями идеализм не вправе пользоваться и не может пользоваться без того, чтобы не впасть в непоследовательность и самый грубый материализм. Ибо перед абсолютной душой нематериальное должно явиться безразлично, равно и абсолютно грубым. Пропасть, разделяющая душу от тела, абсолютно нематериальное от абсолютно материального, бесконечна; следовательно, все различия необъяснимые и, кроме того, логически невозможные, которые могли бы существовать по другую сторону пропасти в материи, должны быть ничтожными и не существующими для души и не могут, не должны оказывать на нее никакого влияния. Одним словом, абсолютно нематериальное не может содержаться, быть заключено и еще меньше может быть выражено в какой бы то ни было степени абсолютно материальном. Из всех и грубых материалистических, – в том смысле, который присвоен этому слову идеалистами, – т. е. животных измышлений, которые были порождены невежеством и первобытной глупостью людей, мысль о нематериальной душе, заключенной в материальном теле, представляет собой, разумеется, самое грубое, самое нелепое измышление, и ничто лучше не доказывает все могущества древних предрассудков, оказывающих влияние даже на лучшие умы, как этот поистине плачевный факт, что люди, даже одаренные высоким интеллектом, могут еще говорить об этом в настоящее время. – *Прим. Бакунина.*

он сам создал и продолжает создавать эти вымыслы, понятия и идеи, и так как он не сознает сам, что они чисто *субъективного*, т. е. человеческого происхождения, он естественно и необходимо рассматривает их как существа *объективные*, реальные, совершенно независимые от него, существующие сами по себе и сами в себе.

Таким-то образом примитивные народы, медленно выходя из своей животной невинности, создали своих богов. Создав их и не подозревая, что они сами были их единственными творцами, они стали поклоняться им. Рассматривая их как реальные существа, бесконечно высшие, чем они сами, они их наделили всемогуществом, а себя признали их созданием, их рабами. По мере того как человеческие идеи развивались дальше, боги, которые, как я это уже отметил, всегда были лишь фактическим идеальным поэтическим отражением или перевернутым изображением, также идеализировались. Сперва грубые фетиши, они мало-помалу становились чистыми духами, существующими вне видимого мира, и, наконец, в результате долгого исторического развития они слились в единое божественное существо, в чистый, вечный, абсолютный дух, творца и владыку миров.

В каждом развитии, истинном или ложном, реальном или воображаемом, как коллективном, так и индивидуальном, труден лишь первый шаг, первый акт. Раз этот шаг сделан и первый акт совершен, дальнейшее развертывается, естественно, как необходимое последствие. Что было трудно в историческом развитии этого ужасного религиозного безумия, продолжающего преследовать и давить нас, так это установить божественный мир, каким он представляется вне реального мира. Этот первый акт безумия, столь естественный с точки зрения физиологической и, следовательно, необходимый в истории человечества, не совершился внезапно. Нужно было я не знаю сколько веков для развития и для проникновения этого верования в умственные привычки людей. Но, раз установившись, оно делается всемогущим, как необходимо делается всемогущим всякое безумие, овладевающее человеческим мозгом. Возьмите сумасшедшего – каков бы ни был пункт его помешательства, вы найдете, что смутная и навязчивая идея кажется ему самой естественной вещью в мире и что, напротив того, естественные и реальные вещи, находящиеся в противодействии с этой идеей, кажутся ему смешным и возмутительным безумием. А религия есть коллективное безумие, тем более могущественное, что оно – безумие традиционное и что ее происхождение теряется в чрезвычайно отдаленной древности. В качестве коллективного безумия она проникла во все детали как общественной, так и частной социальной жизни народов, она воплотилась в обществе, она сделалась, так сказать, коллективной душой и мыслью. Всякий человек окружен ею с рождения, он всасывает ее с молоком матери, поглощает со всем, что слышит и видит. Он так напичкан, отравлен, проникнут ею во всем своем существе, что позже, как бы могуч ни был его природный ум, он вынужден делать невероятные усилия, чтобы освободиться от нее, и все же никогда не достигает этого вполне. Наши современные идеалисты представляют собою одно доказательство этого, наши материалисты-доктринеры, немецкие коммунисты – другое. Они не сумели отделаться от религии государства.

Развитие сверхъестественного мира, мира божественного, прочих различных религиозных систем следовало своим естественным и логическим путем, всегда, впрочем, сообразно с современным и реальным развитием экономических и политических отношений, верным воспроизведением и божественной санкцией коих в мире религиозной фантазии оно являлось во все времена. Таким образом, коллективное историческое безумие, называющееся религией, развилось от фетишизма, пройдя через все ступени политеизма до христианского монотеизма.

Второй и, разумеется, наиболее трудный после установления отдельного божественного мира шаг в развитии религиозных верований был как раз переход от политеизма к монотеизму, от религиозного материализма язычников к спиритуалистической вере христиан. Языческие боги были – и в этом заключается их основной характер – прежде всего боги исключительно национальные. Затем, так как они были многочисленны, они необходимо сохраняли более или

менее материальный характер или, скорее, они были потому многочисленны, что были материальны, так как множественность есть одна из главных принадлежностей реального мира. Языческие боги не были еще собственно отрицанием реальных вещей – они были лишь их фантастическим преувеличением.[132]

Чтобы установить на развалинах их столь многочисленных алтарей алтарь единого и высшего Бога, Владыки Мира, нужно было, следовательно, сперва разрушить автономное существование различных наций, составлявших языческий или античный мир. Это и сделали в очень грубой форме римляне, которые, завоевав наибольшую часть мира, известного древним, создали в некотором роде первый набросок, конечно, совершенно отрицательный и грубый, человечества.

Бог, возвысившийся таким образом над всеми национальными различиями всех стран, как материальными, так и социальными, и бывший в некотором роде прямым отрицанием, необходимо должен был быть нематериальным и отвлеченным. Но столь трудная вера в существование подобного существа не могла родиться сразу. Поэтому, как я указываю в приложении, эта вера была задолго подготовлена и развита греческой метафизикой, впервые установившей философским способом понятие о *божественной идее*, вечно творящей и вечно воспроизводимой видимым миром. Но Божество, познанное и сотворенное греческой философией, было божеством безличным, ибо никакая метафизика, будучи последовательной и серьезной, не может возвыситься или, скорее, опуститься до идеи личного Бога. Нужно было, следовательно, найти Бога, который был бы одновременно единым и весьма любым. Такой Бог нашелся в лице весьма грубого, весьма эгоистического, весьма жестокого Иеговы, национального бога евреев. Но евреи, несмотря на этот исключительный национальный дух, который отличает их еще и теперь, стали фактически задолго до рождения Христа самым интернациональным народом в мире. Увлеченные частью в качестве пленников, но еще больше толкаемые той меркантильной страстью, которая составляет одну из главных черт их национального характера, они распространились по всем странам, неся повсюду культ своего Иеговы, которому они становились тем более верными, чем больше он покидал их.

В Александрии этот ужасный Бог евреев сделал личное знакомство с метафизическим Божеством Платона, уже сильно извратившимся впоследствии от знакомства с ним самим. Несмотря на свою национальную исключительность, ревнивый и жестокий, он не мог бесконечно противиться прелестям этого идеального и безличного Божества греков. Он соединился с ним, и от этого брака родился Бог спиритуалистический, но не остроумный – Бог христиан. Известно что неоплатоники Александрии были главными творцами христианской теологии.

Но теология не составляет еще религию, как и исторические элементы недостаточны для создания истории. Я называю историческими элементами общую обстановку и условия какого-либо реального развития: например, здесь завоевание римлян и встреча Бога евреев с идеальным Божеством греков. Для того чтобы оплодотворить исторические элементы, чтобы заставить их произвести целую серию новых исторических превращений, нужен живой, самопроизвольный факт, без которого они смогли бы остаться еще много веков в первобытном состоянии, ничего не творя. В таком факте не было недостатка у христианства, это была пропаганда, мученичество и смерть Иисуса Христа.

Мы почти ничего не знаем об этой великой и святой личности, ибо все, что сообщают о нем Евангелия, до такой степени противоречиво и носит такой сказочный характер, что мы едва можем уловить несколько жизненных и реальных черт. Достоверно лишь, что это был проповедник среди бедняков, друг и утешитель несчастных, невежественных, рабов и женщин

---

[132] Здесь в брошюре «Бог и Государство» вставлено содержание шести листков, не принадлежащих рукописи «*Кнуто-Германской империи*», которые составляют часть другой рукописи, из которой они вырваны. Бакунин сделал на обороте одного из них следующую пометку: «*Религия*. 2. Самое недавнее». Я воспроизвожу здесь эти шесть листков, не относящихся к данной рукописи. – *Дж. Г.*

и что он был весьма любим этими последними. Он обещал вечную жизнь всем угнетенным и страдающим на земле, число коих неизмеримо. И, как и надо было ожидать, он был распят представителями официальной морали и общественного порядка того времени. Его ученики и ученики его учеников благодаря завоеваниям римлян, уничтожившим национальные границы, могли разнести пропаганду Евангелия по всем странам, известным в те времена. Повсюду они были приняты с распростертыми объятиями рабами и женщинами, двумя общественными слоями древнего мира, наиболее угнетенными, наиболее страждущими и, разумеется, наиболее невежественными. Если им и удалось создать нескольких последователей в среде привилегированных и образованных, то в значительной мере благодаря влиянию женщин. Самая усиленная пропаганда велась ими почти исключительно в народе, столь же несчастном, как и отупевшем вследствие рабства. Это было первое пробуждение, первый осмысленный бунт пролетариата.

Великая честь христианства, его неоспоримая заслуга и весь секрет его беспримерного торжества, впрочем, совершенно законного, заключалась в том, что оно обратилось к страждущим массам, за которыми древний мир, образовавший интеллектуальную и политическую, узкую и жестокую аристократию, отрицал самые элементарные человеческие права. Иначе оно никогда не смогло бы распространиться. Учение, преподававшееся апостолами Христа, при всей своей утешительности для несчастных на первый взгляд, было слишком возмутительно, слишком нелепо с точки зрения человеческого разума, чтобы просвещенные люди могли принять его. Понятен поэтому восторг апостола Павла, когда он говорит о *необъяснимости веры* и о победе божественного безумия, отвергнутых могущественными и мудрыми века, но с тем большей страстностью принятых простецами, невеждами и нищими духом!

В самом деле, нужны были весьма глубокое недовольство жизнью, великая жажда сердца и почти абсолютная нищета ума, чтобы принять христианскую нелепость, самую отважную и самую чудовищную из всех религиозных нелепостей.

Христианство было не только отрицанием всех политических, социальных и религиозных институтов древности – оно было абсолютным извращением здравого смысла, всего человеческого разума. Всё, действительно существующее, реальный мир, рассматривалось, как несуществующее. Продукт отвлеченной мысли человека, последняя наивысшая абстракция, до которой достиг человеческий ум за пределами всего существующего и вне идей времени и пространства и которая, не имея уже больше ничего для преодоления, успокаивается на созерцании своей пустоты и своей абсолютной неподвижности (см. приложение), – эта абстракция, это ничто (caput motuum), абсолютно лишенное всякого содержания, в полном смысле слова ничто, Бог провозглашается единственным реальным существом, вечным, всемогущим. Все реальное объявлено ничем, и абсолютное ничто – всем. Тень стала телом, и тело исчезает, как тень.[133]

Это было неслыханной дерзостью и нелепостью, настоящей необъяснимостью веры, торжеством верящей глупости над умом для масс. Для некоторых же это было торжествующей иронией усталого, развращенного и разочарованного в честных и серьезных поисках истины ума; потребностью одурманиться и опроститься, потребностью, которая часто встречается у пресыщенных умов:

«Credo quia absurdum», т. е. «я не только верю нелепости, но именно и главным образом потому и верю, что это есть нелепость». Точно так же как в наше время многие выдающиеся и

[133] Я прекрасно знаю, что в теологических и метафизических системах Востока и особенно в индийских, включая сюда буддизм, уже встречается принцип уничтожения реального мира во имя идеала или абсолютной абстракции. Но он не носит еще этого характера добровольного и обдуманного отрицания, которым отличается христианство. Ибо когда эти системы были созданы, собственно человеческий мир, мир человеческого разума, человеческой науки, человеческой воли и человеческой свободы, не был еще развит в той степени, в какой он проявился впоследствии в греко-римской цивилизации. – *Прим. Бакунина.*

просвещенные умы верят в животный магнетизм, в спиритизм, в вертящиеся столы и – зачем ходить так далеко? – верят еще в христианство, в идеализм и в Бога.

Вера античного пролетариата точно так же, как и современных масс, была более прочной, более простой, не столь «хорошего тона». Христианская пропаганда обращалась к его сердцу, а не к уму, к его вечным стремлениям, к его потребностям, к его страданиям, к его рабству, а не к разуму, который еще дремал и для которого, следовательно, логические противоречия, очевидность нелепости не могли существовать. Единственный вопрос, интересовавший его, был вопрос: когда пробьет час обещанного освобождения? Когда наступит царство Божие? Что же касается до теологических догм, он не заботился о них, ибо ничего в них не понимал. Пролетариат, обращенный в христианство, составлял его материальную силу, а не силу теоретической мысли.

Что же касается христианских догматов, они, как известно, были выработаны в целом роде теологических и литературных работ и на церковных соборах, главным образом обращенными новоплатониками Востока. Греческий ум так низко пал, что уже в четвертом веке христианской эры – в эпоху первого собора – мы встречаем идею личного Бога, чистого, вечного, абсолютного духа, творца и верховного владыки мира, существующего вне мира, единогласно принятого всеми отцами церкви. И как логическое последствие этой абсолютной нелепости явилась, естественно, вера в нематериальность и в бессмертность человеческой души, помещенной и заключенной в смертном теле, но смертном лишь отчасти. Ибо в этом самом теле есть одна частица, которая, будучи телесной, бессмертна, как душа, и должна воскреснуть, как душа. Настолько было трудно даже отцам церкви представить себе дух вне всякой телесной формы!

Следует заметить, что вообще характер всякого теологического, равно как и метафизического, рассуждения требует, чтобы одну нелепость объяснили другою.

Христианству посчастливилось встретить мир рабов. Другим счастьем для него было вторжение варваров. Варвары были прекрасные люди, исполненные естественной силы и особенно вдохновленные и толкаемые громадной потребностью и громадной способностью к жизни; первостепенные разбойники, способные все разрушить и все поглотить, равно как и их преемники – современные немцы; менее систематичные и педантичные в своем разбое, чем эти последние, гораздо менее моральные, менее ученые, но зато более независимые и более гордые, способные к науке и неспособные к свободе, как современные немецкие буржуа. Но при всех этих крупных достоинствах они были все же лишь варвары, то есть столь же равнодушны, как и античные рабы, из коих многие, впрочем, принадлежали к их расе, ко всем вопросам теории и метафизики до такой степени, что раз их практическое отвращение к идеям было преодолено, то уже нетрудно было обратить их теоретически в христианство.

В течение десяти веков подряд христианство, вооруженное всемогуществом Церкви и Государства и без всякой конкуренции с чьей бы то ни было стороны, могло способствовать вырождению, порче и извращению умов Европы. У него не было конкурентов, ибо вне Церкви не было никаких мыслителей, ни даже грамотных людей. Она одна мыслила, она одна говорила, писала, она одна обучала. Если в недрах ее возникали ереси, они всегда нападали лишь на практическое или теологическое развитие основных догматов, но не на самые догматы. Вера в Бога, чистого духа и творца мира, и вера в материальность души оставались неприкосновенными. Это двойное верование сделалось идейной основой всей восточной и западной цивилизации Европы, и оно проникло, оно воплотилось во все учреждения, во все детали жизни, как общественной, так и частной, всех классов, точно так же как и масс.

Удивительно ли после этого, что это верование удержалось до нашего времени и что оно продолжает оказывать свое разрушительное влияние даже на такие избранные умы, как Мадзини, Кине, Мишле и многие другие? Мы видели, что первое нападение на него было произведено возрождением свободного ума в пятнадцатом веке, Возрождением, породившим героев и

мучеников, как Ванини, Джордано Бруно и Галилей. Хотя и заглушенная скоро гамом, шумом и страстями религиозной Реформации, свободная мысль продолжала втихомолку свою невидимую работу, завещая наиболее благородным умам каждого нового поколения дело человеческого освобождения путем подтачивания и разрушения нелепостей, пока наконец во второй половине восемнадцатого века она не появилась вновь на белый свет, смело подняв знамя атеизма и материализма.

* * *

Можно было думать тогда, что человеческий ум освободится наконец от всех божественных наваждений. Ничуть не бывало. Божественная ложь, которой питалось человечество – говоря лишь о христианском мире – в течение восемнадцати веков, еще раз показала себя более могущественной, чем человеческая истина. Не будучи более в состоянии пользоваться услугами черного племени, освященным Церковью вороньем – католическими или протестантскими священниками, потерявшими всякое доверие, она стала пользоваться светскими священниками, короткополыми лжецами и софистами, среди которых главная роль выпала на долю двух роковых людей: один был самый лживый ум, другой – самая доктринерская деспотическая воля прошлого (восемнадцатого) века: Жан-Жак Руссо и Робеспьер.

Первый очень типичен по своей узости и мрачной мелочности, по экзальтации, не имеющей другого предмета, кроме его собственной личности, по холодному энтузиазму и по лицемерию, одновременно сентиментальному и непримиримому, по вынужденной лжи современного идеализма. Его можно рассматривать как истинного творца современной реакции. На первый взгляд самый демократический писатель восемнадцатого века, он взращивал в себе беспощадный деспотизм государственного человека. Он был пророком доктринерского государства, первосвященником которого пытался сделать его верный ученик, Робеспьер. Услышав изречение Вольтера о том, что, если бы Бога не было, его следовало бы выдумать, Жан-Жак Руссо изобрел Высшее Существо, абстрактного и бесплодного Бога деистов. И во имя этого Высшего Существа и лицемерной добродетели, требуемой этим Высшим Существом, Робеспьер гильотинировал сперва эбертистов, затем самого гения Революции – Дантона, в лице которого он убил Республику, подготовляя таким образом неизбежное с того момента торжество и диктатуру Наполеона I. После этой великой победы идеалистическая реакция стала искать и нашла менее фанатических, менее грозных слуг, приспособленных к сильно измельчавшему уровню буржуазии нашего века. Во Франции это были Шатобриан, Ламартин и… – нужно ли говорить? Почему нет? Нужно все говорить, раз это верно, – это был сам Виктор Гюго, демократ, республиканец, ныне почти социалист, и следом за ними целая меланхолическая и сантиментальная когорта тощих и бледных умов, которые образовали под управлением этих учителей школу современного романтизма. В Германии это были Шлегели, Тикки, Новалисы, Вернеры, Шеллинги и многие другие, имена которых не заслуживают быть упомянутыми.

Созданная этой школой литература была истинным царством привидений и призраков. Она не выносила дневного света и могла существовать лишь в сумерках. Она не выносила и грубого прикосновения масс: это была литература нежных, деликатных, избранных душ, стремящихся к своему небесному отечеству и живущих на земле против воли. Политика, вопросы дня внушали ей ужас и презрение; но когда ей случалось говорить о них, она выказывала себя откровенно реакционной, держа руку Церкви против дерзости свободомыслящих, стоя за королей против народов и за всех аристократов против грубой уличной черни. В общем, как я уже сказал, в этой школе преобладало почти полное равнодушие к политическим вопросам. В облаках, среди которых она витала, можно было различить лишь два реальных явления: быстрое развитие буржуазного материализма и безудержное разнуздание индивидуального тщеславия.

* * *

Чтобы понять эту литературу, нужно искать причины ее существования в том превращении, которому подвергся буржуазный класс после революции 1793 г.

Со времен Возрождения и Реформации до Великой Революции буржуазия – если не в Германии, то по крайней мере во Франции, в Швейцарии, в Англии, в Голландии – была героична и представляла собою революционный гений Истории. Из недр ее вышло большинство свободных мыслителей пятнадцатого века, великие религиозные реформаторы двух последующих веков и апостолы освобождения человечества, – включая на этот раз и Германию, минувшего, восемнадцатого века. Она одна, разумеется, опираясь на симпатии и на мощные руки народа, верившего ей, сделала революцию 89 и 93 г. Она провозгласила низвержение королевской власти и Церкви, братство народов, права человека и гражданина. Таковы ее права на славу – они бессмертны.

С тех пор в ней произошел раскол. Одна значительная часть ее, те, кто приобрел национальные имения, став богатыми, и, опираясь на этот раз не на городской пролетариат, но на большинство крестьян Франции, которые равным образом сделались земельными собственниками, стремились к миру, к восстановлению общественного порядка, к созданию регулярного и сильного правительства. Она поэтому радостно приветствовала диктатуру первого Бонапарта и, хотя по-прежнему вольтерьянская, ничего не имела против конкордата с папой и восстановления официальной Церкви во Франции: «*Религия так необходима народу*!» Другими словами, эта часть буржуазии, насытившись сама, начала понимать, что для сохранения ее положения и приобретенных имений необходимо обмануть неутоленный голод народа обещаниями манны небесной. Тогда-то и начал свою проповедь Шатобриан.[134]

Наполеон пал. Реставрация вместе с законной монархией принесла назад во Францию могущество Церкви и родовой аристократии, которые вновь захватили если не всю, то по крайней мере значительную часть своей былой власти. Эта реакция снова толкнула буржуазию к революции. И вместе с революционным духом в ней проснулся свободный ум. Она отложила в сторону Шатобриана и снова начала читать Вольтера. Она не дошла до Дидро – ее ослабевшие нервы не переносили столь крепкой духовной пищи. Вольтер, одновременно свободномыслящий и деист, напротив того, был ей по вкусу. Беранже и Поль-Луи Курье прекрасно выражали это новое направление. «Бог добрых людей» и идеал буржуазного короля, одновременно и либерального, и демократического, вырисовывающегося на фоне величественных и отныне безобидных гигантских побед Империи, – такова была в эту эпоху насущная духовная пища французской буржуазии.

Ламартин, побуждаемый тщеславно-смешным желанием подняться на поэтические высоты великого английского поэта Байрона, начал было свои слабоумные гимны в честь Бога дворян и законной монархии. Но его песни раздавались лишь в аристократических салонах. Буржуазия не слушала их. Беранже был ее поэт и Поль-Луи Курье – ее политический писатель.

Июльская революция имела своим последствием облагорожение буржуазных вкусов. Известно, что всякий буржуа во Франции носит в себе неумирающий тип «мещанина в дворянстве», который всегда проявляется, как только буржуазия приобретает немного богатства и власти. В 1830 г. богатая буржуазия окончательно вытеснила у власти родовое дворянство. Она, естественно, стремилась создать новую аристократию – аристократию капитала, конечно,

---

[134] Я считаю полезным напомнить здесь очень известный и вполне достоверный анекдот, бросающий очень ценный свет как на личный характер этого подогревателя католических верований, так и на религиозную искренность этой эпохи.Шатобриан принес издателю произведение, направленное против веры. Издатель заметил ему, что атеизм вышел из моды, что читающая публика больше не интересуется им и что, напротив того, есть спрос на сочинения религиозные. Шатобриан удалился, но через несколько месяцев принес ему свой «*Гений христианства*». – *Прим. Бакунина.*

прежде всего, но также и аристократию ума, аристократию хороших манер и тонких чувств. Буржуазия начала чувствовать себя религиозной.

Это не было с ее стороны простым обезьянничаньем аристократических нравов, это необходимо вытекало в то время из ее положения. Пролетариат оказал ей последнюю услугу, помогая ей еще раз свергнуть дворянство. Теперь буржуазия не имела больше нужды в его помощи, ибо она чувствовала себя прочно засевшей в тени июльского трона, и союз с народом, отныне бесполезный, начал тяготить ее. Нужно было поставить его на надлежащее место, что, разумеется, не могло не вызвать большого негодования в массах. Становилось необходимым сдержать их. Но во имя чего? Во имя открыто признанного интереса буржуазии? Это было бы слишком цинично. Чем более какой-либо интерес несправедлив, негуманен, тем больше он нуждается в прикрытии какой-либо санкцией. А где взять ее, если не в религии, этой доброй покровительнице всех сытых и столь полезной утешительнице всех голодных? И больше, чем когда-либо, торжествующая буржуазия почувствовала, что религия абсолютно необходима для народа.

Получив все свои нетленные права на славу в оппозиции, как в религиозной и философской, так и в политической, в протестах и в революции, она сделалась наконец господствующим классом и благодаря этому защитницей и охранительницей государства, которое, в свою очередь, сделалось правильным институтом для установления исключительной власти этого класса. Государство есть сила, и прежде всего оно имеет за собой право силы, победоносную аргументацию ружья с наведенным курком. Но человек так странно устроен, что эта аргументация, как она ни кажется убедительной, ненадолго убеждает его, чтобы внушить ему почтение, ему абсолютно необходима какая-нибудь моральная санкция. Более того, нужно, чтобы эта санкция была столь очевидна и проста, чтобы она могла убедить массы, которые, будучи укрощены силой государства, должны быть приведены затем к моральному признанию его права.

Есть лишь два способа убедить массы в годности какого-либо общественного учреждения. Первый – единственно реальный, но в то же время и более трудный, ибо влечет за собою уничтожение государства, т. е. уничтожение политически организованной эксплуатации большинства каким-либо меньшинством, – это было бы непосредственное и полное удовлетворение всех потребностей, всех человеческих стремлений народных масс. Это было бы равносильно полной ликвидации как политического, так и экономического существования класса буржуазии и, как я уже говорил, уничтожению государства. Это средство было бы, без сомнения, спасительно для масс, но гибельно для буржуазных интересов. Следовательно, о нем говорить не приходится.

Поговорим же о другом средстве, которое, будучи гибельно лишь для народа, выгодно, напротив, для спасения буржуазных привилегий. Это другое средство может быть лишь религией. Это вечный мираж, увлекающий массы к изысканию божественных сокровищ, между тем как гораздо более скромный в своих желаниях господствующий класс довольствуется разделом между членами своего класса – впрочем, весьма неравным и всегда давая больше тем, кто больше имеет, – разделом тленных благ земли и человеческого достояния народа, понимая под этим его политическую и социальную свободу.

Нет и не может существовать государства без религии. Возьмите самые свободные государства в мире, например Соединенные Штаты Америки или Швейцарскую конфедерацию, и посмотрите, какую важную роль Божественное Провидение, эта высшая санкция всех государств, играет во всех официальных речах.

Но всякий раз как глава государства, будь то Вильгельм I, император кнуто-германский, или Грант, президент Великой Республики, говорит о Боге, будьте уверены, что он снова готовится стричь свое стадо – народ.

Французская буржуазия, либеральная, вольтерьянская и своим темпераментом толкаемая к позитивизму, чтобы не сказать к материализму – исключительно узкому и грубому, – сделавшись в 1830 г. государственным классом, должна была неизбежно создать себе офици-

альную религию. Это было нелегко. Она не могла, не щадя себя, подставить свою шею под иго римского католицизма. Между нею и римскою Церковью лежала целая пропасть, заполненная кровью и гневом, и как бы люди ни сделались практичны и умны, им никогда не удастся подавить в своей груди пыл исторически развившегося чувства. К тому же французская буржуазия поставила бы себя в смешное положение, если бы она вернулась к Церкви, чтобы принять участие в набожных церемониях божественного культа – основное условие почтенного и искреннего обращения. Многие пробовали это, но их героизм не имел иных результатов, кроме бесплодного скандала. Наконец, возвращение к католицизму было невозможно по причине неразрешимого противоречия, существовавшего между неизменной политикой Рима и развитием экономических и политических интересов среднего класса.

В этом отношении протестантство гораздо более удобно. Это по преимуществу религия буржуазии. Оно предоставляет как раз столько свободы, сколько ее необходимо для буржуазии, и оно нашло способ примирить небесные стремления с почтением, которого требуют себе земные интересы. Поэтому мы видим, что торговля и промышленность развились особенно в протестантских странах. Но для буржуазии Франции было невозможно стать протестантской. Чтобы перейти из одной религии в другую, – если только не делать этого из расчета, как иногда поступают евреи в России и Польше, которые крестятся по три, четыре раза, чтобы каждый раз получить новую плату, – чтобы переменить религию, нужно иметь крупицу религиозной веры. А в исключительно позитивном сердце французского буржуа совершенно нет места этой крупице. Он исповедует самое глубокое равнодушие ко всем вопросам, исключая прежде всего вопрос о своем кошельке и затем вопрос о своем социальном тщеславии. Он одинаково равнодушен как к протестантству, так и к католицизму. С другой стороны, французская буржуазия не могла бы принять протестантство без того, чтобы не встать в противоречие с обычной приверженностью к католичеству большинства французского народа, что явилось бы большой неосторожностью со стороны класса, который хотел править во Франции.

Оставалось, правда, одно средство – это вернуться к гуманитарной и революционной религии восемнадцатого века. Но эта религия ведет слишком далеко. Буржуазия вынуждена была, следовательно, создать для санкционирования нового буржуазного государства, которое она только что основала, новую религию, которая могла бы без слишком большого скандала и без комизма быть открыто исповедуема всем буржуазным классом.

Так родился деизм доктринерской школы.

Другие лучше, чем смог бы я, изложили историю возникновения и развития этой школы, имевшей столь решительное и – я вполне могу сказать – гибельное влияние на политическое, интеллектуальное и моральное воспитание буржуазной молодежи во Франции. Основателями этой школы считают Бенжамена Констана и мадам де Сталь, но истинным основателем ее был Ройе-Коллар; ее апостолами были гг. Гизо, Кузен, Вильмен и многие другие; ее громогласно признанная цель – примирение Революции с Реакцией, или, говоря языком школы, – принципа свободы с принципом власти, разумеется, в пользу последней.

Это примирение означало в политике обман народной свободы в пользу буржуазного господства, представленного монархическим и конституционным государством; в философии – сознательное подчинение свободного разума вечным принципам веры. Мы займемся здесь лишь этой последней частью.

Известно, что эта философия была главным образом выработана г. Кузеном, отцом французского эклектизма. Поверхностный говорун и педант; неповинный в какой бы то ни было оригинальной концепции, какой бы то ни было собственной мысли, но очень сильный в общих местах, которые он по ошибке считал здравым смыслом, этот знаменитый философ искусно приготовил для употребления учащейся молодежи Франции метафизическое блюдо на свой образец, потребление которого сделалось обязательным во всех школах Государства, подведомственных Университету, и обрекло много последующих поколений на несварение моз-

гов[135]. Представьте себе философский винегрет, составленный из самых противоположных систем, смесь из творений отцов Церкви, схоластов, Декарта и Паскаля, Канта и шотландских психологов, все это нагромождено на божественные и глубокие идеи Платона и прикрыто покровом гегельянской имманентности, все это, конечно, сопровождается полным и высокомерным невежеством в естественных науках, доказывающим, как «дважды два = пять».[136]

1. Существует личный Бог, душа бессмертна, она имеет произвольное решение, свободную волю. Из этого тройного положения естественно вытекает, –

2. *Индивидуальная мораль, абсолютная ответственность* каждого перед моральным законом, написанным Богом в совести каждого; *индивидуальная свобода*, предшествующая всякому обществу, но достигающая своего развития лишь в обществе.

3. Свобода индивида осуществляется прежде всего присвоением или взятием во владение земли. Право собственности есть необходимое последствие этой свободы.

4. Семья, основанная на наследственности этого права, с одной стороны, и, с другой стороны, на авторитете супруга и отца, есть учреждение в одно и то же время и естественное и божественное, божественное в том смысле, что с начала истории оно санкционировалось религией и совестью, полученной людьми от Бога, как ни несовершенна была эта совесть вначале.

5. Семья есть исторический зародыш Государства.

6. Историческое развитие этих вечных принципов, основы всякой человеческой цивилизации, осуществляется тройным прогрессивным движением:

а) человеческого ума, который, будучи выделением и, так сказать, непрерывным откровением Бога в человеке, проявил себя сначала в целом ряде религий, основанных якобы на откровении, и затем после тщетных поисков себя во множестве философских систем, наконец, нашел себя, признал и совершенно реализовал в эклектической системе г. Виктора Кузена;

б) человеческого труда, единственного производителя социальных богатств, без которых невозможна никакая цивилизация;

с) человеческой борьбы, как коллективной, так и индивидуальной, приводящей всегда к новым историческим, политическим и социальным перегруппировкам.

Все управляется Божественным Провидением.

7. История, рассматриваемая в своем целом, есть длительное проявление божественной мысли и воли. Бог, чистый дух, абсолютное существо и совершенное само в себе, пребывающее в своей вечности и в своей безграничной бесконечности, вне истории мира[137], следит с отеческим любопытством и направляет невидимой рукой человеческое развитие. Желая абсолютно по сво-ей божественной щедрости, чтобы люди, его создания, и, следовательно, фактически его рабы, были свободны и понимая, что они совсем не будут таковыми, если он будет слишком часто и слишком настойчиво вмешиваться в их дела, что его всемогущество не только будет стеснять их, но даже уничтожило бы их[138], он выявляет себя им возможно реже и лишь

---

[135] Здесь заканчивается брошюра «Бог и Государство». Издатели после последней фразы говорит: «Здесь рукопись прерывается». Между тем рукопись, которую они произвольно оборвали посредине страницы, совсем не прерывается и продолжается еще на 62 листках. – *Дж. Гил.*

[136] Начиная отсюда до конца весь текст, состоящий из тринадцати нумерованных параграфов, излагает не мнение Бакунина, но доктрину Виктора Кузена и эклектической школы. Бакунин вставляет в это изложение несколько примечаний и несколько критических заметок, помещенных в скобках и напечатанных курсивом. – *Д. Г.*

[137] Я извиняюсь перед читателем за нагромождение в таком небольшом количестве слов стольких грандиозных и чудовищных нелепостей. Это – логика доктринеров-идеалистов, а не моя. – *Прим. Бакунина.*

[138] Не правда ли, замечательно, что во всех религиях встречается один и тот же вымысел, что ни один смертный не вынес бы вида Бога в его бессмертной славе, но пал бы уничтоженный, пораженный молниею, испепеленный на месте: таким образом, все Боги, снисходя к этой слабости человеческой, показываются людям всегда в какой-нибудь заимствованной форме, часто даже в форме какого-либо животного, но никогда не в своем истинном великолепии. Иегова показал лишь один раз, я не помню уж какому пророку, свою собственную задницу и произвел этим у него такое мозговое расстройство (здесь есть непереводимая игра слов), что бедный пророк весь остаток своей жизни блуждал по деревням. Очевидно, что во всех религиях есть как бы смутный инстинкт той истины, что существование Бога несовместимо не только со свободой, достоинством и разумом

когда это делается аб-солютно необходимо для их спасения. Чаще всего он предоставляет их собственным усилиям и развитию того двойного света, одновременно божественного и человеческого, который он зажег в их бессмертных душах: *совести,* источнику всякой морали, и *уму*, источнику всякой истины. Но когда он видит, что этот свет начинает угасать, когда люди, заблудившиеся и слишком несовершенные, чтобы быть в состоянии идти всегда одни, попадают в безвыходный тупик, тогда он вмешивается. Но как? Не внешним и материальным чудом, которым переполнены суеверные предания народов и которые невозможны, ибо они нарушили бы порядок и законы природы, установленные самим Богом (*да, смелость идеалистов простирается до отрицания чудес!*), но чудом исключительно духовным, внутренним (*которое с точки зрения разума, логики, здравого смысла не менее нелепо и невозможно, чем грубые чудеса, придуманные народными верованиями; эти последние по меньшей мере имеют достоинство поэтической наивности, между тем как так называемые внутренние чудеса, со всеми своими претензиями на рационализм, не что иное, как глупости, искусно, хладнокровно, обдуманно притянутые за волосы*), чудом, недоступным чувствам.

Бог вмешивается тогда, вдохновляя своей божественной мыслью какую-нибудь избранную душу, наименее развращенную, наименее заблуждающуюся и наиболее интеллигентную, чем другие. Он делает из нее своего пророка, своего Мессию. Тогда, вооруженный мыслью, что он непосредственно вдохновлен самим Богом (это вдохновение составляет, впрочем, одно из тех психологических чудес, которые нам преподносятся и которые мы должны принять как исторически установленные, но которые мы никогда не будем в состоянии понять; божественная мысль всегда соразмерна со степенью развития, характером и духом эпохи и, следовательно, не проявляется никогда в своей полноте и своем абсолютном совершенстве; Бог слишком умен и слишком близко к сердцу принимает свободу людей, чтобы предложить им пищу, которую они не в состоянии были бы переварить), сильный невидимой помощью Бога и привлекая к себе все добромыслящие души с неотразимой силой, этот пророк, этот Мессия провозглашает божественную волю и основывает новую религию и новое законодательство.

Таким образом были установлены все религиозные культы и все государства. Отсюда следует, что как одни, так и другие, рассматриваемые в своей непременной сущности, за отделением всех деталей, внесенных как умственным, так и моральным несовершенством людей, в различные эпохи своего исторического развития суть *установления божественные* и как таковые должны пользоваться абсолютной властью. Таковы *Церковь* и *Государство* с их божественным, давящим, чудовищным, освящающим все авторитетом.

8. Церковь и Государство имеют, следовательно, двойной характер: божественный и человеческий одновременно. В качестве установлений божественных они неподвижны, и все их историческое развитие состоит лишь в более полном проявлении их собственной божественной природы или мысли Бога, которая оказывается осуществленной в их недрах, причем никогда новые откровения или вдохновения не вступают в противоречие с прежними откровениями и вдохновениями, ибо это явилось бы опровержением со стороны Бога самого себя. Но в качестве человеческих учреждений и Церковь, и Государство, представленные людьми и как таковые становящиеся солидарными со всеми страстями, со всеми пороками и со всеми глупостями человеческими, неизбежно обладают множеством недостатков и способны к крупным и спасительным последовательным изменениям, которые вызываются прогрессивным, моральным, интеллектуальным и материальным развитием наций, и это является серьезной основой истории.

9. В интеллектуальном и моральном развитии человечества, хотя и направляемом непрестанно вечным Провидением, форма религиозного откровения отнюдь не всегда необходима. Она была неизбежна в наиболее отдаленные времена истории, когда сознание, этот свет, одно-

---

человеческим, но и с самым существованием человека в мире. – *Прим. Бакунина.*

временно человеческий и божественный, это постоянное откровение Бога в людях, не было еще достаточно развито. Но по мере того, как оно приходит в свой надлежащий вид, эта чрезвычайная необычная форма откровений стремится все больше и больше к исчезновению, уступая место более рациональным вдохновениям знаменитых философов, великих мыслителей, которые, будучи лучше, чем другие, вооружены этим божественным инструментом, пользуясь притом постоянно помощью Бога – хотя чаще всего невидимым даже для них самих образом, но иногда также ощущая в себе эту помощь (например, демон Сократа), – стремятся постигнуть усилиями своей собственной мысли тайны Бога – тайны, которые уже были им отчасти раскрыты, им, как и всем другим, всеми предыдущими откровениями. Таким образом, на их долю остается лишь труд развить и объяснить их, давая им отныне, как санкцию и как основание уже не какое-либо чудесное предание, но самое логическое развитие человеческой мысли.

В этом лишь метафизики и отделяются от теологов. Вся разница между ними в форме, но не по существу. Предмет их тот же самый: это Бог, это вечные истины, божественные начала, религиозный политический и гражданский порядок, божественно установленный и навязанный людям абсолютной властью. Но теологи (*многие, по-моему, более последовательные, чем метафизики*) претендуют, что люди могут возвыситься до сознания Бога лишь путем сверхъестественного откровения; между тем как метафизики уверяют, что могут познать Бога и все вечные истины единственной силой мысли, которая есть – утверждают они постоянно – откровение в одно и то же время и естественное (!), и постоянное Бога в человеке.

(Для нас, разумеется, одни так же нелепы, как и другие, и мы предпочитаем даже в смысле нелепостей тех, которые откровенно нелепы, нежели тех, которые делают вид, будто относятся с почтением к человеческому разуму.)

10. Из этой формульной разницы вышла великая историческая борьба метафизики с теологией. Эта борьба, бывшая, с одной стороны, законной и благодетельной, не преминула, с другой стороны, иметь отвратительные последствия. Она бесконечно содействовала развитию человеческого ума, освобождая его от ига слепой веры, под коим его хотели держать теологи, и давая ему признать свою собственную силу и свою способность возвыситься до божественных вещей – условие человеческого достоинства и человеческой свободы. Но в то же время она ослабила в человеке одно ценное качество: богопочитание, чувство набожности. Человеческий ум слишком часто давал увлечь себя страстью борьбы и легкими победами, которые ему удавалось одержать над всегда более или менее глупыми защитниками слепой веры и устаревших форм религиозных учреждений, и это приводило его к отрицанию самых основ веры. И особенно в минувшем (восемнадцатом) веке он довел свое заблуждение вплоть до провозглашения себя материалистическим и атеистическим и до желания низвергнуть Церковь, забывая в своем горделивом безумии, что, осмеливаясь отрицать Церковь, он провозглашал свое собственное падение, свою полную материализацию и что все его величие, его свобода, его сила заключаются именно в способности, свойственной ему, возвышаться до Бога, великого, единственного объекта всех бессмертных мыслей; забывая, что эта Церковь, которую он безумно претендует низвергнуть и которая, конечно, в отношении ее нравов, обычаев и форм, не стоящих на высоте века, оставляет много желать, есть тем не менее божественное установление, основанное, как и Государство, людьми боговдохновенными, и что еще и теперь она есть единственное возможное проявление Божества для *невежественных масс*, неспособных возвыситься до Бога самопроизвольным развитием их спящего еще интеллекта.

Это заблуждение философского ума, как ни плачевны его результаты, было, вероятно, необходимо для пополнения его исторического воспитания. Вот почему, несомненно, Бог потерпел его. Предупрежденный трагическим опытом минувшего века, философский ум знает теперь, что, разнуздывая свыше меры принцип критики и отрицания, он шествует к пропасти и придет к уничтожению; что этот принцип, совершенно законный и даже спасительный, когда он прилагается с умеренностью к преходящим и человеческим формам божественных

вещей, делается мертвенным, ничтожным, бессильным, смешным, когда он нападает на Бога. Он знает, что есть вечные истины, которые выше всякого доверия и всякого доказательства и которые не могут даже быть предметом сомнения, ибо, с одной стороны, они нам раскрыты мировым сознанием, единодушным верованием веков и что, с другой стороны, они находятся в качестве *врожденных идей* в уме всякого человека и настолько свойственны нашему сознанию, что достаточно нам углубиться в самих себя, в наше интимное существо, чтобы они появились перед нами во всей своей простоте и во всей своей красоте. Эти основные истины, эти философские аксиомы суть: *существование Бога, бессмертие души, свободная воля.* Не может, не должно быть вопроса о том, чтобы оспаривать их реальность, ибо, как это столь прекрасно доказал Декарт, эта реальность нам дана, нам навязана тем самым фактом, что мы находим все эти идеи в сознании, которое наша мысль имеет о себе самой. Все, что нам остается сделать, – это понять их, развить их, согласовать в стройную систему. Таково единственное назначение философии.

И это назначение, наконец, совершенно осуществляется системой г. Виктора Кузена. Отныне мыслитель будет поклоняться Богу в духе и сможет даже освободить себя от всякого другого культа. Он имеет полное право совсем не посещать церковь, если только он не считает полезным идти туда ради своей жены, ради дочерей или *ради людей.* Но будет ли он посещать ее или нет, он всегда будет относиться с почтением к учреждению и даже к культу Церкви, какими бы отжившими ни казались ему ее формы: во-первых, потому, что даже эти формы и ложные идеи, которые они отчасти вызывают в массах, вероятно, еще необходимы для того состояния невежества, в каком находится сейчас народ; во-вторых, потому, что, резко нападая на эти формы, можно пошатнуть те верования, которые при довольно несчастном положении, в каком находится народ, составляют для него его единственное утешение и единственную моральную узду. Он должен, наконец, уважать их потому, что Бог, которого Церковь и народ обожают под этими нелепыми формами, есть тот самый Бог, перед которым почтительно склоняется величавая глава доктринера-философа.

Эта утешительная и успокоительная мысль была прекрасно выражена одним из наиболее знаменитых представителей доктринерской Церкви, самим господином Гизо, который в одной брошюре, опубликованной в 1845 или 1846 г., весьма радуется тому, что божественная истина так хорошо представлена во Франции в ее самых разнообразных формах: Католическая Церковь, говорит он в этой брошюре, которой у меня нет под руками, дает нам ее в форме авторитета, Протестантская Церковь – в форме свободного исследования и свободы совести, и университет – в форме чистой мысли. Нужно быть очень религиозным человеком – не правда ли? – чтобы осмелиться говорить и печатать подобные глупости, будучи в то же время человеком умным и ученым.

11. Борьба, поставившая в оппозицию метафизиков и теологов, возобновилась в мире интересов материальных и политики. Это – памятная борьба народной свободы против власти Государства. Эта власть, как и власть Церкви в начале истории, была, разумеется, деспотической. И этот деспотизм был спасителен, ибо народы вначале были слишком дики, слишком грубы, слишком мало зрелы для свободы – они еще так мало зрелы в настоящее время! – слишком мало еще способны склонить свою шею под иго божественного закона, как это делают теперь немцы, и добровольно подчиниться вечным условиям общественного порядка. Так как по природе человек ленив, необходимо было, чтобы внешняя сила толкала его на труд. Этим объясняется и узаконивается институт рабства в истории не в качестве вечного института, но как временная мера, продиктованная самим Богом и ставшая необходимой по причине варварства и извращенности природы людей – как средство исторического воспитания.

Устанавливая семью, основанную на собственности[139] и подчиненную высшему авторитету супруга и отца, Бог создал первый зародыш Государства. Первое правительство необходимо было деспотическим и патриархальным. Но по мере того, как увеличивалось число свободных семей в нации, естественные связи, объединившие их сперва в единую семью под патриархальным управлением единого главы, ослабели, и эта примитивная организация должна была быть заменена более ученой и более сложной организацией – Государством. В начале истории это было повсюду делом теократии. По мере того как люди, выходя из дикого состояния, приходили к первым и, разумеется, весьма грубым понятиям Божества, стала образовываться каста более или менее вдохновенных посредников между небом и землей. Во имя Божества священники первых религиозных культов установили первые государства, первые политические и юридические организации общества. Отбросив второстепенные различия, во всех древних государствах можно найти четыре касты: касту священников, касту благородных воинов, составленную из всех членов мужского пола и главным образом из глав свободных семей; эти две первые касты составляют собственно религиозный, политический и юридический класс, аристократию Государства; затем следует почти неорганизованная масса пришельцев, беженцев, клиентов и освобожденных рабов, лично свободных, но лишенных юридических прав, участвующих в национальном культе лишь косвенным образом и образующих все вместе собственно демократический элемент, народ, и, наконец, масса рабов, на которых даже смотрели не как на людей, а как на вещи, которые оставались в таком же жалком положении до появления христианства.

Вся история древности, которая развертывалась по мере того, как все больше и больше развивался и распространялся интеллектуальный и моральный прогресс человечества, направлялась всегда невидимой рукой Бога, который вмешивался не лично, разумеется, но посредством своих избранников и вдохновенных пророков, священников, великих завоевателей, политических людей, философов и поэтов. Вся история представляется непрерывной и роковой борьбой между различными кастами и серией целого ряда побед, одержанных сперва аристократией над теократией, и позже – демократией над аристократией. Когда демократия была окончательно побеждена, так как была неспособна организовать Государство, эту высшую цель всякого человеческого общества на земле, – особенно организовать неизмеримое Государство, которое победы римлян основали на развалинах всех отдельных национальностей и которое охватывало почти весь мир, известный древним, – она должна была уступить место военной императорской диктатуре Цезарей. Но так как мощь Цезарей была основана на разрушении всех национальных и частных организаций древнего общества и представляла, следовательно, разложение социального организма и сведение Государства к чисто фактическому существованию, опирающемуся единственно на механическую концентрацию материальных сил, то цезаризм оказался фатально осужденным в силу своего принципа на собственное саморазрушение до такой степени, что, когда варвары, бич Божий, посланный небом для обновления земли, пришли, им уже почти нечего было разрушать.

Древность завещала нам в области духовной: первые понятия Божества и метафизическую выработку божественной идеи, весьма серьезное начало позитивных наук, свое чудное искусство и свою бессмертную поэзию; в области земного: высшее установление Государства с патриотизмом, этой страстью и добродетелью Государства, юридическое право, рабство и бесконечные материальные богатства, созданные накоплением труда рабов и расточенные немного плохой экономией варваров, хотя тем не менее эти богатства, подправленные, пополненные

[139] Философы-доктринеры, равно как и юристы, и экономисты, предполагают всегда, что собственность создалась раньше государства, между тем как очевидно, что юридическая идея собственности, точно так же как и право семейное, юридическая семья, исторически не могла родиться иначе как в государстве, первым актом коего было неизбежно их установление. – *Прим. Бакунина.*

и возросшие с тех пор благодаря подчиненному регламентированному труду средних веков, послужили первой основой к созданию современных капиталов.

Великая идея человечества осталась совершенно неведомой древнему миру. Смутно проводимая его философами, она была слишком противна цивилизации, основанной на рабстве и на исключительно национальной организации государств, чтобы она могла быть принята им. Христос возвестил ее миру, став таким образом освободителем рабов и теоретическим разрушителем древнего общества.[140]

Если был когда-либо человек, непосредственно вдохновленный Богом, так это был он. Если есть абсолютная религия, так это его. Если удалить из Евангелий некоторые чудовищные несообразности, попавшие туда либо по глупости переписчиков, либо по невежеству учеников, мы находим в нем в популярном изложении всю божественную истину: Бог, чистый Дух, вечный отец, Создатель, верховный господин, Провидение и справедливость мира; его единственный Сын, избранный человек, который по вдохновению Своего Святого Духа спасает мир; и этот божественный Дух, наконец, открытый, проявленный и указующий всем людям путь вечного спасения. Такова божественная Троица. Рядом с ней человек, одаренный бессмертной душой, свободный и, следовательно, ответственный, призванный к бесконечному совершенствованию. Наконец, братство всех людей *на небе* и их равенство (*т. е. их равное ничтожество*) перед Богом провозглашены громогласно перед всеми. Нужно быть слишком требовательным, чтобы желать большего.

Позже эти истины были, без сомнения, неудачно приукрашены и извращены как по невежеству и по глупости, так и по усердию, не по разуму, а то так и по своекорыстным убеждениям теологов до такой степени, что, когда читаешь некоторые теологические трактаты, едва-едва узнаешь эти истины. Но специальная миссия истинной философии как раз и заключается в том, чтобы выделить их из этой человеческой нечистой амальгамы и восстановить их во всей их примитивной простоте, одновременно рациональной и божественной1.

Христианское откровение служит базой новой цивилизации. Вновь начиная сначала, она взяла за основу и за исходный пункт организацию новой теократии, абсолютное царство Церкви. Это было фатально. Церковь, будучи видимым воплощением божественной истины и божественной воли, необходимо должна была управлять миром. Мы вновь находим также в этом новом христианском мире четыре класса, соответствующих кастам древности, но являющихся нам, во всяком случае, измененными благодаря веянью времени: класс священников, на этот раз не наследственных, но рекрутируемых изо всех классов безразлично; наследственный класс феодальных сеньеров, воинов; класс городской буржуазии, соответствующий свободному народу древности, и, наконец, класс рабов, крестьян, облагаемых податями и заваленных работой без пощады, замещающих рабов с тем огромным различием, что их уже не рассматривают как вещи, но как человеческие существа, одаренные бессмертной душой, что не мешает сеньорам обращаться с ними так, как если бы они совсем не имели души.

Кроме того, мы находим в христианском обществе новый факт: неизбежное отныне отделение Церкви от Государства. Это отделение было естественным следствием международного всемирно человеческого принципа христианства (*не человеческого, но божественного*). Пока культы и Боги были исключительно национальные, они могли, они даже должны были сливаться с национальным Государством. Но как только Церковь приняла этот характер всеобщности, то стало необходимым ввиду того, что осуществление всемирного Государства было материально невозможным (*и, однако, ничто не должно бы было быть невозможным для Бога*), чтобы Церковь терпела вне себя существование и организацию национальных государств, подчиненных лишь ее высшему руководству и не имеющих право существовать иначе как с ее санкцией, но имеющих все же отдельное от нее существование. Отсюда вытекала историче-

[140] Не следует забывать, что это говорит не Бакунин, а Виктор Кузен. – *Дж. Г.*

ски необходимая борьба между двумя одинаково божественными учреждениями, Церковью и Государством; Церковь не желала признавать никакого права за Государством иначе как при условии, чтобы это последнее преклонилось перед превосходством Церкви, а Государство заявляло, напротив того, что раз оно установлено самим Богом точно так же как и Церковь, то оно не должно зависеть ни от кого, кроме Бога.

В этой борьбе Государства против Церкви концентрация могущества Государства, представленного королевством, опиралось главным образом на народные массы, более или менее порабощенные феодальными сеньорами, частью на деревенских рабов, но больше всего на городское население, на нарождающуюся буржуазию и на рабочие корпорации; между тем как Церковь находила себе весьма заинтересованных союзников в лице феодальных сеньоров, естественных врагов централистского могущества королевства и сторонников разложения национального единства и разложения Государства. Из этой тройной борьбы, одновременно религиозной, политической и социальной, родилось протестантство.

Торжество протестантства имело следствием не только отделение от Церкви и от Государства, но еще во многих странах, даже католических, и действительное поглощение Церкви Государством и, следовательно, образование абсолютных монархических государств, зарождение современного деспотизма. Таков был характер, принятый со второй половины семнадцатого века всеми монархиями на Европейском континенте.

По мере того, как отдельная власть Церкви и феодальная независимость сеньоров поглотилась высшим правом современного Государства, крепостничество, как коллективное, так и индивидуальное, народных классов, включая сюда буржуазию, рабочие корпорации и крестьян, необходимо должно было также исчезнуть, уступая постепенно место установлению гражданской свободы всех граждан или скорее всех подданных Государства (*другими словами, более могущественный, но не менее грубый и, следовательно, более систематически давящий деспотизм Государства приходит на смену деспотизму сеньоров и Церкви*).

Церковь и феодальное дворянство, поглощенные Государством, сделались его двумя привилегированными сословиями. Церковь все более и более стремилась превратиться в ценное орудие правительства, направленное уже больше не против Государства, но действовавшее внутри и к исключительной выгоде государства. Она получила отныне от Государства важную миссию управлять совестью, возвышать умы и быть полицией душ не столько для вящей славы Божией, сколько для блага Государства. Дворянство, после того как оно потеряло свою политическую независимость, сделалось прихлебателем монархии и, покровительствуемое ею, овладело монополией государственной службы, не зная отныне другого закона, кроме удовольствия монарха; Церковь и аристократия стали отныне угнетать народы не от своего собственного имени, но во имя и благодаря всемогуществу Государства1.

Наряду с этим политическим угнетением низших классов имелось еще другое иго, тяжело давившее на развитие их материального благополучия. Государство действительно освободило индивидов и коммуны от сеньоральной зависимости, но оно отнюдь не освободило народный труд, дважды порабощенный: в деревнях привилегиями, все еще связанными с собственностью, а также рабством, навязанным земледельцами; и в городах – корпоративной организацией ремесел; эти привилегии препятствовали окончательному освобождению буржуазного класса.

Буржуазия переносила это двойное – политическое и экономическое – иго с возрастающим нетерпением. Она сделалась богатой и интеллигентной, много богаче и много интеллигентнее, чем дворянство, управляющее ею и презиравшее ее. Сильная этими двумя преимуществами и поддерживаемая народом, буржуазия чувствовала себя призванной сделаться всем, а она была еще ничем. Отсюда вытекла революция.

Эта революция была подготовлена великой литературой восемнадцатого столетия, посредством которой философский, политический и экономический протест, объединившись

в одном общем, мощном властном требовании, смело выставленном во имя человеческого ума, создали революционное общественное мнение, орудие разрушения несравненно более чудовищное, чем все новые патронные ружья и современные усовершенствованные пушки. Этой новой силе ничто не могло противостоять. Революция совершилась, поглотив одновременно дворянские привилегии, алтари и троны.

12. Это столь тесное соединение практических требований с теоретическим движением умов восемнадцатого века установило громадное различие между революционными стремлениями этой эпохи и стремлениями Англии семнадцатого века. Оно, без сомнения, много способствовало расширению могущества революции, накладывая на нее международный, всемирный характер. Но в то же время оно влекло политическое движение революции в ошибки, которых теория не сумела избежать. Точно так же как философское отрицание вступило на ложный путь, нападая на Бога и объявляя себя материалистическим и атеистическим, точно так же политическое и социальное отрицание, введенное в заблуждение той же разрушительной страстью, напало на главные и первичные основы всякого общества, на Государство, на семью и на собственность, осмелившись громогласно объявить себя анархическим и социалистическим; стоит вспомнить эбертистов и Бабефа, и позже Прудона, и эссоциалистические и революционные партии. Революция убила себя своими собственными руками, и снова разнузданное и беспорядочное торжество демократии неизбежно привело ее к торжеству военной диктатуры.

Эта диктатура не могла быть продолжительной, ибо общество не было ни дезорганизовано, ни мертво, как это было с ним в эпоху установления империи Цезарей. Жестокие переживания 1789 и 1793 гг. лишь утомили и временно истощили его, но не уничтожили. Лишенная всякой инициативы при уравнительном и полном славы деспотизме Наполеона I, буржуазия воспользовалась этим вынужденным досугом, чтобы сосредоточиться и лучше развить в своем уме плодотворные семена свободы, которые оставило в нем движение предыдущего века. Наученная жестоким опытом неудавшейся революции, она отказалась от преувеличенных принципов 1793 г. и, возвратившись к принципам 1789 г., которые были верным и точным выражением народной воли, а не одной какой-либо секты или партии и которые действительно заключали в себе все условия умной, рассудительной, практической свободы (*то есть исключительно буржуазной свободы, которая была вся на пользу буржуазии и в ущерб народу, ибо в устах буржуа слово «практичный» никогда не означает чего-либо иного*), – она сделала их еще более *практичными*, отметая все, слишком расплывчатое, что ввела в них философия восемнадцатого века (*то есть слишком демократическое, слишком народное и слишком гуманно-широкое*), и изменяя их (*то есть суживая их*) сообразно с нуждами и новыми условиями эпохи. Таким образом, она окончательно создала *теорию конституционного права*, первыми апостолами которого были Монтескье, Неккер, Мирабо, Мунье, Дюпор, Барнав и много других, а г-жа де Сталь и Бенжамен Констан сделались его новыми пропагандистами при Империи.

Когда законная монархия, возвращенная во Франции падением Наполеона, хотела реставрировать старый режим, она встретила обдуманную и могущественную оппозицию буржуазного класса, который, зная отныне, чего он хочет, защищал от нее шаг за шагом бессмертные и законные победы революции – независимость гражданского общества от смешных претензий Церкви, подпавшей вновь под власть иезуитов; уничтожение всех дворянских привилегий; равенство всех перед законом; наконец, право народа не быть облагаемым налогами без его собственного согласия, право участвовать в управлении и законодательстве страны и контролировать действия власти посредством правильного представительства, исходящего из свободного голосования всех активных граждан страны, то есть владеющих собственностью и образованных. Легитимная монархия открыто не желала принять эти основные условия нового права и – пала.

13. Июльская монархия осуществила наконец во всей ее полноте истинную систему современной свободы. Без сомнения, в ней есть несовершенства; но это несовершенства, которые, естественно, связаны со всеми человеческими учреждениями. Те, которые имеются в конституционном июльском законе, должны быть приписаны главным образом недостатку понимания и практического навыка свободы не только в массах, но в самой буржуазии и отчасти, может быть, могут также быть политическим недостатком людей, которые приняли власть в свои руки.

Эти несовершенства, следовательно, преходящи, они должны исчезнуть под влиянием прогрессивной цивилизации. Но сама по себе система совершенна: она дает практическое разрешение всех вопросов, всех законных стремлений, всех действительных потребностей человеческого общества.

Она преклоняется прежде всего перед Богом, причиной всякого существования, источником всякой истины и невидимого вдохновения добрых мыслей, но, обожая его духом, она не хочет позволить, чтобы неверные и фанатические представители его незыблемой власти угнетали и дурно обращались с людьми во имя его. Она открывает путем официально преподаваемой во всех школах Государства философии, всем интеллигентным и благонамеренным гражданам способы возвысить их ум и сердце до понимания вечных истин без того, чтобы отныне была необходимость прибегать к вмешательству священников. Дипломированные Государством профессора заняли место священников, и университет сделался в некотором роде церковью интеллигенции. Но эта система проповедует в то же время просвещенное почтение ко всем традиционно установленным Церквам, признавая их полезными и необходимыми вследствие невежества народных масс. Уважая свободу совести, эта система покровительствует также всем старинным культам, однако при условии, чтобы их принципы, их мораль и их практика не были в противоречии с принципами, моралью и практикой Государства.

Эта система признает как основу и *абсолютное* условие человеческой свободы, достоинства и нравственности *доктрину свободной воли*, то есть абсолютную самопроизвольность решений индивидуальной воли и ответственность каждого за его действия, откуда вытекает для общества право и обязанность наказывать.

Эта система признает *частную* и *наследственную собственность* и *семью* как основы и действительные условия свободы, достоинства и нравственности людей. Она уважает право собственности каждого, не ставя ему иных ограничений, кроме равного права других, ни иных ограничений кроме тех, которые продиктованы соображениями общественной пользы, представляемой Государством. Собственность по этой системе есть действительно естественное право, предшествовавшее Государству; но оно становится юридическим правом лишь постольку, поскольку оно санкционировано и гарантировано как таковое Государством.

Следовательно, справедливо, чтобы Государство, гарантируя собственнику помощь со стороны всех, ставило ему условия, диктуемые интересами всех. Но эти ограничения или эти условия должны быть такого свойства, чтобы, всегда изменяя, поскольку это становится безусловно необходимо, но не больше, естественное право собственника в его различных формах и проявлениях, они никогда не могли задеть сущность его. Ибо Государство не есть отрицание, но, наоборот, освящение и юридическая организация всех естественных прав, откуда следует, что если бы оно нападало на них в самой сущности в основе их, то оно разрушало бы само себя. (*Оно всегда гарантирует то, что находит: одним – их богатство, другим – их бедность; одним – свободу, основанную на собственности, другим – рабство, неизбежное следствие их нищеты; и оно заставляет нищих вечно работать и в случае надобности умирать для увеличения и сохранения богатства, которое является причиной их нищеты и их рабства. Такова истинная природа и истинная миссия государства*.)

То же самое и с семьей, которая вообще неразрывно связана как принципиально, так и фактически с частной и наследственной собственностью. Власть супруга и отца составляет

естественное право. Общество, представляемое Государством, юридически санкционирует эту власть. Но в то же время оно ставит некоторые границы естественной власти того и другого, чтобы спасти другое естественное право – право[141] индивидуальной свободы подчиненных членов семьи, то есть матери и детей. И именно ставя ей эти границы, оно освящает ее, превращает ее в юридическое право и дает власти мужа и отца силу закона. Эта система рассматривает юридическую семью, основанную на этом двойном авторитете и на юридически наследственной собственности, как существенную основу всякой нравственности, всякой человеческой цивилизации и государства.

Она рассматривает Государство как божественное учреждение в том смысле, что оно было основано и последовательно развивалось с начала истории благодаря божественному объективному разуму, который присущ человечеству, рассматриваемому как одно целое, исторические индивиды коего, содействовавшие его основанию или его развитию, были лишь божественно вдохновенными истолкователями этого божественного разума. Она рассматривает Государство как неизбежную, постоянную, единственную, безусловную форму коллективного существования людей, то есть общества; как высшее условие всякой цивилизации, всякого человеческого прогресса, справедливости, свободы, общего благополучия – одним словом, как единственное возможное осуществление человечности. (*И, однако, очевидно, как я это докажу позже, что Государство есть вопиющее отрицание человечности*.)

Представляя общественный разум, общественное благо и всеобщее право, высший орган как материального, так и интеллектуального и морального коллективного развития общества, Государство должно быть вооружено по отношению ко всем индивидам большим авторитетом и чудовищной силой. Но из самого принципа Государства вытекает, что этот авторитет, эта сила не могут стремиться к разрушению естественного права людей без того, чтобы не разрушить свой объект и свою основу. Если Государство видоизменяет и ограничивает отчасти естественную свободу каждого индивида, так это лишь для того, чтобы еще больше ее усилить гарантией того коллективного могущества, единственным законным представителем которого оно является, а также лишь для того, чтобы санкционировать ее, цивилизовать – одним словом, превратить ее в юридическую свободу. Естественная свобода – свобода диких; юридическая свобода одна достойна цивилизованных людей. Государство, следовательно, есть в некотором роде церковь современной цивилизации, и адвокаты – ее священники. Откуда следует с очевидностью, что лучшее правительство есть правительство адвокатов.

В политической и юридической свободе, организация которой составляет собственно цель Государства, объединяются два основных принципа всякого человеческого общества – принципы, которые кажутся абсолютно противоположными вплоть до взаимного исключения друг друга и которые, однако, настолько неотделимы один от другого, что один не мог бы существовать без другого: принцип *власти* и принцип *свободы. (Да, они так хорошо объединены в государстве, что первый всегда разрушает второй, и что там, где он оставляет его существовать частично в пользу какого-либо меньшинства, это уже больше не свобода, а привилегия. Государство, следовательно, превращает то, что принято называть естественной свободой людей, в рабство для всех и в привилегию для некоторых.)*

С самого начала истории на протяжении долгих веков принцип власти господствовал почти исключительно так, что принцип свободы в течение очень долгого времени не мог проявиться иначе, чем в виде бунта, а этот бунт в конце восемнадцатого века был доведен до полного отрицания принципа власти, что имело своим последствием, как известно, воскрешение этого последнего, его снова исключительное господство при Империи и более умеренное при

[141] На обороте листка 273, на котором начинаются дальнейшие строки, Бакунин записал (13 марта 1871 г.), посылая мне этот листок и двенадцать следующих листков: «13 страниц с 273 по 285. Я еду завтра во Флоренцию, вернусь через 10 дней. Адресуй письма по-прежнему в Локарно. Когда ты уезжаешь? Жду известий от тебя. Обнимаю Швица (Швицгебеля). Твой М. Б.».

реставрированной легитимной монархии, пока он не был снова побежден последним бунтом принципа свободы. Но на этот раз свобода, сделавшись сама более умеренной и более благоразумной (*то есть буржуазной и только буржуазной*), не пыталась больше произвести невозможного разрушения спасительной и столь необходимой власти Европы. Напротив того, она объединилась с ней, чтобы основать Июльскую монархию, Хартию – истину.[142]

Государство, как божественное установление, существует милостью Бога. Но монархия не является таковой же. Это именно и было крупной ошибкой Реставрации – желание безусловно отождествить монархическую форму и личность монарха с Государством. Июльская монархия была не божественным установлением, но утилитарным; она была предпочтена Республике, потому что она была найдена более соответствующей нравам Франции и потому что она стала необходимой главным образом благодаря страшному невежеству французского народа. Поэтому самый прекрасный титул славы, на который мог претендовать выдвинутый революцией 1830 года король Луи-Филипп, был: *«Лучшая из Республик»*, титул, равноценный почти титулу *«Король-Джентльмен»* (король – галантный человек), данный позднее королю Виктору Эммануилу в Италии.

Божественное право, коллективное право существует, значит, в Государстве, какова бы ни была его форма, монархическая или республиканская. Его два составных принципа – принцип власти и принцип свободы, каждый, имея отдельную организацию и взаимно пополняя друг друга, образуют в государстве одно органическое целое.

Власть и сила Государства, сила, столь необходимая как для поддержания права и общественного порядка внутри, так и для защиты страны против внешних врагов, представлены «этой великолепной централизацией» (*подлинные слова г. Тьера, осуществленные ныне г. Гамбеттой; они выражают интимнейшее убеждение, чтобы не сказать культ – всех доктринерных, авторитарных либералов и громадного большинства республиканцев Франции*), этой прекрасной политической, военной, административной, юридической, финансовой, полицейской, университетской и даже религиозной машиной государства, бюрократически организованной, основанной революцией на развалинах прежнего партикуляризма провинций и образующей всю силу современной власти.

Политическая свобода представлена в Государстве законодательным собранием, избранным свободным голосованием страны и регулярно созываемым. То собрание имеет своей задачей не только регулировать расходы и участвовать, как единственный законный представитель национального суверенитета, в законодательстве, но оно постоянно контролирует еще во имя этого самого суверенитета все действия правительства и оказывает общее положительное влияние на все дела и решения власти как во внутренней, так и внешней политике страны. Различные способы организации этого права зависят меньше от принципа, чем от характера местных и преходящих обстоятельств, нравов, степени образования, политических условий и обычаев страны. Логически говоря, в унитарной и централизованной стране, какова, напр., Франция, должна бы существовать лишь одна палата. Первая палата, или Верхняя палата, имеет основание существовать лишь в стране, где, как в Англии, дворянская аристократия составляет еще юридически и социально отдельный класс, или же в странах, как Соединенные Штаты и Швейцария, где провинции (кантоны, штаты) сохранили в самых недрах политических единиц автономное существование; но не в такой стране, как Франция, где все граждане объявлены равными перед законом и где все провинциальные автономии растворились в централизации, не допускающей ни малейшей тени независимости и различий, ни коллективных, ни индивидуальных. Создание Палаты пэров, назначаемых пожизненно королем, объясняется, следовательно, в конституции 1830 г. лишь как мера предосторожности, которую нация сочла нужным принять против себя самое, как благоразумно поставленную ею преграду ее собственному,

[142] Намек на слова Луи-Филиппа при его восшествии на престол: «Хартией отныне будет Истина». – *Дж. Г.*

слишком революционному темпераменту. (*Из этого, во всяком случае, следует то, что эта Верхняя палата – Палата пэров, Сенат, – не имея никакого органического основания для своего существования, никаких корней в стране, которую она никаким образом не представляет; не имея, следовательно, никакой силы, ни материальной, ни моральной, которая была бы свойственна ей, существует всегда лишь ради удовольствия исполнительной власти и лишь как отделение ее. Это очень полезное орудие для того, чтобы парализовать, часто чтобы уничтожить силу собственно народной Палаты, уничтожить так называемое представительство национальной свободы; чтобы осуществить деспотизм в конституционных формах, как мы это видели в Пруссии и как мы еще долго будем видеть в Германии. Но она может оказать правительству эту услугу лишь постольку, поскольку это последнее сильно само по себе: она ничего не прибавляет к его силе, будучи сама сильна лишь властью, как бюрократия. Поэтому всякий раз, как вспыхивает революция, она исчезает, как тень.)*

Точно так же обстоит дело и с другим столь важным вопросом об ограниченном или всеобщем избирательном праве. Логически – можно было бы требовать права выборов для всех взрослых граждан, и нет сомнения, что чем больше образование и довольство распространяется в массах (*что, к счастью, для эксплуататоров никогда не сможет произойти, пока будет длиться правление привилегированных классов или вообще пока будут существовать государства*), тем больше это право должно также распространяться. Но в практических вопросах, и особенно в тех, которые имеют целью хорошее правительство и процветание страны, соображение формального права должны уступить место общественному интересу.

Очевидно, что невежественные массы слишком легко подчиняются зловредному влиянию шарлатанов (*как, например, влиянию священников и крупных собственников в деревнях и адвокатов и государственных чиновников в городах*). Они не имеют никакой материальной возможности распознать характер, истинные мысли и действительные намерения индивидов (*политиканов всех окрасок*), которые предлагают себя для выборов; мысль и воля масс почти всегда суть мысль и воля тех, кто находит какой-либо интерес внушить им то или другое[143]. С другой стороны, пролетариат, составляющий, однако, большую часть населения, не обладает ничем, ему нечего терять, он не имеет никакого интереса для соблюдения общественного порядка и, следовательно, не может избрать хороших депутатов. Он всегда предпочитает демагогов людям, стоящим за сохранение существующего. Чтобы быть действительным и серьезным, представительство страны должно быть верным выражением ее мысли и ее воли. Но эта мысль и эта воля осознаются лишь интеллигентными и владеющими классами страны, которые одни способны обдумать, охватить своей мыслью все интересы государства и одни живо интересуются поддержанием законов и общественного порядка. (*Это совершенно справедливо, и никто не может сомневаться в политической способности буржуазного класса. Несомненно, что буржуазия знает гораздо лучше, чем пролетариат, чего она хочет и чего она должна желать, и это – по двум причинам: во-первых, потому, что она гораздо образованнее последнего, потому что она обладает большим досугом и гораздо большими средствами распознавания людей, которых она избирает; и во-вторых, это даже главнейшая причина – потому, что*

[143] Признаюсь, что я разделяю это мнение либеральных доктринеров, которое также является и мнением многих умеренных республиканцев. Я лишь делаю из него выводы, диаметрально противоположные тем, которые делают те и другие. Я заключаю о необходимости уничтожения Государства как учреждения, неизбежно угнетающего народ, даже когда оно основывается на всеобщем избирательном праве. Для меня ясно, что всеобщее избирательное право, столь проповедуемое г. Гамбеттой – и недаром, ибо г. Гамбетта – последний вдохновенный и верующий представитель адвокатской и буржуазной политики, – что всеобщее избирательное право, говорю я, есть одновременно самое широкое и самое утонченное проявление политического шарлатанизма Государства; опасное орудие, без сомнения, требующее большого искусства со стороны тех, кто им пользуется, но которое, если умеют хорошо им пользоваться, есть наивернейшее средство заставить массы принимать участие в созидании их собственной тюрьмы. Наполеон III основал все свое могущество на всеобщем избирательном праве, которое ни на минуту не обмануло его доверия. Бисмарк сделал его основой своей Кнуто-Германской империи. Я вернусь более основательно к этому вопросу, который составляет, по – моему, главный и решительный пункт, отделяющий социалистов-революционеров не только от радикальных республиканцев, но и от всех школ доктринерных и авторитарных социалистов. – *Прим. Бакунина.*

ее цели и стремления отнюдь не новы и не так бесконечно обширны, как цели пролетариата; напротив, они совершенно известны и вполне определены как историей, так и всеми условиями ее настоящего положения; эти цели сводятся к одному – удержанию ее политического и экономического господства. Это поставлено столь ясно, что очень легко знать и догадаться, который из кандидатов, ищущих избрания буржуазией, будет и который не будет способен хорошо служить ей. Следовательно, несомненно или почти несомненно, что буржуазия будет всегда представлена сообразно с самыми интимными желаниями ее сердца. Но что не менее несомненно, так это то, что это представительство, прекрасное с точки зрения буржуазии, будет отвратительно с точки зрения народных интересов. Так как буржуазные интересы абсолютно противоположны интересам рабочих масс, то несомненно, что буржуазный парламент никогда не сможет сделать ничего другого, кроме как узаконить рабство народа и вотировать все меры, которые будут иметь целью увековечить его нищету и его невежество. Нужно быть поистине очень наивным, чтобы верить, что буржуазный парламент сможет добровольно проводить какие-либо мероприятия для интеллектуального, материального и политического освобождения народа. Видели ли когда-либо в истории, чтобы политический орган, привилегированный класс покончил бы с собой самоубийством, пожертвовал бы малейшими своими интересами и своими так называемыми правами из любви к справедливости и человечеству? Я, кажется, уже отметил, что даже знаменитая ночь 4 августа, когда дворянство Франции великодушно принесло свои привилегии в жертву на алтарь отечества, была не чем иным, как вынужденным и запоздалым следствием стихийного восстания крестьян, которые повсюду жгли пергаменты и замки своих сеньоров и господ. Нет, классы никогда не приносили себя в жертву и никогда этого не сделают, ибо это противно их природе, их смыслу существования, а ничто не делается против природы и против смысла.

Следовательно, совершенным безумцем был бы тот, кто ждал бы от какого-либо привилегированного законодательного собрания мер и законов в пользу народа.)

Из всего вышесказанного вытекает, что совершенно законно, разумно, необходимо ограничить на практике право избрания. Но лучшее средство ограничить его – это установить *избирательный ценз*, род политической «подвижной скалы»[144], двойная выгода которой такова: во-первых, она спасает курию избирателей от грубого давления невежественных масс; и в то же время она не позволяет ей превратиться в аристократическое и замкнутое учреждение, держа ее постоянно открытым для всех, кто благодаря своему уму, энергичному труду и способности делать сбережения сумел приобрести движимую или недвижимую собственность, платя определенную цифру прямых налогов. Эта система представляет, правда, собою то неудобство, что исключает из числа избирателей довольно значительное количество способных людей. Чтобы смягчить это неудобство, предложили принять в число избирателей также и способных людей. Но помимо трудности определить действительно способных, если только не признавать способными всех обладающих гимназическими дипломами, есть еще более важное соображение, заставляющее противиться этому допущению – так называемых «способных». Чтобы быть хорошим избирателем, недостаточно быть интеллигентным, образованным, даже иметь крупный талант, нужно еще быть существом *нравственным*. Но как и чем доказывается нравственность человека? *Его способностью приобретать собственность, когда он рожден бедным, или сохранять ее и увеличивать, когда он имел счастье получить наследство1*.

Нравственность основывается на семье; но семья своей основой и действительным условием имеет собственность; следовательно, очевидно, что собственность должна быть рассматриваема как условие и доказательство моральной ценности человека. Интеллигентный, энергичный, честный человек никогда не преминет приобрести эту собственность, являющуюся

[144] «Подвижной скалой» в Англии называли систему, прилагаемую к таксе на зерно, уровень которой поднимался или опускался сообразно с обилием или недостатком урожая. – *Дж. Г.*

необходимым социальным условием *респектабельности* гражданина и человека, проявлением его мужественной силы, видимым признаком его способностей, так же как и его честных склонностей и намерений. Исключение способных людей-несобственников есть, следовательно, не только факт, но в принципе даже совершенно законная мера. Это возбудитель для людей, действительно честных и способных, и справедливое наказание для тех, кто, будучи способен приобрести собственность, по небрежности или презрению не делает этого.

Эта небрежность, это презрение могут иметь источником лишь леность, низость или непоследовательность характера, неустойчивость ума. Такие индивиды весьма опасны. Чем способнее они, тем больше их следует осуждать и строже наказывать, ибо они вносят дезорганизацию и деморализацию в общество. (*Пилат сделал ошибку, повесив Иисуса Христа за его религиозные и политические мнения. Он должен был бы посадить его в тюрьму как бездельника, лентяя и бродягу*.)

Люди, одаренные способностями, которые не составляют себе состояние[145], могут сделаться, без сомнения, очень опасными демагогами, но никогда не будут полезными гражданами.

Так устроенное Государство есть первое условие или основа и – во все времена – высшая цель всей человеческой цивилизации. Оно есть наивысшее его выражение *на сей земле.* Вне Государства невозможна никакая цивилизация или очеловечение людей, рассматриваемых как с точки зрения индивидуальной, как отдельных свободных людей, так и с точки зрения коллективной, как человеческое общество. Каждый обязан отдать себя Государству, ибо Государство есть высшее условие человечности всех и каждого. Государство навязывает себя, следовательно, каждому как единственный представитель добра, спасения, справедливости всех. Оно ограничивает свободу каждого во имя свободы всех, индивидуальные интересы каждого во имя коллективного интереса целого общества.[146]

Продолжение того примечания, которое растягивается с 287 до 340 и последнего листка рукописи, было напечатано в 1895 году доктором Максом Неттлау в 1-м томе Собрания сочинений Бакунина, стр. 264, строка 7 – я, до стр. 326, под заглавием, заимствованным у Реклю и Кафиеро: «Бог и Государство», но его следует переместить сюда. – *Дж. Гильом.*

Дальше это примечание приводится полностью. – *Прим. издателей*.....
(Здесь прерывается *текст рукописи Бакунина.)*

Во имя этой фикции, называемой то коллективным интересом, то коллективным правом или коллективной волей и свободой, якобинские абсолютисты, революционеры школы Жан-Жака Руссо и Робеспьера, провозглашают угрожающую и бесчеловечную теорию абсолютного права Государства, между тем как монархические абсолютисты основывают ее с гораздо большей логической последовательностью на милости Божией. Либеральные доктринеры, по крайней мере те из них, которые принимают всерьез либеральные теории, исходя из принципа индивидуальной свободы, выставляют себя сперва, как известно, противниками свободы Государства. Они первые сказали, что правительство, то есть чиновный мир, так или иначе организованный и облеченный специальной миссией отправлять деятельность Государства, является необходимым *злом* и что вся цивилизация в том и заключается, чтобы все больше и больше

---

[145] Этот листок (285) последний, посланный мне Бакуниным (18 марта 1871 г.). Он сохранил у себя листок 286 и несколько следующих, написанных уже до его отъезда во Флоренцию. По своем возвращении он продолжал редактировать примечание, начатое на листке 286, и продолжил его до 340-го листка, на котором рукопись обрывается. – *Дж. Г.*

[146] Во имя этой фикции, называемой то коллективным интересом, то коллективным правом или коллективной волей и свободой, якобинские абсолютисты, революционеры школы Жан-Жака Руссо и Робеспьера, провозглашают угрожающую и бесчеловечную теорию абсолютного права Государства, между тем как монархические абсолютисты основывают ее с гораздо большей логической последовательностью на милости Божией. Либеральные доктринеры, по крайней мере те из них, которые принимают всерьез либеральные теории, исходя из принципа индивидуальной свободы, выставляют себя сперва, как известно, признаками свободы Государства. Они первые сказали, что правительство, то есть чиновный мир… – *Прим. Бакунина.*

уменьшать его атрибуты и права. Однако мы видим, что на практике всякий раз, как серьезно заходит речь о Государстве, доктринерные либералы выказывают себя не меньшими фанатиками абсолютного права Государства, чем монархические абсолютисты и якобинцы.

Их поклонение Государству во что бы то ни стало, столь противоречащее (по крайней мере внешне) их либеральным заявлениям, объясняется двояко: во-первых, *практически* – интересами их класса, ибо громадное большинство доктринерных либералов принадлежит к буржуазии. Этот столь многочисленный класс не желал бы ничего лучшего, как присвоить самому себе право или, точнее, привилегию самого полного безвластья. Вся его социальная экономия, истинная основа его политического существования, не имеет, как известно, другого закона, как это безвластие, выраженное ставшими столь знаменитыми словами: «Laissez faire et laissez aller» («Предоставьте всему идти, как оно идет»). Но буржуазия любит безвластие лишь в применении к себе самой и лишь при условии, чтобы массы «слишком невежественные, чтобы пользоваться им без злоупотребления», оставались подчиненными самой строгой дисциплине Государства. Ибо, если бы массы, устав работать на других, восстали, все политическое и социальное существование буржуазии рухнуло бы. Поэтому мы видим повсюду и всегда, что, когда массы работников начинают волноваться, самые ярые буржуазные либералы немедленно делаются самыми отъявленными сторонниками всемогущества Государства. А так как возбуждение народных масс делается ныне все возрастающей и хронической болезнью, мы видим, что буржуазные либералы даже в наиболее свободных странах все больше и больше обращаются в поклонников абсолютной власти.

Наряду с этой практической причиной есть другая, чисто *теоретическая*, которая также заставляет самых искренних либералов постоянно возвращаться к культу Государства. Они являются и называет себя либералами потому, что берут индивидуальную свободу за основу и исходную точку своей теории, и как раз потому, что их исходная точка или эта основа таковы, они по роковой по – следовательности должны прийти к признанию абсолютного права Государства.

Индивидуальная свобода, по их словам, отнюдь не есть создание и исторический продукт общества. Они утверждают, что она предшествует всякому обществу и что человек, рождаясь, приносит ее вместе со своей бессмертной душой как божественный дар. Отсюда вытекает, что человек представляет из себя нечто, вполне самобытное, целостное и в некотором роде абсолютное существо, лишь вне общества. Будучи сам свободен до и вне общества, он неизбежно составляет это общество актом своей воли и при помощи своего рода договора – инстинктивного и молчаливого или обдуманного и формального. Словом, по этой теории не индивиды создаются обществом, а, напротив, индивиды создают общество, толкаемые некоторой внешней необходимостью, как труд и война.

Ясно, что по этой теории общество в собственном смысле слова не существует. Естественное человеческое общество, действительная исходная точка всякой человеческой цивилизации, единственная среда, в которой может в действительности родиться и развиться личность и свобода людей, этой теории совершенно чужды. С одной стороны, она признает лишь индивидов, существующих сами по себе и свободных сами по себе, с другой стороны, это обусловленное общество, произвольно созданное индивидами и основанное на формальном или молчаливом договоре, есть Государство. (Они очень хорошо знают, что никакое историческое Государство никогда не имело основой своей договор и что все они были основаны насилием, завоеванием. Но эта фикция свободного договора, основы Государства, им необходима, и они ею пользуются без излишних церемоний.)

Человеческие индивиды, масса которых, условно соединенная, образует Государство, представляются по этой теории существами совершенно особенными и преисполненными противоречий. Одаренные бессмертной душой и свободой или свободной волей, присущей им, они суть, с одной стороны, существа бесконечные, абсолютные и как таковые вполне законченные,

самодовлеющие, довольствующиеся сами собою и не имеющие нужды больше ни в ком, даже в Боге, ибо, будучи бессмертны и бесконечны, они сами и боги. С другой стороны, они – существа весьма грубоматериальные, слабые, несовершенные, ограниченные и абсолютно зависящие от внешней природы, которая окружает, поддерживает и в конце концов рано или поздно уносит их. Рассматриваемые с первой точки зрения, они столь мало нуждаются в обществе, что это последнее является скорее помехой полноте их естества, их совершенной свободе. Поэтому мы видели с начала христианства святых и стойких людей, которые, глубоко восприняв идею бессмертия и спасения их душ, порвали все социальные связи и, избегая всяких человеческих отношений, искали в уединении совершенства, добродетели, Бога. Они вполне основательно, с логической последовательностью рассматривали общество как условие всех добродетелей. Если они и покидали иногда свое соединение, то не потому, что чувствовали потребность в этом, но из великодушия, из христианского милосердия к людям, которые, продолжая развращаться в социальной среде, нуждались в их советах, в их молитвах и руководстве. Всегда это было для спасения других, никогда для собственного спасения и самоусовершенствования. Напротив того, они рисковали погубить свои души, вступая в общество, из которого бежали с ужасом, как из основы всяческой испорченности. Окончив свое святое дело, они немедленно возвращались в пустыню, чтобы снова совершенствовать себя там беспрерывным созерцанием своего индивидуального существа, своей одинокой души, пред лицом одного Бога.

Этому примеру должны следовать все, кто верит еще ныне в бессмертие души, во врожденную свободу или в свободную волю, если только они желают спасти свои души и достойно подготовить их к вечной жизни. Повторяю еще раз, что святые отшельники, достигавшие путем уединения совершенного оглупления, были вполне логичны. Раз душа бессмертна, то есть бесконечна по своей сущности, свободна и сама по себе, она должна быть самодовлеющей. Лишь существа преходящие, ограниченные и законченные могут взаимно пополнять друг друга; бесконечное не пополняется. Встречаясь с другим существом, которое не есть оно само, оно чувствует себя, напротив того, ограниченным; поэтому оно должно избегать его, уклоняться ото всего, что не оно само. В крайнем случае, как я уже сказал, бессмертная душа должна быть в состоянии обойтись даже без Бога. Бесконечное в самом себе существо не может признать рядом с собою другое существо, которое было бы равным ему, и еще менее – существо выше его самого. Всякое существо, которое было бы столь же бесконечно, как оно само, и которое было бы не им самим, ограничивало бы его и, следовательно, делало бы его существом предельным и конечным.

Признавая столь же бесконечное существо, как она сама, вне себя самое, бессмертная душа необходимо признавала бы себя как существо конечное. Ибо бесконечное в действительности является таковым, лишь охватывая все и ничего не оставляя вне себя самого. Понятно, что бесконечное существо не может, не должно признавать бесконечное существо, которое было бы выше его самого. Бесконечность не допускает ничего относительного, ничего сравнимого; эти слова – высшая бесконечность и низшая бесконечность – ведут, следовательно, к нелепости. Бог именно и есть нелепость. Теология, которая обладает привилегией нелепости и которая верит в вещи именно потому, что эти вещи нелепы, ставит над бессмертными и, следовательно, бесконечными человеческими душами высшую абсолютную бесконечность, Бога. Но чтобы внести поправку к себе самой, она создала фикцию Сатаны, представляющего собой настоящий бунт бесконечного существа против существования абсолютной бесконечности, против Бога. И подобно тому, как Сатана возмутился против высшей бесконечности Бога, точно так же святые отшельники христианства, слишком смиренные, чтобы бунтовать против Бога, взбунтовались против равной людям бесконечности, против общества.

Они вполне основательно заявили, что в нем не нуждаются для своего спасения и что если по странной фатальности они были…[147] и павшими бесконечностями, то общество Бога, самосозерцание в присутствии этой абсолютной бесконечности для них достаточно.

Повторяю еще раз, это пример, достойный подражания для всех, кто верит в бессмертие души. С этой точки зрения общество не может им предложить ничего, кроме верной погибели. В самом деле, что дает оно людям? Прежде всего – материальные богатства, которые могут быть произведены в достаточных размерах лишь коллективным трудом. Но разве тот, кто верит в вечное существование, не должен презирать эти богатства? Не говорил ли Иисус Христос своим ученикам: «Не собирайте сокровищ на земле, ибо где ваши сокровища, там и ваши сердца» и еще: «Легче толстому канату или „верблюду“ (по другой версии) пройти сквозь игольное ушко, нежели богатому войти в царство небесное». (Воображаю, какую физиономию должны корчить набожные и богатые буржуа-протестанты Англии, Америки, Германии и Швейцарии, читая эти столь решительные и столь неприятные для них поучения.)

Иисус Христос прав, вожделение материальных богатств и спасение бессмертных душ, безусловно, непримиримы. А в таком случае, не лучше ли, раз хоть немножко верить на самом деле в бессмертие души, не лучше ли отказаться от удобств и роскоши, которые доставляются обществом, и питаться корнями, как это делают отшельники, спасая свою душу ради вечности, нежели погубить ее ценою нескольких десятков лет материальных удовольствий. Этот расчет столь прост, столь, очевидно, справедлив, что мы вынуждены думать, что набожные и богатые буржуа, банкиры, промышленники, купцы, делающие столь отличные дела, пользуясь всем известными средствами, и тем не менее повторяющие постоянно евангельские слова, отнюдь не рассчитывают на бессмертие души для себя и великодушно уступают это бессмертие пролетариату, скромно довольствуясь для себя жалкими материальными благами, собираемыми на земле.

Что дает еще общество помимо материальных благ? Плотские, человеческие, земные привязанности, цивилизацию и культуру духа, все, что с человеческой преходящей и земной точки зрения громадно, но перед лицом вечности, бессмертия и Бога равны нулю. Величайшая человеческая мудрость не является ли слабоумием перед лицом Бога?

Есть одна легенда восточной Церкви, которая гласит, что два святых отшельника, добровольно проведшие несколько десятков лет на одном пустынном острове, уединились даже друг от друга и, проводя ночи и дни в созерцании и молитве, дошли до того, что даже потеряли способность речи. Из всего их былого репертуара слов у них сохранилось всего три-четыре, которые, соединенные вместе, не имели никакого смысла, но тем не менее выражали перед Богом самые высшие устремления их душ. Они питались, разумеется, корнями наподобие травоядных животных. С точки зрения человеческой эти два человека были слабоумными или безумцами, но с точки зрения божественной, с точки зрения верования в бессмертие души они выказали себя более глубокими математиками, чем Галилей и Ньютон. Ибо они пожертвовали несколькими десятками годов земного благополучия и светского ума ради вечного блаженства и ума божественного.

Итак, очевидно, что человек, одаренный бессмертной душой, бесконечностью и свободой, присущими этой душе, есть существо в высшей степени антиобщественное. И если бы он был всегда благоразумен, если бы, занятый исключительно своим бессмертием, он имел достаточно ума, чтобы презирать все блага, все привязанности и всю суету сего мира, он никогда не вышел бы из этого состояния невинности или божественного слабоумия и никогда не создал бы общества. Одним словом, если бы Адам и Ева никогда не вкусили плода от древа познания, мы все жили бы наподобие животных в земном раю, который Бог назначил им для пребывания. Но как только люди захотели познавать, образовываться, очеловечиваться, думать, говорить

[147] В рукописи неразборчивое слово (de.. ques).

и пользоваться материальными благами, они неизбежно должны были выйти из своего одиночества и сорганизоваться в общество. Ибо поскольку *внутренне* они бесконечны, бессмертны, свободны, постольку они *внешне* ограничены, смертны, слабы и зависящи от внешнего мира.

Рассматриваемые с точки зрения их земного, то есть не фиктивного, а реального существования, огромное большинство людей представляет собой столь унизительное зрелище, столь безнадежное, бедное инициативой, волей и умом, что поистине нужно быть одаренным редкой способностью строить себе иллюзии, чтобы найти в них бессмертную душу и тень какой-либо свободной воли. Они представляются нам как существа абсолютно и фатально ограниченные, ограниченные прежде всего внешней природой, характером почвы и всеми материальными условиями их существования, ограниченные бесчисленными политическими, религиозными и социальными отношениями, обычаями, привычками, законами, целой массой предрассудков или мыслей, медленно выработанных предыдущими веками; они получают эти мысли уже при рождении на свет в обществе, которого они являются отнюдь не создателями, но сперва – продуктом, а позднее – орудием. На тысячу людей едва ли найдется один, о котором можно сказать не безусловно, но лишь относительно, что он желает и думает самостоятельно.

Громадное большинство человеческих индивидов не только среди *невежественных масс*, но точно так же в образованных и привилегированных классах хочет и думает лишь то, что все вокруг них думают, чего все хотят. Они верят, конечно, будто хотят и думают самостоятельно, но на самом деле они лишь рабски, по рутине, с ничтожными, едва заметными изменениями воспроизводят чужие мысли и желания. Это рабство, эта рутина, неиссякаемый источник общих мест, это отсутствие бунта воли, инициативы мысли индивидов – главные причины безнадежной медлительности исторического развития человечества. Для нас, материалистов или реалистов, не верующих ни в бессмертие души, ни в свободную волю, эта медлительность, как она ни печальна, представляется естественной. Происходя от гориллы, человек лишь с громадными трудностями достигает сознания своей человечности и осуществления своей свободы. Вначале он не может обладать ни этим сознанием, ни этой свободой. Он рождается диким животным и рабом и очеловечивается и прогрессивно эмансипируется лишь в недрах общества, которое необходимо предшествует зарождению его мысли, слова и воли. И он может достичь этого лишь коллективным усилием всех бывших и настоящих членов этого общества, которое, следовательно, есть основа и естественная исходная точка его человеческого существования. Из этого следует, что человек осуществляет свою индивидуальную свободу или свою личность, лишь пополняя себя всеми окружающими его индивидами и лишь благодаря труду и коллективному могуществу общества, вне коего он остался бы, без сомнения, самым грубым и самым несчастным из всех жестоких животных, существующих на земле. По системе материалистов, единственной естественной и логичной, общество не только не уменьшает и не ограничивает, но, напротив, создает свободу человеческих индивидов. Оно – корень, дерево, свобода же – его плод. Следовательно, в каждую эпоху человек должен искать свою свободу не в начале, но в конце истории, и можно сказать, что действительное и полное освобождение каждого человеческого индивида есть настоящая великая цель, высший результат Истории.

Совсем иная точка зрения идеалистов. По их системе человек проявляет себя сперва бессмертным и свободным существом и кончает тем, что становится рабом. В качестве бессмертного и свободного, бесконечного и самоцельного духа он не нуждается в обществе. Отсюда следует, что если он вступает в общество, то лишь по причине своего грехопадения. Или же потому, что он забывает и теряет сознание своего бессмертия и своей свободы.

Существо противоречивое, бесконечное, как дух, но зависящее, несовершенное и материальное вовне, он вынужден объединяться не вследствие потребности своей души, но ради сохранения своего дела. Общество образуется, следовательно, лишь своего рода принесением в жертву интересов души и независимости души презренным интересам тела, внутренне бес-

смертного и свободного, отказом, по крайней мере частичным, от своей первоначальной свободы.

Известна сакраментальная фраза, которая на жаргоне всех сторонников Государства и юридического права выражает это падение и это самопожертвование, этот первый роковой шаг к человеческому порабощению: «Индивид, пользующийся полной свободой в естественном состоянии, то есть прежде, чем он делается членом какого-либо общества, приносит, вступая в него, в жертву часть этой свободы, чтобы общество гарантировало ему все остальное».

На просьбу разъяснить эту фразу отвечают обыкновенно другой: «*Свобода каждого человеческого индивида не должна иметь других границ, кроме свободы всех других индивидов*».

На первый взгляд нет ничего более справедливого. Не правда ли? И, однако, эта теория содержит в зародыше всю теорию деспотизма. Согласно с основной идеей идеалистов всех школ и вопреки всем реальным фактам человеческий индивид представляется абсолютно свободным существом, постольку и лишь постольку он остается вне общества. Отсюда следует, что общество, рассматриваемое и понимаемое единственно как юридическое и политическое общество, то есть как Государство, есть отрицание свободы. Вот к каким результатам приводит идеализм. Он, как видим, совершенно противоположен выводам материализма, которые согласно с тем, что происходит в реальном мире, выставляют индивидуальную свободу людей как необходимое следствие их коллективного развития человечества.

Материальное, реалистическое и коллективное определение свободы совершенно противоположно определению идеалистов. Оно таково: человек становится человеком и достигает как сознания, так и осуществления своей человечности лишь в обществе и лишь коллективной деятельностью всего общества. Он освобождается от ига внешней природы лишь коллективным и социальным трудом, который один лишь способен превратить поверхность земли в пребывание, благоприятное развитию человечества. Без этого же материального освобождения не может быть ни для кого и освобождения интеллектуального и морального.

Человек не может освободиться от ига своей собственной природы, то есть он может подчинить свои инстинкты и движения своего собственного тела управлению своего более и более развивающегося ума лишь воспитанием и образованием. Но и то и другое явление по самому существу своему исключительно общественные явления, ибо вне общества человек вечно остался бы диким животным или святым, что почти одно и то же. Наконец, изолированный человек не может сознавать своей свободы. Быть свободным для человека означает быть признанным и рассматриваемым свободным и пользующимся соответственным обращением со стороны другого человека, со стороны всех окружающих его людей. Свобода, следовательно, не может быть фактом уединения, но взаимодействия, не исключения, но, напротив того, соединения, ибо свобода каждого индивида есть не что иное, как отражение его человечности или его человеческого права в сознании всех свободных людей, его братьев, его равных.

Я могу назвать себя и чувствовать себя свободным лишь в присутствии и по отношению к другим людям. В присутствии животного низшего рода я не свободный и не человек, ибо это животное не способно осознать, а следовательно, и признать мою человечность. Я человечен и свободен сам лишь постольку, поскольку я признаю свободу и человечность всех людей, окружающих меня. Лишь уважая их человеческое естество, я уважаю свою собственную человечность. Людоед, который съедает своего пленника, обращаясь с ним, как с диким животным, – не человек, но животное. Господин рабов – не человек, но господин. Не считаясь с человечностью своих рабов, он пренебрегает своей собственной человечностью. Любое античное общество может доставить нам доказательство этого: греки, римляне не чувствовали себя свободными как люди, они не рассматривали себя с точки зрения общечеловеческого права. Они считали себя привилегированными в качестве греков, в качестве римлян лишь в своем собственном отечестве, пока оно оставалось независимым, незавоеванным и, напротив того, завоевывающим другие страны вследствие особого покровительства их национальных Богов.

И они отнюдь не удивлялись и не считали своим долгом возмущаться, когда, побежденные, они сами попадали в рабство.

Великой заслугой христианства было провозглашение человечности всех человеческих существ, включая женщин, и равенства всех людей перед Богом. Но как оно провозгласило это? На небесах, в будущей жизни, но не для теперешней, реальной жизни на земле. К тому же это будущее равенство опять-таки ложно, ибо, как известно, число избранных в высшей степени ограничено. Относительно этого пункта все теологи самых различных христианских сект единодушны. Следовательно, пресловутое христианское равенство влечет за собою самую вопиющую привилегию нескольких тысяч избранных божественной милостью на миллионы отверженных. Впрочем, это равенство всех перед Богом, если бы даже оно осуществилось для каждого, было бы лишь равным ничтожеством и равным рабством всех перед высшим господином.

Основа христианского культа и первое условие спасения не есть ли, таким образом, отказ от человеческого достоинства и презрение этого достоинства пред лицом божественного величия? Христианин, следовательно, – не человек в том смысле, что он не обладает сознанием человечности, и также потому, что, не уважая человеческого достоинства в самом себе, он не может уважать его в других; а не уважая его в других, он не может уважать его в себе самом. Христианин может быть пророком, святым, священником, королем, генералом, министром, чиновником, представителем какой-либо власти, жандармом, палачом, дворянином, эксплуататором – буржуа или порабощенным пролетарием, угнетателем или угнетенным, мучителем или мучимым, хозяином или работником, но он не имеет права называть себя человеком, ибо человек делается в действительности таковым лишь тогда, когда он уважает и любит человечность и свободу всех и когда его свобода и его человечность уважаемы, любимы, называемы и создаваемы всеми.

В самом деле, я свободен лишь тогда, когда все человеческие существа, окружающие меня, мужчины и женщины, равно свободны. Свобода других не только не является ограничением или отрицанием моей свободы, но, напротив, есть необходимое условие и утверждение ее. Я становлюсь действительно свободным лишь благодаря свободе других, так что чем больше количество свободных людей, окружающих меня, чем глубже и шире их свобода, тем распространеннее, глубже и шире становится моя свобода. Напротив того, рабство людей ставит препятствие моей свободе, или, что сводится к тому же, именно их животность и является отрицанием моей человечности, ибо – повторяю еще раз – я могу называть себя действительно свободным лишь тогда, ко – гда моя свобода ли, что то же, мое человеческое достоинство, мое человеческое право, заключающееся в том, чтобы не повиноваться никакому другому человеку и руководствоваться в моих действиях лишь моими собственными убеждениями, лишь когда эта моя свобода, отраженная равно свободным сознанием всех людей, возвращается ко мне, подтвержденная согласием всех. Моя личная свобода, подтвержденная, таким образом, свободой всех, становится беспредельной.

Мы видим, что свобода, как она понимается материалистами, есть нечто весьма положительное, весьма сложное и в особенности в высшей степени общественное, ибо она может быть осуществлена лишь при помощи общества и лишь при более тесном равенстве и солидарности каждого со всеми. Можно различать в ней три момента развития. Три элемента, из коих первый есть в высшей степени положительный и общественный – это полное развитие и полное пользование каждого всеми человеческими способностями и возможностями путем воспитания, научного образования и материального благополучия, а все это может быть дано каждому лишь коллективным материальным и интеллектуальным, мускульным и нервным трудом целого общества.

Второй элемент или момент свободы – отрицательный. Это элемент *бунта* человеческого индивида против всякой божеской и человеческой, коллективной и индивидуальной власти.

Это прежде всего бунт против тирании высшего призрака теологии, против Бога. Очевидно, что, пока у нас будет господин на небе, мы будем рабами на земле. Наш разум и наша воля будут одинаково сведены к нулю. Пока мы будем верить, что мы обязаны ему абсолютным повиновением, – а по отношению к Богу не может быть иного, чем абсолютного повиновения, – мы должны будем необходимо пассивно и без малейшей критики подчиняться святой власти его посредников и его избранных: мессий, пророков, божественно вдохновенных законодателей, императоров, королей и всех их чиновников и министров, представителей и священнослужителей двух великих учреждений, которые навязываются нам как установленные самим Богом для управления людьми: Церкви и Государства. Всякая преходящая или человеческая власть исходит непосредственно от духовной или божественной власти. Но власть есть отрицание свободы. Бог, или скорее фикция бога, есть, следовательно, освящение и интеллектуальная и моральная причина всякого рабства на земле, и свобода людей будет полной лишь тогда, когда она совершенно уничтожит гибельную фикцию небесного владыки.

Затем, как следствие бунта против Бога, является бунт против тирании людей, против власти, как индивидуальной, так и общественной, представленной и легализированной Государством. Относительно этого нужно, однако, хорошенько столковаться, а для того надо начать с установления весьма точного различия между официальной и, следовательно, тиранической властью общества, организованного в Государство, и влиянием и естественным воздействием неофициального, естественного общества на каждого из его членов.

Бунт против естественного влияния общества много труднее для индивидов, чем бунт против официально организованного общества, против Государства, хотя часто он также совершенно неизбежен, как последний. Общественная тирания, часто давящая и гибельная, не представляет того характера повелительного насилия, узаконенного и формального деспотизма, которые отличает власть Государства. Она не навязывается как закон, которому всякий индивид вынужден повиноваться под страхом подвергнуться юридической каре. Ее воздействие мягче, вкрадчивее, незаметнее, но она тем более могущественна, чем воздействие власти Государства. Общественная тирания господствует над людьми путем обычаев, путем нравов, совокупностью переживаний, предрассудков и привычек как в области материальной жизни, так и в сфере ума и сердца и составляет то, что мы называем общественным мнением. Оно окружает человека с рождения, проникает его, пронизывает и образует самую основу его собственного индивидуального существования. Таким образом, каждый является в некотором роде более или менее участником этого насилия против себя самого и очень часто даже не подозревает об этом. Отсюда вытекает, что для того, чтобы восстать против этого влияния, которое общество естественно оказывает на него, человек должен по крайней мере отчасти восстать против себя самого, ибо со всеми своими задатками и стремлениями он сам есть лишь продукт общества. Отсюда вытекает это безграничное могущественное влияние общества на людей.

С точки зрения абсолютной морали, то есть с точки зрения человеческого уважения, – я сейчас скажу, что понимаю под этими словами, – это могущество общества может быть как благотворно, так и зловредно. Оно благотворно, когда стремится к развитию науки, материального процветания, свободы, равенства и братской солидарности людей; оно зловредно, когда имеет противоположные стремления.

Человек, рожденный в обществе скотов, останется сам, за очень редким исключением, скотом; рожденный в обществе, управляемом священниками, он станет идиотом, ханжой; рожденный в шайке воров, он сделается, вероятно, вором; рожденный в буржуазном классе, он будет эксплуататором чужого труда; и если он имел несчастье родиться в обществе полубогов, управляющих этой землей, дворян, принцев, королевских детей, он будет сообразно степени своих способностей, своих средств и своего могущества тираном, презирающим, порабощаю-

щим человечество… Во всех этих случаях даже просто для очеловечения этого индивида его бунт против общества, в котором он родился, становится необходимым.

Но, повторяю, бунт индивида против общества по трудности отличается от его бунта против Государства. Государство есть историческое преходящее учреждение, временная форма общества, как сама Церковь, младшим братом которой оно является; но оно отнюдь не имеет фатального и неподвижного характера общества, которое предшествует всякому развитию человечества и которое, обладая всей совокупностью всемогущих естественных законов, действия и проявлений, составляет самую основу всякого человеческого существования. Человек, по меньше мере с того момента, как он сделал первый шаг к человечности, как он начал становиться человеческим существом, то есть существом более или менее говорящим и думающим, родился в обществе, как муравей рождается в своем муравейнике или пчела в своем улье. Он не выбирает его, напротив того, он есть продукт его и так же фатально подчинен естественным законам, управляющим его необходимым развитием, как подчиняется и другим естественным законам. Общество одновременно и предшествует, и переживает всякого человеческого индивида, как сама природа. Оно вечно, как природа, или скорее рожденное на земле, оно продлится, пока будет существовать наша земля. Коренной бунт против общества был бы, следовательно, также невозможен для человека, как и бунт против природы, ибо человеческое общество есть, в общем, не что иное, как последнее великое проявление или создание природы на нашей земле. И индивид, который хотел бы восстать против общества, то есть против природы вообще и в частности против своей собственной природы, поставил бы себя вне всяких условий, реального существования, устремившись в ничто, в абсолютную пустоту, в мертвую отвлеченность, в Бога. Следовательно, также нельзя задавать вопрос о том, добро или зло общество, как невозможно спрашивать, добро или зло природа, всеобщее материальное, реальное, единственное, высшее, абсолютное бытие. Это – нечто большее: это – бесконечный положительный и первоначальный факт, предшествующий всякому сознанию, всякой идее, всякой интеллектуальной и моральной оценке; это самая основа, это – мир, в котором фатально и значительно позже развивается для нас то, что мы называем добром и злом.

Не так обстоит дело с Государством. И я не колеблюсь сказать, что Государство есть зло, но зло, исторически необходимое, так же необходимое в прошлом, как будет рано или поздно необходимым его полное исчезновение, столь же необходимое, как необходима была первобытная животность и теологические блуждания людей. Государство вовсе не однозначаще с обществом, оно есть лишь историческая форма, столь же грубая, как и отвлеченная. Оно исторически возникло во всех странах от союза насилия, опустошения и грабежа, – одним словом, от войны и завоевания с богами, последовательно созданными теологической фантазией наций. Оно было с самого своего образования и остается еще и теперь божественной санкцией грубой силы и торжествующей несправедливости. Даже в самых демократических странах, как Соединенные Штаты Америки и Швейцария, оно является не чем иным, как освящением привилегий какого-либо меньшинства и фактическим порабощением огромного большинства.

Бунт против Государства гораздо легче, потому что в самой природе Государства есть нечто провоцирующее на бунт. Государство – это власть, это – сила, это – хвастовство и самовлюбленность силы. Оно не старается привлечь на свою сторону, обратить в свою веру; всякий раз, как оно вмешивается, оно делает это весьма недоброжелательно. Ибо по самой природе своей оно таково, что отнюдь не склонно убеждать, но лишь принуждать и заставлять; как оно ни старается замаскировать свою природу, оно остается легальным насильником воли людей, постоянным отрицанием их свободы. И даже когда оно приказывает что-либо хорошее, оно обесценивает и портит это хорошее потому, что приказывает справедливый бунт свободы, и потому еще, что добро, раз оно делается по приказу, становится злом с точки зрения истинной морали, человеческой, разумеется, а не божественной, с точки зрения человеческого самоуважения и свободы. Свобода, нравственность и человеческое достоинство заключаются именно

в том, что человек делает добро не потому, чтобы кто-либо приказывал ему, но потому, что он сознает, хочет и любит добро.

Что касается общества, то оно формально, официально и властно не принуждает, оно естественно воздействует, и именно потому его действие на индивида несравненно более могущественно, чем действие Государства. Оно создает и формирует всех индивидов, рождающихся и развивающихся в его недрах. Оно вводит в них медленно, с первого дня их рождения до самой смерти, всю свою собственную материальную, интеллектуальную и моральную природу. Оно, так сказать, индивидуализируется в каждом.

Реальный человеческий индивид есть существо, столь малоуниверсальное и абстрактное, что каждый, с момента своей формации во чреве матери, оказывается уже имеющим все свои индивидуальные особенности и заранее определенным благодаря множеству материальных, географических, климатологических, этнографических, гигиенических и, следовательно, экономических причин и воздействий, составляющих собственно материальную, исключительно присущую его семье, классу, нации, расе природу. И поскольку склонности и влечения людей зависят от совокупности всех внешних или физических влияний, каждый родится с индивидуальной материально определенной природой или характером. Более того, благодаря относительно высшей организации человеческого мозга каждый человек, рождаясь, приносит, конечно, в различной степени не врожденные идеи и чувства, как утверждают идеалисты, но способности, в одно и то же время материальные и формальные, чувствовать, думать, говорить и хотеть. Он приносит с собою лишь возможность образовывать и развивать идеи и, как я только что сказал, деятельную чисто формальную силу без всякого содержания. Кто вкладывает в нее первоначальное содержание? Общество.

Здесь не место исследовать, как образовались в первобытных обществах первые представления и первые идеи, из коих большая часть была, разумеется, весьма нелепа. Все, что мы можем сказать с полной уверенностью, – это что сперва они не создавались изолированно и самопроизвольно чудесно просвещенным умом вдохновленных индивидов, но коллективною, чаще всего едва уловимою умственною работой всех индивидов, принадлежащих к этим обществам. Выдающиеся, гениальные люди были в состоянии дать лишь наиболее верное или наиболее удачное выражение этой коллективной умственной работе, ибо все гениальные люди, подобно Мольеру, «*собирали все хорошее повсюду, где находили его*». Следовательно, первоначальные идеи были созданы интеллектуальной коллективной работой первобытных обществ. Эти идеи сперва были всегда лишь простым, конечно, весьма несовершенным констатированием естественных и общественных явлений и еще менее правильными заключениями, сделанными из этих явлений. Таково было начало всех человеческих представлений, воображений и мыслей. Содержание этих мыслей совсем не было самопроизвольным созданием человеческого ума и было дано ему сперва как внешним, так и внутренним реальным миром. Ум человека, то есть работа или чисто органическое и, следовательно, материальное функционирование его мозга, возбужденное, как внешними, так и внутренними впечатлениями, переданными ему его нервами, вносит лишь чисто формальное сравнение или комбинирование этих впечатлений от вещей и явлений в системы, справедливые или ложные. Так родились первые идеи. При посредстве слова эти идеи или скорее эти первые создания воображения получили более точное и постоянное выражение, передаваясь от одного человеческого индивида к другому. Так, создания индивидуального воображения каждого сталкивались друг с другом, контролировались, видоизменялись, взаимно пополнялись и, более или менее сливаясь в единую систему, кончили тем, что сформировали общее сознание, коллективную мысль общества.

Эта мысль, передаваемая традицией от одного поколения к другому и все больше развиваясь вековой интеллектуальной работой, составляет интеллектуальное и моральное достояние общества, класса или нации.

Каждое новое поколение находит в своей колыбели целый мир идей, представлений и чувств, которые оно получает как наследие минувших веков. Этот мир сначала не представляется новорожденному человеку в сво-ей идеальной форме как система представлений и идей, как религия, как доктрина. Дитя не способно ни воспринять, ни понять его в этой форме. Но он навязывается ему, как мир фактов, воплощенных и реализованных как в людях, так и во всех вещах, окружающих его с первого дня жизни, говоря его чувствам при помощи всего того, что он слышит и видит. Ибо человеческие идеи и представления были вначале не чем иным, как продуктом действительных фактов, как естественных, так и общественных в том смысле, что они были их отражением или отзвуком в человеческом мозгу и, так сказать, идеальным и более или менее правильным воспроизведением их при посредстве этого безусловно материального органа человеческой мысли. Позже, будучи хорошо установлены указанным мною образом в коллективном сознании какого-либо общества, они приобретают силу, достаточную, чтобы, в свою очередь, стать причинами новых явлений, не чисто естественных, но общественных. Они кончают тем, что изменяют и преобразовывают, правда, очень медленно, человеческое существование, обычаи и учреждения – одним словом, все взаимоотношения людей в обществе, и путем своего воплощения в самых обыденных в жизни каждого вещах они становятся ощутимыми, осязаемыми для всех, даже для детей. Так что каждое новое поколение проникается ими с самого нежного детства, и, когда оно достигает зрелого возраста, когда, собственно, и начинается работа его собственной мысли, необходимо сопутствуемая новой критикой, оно находит в себе самом точно так же, как и в окружающем его обществе, целый мир установленных мыслей или представлений, которые служат ему исходной точкой и дают ему в некотором роде сырье или ткань для его собственной интеллектуальной и моральной работы. Сюда относятся традиционные и обычные представления, созданные воображением, которые метафизики, обманутые тем совершенно нечувствительным и незаметным образом, с каким эти представления, являясь извне, проникают и запечатлеваются в мозгу детей, прежде даже, чем дошли до сознания их самих, ошибочно называют *врожденными идеями*.

Таковы общие или отвлеченные идеи Божества и души, идеи совершенно нелепые, но неизбежные, фатальные в историческом развитии человеческого ума, который лишь очень медленно, на протяжении веков, приходя к рациональному и критическому сознанию самого себя и собственных своих проявлений, всегда исходит от нелепости, чтобы прийти к истине, и от рабства, чтобы завоевать свободу. Таковы идеи, освященные на протяжении веков всеобщим невежеством и глупостью, а также хорошо понятыми интересами привилегированных классов, освященные до такой степени, что даже ныне трудно высказаться против них открыто общедоступным языком без того, чтобы не возмутить значительную часть народных масс и не рисковать быть побитым камнями и лицемерною буржуазией.

Наряду с этими чисто отвлеченными идеями и всегда в тесной связи с ними подросток находит в обществе и вследствие всемогущего влияния, оказываемого обществом на него в детстве, он находит также в самом себе много других представлений или идей, гораздо более определенных, ближе относящихся к реальной жизни человека, к его каждодневному существованию. Таковы представления о природе и о человеке, о справедливости и об обязанностях и правах индивидов и классов, об общественных условностях, о семье, о собственности, о государстве и также многие другие представления, регулирующие взаимные отношения людей. Все эти идеи, которые он, рождаясь на свет, находит воплощенными в вещах и в людях и которые запечатлеваются в его собственном уме благодаря получаемому им воспитанию и образованию раньше даже, чем он приходит к сознанию самого себя, он потом вновь находит освященными, разъясненными и снабженными комментариями в теориях, выражающих всеобщее сознание или коллективный предрассудок и во всех религиозных, политических и экономических установлениях общества, к которому он принадлежит. И он до такой степени сам пропитан ими,

что, будь он сам заинтересован или не заинтересован в их защите, он является их невольным сообщником благодаря всем своим материальным, интеллектуальным и моральным обычаям.

Чему следует удивляться, так это не всемогущему действию, оказываемому этими идеями, выражающими коллективное сознание общества, на человеческие массы. Напротив того, удивительно, что встречаются еще в этих массах индивиды, имеющие мысль, волю и мужество бороться с ними. Ибо давление, оказываемое обществом на индивида, громадно, и нет настолько сильных характеров и столь мощных умов, которые могли бы считать себя свободными от воздействия этого столь же деспотического, как и непреоборимого влияния.

Ничто лучше не доказывает общественный характер человека, чем это влияние. Можно было бы сказать, что коллективное сознание какого-либо общества, воплощенное как в важнейших общественных учреждениях, так и во всех деталях его частной жизни и служащее основой всем его теориям, образует род окружающей среды, род интеллектуальной и моральной атмосферы, вредной, но абсолютно необходимой для существования всех членов данного общества. Она господствует над ними, она в то же время и поддерживает их, связывая их между собой привычными и необходимо обусловленными ею самою отношениями, внедряя в каждого сознание безопасности, уверенности и обеспечивая для всех главное условие существования толпы, – банальность, общие места и рутину.

Огромное большинство людей, не только в народных массах, но и в привилегированных и просвещенных классах, а часто даже больше, чем в народных массах, чувствует себя спокойно и благодушно лишь тогда, когда в своих мыслях и во всех своих поступках они строго, слепо следуют традиции и рутине: «Наши отцы думали и делали так, и мы должны думать и делать, как они. Все вокруг нас думают и действуют так. Почему бы мы стали думать и действовать иначе, чем все»? Эти слова выражают философию, убеждение и практику девяносто девяти сотых человечества, взятых наудачу во всех классах общества. И, как я уже заметил, в этом заключается наибольшая помеха прогресса и более скорого освобождения человеческого рода.

Каковы причины этой приводящей в отчаяние медлительности, столь близкой к застою, которая, по-моему, составляет наибольшее несчастье человечества? Причин этих очень много. Одна из самых важных, конечно, среди них – это невежество масс. Лишаемые постоянно и систематически всякого научного воспитания, благодаря отеческим заботам всех правительств и привилегированных классов, находящих полезным поддерживать в них сколь возможно дольше невежество, набожность, веру – три наименования почти одного и того же явления, – массы равным образом незнакомы с существованием и употреблением того орудия интеллектуального освобождения, которое называется критикой. Без критики же невозможна полная моральная и социальная революция. Массы, заинтересованные в восстании против установленного порядка вещей, еще привязаны к нему более или менее благодаря религии их отцов, этого провидения привилегированных классов.

Привилегированные классы, не имеющие ныне, что бы они ни говорили, ни набожности, ни веры, привязаны к нему, в свою очередь, в силу своих политических и социальных интересов. Однако невозможно сказать, чтобы это была единственная причина их страстной привязанности к господствующим идеям. Как ни низко ценю я современный ум и нравственность этих классов, я не могу допустить, чтобы интересы были единственным двигателем их мыслей и их поступков.

Есть, без сомнения, в каждом классе и в каждой партии более или менее многочисленная группа интеллигентных, сильных и сознательно недобросовестных эксплуататоров, называемых *сильными людьми*, свободных от всех интеллектуальных и моральных предрассудков, равно безразличных ко всем убеждениям и пользующихся любым из них в случае надобности, чтобы достичь своей цели. Но эти выдающиеся люди даже в самых испорченных классах всегда составляют лишь ничтожное меньшинство; остальные, как и в самом народе, представляют собою стадо баранов.

Они, естественно, поддаются влиянию своих интересов, которые заставляют их видеть в реакции необходимое условие их существования. Но невозможно допустить, чтобы, творя реакцию, они подчинялись лишь эгоистическому чувству. Громадное большинство людей, даже весьма испорченных, действуя коллективно, не могут быть столь извращенными.

Во всяком многочисленном объединении, и с еще большим основанием, в традиционных, исторических ассоциациях, каковыми являются классы, даже если они дошли до такого момента своего существования, что они становятся абсолютно зловредны или противны интересу и праву всех, есть все же начало нравственности, религии, какие-либо верования, конечно, очень малорациональные, чаще всего смешные и, следовательно, чрезвычайно узкие, но искренние и составляющие необходимое моральное условие их существования.

* * *

Общая и основная ошибка всех идеалистов, ошибка, которая, впрочем вполне логически вытекает из всей их системы, – это искание основы морали в изолированном индивиде, между тем как она заключается – и не может не заключаться – лишь в объединенных индивидах. Чтобы доказать это, оценим по достоинству раз навсегда изолированного или абсолютного индивида идеалистов.

Этот человеческий одинокий и отвлеченный индивид есть такая же фикция, как и Бог. Оба они были созданы одновременно верующей фантазией или не размышляющим, экспериментальным и логическим, а лишь полным воображения детским разумом народов вначале, а позже развитыми, разъясненными и догматизированными теологическими и метафизическими теориями идеалистических мыслителей. Оба, представляя собою абстракции, лишенные всякого содержания и несовместимые с какой бы то ни было реальностью, приводят к небытию.

Я, полагаю, доказал уже безнравственность фикции Бога; позже, в приложении, я докажу еще полнее ее нелепость. Теперь я хочу проанализировать столь же безнравственную, как и нелепую фикцию этого абсолютного или отвлеченного человеческого индивида, которого моралисты идеальной школы берут за основу своих политических и социальных теорий.

Мне нетрудно будет доказать, что человеческий индивид, которого они выставляют и которого они любят, есть существо глубоко безнравственное. Это олицетворенный эгоизм, существо в высшей степени безнравственное. Раз он одарен бессмертной душой, он бесконечен и самодовлеющ; следовательно, он ни в ком не нуждается, даже в Боге, тем более не нуждается он в других людях. Логически он отнюдь не должен был бы выносить существование равного или высшего индивида, столь же бессмертного и столь же бесконечного или более бессмертного и более бесконечного, чем он сам рядом с собою или над собою. Он должен быть единственным человеком на земле. Что я говорю! Он должен быть в состоянии назвать себя единственным существом, целым миром. Ибо бесконечный, встречая что бы то ни было вне себя самого, находит себе предел и уже не бесконечен больше, а две бесконечности, встречаясь, взаимно уничтожают друг друга.

Почему теологи и метафизики, выказывающие вообще себя столь тонкими, логически рассуждающими мыслителями, совершили и продолжают совершать эту непоследовательность, допуская существование многих одинаково бессмертных, то есть одинаково бесконечных людей, и над ними существование Бога, еще более бессмертного и более бесконечного? Они были вынуждены к этому абсолютной невозможностью отрицать реальное существование, смертность, точно так же как и взаимную независимость миллионов человеческих существ, которые жили и живут на этой земле. Это факт, от которого они при всем своем желании не могут отвлечься. Логически они должны бы заключить из него, что души не бессмертны и что они отнюдь не имеют существования, отдельного от их телесных и смертных оболочек, и что,

ограничивая себя и находясь во взаимной зависимости, встречая вне себя самих бесконечность различных объектов, человеческие индивиды, как и все существующее в сем мире, суть преходящие, ограниченные и конечные существа.

Но, признавая это, они должны были бы отказаться от самих основ их идеальных теорий, они должны были бы встать под знамя чистого материализма или экспериментальной и рациональной науки. К этому их приглашает мощный голос века.

Они остаются глухи к этому голосу. Их природа вдохновленных людей, пророков, доктринеров и священников, их ум, толкаемый тонкой ложью метафизики, привычной к сумеркам идеальных фантазий, возмущается против откровенных заключений и против яркого дня простых истин.

Они столь боятся его, что предпочитают переносить противоречие, которое сами себе создают этой нелепой фикцией бессмертной души или долгом искать решение в новой нелепости, в фикции Бога. С точки зрения теории Бог в действительности есть не что иное, как последнее убежище и высшее выражение всех нелепостей и противоречий идеализма. В теологии, представляющей детскую и наивную метафизику, он появляется как основа и первопричина нелепости, но в метафизике в собственном смысле слова, то есть в утонченной и рационализированной теологии, он, напротив, составляет последнюю инстанцию и высшее прибежище в том смысле, что все противоречия, кажущиеся неразрешимыми в реальном мире, объясняются в Боге и при посредстве Бога, то есть при посредстве нелепости, облеченной насколько возможно рациональной видимостью.

Существование личного Бога и бессмертие души суть две нераздельные фикции, суть два полюса той же абсолютной нелепости, из которых одна вызывает другую, и одна тщетно ищет своего объяснения, основания своего существования в другой. Таким образом, для очевидного противоречия, которое имеется между предполагаемой бесконечностью каждого человека и реальным фактом существования многих людей, следовательно, многих бесконечных существ, находящихся одно вне другого, неизбежно ограничивая друг друга; между их смертностью и их бессмертием – между их естественной зависимостью и их абсолютной независимостью одного от другого идеалисты имеют лишь один ответ: Бог. Если этот ответ ничего вам не объясняет и не удовлетворяет вас, тем хуже для вас. Они не могут дать вам другого.

Фикция бессмертия души и фикция индивидуальной морали, являющаяся ее необходимым последствием, суть отрицание всякой морали. И в этом отношении нужно отдать справедливость теологам, которые, будучи гораздо более последовательными, более логичными, чем метафизики, смело отрицают то, что принято называть ныне «*независимой моралью*», объявляя весьма основательно, что раз принимается бессмертие души и существование Бога, то нужно признать также, что может быть лишь одна мораль, а именно божественный закон, откровение, религиозная мораль, то есть связь бессмертной души с Богом милостью Бога. Помимо этой иррациональной, таинственной, мистической связи, единственно святой и единственно спасительной, и вне вытекающих из нее последствий для человека, всякие другие связи ничтожны. Божественная мораль есть абсолютное отрицание человеческой морали.

Божественная мораль нашла свое прекрасное выражение в христианском завете: «Возлюби Бога больше, чем самого себя, а ближнего своего, как самого себя», что обязывает к принесению в жертву Богу самого себя и своего ближнего. Допустим, пожертвование самого себя – оно может быть сочтено за безумие. Но принесение в жертву ближнего с человеческой точки зрения абсолютно безнравственно. И почему я принуждаюсь к сверхчеловеческой жертве? Ради спасения моей души. Таково последнее слово христианства. Итак, чтобы угодить Богу и спасти свою душу, я должен принести в жертву своего ближнего. Это абсолютнейший эгоизм. Этот эгоизм, не уменьшенный и не уничтоженный, но лишь замаскированный в католичестве вынужденной коллективностью и авторитарным иерархическим и деспотиче-

ским единством Церкви, появляется во всей своей циничной откровенности в протестантстве, в этом своего рода религиозном: «*спасайся, кто может*!»

Метафизики, в свою очередь, стараются прикрыть этот эгоизм, который есть врожденный и основной принцип всех идеальных доктрин, говоря очень мало, насколько возможно мало об отношениях человека к Богу и много о взаимных отношениях людей. Это совсем не красиво, не откровенно и не логично с их стороны. Ибо раз допускается существование Бога, то является необходимость признать отношения человека с Богом. И должно признать, что перед лицом этих отношений с абсолютным и высшим существом все другие отношения необходимо неискренни. Или Бог не есть Бог, или же его присутствие все поглощает и уничтожает. Но оставим это…

Итак, метафизики ищут мораль в отношениях людей между собою, и в то же время они утверждают, что она есть, безусловно, индивидуальный факт, божественный закон, вписанный самим Богом в сердце каждого человека независимо от его отношений с другими человеческими существами. Таково непобедимое противоречие, на котором основана теория нравственности идеалистов. Раз, прежде чем я вступил в какие-либо отношения с обществом, и, следовательно, независимо от какого бы то ни было влияния общества на меня, я ношу нравственный закон, вписанный заранее самим Богом в мое сердце, то этот нравственный закон необходимо чужд и безразличен, если не невраждебен, моему существованию в обществе. Он не может касаться моих отношений с людьми и может определять лишь мои отношения с Богом, как это вполне логично утверждает теология. Что же касается людей, они с точки зрения этого закона мне совершенно чужды. Так как нравственный закон создан и вписан в мое сердце помимо всяких моих отношений с ними, то ему нет до них никакого дела.

Но, скажут мне, этот закон как раз повелевает вам любить людей, как самого себя, ибо они суть вам подобные, и ничего не делать им, чего бы вы не хотели, чтобы было сделано вам самим, – соблюдать в отношении их равенство, одинаковую нравственность, справедливость. На это я отвечу, если правда, что нравственный закон содержит в себе такое повеление, я должен заключить из этого, что он не был создан и не был изолированно написан в моем сердце. Он необходимо предполагает существование, предшествующее моим отношениям с другими людьми, подобными мне, и, следовательно, не создает этих отношений, но находя их уже естественно установившимися, он лишь регулирует их и является лишь в некотором роде развитием, проявлением, объяснением и продуктом их. Отсюда явствует, что нравственный закон есть не индивидуальное, но социальное явление, создание общества.

Если бы было иначе, нравственный закон, вписанный в мое сердце, был бы нелепостью. Он регулировал бы мои отношения с существами, с которыми я не имел никаких отношений и о существовании которых я не подозревал.

На это у метафизиков имеется ответ. Они говорят, что каждый человеческий индивид, рождаясь, приносит с собой закон, вписанный рукой самого Бога в его сердце, но что этот закон находится сперва в скрытом состоянии, лишь в виде возможности, не осуществленной и не проявленной для самого индивида, который не может осуществить его и которому удается расшифровать его в себе самом, лишь развиваясь в обществе себе подобных, – одним словом, что человек приходил к сознанию этого закона, присущего ему, лишь путем отношений с другими людьми.

Это разъяснение, хотя и не правдоподобное, но вполне приемлемое, приводит нас к доктрине врожденных идей, чувств и принципов. Доктрина эта известна. Человеческая душа, бессмертная и безграничная по своей сущности, но телесно определенная, ограниченная, отягощенная и, так сказать, ослепленная и уничтоженная в своем реальном существовании, содержит в себе все эти вечные и божественные принципы, но без своего ведома, даже совершенно не подозревая сперва о них. Бессмертная, она необходимо должна быть вечной в прошлом, как и в будущем. Ибо, если она имела начало, она неизбежно должна иметь конец и

отнюдь не была бы бессмертной. Чем была она, что делала на протяжении всей этой вечности, лежащей позади нее? Одному Богу это известно. Что касается ее самое, она этого не помнит, она забыла. Это великая тайна, полная вопиющих противоречий, и чтобы разрешить их, нужно прибегнуть к высшему противоречию, к Богу. Во всяком случае, она всегда обладает, сама того не подозревая, в какой-то неведомой таинственной области своего существа всеми божественными принципами. Но, затерянная в своем земном теле, огрубевшая вследствие грубо материальных условий своего рождения и своего существования на земле, она уже не способна их осознавать и даже не в силах вспомнить о них. Это все равно как если бы она их вовсе не имела. Но вот встречается в обществе множество человеческих душ, которые все одинаково бессмертны по своей сущности и все одинаково огрубелые, приниженные и оматериализовавшиеся в своем реальном существовании. Сначала они до такой степени мало узнают друг друга, что одна материализованная душа пожирает другую. Как известно, людоедство было первым обычаем человеческого рода. Затем, продолжая ожесточенную войну, каждая стремится поработить все другие – то долгий период рабства, период, который еще далеко не закончился и ныне. Ни в людоедстве, ни в рабстве нельзя найти, без сомнения, никаких следов божественных принципов. Но в этой непрестанной борьбе между собой народов и людей заключается история, и именно вследствие бесчисленных страданий, являющихся самым явным результатом ее, души мало-помалу пробуждаются, выходя из своего огрубения, приходя в себя, все больше распознавая себя и углубляясь в свое интимное естество; вызываемые к тому же и побуждаемые одна другою, они начинают вспоминать себя, сперва предчувствовать, а затем различать и усваивать более отчетливо принципы, которые Бог испокон веков начертал в них собственной рукой.

Это пробуждение и это воспоминание происходит сначала вовсе не в душах, более бесконечных и более бессмертных. Это было бы нелепостью, ибо бесконечность не допускает сравнительных стеснений, так что душа величайшего идиота столь же бесконечна и бессмертна, как и душа величайшего гения.

Оно происходит в душах наименее грубо материализованных и, следовательно, более способных пробудиться и вспомнить себя. Таковы люди гениальные, бого-вдохновенные, получившие откровение, законодатели, пророки. Раз эти великие и святые люди, просвещенные и побуждаемые духом, без помощи которого ничто великое и доброе не делается в этом мире, обрели в себе самих одну из тех божественных истин, которые каждый человек бессознательно носит в своей душе, людям более грубо материализованным делается, конечно, гораздо легче сделать то же самое открытие в себе самих. Таким-то образом всякая великая истина, все вечные принципы, проявившиеся сперва в истории, как божественные откровения, сводятся позднее к истинам, без сомнения, божественным, но которые тем не менее каждый может и должен найти в себе самом и признать их как основы своей собственной бесконечной сущности или своей бессмертной души. Этим объясняется, как истина, первоначально открытая одним-единственным человеком, распространяется мало-помалу вовне и создает учеников, сперва малочисленных и обычно преследуемых, как и сам учитель, массами и официальными представителями общества, но, распространяясь все больше и больше по причине этих самых преследований, она кончает тем, что рано или поздно овладевает коллективным сознанием, и после того, как она долго была истиной, исключительно индивидуальной, она превращается в конце концов в истину, принятую обществом. Осуществленная плохо ли, хорошо ли в общественных и частных учреждениях общества, она становится законом.

Такова общая теория моралистов метафизической школы. На первый взгляд, я сказал уже, она весьма приемлема и кажется примиряющей самые несогласуемые вещи: божественное откровение и человеческий разум, бессмертие и абсолютную независимость, индивидуализм с социализмом. Но, исследуя пристальнее эту теорию и ее следствия, нам легко будет признать, что она есть не что иное, как видимое примирение, прикрывающее фальшивой маской

рационализма и социализма старинное торжество божественной нелепости над человеческим разумом и индивидуального эгоизма над социальной солидарностью. В конце концов она приводит к абсолютному изолированию индивидов и, следовательно, к отрицанию всякой морали.

Несмотря на претензии этой теории на чистый рационализм, она начинает с отрицания всякого разума, с нелепости, с фикции бесконечного, затерявшегося в конечном, или с допущения души, многих бессмертных душ, заложенных и заключенных в смертных телах. Чтобы исправить и объяснить эту человечность, эта теория вынуждена прибегать к другой совершеннейшей нелепости, к Богу, к своего рода бессмертной, личной, неизменной душе, заложенной и заключенной в преходящем и смертном мире и сохраняющей все же свое всеведение и свое всемогущество. Когда этой теории задают нескромные вопросы, которых она не в состоянии разрешить, ибо нелепость неразрешима и необъяснима, она отвечает страшным словом: «Бог!» – таинственным абсолютом, который, не обозначая абсолютно ничего или обозначая невозможное, по ее мнению, разрешает и объясняет все. Это ее дело и ее право, ибо потому-то она, наследница и более или менее послушная дочь теологии, и называется метафизикой.

Что подлежит здесь нашему рассмотрению, так это моральные последствия этой теории. Установим прежде всего, что ее мораль, несмотря на свою социалистическую видимость, есть мораль глубоко, исключительно индивидуалистическая. После этого нам будет нетрудно уже доказать, что при таком своем преобладающем характере она на самом деле является отрицанием всякой морали.

Согласно этой теории бессмертная и индивидуальная душа каждого человека, бесконечная или абсолютно самодовлеющая по своей сущности и как таковая не имеющая абсолютно никакой потребности в каком-либо существе, ни в отношениях с другими существами для самопополнения, оказывается заключенной и как бы уничтоженной в смертном теле. Находясь в этом состоянии падения, причины которого останутся для нас, без сомнения, навсегда неизвестными, потому что человеческий ум не способен их разрешить и потому что разрешение их заключается единственно в абсолютной тайне – в Боге, и будучи низведена до этого состояния материальности и абсолютной зависимости от внешнего мира, человеческая душа нуждается в обществе, чтобы пробудиться, чтобы вспомнить себя самое, чтобы вновь обрести сознание себя самой и божественных принципов, от века заложенных в ее недра самим Богом и составляющих ее истинную сущность.

Таковы социалистический характер и социалистическая сторона этой теории. Отношение людей к людям и каждого человеческого индивида ко всем остальным, одним словом, общественная жизнь появляется в ней лишь как необходимое средство развития, как мостик, а не как цель. Абсолютная и конечная цель каждого индивида – он сам вне зависимости от всех других человеческих индивидов, он сам перед лицом абсолютной индивидуальности, перед Богом. Человек нуждается в людях, чтобы выйти из своего земного принижения, чтобы вновь себя обрести, чтобы вновь схватить свою бессмертную сущность, но, как только он обрел ее, черпая отныне свою жизнь лишь в ней одной, он поворачивается к людям спиной и погружается в созерцание мистической нелепости, в обожание своего Бога.

Если он сохраняет еще тогда какие-либо отношения с людьми, то не из нравственной потребности и, следовательно, не из любви к ним, ибо любят лишь того, в ком нуждаются, и того, кто нуждается в вас. Человек же, вновь обретший свою бесконечную и бессмертную сущность, самодовлеющий, не нуждается больше ни в ком; он нуждается лишь в Боге, который в силу тайны, понятной одним метафизикам, кажется обладающим бесконечностью, более бесконечной, и бессмертием, более бессмертным, нежели люди. Поддерживаемый отныне божественными всеведением и всемогуществом, индивид, сосредоточенный и свободный в самом себе, не может более испытывать потребности в других людях. Следовательно, если он продолжает еще сохранять некоторые отношения с ними, то это может быть лишь по двум основаниям.

Во-первых, потому, что пока он остается отягощенным своим смертным телом, он вынужден есть, укрываться, одеваться и защищаться как от внешней природы, так и от нападений людей, а если он человек цивилизованный, то он имеет потребность в некотором количестве материальных вещей, которые доставляют довольство, комфорт, роскошь, из коих многие, неведомые нашим предкам, ныне считаются всеми предметами первой необходимости. Он мог бы, конечно, следуя примеру святых людей минувших веков, уединиться в какую-либо пещеру и питаться кореньями. Но, по-видимому, это больше не по вкусу современным святым, думающим, без сомнения, что комфорт необходим для спасения души. Итак, человек нуждается во всех этих вещах. Но эти вещи могут быть произведены лишь коллективным трудом людей: изолированный труд одного человека был бы не в состоянии произвести даже миллионную их часть.

Отсюда следует, что индивид, обладающей своей бессмертной душой и своей внутренней, не зависимой от общества свободой, современный святой имеет *материальную* потребность в этом обществе, с моральной точки зрения не имея в нем не малейшей потребности.

Но как следует назвать отношения, которые, будучи мотивированы исключительно лишь материальными потребностями, не санкционированы в то же время, не подкреплены какой-либо моральной потребностью? Очевидно, назвать их можно только одним именем: *эксплуатация*. И в самом деле, в метафизической морали и в буржуазном обществе, как известно, опирающемся на эту мораль, каждый индивид неизбежно делается *эксплуататором* общества, то есть всех; и роль государства в его различных формах, от теократического государства и самой абсолютной монархии до самой демократической республики, основанной на самом широком всеобщем избирательном праве, заключается не в чем ином, как в регулировании и гарантировании этой взаимной эксплуатации.

В буржуазном обществе, основанном на метафизической морали, каждый индивид по необходимости или по самой логике своего положения оказывается эксплуататором других, ибо он *материально* чувствует потребность во всех, *морально* же – ни в ком. Следовательно, каждый, избегающий общественной солидарности как помехи для полной свободы его души, но ищущий ее как необходимого средства для поддержания своего тела, рассматривает общество лишь с точки зрения своей материальной личной пользы и вносит в него, дает ему лишь то, что абсолютно необходимо для того, чтобы иметь не право, но возможность обеспечить для самого себя эту пользу. Каждый рассматривает его, одним словом, как эксплуататор. Но когда все одинаково эксплуататоры, необходимо должны быть счастливые и несчастные, ибо всякая эксплуатация предполагает наличность эксплуатируемых. Есть, следовательно, эксплуататоры, являющиеся таковыми одновременно как в возможности, так и в действительности; и другие, большинство, народ, которые таковы лишь в возможности, лишь по намерениям, но не в действительности. В действительности они – вечно эксплуатируемые. Вот, следовательно, к чему приводит в социальной экономии метафизическая или буржуазная мораль – к беспощадной и непрерывной войне между всеми индивидами, к ожесточенной войне, в которой большинство погибает, чтобы обеспечить торжество и благополучие малого числа.

Вторая причина, могущая привести индивида, достигшего полного обладания самим собой, к сохранению отношений с другими людьми, это желание угодить Богу и чувство обязанности выполнить его вторую заповедь.

Первая заповедь повелевает любить Бога больше самого себя и вторая – любить людей, своих ближних, как самого себя, и делать им *из любви к Богу* всякое добро, которое он желал бы, чтобы делали ему. Обратите внимание на эти слова: «*из любви к Богу*». Они полностью выражают характер единственной возможной любви при метафизической морали, состоящей как раз в том, чтобы отнюдь не любить людей ради их самих, по собственной потребности, но лишь чтобы угодить всевышнему господину. Впрочем, так оно и должно быть. Ибо раз метафизика допускает существование Бога и отношения между человеком и Богом, она должна,

как и теология, подчинить им все человеческие отношения. Идея Бога поглощает, разрушает все, что не Бог, замещая все человеческие и земные реальности божественными фикциями.

По метафизической морали, как я уже сказал, человек, пришедший к сознанию своей бессмертной души и ее индивидуальной свободы перед Богом и в Боге, не может любить людей, ибо морально он не чувствует более к этому потребности и потому что можно любить, как я еще добавил, лишь того, кто нуждается в вас.

Если верить теологам и метафизикам, первое условие полностью выполнено в отношениях человека с Богом, ибо они утверждают, что человек не может обойтись без Бога. Человек может, следовательно, и должен любить Бога, ибо он так нуждается в нем. Что же касается второго условия, возможности любить лишь того, кто испытывает потребность в этой любви, оно совершенно не выполнено в отношениях человека с Богом. Было бы нечестиво сказать, что Бог может нуждаться в любви людей. Ибо нуждаться в чем-нибудь – значит испытывать недостаток в чем-либо, необходимом для полноты существования. Это, следовательно, проявление слабости, сознание в собственной бедности. Бог, абсолютно самодовлеющий, не может нуждаться ни в ком и ни в чем. Не имея никакой потребности в любви людей, он не может любить их. И то, что называют его любовью к людям, есть не что иное, как абсолютный гнет, подобный, но, конечно, еще более чудовищный, чем тот, который всемогущий император Германии оказывает ныне на всех своих подданных. Любовь людей к Богу также весьма сходна с той, которую испытывают немцы к этому монарху, ставшему ныне столь могущественным, что после Бога мы не знаем большего могущества, чем его.

Истинная, реальная любовь, выражение взаимной и равной любви может существовать лишь между равными. Любовь высшего к низшему есть гнет, подавление, презрение, эгоизм, гордость, тщеславие, торжествующее в чувстве величия, основанного на унижении другого. Любовь низшего к высшему – это унижение, страхи и надежды раба, ждущего от своего господина то счастья, то несчастья.

Таков характер так называемой любви Бога к людям и людей к Богу. Это – деспотизм одного и рабство других.

Что же означают эти слова: любить людей и делать им добро из любви к Богу? Это значит обращаться с ними, как Бог этого хочет. А как хочет он, чтобы с ним обращались? Как с рабами.

Бог по природе своей вынужден обращаться с ними следующим образом. Будучи сам абсолютным господином, он вынужден рассматривать их как совершенных рабов. Рассматривая их как таковых, он не может не обращаться с ними как с таковыми. Чтобы освободить их, есть лишь одно средство: это самоотречение, самоуничтожение, исчезновение. Но это было бы слишком много требовать от его всемогущества. Он еще может, чтобы примирить странную любовь, которую он чувствует к людям, со своей справедливостью, не менее своеобразною, принести в жертву своего единственного сына, как нам рассказывает Евангелие, но отречься, покончить самоубийством из любви к людям, этого он не сделает никогда, по крайней мере если не будет вынужден к этому научной критикой. Пока доверчивая фантазия людей позволит ему существовать, он всегда будет абсолютным властителем над рабами.

Любовь людей «по-божески» – это любовь их рабства. Я, Божьей милостью бессмертный и целостный индивид, чувствующий себя свободным именно потому, что я раб Бога, я не нуждаюсь ни в каком человеке, чтобы сделать более полными мое счастье и мое материальное и моральное существование, но я сохраняю мои отношения с ними, чтобы повиноваться Богу, и, любя из любви к Богу, обращаясь с ними по-божески, я хочу, чтобы они были рабы Бога, как и я сам. Следовательно, если всевышнему Господину угодно избрать меня, чтобы осуществлять на земле его святую волю, я сумею заставить их быть рабами. Таков истинный характер того, что искренние и серьезные обожатели Бога называют своей любовью к людям. Это не освобождение их, это – их порабощение для вящей славы Бога. И таким-то образом божественный авторитет превращается в авторитет человеческий, и Церковь создает Государство.

Согласно теории все люди должны служить Богу именно таким образом, но, как известно, много званых, но мало избранных. И к тому же, если бы все равно были способны выполнить это, то есть если бы все пришли к той же ступени интеллектуального и морального равенства, святости и свободы в Боге, это самое служение сделалось бы ненужным. Если это необходимо, так лишь потому, что огромное большинство человеческих индивидов не дошло до такой ступени; отсюда следует, что эту массу, еще невежественную и грубую, следует любить и обращаться с ней по-божески, то есть она должна быть управляема и порабощаема меньшинством святых, которых тем или иным способом Бог никогда не преминет сам выбрать и поставить в привилегированное положение, которое позволит им выполнить этот долг1.

Сакраментальная формула при управлении народных масс для их собственного блага, разумеется, для спасения их душ, если не тел, которою пользуются как святые, так и благородные в теократических и аристократических государствах, а также *интеллигенты* и богачи в государствах доктринерских, либеральных и даже республиканских и основанных на всеобщем избирательном праве, – одна и та же: «*Все для народа, ничего при посредстве народа*». Она означает, что люди святые, благородные или привилегированные, как в отношении научно-развитого интеллекта, так и в смысле богатства, ближе к идеалу или к Богу, как выражаются одни, или к справедливости и истинной свободе, как выражаются другие, гораздо ближе, чем народные массы, и потому имеют священную миссию руководить ими. Жертвуя своими собственными интересами и пренебрегая своими собственными делами, они должны посвятить себя счастью *меньшого брата*, народа.

Принадлежность к правительству не есть удовольствие, но тяжкий долг, – выполняя его, не ищут удовлетворения честолюбия, тщеславия или личной корысти, но лишь возможности посвятить себя общему благу. По – этому-то, без сомнения, так незначительно всегда число соискателей официальных должностей, и короли и министры, крупные и мелкие чиновники принимают власть лишь скрепя сердце.

Таковы, следовательно, в обществе, построенном согласно теории метафизиков, два различных и даже противоположных рода отношений, могущих существовать между индивидами. Во-первых – *эксплуатация*, во – вторых – *управление*. Если правда, что управлять значит посвящать себя благу тех, кем управляют, то этот второй род отношений находился действительно в полном противоречии с первым, с эксплуатацией. Но разберемся в этом хорошенько. Согласно идеалистической, как теологической, так и метафизической, теории эти слова *благо масс* не могут означать ни их земного благополучия, ни их преходящего счастья. Что значат какие-нибудь десятки лет земной жизни в сравнении с вечностью! Следовательно, нужно управлять массами не ввиду этого грубого счастья, которое дают нам материальные блага на земле, но ввиду их вечного спасения. Материальные лишения и страдания могут быть даже рассматриваемы как недостаток воспитания, раз доказано, что обилие телесных наслаждений убивает бессмертную душу. Но тогда противоречие исчезает: *эксплуатировать и управлять означает одно и то же*, одно дополняет другое, служа ему в конце концов и средством и целью.

Эксплуатация и управление – два неотделимых друг от друга выражения того, что называется политикой, причем первая дает способы управлять и образует необходимую основу, равно как и цель всякого управления, которое, в свою очередь, гарантирует и легализирует возможность эксплуатировать. С начала истории они составляют, собственно говоря, реальную жизнь государств: теократических, монархических, аристократических и даже демократических. Раньше, вплоть до Великой революции конца XVIII века, их тесная связь маскировалась религиозными лояльными и рыцарскими фикциями; но с тех пор, как грубая рука буржуазии разодрала все довольно, впрочем, прозрачные покровы, с тех пор, как ее революционный вихрь рассеял все ее пустые фантазии, за коими Церковь, Государство, теократия, монархия и аристократия могли так долго и спокойно выполнять все свои исторические бесстыдства, с тех

пор, одним словом, как она воздвигла современное Государство, эта роковая связь сделалась для всех раскрытой и даже неопровергаемой истиной.

Эксплуатация – это видимое тело, а правительство – это душа буржуазного режима. И как мы только что видели, и то и другое в этой столь тесной связи является как с теоретической, так и с практической точки зрения необходимым и верным выражением метафизического идеализма, неизбежным следствием той буржуазной доктрины, которая ищет свободу и нравственность индивидов вне общественной солидарности. Эта доктрина приводит к эксплуататорскому управлению небольшого количества счастливцев или избранников и к эксплуатируемому рабству масс и – для всех – к отрицанию всякой нравственности и всякой свободы.

* * *

После того как я показал, как идеализм, исходя из нелепых идей Бога, бессмертия душ, *первоначальной* свободы индивидов и их нравственности, не зависимых от общества, приводит роковым образом к освящению рабства и безнравственности, я должен показать теперь, как реальная наука, то есть материализм и социализм, – это второе выражение, впрочем, есть лишь правильное и полное развитие первого, – должна точно так же необходимо прийти к установлению самой широкой свободы индивидов и человеческой нравственности именно потому, что она приняла за исходную точку материальную природу и естественное и первобытное рабство людей, и потому, что она тем самым обязывает себя искать освобождения людей не вне, но в самых недрах общества, не вопреки ему, но через него.

(Здесь рукопись обрывается.)